Николай Васильевич

ГОГОЛЬ

Н. Гоголь

Полное собрание сочинений и писем
в семнадцати томах

Николай Васильевич
ГОГОЛЬ

Полное собрание сочинений и писем

том
VII

Н. Гоголь

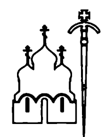
Николай Васильевич Гоголь

1809–1852

Н. В. Гоголь

Полное собрание сочинений и писем

в семнадцати томах

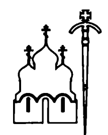


Издательство Московской Патриархии
Москва — Киев
2009

Н. В. Гоголь

Том VII

Юношеские опыты
Первоначальные редакции



Издательство Московской Патриархии
Москва — Киев
2009

По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

По благословению
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
ВЛАДИМИРА

Составление, подготовка текстов и комментарии:
И. А. Виноградов, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН
В. А. Воропаев, доктор филологических наук,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
председатель Гоголевской комиссии
Научного совета «История мировой культуры» РАН

Издание выпущено при содействии
Некоммерческого партнерства
«Полтавское землячество» (Москва)
и Благотворительного фонда «Богуслав» (Киев)

Юношеские опыты
Первоначальные редакции

<Из поэмы «Россия под игом татар»>

Раздравши тучи среброрунны,
Являлась трепетно луна.

Новоселье

«Невесел ты!» — «Я весел был, —
Так говорю друзьям веселья, —
Но радость жизни разлюбил
И грусть зазвал на новоселье.
Я весел был — и светлый взгляд
Был не печален; с тяжкой мукой
Не зналось сердце; темный сад
И голубое небо скукой
Не утомляли — я был рад...
Когда же вьюга бушевала
И гром гремел и дождь звенел
И небо плакало — грустнел
Тогда и я: слеза дрожала,
Как непогода плакал я...
Но небо яснело, гроза бежала —
И снова рад и весел я...

Теперь, как осень, вянет младость.
Угрюм, не веселится мне,
И я тоскую в тишине,
И дик, и радость мне не в радость».
Смеясь, мне говорят друзья:
«Зачем расплакался? — Погода
И разгулялась и ясна,
И не темна, как ты, природа».
А я в ответ: «Мне всё равно,
Как день, все измененья года!
Светло ль, темно ли — всё одно,
Когда в сем сердце непогода!»

Италия

Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.
Бежит, шумит задумчиво волна
И берега чудесные целует;
В ней небеса прекрасные блестят;
Лимон горит и веет аромат.

И всю страну объемлет вдохновенье;
На всем печать протекшего лежит;
И путник зреть великое творенье,
Сам пламенный, из снежных стран спешит;
Душа кипит, и весь он — умиленье,
В очах слеза невольная дрожит;
Он, погружен в мечтательную думу,
Внимает дел давно минувших шуму.

Здесь низок мир холодной суеты,
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит;
И радужней в сияньи красоты,
И жарче, и ясней по небу солнце ходит.
И чудный шум и чудные мечты
Здесь море вдруг спокойное наводит;
В нем облаков мелькает резвый ход,
Зеленый лес и синий неба свод.

А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит.
Как спит земля, красой упоена!
И страстно мирт над ней главой колышет,
Среди небес, в сиянии луна
Глядит на мир, задумалась и слышит,
Как под веслом проговорит волна;
Как через сад октавы пронесутся,
Пленительно вдали звучат и льются.

Земля любви и море чарований!
Блистательный мирской пустыни сад!
Тот сад, где в облаке мечтаний
Еще живут Рафаэль и Торкват!
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?
Душа в лучах, и думы говорят,
Меня влечет и жжет твое дыханье, —
Я в небесах, весь звук и трепетанье!..

Ганц Кюхельгартен

Идиллия в картинах

Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинстве, ни о недостатках его и предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданьем юного таланта.

Картина I

Светает. Вот проглянула деревня,
Дома, сады. Все видно, все светло.
Вся в золоте сияет колокольня,
И блещет луч на стареньком заборе.
Пленительно оборотилось все
Вниз головой в серебряной воде:
Забор, и дом, и садик в ней такие ж.
Все движется в серебряной воде:
Синеет свод, и волны облак ходят,
И лес живой вот только не шумит.

На берегу, далеко вшедшем в море,
Под тенью лип, стоит уютный домик
Пастора. В нем давно старик живет.
Ветшает он, и старенькая кровля
Посунулась; труба вся почернела;
И лепится давно цветистый мох
Уж по стенам; и окна искосились;
Но как-то мило в нем, и ни за что
Старик его б не отдал. Вот та липа,
Где отдыхать он любит, тож дряхлеет.

Зато вкруг ней зеленые прилавки
Из дерну свежего. В дуплистых норах
Ее гнездятся птички, старый дом
И сад веселой песнью оглашая.
Пастор всю ночь не спал, да пред рассветом
Уж вышел спать на чистый воздух;
И дремлет он под липой в старых креслах,
И ветерок ему свежит лицо
И белые взвевает волоса.

Но кто прекрасная подходит?
Как утро свежее, горит
И на него глаза наводит?
Очаровательно стоит?
Взгляните же, как мило будит
Ее лилейная рука,
Его касаяся слегка,
И возвратиться в мир наш нудит.
И вот вполглаза он глядит,
И вот спросонья говорит:

«О дивный, дивный посетитель!
Ты навестил мою обитель!
Зачем же тайная тоска
Вся душу мне насквозь проходит
И на седого старика
Твой образ дивный сдалека
Волненье странное наводит?
Ты посмотри: уже я хил,
Давно к живущему остыл,
Себя погреб в себе давно я,
Со дня я на день жду покоя,
О нем и мыслить уж привык,
О нем и мелет мой язык.
Чего ж ты, гостья молодая,
К себе так пламенно влечешь?
Или, жилица неба-рая,
Ты мне надежду подаешь,

На небеса меня зовешь?
О, я готов, да недостоин.
Велики тяжкие грехи:
И я был злой на свете воин,
Меня робели пастухи;
Мне лютые дела не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повесть...»

Тоски, смятения полна,
«Сказать, — подумала она, —
Он, Бог знает, куда заедет...
Сказать ему, что он ведь бредит».

Но он в забвенье погружен.
Его объемлет снова сон.
Склонясь над ним, она чуть дышит.
Как почивает! как он спит!
Вздох чуть заметный грудь колышет;
Незримым воздухом обвит,
Его архангел сторожит;
Улыбка райская сияет,
Чело святое осеняет.

Вот он открыл свои глаза:
«Луиза, ты ль? мне снилось... странно...
Ты поднялась, шалунья, рано;
Еще не высохла роса.
Сегодня, кажется, туманно».

«Нет, дедушка, светло, свод чист;
Сквозь рощу солнце светит ярко;
Не колыхнется свежий лист,
И поутру уже все жарко.
Узнаете ль, зачем я к вам? —
У нас сегодня будет праздник.

У нас уж старый Лодельгам,
Скрыпач, с ним Фриц-проказник;
Мы будем ездить по водам...
Когда бы Ганц...» Добросердечный
Пастор с улыбкой хитрой ждет,
О чем рассказ свой поведет
Младенец резвый и беспечный.

«Вы, дедушка, вы можете помочь
Одни неслыханному горю:
Мой Ганц страх болен; день и ночь
Все ходит к сумрачному морю;
Все не по нем, всему не рад,
Сам говорит с собой, к нам скучен,
Спросить — ответит невпопад,
И весь ужасно как измучен.
Ему зазнаться уж с тоской —
Да эдак он себя погубит.
При мысли я дрожу одной:
Быть может, недоволен мной;
Быть может, он меня не любит.
Мне это — в сердце нож стальной.
Я вас просить, мой ангел, смею...»
И кинулась к нему на шею,
Стесненной грудью чуть дыша;
И вся зарделась, вся смешалась
Моя красавица-душа;
Слеза на глазках показалась...
Ах, как Луиза хороша!

«Не плачь, спокойся, друг мой милый!
Ведь стыдно плакать наконец, —
Духовный молвил ей отец. —
Бог нам дарит терпенье, силы;
С твоей усердною мольбой
Тебе ни в чем Он не откажет.
Поверь, Ганц дышит лишь тобой;
Поверь, он то тебе докажет.

Зачем же мыслию пустой
Душевный растравлять покой?»

Так утешает он свою Луизу,
Ее к груди дряхлеющей прижав.
Вот старая Гертруда ставит кофий,
Горячий и весь светлый, как янтарь.
Старик любил на воздухе пить кофий,
Держа во рту черешневый чубук;
Дым уходил и кольцами ложился.
И, призадумавшись, Луиза хлебом
Кормила с рук своих кота, который,
Мурлыча, крался, слыша сладкий запах.
Старик привстал с цвеченых старых кресел,
Принес мольбу и руку внучке подал;
И вот надел нарядный свой халат,
Весь из парчи серебряной, блестящей,
И праздничный неношеный колпак, —
Его в подарок нашему пастору
Из города привез недавно Ганц, —
И, опираясь на плечо Луизы
Лилейное, старик наш вышел в поле.
Какой же день! Веселые вились
И пели жаворонки; ходили волны
От ветру золотого в поле хлеба;
Сгустились вот над ними дерева,
На них плоды пред солнцем наливались
Прозрачные; вдали темнели воды
Зеленые; сквозь радужный туман
Неслись моря душистых ароматов;
Пчела-работница срывала мед
С живых цветов; резвунья стрекоза
Треща вилась; разгульная вдали
Неслася песнь, — то песнь гребцов удалых.
Редеет лес, видна уже долина,
По ней мычат игривые стада;
А издали видна уже и кровля
Луизина; краснеют черепицы,
И ярко луч по краям их скользит.

Картина II

Волнуем думой непонятной,
Наш Ганц рассеянно глядел
На мир великий, необъятный,
На свой незнаемый удел.
Доселе тихий, безмятежный,
Он жизнью радостно играл;
Душой невинною и нежной
В ней горьких бед не прозревал;
Земного мира уроженец,
Земных губительных страстей
Он не носил в груди своей,
Беспечный, ветреный младенец.
И было весело ему.
Он разрезвлялся мило, живо
В толпе детей; не верил злу;
Пред ним цвел мир как бы на диво,
Его подруга с детских дней,
Дитя Луиза, ангел светлый,
Блистала прелестью речей;
Сквозь кольца русые кудрей
Лукавый взгляд жег неприметно;
В зеленой юбочке сама,
Поет, танцует ли она —
Все простодушно в ней, все живо,
Все детски в ней красноречиво;
На шейке розовый платок
С груди слетает понемножку,
И стройно белый башмачок
Ее охватывает ножку.
В лесу ль играет вместе с ним —
Его обгонит, все проникнет;
В куст притаясь, с желаньем злым,
Ему вдруг в уши громко крикнет —
И испугает; спит ли он —
Ему лицо все разрисует,
И, звонким смехом пробужден,

Он покидает сладкий сон,
Шалунью резвую целует.

Уходит за весной весна.
Круг детских игр их стал уж скромен, —
Меж ними резвость не видна;
Огонь очей его стал томен,
Она застенчиво-грустна.
Они, понятно, угадали
Вас, речи первые любви!
Покуда сладкие печали!
Покуда радужные дни!
Чего б желать с Луизой милой?
Он с ней и вечер, с ней и день,
К ней привлечен он дивной силой,
Как верно бродящая тень.
Полны сердечного участья,
Не наглядятся старики
Их простодушные на счастье
Своих детей; и далеки
От них дни горя, дни сомнений:
Их осеняет мирный Гений.

Но скоро тайная печаль
Им овладела; взор туманен,
И часто смотрит он на даль,
И беспокоен весь и странен.
Чего-то смело ищет ум,
Чего-то тайно негодует;
Душа, в волненье темных дум,
О чем-то, скорбная, тоскует;
Он как прикованный сидит,
На море буйное глядит;
В мечтанье все кого-то слышит
При стройном шуме ветхих вод.

. . . .

Или в долине ходит думный;
Глаза торжественно блестят,
Когда несется ветер шумный
И громы жарко говорят;
Огонь мгновенный колет тучи;
Дождя источники горючи
Секутся звучно и шумят.
Иль в час полночи, в час мечтаний
Сидит за книгою преданий,
И, перевертывая лист,
Он ловит буквы в ней немые:
Глаголят в них века седые
И слово дивное гремит,
Час углубясь в раздумье целой,
С нее и глаз он не сведет;
Кто мимо Ганца ни пройдет,
Кто ни посмотрит — скажет смело:
Назад далеко он живет.
Чудесной мыслью очарован,
Под дуба сумрачную сень
Идет он часто в летний день,
К чему-то тайному прикован;
Он видит тайно чью-то тень,
И к ней он руки простирает,
Ее в забвенье обнимает.

А простодушна и одна
Луиза-ангел, что же? где же?
Ему всем сердцем предана,
Не знает, бедненькая, сна;
Ему приносит ласки те же;
Его ручонкой обовьет,
Его невинно поцелует;
Он на минуту растоскует
И снова то же запоет.

Они прекрасны, те мгновенья,
Когда прозрачною толпой

Далеко милые виденья
Уносят юношу с собой.
Но если мир души разрушен,
Забыт счастливый уголок,
К нему он станет равнодушен
И для простых людей высок.
Они ли юношу наполнят?
И сердце радостью ль исполнят?

Пока в жилище суеты
Его подслушаем украдкой
Доселе бывшие загадкой
Разнообразные мечты.

Картина III

Земля классических, прекрасных созиданий,
И славных дел, и вольности земля!
Афины, к вам, в жару чудесных трепетаний
Душой приковываюсь я!
Вот от треножников до самого Пирея
Кипит, волнуется торжественный народ;
Где речь Эсхинова, гремя и пламенея,
Все своенравно вслед влечет,
Как воды шумные прозрачного Иллиса.
Велик сей мраморный изящный Парфенон!
Колонн дорических он рядом обнесен;
Минерву Фидий в нем переселил резцом,
И блещет кисть Парразия, Зевксиса.
Под портиком божественный мудрец
Ведет высокое о дольнем мире слово;
Кому за доблести бессмертие готово,
Кому позор, кому венец.
Фонтанов стройных шум, нестройных песней клики;
С восходом дня толпа в амфитеатр валит,
Персидский кандис весь испещренный блестит,
И вьются легкие туники.
Стихи Софокловы порывисто звучат;

Венки лавровые торжественно летят;
С медоточивых уст любимца Эпикура
Архонты, воины, служители Амура
Спешат прекрасную науку изучить:
Как жизнью жить, как наслажденье пить.
Но вот Аспазия! Не смеет и дохнуть
Смятенный юноша, при черных глаз сих встрече.
Как жарки те уста! как пламенны те речи!
И, темные как ночь, те кудри как-нибудь,
   Волнуясь, падают на грудь,
   На беломраморные плечи.
Но что при звуке чаш тимпанов дикий вой?
Плющом увенчаны, вакхические девы
Бегут нестройною, неистовой толпой
В священный лес; все скрылось... что вы? где вы?..

   Но вы пропали, я один.
Опять тоска, опять досада;
Хотя бы Фавн пришел с долин,
Хотя б прекрасная Дриада
Мне показалась в мраке сада.
О, как чудесно вы свой мир
Мечтою, греки, населили!
Как вы его обворожили!
А наш — и беден он, и сир,
И расквадрачен весь на мили.

   И снова новые мечты
Его, смеяся, обнимают;
Его воздушно подымают
Из океана суеты.

Картина IV

   В стране, где сверкают живые ключи;
Где, чудно сияя, блистают лучи;
Дыхание амры и розы ночной
Роскошно объемлет эфир голубой;

И в воздухе тучи курений висят;
Плоды мангустана златые горят;
Лугов Кандагарских сверкает ковер;
И смело накинут небесный шатер;
Роскошно валится дождь яркий цветов, —
То блещут, трепещут рои мотыльков;
Я вижу там Пери: в забвенье она
Не видит, не внемлет, мечтаний полна.
Как солнца два, очи небесно горят;
Как Гемасагара, так кудри блестят;
Дыхание — лилий серебряных чад,
Когда засыпает истомленный сад
И ветер их вздохи развеет порой;
А голос — как звуки сиринды ночной
Или трепетанье серебряных крыл,
Когда ими звукнет, резвясь, Исразил,
Иль плески Хиндары таинственных струй,
А что же улыбка? А что ж поцелуй?
Но вижу, как воздух, она уж летит,
В края поднебесны, к родимым спешит.
Постой, оглянися! Не внемлет она,
И в радуге тонет, и вот не видна.
Но воспоминанье мир долго хранит,
И благоуханьем весь воздух обвит.

. . . .

Живого юности стремленья
Так испестрялися мечты.
Порой небесного черты,
Души прекрасной впечатленья,
На нем лежали; но чего
В волненьях сердца своего
Искал он думою неясной,
Чего желал, чего хотел,
К чему так пламенно летел
Душой и жадною и страстной,
Как будто мир желал обнять, —
Того и сам не мог понять.

Ему казалось душно, пыльно
В сей позаброшенной стране;
И сердце билось сильно, сильно
По дальней, дальней стороне.
Тогда, когда б вы повидали,
Как воздымалась буйно грудь,
Как взоры гордо трепетали,
Как сердце жаждало прильнуть
К своей мечте, мечте неясной;
Какой в нем пыл кипел прекрасной;
Какая жаркая слеза
Живые полнила глаза.

Картина VI

От Висмара в двух милях та деревня,
Где ограничился лиц наших мир.
Не знаю, как теперь, но Люненсдорфом
Она тогда, веселая, звалась.
Уж издали белеет скромный домик
Вильгельма Бауха, мызника. Давно,
Женившися на дочери пастора,
Его состроил он! Веселый домик!
Он выкрашен зеленой краской, крыт
Красивою и звонкой черепицей;
Вокруг каштаны старые стоят,
Нависши ветвями, как будто в окна
Хотят продраться; из-за них мелькает
Решетка из прекрасных лоз, красиво
И хитро сделана самим Вильгельмом;
По ней висит и змейкой вьется хмель;
С окна протянут шест, на нем белье
Блистает белое пред солнцем. Вот
В пролом на чердаке толпится стая
Мохнатых голубей; протяжно клохчут
Индейки; хлопая, встречает день
Крикун петух, и по двору вот важно,
Меж пестрых кур, он кучи разгребает

Зернистые; гуляют тут же две
Ручные козы и, резвяся, щиплют
Душистую траву. Давно курился
Уж дым из белых труб, курчаво он
Вился и облака приумножал.
С той стороны, где с стен валилась краска
И серые торчали кирпичи,
Где древние каштаны стлали тень,
Которую перебегало солнце,
Когда вершину их ветр резво колыхал, —
Под тенью тех деревьев вечно милых
Стоял с утра дубовый стол, весь чистой
Покрытый скатертью и весь уставлен
Душистой яствой: желтый вкусный сыр.
Редис и масло в фарфоровой утке,
И пиво, и вино, и сладкий бишеф,
И сахар, и коричневые вафли;
В корзине спелые, блестящие плоды:
Прозрачный грозд, душистая малина,
И, как янтарь, желтеющие груши,
И сливы синие, и яркий персик,
В затейливом виднелось все порядке.
Сегодня праздновал живой Вильгельм
Рожденье дорогой своей супруги —
С пастором и драгими дочерьми:
Луизой старшей и меньшою Фанни.
Но Фанни нет, она давно пошла
Звать Ганца и не возвращалась. Верно,
Он где-нибудь опять в раздумье бродит.
А милая Луиза все глядит
Внимательно на темное окно
Соседа Ганца. Два шага всего ведь
К нему; но не пошла моя Луиза:
Чтоб не заметил он в ее лице
Тоски докучливой, чтоб не прочел
В ее глазах он едкого упрека.
Вот говорит Вильгельм, отец, Луизе:
«Смотри, ты Ганца пожури порядком:

Зачем он к нам так долго не идет?
Ведь ты его сама избаловала».
И вот дитя Луиза так в ответ:
«Боюсь журить прекрасного я Ганца:
И без того он болен, бледен, худ...»
«Что за болезнь, — сказала мать,
Живая Берта, — не болезнь, тоска
Незваная к нему сама пристала,
Вот женится, и отпадет тоска.
Так молодой побег, совсем приглохший,
Опрыснутый дождем, вмиг зацветет;
И что ж жена, как не веселье мужа?»
«Речь умная, — седой пастор примолвил, —
Все, верь, пройдет, когда захочет Бог,
И будь во всем Его святая воля».
Уже два раза он из трубки выбивал
Золу и в спор вступал с Вильгельмом,
Разговорясь про новости газет,
Про злой неурожай, про греков и про турок,
Про Мисолунги, про дела войны,
Про славного вождя Колокотрони,
Про Канинга, про парламент,
Про бедствия и мятежи в Мадрите.
Как вдруг Луиза вскрикнула и мигом,
Увидя Ганца, бросилась к нему.
Воздушный стан ее обнявши стройный,
С волненьем юноша ее поцеловал.
Оборотясь к нему, вот молвит пастор:
«Эх, стыдно, Ганц, забыть своего друга!
Да что, коли уже забыл Луизу,
Об нас ли, стариках, и думать?» — «Полно
Тебе все Ганца, папенька, журить, —
Сказала Берта, — лучше сядем мы
Теперь за стол, не то простынет все:
И каша с рисом и вином душистым,
И сахарный горох, каплун горячий,
Зажаренный с изюмом в масле». Вот
За стол они садятся мирно;

И скоро вмиг вино все оживило
И, светлое, смех в душу пролило.
Старик скрыпач и Фриц на звонкой флейте
Согласно грянули хозяйке в честь.
Все понеслись и закружились в вальсе.
Развеселясь, румяный наш Вильгельм
Пустился сам с своей женой, как с павой;
Как вихорь, несся Ганц с своей Луизой
В бурливом вальсе; и пред ними мир
Вертелся весь в чудесном, шумном строе.
А милая Луиза ни дохнуть,
Ни посмотреть вокруг не может, вся
В движенье потерялась. Ими
Не налюбуясь, говорит пастор:
«Любезная, прекрасная чета!
Мила моя веселая Луиза,
Прекрасен, и умен, и скромен Ганц;
Сотворены они уж друг для друга
И счастливо свою жизнь проведут.
Благодарю Тебя, о Боже милосердый!
Что ниспослал на старость благодать,
Мои продлил дряхлеющие силы —
Чтобы узреть таких прекрасных внучат,
Чтобы сказать, прощаясь с ветхим телом:
Прекрасное я видел на земли».

Картина VII

С прохладою спокойный тихий вечер
Спускается; прощальные лучи
Целуют где-то сумрачное море;
И искрами живыми, золотыми
Деревья тронуты; и вдалеке
Виднеют, сквозь туман морской, утесы,
Все разноцветные. Спокойно все.
Пастушьих лишь рожков унывный голос
Несется вдаль с веселых берегов,
Да тихий шум в воде всплеснувшей рыбы

Чуть пробежит и вздернет море рябью,
Да ласточка, крылом черпнувши моря,
Круги по воздуху, скользя, дает.
Вот заблестел вдали, как точка, катер;
А кто же в нем, в том катере, сидит?
Сидит пастор, наш старец седовласый,
И с дорогой супругою Вильгельм;
А резвая всегда шалунья Фанни,
С удой в руках и свесившись с перил,
Смеясь, ручонкою болтала волны;
Возле кормы с Луизой милой Ганц.
И долго все в молчанье любовались,
Как за кормой широкая ходила
Волна и в брызгах огнецветных, вдруг
Веслом разорванная, трепетала;
Как разъяснялась розовая дальность
И южный ветр дыханье навевал.
И вот пастор, исполнен умиленья,
Проговорил: «Как мил сей Божий вечер!
Прекрасен, тих он, как благая жизнь
Безгрешного; она ведь также мирно
Кончает путь, и слезы умиленья
Священный прах, прекрасные, кропят.
Пора и мне уж; срок назначен,
И скоро, скоро я не буду ваш,
Но эдак ли прекрасно опочию?..»
Все прослезились. Ганц, который песню
Наигрывал на сладостном гобое,
Задумался и выронил гобой;
И снова сон какой-то осенил
Его чело; далеко мчались мысли,
И чудное на душу натекло.
И вот ему так говорит Луиза:
«Скажи мне, Ганц, когда еще ты любишь
Меня, когда я пробудить могу
Хоть жалость, хоть живое состраданье
В душе твоей, не мучь меня, скажи, —
Зачем один с какой-то книгой

Ты ночь сидишь? (Мне видно все,
И окнами ведь друг мы против друга.)
Зачем дичишься всех? Зачем грустишь?
О, как меня твой грустный вид тревожит!
О, как меня печаль твоя печалит!»
И, тронутый, смутился Ганц;
Ее к груди с тоскою прижимает,
И брызнула невольная слеза.
«Не спрашивай меня, моя Луиза,
И беспокойством сим тоски не множь.
Когда ж кажусь погружен в мысли —
Верь, занят и тогда тобой одною,
И думаю я, как бы отвратить
Все от тебя печальные сомненья,
Как радостью твое наполнить сердце,
Как бы души твоей хранить покой,
Оберегать твой детский сон невинный:
Чтобы недоброе не приближалось,
Чтобы и тень тоски не прикасалась,
Чтоб счастие твое всегда цвело».
Спустясь к нему головкою на грудь,
В избытке чувств, в признательности сердца,
Ни слова вымолвить она не может.
По берегу неслася лодка плавно
И вдруг причалила. Все вышли
Вмиг из нее. «Ну! берегитесь, дети, —
Сказал Вильгельм, — здесь сыро и роса,
Чтоб не нажить несносного вам кашля».
Дорогой Ганц наш мыслит: «Что же будет,
Когда услышит то, чего и знать бы
Не должно ей?» И на нее глядит,
И чувствует он в сердце укоризну:
Как будто бы недоброе что сделал,
Как будто бы пред Богом лицемерил.

Картина VIII

На башне бьет час полуночный.
Так, это час, час дум урочный,
Как Ганц один всегда сидит!
Свет лампы перед ним дрожит
И бледно сумрак освещает,
Как бы сомненье разливает.
Все спит. Ничей блудящий взор
На поле никого не встретит;
И, как далекий разговор,
Волна шумит, а месяц светит.
Все тихо, дышит ночь одна.
Теперь его глубоких дум
Не потревожит дневный шум:
Над ним такая ж тишина.

А что ж она? Встает она,
Садится прямо у окна:
«Он не посмотрит, не приметит,
А насмотрюсь я на него;
Не спит для счастья моего!..
Благослови, Господь, его!»

Волна шумит, а месяц светит.
И вот над нею вьется сон
И голову невольно клонит.
Но Ганц все так же в мыслях тонет,
В глубь их далеко погружен.

1

Все решено. Теперь ужели
Мне здесь душою погибать?
И не узнать иной мне цели?
И цели лучшей не сыскать?
Себя обречь бесславью в жертву?
При жизни быть для мира мертву?

2

Душой ли, славу полюбивший,
Ничтожность в мире полюбить?
Душой ли, к счастью не остывшей,
Волненья мира не испить?
И в нем прекрасного не встретить?
Существованья не отметить?

3

Зачем влечете так к себе вы,
Земли роскошные края?
И день и ночь, как птиц напевы,
Призывный голос слышу я;
И день и ночь мечтами скован,
Я вами, вами очарован.

4

Я ваш! я ваш! из сей пустыни
Вниду я в райские места;
Как пилигрим бредет к святыне,

. . . .

Корабль пойдет, забрызжут волны;
Им чувства вслед, веселья полны.

5

И он спадает, покров неясный,
Под коим знала вас мечта,
И мир прекрасный, мир прекрасный
Отворит дивные врата,
Приветить юношу готовый
И в наслажденьях вечно новый.

6

Творцы чудесных впечатлений!
Резец ваш, кисть увижу я,
И ваших пламенных творений

Душа исполнится моя.
Шуми ж, мой океан широкий!
Неси корабль мой одинокий!

7

А ты прости, мой угол тесный,
И лес, и поле! луг, прости!
Кропи вас чаще дождь небесный!
И дай Бог долее цвести!
По вас душа как будто страждет,
В последний раз обнять вас жаждет.

8

Прости, мой ангел безмятежный!
Чела слезами не кропи!
Не предавайсь тоске мятежной
И Ганца бедного прости!
Не плачь, не плачь, я скоро буду,
Я возвращусь — тебя ль забуду?..

Картина IX

Кто это позднею порой
Ступает тихо, осторожно?
Видна котомка за спиной,
Посох за поясом дорожный.
Направо домик перед ним,
Налево дальняя дорога,
Идти путем он хочет сим
И просит твердости у Бога.
Но, мукой тайною томим,
Назад он ноги обращает,
И в домик тот он поспешает.

Одно окно открыто в нем;
Облокотясь, пред тем окном
Краса-девица почивает,
И, вея ветр над ней крылом,

Ей сны чудесные внушает;
И, ими милая полна,
Вот улыбается она.
С душеволненьем к ней подходит...
Стеснилась грудь, дрожит слеза...
И на прекрасную наводит
Свои блестящие глаза.
Он наклонился к ней, пылает,
Ее целует и стенает.

И, вздрогнув, быстро он бежит
Опять дорогою далекой;
Но мрачен неспокойный вид,
Но грустно в сей душе глубокой.
Вот оглянулся он назад.
Но уж туман окрестность кроет,
И пуще юноши грудь ноет,
Прощальный посылая взгляд.
Ветр, пробудившися, суровой
Качнул зеленою дубровой.
Исчезло все в дали пустой.
Сквозь сон лишь смутною порой
Готлиб, привратник, будто слышал,
Что из калитки кто-то вышел,
Да верный пес, как бы в укор,
Пролаял звучно на весь двор.

Картина X

Не всходит долго светлый вождь.
Ненастно утро; на поляны
Валятся серые туманы;
Звенит по кровлям частый дождь.
С зарей красавица проснулась;
Сама дивится, что она
Проспала ночь всю у окна.
Поправив кудри, улыбнулась,
Но, против воли, взор живой

Блеснул досадною слезой.
«Что Ганц так долго не приходит?
Он обещал мне быть чуть свет.
Какой же день! тоску наводит;
Туман густой по полю ходит,
И ветр свистит; а Ганца нет».

Полна живого нетерпенья,
Глядит на милое окно:
Не отворяется оно.
Ганц, верно, спит, и сновиденья
Ему творят любой предмет;
Но день давно уж. Рвут долины
Ручьи дождя; дубов вершины
Шумят; а Ганца нет как нет.

Уж скоро полдень. Неприметно
Туман уходит; лес молчит;
Гром в размышлении гремит
Вдали... Дугою семицветной
Горит на небе райский свет;
Унизан искрами дуб древний;
И песни звонкие с деревни
Звучат; а Ганца нет как нет.

Что б это значило?.. находит
Злодейка грусть; слух утомлен
Считать часы... Вот кто-то входит...
И в дверь... Он! он!.. ах, нет, не он!
В халате розовом покойном,
В цветном переднике с каймой,
Приходит Берта: «Ангел мой!
Скажи, что сделалось с тобой?
Ты ночь всю спала беспокойно;
Ты вся томна, ты вся бледна.
Не дождь ли помешал шумливый?
Или ревущая волна?
Или петух, буян крикливый,

Всю ночь не ведающий сна?
Иль потревожил дух нечистый
Во сне покой девицы чистой,
Навеял черную печаль?
Скажи, тебя всем сердцем жаль!»

«Нет, не мешал мне дождь шумливый,
И не ревущая волна,
И не петух, буян крикливый,
Всю ночь не ведающий сна;
Не эти сны, не те печали
Мне грудь младую взволновали,
Не ими дух мой возмущен,
Иной мне снился дивный сон.

Мне снилось: в темной я пустыне,
Вокруг меня туман и глушь.
И на болотистой равнине
Нет места, где была бы сушь.
Тяжелый запах; топко, вязко;
Что шаг, то бездна подо мной:
Боюся я ступить ногой;
И вдруг мне сделалось так тяжко,
Так тяжко, что нельзя сказать...
Где ни возьмись Ганц, дикий, странный —
Бежала кровь, струясь из раны, —
Вдруг начал надо мной рыдать;
Но вместо слез лились потоки
Какой-то мутныя воды...
Проснулась я: на грудь, на щеки,
На кудри русой головы
Бежал ручьями дождь досадный;
И было сердцу не отрадно.
Меня предчувствие берет...
И я кудрей не выжимала;
И я все утро тосковала;
Где он? и что с ним? что нейдет?

Стоит, качает головою,
Разумная, пред нею мать:
«Ну, дочка! мне с твоей бедою,
Не знаю, как уж совладать.
Пойдем к нему, узнаем сами,
Да будь святая сила с нами!»

Вот входят в комнату оне;
Но в ней все пусто. В стороне
Лежит, в густой пыли, том давний,
Платон и Шиллер своенравный,
Петрарка, Тик, Аристофан
Да позабытый Винкельман;
Куски изодранной бумаги;
На полке — свежие цветы;
Перо, которым, полн отваги,
Передавал свои мечты.
Но на столе мелькнуло что-то.
Записка!.. с трепетом взяла
Луиза в руки. От кого-то?
К кому?.. И что ж она прочла?..
Язык лепечет странно пени...
И вдруг упала на колени;
Ее кручина давит, жжет,
Гробовый холод в ней течет.

Картина XI

Ты посмотри, тиран жестокий,
На грусть убитыя души!
Как вянет цвет сей одинокий,
Забытый в пасмурной глуши!
Вглядись, вглядись в свое творенье:
Ее ты счастия лишил
И жизни радость претворил
В тоску ей, в адское мученье,
В гнездо разоренных могил.
О, как она тебя любила!
С каким восторгом чувств живым

Простые речи говорила!
И как внимал речам ты сим!
Как пламенен и как невинен
Был этот блеск ее очей!
Как часто ей, в тоске своей,
Тот день казался скучен, длинен,
Когда, раздумью предана,
Тебя не видела она.
И ты ль, и ты ль ее оставил?
Ты ль отвернулся от всего?
В страну чужую путь направил.
И для кого? и для чего?
Но посмотри, тиран жестокий:
Она все так же, под окном,
Сидит и ждет в тоске глубокой,
Не промелькнет ли милый в нем.
Уж гаснет день; сияет вечер;
На все наброшен дивный блеск;
Прохладный вьется в небе ветер;
Волны чуть слышен дальний плеск.
Уже ночь тени настилает;
Но запад все еще сияет,
Свирель чуть льется; а она
Сидит недвижно у окна.

Ночные видения

Темнеет, тухнет вечер красный;
Спит в упоении земля;
И вот на наши уж поля
Выходит важно месяц ясный.
И все прозрачно, все светло;
Сверкает море, как стекло.

В небе чудные вот тени
Развилися и свились,
И чудесно понеслись
На небесные ступени.
Прояснилось: две свечи;

Двое рыцарей косматых;
Два зубчатые мечи
И чеканенные латы;
Что-то ищут; стали в ряд.
И зачем-то переходят,
И дерутся, и блестят,
И чего-то не находят...
Все пропало, слилось с тьмой;
Светит месяц над водой.

Блистательно всю рощу оглашает
Царь соловей. Звук тихо разнесен.
Чуть дышит ночь; земля сквозь сон
Мечтательно певцу внимает.
Лес не колышется; все спит,
Лишь вдохновенна песнь звучит.

Показался дивной феи
Слитый с воздуха дворец:
И в окне поет певец
Вдохновенные затеи.
На серебряном ковре,
Весь затканный облаками,
Чудный дух летит в огне,
Север, юг покрыл крылами.
Видит: фея спит в плену
За решеткою хоральной;
Перламутную стену
Рушит он слезой хрустальной.
Обнялись... слилися с тьмой...
Светит месяц над водой.

Сквозь пар окрестность чуть сверкает.
Какую кучу тайных дум
Наводит моря странный шум!
Огромный кит спиной мелькает:
Рыбак закутался и спит;
А море все шумит, шумит.

Вот из моря молодые
Девы чудные плывут;
Голубые, огневые,
Волны белые гребут.
Призадумавшись, колышет
Грудь лилейную вода,
И красавица чуть дышит...
И роскошная нога
Стелет брызги в два ряда...
Улыбается, хохочет,
Страстно манит и зовет,
И задумчиво плывет,
Будто хочет и не хочет,
И задумчиво поет
Про себя, младу сирену,
Про коварную измену.
А на тверди голубой
Светит месяц над водой.

Вот в стороне глухой кладбище:
Ограда ветхая кругом,
Кресты, каменья... скрыто мхом
Немых покойников жилище.
Полет да крики только сов
Тревожит сон пустых гробов.

Подымается протяжно
В белом саване мертвец.
Кости пыльные он важно
Отирает, молодец.
С чела давнего хлад веет,
В глазе палевый огонь,
И под ним великий конь,
Необъятный, весь белеет
И все более растет,
Скоро небо обоймет;
И покойники с покою
Страшной тянутся толпою.

Земля колеблется и — бух
Тени разом в бездну... Уф!

И стало страшно ей; мгновенно
Она прихлопнула окно.
Все в сердце трепетом смятенно,
И жар и дрожь попеременно
По нем текут. В тоске оно.
Внимание развлечено.
Когда рукою беспощадной
Судьба надвинет камень хладный
На сердце бедное — тогда,
Скажите, кто рассудку верен?
Чья против зол душа тверда?
Кто вечно тот же завсегда?
В несчастье кто не суеверен?
Кто крепкой не бледнел душой
Перед ничтожною мечтой?

С боязнью, с горестию тайной
В постель кидается она;
Но ждет напрасно в ложе сна.
В тьме прошумит ли что случайно,
Скребунья-мышь ли пробежит, —
От вежд коварный сон летит.

Картина XIII

Печальны древности Афин.
Колонн, статуй ряд обветшалый
Среди глухих стоит равнин.
Печален след веков усталых:
Изящный памятник разбит,
Изломлен немощный гранит,
Одни обломки уцелели.
Еще доныне величав,
Чернеет дряхлый архитрав,
И вьется плющ по капители;

Упал расщепленный карниз
В давно заглохшие окопы.
Еще блестит сей дивный фриз,
Сии рельефные метопы;
Еще доныне здесь грустит
Коринфский орден многолепный, —
Рой ящериц по нем скользит, —
На мир с презреньем он глядит;
Все тот же он великолепный,
Времен минувших вдавлен в тьму,
И без вниманья ко всему.

Печальны древности Афин.
Туманен ряд былых картин.
Облокотясь на мрамор хладный,
Напрасно путник алчет жадный
В душе былое воскресить,
Напрасно силится развить
Протекших дел истлевший свиток, —
Ничтожен труд бессильных пыток;
Везде читает смутный взор
И разрушенье и позор.
Промеж колонн чалма мелькает,
И мусульманин по стенам,
По сим обломкам, камням, рвам,
Коня свирепо напирает,
Останки с воплем разоряет.
Невыразимая печаль
Мгновенно путника объемлет,
Души он тяжкий ропот внемлет;
Ему и горестно и жаль,
Зачем он путь сюда направил.
Не для истлевших ли могил
Кров безмятежный свой оставил,
Покой свой тихий позабыл?
Пускай бы в мыслях обитали
Сии воздушные мечты!
Пускай бы сердце волновали

Зерцалом чистой красоты!
Но и убийственно и хладно
Разворожились вы теперь;
Безжалостно и беспощадно
Пред ним захлопнули вы дверь,
Сыны существенности жалкой,
Дверь в тихий мир мечтаний, жаркой! —
И грустно, медленной стопой
Руины путник покидает;
Клянется их забыть душой,
И все невольно помышляет
О жертвах бренности слепой.

Картина XVI

Ушло два года. В мирном Люненсдорфе
По-прежнему красуется, цветет;
Все те ж заботы, и забавы те же
Волнуют жителей покойные сердца.
Но не по-прежнему в семье Вильгельма:
Пастора уж давно на свете нет.
Окончив путь и тягостный и трудный,
Не нашим сном он крепко опочил.
Все жители останки провожали
Священные с слезами на глазах;
Его дела, поступки поминали:
Не он ли нам спасением служил?
Нас наделял своим духовным хлебом,
В словах добру прекрасно поучая?
Не он ли был утехою скорбящих,
Сирот и вдов нетрепетным щитом?
В день праздничный как кротко он, бывало,
Всходил на кафедру! и с умиленьем
Нам говорил про мучеников чистых,
Про тяжкие страдания Христовы,
А мы ему, растроганны, внимали,
Дивилися и слезы проливали.

От Висмара когда кто держит путь,
Встречается налево от дороги
Ему кладбище: старые кресты
Склонилися, обшиты мхом
И времени изведены резцом.
Но промеж них белеет резко урна
На черном камне, и над ней смиренно
Два явора зеленые шумят,
Далеко хладной обнимая тенью.
Тут бренные покоятся останки
Пастора. Вызвались на свой же счет
Соорудить над ним благие поселяне
Последний знак его существованья
В сем мире. Надпись с четырех сторон
Гласит, как жил, и сколько мирных лет
Провел на пастве, и когда оставил
Свой долгий путь и Богу дух вручил.

И в час, когда стыдливый развивает
Румяные восток свои власы,
Подымется по полю свежий ветер,
Посыплется алмазная роса,
В своих кустах малиновка зальется,
Полсолнца на земле, всходя, горит, —
К нему идут младые поселянки
С гвоздиками и розами в руках.
Увешают душистыми цветами,
Гирляндою зеленой обовьют —
И снова в путь назначенный идут.
Из них одна, младая, остается
И, опершись лилейною рукой,
Над ним сидит в раздумье долго, долго,
Как будто бы о непостижном мыслит.
В задумчивой, скорбящей деве сей
Кто б не узнал печальныя Луизы?
Давно в глазах веселье не блестит,
Не кажется невинная усмешка
В ее лице; не пробежит по нем,

Хотя ошибкой, радостное чувство;
Но как мила она и в грусти томной!
О, как возвышенен невинный этот взгляд!
Так светлый серафим тоскует
О пагубном паденье человека.
Мила была счастливая Луиза,
Но как-то мне в несчастии милее.
Осьмнадцать лет тогда минуло ей,
Когда преставился пастор разумный,
Всей детскою она своей душой
Богоподобного любила старца;
И думает в душевной глубине:
«Нет, не сбылись живые упованья
Твои. Как, добрый старец, ты желал
Нас обвенчать перед святым налоем,
Навеки наш союз соединить.
Как ты любил мечтательного Ганца!
А он...»

Заглянем в хижину Вильгельма.
Уж осень. Холодно. И дома он
Вытачивал с искусством хитрым кружки
Из крепкого с слоями бука,
Затейливой резьбою украшая;
У ног его, свернувшися, лежал
Любимый друг, товарищ верный, Гектор.
А вот разумная хозяйка Берта
С утра уже заботливо хлопочет
О всем. Толпится так же под окном
Гусей ватага долгошейных; так же
Неугомонные кудахчут куры;
Чиликают нахалы воробьи,
Весь день в навозной куче роясь.
Видали уж красавца снегиря;
И осенью давно запахло в поле,
И пожелтел давно зеленый лист,
И ласточки давно уж отлетели
За дальние, роскошные моря.

Кричит разумная хозяйка Берта:
«Так долго не годится быть Луизе!
Темнеет день. Теперь не то, что летом;
Уж сыро, мокро, и густой туман
Так холодом всего и пронимает.
Зачем бродить? беда мне с этой девкой;
Не выкинет она из мыслей Ганца;
А Бог знает, он жив ли или нет».
Не то совсем раздумывает Фанни,
За пяльцами сидя в своем углу.
Шестнадцать лет ей, и, полна тоски
И тайных дум по идеальном друге,
Рассеянно, невнятно говорит:
«И я бы так, и я б его любила».

Картина XVII

Унывна осени пора;
Но день сегодняшний прекрасен:
На небе волны серебра,
И солнца лик блестящ и ясен.
Один дорогой почтовой
Бредет, с котомкой за спиной,
Печальный путник из чужбины,
Уныл, и томен он, и дик,
Идет согнувшись, как старик;
В нем Ганца нет и половины.
Полупотухший бродит взор
По злачным холмам, желтым нивам,
По разноцветной цепи гор.
Как бы в забвении счастливом,
Его касается мечта;
Но мысль не тем уж занята:
Он в думы крепкие погружен;
Ему покой теперь бы нужен.

Прошел он дальний, видно, путь;
Страдает больно, видно, грудь;

Душа страдает, жалко ноя;
Ему теперь не до покоя.

О чем же думы крепки те?
Дивится сам он суете:
Как был измучен он судьбою;
И зло смеется над собою,
Что поверял своей мечтой
Свет ненавистный, слабоумной;
Что задивился в блеск пустой
Своей душою неразумной;
Что, не колеблясь, смело он
Сим людям кинулся в объятья
И, околдован, охмелен,
В их злые верил предприятья.
Как гробы, холодны они;
Как тварь презреннейшая, низки;
Корысть и почести одни
Им лишь и дороги и близки.
Они позорят дивный дар:
И попирают вдохновенье,
И презирают откровенье;
Их холоден притворный жар,
И гибельно их пробужденье.
О, кто б нетрепетно проник
В их усыпительный язык!
Как ядовито их дыханье!
Как ложно сердца трепетанье!
Как их коварна голова!
Как пустозвучны их слова!

И много истин он, печальный,
Теперь изведал и узнал,
Но сам счастливее ли стал
Во глубине души опальной?
Лучистой дальнею звездой
Его влекла, тянула слава,
Но ложен чад ее густой,
Горька блестящая отрава.

Склоняется на запад день,
Вечерняя длиннеет тень.
И облаков блестящих, белых
Ярчее алые края;
На листьях темных, пожелтелых
Сверкает золота струя.
И вот завидел странник бедный
Свои родимые луга.
И взор мгновенно вспыхнул бледный,
Блеснула жаркая слеза.
Рой прежних тех забав невинных
И тех проказ, тех дум старинных —
Все разом налегло на грудь
И не дает ему дохнуть.
И мыслит он: «Что это значит?..»
И, как ребенок слабый, плачет.

Дума

Благословен тот дивный миг,
Когда в поре самопознанья,
В поре могучих сил своих
Тот, Небом избранный, постиг
Цель высшую существованья;
Когда не грез пустая тень,
Когда не славы блеск мишурный
Его тревожит ночь и день,
Его влекут в мир шумный, бурный;
Но мысль, и крепка и бодра,
Его одна объемлет, мучит
Желаньем блага и добра;
Его трудам великим учит.
Для них он жизни не щадит.
Вотще безумно чернь кричит:
Он тверд средь сих живых обломков.
И только слышит, как шумит
Благословение потомков.

Когда ж коварные мечты
Взволнуют жаждой яркой доли,
А нет в душе железной воли,
Нет сил стоять средь суеты, —
Не лучше ль в тишине укромной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скромной
И шуму света не внимать?

Картина XVIII

Выходят звезды плавным хором,
Обозревают кротким взором
Опочивающий весь мир;
Блюдут сон тихий человека,
Ниспосылают добрым мир,
А злым — яд гибельный упрека.
Зачем же, звезды, грустным вы
Не посылаете покоя?
Для горемычной головы
Вы — радость, и, на вас покоя
Свой грустный, стосковалый взор,
Страстей он слышит разговор
В душе, и вас он призывает,
И вам он пени поверяет.
По-прежнему всегда томна,
Еще Луиза не разделась;
Не спится ей; в мечтах она
На ночь осенню загляделась.
Предмет и тот же, и один...
И вот восторг к ней в душу входит:
Песнь стройную она заводит,
Звучит веселый клавесин.

Внимая шуму листопада,
Промеж деревьев, где сквозит
Из стен решетчатых ограда,
В забвенье сладостном, у сада,

Наш Ганц, закутавшись, стоит.
И что же с ним, когда он звуки
Давно знакомые узнал —
И голос тот, со дня разлуки
Что долго, долго не слыхал,
И песню ту, что в страсти жаркой,
В любви, в избытке дивных сил,
Под строй души в напевах яркой,
Ее, восторженный, сложил?
Чрез сад она звенит, несется
И в упоенье тихом льется:

Тебя зову! тебя зову!
Твоей улыбкою чаруюсь,
С тобой не час, не два сижу,
С тебя очей я не свожу:
Дивуюся, не надивуюсь.

* * *

Поешь ли ты — и звон речей
Твоих, таинственный, невинный,
Ударит в воздух ли пустынный —
Звук в небе льется соловьиный,
Гремит серебряный ручей.

* * *

Приди ко мне, прижмись ко мне
В жару чудесного волненья.
Пылает сердце в тишине;
Они горят, они в огне,
Твои покойные движенья.

* * *

Я без тебя грущу, томлюсь,
И позабыть тебя нет силы.
И пробуждаюсь ли, ложусь —

Все о тебе молюсь, молюсь,
Все о тебе, мой ангел милый.

* * *

И вот почудилося ей:
Чудесным заревом очей
Возле нее блистает кто-то,
И слышит вздох она кого-то,
И страх и дрожь ее берет...
И оглянулась...
«Ганц!..»
О, кто поймет
Всю эту радость чудной встречи!
И взоров пламенные речи!
И этот чувств счастливый гнет!
О, кто так пламенно опишет
Сию душевную волну,
Когда она грудь рвет и пышет,
Терзает сердца глубину,
А сам дрожишь, в веселье млеешь,
Ни дум, ни слов найти не смеешь;
В восторге, в куче сладких мук
Сольешься в стройный, светлый звук!

Опомнясь, Ганц глядит сквозь слезы
В глаза подруги своея;
И мыслит: «Полно, это грезы;
Пусть же не просыпаюсь я.
Она все та ж, и так любила
Меня всей детскою душой!
Чело печалию накрыла,
Румянец свежий иссушила,
Губила век свой молодой;
А я, безумный, бестолковой,
Летел искать кручины новой!..»
И спал страданий тяжкий сон
С его души; живой, спокойный,

Переродился снова он.
На время бурей возмущен,
Так снова блещет мир наш стройный;
В огне закаленный булат
Так снова ярче во сто крат.

Пируют гости, рюмки, чаши
Кругом обходят и гремят;
И старики болтают наши,
И в танцах юноши кипят.
Звучит протяжным, шумным громом
Музыка яркая весь день;
Ворочает веселье домом,
Гостеприимно блещет сень.
И поселянки молодые
Чету влюбленную дарят:
Несут фиалки голубые,
Несут им розы огневые,
Их убирают и шумят:
«Пусть век цветут их дни младые,
Как те фиалки полевые!
Сердца любовью да горят,
Как эти розы огневые!»

И в упоенье, в неге чувств
Заране юноша трепещет —
И светлый взор весельем блещет;
И беспритворно, без искусств,
Оковы сбросив принужденья,
Вкушает сердце наслажденья.
И вас, коварные мечты,
Боготворить уж он не станет, —
Земной поклонник красоты.
Но что ж опять его туманит?
(Как непонятен человек!)
Прощаясь с ними он навек, —
Как бы по старом друге верном,
Грустит в забвении усердном.

Так в заключенье школьник ждет,
Когда желанный срок придет.
Лета к концу его ученья —
Он полон дум и упоенья,
Мечты воздушные ведет:
Он независимый, он вольный,
Собой и миром всем довольный,
Но, расставаяся с семьей,
Своих товарищей, душой
Делил с кем шалость, труд, покой, —
И размышляет он, и стонет,
И с невыразною тоской
Слезу невольную уронит.

Эпилог

В уединении, в пустыне,
В никем не знаемой глуши,
В моей неведомой святыне,
Так созидаются отныне
Мечтанья тихие души.
Дойдет ли звук подобно шуму,
Взволнует ли кого-нибудь,
Живую юноши ли думу
Иль девы пламенную грудь?
Веду с невольным умиленьем
Я песню тихую мою
И с неразгаданным волненьем
Свою Германию пою.
Страна высоких помышлений!
Воздушных призраков страна!
О, как тобой душа полна!
Тебя обняв, как некий Гений,
Великий Гете бережет,
И чудным строем песнопений
Светает облако забот.

<Две главы из малороссийской повести «Страшный кабан»>

<I>
Учитель

Прибытие нового лица в благословенные места голтвянские наделало более шуму, нежели пронесшиеся за два года пред тем слухи о прибавке рекрут, нежели внезапно поднявшаяся цена на соль, вывозимую из Крыма украинскими степовиками. В шинке, на улицах, на мельнице, в винокурне только и речей было что про приезжего учителя. Догадливые политики в серых кобеняках и свитах, пуская дым себе под нос с самым флегматическим видом, пытались определить влияние такого лица, которому судьба, казалось, при рождении указала высоту, чуть-чуть не над головами всех мирян, которое живет в панских покоях и обедает за одним столом с обладательницею пятидесяти душ их селения. Поговаривали, что звания учителя для него мало, что, без всякого сомнения, влияние его будет накинуто и на хозяйственную систему; по крайней мере, уже верно, не от другого кого-либо будет зависеть наряжение подвод, отпуск муки, сала и проч. Некоторые со значительным видом давали заметить, что едва ли и сам приказчик не будет теперь нулем. Один только *мирошник*[1], Солопий Чубко, дерзнул утверждать, что старшинам со стороны его нечего опасаться, что готов он держать заклад об новой шапке из серых решетиловских смушков, если смыслит учитель, как остановить пятерню и поворотить застоявшийся жернов. Но важная осанка, блистательное торжество над дьячком, громоподобный бас, приведший в умиление всех прихожан, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнение об учителе подтверждалось. И если в честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезные сожительницы их не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который, по неисповедимым велениям судьбы,

[1] Мельник.

у женщин почти вчетверо быстрее поворачивается, нежели у мужчин, они гибко развертывали его в опровержение и защиту достоинств учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемые взвизгиваньем и бранью, раздавались по мирным закоулкам села Мандрык. А как почтеннейшие обитательницы его имели похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицам то и дело что находили кумушек, уцепившихся так плотно друг за друга, как подлипало цепляется за счастливца, как скряга за свой боковой карман, когда улица уходит в глушь и одинокий фонарь отливает потухающий свет свой на палевые стены уснувшего города. Более всего доставалось муженькам, пытавшимся разнимать их: очипки, черепья как град летели им на голову, и часто раздраженная кумушка, в пылу своего гнева, вместо чужого колотила собственного сожителя.

В это время педагог наш почти освоился в доме Анны Ивановны. Он принадлежал к числу тех семинаристов, *убоявшихся бездны премудрости,* которыми * * *ская семинария снабжает не слишком зажиточных панков в Малороссии, рублей за сто в год, в качестве домашнего учителя. Впрочем, Иван Осипович дошел даже до богословия и залетел бы невесть куда, вероятно еще далее, если бы не шалуны его товарищи, которые беспрестанно подсмеивались над усами и колючею его бородой. С годами, когда одни выходили совсем, а на место их поступали моложе и моложе, — ему, наконец, не давали прохода: то бросали цепким репейником в бороду и усы, то привешивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову песком или подсыпали в табакерку его чемерки, так что Иван Осипович, наскуча быть безмолвным зрителем беспрестанно менявшегося ветреного поколения и детской игрушкой, принужден был бросить семинарию и определиться на *ваканцию*[1].

Перемещение это сделало важную эпоху и перелом в его жизни. Беспрестанные насмешки и проказы шалунов заместило наконец какое-то почтение, какая-то особенная приязнь и расположение. Да и как было не почувствовать невольного почтения,

[1] Эти слова в украинских семинариях значат пойти в домашние учители.

когда он появлялся, бывало, в праздник в своем светло-синем сюртуке, — заметьте: в светло-синем сюртуке, это немаловажно. Долгом поставляю надоумить читателя, что сюртук вообще (не говоря уже о синем), будь только он не из смурого сукна, производит в селах, на благословенных берегах Голтвы, удивительное влияние: где ни показывается он, там шапки с самых неповоротливых голов перелетают в руки, и солидные, вооруженные черными, седыми усами, загоревшие лица отмеривают в пояс почтительные поклоны. Всех сюртуков, полагая в то число и хламиду дьячка, считалось в селе три; но как величественная тыква гордо громоздится и заслоняет прочих поселенцев богатой *бакши*[1], так и сюртук нашего приятеля затемнял прочих собратьев своих. Более всего придавали ему прелести большие костяные пуговицы, на которые толпами заглядывались уличные ребятишки. Не без удовольствия слышал наш щеголеватый наставник юношества, как матери показывали на них грудным ребятам, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: *«Цяця, цяця!»*[2] За столом приятно было видеть, как чинно, с каким умилением почтенный наставник, завесившись салфеткой, отправлял всеобщий процесс житейского насыщения. Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он, казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как-то: вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил другой раз по тарелке, после чего она выходила чистою, будто из фабрики. Но все это, можно сказать, были только наружные достоинства, выказывавшие в нем знание тонких обычаев света, и читатель даст большой промах, если заключит, что тут-то были и все способности его. Почтенный педагог имел необъятные для простолюдина сведения, из которых иные держал под секретом, как-то: составление лекарства против укушения бешеных собак, искусство окрашивать посредством одной только дубовой коры и острой водки в лучший красный цвет. Сверх того, он собственноручно приготовлял лучшую ваксу и чернила, вырезывал для маленького внучка Анны Ивановны фигурки из бумаги; в зимние вечера мотал мотки и даже прял.

[1] Нива, засеянная арбузами, дынями, тыквами и т. п.

[2] Хорошо, хорошо!

Удивительно ли, если с такими дарованиями сделался он необходимым человеком в доме, если вся дворня была без ума от него, несмотря, что лицо его и окладом и цветом совершенно походило на бутылку, что огромнейший рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши, поминутно строил гримасы, приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имели цвет яркой зелени, — глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен. Но, может быть, женщины видят более нас. Кто разгадает их? Как бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна сведениями учителя в домашнем хозяйстве, в умении делать настойку на шафране и herba rabarbarum, в искусном разматывании мотков и вообще в великой науке жить в свете. Ключнице более всего нравился щегольской сюртук его и уменье одеваться; впрочем, и она заметила, что учитель имел удивительно умильный вид, когда изволил молчать или кушать. Маленького внучка забавляли до чрезвычайности бумажные петухи и человечки. Сам кудлатый Бровко едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы, если только учитель, забыв важность, приличную своему сану, соизволит присесть под величественным фронтоном. Одни только два старшие внука и домашние мальчишки, с которыми проходил он *Аз — Ангел, Архангел, Буки — Бог, Божество, Богородица,* — боялись красноречивых лоз грозного педагога.

В краткое пребывание свое Иван Осипович успел уже и сам сделать свои наблюдения и заключить в голове своей, будто на вогнутом стекле, миньятюрное отражение окружавшего его мира. Первым лицом, на котором остановилось почтительное его наблюдение, как, верно, вы догадаетесь, была сама владетельница поместья. В лице ее, тронутом резкою кистью, которою время с незапамятных времен расписывает род человеческий и которую, Бог знает с каких пор, называют морщиною, в темно-кофейном ее капоте, в чепчике (покрой которого утратился в толпе событий, знаменовавших XVIII столетие), в коричневом шушуне, в башмаках без задков, глаза его узнали тот период жизни, который есть слабое повторение минувших, холодный, бесцветный перевод созданий пламенного, кипящего вечными страстями

поэта, — тот период, когда воспоминание остается человеку как представитель и настоящего, и прошедшего, и будущего, когда роковые шестьдесят лет гонят холод в некогда бившие огненным ключом жилы и термометр жизни переходит за точку замерзания. Впрочем, вечные заботы и страсть хлопотать несколько одушевляли потухшую жизнь в чертах ее, а бодрость и здоровье были верною порукою еще за тридцать лет вперед. Все время от пяти часов утра до шести вечера, то есть до времени успокоения, было беспрерывною цепью занятий. До семи часов утра уже она обходила все хозяйственные заведения, от кухни до погребов и кладовых, успевала побраниться с приказчиком, накормить кур и доморощенных гусей, до которых она была охотница. До обеда, который не бывал позже двенадцати часов, завертывала в пекарню и сама даже пекла хлебы и особенного рода крендели на меду и на яйцах, которых один запах производил непостижимое волнение в педагоге, страстно привязанном ко всему, что питает душевную и телесную природу человека. Время от обеда до вечера мало ли чем заняться хозяйке? — красить шерсть, мерять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способов, секретов, домашних средств производится в это время в действо! От наблюдательного взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславия, и потому положил он за правило рассыпаться, — разумеется, сколько позволяла природная его застенчивость, — в похвалах необыкновенному ее искусству и знанию хозяйничать; и это, как после увидел он, послужило ему в пользу: почтенная старушка до тех пор не закупоривала сладких наливок и варенья, покамест Иван Осипович, отведав, не объявлял превосходной доброты того и другого. Все прочие лица стояли в тени пред этим светилом — так, как все строения во дворе, казалось, пресмыкались пред чудным зданием с великолепным его фронтоном. Только для глаз пронырливого наблюдателя заметны были их взаимные соотношения и особенный колорит, обозначавший каждого, и тогда ему открывалось, словно в муравьином рою, вечное движение, суматоха и ни на минуту не останавливавшийся шум. И педагог наш, как мы уже видели, умел угодить на вкус всех и, как могучий чародей, приковать к себе всеобщее почтение.

Непонятны только были причины, заставившие его сблизиться с кухмистером. Высокое ли уважение, которое Иван Осипович невольно чувствовал к его искусству, другое ли какое обстоятельство — мы этого не беремся решить. Довольно, что не прошло двух дней — и в Мандрыках воскресли Орест и Пилад нового мира. Но еще непонятнее была власть кухмистера над нашим педагогом, так что от природы скромный, застенчивый учитель, не бравший ничего в рот, кроме лекарственной настойки на буквицу и herba rabarbarum, невольно плелся за ним по шинкам и по всем закоулкам, куда разгульный кухмистер наш показывал только нос свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положение его местопребывания. Скоро осмотрел он обступившие в неровный кружок просторный господский двор — кухню, сараи, амбары, конюшни и кладовые, с особенным удовольствием остановился на густо разросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутанные темно-зелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освободясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листам ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лепились около не столь высокопарных жильцов сада, зато увешанных с ног до головы грушами и яблоками, которыми кипит роскошная Украйна. Отсюда продирались они к кухне, за которою стлались плантации гороху, капусты, картофелю и вообще всех зелий, входящих в микстуру деревенской кухни. Не без особенного удовольствия вошел он в чистую, опрятно выбеленную и прибранную комнату, определенную для его помещения, с окошком, глядевшим на пруд и на лиловую, окутанную туманом окрестность.

Мы имели уже случай заметить нечто о влиянии нашего учителя на мандрыковских красавиц: потупленные взгляды, перешептывание, низкие поклоны показывали, что овладение им считала каждая из них немаловажным делом. Впрочем, не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был синий фабричного сукна сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами; итак, ему очень было

простительно перетолковать в свою пользу перемигиванья чернобровых проказниц. Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному человечеству, наносившее ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящий стоик, и, несмотря на то что не дошел еще до *философии*, он твердо знал, что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора * * *ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo, любви не существует. Такие положения, обратившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком тверды... «Homo proponit, Deus disponit», — говаривал часто лектор * * *ской семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателям; а потому и мы в следующей главе увидим небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумения на ум его, доселе неуклонно шествовавший стезею своих великих наставников и бивший ровным пульсом в своей бутылкообразной сфере.

<II>

Успех посольства

(Кухмистер, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную им при виде мывшейся на берегу пруда Катерины, решается исполнить данное им учителю обещание и быть посланником и представителем его страсти. С таким намерением отправляется он в хату козака Харька Потылицы.)

Окончив туалет свой, Онисько не без боязни и тайного удовольствия переступил через порог. Бес как будто нарочно дразнил его (сам он после признавался в этом), поминутно рисуя перед ним стройные ножки соседки. «Эх, если бы не учитель! — повторял он несколько раз сам себе, — ну, что бы задумать ему немного позже влюбиться?..» И, в задумчивости, тихими шагами он мерял широкий выгон, по которому бежала его дорога. Разноголосый лай прорезал облекавшую его тучу задумчивости, и мысли его, как дикие утки, переполошась, разлетелись во все стороны. Подняв глаза, увидел он, что далее идти некуда. Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная

лента... Сердце в нем вспрыгнуло... и белокурая красавица, разгоняя хворостиной докучных собак, встретила его, отворяя ворота.

Двор Харька представлял собой большой, на покатости к пруду, квадрат, обнесенный со всех сторон плетнем. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо в чистую выбеленную хату с большими, неровной величины, окнами, с почерневшею от старости дубовой дверью, с низеньким из глины фундаментом *(присьбою),* обремененным, по обыкновению малороссиян, бельем, мисками и каким-нибудь инвалидом-горшком, которому, несмотря на раны и увечье, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями. По сторонам избы стояли с растрепанными крышами хлевы и амбары. Из-за хаты возвышалось гумно; из-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверх которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. К пруду, как богатая турецкая шаль, развернулся огород козака. Кучи соломы разнесены были по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходом Ониська. Полагая, что его, без всякого сомнения, завлекла нужда к ее отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила с некоторою застенчивостью:

— *Батька* нет дома, да вряд ли и к вечеру будет.

— *Нехай ему так легенько икнеться, як з тыну ввирветься!* Что бы я был за олух Царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу, когда перед самым носом вареники в сметане?

Белокурая красавица остановилась в недоумении, не зная, как понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лице ее и ожидала, казалось, изъяснения.

Кухмистер почувствовал сам, что выразился не совсем ясно и притом помянул отца ее немного шероховатыми словами; он продолжал:

— Нелегкая понесла бы меня к *батьке,* когда есть такая хорошенькая дочка.

— А, вот что! — проговорила Катерина, усмехнувшись и покраснев. — Милости просим! — и пошла вперед его к дверям хаты.

Девушки в Малороссии имеют гораздо более свободы, нежели где-либо, и потому не должно показаться удивительным, что красавица наша без ведома отца принимала у себя гостя.

— Ты пешком сюда пришел, Онисько? — спросила она его, садясь на *присьбе* у дверей хаты и стараясь принять степенный вид, хотя лукавая улыбка явно изменяла ей и заставляла против воли показать ряд красивых зубов.

— Как пешком? — «Что за нелегкая, неужели она знает про вчерашнее?» — подумал кухмистер. — Без всякого сомнения, пешком, моя красавица. Черт ли бы заставил меня запрягать нарочно панского *гнедого,* чтобы только перетащиться из одного двора в другой.

— Однако ж от кухни до *коморы* не так-то далеко.

Тут, не удержавшись более, она захохотала.

«Нет, плутовка! сам лукавый не хитрее этой девки!» — повторил сам себе несколько раз кухмистер и громогласно послал учителя к черту, позабыв и приязнь и дружбу их.

— Однако ж, моя красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорели на сковороде караси с свежепросольными *опенками,* лишь бы только ты еще раз этак засмеялась.

Сказав это, кухмистер не утерпел, чтоб не обнять ее.

— Вот этого-то я уж и не люблю! — вскрикнула, покраснев, Катерина и приняв на себя сердитый вид. — Ей-Богу, Онисько, если ты в другой раз это сделаешь, то я прямехонько пущу тебе в голову вот этот горшок.

При сем слове сердитое личико немного прояснело, и улыбка, мгновенно проскользнувшая по нем, выговорила ясно: «Я не в состоянии буду этого сделать».

— Полно же, полно! *не возом зацепил тебя.* Есть из чего сердиться! как будто Бог знает какая беда — обнять красную девушку.

— Смотри, Онисько: я не сержусь, — сказала она, садясь немного от него подалее и приняв снова веселый вид. — Да что ты, послышалось мне, упомянул про учителя?

Тут лицо кухмистера сделало самую жалкую мину и, по крайней мере, на вершок вытянулось длиннее обыкновенного.

— Учитель... Иван Осипович то есть... Тьфу, дьявольщина! у меня, как будто после запеканки, слова глотаются прежде, нежели успевают выскочить изо рта. Учитель... вот что я тебе скажу, *сердце!* Иван Осипович *вклепался*[1] в тебя так, что... ну, словом —

[1] То есть влюбился.

рассказать нельзя. Кручинится да горюет, как покойная бурая, которую *пани* купила у жида и которая околела после *запала.* Что делать? сжалился над бедным человеком: пришел наудачу похлопотать за него.

— Хорошую же ты выбрал себе должность! — прервала Катерина с некоторою досадой. — Разве ты ему сват или *родич* какой? Я советовала бы тебе еще набрать изо всего околотка бродяг к себе в кухню, а самому отправиться по миру выпрашивать под окнами для них милостыни.

— Да это все так; однако ж я знаю, что тебе любо, и слишком любо, что вздумалось учителю приволокнуться...

— Мне любо? Слушай, Онисько, если ты говоришь с тем, чтобы посмеяться надо мной, то с этого мало тебе прибудет. Стыдно тебе же, что ты обносишь бедную девушку. Если же вправду так думаешь, то ты, верно, уже наиглупейший изо всего села. Слава Богу, я еще не ослепла; слава Богу, я еще при своем уме... Но ты не сдуру это сказал: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, верно, думал... Нет, ты недобрый человек!

Сказав это, она отерла шитым рукавом своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардевшейся щечке, будто падающая звезда по теплому вечернему небу.

«Черт побери всех на свете учителей!» — подумал про себя Онисько, глядя на зардевшееся личико Катерины, на котором по-прежнему показавшаяся улыбка долго спорила с неприятным чувством и наконец рассеяла его.

— Убей меня гром на этом самом месте, — вскричал он наконец, не могши преодолеть внутреннего волнения и обхватывая одной рукою кругленький стан ее, — если я не так же рад тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, как старый Бровко, когда я вынесу ему помои.

— Нашел чему радоваться! поэтому ты станешь еще более скалить зубы, когда услышишь, что почти все девушки нашего села говорят то же.

— Нет, Катерина, этого не говори. Девушки-то любят его. Намедни шли мы с ним через село, так то и дело что выглядывают из-за плетня, словно лягушки из болота. Глянь направо — так и пропала, а с левой стороны выглядывает другая. Только дьявол побери их вместе с учителем! Я бы отдал штоф лучшей

третьепробной водки, чтоб узнать от тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копейку?

— Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свете не вышла за пьяницу. Кому любо жить с ним? Несчастная доля семье той, где выберется такой человек; в хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дети плачут... Нет, нет, нет! Пусть Бог милует! Дрожь обдает меня при одной мысли об этом...

Тут прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Как осужденный, с поникнутою головою, погрузился кухмистер в свое протекшее. Тяжелые думы, порождения тайного угрызения сердечного, вырезывались на лице его и показывали ясно, что на душе у него не слишком было радостно. Пронзительный взор Катерины, казалось, прожигал его внутренность и подымал наружу все разгульные поступки, проходившие перед ним длинною, почти бесконечною цепью.

«В самом деле, на что я похож? кому угодно житье мое? только что досаждаю *пании*. Что я сделал до сих пор такого, за что бы сказал мне спасибо добрый человек? Все гулял да гулял. Да гулял ли когда-нибудь так, чтобы и на душе и на сердце было весело? Напьешься, как собака, да и протрезвишься тоже, как собака, если не протрезвят тебя еще хуже. Нет! прах возьми... собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философские рассуждения с самим собою и потому, положив на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса:

— Не правда ли, Онисько, ты не станешь более пить?

— Не стану, мое *серденько!* не стану; пусть ему всякая всячина! Все для тебя готов сделать.

Девушка посмотрела на него умильно, и восхищенный кухмистер бросился обнимать ее, осыпая градом поцелуев, какими давно не оглашался мирный и спокойный огород Харька.

Едва только влюбленные поцелуи успели раздаться, как звонкий и пронзительный голос страшнее грома поразил слух разнежившихся. Подняв глаза, кухмистер с ужасом увидел стоявшую на плетне Симониху.

— Славно! славно! Ай да ребята! У нас по селу еще и не знают, как парни целуются с девками, когда батька нет дома! Славно! Ай да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что лжет

поговорка: в тихом омуте черти водятся. Так вот что деется! так вот какие шашни!..

Со слезами на глазах принуждена была красавица уйти в хату, зная, что ничем иным нельзя было избавиться от ядовитых речей содержательницы шинка.

— Типун бы тебе под язык, старая ведьма! — проговорил кухмистер, — тебе какое дело?

— Мне какое дело? — продолжала неутомимая шинкарка, — вот прекрасно! Парни изволят лазить через плетни в чужие огороды, девки подманивают к себе молодцов — и мне нет дела! Изволят *жениxаться,* целуются — и мне нет дела! Ты слыхал ли, Карпо? — вскричала она, быстро оборотясь к мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что внимания, шел, помахивая батогом, впереди так же медленно выступавшей коровы. — Слышал ли ты? постой на минуточку. Тут такая история. Харькова дочка...

— Тьфу, дьявол! — вскричал кухмистер, плюнув в сторону и потеряв последнее терпение. — Сам сатана перерядился в эту бабу. Постой, яга! разве не найду уже, чем отплатить тебе.

Тут кухмистер наш занес ногу на плетень и в одно мгновение очутился в панском саду.

Было уже не рано, когда он пришел на кухню и принялся стряпать ужин. Евдоха, однако ж, не могла не заметить во всем необыкновенной его рассеянности. Часто задумчивый кухмистер подливал уксусу в сметанную кашу или с важным видом надвигал свою шапку на вертел и хотел жарить ее вместо курицы. За ужином Анна Ивановна никак не могла понять, отчего каша была кисла до невероятности, а соус так пересолен, что не было никакой возможности взять в рот. Единственно только из уважения к понесенным им в тот день трудам оставили его в покое: в другое время это не прошло бы даром нашему герою.

— Нет, господин учитель! — твердил он, ложась на свою деревянную лавку и подмащивая под голову свою куртку, — не видать вам Катерины, как ушей своих! — И, завернув голову, как доморощенный гусь, погрузился в мечты, а с ними и в сон.

Женщина

«Адское порождение! Зевс Олимпиец! О! ты неумолим в своей ярости! Ты захотел наслать бич на мир, ты извлек весь яд, незаметно разлитый в недрах прекрасной земли твоей, сжал его в одну каплю, гневно бросил ее светодарною десницей и отравил ею чудесное творение свое: ты создал женщину! Тебе завидно стало бедное счастие наше, тебе не желалось, чтобы человек источал вечное благословение из недр благодарного сердца; пусть лучше проклятие сверкает на преступных устах его... Ты создал женщину!» — Так говорил, представ перед Платона, Телеклес, юный ученик его. Глаза его кидали пламя; по щекам бушевал пожар, и дрожащие губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души. Рука его с негодованием откидывала пурпуровые волны богатой одежды, и расстегнутая пряжка небрежно висела на девственной груди юноши. «Что, мой божественный учитель? не ты ли представлял нам ее в богоподобном, небесном облачении? Не твои ли благоуханные уста лили дивные речи про нежную красоту ее? Не ты ли учил нас так пламенно, так невещественно любить ее? Нет, учитель! твоя божественная мудрость еще младенец в познании бесконечной бездны коварного сердца. Нет, нет! и тень свирепого опыта не обхватывала светлых мыслей твоих, ты не знаешь женщины». Огненные слезы брызнули из глаз его; окутав голову хитоном и закрыв лицо руками, прислонился он к мраморной колонне, на которой роскошно покоилось богатое коринфское оглавие, осыпанное искрами лучей. Глубокий, тяжелый вздох вырвался из груди юноши, как будто все тайные нервы души, все чувства и все, что находится внутри человека, издало у него скорбные звуки, и звуки эти прошли потрясением по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, в бессилии рассказать бессмертные, вечные муки души, переродилась в один болезненный стон. Между тем вдохновенный мудрец в безмолвии рассматривал его, выражая на лице своем думы, еще напечатленные прежним высоким размышлением. Так остатки дивного сновидения долго еще не расстаются и мешаются с началом идей, покамест человек совершенно не входит в мир действительности. Свет сыпался роскошным водопадом чрез смелое отверстие в куполе на

мудреца и обливал его сиянием; казалось, в каждой вдохновенной черте лица его светилась мысль и высокие чувства. «Умеешь ли ты любить, Телеклес?» — спросил он спокойным голосом. «Умею ли любить я! — быстро подхватил юноша. — Спроси у Зевса, умеет ли он манием бровей колебать землю. Спроси у Фидия, умеет ли он мрамор зажечь чувством и воплотить жизнь в мертвой глыбе. Когда в жилах моих кипит не кровь, но острое пламя, когда все чувства, все мысли, я весь перерождаюсь в звуки, когда звуки эти горят и душа звучит одною любовью, когда речи мои — буря, дыхание — огонь... Нет, нет! я не умею любить! Скажи же мне, где тот дивный смертный, кто обладает этим чувством? Уж не открыла ли премудрая Пифия это чудо между людьми?»

«Бедный юноша! Вот что люди называют любовью! Вот какая участь готовится для этого кроткого существа, в котором боги захотели отразить красоту, подарить миру благо и в нем показать свое присутствие на земле! Бедный юноша! Ты бы сжег своим раскаленным дыханием это кроткое существо, ты бы возмутил бурею страстей это чистое сияние! Знаю, ты хочешь говорить мне об измене Алкинои. Твои глаза были сами свидетелями... но были ли они свидетелями твоих собственных мятежных движений, совершавшихся в то время во глубине души твоей? Высмотрел ли ты наперед себя? Не весь ли бунт страстей кипел в глазах твоих; а когда страсти узнавали истину? Чего хотят люди? они жаждут вечного блаженства, бесконечного счастья, и довольно одной минутной горечи, чтобы заставить их детски разрушить все медленно строившееся здание! Пусть глазами твоими смотрела сама истина, пусть это правда, что прекрасная Алкиноя очернила себя коварною изменой. Но вопроси свою душу: что был ты, что была она в то время, когда ты и жизнь, и счастие, и море восторгов находил в Алкиноиных объятиях? Переверни огненные листы своей жизни, и найдешь ли ты хотя одну страницу красноречивее, божественнее той? Захотел ли бы ты взять все драгоценные камни царей персидских, все золото Ливии за те небесные мгновения? И что против них и первая почесть в Афинах, и верховная власть в народе? И существо, которое, как Промефей, все, что ни исхитило прекрасного от богов, принесло в дар тебе, водворило небо со светлыми его небожителями в твою душу, — ты поражаешь преступным проклятием; когда вся твоя жизнь должна переродиться

в благодарность, когда ты должен весь вылиться слезами, и умилением, и кротким гимном жизнедавцу Зевесу, да продлит прекрасную жизнь ее, да отвеет облако печали от светлого чела ее.

Устреми на себя испытующее око: чем был ты прежде и чем стал ныне, с тех пор, как прочитал вечность в божественных чертах Алкинои; сколько новых тайн, сколько новых откровений постиг и разгадал ты своею бесконечною душою и во сколько придвинулся ближе к верховному благу! Мы зреем и совершенствуемся; но когда? когда глубже и совершеннее постигаем женщину. Посмотри на роскошных персов: они переродили своих женщин в рабынь, и что же? им недоступно чувство изящного — бесконечное море духовных наслаждений. У них не выбьется из сердца искра при виде богини Праксителевой; восторженная душа их не заговорит с бессмертною душою мрамора и не найдет ответных звуков. Что женщина? — Язык богов! Мы дивимся кроткому, светлому челу мужа; но не подобие богов созерцаем в нем: мы видим в нем женщину, мы дивимся в нем женщине, и в ней только уже дивимся богам. Она поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее в действительности. На нас горят ее впечатления, и чем сильнее и чем в большем объеме они отразились, тем выше и прекраснее мы становимся. Пока картина еще в голове художника и бесплотно округляется и создается — она женщина; когда она переходит в вещество и облекается в осязаемость — она мужчина. Отчего же художник с таким несытым желанием стремится превратить бессмертную идею свою в грубое вещество, покорив его обыкновенным нашим чувствам? Оттого, что им управляет одно высокое чувство — выразить божество в самом веществе, сделать доступною людям хотя часть бесконечного мира души своей, воплотить в мужчине женщину. И если ненароком ударят в нее очи жарко понимающего искусство юноши, что они ловят в бессмертной картине художника? Видят ли они вещество в ней? Нет! оно исчезает, и перед ними открывается безграничная, бесконечная, бесплотная идея художника. Какими живыми песнями заговорят тогда духовные его струны! как ярко отзовутся в нем, как будто на призыв родины, и безвозвратно умчавшееся и неотразимо грядущее! как бесплотно обнимется душа его с божественною душою художника! Как сольются они в невыразимом духовном поцелуе!.. Что б были высокие добродетели мужа,

когда бы они не осенялись, не преображались нежными, кроткими добродетелями женщины? Твердость, мужество, гордое презрение к пороку перешли бы в зверство. Отними лучи у мира — и погибнет яркое разнообразие цветов: небо и земля сольются в мрак, еще мрачнейший берегов Аида. Что такое любовь? — Отчизна души, прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след невинного младенчества, где всё родина. И когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца — вечного Бога, своих братьев — дотоле не выразимые землею чувства и явления — что тогда с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди Бога жизнь, развивая ее до бесконечности...» Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: перед ними стояла Алкиноя, незаметно вошедшая в продолжение их беседы. Опершись на истукан, она вся, казалось, превратилась в безмолвное внимание, и на прекрасном челе ее прорывались гордые движения богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую светились голубые жилы, полные небесной амврозии, свободно удерживалась в воздухе; стройная, перевитая алыми лентами поножия нога в обнаженном, ослепительном блеске, сбросив ревнивую обувь, выступила вперед и, казалось, не трогала презренной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами, и полуприкрывшая два прозрачные облака персей одежда трепетала и падала роскошными, живописными линиями на помост. Казалось, тонкий, светлый эфир, в котором купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь в бесчисленных лучах, коим и имени нет на земле, в коих дрожит благовонное море неизъяснимой музыки, — казалось, этот эфир облекся в видимость и стоял перед ними, освятив и обоготворив прекрасную форму человека. Небрежно откинутые назад, темные, как вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ее и лились сумрачным каскадом на блистательные плеча. Молния очей исторгала всю душу... — Нет! никогда сама царица любви не была так прекрасна, даже в то мгновенье, когда так чудно возродилась из пены девственных волн!.. В изумлении, в благоговении повергнулся юноша к ногам гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся над ним полубогини канула на его пылающие щеки.

<Отрывок детской книги по географии>

«Что это за зима! Как уже она нам надоела, эта зима! Всё снег да снег; куды как весело, не выходи из дому, не закутавшись наперед в шубу. Скучно в окно взглянуть, всё одно да одно, ни травки, ничего... только мужик с дровами проедет на рынок. Право, даже смотреть жалко, как он, бедняжка, дрожит от холоду и хлопает руками. То ли дело лето! Ах, Соничка, Соничка, помнишь, как нам весело было прошлого года на даче, когда были маминькины именины, и мы все обедали в саду и катались по реке. Я бы с утра до вечера играла всё в саду. Как я люблю темно-зеленые деревья! Как они растут высоко-высоко, не правда ли, сестричка Соничка, ведь они достают до самого неба? Как всё тепло тогда, как весело, как хорошо, зачем не приходит так долго это, ах когда бы скорее уже лето». — Но знаете ли вы, мои маленькие друзья, что есть такая земля, где круглый год почти лето, а осени и зимы, которой вы так не любите, и духу <не> слышно. И в той земле апельсинов, лимонов, ананасов, за которые мы платим так дорого, такое множество, что уж и не собирает никто. Там растут лавры, смоковницы, фиговое дерево, пальма. Как там должно быть весело! Как хорошо!

§ 1

Не совсем весело. Там живут звери самые большие, самые страшные, самые лютые. Там живут люди, которые ничем не лучше зверей, а если бы показался кто-нибудь из нас, то они, может быть, съели бы, как едят сырое мясо. Они не умеют ни шить себе платья, ни учиться. А лица у них такие черные, как <у> трубочистов, и безобразные, как у обезьян.

§ 2

Есть еще такие места на земле нашей: холод вечной зимы круглый год, и так скучно в тех местах, так уныло — как будто ничего нет живого там, ни травки, ни деревца, только недели на две зазеленеет мох на земле и после опять всё снег, всё снег. Люди

такие маленькие, такие бедные, ходят всё в шубах и никогда не скидают их, только и дела, что ловят рыбу да оленей, которые одни только и живут там. Снега так там много, что пройти нельзя в башмаках или сапогах, потому что тотчас можно провалиться, и бедные люди тамошние, чтобы помочь этому, приделывают под сапоги себе маленькие саночки, которые называют *лыжами* и на которых они гоняются за зверями. Хотите ли вы знать, что это за люди? Это камчадалы, эскимосы, самоеды, чукчи. А...[1]

[1] *На этом рукопись обрывается.*

Борис Годунов

Поэма Пушкина

(Посвящается Петру Александровичу Плетневу)

Книжный магазин блестел в бельэтаже * * *ой улицы; лампы отбивали теплый свет на высоко взгроможденные стены из книг, живо и резко озаряя заглавия голубых, красных, в золотом обрезе, и запыленных, и погребенных, означенных силою и бессилием человеческих творений. Толпа густилась и росла. Гром мостовой и экипажей с улицы отзывался дребезжанием в цельных окнах, и, казалось, лампы, книги, люди — все окидывалось легким трепетом, удвоявшим пестроту картины. Сидельцы суетились. «Славная вещь! Отличная вещь!» — отдавалось со всех сторон. «Что, батюшка, читали "Бориса Годунова", нет? Ну ничего же вы не читали хорошего», — бормотала кофейная шинель запыхавшейся квадратной фигуре. «Каков Пушкин?» — сказал, быстро поворотившись, новоиспеченный гусарский корнет своему соседу, нетерпеливо разрезывавшему последние листы. «Да, есть места удивительные!» — «Ну вот, наконец дождались и "Годунова"!» — «Как, "Борис Годунов" вышел?» — «Скажите, что это такое "Борис Годунов"? Как вам кажется новое сочинение?» — «Единственно! Единственно! Еще бы некоторой картины... О, Пушкин далеко шагнул!» — «Мастерство-то главное, мастерство; посмотрите, посмотрите, как он искусно того...» — трещал толстенький кубик с веселыми глазками, поворачивая перед глазами своими руку с пригнутыми немного пальцами, как будто бы в ней лежало спелое прозрачное яблоко. «Да, с большим, с большим достоинством! — твердил сухощавый знаток, отправляя разом пол-унции табаку в свое римское табакохранилище. — Конечно, есть места, которых строгая критика... Ну, знаете... еще молодость... Впрочем, произведение едва ли не первоклассное!» — «Насчет этого позвольте-с доложить, что за прочность, — присовокупил с довольным видом книгопродавец, — ручается успешная-с выручка денег...» — «А самое-то сочинение действительно ли чувствительно написано?» — с смиренным видом заикнулся вошедший сенатский рябчик. «И, конечно,

чувствительно! — подхватил книгопродавец, кинув убийственный взгляд на его истертую шинель, — если бы не чувствительно, то не разобрали бы 400 экземпляров в два часа!» Между тем лица беспрестанно менялись, выходя с довольною миною и книжкою в руках. В это самое время Элладий подошел к другу своему Поллиору, рассеянно глядевшему на жадную толпу покупателей. «Не правда ли, милый Поллиор! не правда ли, что ни с чем не можешь сравнить этого тихого восторга, напояющего душу при виде, как пламенно любимое нами великое творение неумолкно звучит и отдается сочувствием во всех сердцах, и люди, кажется, отбежавшие навеки от собственного, скрытого в самих себе, непостижимого для них мира души, насильно возвращаются в ее пределы?» Молчаливо и безмолвно пожал Поллиор ему руку. Они вышли. Но ни томительный, как слияние радости и грусти, свет луны, так дивно вызывающий из глубины души серебряный сонм видений, когда ночное небо бесплотно обнимется вдохновением и земля полна непонятной любви к нему, ни те живые чувства, пробуждающиеся у нас мгновенно, когда чудный город гремит и блещет, мосты дрожат, толпы людей и теней мелькают по улицам и по палевым стенам домов-гигантов, которых окна, как бесчисленные огненные очи, кидают пламенные дороги на снежную мостовую, так странно сливающиеся с серебряным светом месяца, — ничто не в состоянии было его вывесть из какой-то торжественной задумчивости; какая-то священная грусть, тихое негодование сохранялось в чертах его, как будто бы он заслышал в душе своей пророчество о вечности, как будто бы душа его терпела муки, невыразимые, непостижимые для земного... «Что же ты до сих пор, — спросил его Элладий, когда они вошли в его уединенную комнату, одиноко озаряемую трепетною лампой, — не поверг от себя дани нашему великому творению? не принес посильного выражения — истолкователя чувств в чашу общего мнения?»

«Ты понимаешь меня, Элладий, к чему же ты предлагаешь мне этот несвязный вопрос? что мне принесть? кому нужда, кто пожелает знать мои тайные движения? Часто, слушая, как всенародно судят и толкуют о поэте, когда прения их воздымают бурю и запенившиеся уста горланят на торжищах, — думаю во глубине души своей: не святотатство ли это? Не то же ли, если бы кто вздумал стремительно ворваться в площадь, где чернь кипит

и суетится, исполняя обычные свои требы, и воссылать, упавши на колени, жаркие молитвы к небу? И что бы сказал я? “Прекрасно! бесподобно, единственно!” Но выразят ли эти слова хотя одну струю безграничного океана чувств? Бессильные! Они от частого повторения людьми потеряли даже бедное собственное значение. Но еще бессмысленнее, еще смешнее мне кажутся люди, которые дарят поэтов, будто чинами, жалкими эпитетами, называют их первоклассными, как будто поэты, как растения или безжизненные минералы, требуют системы, чтобы удержаться в голове! Великий! когда развертываю дивное творение твое, когда вечный стих твой гремит и стремит ко мне молнию огненных звуков, священный холод разливается по жилам и душа дрожит в ужасе, вызвавши Бога из своего беспредельного лона... что тогда? Если бы небо, лучи, море, огни, пожирающие внутренность земли нашей, бесконечный воздух, объемлющий миры, ангелы, пылающие планеты превратились в слова и буквы — и тогда бы я не выразил ими и десятой доли дивных явлений, совершающихся в то время в лоне *невидимого меня*. И что они все против души человека? против воплощения Бога? В какие звуки, в какие светлые звуки превращается она, разрешаясь от всего, носящего образ выразимого и конечного, сильным порывом вонзаясь в безобразную грудь его! Как горит, как сохнет бренный страдальческий состав! Как дрожит, как стонет бессильное земное, пока все не сольется в духовное море, пока потоп благодарных слез не хлынет дождем в размученную грудь, не прольет примирения между двумя враждующими природами человека. Как суетны люди, требующие отчета впечатлений, произведенных великим созданием поэта, зная наперед, что он не будет ответом на безрассудное желание их! Когда из безобразного земного черепа извлекают результат — ослепительный камень, когда из струн исторгают звуки — какой же они результат хотят извлечь из звуков? Может быть, и исполнится это желание, только когда? Когда человек исчезнет и душа на ветхих его развалинах воздвижется в величественном, необъятном здании».

«Итак, по-твоему, — спросил его после мгновенного молчания Элладий, — люди не должны делиться между собою впечатлениями и сообщать, как откровения, хотя неполные отчеты чувств, может быть убедившие бы других в духовной изящности создания?»

«Нет, Элладий, нет! Кто здесь требует убеждения, тому будут бесплодны все твои попытки возмутить его душу. Разогни перед ним великое творение. Читайте вместе, и если дивные его буквы не ударят разом в тайные струны сердец ваших, обратив в непостижимый трепет все нервы, не брызнут ответными слезами и души ваши почувствуют разъединение — закрой книгу и не трать пустых слов. Но если встретишь ты пламенно понимающее тебя чувство — прекрасную половину прекрасной души твоей, — потребуете ли вы друг от друга отчета? К чему бы послужил он вам, когда вы так чудно сливаетесь в одно? И какая презренная радость сравнится с тем мгновением, когда творение разом читается в вас? Как понимаете вы его? "Боже! — часто говорю себе, — какое высокое, какое дивное наслаждение даруешь Ты человеку, поселя в одну душу ответ на жаркий вопрос другой! Как эти души быстро отыскивают друг друга, несмотря ни на какие разделяющие их бездны!"

Будто прикованный, уничтожив окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэт! И когда передо мною медленно передвигается минувшее и серебряные тени в трепетании и чудном блеске тянутся бесконечным рядом из могил в грозном и тихом величии, когда вся отжившая жизнь отзывается во мне и страсти переживаются сызнова в душе моей, — чего бы не дал тогда, чтобы только прочесть в другом повторении всего себя?.. Какими бы, казалось, драгоценностями не искупил этого блага? "Возьмите, возьмите от меня всё, — воскликнул бы тогда с подъятыми руками к небесам, — и ниспошлите мне это понимающее меня существо! Всемогущий! зачем дал Ты мне неполную душу? или пополни ее, или возьми к Себе и остальную половину"».

О, как велик сей царственный страдалец! Столько блага, столько пользы, столько счастия миру — и никто не понимал его... Над головой его гремит определение... Минувшая жизнь, будто на печальный звон колокола, вся совокупляется вокруг него! Умершее живет!.. И дивные картины твои блещут и раздаются всё необъятнее, всё необъятнее... всё необъятнее... И в груди моей снова муки!.. Ответные струны души гремят... Звон серебряного неба с его светлыми херувимами стремится по жилам... О, дайте же, дайте мне еще, еще этих мук, и я выльюсь ими весь

в лоно Творца, не оставя презренному телу ни одной их божественной капли...

Великий! над сим вечным творением твоим клянусь!.. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей хотя часть ее достояния; если кремень обхватит тихо горящее сердце; если презренная, ничтожная лень окует меня; если дивные мгновения души понесу на торжище народных хвал; если опозорю в себе тобой исторгнутые звуки... О! тогда пусть обольется оно немолчным ядом, вопьется миллионами жал в невидимого меня, неугасимым пламенем упреков обовьет душу и раздастся по мне тем пронзительным воплем, от которого бы изныли все суставы и сама бы бессмертная душа застонала, возвратившись безответным эхом в свою пустыню... Но нет! оно как Творец, как благость! Ему ли пламенеть казнью? Оно обнимет снова морем светлых лучей и звуков душу и слезою примирения задрожит на отуманенных глазах обратившегося преступника!..

О поэзии Козлова

Светлый, полный — раздольное море жизни — мир древних греков не властен был дать направление поэзии Козлова. Когда весь блеск, все разнообразие постоянно светлой, в бесчисленных формах проявляющейся жизни природы слились для него в одну ужасную единицу — в мрак, могла ли душа жить прежними ясными явлениями? Как будто в исступлении, как будто подавляемая горестью, с порывом, с немолчною жаждою — торжествовать, возвыситься над собственным несчастием, она искала другой встречи и в изумлении остановилась пред Байроном, так чудно обхватившим гигантскою мрачною душою всю жизнь мира и так дерзостно посмеявшимся над нею, может быть, от бессилия передать ее индивидуальную светлость и величие. Душе нашего поэта желалось обвиться около этой гордо-одинокой души, исполински замышлявшей заключить в себе в замену отвергнутого собственный, ею же созданный, нестройный и чудный мир и, обвившись около нее, горько улыбнуться уже несуществующей для нее прежней Илиаде жизни. Кроткое христианское величие веры, так доступное человеку в то страшное мгновение перерождения его, — проникло и облекло чистым сиянием своим все, полученное им в сообществе с душою этого исполина, с которым меряться не имел он достаточных сил, и сообщило ему индивидуальность, без которой он был бы только бессильным подражателем. Но даже и в тихом порыве религиозной души своей, когда благословляет он тяжкий крест несчастий, вырывается у него скорбь, какое-то, можно сказать, даже злобное наслаждение души собственными муками. Он сильно дает чувствовать все великие, горькие траты свои, часто собирает в один момент все исчезнувшее, живо представляет его во всем ослепительном блеске, чтобы показать вместе, чего стоит ему позабыть и удалить мысль о нем. Глядя на радужные цвета и краски, которыми кипят и блещут его роскошные картины природы, тотчас узнаешь с грустью, что они уже утрачены для него навеки: зрящему никогда не показались бы они в таком ярком и даже увеличенном блеске. Они могут быть достоянием только такого человека, который давно уже не любовался ими, но верно и сильно сохранил об них

воспоминание, которое росло и увеличивалось в горячем воображении и блистало даже в неразлучном с ним мраке. Но и в сих созданиях, в которых, кажется, он стремится позабыть все грустное, касающееся собственной души, и ловит невидимыми очами видимую природу, и здесь, и под цветами горит тихая печаль. Он весь в себе. Весь нераздельный мир свой носит в душе и не властен оторваться от него. Иногда стремление его центробежно и будто хочет разлиться во внешнем, но для того только, чтобы снова с большею силою устремиться к своему центру, самому себе, как будто угадывая, что там только его жизнь, что там только найдет ответ себе. Если он долго останавливается на внешнем каком-нибудь предмете, он уже лишает его индивидуальности, он проявляет уже в нем самого себя, видит и развивает в нем мир собственной души. Мне кажутся и доныне странными замечания и упреки многих Козлову, что в поэмах у него вечное торжество и однообразие жизни, что лица его не имеют полной романтической отделки и не живут собственной жизнью, что Безумная нимало не похожа на русскую крестьянку, словом, требуют от Козлова того, чего только вправе мы требовать от Пушкина, забывая, что для Козлова полная разнообразия внешняя жизнь не существует, что весь мир его сосредоточился в нем самом, и его одного силен он следить в многоразличных изменениях. А лица и герои у него только образы, условные знаки, в которые облекает он явления души своей. Что обнять во всей полноте внутреннюю и внешнюю жизнь — удел гения всемирного и что, наконец, Козлов относится к Пушкину так, как часть к целому. Поэт понимает все достоинство последнего. Оно лестнее жаркой душе его и кадил, и безотчетных хвал. И для кого не блистательна, кому не завидна участь: быть частью необъятного Пушкина!![1]

[1] Новые прелестные стихотворения Козлова — «Субботний вечер», перевод и мелкие с трогательным посвящением — Прекрасным цветком, брошенным на гроб

Той красоте, которой много
Российский жертвовал Парнас,
Когда туманною дорогой
Брела поэзия у нас.

Находится в таких-то книжных лавках. Продается по такой-то цене.

<Главы из романа «Гетьман»>

<I> Глава из исторического романа

Между тем посланник наш переехал границу, отделяющую ныне Пирятинский повет от Лубенского. Общих, езжалых дорог тогда не было в Малороссии, но почти каждому известна была какая-нибудь проселочная — по мнению его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь от ровной поверхности, проскальзывала в рытвины, царапалась по косогору, вешалась над провалами, и один неровный, слегка протоптанный подковою коня след означал ее уклонения. Достаточно было только выехать в дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлегов. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленного с местами, было то, что он должен был, на расстоянии двадцати пяти или пятидесяти ружейных выстрелов, выведывать или выспрашивать пути у жителей, которых показания всегда почти разногласили.

Пустив повода и наклонив голову, всадник наш давно уже погружен был в раздумье, и только изредка попадавшиеся кочки и пни срубленных дерев, заставляя спотыкаться верного его товарища, борзого коня, перерезывали разом его думы, которые снова обычным ожерельем низались в голове его. В первый раз еще случалось ему выполнять такое поручение: ехать Бог знает куда, в незаселенные степи Украйны! И кто этот Глечик?.. Какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшего себя полковником миргородского полку?.. Ему не объявлено было ничего удовлетворительного ни о характере, ни о силе его, ни о том, какие он имеет сношения и с кем... К чему же эта осторожность, какую нужно было иметь в речах с ним? Зачем перелетать такую даль, чтобы только доставить ему сведения о событиях, волновавших Варшаву? И чем мог быть полезен такой отдаленный союзник?.. Мысленно досадовал он на себя, что не выведал обстоятельно об этом от Бригитты: ей, без сомнения, сколько-нибудь были известны причины такого странного посольства.

Солнце медленно прощалось с землею. Живописные облака, обхваченные по краям огненными лучами, поминутно меняясь и разрываясь, летели по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали

сизую тень свою и притворяли мало-помалу ставни окошек, освещавших светлый Божий мир. В это время путник наш после долгого степного странствия въехал в лес. Раздетые безжалостною осенью деревья сквозили, как решето, и, казалось, дрожали от вечернего холода. Желтые листья, как объедки и битые ковши от недавнего пиршества, валялись неприбранные, и один только шелест их, ходя по лесу, давал знать о присутствии в нем нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину леса темнело небо; резкий ветер подымался с поля и мчал заунывные свои вопли в гущу леса. Путник поневоле задумался и остановил коня своего в нерешимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла и перед ним торчал один только лес да неизвестность; как вдруг громкий голос «цоб, цоб!» поразил слух его; тяжело нагруженный воз заскрыпел, и пара волов показалась из-за деревьев. Надобно вообразить себя на месте путешественника, чтобы вполне почувствовать радость такой встречи. Луна в это время вырезалась на небо. Серебряный свет, перепутанный тенью от дерев, пал решеткою на землю, осветив далеко окрестность, и Лапчинский увидел перед собою дюжего пожилого селянина. Седые, закрученные вниз усы его гордо покоились на смуглом, означенном резкими мускулами лице, которое так простодушно оттеняла какая-то азиатская беспечность. По черным бровям серебрилась седина; огонь вылетал из небольших карих глаз, и в огне том высвечивались попеременно то хитрость, то простодушие. На голове у него была черная козацкая шапка с синим верхом. Коротенький нагольный тулуп, затянутый яркоцветным поясом, служил непроницаемыми латами от холода; сверх этого одеяния вдобавку накинут был обыкновенный кобеняк из толстого смурого сукна, который и поныне носят малороссийские мужики. Из-за пояса торчали пищаль и изогнутая татарская сабля — оружие, которое в тогдашние смутные времена всякий козак, ратник и селянин почитал необходимостью всегда иметь при себе.

— Помогай, Боже! — сказал он, остановив волов и обнажив увенчанную только на верхушке кистью волос голову, в знак того уважения, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратным людям. Надобно припомнить, что Лапчинский, в избежание неприятностей, каким бы он неминуемо подвергнулся от жителей, не терпевших всего, что только носило название ляха

или принадлежало ляхам, принужден был переменить щегольской костюм свой на скромное одеяние козацкого десятника. Всадник наш отвечал легким наклонением головы на сие приветствие.

— Не знаешь ли, земляк, — молвил он с ласковым видом, — далеко ли отсюда до Ромодановского шляху?

— Не сумею, добродию, сказать вдруг; повремените немножко. — Тут принялся он высчитывать, что выражали машинально сгибаемые им пальцы. — До Ромодановского шляху!.. Как бы вам сказать... оно не так чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронес слух, что все шляхетство собирается к нам на Сулу в гости. Спохватились сдуру и разломали мосты; так вам, добродию, чтоб не пришлось давать больших объездов. Впрочем, Бог его знает: я говорю это потому, что другие говорят... так, может быть, выберется и короткий путь; только, знаете, теперь время осеннее... то станется, что и далеко... Только опять же как подумаешь, то кажется, что и близко. Вот другое дело, если б были поставлены столбы по дороге, какие, без сомнения, сами, добродию, если бывали в Польше, встречали по тамошним дорогам.

Не должно удивляться противоречиям, испестрявшим монолог нашего поселянина. Кроме действительной неизвестности, малороссияне любили поусомниться и в самом знакомом им деле. Малороссиянин и доныне ничего не скажет наобум, но раз десять поправит себя, а иногда с умыслом запутает своего слушателя так, что тот, к изумлению своему, видит, что до такого-то места и далеко и близко.

— Куда же, по крайней мере, мне теперь держать путь? — спросил странник, вперив испытующий взор на своего наставника.

Тут селянин наш осмотрел его хорошенько с головы до ног.

— А вы, добродию, хотите теперь ехать?

— Почему же не теперь?

— Бог с вами! теперь и наш брат, здешний, уже сильно подумавши разве, поедет. Знаешь, мосьпане! ведь нам стоит только проехать такое время, в какое добрый мужик успеет вымолотить полкопны жита, чтобы заслышать собачий лай с моего двора. Все бы лучше опочить в теплой хате, а завтра хоть и с Богом!

От такого предложения нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидал.

— А куда, — спросил дорогою поселянин наш своего будущего гостя, — лежит путь вам, мосьпане?

— Еду-то я далеко, на ту сторону Ворскла, к миргородскому полковнику Глечику. Что, земляк, не знаешь ли ты его?

— Как не знать этой старой собаки! А из каких мест Бог несет?

— Из великой станицы, что под Лохвицею.

— Как же это, добродию, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была под Лохвицею? — Тут вонзил он в него острый взор свой, который, казалось, хотел выпытать его душу. — И то сказать! где уже мужику знать все про войсковые дела; до нашего захолустья еще и слухи не дошли об этом.

Посланник наш спохватился, что не нужно бросать осторожности в россказнях и с простым селянином, и потому, собравшись немного с мыслями, продолжал:

— То есть, вот видишь, земляк, наверное я еще не могу сказать. В самой-то станице я не был, а встретившийся под Лохвицею запорожский сотник Шляйко, узнав, что я еду в эти места, дал мне грамотку к миргородскому полковнику. Летел он как угорелый; из расспросов его я ничего не мог узнать наверное. Недавно перед тем возвратился я из Варшавы... Видишь, он, может быть, имел причины не доверять мне... то есть... он... ты, думаю, понимаешь меня.

— Что вы говорите, добродию! Разве мужик поймет то, что толкуют паны? Ей-Богу, нет; где нам понять! У нас и голова не так сделана, как у панов: черт знает что такое: больше на капусту похоже, чем на голову.

«О, да ты штука!» — подумал про себя Лапчинский и положил себе быть как можно осторожнее в словах.

Он во все это время ехал шагом, уравнивая легкую поступь своего гордого коня с ленивою выступкою тяжелых волов, впереди которых с флегматическою важностью шел селянин, помахивая батогом и потягивая коротенькую люльку[1]. Дым от нее обнимал облаками смуглое лицо его, которое, освещаясь иногда

[1] Трубку.

вспыхивавшим огоньком, казалось лицом какого-нибудь упыря, выказывавшимся по временам из непробудного болотного тумана и сеявшим искры чудного огня. Это заставляло Лапчинского чаще всматриваться ему в глаза, чтоб удостовериться, точно ли то был его товарищ. Но селянин наш сам отгонял всякое насчет его сомнение, не давая минуты задуматься своему гостю.

— Слыхали ль вы, добродию, про таковое диво? — говорил он, не выпуская изо рта своей трубки, — видишь ли сосну, вон далеко, далеко чернеет перед нами?

И путник, к удивлению своему, точно увидел сосну. Каким образом зашла она сюда, когда во всей почти этой стороне Малороссии, на расстоянии, может быть, по сту верст во все стороны, взор не отыскивал этой суровой жилицы севера? Невольно вперил он на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженного леса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь ли это? Это была мумия, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами, одну не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, Боже, в каком виде! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается в душу при взгляде на жалкий обман, которым суетное искусство силится выхватить и удержать что-то похожее на жизнь.

— Это еще не большое диво, что сосна, а вот что диво. Лет за пятьдесят перед тем, как мы балагурим с вами, жил, чуть ли не на вот этом месте, в хоромах великий пан. Воевода ли он был, сотник ли какой или просто пан, этого я не умею сказать; знаю только, что он был лях и не нашей веры. Жил он, как все нечистые польские паны живут: дом с утра до вечера ходенем ходил от вина и от песен, и далече прохватывала дрожь крещеного человека, когда он слышал раздававшиеся из лесу крики. Хлопцы из дворни его то и дело что наездничали по хуторам да обирали бедных жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое делали... враг с ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы их всех, добродию, — так нельзя, потому что дворни одной у них было, может, с полторы сотни, да и на каждого бердыши, самопалы и вся сбруя ратная. Вот и вызвался один дьякон, как уже его звали и из какого приходу он был, ей-Богу, добродию, не знаю, — вызвался и пришел в лес. Если бы теперь не ночь и не засыпало листьем, то я, может статься, показал бы вам останки

этого дьявольского гнезда. На ту пору, — так, видно, Сам Бог уже хотел, — был у них какой-то окаянный праздник. Дьякон шел уже напропало, сказал: «Господи, благослови!» — и, сколько доставало духу, толкнулся в ворота, запертые толпившимся народом. Цимбалы и бандуры бренчали и гудели, словно на свадьбе, а пьяные паны и дворня изо всей силы отдирали краковяк. Как только завидели дьякона, так, добродию, и закричали: «Зачем сюда принесло попа?» А пан говорит: «Гей, хлопцы! налейте-ка попу водки: пусть его танцует с нами, добрыми христианами, краковяк, да подгоняйте его хорошенько батожьем!» Дьякон, исполнившись, видно, Святого Духа, начал представлять нечестивым весь грех беззаконного житья их, и какие на том свете будут им муки, и как будут они плясать в пекле[1], только не по своей воле, а подгоняемые горячими вилами чертей. «А, так ты еще и проповедь читаешь? Гей, хлопцы! поднимите попа на крылос, а чтоб не застудил горла, накиньте ему галстук на шею!» И тут же челядь, с нечеловечьим смехом и гиканьем, втащила несчастного дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежит нам путь. Позвольте, добродию: тут-то и история. Сосна эта как раз стояла перед хоромами и, как нарочно еще, перед самыми окошками панской светлицы. Вот, как ночь уже разогнала всех: кого на лавку, кого под лавку, — пану нашему чудится, что на него каплет что-то холодное. «Что за нечистый! — подумал пан, — отчего это каплет?» Встал с постели, глядит: колючие ветви сосны царапаются к нему сквозь стену и, будто живые, вытягиваются длиннее, длиннее и как раз достают до него. Перекрестился, может быть в первый раз отроду, наш пан, когда увидел, что из них каплет человечья кровь, сначала холодная, как лед, а потом жжет, да и только! К окну — так и ноги подкосились: сосна вся посинела, как мертвец, и страшно кивает ему черною всклокоченною бородою. Сначала было думал пан, не хмель ли бродит у него в голове; так на следующую ночь то же диво, и вся дворня в один голос, что по лесу то и дело что отпевают усопшего таким страшным голосом, что всякого мороз драл по коже и волосы щетиною поднимались на голове. Чего уж ни делали: и погребли с честью тело дьякона, и принимались было рубить сосну, — так секира не берет: что ни ударят, топор

[1] В аде.

вызубрится, а дерево стонет, будто дитя некрещеное. Решились наконец бросить это окаянное место. Вот каждый день и соберется вся челядь, оседлают коней, заберут все с собою и выедут, еще черти не бьются на кулачки; едут, едут, до самого вечера: кажись, Бог знает куда заехали! Остановятся ночевать — смотрят, знакомые всё места: опять тот же дикий лес, те же хоромы, а проклятая сосна, протягивая ветви, словно руки, хватает пана и обдает его кровавыми каплями, а черная всклокоченная борода так же жутко кивает ему... — Тут рассказчик наш стремительно ударил в слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не без удовольствия заметил в нем впечатление, произведенное его рассказом. Действительно, путник наш не мог не ощутить какого-то тайно врывавшегося в душу страха и с беспокойством посматривал вокруг. В это время поравнялись они с сосной. Серебряный свет падал на печальные ветви ее, и отбрасывавшиеся от них тени, будто продолжение их, переламливаясь о встречные деревья, ложились бесконечною лестницею на землю. Ветер слегка покачивал вершину, и когда путник, немного проехав, оглянулся назад, то ему показалось, что какой-нибудь неприязненный дух, приняв дикий, величественный образ, медленно следовал за ним, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темно-зеленые объятия свои, в намерении схватить его.

— Что же далее случилось? — спросил он умолкшего рассказчика, стараясь подавить невольную робость.

— Что? Круто пришлось пану: распустил всю свою дворню, стал схимником и как отправил пятьдесят две панихиды за упокой души дьякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же делся после того схимник, этого никто не скажет вам. Дня за три до Купала каплет с этого дерева день и ночь роса. Говорят еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лесу. Теща рассказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встретила однажды в лесу дьявола в красном жупане, в каком ходил и покойный пан... Цоб, цоб, цобе! гей! Вот мы, добродию, и приехали.

Лапчинский увидел действительно перед собою низенькие ворота, редко убитые вполерек положенными досками, какие и теперь можно видеть почти у каждого малороссийского поселянина. Лай собак залился по лесу, и старая женщина, в накинутом

на плеча тулупе, вышла отворить ворота. Глазам нашего путника представился небольшой дворик, обнесенный забором из болотного тростника, несколько сараев и хлевов, укрытых таким же тростником, и обыкновенная малороссийская хата. На дворе навален был ворох ульев, из которых многие развешаны были на деревьях, нагибавших со всех сторон любопытные ветви свои во двор, как будто низкая буколическая жизнь его могла доставить им, величественным, занимательное зрелище. Позади двора тянулось еще какое-то строение, которого за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имение сие принадлежало слишком зажиточному козаку; в тогдашние времена не у всякого могло найтись подобное великолепие. Пока хозяин занимался выгрузкою своего вьюка, Лапчинскому было довольно времени рассмотреть внутренность этого обиталища. Все в нем было почти так же, как и ныне у простолюдинов Малороссии: против дверей несколько окон, перед ними стол, на котором заметил он ржаной хлеб и соль, не снимавшиеся с него никогда, в знак того, что гость во всякое время может найти радушный прием себе. Всю комнату обходили липовые, широкие и узкие, лавки; у дверей громоздилась печь с отверстием внизу, заслоненным частою решеткою, из-за которой выглядывали куры, гуси, индейки и домашние кролики. Каждый из сих бессловесных жильцов суетился по-своему: пищал, кудахтал, гоготал и давал знать, что он нимало не последнее из творений. На полу мальчишка лет четырех колотил огромным подсолнечником по опрокинутому горшку, между тем как другой, годом постарее, душил за горло кота, напевая какую-то песню, которую, верно, от частого повторения его матери, заучил навеки. Перед большим окованным сундуком сидела девочка лет одиннадцати, держа на руках грудного ребенка, плакавшего изо всех сил, несмотря на то что она, желая забавить его, побрякивала огромным замком и стращала малютку вошедшим гостем. На стене висели: серп, сабля, ружье, которого замок был развинчен и лежал близ него на полке, вероятно отложенный для починки, секира, турецкий пистолет, еще ружье, неопущенная коса и коротенькая нагайка — орудия, с незапамятных времен вечно враждовавшие между собою и которые непонятный человек заставляет мириться, несмотря на несходные их свойства.

— Прошу не погневаться, добродию, что заставил вас ждать немного! — сказал вошедший хозяин. — Так проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сих пор в голове базар ходит. Счастье еще, что старухи моей нет дома, а то бы она вымыла мне голову. Дома только нас: я да теща.

При сем слове вошла та самая старуха, которая отворяла ворота. С каким-то грустным чувством рассматривал ее путник: казалось, перед ним стояла жертва могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой на него; но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядели; им все казалось смутно, как не совсем проснувшемуся человеку. Покамест предавался он таким чувствам, старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь мир свой, который так же казался ей просторен и люден, как и всякий другой; а хозяин обратился к детям своим.

— Ай да Федот! — говорил он, поднимая одною рукою под потолок мальчика с подсолнечником. — Где ты взял такой страшный сонечник?[1] Да этим ты как-нибудь человека убьешь. Ты что там делаешь, Карпо? кота душишь? Какой же я тебе гостинец привез! Ступай же, собачий сын! что ж ты стоишь и рот разинул? Вот, как видите, добродию, сто раз толкую, что я его батька; до сих пор не верит, ледача детина![2] А ты, плакса, долго будешь реветь? А подайте мне батог, вот я его! Давай его сюда, Маруся; я сейчас за окошко: пусть там съедят его волки либо ляхи...

— Тебя-таки, земляк, Бог наделил детьми? — сказал гость наш своему хозяину.

— Да, не без того, мосьпане! всех-то их у меня семеро. Два уже поженились на чужой стороне, только черт знает какое приданое взяли за невестами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кроме полыни и бурьяну. Что ж ты, Федот, не скажешь спасибо? Пан дает пряник, а он и не поклонится. Не извольте целовать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мне

[1] Подсолнечник, по малороссийскому произношению.
[2] Негодный ребенок.

с ним порядочные хлопоты. Услышал, что еду на ярмарку: «Возьми и меня, тату!» — «Да куда я тебя дену? там тебя задавят!» — «Нет, не задавят, возьми да возьми!» — «Да там теперь столько цыганов, что еще украдут тебя, и тогда поминай как звали». — «Возьми, да и только!» Что станешь делать? плачу такого натворил, что, Боже, упаси! Насилу унял его обещанием привезти медового коня с золотой головою. Ну, Маруся, матери незачем дожидаться: давай-ка нам вечерять; баба уж, верно, спит! Так до кого, добродию, — продолжал он, вдруг оборотясь к гостю и садясь за стол, — говоришь ты, едешь? У меня под старость голова как дырявое ведро: сколько ни лей воды в него, все пусто; сколько ни толкуй умных речей, все позабудет.

— Как, земляк? разве я не сказал тебе, что до Глечика? — отвечал гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

— До миргородского полковника? так нечего тебе и забираться так далеко: не кто другой, как он, сидит перед тобою, мосьпане!

Если бы в это время пуля пролетела мимо ушей Лапчинского, он был бы менее удивлен. Так внезапно, так неожиданно напасть на него врасплох, когда все мысли его разбрелись... когда... Нет, не может быть: он ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, как бы желая удостовериться в лживости того, о чем донес ему слух его.

1830

<II> Кровавый бандурист

Глава из романа

В 1543 году, в начале весны, ночью, тишина маленького городка Лукомья была смущена отрядом рейстровых коронных войск. Ущербленный месяц, вырезываясь блестящим рогом своим сквозь беспрерывно обступавшие его тучи, на мгновение освещал дно провала, в котором лепился этот небольшой городок. К удивлению немногих жителей, успевших проснуться, отряд, которого прежде одно появление служило предвестием буйства и грабительства, ехал с какою-то ужасающею тишиною. Заметно было, что всю силу напряженного внимания его останавливал тащившийся среди его пленник в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилие на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями, вероятно, для сообщения неподвижности его телу. Пушечный лафет был укреплен на спине его. Конь едва ступал под ним. Несчастный пленник давно бы свалился, если бы толстый канат не прирастил его к седлу. Осветить бы месячному лучу хоть на минуту его лицо — и он бы, верно, блеснул в каплях кровавого пота, катившегося по щекам его! Но месяц не мог видеть его лица, потому что оно было заковано в железную решетку. Любопытные жители, с разинутыми ртами, иногда решались подступить поближе, но, увидя угрожающий кулак или саблю одного из провожатых, пятились и бежали в свои щедушные домики, закутываясь покрепче в наброшенные на плеча татарские тулупы и продрогивая от свежести ночного воздуха.

Отряд минул город и приближался к уединенному монастырю. Это строение, составленное из двух совершенно противуположных частей, стояло почти в конце города, на косогоре. Нижняя половина церкви была каменная и, можно сказать, вся состояла из трещин, обожжена, закурена порохом, почерневшая, позеленевшая, покрытая крапивою, хмелем и дикими колокольчиками, носившая на себе всю летопись страны, терпевшей кровавые жатвы. Верх церкви с теми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила испорченная архитектура византийская, еще более изуродованная варваризмом подражателей, был весь деревянный. Новые доски, желтевшие между почерневшими старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще

не так давно она была починена богомольными прихожанами. Бледный луч серпорогого месяца, продравшись сквозь кудрявые яблони, укрывавшие ветвями в своей гуще часть здания, упал на низкие двери и на выдавшийся над ними вызубренный карниз, покрытый небольшими своевольно выросшими желтыми цветами, которые на тот раз блестели и казались огнями или золотою надписью на диком карнизе. Один из толпы с неизмеримыми, когда-либо виданными усами, длиннее даже локтей рук его, которого по замашкам и дерзкому повелительному взгляду признать можно было начальником отряда, ударил дулом ружья в дверь. Дряхлые монастырские стены отозвались и, казалось, испустили умирающий голос, уныло потерявшийся в воздухе. После сего молчание снова заступило свое место. Брань на разных наречиях посыпалась из-под огромнейших усов начальника отряда: «Теремте-те, поповство проклятое! А то я знаю, чем вас разбудить!» Раздался пистолетный выстрел, пуля пробила ворота и шлепнулась в церковное окно, стекла которого с дребезгом посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятение в кельях, которые примыкали к церкви; показались огни; связка ключей загремела; ворота со скрыпом отворились, — и четыре монаха, предшествуемые игуменом, предстали бледные, с крестами в руках.

— Изыдите, нечистые! кромешники! — произнес едва слышным дрожащим голосом настоятель. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа, изыди, диаволе!

— Але то еще и брешет, поганый собака! — прогремел начальник языком, которому ни один человек не мог бы дать имени: из таких разнородных стихий был он составлен. — То брешешь, лайдак, же говоришь, что мы дьяволы; а то мы не дьяволы, мы коронные.

— Что вы за люди? Я не знаю вас! Зачем вы пришли смущать православную церковь? — произнес настоятель.

— Я тебе, псяюха, порохом прочищу глаза! Дай нам ключи от монастырских погребов!

— На что вам ключи от наших погребов!

— Я, глупый поп, не буду с тобою говорить! Але ты хочешь, басе мазенята, поговори з моим конем: нех тебе отвечает из-под...

— Принеси им, антихристам, ключи, брат Касьян! — простонал настоятель, оборотившись к одному монаху. — Только

у меня нет вина! Как Бог Свят, нет! Ни одной бочки, ни бочонка, и ничего такого, что бы вам было нужно.

— А то мне какое дело! Ребята хочут пить. Я тебе говорю, же ты, глупый поп, сена, стойла и пшеницы не дашь лошадям, то я в костел ваш поставлю их и тебя сапогом до морды.

Настоятель, не говоря ни слова, возвел на них оловянные свои глаза, которые давно уже не принадлежали миру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встретился с злобно устремившимися на него глазами иезуита. Отворотившись от него, он остановил их на странном пленнике с железным наличником. Вид этот, казалось, поразил почти бесчувственного ко всему, кроме церкви, старца.

— За что вы схватили этого человека? Господи, накажи их трехипостасною силою Своею! Верно, опять какой-нибудь мученик за веру Христову!

Пленник испустил только слабое стенание.

Ключи были принесены, и при свете сонно горевшей светильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Как только опустились они под земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всех. В молчании шел начальствовавший отрядом, и непостоянный огонь светильни, окруженный туманным кружком, бросал в лицо ему какое-то бледное привидение света, тогда как тень от бесконечных усов его подымалась вверх и двумя длинными полосами покрывала всех. Одни только грубо закругленные оконечности лица его были определительно тронуты светом и давали разглядеть глубоко бесчувственное выражение его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло в этой душе; что жизнь и смерть — трын-трава; что величайшее наслаждение — табак и водка; что рай там, где все дребезжит и валится от пьяной руки. Это было какое-то смешение пограничных наций. Родом серб, буйно искоренивший из себя все человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол. Во все время казался он спокоен; по временам только шумела между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной пол, час от часу уходивший глубже вниз, заставлял его оступаться. Тщательно осматривал он находившиеся

в земляных стенах норы, совершенно обсыпавшиеся, служившие когда-то кельями и единственными убежищами в той земле, где в редкий год не проходило по степям и полям разрушение, где никто не строил крепких строений и замков, зная, как непрочно их существование. Наконец показалась деревянная, заросшая мхом, зацветшая гнилью дверь, закиданная тяжелыми бревнами и каменьями. Пред ней остановился он и оглядел ее значительно снизу доверху. «А ну!» — сказал он, мигнувши бровью на дверь, и от брови, казалось, пахнул ветер. Несколько человек принялись и не без труда отвалили бревна. Дверь отворилась. Боже! какое обиталище открылось глазам! Присутствовавшие взглянули безмолвно друг на друга, прежде нежели осмелились войти туда. Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распустившая свои костистые члены под всеми цветущими городами, под всем веселящимся, живущим миром. Но если эта дышащая смертью внутренность земли населена еще живущими, теми адскими гномами, которых один вид уже наводит содрогание, тогда она еще ужаснее. Запах гнили пахнул так сильно, что сначала заняло у всех дух. Почти исполинского роста жаба остановилась неподвижно, выпучив свои страшные глаза на нарушителей ее уединения. Это была четырехугольная, без всякого другого выхода, пещера. Целые лоскутья паутины висели толстыми клоками с земляного свода, служившего потолком. Обсыпавшаяся со сводов земля лежала кучами на полу. На одной из них торчали человеческие кости; летавшие молниями ящерицы быстро мелькали по ним. Сова или летучая мышь была бы здесь красавицею.

— А чем не светлица? Светлица хорошая! — проревел предводитель. — Терем-те-те! Лысый бес начхай тебе в кашу! Але тебе, псяюхе, тут добре будет спать. Сам ложись на ковалки, а под голову подмости ту жабу али возьми ее за женку на ночь!

Один из коронных вздумал было засмеяться на это, но смех его так страшно, беззвучно отдался под сырыми сводами, что сам засмеявшийся испугался. Пленник, который стоял до того неподвижно, был втолкнут на середину и слышал только, как заскрыпела за ним дверь и глухо застучали заваливаемые бревна, свет пропал, и мрак поглотил пещеру.

Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа, когда страшная земля валится на последний признак существования человека и могильно-равнодушная толпа говорит, как сквозь сон: «Его нет уже, но он был».

После первого ужаса он предался какому-то бессмысленному вниманию, бездушному существованию, которому предается человек, когда удар бывает так ужасен, что он даже не собирается с духом подумать о нем и вместо того устремляет глаза на какую-нибудь безделицу и рассматривает ее. Тогда он принадлежит к другому миру и ничего не разделяет человеческого. Видит без мыслей; чувствует не чувствуя; странно живет. Прежде всего внимание его впилось в темноту. Все было на время забыто — и ужас ее, и мысль о погребении живого. Он всеми чувствами вселился в темноту. И тогда пред ним развернулся совершенно новый, странный мир. Ему начали показываться во мраке светлые струи — последнее воспоминание света! Эти струи принимали множество разных узоров и цветов. Совершенного мрака нет для глаза. Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цвета, которые видел. Эти разноцветные узоры принимали или вид пестрой шали, или волнистого мрамора, или, наконец, тот вид, который поражает нас своею чудною необыкновенностью, когда рассматриваем в микроскоп часть крылышка или ножки насекомого. Иногда стройный переплет окна, — которого, увы! не было в его темнице, — проносился перед ним. Лазурь фантастически мелькала в черной его раме, потом изменилась в кофейную, потом исчезала совсем и обращалась в черную, усеянную или желтыми, или голубыми, или неопределенного цвета крапинами. Скоро весь этот мир начал исчезать: пленник чувствовал что-то другое. Сначала чувствование это было безотчетное; потом начало приобретать определительность. Он слышал на руке своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись к чему-то склизкому. Мысль о жабе вдруг осенила его!.. он вскрикнул... и разом переселился в мир действительный. Мысли его окунулись вдруг в весь ужас существенности. К тому еще присоединилось изнурение сил, ужасный спертый воздух: все это повергло его в продолжительный обморок.

Между тем отряд коронных войск разместился в монастырских кельях как дома, высылал монахов подчищать конюшни и пировал от радости, что наконец схватил того, кто им был нужен!

— Попался, псяюха! — говорил усатый предводитель. — Хотел бы я знать, чего они так быстры на ноги, собачьи дети? Пойдем, хлопцы, доведаемся, кто с ним был, лысый бес начхай ему в кашу!

Жолнеры опустились вниз и нашли пленника, лежащего без чувств.

— Дай ему понюхать чего-нибудь!

Один из них немедленно насыпал ему на руку пороху, к которой прислонилась его голова, и зажег его. Пленник чихнул и поднял голову, будто после беспокойного сна.

— Толкните его дубиной! рассказывай, терем-те-те, бабий сын! Але кто с тобою разбойничал? Двенадцать дьяблов твоей матке! Где твои ребята?

Пленник молчал.

— А то я тебе спрашиваю, псяюха! Скиньте с него наличник! Сорвите с него епанчу! А то лайдак! Але то я знаю добре твою морду: зачем ее прячешь?

Жолнеры принялись — разорвали верхнюю епанчу тонкого черного сукна, которою закрывался пленник, сорвали наличник... и глазам их мелькнули две черные косы, упавшие с головы на грудь, очаровательная белизна лица, бледного, как мрамор, бархат бровей, обмершие губы и девственные обнаженные груди, стыдливо задрожавшие, лишенные покрова.

Начальник отряда коронных войск окаменел от изумления; команда тоже.

— Але то баба? — наконец обратился он к ним с таким вопросом.

— Баба! — отвечали некоторые.

— А то как могла быть баба? Мы козака ловили.

Предстоящие пожали плечами.

— На цугундру бабу! Как ты, глупая баба, дьявол бы тебя!.. Але как ты смела?.. рассказывай, где тот псяюха, где Остржаница?

Полуживая не отвечала ни слова.

— То тебя заставят говорить, лысый бес начхай тебе в кашу! — кричал в ярости воевода. — Ломайте ей руки!

И два жолнера схватили ее за обнаженные руки, белизною равнявшиеся пыли волн. Раздирающий душу крик раздался из уст ее, когда они стиснули их жилистыми руками своими.

— Что? скажешь теперь, бесова баба?

— Скажу! — простонала жертва.

— Оставь ее! Рассказывай, где тот бабий сын, сто дьяблов его матке!

— Боже! — проговорила она тихо, сложив свои руки. — Как мало сил у женщины! Отчего я не могу стерпеть боли!

— То мне того не нужно! Мне нужно знать, где он?

Губы несчастной пошевелились и, казалось, готовы были что-то вымолвить, как вдруг это напряжение их было прервано неизъяснимо странным происшествием: из глубины пещеры послышались довольно внятно умоляющие слова: «Не говори, Ганулечка! Не говори, Галюночка!» Голос, произнесший эти слова, несмотря на тихость, был невыразимо пронзителен и дик. Он казался чем-то средним между голосом старика и ребенка. В нем было какое-то, можно сказать, нечеловеческое выражение; слышавшие чувствовали, как волосы шевелились на головах и холод трепетно бегал по жилам; как будто это был тот ужасный черный голос, который слышит человек перед смертью.

Допросчик содрогнулся и положил невольно на себя крест, потому что он всегда считал себя католиком. Минуту спустя уже ему показалось, что это только почудилось. Жолнеры обшарили углы, но ничего не нашли, кроме жаб и ящериц.

— Говори! — проговорил снова неумолимый допросчик, однако ж не присовокупив на этот раз никакой брани.

Она молчала.

— А ну, принимайтесь! — При этом густая бровь воеводы мигнула предстоящим.

Исполнители схватили ее за руки.

И те снежные руки, за которые бы сотни рыцарей переломали копья, те прекрасные руки, поцелуй в которые уже дарит столько блаженства человеку, эти белые руки должны были вытерпеть адские мучения! Не многие глаза выдержали бы то ужасное зрелище, когда один из них с варварским зверством свернул ей два пальца, как перчатку. Звук хрустевших костей был тих, но его, казалось, слышали самые стены темницы. Сердцу

с не совсем оглохлыми чувствами недостало бы сил выслушать этот звук. Страшно внимать хрипению убиваемого человека; но если в нем повержена сила, оно может вынести и не тронуться его страданиями. Когда же врывается в слух стон существа слабого, которое ничто пред нашею силою, тогда нет сердца, которого бы даже сквозь самую ярость мести не ужалила ядовитая змея жалости.

Пленница ни звука не издала. Лицо ее только означилось мгновенным судорожным движением муки, и губы задрожали.

— Говори, я тебя!.. поганая лайдачка!.. — произнес воевода, которому муки слабого доставляли какое-то сладострастное наслаждение, которое он мог только сравнить с дорого доставшеюся рюмкою водки.

Но только что он произнес эти слова, как снова тот же нестерпимый голос так же явственно раздался и так же невыносимо жалобно произнес: «Не говори, Ганулечка!»

На этот раз страх запал глубже в душу начальника.

Все обратились в ту сторону, откуда послышался этот странный голос — и что же?..

Ужас оковал их. Никогда не мог предстать человеку страшнейший фантом!.. Это был... ничто не могло быть ужаснее и отвратительнее этого зрелища! Это был... у кого не потряслись бы все фибры, весь состав человека! Это был... ужасно! — это был человек... но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни жилы синели и простирались по нем ветвями!.. Кровь капала с него!.. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза.

Невозможно было описать ужаса присутствовавших. Все обратилось, казалось, в неподвижный мрамор со всеми знаками испуга на лицах. Но, к удивлению, это появление, отнявши силу у сильных, возвратило ее слабому. Собравши всю себя, всю душевную крепость, молодая узница тихо поползла к дверям и вступила в земляной коридор, которого гнилой воздух показался ей райским в сравнении с ее темницей...

1832 год

<III> <Начало исторического романа>

Глава <I>

Был апрель 1645 года, время, когда природа в Малороссии похожа на первый день своего творенья; самая нежная детская зелень убирала очнувшиеся деревья и степи. Этот день был перед самым Воскресением Христовым. Он уже прошел, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю. А чистый девственный воздух, разносивший дыхание весны, веял сильнее. Сквозь жидкую сеть вишневых листьев мелькали в огне окна деревянной церкви села Комишны. Старая, истерзанная временем, покрытая мохом церковь будто обновилась; вокруг ее как рои пчел толпились козаки с ближних и дальних хуторов, из которых едва десятая часть поместилась в церкви. Было душно, но что-то говорило светлым торжеством. Автор просит читателей вообразить себе эту картину 17 столетия.

Мужественные, худощавые, с резкими чертами лица, подбритые головы, опустившиеся вниз усы, падавшие на грудь, широкие плечи атлетской силы, при каждом почти заткнутые за пояс пистолеты, сабли показывали уже в какую эпоху собравшиеся козаки. Странно было глядеть на это море голов, почти не волновавшееся, на это [остановившееся движение, отраженное на лицах].

Благоговейное чувство обнимало зрителя. Все здесь собравшееся было характер и воля, но и то и другое было тихо и безмолвно. Свет паникадила, отбрасываясь на всех, придавал еще сильнее выражения лицам. Это была картина Великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная. Почти незаметно прибавилось одно новое лицо к молящимся. Оно возвышалось над другими целою головою, какой-то крепкий смелый оклад, какая-то легкая беспечность означивалась на нем. Оно было спокойно и вместе так живо, что, взглянувши, ожидал бы непременно услышать от него слово, чтобы увидеть его изменившимся, как будто бы оно непременно должно было все заговорить конвульсиями. Но между тем как все мало-помалу начали обращаться на него, вся масса двинулась из храма для торжественного хода вокруг церкви, и замечательная физиономия смешалась с другими, выходя по церковной лестнице. У самого крыльца

стояли несколько жидов, содержавшие по велению польского правительства откуп, и спорили между собою, намечая мелом пасхи, приносимые для освящения христианами. Нужно было видеть, как на лице каждого выходившего дрогнули скулы. Это постановление правительства было уже давно объявлено; народ с ропотом, но покорился. Оппозиционисты были <н>испровержены, к этому, кажется, все уже привыкли, затем что это так поступлено; но, несмотря на это, при виде этого постановления, приводимого в исполнение, они так изумились, как будто бы это было новость. Так преступник, знающий о своем осуждении на смерть, еще движется, еще думает о всех делах, но прочитанный приговор разом разрушает в нем жизнь. После перемены в лице рука каждого невольно опускалась к кинжалу или к пистолетам. Но ход окончился, и все спокойно вошли в церковь при пении.

Между тем совершенно наступило утро. *«Христос Воскресе из мертвых»,* выстрелы из пистолетов и мушкетов потрясало дряхлые стены церкви. На всех лицах просияла радость: у одних при мысли о качелях, у девушек при целовании, а козаков при попойках. Как вдруг страшный шум извне заставил многих <...>[1] Народ, окруживший церковь, собрался в кучу, из которой раздавались брань и крик жидов. Три жида отбирали у дряхлого, поседевшего как лунь козака пасху, яйца и барана, утверждая, что он <...>[2] за него денег.

За старика вступились двое стоящих около него, к ним пристали еще и, наконец, целая толпа готовилась задавить жидов, если бы тот же самый широкоплечий, высокого росту, чья физиономия так поразила находившихся в церкви, не остановил одним своим мощным взглядом.

— Чего вы, хлопцы, сдуру беснуетесь. У вас, видно, нет ни на волос Божьего страху. Люди стоят в церкви и молятся. А вы тут, черт знает, что делаете. Гайда по местам!

Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам, рассуждая, что это за чудо такое, откудова оно взялось и с какой стати ввязывается он, куда его не просят, и отчего он хочет, чтобы <его> слушали. Но это каждый только подумал, а не сказал вслух. Взгляд и голос незнакомца как будто имели волшебство,

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

[2] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

так были повелительны. Один жид стоял только не отходя, и как скоро оправился от первого страха, то, будучи ободрен незваною помощью, начал было быстро снова приступать, как тот же самый и схватил его могучею рукою за ворот так, что бедный потомок Израилев съежился и присел на колене.

— Э, <...>[1] свиное ухо? Так тебе еще мало, что душа осталась в галанцях? Ступай же, тебе говорю, поганая жидовина, пока не оборвал тебе пейсики.

После чего толкнул его, и жид распластался на земле, как лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бежать и спустя несколько времени возвратился с начальником польских улан. Это был довольно рослый поляк с глупо-гордецкой физиономиею, которая всегда почти отличает полицейских служителей.

— Что это? Как это? Гунство терем-те-те. Зачем драка, холопство проклятое? Лысый бес в кашу с смальцем? Что вы? Что тут драка? Порвал бы вас собака!..

Блюститель порядка не знал бы, куда обратиться и на кого излить поток своих наставлений, приправляемых бранью, если бы жид не подвел его к старому козаку, которого волосы, вздуваемые ветром, как снежный иней серебрились.

— Что ты, глупый холоп, вздумал? Что ты начал драку? Баса мазенята, гунство! Знаешь ты, что жид? Гунство проклятое... Знаешь, что борода попа вашего не стоит подошвы? Черт бы тебя схватил в бане зубами за пуп! У него еломок краше, чем ваша *холопска вяра*... — При этом <он> схватил за волосы старца и выдернул клок серебряных волос его... Глухое стенание испустил старый козак.

— Бей, пан, дери меня за чуб, дери. Бей еще. Сам я виноват, что дожил до таких лет, что и счет уж им потерял. Сто лет, а может и больше тому назад, меня драли за чуб, когда я был хлопцем у батька. Теперь опять бьют. Видно, снова воротились лета мои. Только нет, не то, не в силах теперь и руки поднять. Бей же меня!..

При сих словах стодвадцатилетний старец наклонил свою белую голову на руки, сложенные крестом на палке, и, подпершись ею, долго стоял в живописном положении. В словах старца было невыразимо трогательное. Заметно было, что многие хватались рукою за сабли и пистолеты.

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

Но вид нескольких усатых уланов на лошадях и несколько слов, сказанных незнакомцем, заставили всех принять положение молельщиков и креститься.

— Что ты врешь, глупый мужик, терем-те-те! Что <бы> я на тебе руки поганил, гунство проклятое! Лысый бес начхай тебе в кашу. Гершко! Возьми от него пасху! Пусть его овсяным сухарем разговеется! Вишь, гунство проклятое! — говорил блюститель правосудия, подвигаясь к ряду девичьему и ущипнув одну из них за руку.

— Что за драка? Ох, славная девка! Вишь, драку!.. Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь, глупый мужик, порвал бы его собака!.. Ай, ай, ай, ай, сколько тут жиру...

Блюститель порядка, верно, себе позволил нескромность, потому что одна из девушек вскрикнула во все горло. В это время пасхи были освящены и обедня кончилась, и многие стали уже расходиться. Несколько только народу обступило козака, так заинтересовавшего толпу, который между тем подходил к исправлявшему звание алгвазила.

— Славный у тебя ус, пан, — проговорил он, подступив к нему близко.

— Хороший! У тебя, холопа, не будет такого! — признал он <и> расправил его рукою.

— Славный! Только не туда ты, пан, его крутишь, вот куда нужно, — проговорил мощный козак, дернувши его сильной рукою так, что половина уса осталась у него. Старый волокита закряхтел и заревел от боли. Лицо его сталось цвета вареной свеклы.

— Рубите его, рубите, лайдаки, — кричал он. Но, почувствовав себя в руках высокого козака и увидя насмешливые лица всех, стал искать глазами своих воинов. Малеваный шут струсил и топорщился, стараясь вырваться.

— Как же тебе, пан, не совестно бить такого старика! А если бы твоего старого отца кто-нибудь стал бесчестить так поносно при всех, как ты обесчестил старейшего из всех нас. Что тогда? Весело тебе было бы терпеть это? Ступай, пан! Если б ты не у короля в службе был, я бы тебя <не> выпустил живого.

Выпущенный пленник побежал вовсю, отряхиваясь. За ним следом повалил народ. Между тем козак, <...>[1] отвязавши коня,

[1] *Два слова в рукописи не прочитаны.*

привязанного к церковной ограде, готовился сесть, как был остановлен среднего росту воином, поседевшим человеком, который долго не отводил от него внимания и заглядывал ему в глаза с таким любопытством, как иногда собака, когда видит идущего его гнать.

— Добродию, ведь я вас знаю. Может быть, и правда? Ей-Богу, знаю. Не скажу-таки точно, но, правду, знаю. Ей-Богу, знаю. Не Остраница ли вы Омельченко?

— Может, и он.

— Ну так! Я стою в церкви и говорю: вот то, что стоит возле его, — то Тарас Остраница. Ей, ей, Остраница. Да, может быть, и нет. Может быть, и не Остраница. Нет, Остраница. [Ей, то только] тебе так показалось. Ну, как нет? Остраница, да и Остраница. Как только послушал голос, ну, тогда и рукой махнул. Вот так точнехонько покойный батюшка, пусть ему легко икнется на том свете, так же разумно, бывало, каждое слово отлепят.

Остраница внимательно начал в него всматриваться и нашел точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорезано морщинами, шея, нагнувшаяся вниз, придавала ему несколько горбатое сложение и неподвижность голове, но зато небольшие серые глаза продирались довольно увертливо сквозь чашу насунувшихся бровей, которые верно придали бы лицу суровый вид, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое в губах не давало ему противного выражения. Под кобеняком, надетым в рукава, виден был овчинный кожух, хотя воздух был довольно тепел.

Это <т> все говорил <...>[1]:

— Я верю и не верю, что вижу опять вас. А что, добродию, не во гнев будь сказано, прошу извинить, хотел бы узнать, что сделалось с теми, которые пошли с вами? Что Дигтяй, Кузубия? Воротились ли они с вами, или там остались, или ворон, может, где-нибудь доедает козацкие косточки?

— Дигтяй твой сидит на колу у турецкого султана. А Кузубия гуляет с рыбами на дне Сивача и тянет гнилую воду вместо горелки... Но Пуд<ько>. После об этом поговорим. Я тебя тоже узнал. Здравствуй, старый Пудько! Христос Воскрес!..

1 *Одно слово в рукописи не прочитано.*

— Воистину Воскрес! — говорил, целуясь, Пудько. — Как назло, крашанки и нет. Жинка давала, побоялся взять, народу таке множество... передавил бы на кисель. Так, добродию, как будто сердце знало...

— Ну, Пудько, ты, ты по-прежнему торгуешь всякою дрянью?

— А что же делать? Нужно торговать. Еще, слава Богу, что продал табак. Прошлую зиму опять с полвоза накупил кремней, дроби, пороху, серы, ну и всего, что до мизерии относится. Напросился на дороге жидок один: «Свези, чоловиче, на Хыякивску ярмарку — дам три рубли». Свез его как доброго, и надул проклятый жидок. Ей-Богу, надул, хоть бы чвертку горелки дал, грязная лысина. Знаете, что у меня чуть было ляхи не отняли всего скота, двух кобыл взяли под верх вербуны. Теперь у меня только и конины, что Гнедко, — промолвил он, садясь на гнедого коня и видя, что Остраница поворотил коня ехать. — Эх, добродию! Если бы теперь кто сказал: «А ну, старый, гайда на войну бить ляхов!» — все бы продал, и жинку и детей бы покинул, пошел бы в компанейство.

При этом Пудько выпрямился и поскакал за Остраницей, который пришпорил сильнее коня своего.

— Скажите, добродию, пане сотнику, — говорил он, поравнявшись с ним, — может, вы теперь уже и не сотник, в другом ранге каком значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы Божии взяло на откуп жидовство? Как же это, добродию, не обидно? Каково было снесть всякому христианину, что горелка находится <у> врагов Христовых? А теперь и храмы Божии? Тут, добродию, нужно нам взять вправо, ибо мимо валу нет уже проезду. Да, и забыл, что он при вас был подкопан. Говорят, как свечка полетел под самое небо. Боже Ты мой, сколько народу перемерло! Так и Дигтяй, вы говорите, теперь сидит на колу? И Кузубия потонул! А какой важный, какой сильный народ был! Сколько, как подумаешь, пропадает казачества... Мы сейчас будем ехать мимо площади, где веселится народ. Вы слышите, как потешаются хлопцы из мушкетов да хаты вздрагивают? Если вы в хутор свой едете, добродию, то и я с вами. Лучше там разговеюсь святою пасхою, чем дома с бабами. Пусть жинка и дочка остается сама. Верно, добродию, что произошло меж

народом, потому что все столпились в кучу и бросили всякое гулянье.

В самом деле, на открывавшейся в это время из-за изб площади народ сросся в одну кучу. Качели, стрельба и игры были оставлены. Остраница, взглянувши, тотчас увидел причину: на платане был повешен вверх ногами жид, тот самый, которого он освободил из рук разгневанного народа. На ту же самую виселицу тащили храбреца с оборванным усом. Видно было, что <...>[1]. Остраница ужаснулся, увидев это.

— Нужно поспешить, — говорил он, пришпорив коня. — Народ не знает сам, что делает. Дурни, это на их же головы рушится. Стойте, козаки, рыцарство и посполитый народ! Разве этак по-козацки делать? — произнес он, возвыся голос.

— Что смотреть <на> него! — послышался говор между молодежью. — В другой раз хочет у нас вытащить его из рук.

— Послушайте, <у> кого есть свой разум. Он правду говорит, — говорили несколько умеренных.

— Молоды вы еще. Я вам расскажу, как делают по-козацки. Когда один да выйдет против трех — то бравый козак; против десяти — еще лучше; один против одного — не штука; когда же три на одного нападут, то все не козаки. Бабы они тогда, то что... плюнуть хочется, для святого праздника не скажу срамного слова. Как же назвать тех теперь, братцы, которые гурьбою нападут на беззащитного, как будто на какую крепость страшную? Спрашиваю вас, братцы, — продолжал Остраница, заметив внимание, — как назвать тех?

— А чем назвать его? — поговаривали многие вполголоса. — Что ж есть хуже бабы, или того, что он постыдился сказать, мы не знаем.

— Э, не к тому речь козак своротил, — произнесло в голос несколько парубков. — Что ж, разве мы должны позволить, чтоб всякая падаль топтала нас ногами?

— Глупы вы еще, невелик, видно, ус у вас, — продолжал Остраница. При этом многие ухватились за усы и начали покручивать их, как бы в опровержение сказанного им. — Слушайте, я расскажу вам одну присказку. Один школяр учился

[1] *Два слова в рукописи не прочитаны.*

у одного дьяка. Тому школяру не далось Слово Божье, верно, он был придурковат, а может быть, и лень тому мешала. Дьяк его поколотил дубинкою раз, а после в другой. А там и в третий. «А крепко бьется проклятая дубина!» — сказал школяр, принес секиру и изрубил ее в куски. «А постой же ты!» — сказал дьяк, да и вырубил дубину толщиною с оглоблю, и так погладил ему бока, что и теперь еще болят. Кто ж тут виноват, дубина разве?

— Тут виноват, виноват король!

Радуясь, что наконец удалось успокоить народ и спасти ляшича, Остраница выехал из местечка и пришпорил коня сильнее, и услышал, что его нагоняет Пудько.

Чем-то тягостно ему было видеть возле себя другого. Множество скопившихся чувств нудили его к раздумью. Свежий, тихий весенний воздух, нежно одевающиеся деревья, все то располагало в такое состояние, когда всякий товарищ бывает скучен около <...>[1] на вечно [девственной], вечно упоительной природе. И потому Остраница выдумал предлог отослать вперед Пудька в хутор и ожидать его там. А сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил с дороги.

Этому распоряжению Пудько не слишком, кажется, не был не доволен, или, может, принял на себя только такой вид, потому что чрез это нимало не изменял любимой привычке своей говорить. Вся разница, что вместо Остраницы он все это пересказывал своему Гнедку.

— О, это разумная голова, ты еще не знаешь его, Гнедко. Он тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляхов, он славную им дал перебойку. Дали б и они ему перцу, когда бы не улизнул на Запорожье... А правда, важно жид болтается на виселице. А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в голове, ну да что ж делать? Он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь, за что ж жида повесили? Ведь и он от короля поставлен. Гм!.. Ведь ты дурень, Гнедко. Он на то враг Христов, нашего Бога Святого. — При <се>м он ударил хлыстом своего скромного слушателя. Убаюкиваемый его рассказами <конь> развесил уши и начал ступать уже шагом.

— Оно не так-то далеко и хутор, а все лучше раньше поспеть... Хочется разговеться, пора уже, давно пора, святою

[1] *Не дописано.*

пасхою. Говори, мол: мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко, у пана славный овес и пашницы даст вволю, и сивухою попотчивают. Я давно хотел у тебя спросить, Гнедко, что лучше для коня, пашница или овес? Молчишь? Ну, и будешь же век молчать, потому что Бог повелел <говорить> только человеку и да еще одной маленькой пташке...

При этом он опять хлестнул Гнедка, заметив, что он заслушался и стал выступать опять по-прежнему. Но вместо того, чтобы слушать рассуждения наших путешественников на седле и по<д> седлом, обратимся к Остранице, давно скакавшему по проселочной дороге.

<Глава> II

Как только рыцарь потерял из вида своего сотоварища, тот же час остановил рысь коня своего и поехал шагом. Солнце показывало полдень. День был ясный, как душа младенца. Изредка два или три небольших облака, повиснув, еще более увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно живительны. Ветру не было, но щеки чувствовали какое-то томное веяние свежести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытым нивам, на которых стройно, как будто лес из зеленых игол, восходил молодой посев. Дорога входила в рытвины и была с обеих сторон сжата крутыми глинистыми стенами. Без сомнения, очень давно была прорыта эта дорога в горе, потому что по обеим сторонам обрыва поросла орешником, на самой же горе поднимались по обеим сторонам высокие, как стрела, осокори; иногда перемежевывали их клены, лоза вся в отпрысках, иногда дуб толстый, которому сто лет, весь убранный повиликой, плющом, величаво расширял вершину свою над нею и казался еще выше от обросшего кустами подмостка. Местами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми ветвями на противоположную сторону и образовала над головою свод и сыпала на голову путешественника сребророзовые цветы свои, между тем как из дерев часто выглядывал обрыв, весь в цветах и самых нежных первенцах весны. Уже дорога становилась шире, и наконец открылась равнина, раздольная, [ограниченная] как рамами синевшими вдали горами и лесами, сквозь которые искрой серебра блестела прерывистая нить реки,

и над нею стлались хутора. Здесь путешественник наш остановился, встал с коня и, как будто в усталости или в желании собраться с мыслями, стал поваживать рукою по лбу. Долго стоял он в таком положении, наконец, как бы решившись на что, сел на коня и, уже не останавливаясь более, поехал в ту сторону, где на косогоре синели сады и, по мере приближения, становились белее разбросанные хаты. Посреди хутора над прудом находилась вся закрытая вишневыми и сливными деревьями светлица. Серая очеретяная ее крыша, местами поросшая [зеленью], местами на которой ярко отливалась желтая свежая заплата с белою трубою, покрытою китайскою крышею, была очень хороша. В эту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерние, и тогда нежный сребророзовый колер цветущих дерев становился пурпурным. Путешественник <слез> с коня и, держа его за повод, пошел пешком через плотину, стараясь идти как можно тише. Хлопочущие утки покрывали пруд, через плотину девчонка лет 7-ми гнала гусей.

— Дома пан? — спросил путешественник.

— Дома, — отвечала девчонка, разинув рот и став <в> совершенно внимательное положение.

— А пани?

— И пани дома.

— А панночка? — это слово произнес путешественник както тише и с каким-то страхом.

— И панночка дома.

— Умная девчонка! Я дам тебе пряник. А как сделаешь то, что я скажу, дам и другой, еще и злотый.

— Дай, — говорила простодушно девчонка, протягивая руку.

— Дам, только пойди наперед к панночке и скажи, чтоб она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ее. Слышишь? Ну, скажешь ли ты так?

— Скажу.

— Как же ты скажешь ей?

— Не знаю.

Рыцарь засмеялся и повторил ей снова те самые слова и, наконец, уверившись, что она совершенно поняла, отпустил ее вперед. А сам в ожидании сел под вербою.

Не прошло несколько минут, как мелькнула меж дерев белая сорочка и девушка лет осьмнадцати стала спускаться к гребле. Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее, так что все формы ее были как будто отлиты. Стройная роскошь совершенно южных ног не была скрыта, широкие, шитые красным шелком и все в мережках рукава спускались с плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, как спеющее яблоко, тогда как на груди под сорочкою упруго трепетали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотоле опущенную голову, и черные очи и брови мелькнули как молния. Это не была правильная совершенно голова, профиль лица, совершенно не приближавшийся к греческому, ничего в ней не было законно-прекрасного, правильного, ни одна черта лица почти не соответствовала положенным правилам красоты.

Но в этом своенравном, несколько смугловатом, словно огневом, или живом лице что-то было такое, что вдруг поражало всякого. От взгляда ее холонулось на сердце, душа занималась, и дыханье отрывисто <...>[1].

— Откудова ты, человек добрый? — спросила она, увидев козака.

— А из Запорожья, панночка. Зашел сюда по просьбе одного пана, коли милости вашей известно, — Остраницы?

Девушка вспыхнула.

— А ты видел его?!

— Видел.

— Слушай, нет, говори по правде. Может быть, ты научен от злых людей или сам имеешь какой умысел? Ну, скажи же еще раз, видел?

— Видел.

— Забожись!

— Ей-Богу!

— Ну, теперь я верю, — повторила она, немного успокоившись. — Где же ты его видел? Что он, не позабыл меня?

— Тебя позабыть, моя Галочка, мое серденько, дорогой ты кристалл мой, голубочка моя! Разве хочется мне быть растоптану татарским конем?..

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

Тут он схватил ее за руки и посадил подле себя. Удивление девушки так было велико, что она краснела и бледнела, не произнося ни одного слова.

— Как ты сюда прискакал? — говорила она шепотом. — Тебя поймают, еще никто не позабыл про тебя. Ляхи еще не вышли из Украйны.

— Не бойсь, моя голубочка. Я не один, со мною соберется кой-кто из наших... Слушай, Прис<я>, любишь ли ты меня?

— Люблю, — отвечала она и склонила к нему на грудь разгоревшееся лицо.

— Когда любишь, слушай же, что я скажу тебе. Убежим отсюда! Мы поедем в Польшу к королю, он <...>[1] даст мне землю. Не то поедем куда, хоть в Галицию или хоть к султану, и он даст мне землю. Мы с тобою не разлучимся тогда <...>[2] и заживем так же хорошо, еще лучше, чем тут на хуторах наших. Золота у меня немало, ходить есть в чем, сукон <...>[3] чего захоти только.

— Нет, нет, нет, козак, — говорила она, качая головою с грустным выражением в лице. — Не пойду с тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и одежешки <?>, хотя я тебя больше люблю, чем все сокровища, но не пойду. Как я оставлю престарелую бедную мать мою? Кто приглядит за нею? «Глядите, люди, — скажет она, — как бросила меня родная дочка моя». — Слезы покатились по ее щекам.

— Мы не надолго ее оставим, — говорил Остраница. — Только год один пробудем на Перекопе или на Запорожье. А тогда я выхлопочу грамоту от короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажет ничего и отец твой.

Прися качала головою все с тою же грустью и слезами на глазах.

— Тогда мы оба станем присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старее твоей. Но я не сижу с ней вместе. Придет время, женюсь — тогда и мать будет со мною...

— Нет, нет. Ты не то, ты — козак, тебе подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если б я была козаком, и я бы закурила люльку, села на коня и все мне

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

[2] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

[3] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

(при этом она махнула грациозно рукой) — трын-трава. Но что будешь делать, я козачка. У Бога не вымолишь, чтоб переменил долю... Еще бы я кинула, может быть, когда бы она была на руках у добрых людей, хоть даже одна, но ты знаешь, каков отец мой. Он прибьет ее, жизнь ее, бедненькой моей матери, будет горше полыни. Она и то говорит: «Видно, скоро поставят надо мною крест, потому что мне все снится, то что она замуж выходит, то что рядят ее в богатое платье, но все с черными пятнами».

— Может быть, тебе оттого так жаль своей матери, что ты не любишь меня, — говорил Остраница, поворотив голову на сторону.

— Я не люблю тебя? Гляди, я как хмелинонька около дуба вьюсь к тебе, — говорила она, обвивая его руками. — Я без тебя [ничего не вижу].

— Может быть, вместо меня какой-нибудь другой. С шпорами, с золотою кистью, чего доброго, может быть, и лях?..

— Тарас, Тарас! пощади, помилуй. Мало я плакала по тебе? Зачем ты укоряешь меня так? — сказала она, почти упав на колени и в слезах.

— О, ваш род таков, — продолжал все так же Остраница. — Вы, когда захотите, подымете такой вой, как десять волчиц, и слез, когда захотите, напускаете вволю, хоть ведра подставляй, а как на деле...

— Ну чего ж тебе хочется, скажи, что тебе нужно, чтоб я сделала?

— Едешь со мною или нет?

— Еду, еду.

— Ну, вставай, полно плакать, встань, моя голубочка, Галочка, — говорил он, принимая ее на руки и обсыпая поцелуями. — Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отнимет. Не плачь, моя... за это согласен я, чтобы ты осталась с матерью <...>[1], пока не пройдет наше горе. Что делает отец твой?

— Он спал в саду под грушею, теперь я слышу, ведут ему коня, верно, он проснулся. Прощай, советую тебе ехать скорее и лучше не попадаться ему теперь, он на тебя сердит.

При этом Ганна вскочила и побежала в светлицу... Остраница медленно садился на коня и, выехавши, оборачивался

[1] *Два слова в рукописи не прочитаны.*

несколько раз назад, как бы желая вспомнить, не позабыл ли он чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнул он своего хутора.

<Глава III>

Небо звездилось, но одеяние ночи было так темно, что рыцарь едва мог только приметить хаты, почти подъехав к самому хутору. В другое время путешественник наш, верно бы, досадовал на темноту, мешавшую взглянуть на знакомые хаты, сады, огороды, нивы, с которыми срослось его детство. Но теперь столько его занимали происшествия дня, что он не обращал внимания, не чувствовал, почти не заметил, <и как> конь сам собою ускорил шаг, угадав родимое стойло, и как заливавшиеся со всех сторон собаки прыгали перед лошадью его так высоко, что, казалось, хотели ее укусить за морду. И только одни приветливые ветки вишен, которые, перекидываясь через плетень, стеснявший узкую улицу, хлеставшие его полу, заставляли его иногда браться рукою, но это движение было машинально. Тогда только, когда конь остановился под воротами, Остраница <...>[1] низенькие решетчатые отворились.

— Кто такой?

Так человек, которого будят, открывает на мгновение глаза и тотчас их смежает. Он еще не разлучился со сном, [ленивою] рукою берется он за платье, но это движение для того только, чтобы обмануть разбудившего его, будто он хочет вставать, а между тем он еще весь в бреду и во сне, щеки его горят, можно <...>[2] целый водопад сновидений, а утро дышит свежестью, и лучи солнца еще так жив<ительны> и прохладны, как горный ключ. Наконец ворота отворились, Остраница въехал во двор, но, к изумлению своему, чуть не наехал на улан польских, спящих в <...>[3] мундирах. Это выгнало все мечты из головы его.

Он терялся в догадках, откудова взялись польские уланы. Неужели успели уже узнать о его прибытии, и кто бы мог открыть это. Если бы точно узнали, то как можно в таком скором времени совершить эту экспедицию, и где же делись его запорожцы,

[1] *Не дописано.*

[2] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

[3] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

которые должны были еще утром поспеть в его хутор? Все это повергло его в такое недоумение, что не знал на что решиться: ехать ли опрометью назад или остаться и узнать причину такой странности. [Посреди] этих размышлений он был тронут тем самым, который отпер ему ворота. Первым его движением было схватиться за саблю, но, увидевши, что это запорожец, он опустил руку.

— Но пойдемте, добродию, в светлицу, здесь не в обычае говорить, слишком многолюдно, — отвечал последний.

В сенях вышла старая ключница, бывшая нянькою нашего героя, с каганцем в руках. Осмотревши с головы до ног вошедших, она начала ворчать:

— Чего вас носит черт сюда, все только пугают меня. Я думала, что наш пан приехал, чего вам нужно. Еще мало горелки выдули?

— Дурна баба, рассмотри хорошенько, ведь это пан ваш.

Горпина снова начала осматривать с ног до головы, наконец воскликнула:

— Да это ж ты, мой голубчик! Да это ж ты, моя мутусенька. Да это ж ты, мой сокол. Как же ты переменился весь. Как же ты загорел, как же ты оброс! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не дал переменить!

Тут Горпина рыдала навзрыд и подняла такой вой, что лай собак, который было начал стихать, удвоился.

— Сумасшедшая баба, — говорил запорожец, отступивши и плюнувши ей почти в глаза. — Чего сдуру ты заревела. Народ весь разбудишь.

— Довольно, Горпина, — прервал Остраница. — Вот тебе, гляди на меня. Ну, насмотрелась?

— Насмотрелась, моя матинко родная, как не наглядеться! Еще когда ты маленьким был, носила я на руках тебя, и как вырастал, все не спускала глаз. Боже Ты мой, а теперь вот опять вижу тебя. Охо, хо, хо! — и старуха принялась рыдать.

— Слушай, Горпина! — сказал Остраница, приметивши, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки, — лучше ты принеси закусить чего-нибудь и наперед подай святой пасхи, потому что я, грешный, целый день сегодня не ел ничего и даже не попробовал пасхи.

— Да ты ж вот это и пасхи еще не отведывал, бедная моя головонька, несчастная горемыка я на этом свете! Охо, хо, хо!

Тут потоки слез, разрешившись, хлынули целым водопадом, и [Горпина], подперши щеку рукою, снова было готовилась завыть, если бы не увидела над собою замахнувшейся руки запорожца.

— Добродию, позвольте кием угомонить проклятую бабу! Что это за соромный народ! Пришла же охота Господу Богу подарить эдакое племя. Или Ему недосуг тогда было, иль Бог Его знает, что Ему тогда было...

Остраница вошел между тем в светлицу и, сбросивши с себя кобеняк, бросился на ковер. Дорога, голод и встречи привели его в такую усталость, что он, разлегшись на нем в совершенной бесчувственности, не обращал ни на что глаз своих. А потому наше дело представить описание светлицы, замечательной тем, что постройка ее принадлежала деду. Очень замечательная достопамятность в этой стране, где древностей почти не было, где брани, вечные брани, производили жестокое [разрушение] и обращали в руины все то, что <...>[1] успевало сделать трудолюбие и общежительность.

Это была просторная, более продолговатая комната и вместе с тем низенькая, как обыкновенно строились в прежнее время. Ничто в ней не говорило о прочности, как будто, кажется, строитель был твердо уверен, что <ее> существование должно быть эфемерно. Но, однако же, поправкам <и>, приделками ветхое строение простояло около 50 лет. Стены были очень тонки, и вымазаны глиною и выбелены снаружи и внутри так ярко, что глаза едва могли выносить этот блеск. Весь пол в комнате был тоже вымазан глиною, но так был чисто выметен, что на нем можно было лечь, не опасаясь запылить платья. В углу комнаты у дверей находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ее, обращенная к окнам, была покрыта белыми изразцами, на которых синею краскою были нарисованы подобия человеческим лицам с желтыми глазами и губами; другая сторона состояла из зеленых гладких изразцов. Окна были невелики, круглые матовые стекла, пропуская свет, не давали видеть ничего происходящего <на> дворе. На стене висел портрет деда

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

Остраницы, воевавшего под знаменем Батория. Он был изображен почти во весь рост, в кольчуге, с парою заткнутых за пояс <пистолетов>, нижняя часть ног до колен не была только видна. Потемневшие краски едва позволяли видеть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвестно. Над дверьми висела тоже небольшая картина масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с бочонком водки с надписью «Козак, душа правдивая, сорочки не мае», которую и доныне можно иногда встретить в Малороссии. Против дверей — несколько икон, убранных калиною и ранними цветами, а под ними на длинной деревянной доске [несколь<ко>] нарисованных сцен из Священного Писания. Там был Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака, св. Дамиян, сидящий на колу, и другие подобные. Подальше висели несколько турецких саблей, ружье и разной величины пистолеты; и подвижной под образами стол, накрытый чистой скатертью, шитою по краям красным шелком и потемневшим серебром, два странного вида <...>[1] стула. В этом состояло убранство комнаты... Остраница между тем теперь только заметил, что стол был уставлен деревянными блюдами с яйцами, маслом и бараниною. Первое его дело было приблизиться к столу и утолить голод, который теперь начал сильнее докучать ему. В это время вошла старая ключница с пасхой, с сметаной, сыром...

— Вот тебе, паноченку мой, и <...>[2], вот тебе и сметанка! — говорила <она>. — Куды ж как проголодалась, бедная дитина! Хоть как не подавится, бидненько! А я-то думала... А я хлопотала... А я бегала, как бы ему, моему сердечному... А вот Господь сподобил, опять вижу тебя. Охо-хо-хо-хо!

Горпина опять было хотела всплакнуть, и запорожец Пудько, который начал было подремывать, сидя возле насыщавшего свой голод рыцаря, устремил на нее глаза и проговорил:

— Ну, ну, ну! попробуй только зареветь!..

Это остановило намерение Горпины.

— Кушай, кушай, сынку мой, ешь на здоровье, ешь, я не мешаю тебе. Голубчик мой, мы с тобой только раз христосовались. Похристосуемся, мое серденько... похристосуемся...

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

[2] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

— Еще и христосоваться! — проговорил Пудько сквозь сон и хватил вместо чарки баранью ногу. — Пошла, проклятая баба!

— Ступай, Горпина, полно тебе! — проговорил, поднявшись, Остраница. — А не то я, несмотря на то, что ты стара и что нянчила меня, сниму со стены вот этот батог, видишь ты этот батог?

Горпина, которая привыкла бояться повелительного голоса <...>[1] пана, немедленно повиновалась.

— Ну, Пудько, где ж Тарас? Что он делает? Что я его не вижу?

— А что ж ему делать? Известно, что делает, спит где-нибудь.

— Ну, так пойдем же и мы спать, только не в душной хате, а на вольной земле, под небом.

Запорожец натянул на себя кобеняк и вышел вслед за Остраницею из светлицы, <в> которой чуть было не упал, зацепившись за что-то, лежавшее у порога. По голосу, который подало завернувшееся в кожух туловище, Остраница узнал Курника, но заметно было, что он хватил не меньше других, потому что в его словах была странная противуположность тому, что он еще говорил вечером. Даже самый образ выражения был не тот, множество слов вмешивалось таких, которых странно и смешно было от него слышать. Заметно было, что на него много сделали влияния запорожцы. «Эх, славная конница у запорожцев! Торо, торо, торо, торо, гоп, гоп, гоп... Эх, славная конница у запорожцев. Торо, торо, гоп, гоп, гоп! Славная конница! Послушай, любезный, скажи мне, какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты, мужик? Зачем ты пришел? Не скажу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо, конь, гоп, гоп!» и тому подобное. Остраница попробовал было подойти к атаману, которого указал ему Пудько и который лежал, подмостивши себе под голову бочонок, но услышал от него одни совершенно бессвязные слова, из чего он заключил, что все гуляли как следует, и решился оставить их в покое и присоединиться к другим, которых храпение составило самую фантастическую музыку. Скоро все заснуло.

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

Глава IV

Однако ж Остраница долго не мог заснуть, напрасно переворачивался он с боку на бок и пробовал все положения: сон убегал его, а думы незваные приходили и силою ложились в его мозг. Итак, его приезд понапрасну, столько приуготовлений, столько забот — все по-пустому! Она не хочет ехать с ним. Так вот это та любовь, та горячая, та безграничная любовь! Ей жаль матери, для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда может еще думать при ней об другом, об отце или матери? Нет, нет, где любовь настоящая, такая как следует, т<ам> нет ни брата, ни отца.

— Нет, я хочу, — говорил он, разбрасывая руками, — чтоб она или меня одного, или никого не любила. Целуй, прижимай меня! Пусть жар дыханья твоего пахнет мне на щеки, дрожащие груди твои прижмутся к моим грудям... и еще при этом думать об другом... О! Как чудно! как странно создана женщина! Нас приводит она в бешенство, весь горишь, весь пламень в сердце, душно, тоска, а они... а сама она, может, и не знает, что творит в нас. Она себе так, как ни в чем не бывало, глядит беспечно и не знает, что за муку произвела.

Но между тем луна, плывшая среди необозримого синего роскошного неба, и свежий воздух весенней ночи на время успокоили его мысли. Они излились в длинном монологе, из которого, может быть, <читатели> узнают сколько-нибудь о жизни героя.

— И как же ей, в самом деле, оставить бедную мать, которая когда-то ее лелеяла и которую теперь она лелеет, для которой нет ничего и не будет уже ничего в мире, когда не будет [с нею дочери]. Она одна для нее радость, пища, жизнь, защита от отца. Нет, права она... И странная судьба моя! Отца я не видал, его убили на войне, когда меня на свете еще не было. Матерь утонула, я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого. Как мне спасли жизнь, сам не знаю. Кто спас? Зачем спас? Лучше б пропал не живши! Чужие пригрели. Еще мал и глуп, я уже наездничал с запорожцами. [Дальше] опять случай: меня полонили татары. Не годится жить меж ними

христианину, пить кобылье молоко, есть конину. Однако ж я был весел душой, ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вот приехал я на родину сирота-сиротою. Не встретил никого знакомого. Хоть бы собака была такая, которая знала меня в детстве. Никого, никого! Однако ж, хо<тя> грустная, а все-таки радость была, и печально и радостно. Больно было глядеть, как посмеивался католик православному народу, и вместе весело. Подожди<те>, ляхи, увидите, как растопчет тебя вольный, как степи, народ! Что же? Вот тебе и похвалился! Увидел хорошую дивчину и все позабыл, все к черту. Ох, очи, черные очи!.. Захотел Бог погубить людей за беззаконья и послал вас. Собиралось компанейство отомстить за ругательство над Христовой верой и за бесчестье народу. Я ни об чем не думал, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. В недобрый час затеялась эта битва. Что-то делают теперь в полону преданный гетман наш и полковники? Грех лежит на мне. Еще бы можно было поправить, вражья потеря верно б была сильнее, когда бы ударил из засады я. Бежит все Запорожье, увидав, что и Галькин отец держит вражью сторону. А все вы, черные брови, вы всему виной! И вот я снова приехал сюда с ватагою товарищей, но не правая месть и не жажда искупить себе славу силой и кровью завела меня. Все вы, все вы, черные брови! Дивно диво любовь? Ни об чем не думаешь, ничего на свете не хочешь, только бы сидеть бы возле ней, уставивши на нее очи, прижавши ее ближе к себе, так, чтобы пылающая щека коснулась щеки, и все бы глядеть.

Боже, как хороша она была сегодня. Вот она глядит на меня. Серденько мое, Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка́ моя! Что-то теперь делаешь ты? Верно, не спишь и думаешь обо мне! Нет, не могу, не в силах оставить тебя, не оставлю ни за что. Как же придумать? Голова моя горит, и не знаю, что делать! Поеду к королю, упрошу Ивана Остраницу, он добудет мне грамоту и королевское прощение и тогда, тогда... Бог знает, что тогда будет, только все лучше, я буду близ ее жить...

Так раздумывал и почти разговаривал сам с собою Остраница. Уже он обнимал в мыслях свою жизнь и Галю вместе, уже воображал себя с нею в одной светлице, они хозяйничали вместе в семейном раю.

Но настоящее опять вторглось в это обворожительное будущее, и герой наш в досаде снова разбрасывает руки. Кобеняк

слетел с плеч его. Его терзала мысль, каким образом объявить запорожскому атаману, что теперь уже он оставляет свое предприятие и, стало быть, помощь его больше не нужна.

Г<лава> V

Как только проснулся Остраница, то увидел весь двор, наполненный народом: усы, <...>[1] женские парчовые кораблики, белые намитки, синие кунтуши. Одним словом, так странно двор представлял игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкий платок. Со всею этой кучей народа <он> должен был перецеловаться и принять необозримое множество яиц, подносимых в шапках, в платках, уток, гусей и прочего — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который, со своей стороны, должен был отблагодарить угощением. Подносимое принято; и так как яйца, будучи сложены в кучу, казались пирамидою ядер, выставленных на крепости, против этого козаки выкатили по повелению пана две [порядочные] бочки с горелкой <для> всех гостей. И хуторянцы сделали самое страшное выражение, и, поглаживая усы, толпа нетерпеливо ждала вступить в бой с этим драгоценным неприятелем.

И, между тем, как одна толпа бросилась на столы, трещавшие под баранами, жареными поросятами, сыром <...>[2], а другая к пустившей хмельной водопад бочке, Остраница пошел искать атамана, которого наконец нашел и <...>[3]. Держа в руках плеть, он хлестал ею одного из подчиненных своих, который стоял неподвижно, только почесываясь, как позволяли силы <...>[4] положение. При каждом ударе атаман приговаривал таким дружеским образом, что если бы у него не было в руках плети, то можно подумать, что он ласкает родного сына...

— Вот это тебе, голубчик, за то, чтобы ты знал, как почитать старших! Вот тебе, любезный, еще на придачу. А вот еще один <...>[5], вот тебе еще до пары другой. Да, голубчик, не делай так. А вот это как тебе кажется? А этот вкусен, признайся, вкусен?

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*
[2] *Одно слово в рукописи не прочитано.*
[3] *Одно слово в рукописи не прочитано.*
[4] *Одно слово в рукописи не прочитано.*
[5] *Два слова в рукописи не прочитаны.*

Когда до вкусу, так вот еще. Что за славная плеть! Чудная плеть! Что, как вот это?

Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели! Что танцуешь? Тебе, видно, весело, то-то я знал, что будет весело. Я затем тебя и благословляю так...

Тут атаман наконец почувствовал, что молодой преступник, несмотря на все старания устоять на месте, готов был закричать, остановился.

— Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись! — Принявший удары с опущенными глазами, из которых разом полились слезы, приблизился и отвесил поклон в ноги.

— Говори, любезный: «благодарю, атаман, за науку».

— Благодарю, атаман, за науку.

— Теперь ступай! Гайда! задай перцу баранам и сивухе!

— Христос Воскрес, атаман. Мы с тобой еще не христосовались.

— Воистину Воскрес, — ответил атаман.

— Нет ли у тебя в запасе губки? Охота берет люльку затянуть.

При этом вложил в зубы вытянутую из кармана трубку.

— Как не быть! Что за козак, когда мизерия не имеется!

— Я хотел тебе сказать дело, — примолвил Остраница с некоторою робостью.

— Гм, — отвечал атаман, вырубливая огонь.

— Мое дело не кроится.

— Не кроится? — промолвил [атаман], раскуривая трубку. — Погано!

— Вряд ли нам что-нибудь достанется здесь.

— Не достанется? — погано!

— Придется нам возвратиться ни с чем.

— Гм...

— Что же ты скажешь? — спросил Остраница, удивленный таким <...>[1] ответом.

— Когда воротиться, — отвечал запорожец, сплевывая, — так и воротиться.

Остраницу ободрило такое равнодушие.

— Только я не пойду с вами. Я поеду на время в Варшаву.

— Гм... — ответил атаман.

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

— Ты, может быть, сердит, извини, что я так обманул и подвел вас. Божусь, что я сам обманут. — При этом <...>[1] грянула музыка и вместе с ней грянуло топанье танцующих. Атаман с трубкою в зубах ринулся в кучу танцующих, кулаками очистил около себя круг и пустился выбивать ногами и вприсядку.

Г<лава> VI

— Что он себе думает, этот дурень Остраница? — говорил старый Пудь<ко>. — Щенок! Еще и родниться задумал со мною. Поганый нечестивец! Поди к матери своей, чтоб доносила тебя наперед. И достало духу у него сказать это. Дурень, дурень! — говорил он, дергая рукою, как будто драл кого-нибудь за волоса.

— Молод казак, ус еще не прошибся.

Старый Кузубия не мог вынести, когда видел, что младший равняется со старшим.

— Знать должен, что кто задумал мстить, то от того не жди милости. Скорее солнце посинеет, вместо дождя посыплются раки с неба, чем я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду. Не хочу! Не хочу! Жинка! Жинка!

Этим восклицанием обыкновенно оканчивал он свою речь, когда бывал сердит, и, Боже сохрани, жинке не явиться тот же час. На эту речь, едва передвигая ноги, пришло или, лучше сказать, приползло иссохнувшее, едва живущее существо... Вид ее не вдруг <...>[2], нужно было вглядеться в это<т> несчастный остаток человека, в это олицетворенное страдание, чтобы ощутить в душе неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себе длинное, все в морщинах, почти бесчувственное лицо. Глаза черные, некогда [пылавшие всем жаром] страсти, как уголь, огонь, буря, ныне почти неподвижные; губы какого-то мертвого цвета, но, однако ж, они были когда-то свежи, как румянец на спеющем яблоке. И кто бы подумал, что эти слившиеся в сухие руины черты были когда-<то> чертовски очаровательны, что движение этих некогда гордых и величественных бровей дарило счастье, необитаемое на земле! И все прошло, прошло, перегорело [осталось] наконец лишь бесчувство, терпение и безграничное повиновение.

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

[2] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

<IV> <Мне нужно видеть полковника>

<1>

— Мне нужно видеть полковника, я к нему имею дело, — говорил почти отрок семнадцати лет.

— Тебе полковника?.. — произнес с расстановкою сторожевой козак перед большою ставкою, рассматривая и переминая на своей ладони с какой-то недоверчивостью грубый крошеный табак — это странное растение, которое с такою изумительною быстротою разнесла во все концы мира новооткрытая часть света. Трубка давно у него была в зубах. — На что тебе полковник? — При этом <он> взглянул на просителя. Это был почти отрок, готовящийся быть юношею, лет шестнадцати, уже с мужественными чертами лица, воспитанного солнцем <и> здоровым воздухом, в полотняном крашеном кунтуше и шароварах. — С тобою не станет говорить полковник, — примолвил <козак, поглядев> на него почти презрительно и <...>[1] закинув назад алый рукав с золотым шнурком.

— Отчего же он не станет со мною говорить?

— Кто ж с тобою станет говорить? ты еще недавно молоко сосал. Если б у тебя был хоть суконный кунтуш да пищаль, тогда бы конечно... Ведь ты, верно, попович или школяр? Знаешь ли ты этот инструмент? — примолвил <козак> с видом самодовольной гордости, указав на трубку.

— Да думать...

Но молодой воин остановился, увидевши, что козак вдруг онемел, потупил глаза в землю и снял шапку, до того заломленную набекрень. Двое пожилых мужчин — один в коротком плаще с рукавами, выстеганными золотом, с узорно вычеканенными пистолетами, другой в шитом кафтане с серебряною привесною к поясу чернильницею — прошли мимо и вошли в ставку. Дрожа и бледнея, шмыгнул за ними молодой человек и вошел в ставку.

Молодой человек ударил поклон в самую землю от страха, увидевши, как вошедшие перед ним богатые кафтаны поклонились в пояс и почтительно потупили глаза в землю с тем безграничным повиновением, которое так странно вмещалось вместе

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

с необузданностью, чем особенно славились козацкие войска. Прямо на разостланном ковре сидел полковник. Ему, казалось на вид, было лет пятьдесят. Волоса у него стали седеть, сизые усы величаво опускались вниз. Длинный синий рубец на щеке и лбу тянулся по его почти бронзовому лицу. Кажется, нельзя было отыскать никакой резкой характерной черты, но просто оно выражало с спокойствием уверенность козака. Глядя на него, можно было тотчас узнать, что у него рука железная и мощно может управлять <...>[1]. На нем были широкие, синие с серебром, шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Несколько пистолетов и ружей стояли, и висели по углам ставки уздечки; в углу куль соломы. Полковник сам своею рукой чинил свое седло, когда вошли к нему писарь и есаул.

— Здравствуйте, панове, мои верные, мои добрые товарищи. Вот вам приказ: не пускать далеко на попас, потому что татарва теперь рыскает по степям. Идти как можно подальше, избирайте траву повыше, и шапки даже не снимайте. Да чтоб козаки не стреляли по дорогам дрохв и гусей, потому что и порох избавят даром, да что за мясоед такой козаку? Сухари да вода — то козацкая еда. А вы, мой любимый кум и мой любезный приятель (при этом он оборотился к писарю), сделайте сей же час прокличку и запишите всех, кто налицо. Да смотрите оба, что<бы> все было как следует; а то я вам скажу, вчера я видел, как козак кланялся что-<то> слишком часто <на> коне. Я хотел было <...>[2] его, да жаль было заряда: у меня пистолет был заряжен хорошим порохом...

<2>

— Мне нужно к полковнику. Я хочу видеть самого полковника.

— Тебе полковника? — говорил полунасмешливым и полупрезрительным тоном сторожевой козак, потряхивая откидными рукавами алого цвета с золотым шнурком и поглядевши пристально на просителя, почти отрока, в темном длинном кунтуше. — Подожди немножко.

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*
[2] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

— Мне наскучило ждать, я устал и очень долго ожидаю.

— Подожди немножко.

— Да до коих пор ждать мне?

— А вот, пока подрастешь, — отвечал хладнокровно козак, готовя и прочищая свою трубку.

— Дядюшка, ты мой батька, мать моя родная, пусти к полковнику!

— Какого тебе дьявола нужно? Пан полковник не станет говорить с такими, как ты.

— Не будет говорить, так прогонит. Пусти только меня.

— Нельзя, пан полковник теперь спит.

— Лжет он. Я не сплю, — послышался голос из ставки.

Козак привстал. Молодой проситель вздрогнул: бледность вдруг осенила его лицо, и сердце начало так сильно биться, что другому можно было слышать его.

— Ну, ступай, иди. Чего же стал!

Но обеспамятевший насилу мог собраться с духом. В это время пошли в ставку есаул и полковой писарь. Обрадовавшись этому случаю, он скрепился и пошел вслед за ними.

<Я давно уже ничего не рассказывал вам>

Я давно уже ничего не рассказывал вам. Признаться сказать, оно очень приятно, если кто станет что-нибудь рассказывать; если же выберется человечек небольшого роста, с сиповатым баском, да и говорит ни слишком громко, ни слишком тихо, а так совершенно, как кот мурчит над ухом, то это такое наслаждение, что ни пером не описать, ни другим чем-нибудь не сделать. Это мне лучше нравится, нежели проливной дождик, когда сидишь в сенях на полу перед дверью на улице, поджавши под себя ноги, а он, голубчик, треплет <...>[1] во весь дух солому на крыше, и деревенские бабы бегут босыми ногами, мило покрывшись своей рубахою по голову и схвативши под руку ч<еревики>. Вы никогда не слышали про моего деда? Что это был за человек! с какими достоинствами! Я вам скажу, что таких людей я теперь нигде не отыскиваю...

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

<Рудокопов>

Я знал одного чрезвычайно замечательного человека. Фамилия его была Рудокопов и действительно отвечала его занятиям, потому, что казалось, к чему ни притрогивался он, все то обращалось в деньги. Я его еще помню, когда он имел только двадцать душ крестьян да сотню десятин земли и ничего больше, когда он еще принадлежал[1]...

[1] *На этом рукопись обрывается.*

Страшная рука

Повесть из книги под названием: «Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16-й линии»

Было далеко за полночь. Один фонарь только озарял капризно улицу и бросал какой-то страшный блеск на каменные домы и оставлял во мраке деревянные, <которые> из серых превращались совершенно в черные.

<Фонарь умирал>

Фонарь умирал на одной из дальних линий Василь<евского> острова. Одни только белые каменные домы кое-где вызначивались. Деревянные чернели и сливались с густою массою мрака, тяготевшего над ними. Как страшно, когда каменный тротуар прерывается деревянным, когда деревянный даже пропадает, когда все чувствует двенадцать часов, когда отдаленный будочник спит, когда кошки, бессмысленные кошки, одни спевываются и бодрствуют! Но человек знает, что они не дадут сигнала и не поймут его несчастья, если внезапно будет атакован мошенника<ми>, выскочившими из этого темного переулка, который распростер к нему свои мрачные объятия. Но проходивший в это время пешеход ничего подобного не имел в мыслях. Он был не из обыкновенных в Петербурге пешеходов. Он был не чиновник, не русская борода, не офицер и не немецкий ремесленник. Существо вне гражданства столицы. Это был приехавший из Дерпта студент на факультеты, готовый на все должности, но еще покамест ничего, кроме студент, занявший пол-угла в Мещанской, у сапожника-немца. Но обо всем этом после. Студент, который в этом чинном городе был тише воды, без шпаги и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался под домами, отбрасывая от себя саму<ю> огромную тень, головою терявшуюся в мраке. Все, казалось, умерло, нигде огня. Ставни были закрыты. Наконец, подходя к Большому проспекту, особенно остановил внимание на одном доме.

Тонкая щель в ставне, светившаяся огненной чертою, невольно привлекала и заманила заглянуть. Прильнув к ставне и приставив глаз к тому месту, где щель была пошире, и задумался.

Лампа блистала в голубой комнате. Вся она была завалена разбросанными штуками материй. Газ, почти невидимый, бесцветный, воздушно висел на ручках кресел и тонкими струями, как льющийся водопад, падал на польск. Палевые цветы, на белой шелковой, блиставшей блеском серебра материи, светились из-под газа. Около дюжины шалей, легких и мягких, как пуховые, с цветами совершенно живыми, смятые, были брошены на полу. Кушаки, золотые цепи висели на взбитых до потолка облаках батиста. Но более всего занимала студента стоявшая в углу комнаты стройная женская фигура. Все для студента в чудесно очаровательном, в ослепительно божественном платье — в самом прекраснейшем белом. Как дышит это платье!.. Сколько поэзии для студента в женском платье!.. Но белый цвет — с ним нет сравнения. Женщина выше женщины в белом. Она — царица, видение, все, что похоже на самую гармоническую мечту. Женщина чувствует это и потому в отдельные минуты преображается в белую. Какие искры пролетают по жилам, когда блеснет среди мрака белое платье! Я говорю — среди мрака, потому что все тогда кажется мраком. Все чувства переселяются тогда в запах, несущийся от него, и в едва слышимый, но музыкальный шум, производимый им. Это самое высшее и самое сладострастнейшее сладострастие. И потому студент наш, которого всякая горничная девушка на улице кидала в озноб, которой не знал прибрать имени женщине, — пожирал глазами чудесное видение, которое, стоя с наклоненною на сторону головою, охваченное досадною тенью, наконец поворотило прямо против него ослепительную белизну лица и шеи с китайскою прическою. Глаза, неизъяснимые глаза, с бездною души под капризно и обворожительно поднятым бархатом бровей были невыносимы для студента. Он задрожал и тогда только увидел другую фигуру, в черном фраке, с самым странным профилем. Лицо, в котором нельзя было заметить ни одного угла, но вместе с сим оно не означалось легкими, округленными чертами. Лоб не опускал<ся> прямо к носу, но был совершенно покат, как ледяная гора для катанья. Нос был продолжение его — велик и туп. Губы, только верхняя выдвинулась далее. Подбородка совсем не было. От носа шла диагональная линия до самой шеи. Это был треугольник, вершина которого находилась в носе: лица, которые более всего выражают глупость.

<Дождь был продолжительный>

Дождь был продолжительный, сырой, когда я вышел на улицу. Серо-дымное небо предвещало его надолго. Ни одной полосы света; ни в одном месте [ни]где не разрывалось серое покрывало. Движущаяся сеть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видел глаз, и только одни передние домы мелькали будто сквозь тонкий газ. Тускло мелькала вывеска над <вы>веской, еще тусклее над ними балкон, выше его еще этаж, наконец крыша готова была потеряться в дождевом [тумане], и только мокрый блеск ее отличал ее немного от воздуха; вода урчала с труб. На тротуарах лужи. Черт возьми, люблю я это время. Ни одного зеваки на улице. Теперь не найдешь ни одного из тех господ, которые останавливаются для того, что<бы> посмотреть на сапоги ваши, на штаны, на фрак или на шляпу и потом, разинувши рот, поворачиваются несколько раз назад для того, чтобы осмотреть задний фасад ваш. Теперь раздолье мне закута<ться> крепче в свой плащ. Как удирает этот любезный молодой <человек> с личиком, которое можно упрятать в дамский ридикюль; напрасно: не спасет новенького сюртучка, красу и загляденье Невского проспекта. Крепче его, крепче, дождик: пусть он вбежит как мокрая крыса домой. А вот и суровая дама бежит в своих пестрых тряпках, поднявши платье, далее чего нельзя поднять, не нарушив последней благопристойности; куда девался характер; и не ворчит, видя, как чиновная крыса, в вицмундире с крестиком, запустив свои зеленые, как воротничок его, глаза, наслаждается видом как бламанже выпуклостей ноги. О, это таковской народ! Они большие бестии, эти чиновники, ловить рыбу в мутной воде. В дождь, снег, вёдро, всегда эта амфибия на улице. Его воротник, как хамелеон, меняет свой цвет каждую минуту от температуры, но он сам неизменен, как его канцелярский порядок. Навстречу русская борода, купец в синем немецкой работы сюртуке с талией на спине или лучше на шее. С какою купеческою ловкостью держит он зонтик над своею половиною. Как тяжело пыхтит эта масса мяса, обернутая в капот и чепчик. Ее скорее можно причислить к моллюскам, нежели к позвончатым животным. Сильнее, дождик, ради Бога, сильнее кропи его сюртук немецкого покрою

и жирное мясо этой обитательницы пуховиков и подушек. Боже, какую адскую струю они оставили после себя в воздухе из капусты и луку. Кропи их, дождь, за все, за наглое бесстыдство плутовской породы, за жадность к деньгам, за бороду, полную насекомых, и сыромятную жизнь сожительницы... Какой вздор! их не проймет оплеуха квартального надзирателя, что же может сделать дождь. Но, как бы то ни было, только такого дождя давно не было. Он увеличился и переменил косвенное свое направление, сделался прямой, <с> шумом хлынул в крыши и мостовую, как <бы> желая вдавить еще ниже этот болотный город. Окна в кондитерских захлопнулись. Головы с усами и трубкою, долее всех глядевшие, спрятались. Даже серый рыцарь с алебардою и завязанною щекою убежал в будку.

<Отрывки из неизвестной драмы>

<I>

...[иногда чувствуешь] понятно это ужасное чувство. Убить...[1]

<Баскаков>. А, забрало, наконец. Какое это непостижимое явление! Подлец последней степени, мошенник, заклейменный печатью позора, для которого одна награда — виселица, и этот человек, попробуй кто-нибудь коснуться его чести, назвать его подлецом: «Как вы смеете, милостивый государь, поносить честь мою? Я требую удовлетворения за вашу обиду. Вы нанесли мне такую обиду, за которую <...>[2] омыть кровью». Бездельник! И он стоит за честь свою, за честь, которая составлена из бесчестия.

<Валуев>. Я не в силах более перенесть этого! На этом ме<сте>, здесь же мы деремся.

<Баскаков>. Что? А! *(Становится спиною к дверям.)* Дуэль. Поединок. Неправда. Нет, братец. Этаких подлецов не вызывают на поединок. Для тебя нет этого удовлетворения. Этого для моей чести уже было бы слишком, чтобы я дрался с каторжником, которого ведут в Сибирь. Дуэль? Нет, тебя просто убить, как собаку. Бедное животное, благородное животное, прости, что я унизил сейчас тебя, сравнивши с этим гнусным творением.

<Валуев>. *(В бешенстве подбегает к окну.)* Эй, Никанор! Подай пистолет мне.

Баскаков. Что, тебе хочется пистолета? вон он. Я бы тебя мог сию минуту убить; но дивись моему великодушию; две минуты я даю тебе еще приготовиться. В это время ты можешь еще произнесть к Богу одно такое слово, за которое, может быть, уменьшатся твои муки, когда унесет твою душу ее владелец дьявол.

Валуев бросается на него, желая вырвать пистолет.
Несколько минут они борются.

Валуев. Я вырву-таки у тебя его.

[1] *Несколько слов в рукописи не прочитаны.*
[2] *Пропуск в рукописи.*

<Баскаков>. Нет, не вырвешь: у честного человека крепче рука, нежели у подлеца.

Борются еще несколько секунд: наконец, Баскакову удается навести пистолет против груди. Раздается выстрел. Валуев падает. Подымается со всех сторон лай собак. Стучат в двери. Голос в замочную скважину: «Барин, отворите-с».

<Баскаков>. Зачем?

<Голос>. Кто-то из вас выстрелил из ружья.

<Баскаков>. Лжешь! Здесь никто не стрелял. Лежит, протянулся, даже не вздохнул, не помолился, ни последней <молитвы> не молвил на смертном одре своем — смерть, отвечающая его жизни. Однако ж он жил; он имел такие же права жить, как и я, как и всякий другой. Он был гнусен, но был человек. А человек разве имеет право судить человека? Разве кроме меня нет Высшего Суда? Разве я был назначен его палачом? Убийство! Честный ли человек он был, подлец ли, но я все-таки убийца... Убийца не имеет права жить на свете. *(Застреливается.)*

Слышен собачий лай. Выламывают двери. Входят станционный смотритель и ямщики.

Станционный смотритель. Вишь, дуэль была.

Ямщик *(рассматривает тела)*. Еще этот хрипит, а тот уже давно душу выпустил.

Станционный смотритель. Что же тут долго <думать?> Возьми-ка, Гришка, гнедого коня да ступай верхом за капитаном-исправником.

Занавес опускается.

<II>

Действие V

Комната I-го действия.

Ольгин *(входя)*. Боже, как у меня сердце бьется. Я ее опять увижу. *(Входит Петр.)* А, здравствуй, старик! Что, я могу видеть барыню?

<Петр>. Как об вас прикажете доложить?

<Ольгин>. Скажи, что управитель тот самый, котор<ый> ей рекомендован. *(Петр уходит.)* Как все уединенно. Я едва могу узнать прежнюю комнату. Верно, у ней не принимают никого: даже ворота заперты.

<Петр>. Барыня просила ее немножко подождать; она скоро выйдет к вам.

<Ольгин>. Послушай, старик: что, вы всегда живете так, как теперь? отчего у вас заперты ворота? Разве никто не заезжает к вам?

<Петр>. Вот то-то и есть, сударь, что мы живем Бог знает как. Уж, по-моему, иди в монастырь, коли хочешь так жить. Гостей, объявить вам вот по чистосердечной совести, никого. Как добрый наш <барин> жил с нами, не так было! Что за редкостные люди были, если бы вы знали! Ну, что ж будешь делать. Не захотели жить вместе да полно. А отчего? За дрянь, за пустяк, чего-то рассердились один на другого. Барыня как-то нагрубила барину; ну, не вытерпел, человек молодой, и уехал. А по мне, право, из пустяков. Ведь уж известное дело бабы, ну, так чего же тут. Вот, конечно, вам лучше примерно сказать, моя старуха. Был я три года в отлучке. Приезжаю, навстречу идет она, с радости не знает, что делать, и ребенка ведет за руку. «Здравствуй». — «Здравствуй. А откуда, жена, ребенка взяла». — «Бог дал», — говорит. «Ах ты, рожа, Бог дал. Я тебе дам». Ну, отломал-таки сильно бока. Что ж? После простил все, стал по-прежнему жить. Что ж, ведь после оказалось, что я сам-то ведь был причиною рождения ребенка: похож на меня, как две капли воды; такой же совсем, как я, голубчик ты мой. *(Плачет.)* Вот уж два года тебя не знаю, и вести нет. Что-то ты, мой сердечный, жив ли ты?

<Ольгин>. Чем же, однако же, занимается барыня?

<Петр>. Как, чем занимается? Известно, дело женское. Я вам скажу, сударь, что дела хозяйственные идут у нас Бог знает как. Вот вы сами увидите. Вы спросите, отчего; а Бог знает, отчего. Если бы вы увидели, как она изволит управлять, так это курам смешно. Вообразите, что сама переходит по всем избам, и чуть только где нашла больного, и пошла потеха: сама натащит мазей, тряпок, начнет перевязывать. Ну, скажите, пожалуйста, боярское ли это дело. Какое же после этого будет к ней уважение мужиков? Нет, уж коли хочешь управлять, то ты сама уж сиди на одном

месте; а если что, пошли приказчика: уж это его дело; он уже обделает, как ему следует. Мужика не балуй. Мужика в ухо, — народ простой, вынесет. А этим-то и держится порядок. При барине не так было. Ах, если бы вы знали, сударь, что это был за редкостный человек. Ну, да и она редкостная барыня. Если хотите, я вам покажу комнату барина, хотя барыня никого туда не впускает и запирается сама по нескольким часам, и что она там...

Комед<ия>

Матер<иалы> общие

Старое правило: уже хочет достигнуть, схватить рукою, как вдруг помешательство и отдаление желанно<го> предмета на огромное расстояние. Как игра в накидку и вооб<ще> азартная игра.

Внезапное или неожиданное открытие, дающее вдруг всему делу новый оборот или озарившее его новым светом.

Матер<иалы> частн<ые>

Не понимает и толкует по-своему, вроде метафизическое математическим.

<Владимир 3-ей степени>

<Отрывки незаконченной комедии>

<I>

Марья Петровна. «М» и «А», а с другой стороны фамилии: «Повалищев и княжна Шлепохвостова». Чтобы все это было как можно повеликолепнее. Я также прошу вас, чтоб это все было готово не позже как через две недели.

Каплунов. Очень хорошо! *(Бежит отпереть дверь.)*

Марья Петровна *(к лакею)*. Знаешь ли ты квартиру того чиновника?

Лакей. Знаю.

Марья Петровна. Вели кучеру ехать прямо туда! Ух, я до сих пор не могу успокоиться! *(Уходит.)*

Сцена III

Комната Александра Ивановича.

Хрисанфий Петрович. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, однако ж, что по физиогномии вашей никак нельзя было думать прежде, чтобы вы были путный человек.

Александр Иванович. Насчет этого, вы знаете, есть старая пословица.

Хрисанфий Петрович. Скажите, пожалуйста: верно, покойница матушка ваша, когда была брюхата вами, перепугалась чего-нибудь?

Александр Иванович. Оставимте это.

Хрисанфий Петрович. Нет, я вам скажу, вы не будьте в претензии, это очень часто случается. Вот у нашего заседателя вся нижняя часть лица баранья. Так сказать, как будто отрезана и поросла шерстью, совершенно как у барана. А ведь от незначительного обстоятельства: когда покойница рожала, подойди к окну баран, и нелегкая подстрекни его заблеять.

Александр Иванович. Да, это может случиться.

Хрисанфий Петрович. Теперь только, как начинаю всматриваться в вас, замечаю, что лицо ваше как будто мне

знакомо: у нас в карабинерном полку был поручик. Вот как две капли воды похож на вас! Пьяница страшнейший! То есть я вам скажу, что дня не проходило, чтобы у него рожа не была разбита.

Александр Иванович. Позвольте. Я так жажду скорее вам помочь. Садитесь, сделайте одолжение, в эти кресла да расскажите обстоятельно мне ваше дело.

Хрисанфий Петрович. Позвольте, сидя не расскажешь. Это дело казусное! Знавали ли в Устюжском уезде помещицу Евдокию Малафеевну Жеребцову? Не знали? Хорошо. Она доводится родной теткой мне и бестии моему брату. У ней ближайшими наследниками были я да брат. О! Слушайте, слушайте! Кроме того, еще сестра, что вышла за генерала Повалищева. Ну, о той ни слова. Та и без того получила следуемую ей часть. Позвольте: вот этот мошенник, брат, — он уж на эти дела хоть сейчас в какую угодно министерию, — вот и подъехал он к ней: «Вы-де, тетушка, уже прожили, слава Богу, семьдесят лет; где уж вам в таких преклонных летах мешаться самим в хозяйство? Пусть лучше я буду приберегать и кормить». О, то-то, то-то! Замечайте, замечайте! Переехал к ней в дом, живет и распоряжается, как настоящий хозяин. Да вы слышите ли это?

Александр Иванович. Слышу.

Хрисанфий Петрович. То-то! Да. Вот занемогает тетушка, отчего — Бог знает; может быть, он сам и подсунул ей чего-нибудь. Мне дают уж знать стороною. Замечайте! Приезжаю: в сенях встречает меня эта бестия, то есть брат, в слезах, так весь и заливается. «Ну, говорит, братец, навеки мы несчастны с тобою; благодетельница наша...» — «Что, отдала Богу душу?» — «Нет, при смерти». Я вхожу, и точно: тетушка лежит на карачках и только глазами хлопает. Ну, что ж? плакать? Не поможет. Ведь не поможет?

Александр Иванович. Не поможет.

Хрисанфий Петрович. Ну, что ж? Нечего делать? Так, видно, Богу угодно! Я приступил поближе. «Ну, говорю, тетушка, мы все смертны. Один Бог, как говорят, не сегодня, так завтра властен в нашей жизни. Так не угодно ли вам заблаговременно сделать какое-нибудь распоряжение?» Что ж тетушка? Я вижу, не может уже языком поворотить и только сказала: «э... э... э... э...» А эта шельма, что стоял возле кровати ее, брат, говорит: «Тетушка сим изъясняет, что она уже распорядилась». Слышите, слышите?

Александр Иванович. Да разве она, точно, сказала это?

Хрисанфий Петрович. Кой черт сказала! Она сказала только: «э... э... э...» Я все подступаю: «Но позвольте же узнать, тетушка, какое же это распоряжение?» Что ж тетушка? Тетушка опять отвечает: «э... э... э...» А этот подлец опять: «Тетушка говорит, что все распоряжение по этой части находится в духовном завещании». Слышите? слышите? Что ж мне было делать? Я замолчал и не сказал ни слова.

Александр Иванович. Как же вы не уличили тут же их во лжи?

Хрисанфий Петрович. Что ж? *(Размахивает руками.)* Стали божиться, что она, точно, все это говорила. Ну, ведь... и поверил!

Александр Иванович. А духовное завещание распечатали?

Хрисанфий Петрович. Распечатали.

Александр Иванович. Что ж?

Хрисанфий Петрович. А вот что. Как только все это, как следует, христианским долгом было отправлено, я говорю, что не пора ли прочесть волю умершей. Брат ничего говорить не может от слез. «Возьмите, говорит, читайте сами». Как же бы вы думали было написано завещание? «Племяннику моему, Ивану Петрову Барсукову, — слушайте! — в возмездие его сыновних попечений и неотлучного себя при мне обретения до смерти — замечайте! замечайте! — оставляю во владение родовое и благоприобретенное имение мое в Устюжском уезде — ого-го-го! — пятьсот ревизских душ, угодья и прочее». Да вы всё слышите? «Племяннице моей Марии Петровой, дочери Повалищевой, урожденной Барсуковой, оставляю следуемую ей деревню из ста душ. Племяннику все остальное — Хрисанфию, сыну Петрову, Барсукову, — слушайте, слушайте! — на память обо мне — ого! го! — завещаю: три штаметовые юбки и всю рухлядь, находящуюся в амбаре, как-то: пуховика два, посуду фаянсовую, простыни, чепцы», — и там черт знает еще какое тряпье! А? как вам кажется? Я спрашиваю: на кой черт мне штаметовые юбки?

Александр Иванович. Ах, Боже мой, какое мошенничество!

Хрисанфий Петрович. Мошенничество — это так, я с вами согласен; но, спрашиваю я вас, на что мне штаметовые юбки? что я с ними буду делать? разве себе на голову надену?

Александр Иванович. И свидетели подписались при этом?

Хрисанфий Петрович. Как же! набрал какой-то сволочи.

Александр Иванович. А покойница собственноручно подписалась?

Хрисанфий Петрович. Вот то-то и есть, что подписалась, да черт знает как.

Александр Иванович. Как?

Хрисанфий Петрович. А вот как: покойницу звали Евдокия, а она нацарапала такую дрянь, что разобрать нельзя.

Александр Иванович. Как так?

Хрисанфий Петрович. Черт знает что такое: ей нужно было написать «Евдокия», а она написала «обмокни».

Александр Иванович. Ах, какой подлец!

Хрисанфий Петрович. О, я вам скажу, что он горазд на все. «А племяннику моему Хрисанфию Петрову три штаметовые юбки»!

Александр Иванович *(в сторону)*. Молодец, однако ж, Иван Петрович Барсуков. Я бы никак не мог думать, чтобы он ухитрился так.

Хрисанфий Петрович *(размахивая руками)*. «Обмокни»! Что ж это значит? ведь это не имя: «обмокни»?

Александр Иванович. Как же вы намерены поступить теперь?

Хрисанфий Петрович. Я подал уже прошение об уничтожении завещания, потому что подпись ложная. Пусть они не врут: покойницу звали Евдокией, а не «обмокни».

Александр Иванович. И хорошо! Позвольте теперь мне за все это взяться. Я сейчас напишу записку к одному знакомому секретарю, а вы между тем доставьте мне копию с завещания вашего.

Хрисанфий Петрович. Несказанно обязан вам! *(Берется за шапку.)* А в которые двери нужно выходить — в те или в эти?

Александр Иванович. Пожалуйте в эти.

Хрисанфий Петрович. То-то! Я потому спросил, что мне нужно еще будет по своей надобности. До свидания, почтеннейший... как вас? я все позабываю.

Александр Иванович. Александр Иванович.

Хрисанфий Петрович. Александр Иванович! Александр Иванович есть Брульдюковский; вы незнакомы с ним?

Александр Иванович. Нет.

Хрисанфий Петрович. Он еще живет в пяти верстах от моей деревни. Прощайте!

Александр Иванович. Прощайте, почтеннейший, прощайте!

<II>

Каплунов. Еще и вина! а водки не хочешь? Один дьявол — вино и водка, ведь все так же пьяно. Пойдем!

Шрейдер. Нет, я в немецка театр пойду.

Каплунов. Охота в театр! *(В сторону.)* Вот уж немецкая цигарка! И врет, расподлец, — и не думает быть в театре! Скряжничает, проклятая немчура! боится проиграть алтына, и еще в театр! На свой счет не выпьет пива, немецкая сосиска! Когда-нибудь, ей-Богу, поколочу его на все боки. *(Вслух.)* Это что за зеркало? *(Схватывает со стола зеркало.)*

Лаврентий. Перестаньте. Чего вы пришли? Ведь барина нет. Что вам здесь делать?

Слышен стук в боковые двери.

А вот и барин теперь увидит.

Шрейдер и Каплунов убегают.
Остается Петрушевич, погруженный в задумчивость.
Лаврентий и Аннушка.

Лаврентий. А! Анна Гавриловна! Насчет моего почтения с большим удовольствием вас вижу!

Аннушка. Не беспокойтесь, Лаврентий Павлович! Я нарочно зашла к вам на минутку. Я встретила карету вашего барина и узнала, что его нет дома.

Лаврентий. И очень хорошо сделали! я и жена будем очень рады. Пожалуйста, садитесь!

Аннушка *(севши)*. Скажите, ведь вы знаете что-нибудь о бале, который на днях затевается?

Лаврентий. Как же. Оно примерно, вот изволите видеть, складчина. Один человек, другой, примерно так сказать, третий. Конечно, это, впрочем, составит большую сумму. Я пожертвовал вместе с женою пять рублей. Ну, натурально, бал, или, что обыкновенно говорится, — вечеринка. Конечно, будет угощение, примерно сказать — прохладительное. Для молодых людей танцы и тому прочие подобные удовольствия.

Аннушка. Непременно, непременно буду. Я только зашла затем, чтобы узнать, будете и вы вместе с Агафией Ивановной?

Лаврентий. Уж Агафия Ивановна только и говорит все что о вас.

Закатищев *(вбегает)*. Что, Иван Петрович дома?

Лаврентий. Никак нет.

Закатищев *(про себя)*. Жаль! Если бы не заговорился так долго с этим степняком, я бы его застал. Однако ж я даром ему не скажу об этом сюрпризце, который готовит ему родной братец. Нет, Иван Петрович! Извините — представьте меня непременно к награде! Я уж чересчур усердно вам служу, доставляю запрещенный товар. Нет, тысячонки четыре вы должны мне пожаловать! Эх, куплю славных рысаков! Только и речей будет по городу, что про лошаденку Закатищева. Хотелось бы и колясчонку, только уж зеленую. Желтого цвета никак не хочу! Куда же уехал Иван Петрович?

Лаврентий. Они уехали к Марье Петровне.

Закатищев *(увидев Аннушку, кланяется)*. Здравствуйте, сударыня! Ох, какие воровские глазки!

Аннушка. Есть на кого заглядеться!

Закатищев *(уходя)*. Лжешь, плутовка! Влюблена в меня! Признайся — по уши влюблена? А, закраснелась! *(Уходит.)*

Аннушка. Право, чем кто больше урод, тем более воображает, что в него все влюбляются. Если и у нас на бале будет такая сволочь, то я...

Лаврентий. Нет, Анна Гавриловна, у нас будет общество хорошее. Не могу сказать наверно, но слышал, будет камердинер графа Толстогуба, буфетчик и кучера князя Брюховецкого, горничная какой-то княгини... Я думаю, тоже чиновники некоторые будут.

Аннушка. Одно только мне очень не нравится, что будут кучера. От них всегда запах простого табаку или водки. Притом же все они такие необразованные, невежи...

Лаврентий. Позвольте вам доложить, Анна Гавриловна, что кучера кучерам рознь. Оно, конечно, так как кучера, по обыкновению больше своему, находятся неотлучно при лошадях, иногда подчищают, с позволения сказать, кал. Конечно, человек простой — выпьет стакан водки или, по недостаточности больше, выкурит обыкновенного бакуну, какой большею частью простой народ употребляет. Да. Так оно, натурально, что от него иногда, примерно сказать, воняет навозом или водкой. Конечно, всё это так. Да. Однако ж согласитесь сами, Анна Гавриловна, что есть и такие кучера, которые, хотя и кучера, однако ж, по обыкновению своему, больше, примерно сказать, конюхи, нежели кучера. Их должность, или, так выразиться, дирекция, состоит в том, чтобы отпустить овес или укорить в чем, если провинился форейтор или кучер.

Аннушка. Как вы хорошо говорите, Лаврентий Павлович! Я всегда вас заслушиваюсь.

Лаврентий *(с довольной улыбкой)*. Не стоит благодарности, сударыня. Оно, конечно, не всякий человек имеет, примерно сказать, речь, то есть дар слова. Натурально, бывает иногда... что, как обыкновенно говорят, косноязычие. Да. Или иные прочие, подобные случаи, что, впрочем, уже происходит от натуры... Да не угодно ли вам пожаловать в мою комнату?

Аннушка идет, Лаврентий за нею,
но, увидя Петрушевича в задумчивости, останавливается.

Ах, Григорий Савич! Я вас чуть было не запер. Извините! У нас уже давно обедать пора.

Петрушевич *(выходя из задумчивости)*. Боже мой! Боже мой! Итак, вот что! Служил, служил — и что ж выслужил? Хм! *(С горькою улыбкою.)* Тут что-то говорили об бале. Какой для меня бал! Сегодня еще сговорились было мы идти к Андрею Ивановичу на бостончик. Нет. Не пойду. Что мне теперь бостон! Я сам не знаю, что я буду, куда я пойду. Что скажет моя Марья Григорьевна? *(Выходит медленно и машинально.)*

Занавес опускается.

<Что это?>

Что это? Мне всё как будто слышится чей-то голос. Ох! Деревья как будто движутся, каждый листок шепчет. На всякого луна как будто нагибается и слушает. Черный мрак как будто выходит из гущи деревьев и хочет схватить меня. Ах, чего вы хотите от меня, что вы глядите на меня, что вы грозите на меня? Что же мне делать, я не могу, я не своя, близ его только сердца я могу успокоиться. Константин, Константин!

— Ну что ты теперь скажешь о добродетели женщин, а? То-то, братец, никогда не бейся, особливо со мною. Мне даже было несколько жаль прельстить ее, но чтоб тебе доказать только и проучить, решился это сделать.

— И у тебя нет совести, так полно говорить об этом.

— Почему ж, если бы она была какая замарашка, мещанка или обыкновенная курносенькая, краснощекая, каких дюжинами Господь посылает, тогда другое было бы дело, но эта, братец, никому бесчестья не сделает. Хорошенькой я очень рад, я всегда, не краснея, похвалюсь ею!

Боже, Ты правосуден, Ты великодушен, этому ли ангелу оставить землю, этому ли ангелу пошлет рука Твоя смерть! Нет, Ты не произнесешь рокового определения. Нет, Ты сохранишь эту бесценную жизнь. Я напрасно даже сомневаюсь. О! Она выздоро<веет>. Она восстанет от своей болезни еще лучше, еще прекраснее прежнего. Какой яркий румянец оживил ее щеки. Она будет здорова, она будет здорова! Эта свежесть, разливша<яся> по ее лицу, есть уже признак ее здоровья.

Неумолимая, знай, что моя жизнь, что всё мое помышление, желанье, надежда, всё, что похоже на счастье, всё в тебе. И ты... Не знаю, ты для каких предопределений налагаешь на себя незаслуженные цепи наказания. О, чтобы наказать себя за какой-то проступок, незначащий, ничтожный в сравнении с ангельскою жизнью. За что же другой через это должен понесть всю тягость

наказания? И кого же другого ты упрекаешь? Поразить меня, которого ты сама видела всю глубину любви к тебе. Нет, это не самоотвержение, это не самоотвержение, это не добродетель, это эгоизм. Я удалюсь. Немолчная глубокая тоска проточит меня. Я умру медлительною ужасною смертью, Юлия, я умру, потому что я не могу жить без <тебя>...

Женихи

Комедия в трех действиях

Действие I

Комната

Явление 1

Авдотья Гавриловна *(одна).* Что это, Господи, Боже мой, долго ли я буду в девках оставаться. Нет да и нет женихов. Вымерли, как будто от чумы. Бывало, прежде благовоспитанные люди сами отправляются искать невест, а теперь ищи их. Ей-Богу, никакого уважения к женскому полу. Я послала Марфу Фоминишну, не сыщет ли хоть на ярманке, был бы только дворянин да порядошной фамилии. Да вот и ее что-то нет до сих пор. Ух, и страшно, как подумаешь: ну, вот приедет жених. У меня так сердце и бьется. Да ничего, пусть приезжает, не будет страшно.

Мар<фа>

<Марфа>. Здравствуй, свет мой Авдотья Гавриловна.

<Авдотья Гавриловна>. Ах, что ты это, мать, куда так долго запро<па >стилась?

<Марфа>. Ох, позволь, матушка, с духом собраться. За твоими порученья<ми> так изъездилась, так изъездилась, что и поясница и бок и всё болит. Два раз кони били, такие звери. Заседатель <дал> обывательских, таратайка моя вся так и рассыпалась. Ну, да зато уж могу похвастаться, каких я тебе женихов припасла. Вот как орехи каленые, все на подбор, один другого лучше. Сегодня, может быть, они и будут к тебе. Я нарочно спешила тебя предуведомить.

<Авдотья Гавриловна>. Сегодня, ух!

<Марфа>. И не пугайся, мать моя. Дело житейско<е>: посмотрют, бол<ьше> ничего, и ты посмотришь их; не пондравятся — ну и уедут.

<Авдотья Гавриловна>. А сколько их, душинька ты моя?

<Марфа>. Да штук шесть, кажется, будет.

<Авдотья Гавриловна>. Ух, как много.

<Марфа>. Ну что ж. Лучше выбрать можно. Один не придется, другой придется.

<Авдотья Гавриловна>. Расскажи же, моя голубушка, какие они.

<Марфа>. А славные, хорошие такие все. Аккуратные. Например, первый, Дорофей Балтазарович Жевакин. Такой славный. На флоте служил и такой учтивый. Как раз по тебе придется. «Мне, — говорит, — нужно, чтобы невеста была в теле, а поджаристых я не люблю». А Иван-то Петрович, то такой помещик, что и приступу нет. Такой видный из себя, толстый; как закричит на меня: «Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая и такая, ты скажи мне напрямик, сколько за нею крепостного, движимого, рухляди». — «Столько-то и столько-то, отец». — «Ты врешь, собачья дочь». Да еще, мать моя, влепил такое словцо, что непристойно и тебе сказать. Я так вмиг и спознала: у, да это должен быть важный господин!

<Авдотья Гавриловна>. Ну, а еще кто?

<Марфа>. Никанор Иванович Онучкин. Это уж деликатес. Губы, мать моя, малина, совершенная малина. А сам такой славный. «Мне, — говорит, — нужно не то, чтобы невеста была такая-то и растакая, а чтоб хороша собой, воспитанная и чтобы по-французски умела говорить». Да он такой. А сам такой субтильный, ножки узенькие, тоненькие.

<Авдотья Гавриловна>. О, нет, Марфа Фоминишна, знаю я этих субтильных. Нет, ты подавай мне того, который поплотнее.

<Марфа>. А если поплотнее, так Ивана Петровича, уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, нечего сказать, барин так барин. Мало в эти двери не войдет. Такой славный.

<Авдотья Гавриловна>. А сколько лет ему?

<Марфа>. А человек-то еще молодой: лет 50, да и 50 еще нет.

<Авдотья Гавриловна>. Еще кто?

<Марфа>. Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титул<ярный> советник, такой скромный и тихой.

<Авдотья Гавриловна>. Да он выпить, я думаю, горазд.

<Марфа>. А пьет, не прекословлю, пьет. Что ж делать, пьет, на то титулярный советник. Зато такой, такой тихой, как шелк.

<Авдотья Гавриловна>. Нет, Марфа Фоминишна, я не хочу, чтоб мой муж пил.

<Марфа>. Твоя воля, мать моя. Не хочешь этого, возьми других. Впрочем, что ж, что он выпьет лишнее. Ведь он не всю таки неделю бывает пьян: попадается такой день, что совсем трезвый бывает.

<Авдотья Гавриловна>. Фекла Фоминишна, посмотри-ка в окно, что собаки лай-то подняли.

<Марфа>. Ах, сударыня, да это он.

<Авдотья Гавриловна>. Кто он?

<Марфа>. Жених, Иван Петрович Яичница.

<Авдотья Гавриловна>. Ах, Боже, вот тебе на! Я чуть не в одной рубашке. Слушай, голубушка Фекла Савишна, посиди тут да не пускай, если станет пробираться в мою комнату. А я наскоро оденусь. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. *(Уходит.)*

Явление 3

<Яичница> *(входит и останавливается у дверей)*. А! а! Ты уже здесь. Эк, легка как! Стой, стой, не уходи! А что ж барышня?

<Марфа>. Ушла принарядиться, лучше жениху показаться.

<Яичница>. Ну *(садится в кресла)*, расскажи, старуха, что и как.

<Марфа>. Что ж тебе, отец мой, рассказывать?

<Яичница> Ну, расскажи про приданое, что именно. Ты мне сказала, что двадцать душ рабочих. А что же баб, сколько всех баб?

<Марфа>. А много, отец: штук до двадцати пяти.

<Яичница>. И все уже взрослые или малолет<ние?>

<Марфа>. Да всяких есть, и великорослые и малорослые.

<Яичница>. А рухляди-то?

<Марфа>. Рухляди-то я изволила вам докладывать: две лисьих шубы да заячьих, кацавейка горностаевая.

<Яичница>. Ну, далее.

<Марфа>. Перин пуховых больших четыре да малых две.

<Яичница>. Да, может быть, перьем набиты, а не пухом.

<Марфа>. Нет, пухом, ей-Богу. С тем возьмите, что пухом, самый первый сорт.

<Яичница>. Ну, а скот и там прочее?

<Марфа>. Рогатой скотины штук 15, четыре коровы дойных.

<Яичница>. Ну, и свиньи есть?

<Марфа>. Есть, батюшка, и свиньи: 4 чухонских с поросятами, такие славные.

<Яичница>. А другие-то хозяйственные заведения, как например, рыбы в прудах и речках, пчелы?

<Марфа>. Всё есть, батюшка, у нас. Я вам говорю, что останетесь довольны.

<Яичница>. Слушай, старуха. Боже тебя сохрани, если ты чего прибавила. Больно поколочу тебя.

<Марфа>. Ничего, отец, не прибавила, всё правда.

<Яичница>. Птицы же домашней, кур, гусей и прочего?

<Марфа>. Сотня, отец мой, всего по сотне. Ахти, опять чей-то возок дребезжит еще. *(Глядит в окно.)* А, Никанор Иванович, здравствуйте. Пожалуйте скорее сюда.

<Яичница>. Какой там Никанор? Постой, я посмотрю. *(Подбегает.)*

Никанор Иванович *(входит, раскланивается)*. Здравствуйте, Фекла Фоминишна. Как поживаете?

Фекла Фоминишна *(кланяясь)*. Слава Богу, слава Богу, живем, живем. А невеста пошла принаряжаться, чтобы получше принять вас.

<Яичница>. [Позвольте узнать] ваш чин и отечество, государь.

<Онучкин>. Никанор Иванов сын Онучкин, отставной порутчик 42-го егерского полку.

<Яичница>. Ну, иной и мушкетерский не уступит егерскому. А приехали по своей охоте или по надобности?

<Онучкин>. Нет, так прогуляться.

<Яичница>. Гм. Врет!..

<Онучкин>. А вы, позвольте узнать, с кем имею честь говорить?

<Яичница>. Я дворянин, помещик. Иван Петров Яичница, портупей-юнкер в отставке, мушкетерского полка.

<Онучкин>. Имеете ли надобность или собственно по приятности провождения время?

<Яичница>. Да так, приехал прогуляться. — Что отведал? Нет, голубчик, вас сейчас можно узнать. Этак не наряжаются, как ты, для прогулки. Жениться, подлец, хочет.

Явление 4

Те же и Авдотья Гавр<иловна>.

<Авдотья Гавриловна>. Извините меня, дорогие гости, что немного позамешкалась.

<Яичница>. Ничего, сударыня. *(Подходя к ручке.)* Мы слышали, что вы изволили принаряжаться.

<Авдотья Гавриловна>. А, это уже Фекла изволила провраться. Нет, только что подралась с кухаркою.

<Яичница>. О, хозяйка! Я, сударыня, честь имею доложить, есть дворянин и помещик и юнкер в отставке мушкетерского полку, Иван Петрович Яичница. Лично будучи подвинут добродетелями вашего пола, приехал изъявить готовность с своей стороны...

<Авдотья Гавриловна>. Милости просим.

<Яичница>. Вы не смотрите, сударыня, что у меня плешь на голове. Это от лихорадки; оно вырастет, это ничего. *(В сторону.)* Не слишком, однако ж, казиста.

<Онучкин>. А я, сударыня, Никанор Иванов Онучкин, отставной порутчик 42<-го> егерского полку. *(В сторону.)* Что-то, однако ж, есть... такое... не то.

<Яичница>. Впрочем, сударыня, что мушкетерский, что егерский, это совершенно всё равно.

<Авдотья Гавриловна>. Не прогневайте, почтенные гости, если не по чинам угощу. Если бы я знала о вашем приезде, я бы приготовила рыбий соус или хоть бараний бок с кашею, но вместо того за столом будет только щи да кулебяка да грибы жареные да дроченое. Право, мне уж и совестно.

<Яичница>. Ничего, сударыня, не беспокойтесь, всем будем довольны.

Онучкин. Ничего.

Я<ичница>. Вы благое дело вздумали, сударыня, что решились упрочить судьбу свою и подлинно, если рассудить

хорошенько, то состояние девичье есть самое неприятное. Жена без мужа всё телега без колес; ездить без колес, как вам известно, никак нельзя. Да и самое положение ее притом: всякой может обидеть, всякой-то может обидеть.

<Онучкин>. Да, совершенно без всякой защиты.

<Яичница>. А мужа непременно должно иметь, это, сударыня, закон велит.

<Онучкин>. Притом в супружеском состоянии столько удовольствий, приятного препровождения времени с женою образованною, утонченною...

<Яичница>. Да, сударыня. Только нужно выбирать супруга степенного, дебелого, опору твердую, а эдаких не смотрите, худощавеньких и длинных, такой сейчас переломится.

<Онучкин>. Муж должен <быть> образованный.

<Яичница>. Да, да, образованный и потолще собою.

<Онучкин>. Утонченный.

<Яичница>. Да, утонченный и собою поплотнее.

<Онучкин>. Который был бы любезен в обществе и в приятном обращении.

<Яичница>. Да, в обращении и в обществе, и чтобы при этом имел солидность и доста<то>чную толщину.

Фекла. Сударыня, еще едет один.

<Авдотья Гавриловна>. Вот тебе на! Ах, Боже мой! *(Мечется.)*

<Яичница>. Куда вы, сударыня, бе<жите>?

<Авдотья Гавриловна>. Нужно, очень нужно. *(Уходит.)*

<Онучкин>. Невеста, впрочем, довольно развязная. Нос только очень длинен.

<Яичница>. Ну, нельзя сказать, чтобы очень, нет хорошая красавица.

<Онучкин>. Не то, совсем не то.

<Яичница>. А что ж такое?

<Онучкин>. Вот позвольте, я вам покажу. Брови должны быть у хорошей красавицы узенькие *(проводит пальцем по его бровям)*, дугою и тут между ними немножко самый неболь<шой> промежуток.

<Яичница> *(стоит и мигает глазами)*. Да, я с вами согласен. У ней и нос-то не так казист.

<Онучкин>. Однако, впрочем... Произношение у ней уж нет, не то, совсем не то.

<Яичница>. Произношение у ней хорошее, она выговаривает довольно твердо.

<Онучкин>. Ну... совершенно не то... не то. Я тот час узнал: она не знает по-французски.

<Яичница>. По-французски? А черт ли в этом, что не знает по-французски.

<Онучкин>. Нет, хорошо воспитанная жена должна знать непременно по-французски.

<Яичница>. Нет, я не возьму этого <в> толк. Что вы знаете по-французски, так и жена ваша должна знать по-французски.

<Онучкин>. Что вы говорите: я знаю по-французски. Нет, меня несчастная суд<ьба> не допустила воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был скотина, мерзавец. Он <не> подумал об том, чтобы меня выучить французскому. Я был тогда ребенок, меня бы легко можно было выучить: стоило бы только раз по пяти на день, а может быть и того даже меньше, посечь хорошенько, и я бы знал, я бы всё знал.

<Яичница>. Ну, да теперь же ведь вам уже нельзя разговаривать по-франц<узски>.

<Онучкин>. Да, я согласен. Но жена другое дело. Нужно, чтобы она непременно говорила по-французски, а без того уже у нее ни то... *(показывает руками)*... ни это... уж всё не то.

<Яичница>. Позвольте, я с вами не могу согласиться. *(Про себя.)* Да, впрочем, чего я спорю? Ведь для меня же лучше, что она не нравится. *(Вслух.)* Вы правду говорите.

<Онучкин>. Ну, и красота ее — не то, совсем не то.

<Яичница>. Кой черт красота! У ней нос, я вам говорю, в три аршина. Этакая машинища! За это, впрочем, я таки поколочу старуху: она, ведьма, мне об этом ни слова не сказала. Но оставим красоту в сторону, посмотрите-ка на приданое: ведь двадцать душ, да ведь каких. Это не то, что один трехлетний, другой беззубый. Нет, милостивый государь, двадцать душ одних рабочих, рабочих, годных хоть куды. Да с чего это, однако ж, я ему сдуру рассказываю это. Пожалуй, он, выслушавши, да и женится. Между ними, однако же, много калек; а если рассмотреть

хорошенько — так и все почти калеки, или слепые или кривые и подобная дрянь. *(В сторону.)* Да! дрянь. Нет, не дрянь.

Фекла *(проходя театр)*. Что, батюшки, Елиазара Елиазаровича не было?

Ив<ан> <Петрович>. Стой, стой, старуха!

<Фекла>. Чего изволишь, мой родимый?

<Яичница>. Что ты, старуха, кляп тебе в горло, не сказала мне прежде, что у невесты нос в сажень длиной.

<Фекла>. Ах, перекрестись, отец мой! Какую ты околесину несешь...

<Онучкин>. Да вы и мне изволи<ли> сказать, Фекла Фоминишна, что невеста знает по-французски, а между тем, сколько я могу судить, кажется, что нет.

<Фекла>. Знает, родимый, и по-немецкому и по всякому, какие хочешь манеры, всё знает.

Жевакин *(входит)*. А, здравствуй, Фекла Фоминишна! Как поживаешь, здорова ли? а? Пожалуйста, душенька, почисть меня немножко вот здесь. Я сидел на телеге, ковра-то не было, так, я думаю, сенца-то довольно ко мне пристало. Вот там, пожалуста, сними пушинку *(поворачивается)*, вот здесь. Так, спасибо, душенька. Вот еще посмотри сзади, там, кажется, немножко, а? Нет? Ну, ничего. По воротнику вон, кажется, как будто паук лазит. А на подборах-то сзади нет ли грязи? Спасибо, родимая. Пожалуйста, еще посмотри хорошенько. *(Гладит рукав фрака.)* Суконцо-то ведь аглицкое. Я купил его в Сицилии, когда была наша эскадра. Ведь каково носится. В 97 году я, будучи мичманом, сшил с него мундир, в 801 в блаженное царствование Павла Петровича я был сделан лейтенантом, и сукно было совсем новехонькое, в 814 году сделал экспедицию вокруг света, и вот только по швам немножко протерлось, в 815 вышел в отставку, перелицевал его, и вот скоро десять лет ношу и почти что новый. Благодарю, душенька, м-м, раскрасоточка. *(Делает ручку. Осматривается, подходит к зеркалу, оправляется, выдвигает воротнички к манишке, ерошит волосы рукою, с гримасами посматривает на одного, потом на другого.)*

<Онучкин>. Скажите, пожалуйста, вы изволили упомянуть о Сицилии. Хорошая земля Сицилия?

<Жевакин>. А прекрасная. Мы 34 дня там пробыли. Вид восхитите<льный>. Вообразите себе, вокруг это всё такие горы; внизу везде такие домики; тут этак деревцо, или кипарисное, или гранатное, или другое какое-нибудь, и тут этакие италианочки, такие розончики, так вот и хочется сорвать поцелуй.

<Онучкин>. И образованные?

<Жевакин>. Отличнейше образованные. Бывало, так идешь по улице. Ну, русский лейтенант, этак здесь эполеты, мундир там, золотое шитье. И эдакие красоточки черномазенькие. У них ведь у домиков балкончики, и крыши вот так, <как> пол, совершенно плоские. Так это, бывало, там сидит какой розончик. Ну сам так, чтобы не ударить лицом в грязь, ну раскланяешься, и она этак *(кланяется и размахивает рукою)*. Ну, натурально, этак одета, здесь у ней тафтица, там прочие дамские украшения. Шнуровочка, так это всё.

<Онучкин>. А язык-то? На каком языке они говорят?

<Жевакин>. А язык, ну, язык, разумеется, французский.

<Онучкин>. И барышни все по-французски говорят?

<Жевакин>. Все без исключения. Вы, может быть, не поверите тому, что я вам скажу. Но вот я готов сей же час клясться, чем угодно: мы жили 34 дня и по все тридцать четыре дня ни одного слова не слышал от них по-русски.

<Онучкин>. Что вы говорите?

<Жевакин>. Я вас уверяю сурьезно. Да чего, уж я не говорю о дворянах ну и о прочих синьорах или их офицерах. Но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попро<бу>йте ему скажите: «дай, братец, хлеб», не поймет, ей-Богу не поймет. А нужно для это<го> непременно сказать ему по-французски.

<Яичница>. А позвольте узнать, вот вы упомянули про мужиков тамошних. Что, тамошние мужики так же, как и наши, землю пашут и на оброке состоят или нет?

<Жевакин>. Не могу вам сказать, не заметил, пашут или нет, не знаю. Но насчет нюханья табаку я вам скажу, что не только нюхают, но даже и за губу кладут так, как моряки. Перевозка тоже очень дешева. Там всё почти вода, и этак гондолы. Ну, тут натурально сидит этак италианочка, такой розончик и так одета, тут на ней этакая манишечка. С нами были и англичане. Ну,

народ та<кой> точно вот как и наши моряки. И сначала точно было очень странно. Ну, не понимаешь друг друга. После того этак как хорошенько обзнакомились, [так] и начали совершенно свободно понимать друг друга. Покажешь этак на бутылку или стакан, ну тотчас и знает, что это значит выпить. Приставишь эдак кулак ко рту и сделаешь губами: паф, паф, значит, хочешь трубку выкурить. Я вам скажу, что сначала казалось трудно, а потом язык довольно легкой. Даже матросы наши впоследствии так выучились по-французски, что, бывало, только даст бутылку да скажет «дринк», тотчас его понимают. А, гм, это самая невеста.

Авдотья Гавриловна (входит).

<Жевакин>. Сударыня, я почел за долг лично засвидетельствовать вам мое почтение. Тем более для меня приятно, что вы очень обожаемая особа. Вы имеете, сударыня, такую свежесть румянца, такой розончик... что я, так сказать... приношу вам мое сердце.

<Яичница>. Да что место давать. Он тоже хочет жениться. Да ведь так нельзя было совсем узнать.

<Авдотья Гавриловна>. Мне очень приятно видеть такого приятного гостя. Я извиняюсь только, что пол не вымыт. Фетинья, девка, перелезая через плетень, перекувыркну<лась>.

<Фекла> *(вбегая).* Сударыня, сударыня! *(Шепотом.)* Еще один приехал.

<Авдотья Гавриловна>. Ах, Боже мой, пойти заказать хоть ватрушки.

<Яичница>. Что вы, сударыня?

<Авдотья Гавриловна>. Нужда, большая нужда. <*(Уходит.)*>

<Яичница> *(ударив по плечу Жевакина).* Любезнейший, кажется, из одного горшка хотим щи хлебать.

<Жевакин>. Как из одного?

<Яичница>. То есть вы, как я замечаю, подъезжаете к хозяйке дома.

<Жевакин>. А признаюсь, она мне очень нравится. Эдакой розончик, букетец в устах, и здесь на груди этак платочек, и тут обыкновенно такие дамские уборы. Это всё очень хорошо. Я это люблю.

<Яичница>. И вам нужда и себе еще лезть туда же. Да посмотрите на себя, какая у вас гнусная фигура. Право, наводит уныние.

<Жевакин> *(поворачивается).* Нет, фигура хороша.

<Яичница>. Можно ли, чтобы у морского офицера была хорошая фигура?

<Жевакин> *(вытягивается).* Как так?

<Яичница>. Да, конечно, это всякому известно.

<Жевакин>. Что такое известно?

<Яичница>. Вот новости. Известно, что такое моряк: старый кочан капусты.

<Жевакин>. Позвольте. Мне, может быть, так послышалось. Мне кажется, как будто вы употребляете неприличные выражения.

<Яичница>. Какие выражения? Просто старый, трухлый, никуда не годящийся <кочан>, который выбрасывают в помойную яму.

<Жевакин> *(вытягивает лицо еще длиннее прежнего, ерошит на голове волоса, кривляется и дергает плечами).* Позвольте, честь моя обижена. В лице всего морского общества я вам предлагаю дуэль.

<Яичница>. Я не прочь от дуэли.

<Жевакин>. Я, по обычаю моряков, держусь обыкновения драться на кортиках.

<Яичница>. Нет, я не хочу, кортиками только лягушек колют.

<Жевакин> *(вытягивает лицо).* Так на чем же?

<Яичница>. Я дерусь на кулаки *(засучивает руки).*

<Жевакин>. Нет, я на такой дуэль не соглашаюсь. *(Онучкину.)* Я к вам обращаюсь, милостивый государь. Вы видели?

<Онучкин>. Я с своей стороны не могу точно определить, потому что в 42<-м> егерском полку, к несчастью, в бытность мою мне не удавалось видеть ни одного дуэля. Но образованность и утонченное образование требует на благородном оружии. На кулаки же неприлично в высшем обществе. Человек, который знает по-французски, уж не пойдет на кулаки, нет.

<Яичница>. Мне дела нет ни до каких обществ. Я давно был в военной-то, и меня выгоняли два раза только в полк

во время смотру. Да притом оружие Бог знает где еще искать, а кулаки всегда при себе.

Те же и Пантелеев (раскланивается со всеми).

Жевакин. Вот я к вам, сударь, обращаюсь. *(Пантелеев наклоняет голову слушать.)* Вы лицо стороннее; по крайней мере, я вас в первый раз вижу. Я получил смертельную обиду, то есть которую признает всякой офицер...

Яичница *(отворачивает в сторону Пантелеева).* Послушайте, всё пустяки. Я не нанес никакой обиды, назвал только именем, каким следует...

<Жевакин> *(схватывает Пантелеева за руку на свою сторону).* Я спрашиваю вас, скажите по совести, вот так, как перед Богом: похож морской офицер на тюленя?

<Яичница>. Вот большая важность морской офицер! Что ж тут за невидаль, есть на что глядеть. Не только на тюленя, просто на протухлый кочан капусты.

<Жевакин>. Га! А!.. Кочан капусты! А! Лейтенант не кочан капусты. *(Дергает за руку, позабывшись, Пантелеева.)* Я спрашиваю вас, сударь: разве так можно снесть?

<Яичница> *(схватывает за другую руку).* Черт возьми! я говорю это прямо и плюю на всех моряков и на их честь.

<Пантелеев>. Пустите.

<Жевакин> *(дергая со всех сил за руку).* Черт возьми, вы видите, сударь, лейтенант <не может быть>[1] старым кочаном капусты. Я не снесу этой обиды.

<Яичница> *(дергает).* Я согласен на кулаки. И в самом деле меня берет задор... Я не хочу ни на чем, кроме кулаков.

<Жевакин> *(дергая Пантелеева к себе).* Я не снесу этого.

<Яичница> *(дергает Жевакина).* Я не хочу никаких других инструментов.

<Те же и Авдотья Гавриловна.>

Жевакин *(оправляется и подходит).* Позвольте, сударыня: мое искание не будет противно вам? Смею ли льстить себе приятною надеждою, что любовь удостоится быть принятою вами?

[1] *Здесь в рукописи пропуск.*

<Яичница>. Э! Да он уже лезет прямо.

<Авдотья Гавриловна>. Напротив, мне весьма приятно.

Яичница *(слегка отталкивая его).* Сударыня, я предлагаю вам свою любовь и руку: угодно ли принять их?

<Авдотья Гавриловна>. Мне весьма приятно.

<Жевакин> *(в сторону).* Ну, дело хорошо.

<Онучкин>. Я с своей стороны никак не смею льстить себя надеждою, чтобы мои искания удостоились.

<Авдотья Гавриловна>. Напротив, мне очень приятно...

<Пантелеев>. Я, сударыня, от сего генваря 3-го вашей ру... ру... ру... ки и се... е... рдца...

<Авдотья Гавриловна>. Мне очень приятно отвечать вашим исканиям.

<Яичница>. Да который же из нас всех приятнее? Сударыня, этак нельзя. Ведь нас четыре человека: нужно вам объявить, кого лучше любите.

<Авдотья Гавриловна>. Вы мне очень нравитесь, и я вас всех люблю.

<Яичница>. Да ведь это совсем не то. Что ж если мы все четыре женимся на вас? Ведь это черт знает, что такое выйдет!

<Жевакин>. Да, сударыня, вы просто объявите, кому из нас, так сказать, ваше сердце, наши <...>[1] боле относятся... Кто такова эта счастливая особа, кому достанется ваш <...>[2] все украшения достанутся?

<Яичница> *(в сторону).* Он как раз влезет ей в душу. *(Вслух.)* Просто скажите: кого выбираете вы?

<Авдотья Гавриловна>. Вы все очень хорошие молодые люди и мне весьма нравитесь.

<Яичница>. Но кого же вы предпочитаете прочим?..

<Отрывок из «Женихов»>

<Авдотья Гавриловна> *(смотрит долго на всех).* Не знаю.

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

[2] *В рукописи не прочитано несколько слов, приписанных вверху строки.*

<Яичница>. Вы натурально берете мужа, который понадежнее...

<Онучкин>. Пообразованнее, человек бывалый.

Пантелеев. А... а... *(не може<т> выговорить, машет рукою с досады).*

Все составляют вокруг нее круг.

<Авдотья Гавриловна>. Вы все такие достойные, господа, что вдруг я никаким образом не могу решиться. Позвольте мне, я подумаю, хорошень<ко> поразмыслю. И тогда уже скажу прямо, а теперь позвольте мне просить вас откушать хлеба и соли; не погневайтесь, если не слишком будет хорош обед — чем богата, тем и рада.

<На бесчисленных тысячах могил>

На бесчисленных тысячах могил возвышается, как феникс, великий 19 век. Сколько отшумело и пронеслось до него огромных, великих происшествий! Сколько свершилось огромных дел, сколько разнохарактерных народов мелькнуло и невозвратно стерлось с лица <земли>, сколько разных образов, явлений, разностихийных политических обществ, форм пересуществовало! Сколько сект и неразрушимых мнений деспотически, одна за другой обнимало мир; рушились с своими порядками целые волны народов. Сколько бесчисленных революций раскинуло по прошедшему разнохарактерные следствия! Какую бездну опыта должен приобресть 19 век!

1834

Великая, торжественная минута. Боже! Как слились и столпились около ней волны различных чувств. Нет, это не мечта. Это та роковая, неотразимая грань между воспоминанием и надеждой. Уже нет воспоминания, уже оно несется, уже пересиливает его надежда... У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, [Хранитель Ангел] мой — Гений. О, не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня, год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или... О, будь блистательно, будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь предо мною, 1834-й? Будь и ты моим Ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня, о, разбуди меня тогда, не дай им овладеть мною! Пусть твои многоговорящие цифры, как неумолкающие часы, как завет, стоят передо мною, чтобы каждая цифра твоя громче набата разила слух мой, чтобы она, как гальванический прут, производила судорожное потрясение во всем моем составе. Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками с своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр. Там ли? О! Я не знаю, как назвать тебя, мой Гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые, небесные очи.

Я на коленях, я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле Божество! Я совершу... О, поцелуй и благослови меня!

Объявление об издании Истории Малороссии

До сих пор у нас еще не было полной, удовлетворительной истории Малороссии и народа, действовавшего в продолжение почти четырех веков независимо от России. Я не называю историями многих компиляций (впрочем, полезных как материалы), составленных из разных летописей, без строгого критического взгляда, без общего плана и цели, большею частию неполных и не указавших доныне этому народу места в истории мира.

Это побудило меня решиться принять на себя этот труд и в истории моей представить обстоятельно, каким образом отделилась эта часть России; как образовался в ней этот воинственный народ, козаки, означенный совершенною оригинальностью характера и подвигов; как он три века с оружием в руках добывал права свои и упорно отстоял свою религию; наконец, как нечувствительно исчезало воинственное бытие его и превращалось в земледельческое; как мало-помалу вся страна получила новые взамен прежних права и наконец совершенно слилась с Россиею.

Около пяти лет собирал я с большим старанием материалы, относящиеся к истории этого края. Половина моей истории почти готова, но я медлю выпускать ее, подозревая существование многих источников, мне неизвестных, которые, без сомнения, где-нибудь хранятся в частных руках. И потому, обращаясь ко всем, усердно прошу имеющих какие бы то ни было материалы: записки, летописи, повести бандуристов, песни, деловые акты, особливо относящиеся к первобытной Малороссии, присылать их мне, если нельзя в оригиналах, то в копиях. Прошу также приславших назначать мне время, какое я могу у себя продержать их рукописи (если они им очень нужны).

Адресовать мне: в СПб. или в магазин А. Ф. Смирдина, или в собственную квартиру: в 1 Адм<иралтейской> части, в Малой Морской, в доме Лепена.

<Отрывок из «Истории Малороссии». Размышления Мазепы>

Такая власть, такая гигантская сила и могущество навели уныние на самобытное государство, бывшее только под покровительством России. Народ, собственно принадлежавший Петру издавна, [униженный] рабством и [деспотизмом], покорялся, хотя с ропотом. Он имел не только необходимость, но даже и нужду, как после увидим, покориться. Их необыкновенный повелитель стремился к тому, чтобы возвысить его, хотя лекарства его были слишком сильные. Но чего можно было ожидать народу, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим козачеством, хотевшему пожить своею жизнью? Ему угрожала <у>трата национальности, большее или мень<шее> уравнение прав с собственным народом русского самодержца. А не сделавши этого, Петр никак не действовал бы на них. Всё это занимало преступн<ого> гетьмана. Отложиться? Провозгласить свою независимость? Противопоставить грозной силе деспотизма силу единодушия, возложить мужественный отпор на самих себя? Но гетьман был уже престарелый и отвергнул мысли, которые бы дерзко схватила выполнить буйная молодость. Самодержец был слишком могуч. Да и неизвестно, вооружилась <ли бы> против него вся нация и притом нация свободная, <которая> не всегда была в спокойствии, тогда как самодержец всегда [мог] действовать, не дав<ая> никому отчета. Он видел, что без посторонних сил, без помощи которого-нибудь из европейских государей невозможно выполнить этого намерения. Но к кому обратиться с этим? Крымский хан был слишком слаб и уже презираем запорожцами. Да и воспомоществование его могло быть только временное. Деньги могли его подкупить на всякую сторону. Тогда как здесь именно нужна была дружба такого государства, которое всегда бы могло стать посредником и заступником. Кому бы можно это сделать, как не Польше, соседке, единоплеменнице? Но царство Баториево было на краю пропасти и эту пропасть изрыло само себе. Безрассудные магнаты позабыли, что они члены одного государства, сильного только единодушием, и были избалованные деспоты в отношении к народу и непокорные демокра<ты> к государю. И потому

Польша действовать решительно <не могла>. Оставалось государство, всегда бывшее в великом уважении у козаков, которое хотя и не было погранично с Малороссией, но, находясь на глубоком севере, оканчивающееся там, где начинается Россия, могло быть очень полезно малороссиянам, тревожа беспрестанно границы и держа, так сказать, в руках Московию. Притом шведские войска, удивившие подвигами своими всю Европу, ворвавшись в Россию, [могли] бы привести царя в нерешимость, действовать <ли> на юге против козаков или на севере против шведов.

В таких размышлениях застало Мазепу известие, что царь прервал мир и идет войною на шведов.

Взгляд на составление Малороссии[1]

I. Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век! Сотни мелких государств, единоверных, одноплеменных, одноязычных, означенных одним общим характером и которых, казалось, против воли соединяло родство, — эти мелкие государства так были между собою разъединены, как редко случается с разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью — сильные страсти не досягали сюда, — не постоянною политикою — следствием непреклонного ума и познания жизни — это был хаос браней за временное, за минутное — браней разрушительных, потому что они мало-помалу извели народный характер, едва начинавший принимать отличительную физиогномию при сильных норманских князьях. Религия, которая более всего связывает и образует народы, мало на них действовала. Религия не срослась тогда тесно с законами, с жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира; молившиеся за всех, но не знавшие, как схватить с помощью своего сильного оружия, веры, власть над народом и возжечь этой верой пламень и ревность до энтузиазма, который один властен соединить младенчествующие народы и настроить их к великому. Здесь была совершенная противоположность Западу, где самодержавный папа, как будто невидимою паутиною, опутал всю Европу своею религиозною властью, где его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, где угроза страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы. Здесь монастыри были убежищем тех людей, которые кротостью и незлобием составляли исключение из общего характера и века. Изредка пастыри, из пещер и монастырей, увещали удельных князей; но их увещания были напрасны: князья умели только поститься и строить церкви, думая, что исполняют этим все обязанности христианской религии, а не умели считать ее законом и покоряться ее велениям. Самые ничтожные причины рождали между ими бесконечные войны. Это были не споры королей

[1] Эскиз этот составлял введение к Истории Малороссии; но так как вся первая часть Истории Малороссии переделана вовсе, то он остался заштатным и помещается здесь как совершенно отдельная статья.

с вассалами или вассалов с вассалами — нет! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала их, — нет! брат брата резал за клочок земли или просто чтобы показать удальство. Пример ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двух соседних уделов, родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать друг против друга с яростью волков. Их не подвигала на это наследственная вражда, потому что кто был сегодня друг, тот завтра делался неприятелем. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство — ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли в нем почти все человеческие сильные благородные страсти, и если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершить великое, он бы не нашел в нем ни одной струны, за которую бы мог ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая разве физической железной силы. Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию: однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и неподвижная в целом, могла почесться географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествие. Из Азии, из середины ее, из степей, выбросивших столько народов в Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершивший столько завоеваний, сколько до него не производил никто. Ужасные монголы, с многочисленными, никогда дотоле не виданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россию, осветивши путь свой пламенем и пожарами — прямо азиатским буйным наслаждением. Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или оно было наказанием за те беспрерывные брани, — как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем происхождение новому славянскому поколению в южной России, которого вся жизнь была борьба и которого историю я взялся представить.

III. Южная Россия более всего пострадала от татар. Выжженные города и степи, обгорелые леса, древний разрушенный Киев,

безлюдье и пустыня — вот что представляла эта несчастная страна! Испуганные жители разбежались или в Польшу, или в Литву; множество бояр и князей выехало в северную Россию. Еще прежде народонаселение начало заметно уменьшаться в этой стороне. Киев давно уже не был столицею; значительные владения были гораздо севернее. Народ, как бы понимая сам свою ничтожность, оставлял те места, где разновидная природа начинает становиться изобретательницею; где она раскинула степи прекрасные, вольные, с бесчисленным множеством трав почти гигантского роста, часто неожиданно среди них опрокинула косогор, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю в цветах, и по всем вьющимся лентам рек разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днепр с ненасытными порогами, с величественными гористыми берегами и неизмеримыми лугами — и все это согрела умеренным дыханием юга. Он оставлял эти места и столплялся в той части России, где местоположение, однообразно гладкое и ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябение, поражающее душу мыслящего. Как будто бы этим подтвердилось правило, что только народ сильный жизнью и характером ищет мощных местоположений или что только смелые и поразительные местоположения образуют смелый, страстный, характерный народ.

IV. Когда первый страх прошел, тогда мало-помалу выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться в этой земле, настоящей отчизне славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами финскими, но здесь сохранялись в прежней цельности, со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно у них смешавшейся с христианством. Возвращавшиеся на свои места прежние жители привели по следам своим и выходцев из других земель, с которыми от долговременного пребывания составили связи. Это население производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народ был не за горами: их разделяли или, лучше сказать, соединяли одни степи. Несмотря на пестроту населения, здесь не было тех браней междоусобных, которые не переставали во глубине России: опасность со всех

сторон не давала возможности заняться ими. Киев — древняя матерь городов русских, сильно разрушенный страшными обладателями табунов, долго оставался беден и едва ли мог сравниться со многими, даже не слишком значительными, городами северной России. Все оставили его, даже монахи-летописцы, для которых он всегда был священ. Известия о нем разом прервались, и, несмотря на то что там оставалась еще отрасль князей русских, ничто не спасло его от полувекового забвения. Изредка только, как будто сквозь сон, говорят летописцы, что он был страшно разорен, что в нем были ханские баскаки, — и потом он от них задернулся как бы непроницаемою завесою.

V. Между тем как Россия была повергнута татарами в бездействие и оцепенение, великий язычник Гедимин вывел на сцену тогдашней истории новый народ — народ бедный и жизнью, и средствами для жизни, населявший дикие сосновые леса нынешней Белоруссии, еще носивший звериную кожу вместо одежды, еще боготворивший Перуна и поклонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, плативший прежде дань русским князьям, известный под именем литовцев. И этот народ при своем князе Гедимине сделался самым видным на огромном северо-востоке Европы! Тогда города, княжества и народы на западе России были какие-то отрывки, обрезки, оставшиеся за гранью татарского порабощения. Они не составляли ничего целого, и потому литовский завоеватель почти одним движением языческих войск своих, совершенно созданных им, подверг своей власти весь промежуток между Польшей и татарской Россией. Потом двинул он войска свои на юг, во владения волынских князей. Весьма естественно, что успех сопровождал его везде. В Луцке, однако ж, князь Лев сильно сопротивлялся, но не в силах был отстоять земель своих. Гедимин, назначив старост и начальников, шел далее на юг, к самому сердцу южной России, к Киеву. Убежавший луцкий князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава выйти с своими немноголюдными дружинами навстречу грозному победителю; дружины были усилены союзниками-татарами; но все бежало перед мощным литовцем. Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпети, вступил с торжеством в Киев, носивший на себе свежую печать татарского посещения, и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшанского,

принявшего греческую веру. Итак, литовский завоеватель у самых татар вырвал почти перед глазами их находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедимин был человек ума крепкого, был политик, несмотря на видимую свою дикость и свое невежественное время. Он умел сохранить дружбу с татарами, владея отнятыми у них землями и не платя никакой дани. Этот дикий политик, не знавший письма и поклонявшийся языческому богу, ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления: всё оставил по-прежнему, подтвердил все привилегии и старшинам строго приказал уважать народные права, нигде даже не означил пути своего опустошением. Совершенная ничтожность окружавших его народов и прямо исторических лиц придают ему какой-то исполинский размер. Он умер в 1340 году; мертвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с охотничьими собаками, соколами и сожжен по языческому обычаю литовцев. Вслед за ним такие же два сильные характера, Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику с присоединенными народами.

VI. И вот южная Россия, под могущественным покровительством литовских князей, совершенно отделилась от северной. Всякая связь между ими разорвалась; составились два государства, называвшиеся одинаким именем — Русью, одно под татарским игом, другое под одним скипетром с литовцами. Но уже сношений между ими не было. Другие законы, другие обычаи, другая цель, другие связи, другие подвиги составили на время два совершенно различные характера. Каким образом это произошло — составляет цель нашей истории. Но прежде всего нужно бросить взгляд на географическое положение этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит образ жизни и даже характер народа. Многое в истории разрешает география.

Эта земля, получившая после название Украины, простирающаяся на север не далее 50° широты, более ровна, нежели гориста. Небольшие возвышенности встречаются очень часто, но ни одной гористой цепи. Северная ее часть перемежается лесами, содержавшими прежде в себе целые шайки медведей и диких кабанов; южная вся открыта, вся из степей, кипевших плодородием, но только изредка засевавшихся хлебом. Девственная

и могучая почва их своевольно произращала бесчисленное множество трав. Эти степи кипели стадами сайг, оленей и диких лошадей, бродивших табунами. С севера на юг проходит великий Днепр, опутанный ветвями впадающих в него рек. Правый берег его горист и представляет пленительные и вместе дерзкие местоположения; левый — весь из лугов, покрытых рощами, потоплявшимися водою. Двенадцать порогов — выросших из дна реки скал — недалеко от впадения его в море преграждают течение и делают плавание по нем чрезвычайно опасным. Около порогов водился род диких коз — *сугаки,* с белыми лоснящимися рогами, с мягкою, атласною шерстью. Прежде воды в Днепре были выше, разливался он шире и далее потоплял луга свои. Когда воды начинают опадать, тогда вид поразителен: все возвышенности выходят и кажутся бесчисленными зелеными островами среди необозримого океана воды. В Днепр впадает только одна судоходная река, Десна, проходящая в северной Украине, с лесистыми берегами, почти с обеих сторон потопляемыми водою; но и эта река только в некоторых местах судоходна. Кроме того, на севере Остер и часть Сейма, на юге Сула, Псел с цепью видов, Хорол и другие; но ни одна из них не судоходна. Сообщения никакого нет, произведения не могли взаимно размениваться — и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ. Все реки разветвляются посередине, ни одна из них не протекала на рубеже и не служила естественною гранью с соседственными народами. К северу ли с Россией, к востоку ли с кипчакскими татарами, к югу ли с крымскими, к западу ли с Польшей — везде она граничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. Будь хотя с одной стороны естественная граница из гор или моря — и народ, поселившийся здесь, удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации, унавожена костями, утучнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд земледельца; луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкие жилища сносимы до основания, обитатели разгоняемы или угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха, и потому в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита

и взлелеяна войною. И вот выходцы вольные и невольные, бездомные, те, которым нечего было терять, которым жизнь — копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила виселица, расположились и выбрали самое опасное место в виду азиатских завоевателей — татар и турков. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо — превративший мирные славянские поколения в воинственные, известный под именем козаков, народ, составляющий одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу.

VII. Если не к концу XIII, то к началу XIV века можно отнести появление козачества, к тем векам, когда святая, сильная ревность к религии еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно образовывались братства и ордена рыцарские, составлявшие странную противоположность с тогдашним разъединением, с изумительным самоотвержением разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дел мира, железные поборники веры Христовой. Чем слабее была связь тогдашних государств, тем сильнее росла ужасная сила этих обществ. Разлитие магометанства и магометанских новых сильных народов, уже врывавшихся в Европу, увеличивало их еще более. Дух этих братств распространился везде и не между рыцарями и не для подобных предназначений. В это время явился близ порогов городок, или острог, Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя которого звучит обитателями Кавказа, которого даже построение многие приписывают им, и где было главное сборище и местопребывание козаков. Вначале частые нападения татар на северную часть Украины заставляли жителей спасаться бегством, приставать к козакам и увеличивать их общество. Это было пестрое сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впоследствии постановившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с неверными. Это скопище

людей не имело никаких укреплений, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах, часто под водою, на днепровских островах, в гуще степной травы, служили им укрытием для себя и для награбленных богатств. Гнездо этих хищников было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назад. Они поворотили против татар их же образ войны — те же азиатские набеги. Как жизнь их определена была на вечный страх, так точно, с своей стороны, они решились быть страхом для соседей. Татары и турки должны были всякий час ожидать этих неумолимых обитателей порогов. Магометанский сосед не знал, как назвать этот ненавистный народ. Если кто хотел к кому выразить величайшее презрение, то называл его козаком.

VIII. Большая часть этого общества состояла, однако ж, из первобытных, коренных обитателей южной России. Доказательство — в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая. Всякий имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять греческую религию. Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель — воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это, однако ж, не были строгие рыцари католические: они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов; не обуздывали себя воздержанием и умерщвлением плоти; были неукротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное братство, которое сохраняется в разбойничьих шайках, связывало их между собою. Все было у них общее — вино, цехины, жилища. Вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Козак больше заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все уменье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полутатарском, полупольском костюме, на котором так резко отпечаталась пограничность земли, азиатски мчавшегося на коне, пропадавшего в густой траве, бросавшегося с быстротою

тигра из неприметных тайников своих или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиною и грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину. Этот же самый козак, после набега, когда гулял и бражничал с своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега, если только не предупреждали их татары, не разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания городка их, который, как будто чудом, строился вновь, и опустошительный, ужасный набег был отмщением. После чего снова та же беспечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существование этого народа было вечно. Он никогда не уменьшался: выбывшие, убитые, потонувшие заменялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый, в свою очередь, стремился быть действующим лицом, а не зрителем. Это скопление мало-помалу получило совершенно один общий характер и национальность и, чем ближе к концу XV века, тем более увеличивалось приходившими вновь. Наконец целые деревни и села начали поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитою, с условием за то некоторых повинностей. И таким образом места около Киева начали пустеть, а между тем по ту сторону Днепра люднели. Семейные и женатые мало-помалу от обращения и сношения с ними получали тот же воинственный характер. Сабля и плуг сдружились между собою и были у всякого селянина. Между тем разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадьми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого смешения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили одну общую физиогномию, более азиатскую. И вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, — народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию — и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование.

1832

О малороссийских песнях

Только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие до того скрытыми от образованного общества и державшиеся в одном народе. До того времени одна только очаровательная музыка их изредка заносилась в высший круг, слова же оставались без внимания и почти ни в ком не возбуждали любопытства. Даже музыка их не появлялась никогда вполне. Бездарный композитор безжалостно разрывал ее и клеил в свое бесчувственное, деревянное создание[1]. Но лучшие песни и голоса слышали только одни украинские степи: только там, под сенью низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих колосьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, вереницами жаворонков и стенящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народных песен. Эта народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического и он, при всей многосторонности ее, не получил высшей цивилизации, то весь пыл, все сильное, юное бытие его выливается в народных песнях. Они — надгробный памятник былого, более нежели надгробный памятник: камень с красноречивым рельефом, с историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — все: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части России. Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции; в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века,

[1] Впрочем, любители музыки, поэзии могут несколько утешиться; недавно издано прекрасное собрание песен Максимовичем, и при нем голоса, переложенные Алябьевым.

общий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удовлетворен вполне: история народа разоблачится перед ним в ясном величии.

Песни малороссийские могут вполне назваться историческими, потому что они не отрываются ни на миг от жизни и всегда верны тогдашней минуте и тогдашнему состоянию чувств. Везде проникает их, везде в них дышит эта широкая воля козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, могущество, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами. Ни чернобровая подруга, пылающая свежестью, с карими очами, с ослепительным блеском зубов, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарелая мать, разливающаяся, как ручей, слезами, которой всем существованием завладело одно материнское чувство, — ничто не в силах удержать его. Упрямый, непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьев — все заменяет ватага гульливых рыцарей набегов. Узы этого братства для него выше всего, сильнее любви. Сверкает Черное море; вся чудесная, неизмеримая степь от Тамана до Дуная — дикий океан цветов колышется одним налетом ветра; в беспредельной глубине неба тонут лебеди и журавли; умирающий козак лежит среди этой свежести девственной природы и собирает все силы, чтобы не умереть, не взглянув еще раз на своих товарищей.

То ще добре козацька голова знала,
Що без вийска козацького не вмирала.

Увидевши их, он насыщается и умирает. Выступает ли козацкое войско в поход с тишиною и повиновением; извергает ли из самопалов потоп дыма и пуль; кружает ли вольно мед, вино; описывается ли ужасная казнь гетмана, от которой дыбом подымается волос, мщение ли козаков, вид ли убитого козака с широко раскинутыми руками на траве, с разметанным чубом, клекты ли орлов в небе, спорящих о том, кому из них выдирать козацкие очи, — все это живет в песнях и окинуто смелыми красками. Остальная половина песней изображает другую половину жизни народа: в них разбросаны черты быта домашнего; здесь во всем совершенная противуположность. Там одни козаки, одна военная, бивачная

и суровая жизнь; здесь, напротив, один женский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовию. Эти два пола виделись между собою самое короткое время и потом разлучались на целые годы. Годы эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании своих мужей, любовников, мелькнувших перед ними в своем пышном военном убранстве, как сновидение, как мечта. Оттого любовь их делается чрезвычайно поэтическою. Свежая, невинная, как голубка, молодая супруга вдруг узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ее, проведенное с этим мощным, вольным питомцем войны, столпило для нее радость всей жизни в одно быстро мелькнувшее мгновение. Против него ничто вся остальная жизнь; она живет одним этим мгновением. Тоскуя, ждет она с утра до вечера возврата своего чернобрового супруга.

Ой, черные бровенята!
Лыхо мини з вами,
Не хочете ночеваты
Ни ноченьки сами.

Она вся живет воспоминанием. Все, на что они глядели вместе, куда они вместе ходили, что вместе говорили, — все это припоминает она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видит в природе, дышащей жизнью, и даже к бесчувственным предметам, и всем им говорит и жалуется. И как просты, как поэтически-просты ее исполненные души речи! Ко всему применяет она состояние свое и не может наговориться, потому что человек многоречив всегда, когда в его грусти заключается тайная сладость. Наконец с тихим, но безнадежным отчаянием говорит она:

Да вжеж мини не ходыты,
Куды я ходыла!
Да вжеж мини не любиты,
Кого я любила!
Да вжеж мини не ходыты
Ранком по-пид замком!
Да вжеж мини не стояты
И з моим коханком!

Да вжеж мини не ходыты
В лиски по оришки!
Да вжеж мини минулися
Дивоцкие смишки!

Чтобы сколько-нибудь сделать доступную для не знающих малороссийского языка глубину чувств, рассыпанных в этих песнях, привожу одну из них в переводе:

Рассердился, разгневался на меня мой милый! Вот он седлает своего вороного коня и едет далеко, далеко от меня.

Куда же ты, мой милый, голубчик мой сизый, куда ты уезжаешь? Кому ты меня, беззащитную, молодую, кому оставляешь?

«Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь из дальней дороги».

О, если б я знала, если бы видела, откуда будет ехать мой милый: я бы ему по всей дороге мостила мосты из зеленого тростника и все бы ждала его в гости.

Боже всесильный! Выровняй все долины и горы, чтобы везде было ровно, чтобы оттоле ему до самого дому было хорошо ехать.

Чу! луга шумят, берега звенят, по дороге зеленеет трава — это он! это мой милый едет!

Чу! луга шумят, берега звенят, расцветает калина, — верно, где-нибудь мой милый, голубчик мой сизый, с другою разговаривает.

Зачем же ты не приехал, зачем не прилетел, как я тебе говорила? Коня ли не имел, дороги ли не знал или мать не велела тебе?

«Я коня имею; я и дорогу знаю; и мать еще вчера с вечера велела мне седлать коня.

Но только лишь сяду на коня, только лишь выеду за ворота, как уже бежит за мною другая и так жалко стонет, так плачет, что тоска ее хватает за самое сердце».

Можно привесть до тысячи подобных песен, может быть, даже гораздо лучших. Все они благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Везде новые краски, везде простота и невыразимая нежность чувств. Где же мысли в них коснулись религиозного, там они необыкновенно поэтически. Они не изумляются колоссальным созданиям вечного Творца: это изумление принадлежит

уже ступившему на высшую ступень самопознания; но их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются к Богу, как дети к отцу; они вводят Его часто в быт своей жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображение становится у них величественным в самой простоте своей. От этого самые обыкновенные предметы в песнях их облекаются невыразимою поэзией, чему еще более помогают остатки обрядов древней славянской мифологии, которые они покорили христианству. Часто тоскующая дева умоляет Бога, чтобы Он засветил на небе восковую свечку, пока ее милый перебредет через реку Дунай. На всем печать чистого первоначального младенчества, стало быть и высокой поэзии. Изложение песней их, как женских, так и козацких, почти всегда драматическое — признак развития народного духа и деятельной, беспокойной жизни, долго обнимавшей народ. Песни их почти никогда не обращаются в описательные и не занимаются долго изображением природы. Природа у них едва только скользит в куплете; но тем не менее черты ее так новы, тонки, резки, что представляют весь предмет. Впрочем, к ним прибегают для того только, чтобы сильнее выразить чувства души, и потому явления природы послушно влекутся у них за явлениями чувства. То же самое у них представляется разом и во внешнем и во внутреннем мире. Часто вместо целого внешнего находится только одна резкая черта, одна часть его. В них нигде нельзя найти подобной фразы: *был вечер;* но вместо этого говорится то, что бывает вечером, например:

Шли коровы из дубровы, а овечки с поля.
Выплакала кари очи, край милого стоя.

Оттого весьма многие, не поняв, считали подобные обороты бессмыслицей. Чувство у них выражается вдруг, сильно, резко и никогда не охлаждается длинным периодом. Во многих песнях нет одной общей мысли, так что они походят на ряд куплетов, из которых каждый заключает в себе отдельную мысль. Иногда они кажутся совершенно беспорядочными, потому что сочиняются мгновенно; и так как взгляд народа жив, то обыкновенно те предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помещаются и в песни; но зато из этой пестрой кучи вышибаются такие куплеты, которые поражают самою очаровательною безотчетностью

поэзии. Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность слов разом соединяются в них. Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и все члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят его от всего. Это примечается даже в самых заунывных песнях, которых раздирающие звуки с болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться из души человека в обыкновенном состоянии, при настоящем воззрении на предмет. Только тогда, когда вино перемешает и разрушит весь прозаический порядок мыслей, когда мысли непостижимо странно в разногласии звучат внутренним согласием, — в таком-то разгуле, торжественном, больше нежели веселом, душа, к непостижимой загадке, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдение! Весь таинственный состав его требует звуков, одних звуков. Оттого поэзия в песнях неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; и потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием.

Стихосложение малороссийское самое выгодное для песен: в нем соединяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков в них скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бывает слишком длинна; если же это и случается, то цезура посередине, с звонкою рифмою, перерезывает ее. Чистые, протяжные ямбы редко попадаются; большею частию быстрые хореи, дактили, амфибрахии летят шибко один за другим, прихотливо и вольно мешаются между собою, производят новые размеры и разнообразят их до чрезвычайности. Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцующих. Верность и музыкальность уха — общая принадлежность их. Часто вся строка созвукивается с другою, несмотря, что иногда у обеих даже рифмы нет. Близость рифм изумительна. Часто строка два раза терпит цезуру и два раза рифмуется до замыкающей рифмы, которой сверх того дает ответ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на середине. Иногда встречается такая рифма, которую, по-видимому, нельзя назвать рифмою, но она так верна своим

отголоском звуков, что нравится иногда более, нежели рифма, и никогда бы не пришла в голову поэту с пером в руке.

Характер музыки нельзя определить одним словом: она необыкновенно разнообразна. Во многих песнях она легка, грациозна, едва только касается земли и, кажется, шалит, резвится звуками. Иногда звуки ее принимают мужественную физиогномию, становятся сильны, могучи, крепки; стопы тяжело ударяют в землю, и кажется, как будто бы под них можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ее становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские, силящиеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь в которые танцующий чувствует себя исполином: душа его и все существование раздвигается, расширяется до беспредельности. Он отделяется вдруг от земли, чтобы сильнее ударить в нее блестящими подковами и взнестись опять на воздух. Что же касается до музыки грусти, то она нигде не слышна так, как у них. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на бесприютное положение тогдашней Малороссии... но звуки ее живут, жгут, раздирают душу. Русская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил М. Максимович, забвение жизни; она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью: звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят, — говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему острое железо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится в ней так сильно, что заслушавшийся забывается и чувствует, что надежда давно улетела из мира. В другом месте отрывистые стенания, вопли, такие яркие, живые, что с трепетом спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирепое насилие вырывает младенца, чтобы с зверским смехом расшибить его о камень. Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях. Такова была беззащитная

Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее уния. По ним, по этим звукам, можно догадываться о ее минувших страданиях, так точно, как о бывшей буре с градом и проливным дождем можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим с низу до вершины освеженные деревья, когда солнце мечет вечерний луч, разреженный воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым — вестник деревенского ужина и довольства — несется светлыми кольцами к небу, и вечер, тихий, ясный вечер обнимает успокоенную землю.

1833

О Средних веках

Никогда история мира не принимает такой важности и значительности, никогда не показывает она такого множества индивидуальных явлений, как в Средние веки. Все события мира, приближаясь к этим векам, после долгой неподвижности, текут с усиленною быстротою, как в пучину, как в мятежный водоворот, и, закружившись в нем, перемешавшись, переродившись, выходят свежими волнами. В них совершилось великое преобразование всего мира; они составляют узел, связывающий мир — древний с новым; им можно назначить то же самое место в истории человечества, какое занимает в устроении человеческого тела сердце, к которому текут и от которого исходят все жилы. Как совершилось это всемирное преобразование? какие удержались в нем старые стихии? что прибавлено нового? каким образом они смешались? что произошло от этого смешения? как образовалось величественное, стройное здание веков новых? — Это такие вопросы, которым равные по важности едва ли найдутся во всей истории. Все, что мы имеем, чем пользуемся, чем можем похвалиться перед другими веками, все устройство и искусное сложение наших административных частей, все отношения разных сословий между собою, самые даже сословия, наша религия, наши права и привилегии, нравы, обычаи, самые знания, совершившие такой быстрый прогрессивный ход, — все это или получило начало и зародыш, или даже развилось и образовалось в темные, закрытые для нас Средние века. В них первоначальные стихии и фундамент всего нового; без глубокого и внимательного исследования их не ясна, не удовлетворительна, не полна Новая история; и слушатели ее похожи на посетителей фабрики, которые изумляются быстрой отделке изделий, совершающейся почти перед глазами их, но позабывают заглянуть в темное подземелье, где скрыты первые всемогущие колеса, дающие толчок всему: такая история похожа на статую художника, не изучившего анатомии человека.

Отчего же, несмотря на всю важность этих необыкновенных веков, всегда как-то неохотно ими занимались? Отчего, приближаясь к ним, всегда спешили скорее пройти их и отделаться от них? и редкие, очень редкие, пораженные величием предмета, возлагали

на себя труд разрешить некоторые из приведенных вопросов? Мне кажется, это происходило оттого, что Средней истории назначали самое низшее место. Время ее действия считали слишком варварским, слишком невежественным, и оттого-то оно и в самом деле сделалось для нас темным, — раскрытое <не> вполне, оцененное не <по справедливости, представленное не> в гениальном величии. — Невежественным можно назвать разве только одно начало, но это невежественное время уже имеет в себе то, что должно родить в нас величайшее любопытство. — Этот процесс слияния двух жизней, древнего и нового мира, это резкое противоречие их образов и свойств, эти дряхлые, умирающие стихии старого мира, которые тянутся по новому пространству, как реки, впавшие в море, но долго еще не сливающие своих пресных вод с солеными волнами; эти дикие, мощные стихии нового, упорно не допускающие к себе чуждого влияния, но наконец невольно принимающие его; это старание, с каким европейские дикари кроят по-своему римское просвещение; эти отрывки или, лучше сказать, клочки римских форм, законов, среди новых, еще неопределенных, не получивших ни образа, ни границ, ни порядка; самый этот хаос, в котором бродят разложенные начала страшного величия нынешней Европы и тысящелетней силы ее, — они все для нас занимательнее и более возбуждают любопытства, нежели неподвижное время всесветной Римской империи под правлением ее бессильных императоров.

Другая причина, почему неохотно занимались историею Средних веков, это — мнимая сухость, которую привыкли сливать с понятием о ней. На нее глядели, как на кучу происшествий нестройных, разнородных, как на толпу раздробленных и бессмысленных движений, не имеющих главной нити, которая бы совокупляла их в одно целое. В самом деле, ее страшная, необыкновенная сложность с первого раза не может не показаться чем-то хаосным, но рассматривайте внимательнее и глубже, и вы найдете и связь, и цель, и направление; я, однако же, не отрицаю, что для самого уменья найти все это нужно быть одарену тем чутьем, которым обладают немногие историки. Этим немногим предоставлен завидный дар увидеть и представить все в изумительной ясности и стройности. После их волшебного прикосновения происшествие оживляется и приобретает свою собственность, свою занимательность; без них оно долго представляется для всякого сухим

и бессмысленным. Все, что было и происходило, — все занимательно, если только о нем сохранились верные летописи, выключая разве совершенное бесстрастие народов; везде есть нить, как во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бывает заткана утоком; как в лучистом камне есть невидимый свет, который он отливает, будучи обращен к солнцу, — она исчезает только с утратою известий. Так и в первоначальных веках Средней истории сквозь всю кучу происшествий невидимою нитью тянется постепенное возрастание папской власти и развивается феодализм. Казалось, события происходили совершенно отдельно и блеском своим затемняли уединенного, еще скромного римского первосвященника; действовал сильный государь или его вассал, и действовал лично для себя, а между тем существенные выгоды незаметно текли в Рим. И все, что ни происходило, казалось, нарочно происходило для папы. *Гильдебрандт* только отдернул занавес и показал власть, уже давно приобретенную папами.

История Средних веков менее всего может назваться скучною. Нигде нет такой пестроты, такого живого действия, таких резких противоположностей, такой странной яркости, как в ней: ее можно сравнить с огромным строением, в фундаменте которого улегся свежий, крепкий, как вечность, гранит, а толстые стены выведены из различного, старого и нового материала, так что на одном кирпиче видны готфские руны, на другом блестит римская позолота; арабская рез<ь>ба, греческий карниз, готическое окно — все слепилось в нем и составило самую пеструю башню. Но яркость, можно сказать, только внешний признак событий Средних веков; внутреннее же их достоинство есть колоссальность исполинская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, делающая их единственными, не встречающими себе подобия и повторения ни в древние, ни в новые времена.

Бросим взгляд на те из событий, которые произвели сильное влияние. Главный сюжет Средней истории есть — папа. Он — могущественный обладатель этих молодых веков, он движет всеми силами их и, как громовержец, одним мановением своим правит их судьбою. Словом, вся Средняя история есть история папы. — Его непреодолимое желание властвовать, его постоянные средства, исполненные проницательности и мудрости, следствия

старческого возраста, его деспотизм и деспотизм бесчисленных легионов его могущественного духовенства — ревностных подданных духовного монарха, наложивших свои железные оковы на все углы мира, куда ни проникло знамение Креста, — представляют явление единственное, колоссальное и не повторявшееся никогда. Не стану говорить о злоупотреблении и о тяжести оков духовного деспота. Проникнув более в это великое событие, увидим изумительную мудрость Провидения: не схвати эта всемогущая власть всего в свои руки, не двигай и не устремляй по своему желанию народы — и Европа рассыпалась бы, связи бы не было; некоторые государства поднялись бы, может быть, вдруг, и вдруг бы развратились; другие сохранили бы дикость свою на гибель соседам; образование и дух народный разлились бы неровно; в одном уголку выказывалось бы образование, в другом бы чернел мрак варварства; Европа <бы> не устоялась, не сохранила того равновесия, которое так удивительно ее содержит; она бы более была в хаосе, она бы не слилась железною силою энтузиазма в одну стену, устранившую своею крепостью восточных завоевателей, и, может быть, без этого великого явления Европа уступила бы их напору, и магометанская луна горделиво вознеслась бы над нею, вместо Креста. Невольно преклонишь колена, следя чудные пути Провидения: власть папам как будто нарочно дана была для того, чтобы в продолжение этого времени юные государства окрепли и возмужали; чтобы они повиновались прежде, нежели достигнут возраста повелевать другими; чтобы сообщить им энергию, без которой жизнь народов бесцветна и бессильна. И как только народы достигли состояния управлять собою, власть папы, как исполнившая уже свое предназначение, как более уже ненужная, вдруг поколебалась и стала разрушаться, несмотря на все сильные меры, на все желание удержать гибнущие силы свои. Власть их в этом отношении была то же, что подмостки и лес для постройки здания; вначале они выше и кажутся значительнее самого строения, но как только строение достигло настоящей высоты, они как ненужные принимаются прочь.

С мыслию о Средних веках невольно сливается мысль о Крестовых походах — необыкновенном событии, которое стоит как исполин в средине других, тоже чудесных и необыкновенных. Где, в какое время было когда-нибудь равное ему своею

оригинальностью и величием? Это не какая-нибудь война за похищенную жену, не порождение ненависти двух непримиримых наций, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями за корону или за клочок земли, даже не война за свободу и народную независимость. Нет! ни одна из страстей, ни одно собственное желание, ни одна личная выгода не входят сюда: все проникнуты одною мыслию — освободить Гроб Божественного Спасителя! Народы текут с крестами со всех сторон Европы; короли, графы в простых власяницах; монахи, препоясанные оружием, становятся в ряды воинов; епископы, пустынники с крестами в руках предводят несметными толпами — и все текут освободить свою Веру. Владычество одной мысли объемлет все народы. Нет ли чего-то великого в этой мысли? И напрасно Крестовые походы называются безрассудным предприятием. Не стран<н>о ли было бы, если бы отрок заговорил словами рассудительного мужа? Они были порождение тогдашнего духа и времени. Предприятие это — дело юноши, но такого юноши, которому определено быть гением. А какие бесчисленные, какие удивительные и непредвиденные следствия Крестовых походов! Нужно было всю массу образовать и воспитать, дать ей увидеть свет, который часто заслоняло духовенство, и вся масса для этого извергается в другую часть света, где потухающее аравийское просвещение силится передать ей свой пламень, и — вся Европа вояжирует по Азии. Не вправе ли мы изумляться? Обыкновенно какой-нибудь выходец из земли образованной один приносит просвещение и первые сведения в неизвестную страну и постепенно образует дикарей; но это образование тянется медленно, неровно. Здесь же, напротив, народы сами всею своею массою приходят за образованием и, несмотря на долгое пребывание, не сливаются с своими учителями, ничего не перенимают у них роскошного и развратного, удерживают свою самобытность, при всем заимствовании множества азиатских обыкновений, и возвращаются в Европу европейцами, а не азиатцами. Я уже не говорю о тех следствиях, тех переменах в феодальном правлении, для которых нужно было временное удаление многих сильных.

Но бросим взгляд на другие происшествия, наполняющие Среднюю историю. Они хотя, в сравнении с Крестовыми походами, могут почесться второстепенными, но тем не менее все

исполнены чудесности, сообщающей Средним векам какой-то фантастический свет, все — порождение юношества прекрасного, исполненного самых сильных и великих надежд, часто безрассудного, но пленительного и в самой безрассудности. Рассмотрим их по порядку времени; воз<ь>мем то блестящее время, когда появились аравитяне — краса народов восточных. И одному только человеку и созданной им религии, роскошной, как ночи и вечера Востока, пламенной, как природа, близкая к Индийскому морю, важной и размышляющей, какую только могли внушить великие пустыни Азии, — обязаны они всем своим блестящим, радужным существованием! С непостижимою быстротою они, эти смуглые чалмоносцы, воздвигают свои калифаты с трех сторон Средиземного моря. И воображение их, ум и все способности, которыми природа так чудно одарила араба, развиваются в виду изумленного Запада, отпечатываясь со всею роскошью на их дворцах, мечетях, садах, фонтанах, и так же внезапно, как в их сказках, кипящих изумрудами и перлами восточной поэзии. Век вперед — и уже он исчез, этот необыкновенный народ, так что в раздумьи спрашиваешь себя: точно ли он жил и существовал, или он — самое прекрасное создание нашего воображения?

Как чудесно и какой сильной исполнено противоположности появление *норман<н>ов* — народа, которого гневный Север свирепо выбросил из ледяных недр своих. Горсть людей дерзких, за которыми как будто гонятся по пятам мрачный их Один и снеговые горы Скандинавии, наводит панический страх на обширные государства! По Северному океану плывут их движущиеся королевства под начальством морских своих королей, — и все падает ниц перед этими малолюдными пришлецами, воспитанными бурею, морями, страшною бедностию Скандинавии и дикою религиею.

Колоссальные завоевания и распространение *монголов* были также делом почти сверхъестественным. Необъятная внутренность Азии, которая была скрыта от глаз всех народов, осветилась вдруг в самом страшном величии. Эти степи, которым нет конца, озера и пустыни исполинского размера, где все раздалось в ширину и беспредельную равнину, где человек встречается как будто для того, чтобы увеличить собою еще более окружающее пространство; степи, шумящие хлебом, никем не сеянным и не

собираемым, травою, почти равняющеюся ростом с деревьями, степи, где пасутся табуны и стада, которых от века никто не считал, и сами владельцы не знают настоящего количества, эти степи увидели среди себя Чингис-Хана, давшего обет перед толпами своих узкоглазых, плосколицых, широкоплечих, малорослых монголов завоевать мир, — и многолюдный Пекин горит целый месяц, миллион народа выстреливается монгольскими стрелами, государь тунгусский гибнет с сотнями тысяч подданных на замерзшем озере, стада пригоняются к границам Индии, табуны кишат при Волге. Словом, как будто на завоеваниях их отразилась колоссальность Азии. Такого быстрого распространения тоже не видала ни Древняя, ни Новая история.

Я уже ничего не говорю о важной торговле Венеции — этого небольшого лоскутка земли, которую всю занимал один город, и город без государства, выжимал золото со всего мира, и коего царственные купцы своими кораблями, горделиво обошедшими все моря, и дворцами при Адриатическом море далеко превосходили многих монархов. Этого явления я не считаю единственным и необыкновенным. Оно повторяется в истории мира часто, хотя в других формах и с разными изменениями. Несравненно оригинальнее жизнь Европы во время и после Крестовых походов, когда в ней все еще темны и неопределенны границы государств; когда еще государь звучит одним именем своим, и вместо того миллионы владельцев, из которых каждый — маленькой император в своей земле; когда вся Европа облекается в неприступные замки с башнями и зубцами, и твердые крепости усеивают ее поверхность; когда воспитанная взаимным страхом и битвами сила рыцарей делается почти львиною и заковывается с ног до головы в железо, тяжести которого еще не выносил человек, и грубо, независимо развивается самостоятельная гордость души. Казалось, эта дикая храбрость должна бы совершенно закалить их и сделать так же бесчувственными, как непроницаемые их латы. Но как удивительно они были укрощены, и таким явлением, которое представляет совершенную противуположность с их нравами! Это — всеобщее беспредельное уважение к женщинам. Женщина Средних веков является божеством; для ней турниры, для ней ломаются копья, ее розовая или голубая лента вьется на шлемах и латах и вливает сверхъестественные силы; для

ней суровый рыцарь удерживает свои страсти так же мощно, как арабского бегуна своего, налагает на себя обеты изумительные и неподражаемые по своей строгости к себе, и все для того, чтобы быть достойным повергнуться к ногам своего божества. Если эта возвышенная любовь изумительна, то влияние ее на нравы и того более. Все благородство в характере европейцев было ее следствием. А вся эта странническая жизнь, которая обратила Европу в какую-то движущуюся столицу, доставившая тысячи опытов и приключений каждому и произведшая впоследствии в европейцах жажду к открытию новых земель! Как самые их взаимные брани и битвы, вечно неспокойное положение, вместо того чтобы ослабить всеобщий дух и напряжение, как то обыкновенно делается в периодах истории, когда роскошь разъедает раны нравственной болезни народов и алчность выгод личных выводит за собою низость, лесть и способность устремиться на все утонченные пороки, — вместо этого они только укрепили и развили их!

Пороки народов образованных не смели коснуться рыцарства Европы. Казалось, Провидение бодрствовало над ним неусыпно и с заботливостью преданного наставника берегло его. Едва только возникли улучшения для жизни, которые подносила Венеция и Ганза, и начали отдалять рыцарей от их обетов и строгой жизни, подогревать желание наслаждений и уменьшать энтузиазм религиозный, как появившиеся чудные, небывалые никогда дотоле *общества* стали грозными соглядатаями, неумолимою совестью перед народами Европы. Никогда история не представляла обществ, связанных такими неразрывными узами, как эти духовные ордена рыцарей. Ничего для своей пользы или для своего существования, что всегда составляло цель обществ! Уничтожить все, что составляет желание человека, и жить для всего человечества; жить, чтобы быть грозными хранителями мира, чтобы носить в себе одно: защиту Веры Христовой; все принести ей в жертву и отказаться от всего, что отзывается выгодою жизни! Не чудесно ли это явление? Эта энергия и сила для него могла быть только вычерпнута из Средних веков. И как только ордена рыцарские стали уклоняться от своей цели и обращать глаза на другие, как только начали заражаться желанием добычи и корысти, и роскошь заставляла их живее привязываться к собственной жизни, и они стали походить сами на тех, за которыми

наложили на себя сами же смотрение, — как возникают уже страшные тайные суды, неумолимые, неотразимые, как высшие предопределения, являющиеся уже не совестью перед ветреным миром, но страшным изображением смерти и казни. Ни сила, ни обширные земли, ни даже самая корона не спасают и не отменяют произнесенного ими приговора. Незнаемые, невидимые, как судьба, где-нибудь в глуши лесов, под сырым сводом глубокого подземелья, они взвешивали и разбирали всю жизнь и дела того, которому посреди необъятных своих земель и сотни покорных вассалов и в мысль не приходило, есть ли где в мире власть выше его. И если эти подземные судьи раз произносили обвиняющее слово — все кончено. Напрасно властитель грозою могущества своего затрудняет к себе приближение, напрасно его золото залепляет уста и заставляет всех прославлять его — неумолимый кинжал настигает его на конце мира, крадется мимо пышной толпы и разит его из-за плеча друга. Не составляет ли это чудесности почти сказочной? Только там так неотразимо, так сверхъестественно, так неправильно действует человек, оторванный от общества, лишенный покрова законной власти, не знающий, что такое слово: невозможность.

А самый образ занятий, царствовавший в средине и конце Средних веков, — это всеобщее устремление всех к чудесной науке, это желание выпытать и узнать таинственную силу в природе, эта алчность, с какою все ударились в волшебство и чародейственные науки, на которых ясно кипит признак европейского любопытства, без которого науки никогда бы не развились и не достигли нынешнего совершенства! Самая даже простодушная вера их в духов и обвинения в сообщении с ними имеют для нас уже необыкновенную занимательность. А занятия алхимиею, считавшеюся ключом ко всем познаниям, венцом учености Средних веков, в которой заключилось детское желание открыть совершеннейший металл, который бы доставил человеку все! Представьте себе какой-нибудь германский город в Средние века, эти узенькие, неправильные улицы, высокие, пестрые готические домики, и среди <н>их какой-нибудь ветхий, почти валящийся, считаемый необитаемым, по растреснувшимся стенам которого лепится мох и старость, окна глухо заколочены — это жилище алхимика. Ничто не говорит в нем о присутствии живущего,

но в глухую ночь голубоватый дым, вылетая из трубы, докладывает о неусыпном бодрствовании старца, уже поседевшего в своих исканиях, но все еще неразлучного с надеждою, — и благочестивый ремесленник Средних веков со страхом бежит от жилища, где, по его мнению, духи основали приют свой и где вместо духов основало жилище неугасимое желание, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже от неудачи — первоначальная стихия всего европейского духа, — которое напрасно преследует инквизиция, проникая во все тайные мышления человека: оно вырывается мимо и, облеченное страхом, еще с большим наслаждением предается своим занятиям.

А самая инквизиция? Какое мрачное и ужасное явление! Инквизиция свирепая, слепая, владевшая бесчисленными сводами и подземельями монастырей, не верящая ничему, кроме своих ужасных пыток, на которых человек показал адскую изобретательность; инквизиция, выпускавшая из-под монашеских мантий свои железные когти, хватавшие всех без различия, кто только не предавался странным и необыкновенным занятиям; подтвердившая великую истину, что если может физическая природа человека, доведенная муками, заглушить голос души, то в общей массе всего человечества душа всегда торжествует над телом.

Не единственны ли все эти явления? Не дают ли они права назвать Средние века веками чудесными? Чудесное прорывается при каждом шаге и властвует везде во все течение этих юных десяти веков. Юных потому, что в них действует все молодое, кипящее отвагою, порывы и мечты, не думавшие о следствиях, не призывавшие на помощь холодного соображения, еще не имевшие прошедшего, чтобы оглянуться. Все было в них — поэзия и безотчетность. Вы вдруг почувствуете перелом, когда вступите в область истории Новой. Перемена слишком ощутительна, и состояние души вашей будет похоже на волны моря, прежде воздымавшиеся неправильными, высокими буграми, но после улегшиеся и всею своею необозримою равниною мерно и стройно совершающие правильное течение. Действия человека в Средних веках кажутся совершенно безотчетны; самые великие происшествия представляют совершенные контрасты между собою и противоречат во всем друг другу. Но совокупление их всех вместе в целое

являет изумительную мудрость. Если можно сравнить жизнь одного человека с жизнию целого человечества, то Средние века будут то же, что время воспитания человека в школе. Дни текут его незаметно для света, деяния его не так крепки и зрелы, как нужно для мира: об них никто не знает, но зато они все — следствие порыва и обнажают за одним разом все внутренние движения человека, и без них не состоялась бы будущая его деятельность в кругу общества.

Теперь рассмотрите, между какими колоссальными событиями заключается время Средних веков! Великая империя, повелевавшая миром, двенадцативековая нация, дряхлая, истощенная, падает; с нею валится полсвета, с нею валится весь древний мир с полуязыческим образом мыслей, безвкусными писателями, гладиаторами, статуями, тяжестью роскоши и утонченностью разврата. Это их начало. Оканчиваются Средние века тоже самым огромным событием: всеобщим взрывом, подымающим на воздух все и обращающим в ничто все страшные власти, так деспотически их обнявшие. Власть папы подрывается и падает, власть невежества подрывается, сокровища и всемирная торговля Венеции подрываются, и когда всеобщий хаос переворота очищается и проясняется, перед изумленными очами являются монархи, держащие мощною рукою свои скипетры; корабли, расширенным взмахом несущиеся по волнам необъятного океана мимо Средиземного моря; в руках у европейцев вместо бессильного оружия — огонь; печатные листы разлетаются по всем концам мира; и все это результаты Средних веков. Сильный напор и усиленный гнет властей, казалось, были для того только, чтобы сильнее произвесть всеобщий взрыв. Ум человека, задвинутый крепкою толщею, не мог иначе прорваться, как собравши все свои усилия, — всего себя. И оттого-то, может быть, ни один век не представляет таких гигантских открытий, как XV; век, которым так блистательно оканчиваются Средние века, величественные, как колоссальный готический храм, темные, мрачные, как его пересекаемые один другим своды, пестрые, как разноцветные его окна и куча изузоривающих его украшений, возвышенные, исполненные порывов, как его летящие к небу столбы и стены, оканчивающиеся мелькающим в облаках шпицем.

1830 г.

Тарас Бульба

<Редакция первого издания (1835 г.)>

I

— А поворотись, сынку! цурь тебе, какой ты смешной! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?

Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлоба, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Постойте, постойте, дети, — продолжал он, поворачивая их, — какие же длинные на вас свитки![1] Вот это свитки! Ну, ну, ну! таких свиток еще никогда на свете не было. А ну, побегите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал наконец старший из них.

— Фу ты, какой пышной! а отчего ж бы не смеяться?

— Да так. Хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-Богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька? — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько назад.

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же ты хочешь со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Бульба, засучив рукава. И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали преусердно колотить друг друга.

[1] Свиткой называется верхняя одежда у малороссиян.

— Вот это сдурел, старый! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. — Ей-Богу, сдурел! Дети приехали домой, больше году не видели их, а он задумал Бог знает что: биться на кулачки.

— Да он славно бьется! — говорил Бульба, остановившись. — Ей-Богу, хорошо! так-таки, — продолжал он, немного оправляясь, — хоть бы и не пробовать. Добрый будет казак! Ну, здоров, сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном начали целоваться. — Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему. — Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот еще выдумал что! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. — И придет же в голову! Как можно, чтобы дитя било родного отца? Притом будто до того теперь: дитя малое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно отпочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет биться!

— Э, да ты мазунчик, как я вижу! — говорил Бульба. — Не слушай, сынку, матери: она баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба! Ваша нежба — чистое поле да добрый конь; вот ваша нежба. А видите вот эту саблю — вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают вас: и академия, и все те книжки, буквари и философия, все это *ка зна що,* я плевать на все это! — Бульба присовокупил еще одно слово, которое в печати несколько выразительно и потому его можно пропустить. — Я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот там ваша школа! Вот там только наберетесь разуму.

— И только всего одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать. — И погулять им, бедным, не удастся, и дому родного некогда будет узнать им, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно, старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ступай скорее да неси нам все, что ни есть, на стол. Пампушек, маковиков, медовиков и других пундиков не нужно, а прямо так и тащи нам целого барана на стол. Да горелки, чтобы

горелки было побольше! Не этой разной, что с выдумками: с изюмом, родзинками и другими вытребеньками, а чистой горелки, настоящей, такой, чтобы шипела, как бес!

Бульба повел сыновей своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здоровые девки в красных монистах, увидевши приехавших паничей, которые не любили спускать никому. Все в светлице было убрано во вкусе того времени; а время это касалось XVI века, когда еще только что начинала рождаться мысль об унии. Все было чисто, вымазано глиною. Вся стена была убрана саблями и ружьями. Окна в светлице были маленькие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. На полках, занимавших углы комнаты и сделанных угольниками, стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы, зашедшие в светлицу Бульбы разными путями, чрез третьи и четвертые руки, что было очень обыкновенно в эти удалые времена. Липовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на полкомнаты, как толстая русская купчиха, с какими-то нарисованными петухами на изразцах, — все эти предметы были довольно знакомы нашим двум молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не было в обычае позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

— Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки, и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы, когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоты-то не слишком разумею, то и не помню; Гораций, кажется?

«Вишь, какой батька, — подумал про себя старший сын, Остап, — все, собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит, — продолжал Бульба, — не давал вам и понюхать горелки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас стегали березовыми да вишневыми по спине и по всему, а может, так как вы уже слишком разумные, то и плетюгами? Я думаю, кроме субботки, драли вас и по середам, и по четвергам?

— Нечего, батько, вспоминать, — говорил Остап с обыкновенным своим флегматическим видом, — что было, то уже прошло.

— Теперь мы можем расписать всякого, — говорил Андрий, — саблями да списами. Вот пусть только попадется татарва.

— Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда так, то и я с вами еду! ей-Богу, еду. Какого дьявола мне здесь ожидать? Что, я должен разве смотреть за хлебом да за свинарями? Или бабиться с женою? Чтоб она пропала! Чтоб я для ней оставался дома? Я казак. Я не хочу! Так что же что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-Богу, еду! — И старый Бульба мало-помалу горячился и наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. — Завтра же едем! Зачем откладывать. Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? к чему нам все это? на что эти горшки? — При этом Бульба начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка жена, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но, услышавши о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый XV век, и притом на полукочующем востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, к каким принадлежала тогда Украйна. Вечная необходимость пограничной защиты против трех разнохарактерных наций — все это придавало какой-то вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силе на Тарасе Бульбе. Когда Баторий

устроил полки в Малороссии и облек ее в ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели порогов, он был из числа первых полковников. Но при первом случае перессорился со всеми другими за то, что добыча, приобретенная от татар соединенными польскими и казацкими войсками, была разделена между ими не поровну и польские войска получили более преимущества. Он в собрании всех сложил с себя достоинство и сказал: «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас черт водит за нос. А я наберу себе собственный полк, и кто у меня вырвет мое, тому я буду знать, как утереть губы». Действительно, он в непродолжительное время из своего же отцовского имения составил довольно значительный отряд, который состоял вместе из хлебопашцев и воинов и совершенно покорствовался его желанию. Вообще он был большой охотник до набегов и бунтов; он носом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение, и уже как снег на голову являлся на коне своем. «Ну, дети! что и как? кого и за что нужно бить?» — обыкновенно говорил он и вмешивался в дело. Однако ж прежде всего он строго разбирал обстоятельства и в таком только случае приставал, когда видел, что поднявшие оружие действительно имели право поднять его, хотя это право было, по его мнению, только в следующих случаях: если соседняя нация угоняла скот или отрезывала часть земли, или комиссары налагали большую повинность, или не уважали старшин и говорили перед ними в шапках, или посмевались над Православною верою, — в этих случаях непременно нужно было браться за саблю; против бусурманов же, татар и турок, он почитал во всякое время справедливым поднять оружие во славу Божию, христианства и казачества. Тогдашнее положение Малороссии, еще не сведенное ни в какую систему, даже не приведенное в известность, способствовало существованию многих совершенно отдельных партизанов. Жизнь вел он самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить от рядового казака, если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительности и даже величия, особливо когда он решался защищать что-нибудь. Бульба заранее утешал себя мыслию о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет: «Вот посмотрите, каких я к вам молодцов привел!» Он думал о том, как повезет их на Запорожье — эту военную школу тогдашней Украйны,

представит своим сотоварищам и поглядит, как при его глазах они будут подвизаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, потому что считал необходимостию заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствия. Но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь воинский дух его, и он решился сам с ними ехать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, он уже начал отдавать приказания своему асаулу, которого называл Товкачом, потому что тот действительно похож был на хладнокровную машину: во время битвы он равнодушно шел по неприятельским рядам, расчищая своею саблей, как будто бы месил тесто, как кулачный боец, прочищающий себе дорогу. Приказания состояли в том, чтобы оставаться ему в хуторе, покамест он даст знать ему выступить в поход. После этого пошел он сам по куреням своим, раздавая приказания некоторым ехать с собою, напоить лошадей, накормить их пшеницею и подать себе коня, которого он обыкновенно называл чертом.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело, прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью; она возрастила, взлелеяла их, — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас! Хоть бы недельку мне поглядеть на вас!» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то

прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два, три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки; она была какое-то странное существо в этом соборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все что есть нежного и страстного в женщине, — все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, зачуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А где стара? (так он обыкновенно называл жену свою). Живее, стара, готовь нам есть, потому что путь великий лежит!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились вместо прежних запачканных сапогов сафьянные красные с серебряными подковами, шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели: молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! — произнес наконец Бульба. — Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба. — Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую[1], чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде и на земле спасает.

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... Божья Матерь... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе... — далее она не могла продолжать.

[1] Рыцарскую.

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и, с отчаяньем во всех чертах, не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она, со всею легкостию дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию; ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, с своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю, только стояли на земле две трубы от их скромного домика; одни только вершины дерев, дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними, тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую казачку, боязливо летевшую чрез него с помощию своих свежих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем, с привязанным вверху колесом от телеги, одиноко торчит на небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. Прощайте и детство, и игры, и все, и все!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет казак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял,

какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все, поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлефовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни. Эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Ни к чему не могли привязать они своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, пробуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, — все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали

руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эта бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим, наконец, сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они бежали на Запорожье, если умели найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то, что начал с большим старанием учить логику и даже богословию, но никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую казаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развиты. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат; чаще являлся

предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его, Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за 18 лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси; нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать казаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыстнул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкой и гармонической смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучею,

в богатом убранстве, стояла за воротами, окруживши игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостию, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшими в самую крышу дома; с дерева перелез на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова; но когда увидела, что бурсак стоял потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому; он видел

ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной, обольстительной брюнетки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости, — как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом, разом! Все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И казаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у казаков, вмиг слетело, сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог знает откуда, колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли целою тучею ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался Бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха.

Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши! — Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем ехавший с ними отряд из 10 казаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом, или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по ним и они становились темно-зелеными; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался к щекам. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою. Пестрые овражки выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег; раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, казаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, краканье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север,

вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что казаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Через три дня после этого они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и наконец обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле, где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Казаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище.

Куча народа бранилась на берегу с перевозчиками. Казаки оправили коней; Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в 25 кузницах, покрытых дерном и вырытых

в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, точил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем, для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявших это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они минули предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные установлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместьи. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. На пространстве пяти верст были разбросаны толпы народа. Они все собирались в небольшие кучи. Так вот Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украйну! Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой

запорожец, заломивши чертом свою шапку и вскинувши руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома с подбитым глазом мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четыре старых выработывали довольно мелко своими ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслися вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами тесно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чем далее, росла: к танцующим приставали другие, и вся почти площадь покрылась приседающими запорожцами. Это имело в себе что-то разительно-увлекательное. Нельзя было без движения всей души видеть, как вся толпа отдирала танец, самый вольной, самый бешеной, какой только видел когда-либо мир, и который по своим мощным изобретателям носит название казачка.

Тарас Бульба крикнул от нетерпения и досадуя, что конь, на котором сидел он, мешал ему пуститься самому. Иные были чрезвычайно смешны своею важностью, с какою они работали ногами. Чресчур дряхлые, прислонившись к столбу, к которому обыкновенно на Сече привязывали преступника, топали и переминали ногами. Крики и песни, какие только могли прийти в голову человеку в разгульном весельи, раздавались свободно. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда Бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото? Здравствуй, Застежка! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? что Бородавка? что Колопер? что Пидсыток?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсыткова голова посолена в бочке и отправлена в самой Царь-Град. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были казаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сече. Остап и Андрий мало могли заниматься военною школою, несмотря на то, что отец их особенно просил опытных и искусных наездников быть им руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожье не было никакого теоретического изучения или каких-нибудь общих правил; все юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битвы, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки же между ними казаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины. Очень редкие имели примерные турниры. Они все время отдавали гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сеча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговли; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь сборище бражников, напивавшихся с горя; это было просто какое-то бешеное разгулье веселости. Всякой приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на все прошедшее и с жаром фанатика предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лежавшей на земле, так были смешны и дышали таким глубоким юмором, что нужно было иметь только флегматическую наружность запорожца, чтобы не смеяться ото всей души. Это не был какой-нибудь пьяный кабак, где бессмысленно, мрачно, искаженными чертами веселия забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Вся разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней, вместо луга, на котором производилась игра в мячик, у них были неохраняемые, беспечные границы,

в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые по благородному обычаю не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь уронить. Здесь были все бурсаки, которые не вынесли академических лоз и которые не вынесли из школы ни одной буквы; но вместе с этими здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Здесь было много офицеров из польских войск; впрочем, из какой нации здесь не было народа? Эта странная республика была именно потребность того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь себе работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показаться ни одна женщина. Остапу и Андрию показалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечу гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращались в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил:

— Здравствуй, что, во Христа веруешь?

— Верую! — отвечал приходивший.

— И в Троицу Святую веруешь?

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу.

— А ну, перекрестись!

Пришедший крестился.

— Ну, хорошо! — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместьи, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Такова была та Сечь, имевшая столько приманок для молодых людей. Остап и Андрий кинулись, со всею пылкостию юношей, в это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и дом отцовский, и все, что тайно волнует еще свежую душу. Они гуляли, братались с беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого изменения такой жизни. Между тем Тарас Бульба начинал думать о том, как бы скорее затеять какое-нибудь дело: он не мог долго оставаться в недеятельности.

— Что, кошевой, — сказал он один раз, пришедши к атаману, — может быть, пора бы погулять запорожцам?

— Негде погулять, — отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув в сторону.

— Как негде? Можно пойти в Турещину или на Татарву.

— Не можно ни в Турещину, ни в Татарву, — отвечал кошевой, взявши опять в рот трубку.

— Как не можно?

— Так. Мы обещали султану мир.

— Да он ведь бусурмен: и Бог и Священное Писание велит бить бусурменов.

— Не имеем права. Если б мы не клялись нашею Верою, то, может быть, как-нибудь еще и можно было.

— Как же это, кошевой? Как же ты говоришь, что права не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди, — им нужно приучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти.

— Что ж делать? — отвечал кошевой с таким же хладнокровием. — Нужно подождать.

Но этим Бульба не был доволен. Он собрал кое-каких старшин и куренных атаманов и задал им пирушку на всю ночь. Загулявшись до последнего разгула, они вместе отправились на площадь, где обыкновенно собиралась рада и стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек, с одним только глазом, несмотря на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят, — отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, — и скоро на площадь, как шмели, начали собираться черные кучи запорожцев.

За кошевым отправились несколько человек и привели его на площадь.

— Не бойся ничего! — сказали вышедшие к нему навстречу старшины. — Говори миру речь, когда хочешь, чтобы не было худого, говори речь об том, чтобы идти запорожцам на войну против бусурманов!

Кошевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел на середину площади, раскланялся на все четыре стороны и произнес:

— Панове запорожцы, добрые молодцы! позволит ли господарство ваше речь держать?

— Говори, говори! — зашумели запорожцы.

— Вот, в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство, да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет. Притом же, в рассуждении того, есть очень много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, естьли он еще ни раза не бил бусурмана?

— Вишь, он хорошо говорит, — сказал писарь, толкнув локтем Бульбу. Бульба кивнул головою.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани Бог, я только так это говорю. Притом же у нас храм Божий грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости Божией стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную рясу кто догадался им выковать. Они только то и получили, что отказали в духовной иные казаки. Да и даяние их было бедное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.

— Вишь, проклятой! что это он путает такое? — сказал Бульба писарю.

— Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа. — За веру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался. Он нимало не желал тревожить всего Запорожья. Притом ему казалось неправым делом разорвать мир.

— Позвольте, панове, речь держать?

— Довольно! — кричали запорожцы. — Лучшего не скажешь.

— Когда так, то пусть по-вашему, только для нас будет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы, вот видите, будем наготове, и силы у нас будут свежие. Притом же и татарва может напасть во время нашей отлучки. Да если сказать правду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться, и решили на том, чтобы

отправить несколько молодых людей под руководством опытных и старых.

Таким образом, все были уверены, что они совершенно по справедливости предпринимают свое предприятие. Такое понятие о праве весьма было извинительно народу, занимавшему опасные границы среди буйных соседей. И странно, естьли бы они поступили иначе. Татары раз десять перерывали свое шаткое перемирие и служили обольстительным примером. Притом, как можно было таким гулливым рыцарям и в такой гулливый век пробыть несколько недель без войны?

Молодежь бросилась к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Несколько плотников явились вмиг с топорами в руках. Старые, загорелые, широкочленистые запорожцы с проседью в усах, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали их с берега крепким канатом. Несколько человек было отправлено в скарбницу на противуположный утесистый берег Днепра, где в неприступном тайнике они скрывали часть приобретенных орудий и добычу. Бывалые поучали других с каким-то наслаждением, сохраняя при всем том степенный, суровый вид. Весь берег получил движущийся вид, и хлопотливость овладела дотоле беспечным народом.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Куча состояла из казаков в оборванных свитках. Беспорядочный костюм, — у них ничего не было, кроме рубашки и трубки, — показывал, что они были слишком угнетены бедою или уже чересчур гуляли и прогуляли все, что ни было на теле. Между ними отделился и стал впереди приземистый, плечистый, лет пятидесяти человек. Он кричал сильнее других и махал рукою сильнее всех.

— Бог в помощь вам, панове запорожцы!

— Здравствуйте! — отвечали работавшие в лодках, приостановив свое занятие.

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Говори.

И толпа усеяла и обступила весь берег.

— Слышали ли вы, что делается на Гетманщине?

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Такие дела делаются, что и рассказывать нечего.

— Какие же дела?

— Что и говорить. И родились и крестились, еще не видали такого, — отвечал приземистый казак, поглядывая с гордостью владеющего важной тайной.

— Ну, ну рассказывай, что такое! — кричала в один голос толпа.

— А разве вы, панове, до сих пор не слыхали?

— Нет, не слыхали.

— Как же это? что ж, вы разве за горами живете, или татарин заткнул клейтухом уши ваши?

— Рассказывай! полно толковать, — сказали несколько старшин, стоявших впереди.

— Так вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святые, как шинки, на аренды?

— Нет.

— Так вы не слышали и про то, что уже христианину и пасхи не можно есть, покаместь рассобачий жид не положит значка́ нечистою своею рукою?

— Ничего не слышали! — кричала толпа, подвигаясь ближе.

— И что ксен<д>зы ездят из села в село в таратайках, в которых запряжены пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то просто православные христиане. Так вы, может быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочет, чтобы мы кинули и веру нашу христианскую? Вы, может быть, не слышали и об том, что уже из поповских риз жидовки шьют себе юбки?

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший углубивши глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования. — Стой! и я скажу слово: а что ж вы, враг бы поколотил вашего батька, что ж вы, разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?

— Э, как попустили такому беззаконию, — отвечал приземистый казак, — а попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да еще к тому и часть гетманцев приняла их веру.

— А гетман ваш, а полковники что делали?

— Э, гетман и полковники! А знаете, где теперь гетман и полковники?

— Где?

— Полковников головы и руки развозят по ярмаркам, а гетман, зажаренный в медном быке, и до сих пор лежит еще в Варшаве.

Содрогание пробежало по всей толпе; молчание, какое обыкновенно предшествует буре, остановилось на устах всех, и, миг после того, чувства, подавляемые дотоле в душе силою дюжего характера, брызнули целым потоком речей.

— Как, чтобы нашу Христову веру гнала проклятая жидова? чтобы эдакое делать с православными христианами, чтобы так замучить наших, да еще кого? полковников и самого гетмана! Да чтобы мы стерпели все это? Нет, этого не будет!

Такие слова перелетали во всех концах обширной толпы народа. Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. Это не было похоже на волнение народа легкомысленного. Тут волновались всё характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть.

— Как, чтобы жидовство над нами пановало! А ну, паны-браты, перевешаем всю жидову! Чтобы и духу ее не было! — произнес кто-то из толпы.

Эти слова пролетели молнией, и толпа ринулась на предместье с сильным желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок. Но неумолимые, беспощадные мстители везде их находили.

— Ясневельможные паны! — кричал один высокий и тощий жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. — Ясневельможные паны! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное.

— Ну, пусть скажут! — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные паны! — произнес жид. — Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу! никогда. Таких добрых, хороших

и храбрых не было еще на свете... — Голос его умирал и дрожал от страха. — Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее. Те совсем не наши, что арендаторствуют на Украйне! Ей-Богу, не наши! то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей-Богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль, в изодранных еломках, оба белые, как глина.

— Мы никогда еще, — продолжал высокий жид, — не соглашались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим: пусть им черт приснится! Мы с запорожцами как братья родные...

— Как? чтоб запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове, всех потопить поганцев!

Эти слова были сигналом, жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны, жалкий крик раздался со всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный высокий оратор, накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий господин, ясневельможный пан. Я знал и брата вашего, покойного Дороша. Какой был славный воин! Я ему восемьсот цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турков.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-Богу, знал: великодушный был пан.

— А как тебя зовут?

— Янкель.

— Хорошо, я тебя проведу. — Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли казаки его. — Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что раздавшийся бой литавров возвестил собрание рады. Несмотря на свою печаль и сокрушение о случившихся на Украйне несчастиях, он был несколько доволен представлявшимся широким раздольем для подвигов, и притом для подвигов таких, которые представляли ему мученический венец по смерти.

Вся Сечь, все, что было на Запорожьи, собралось на площадь. Старшины, куренные атаманы по коротком совещании решили на том, чтобы идти с войсками прямо на Польшу, так как оттуда произошло все зло, желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу.

И вся Сечь вдруг преобразилась. Везде были только слышны пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, скрып телег, все подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человека не было пьяного. Необыкновенная деятельность сменила вдруг необыкновенную беспечность. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был почти деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гулливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления, тихо, с расстановкою, как глубоко знающий свое дело и уже не в первый раз приводивший его в исполнение. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою, все целовали крест.

Когда все запорожское войско вышло из Сечи, головы всех обратились назад.

— Прощай, наша мать! — сказали почти все в одно слово. — Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастия!

Проходя предместие, Тарас Бульба увидел с изумлением, что жидок его уже раскинул свою лавочку и продавал какие-то кремешки и всякую дрянь.

— Дурень, что ты здесь сидишь, — сказал он ему, — разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

— Молчите, — отвечал жид. — Я пойду за вами и войском и буду продавать провиант по такой дешевой цене, по какой еще никогда никто не продавал. Ей-Богу, так! вот увидите!

Бульба пожал плечами и отъехал к своему отряду.

IV

Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха; везде только и слышно было про запорожцев. Скудельные южные города и села были совершенно стираемы с лица земли.

Арендаторы-жиды были вешаны кучами вместе с католическим духовенством. Запорожцы, как бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустые пространства. Нигде не смел остановить их отряд польских войск: они были рассеваемы при первой схватке. Ничто не могло противиться азиатской атаке их. Прелат, находившийся тогда в Радзивилловском монастыре, прислал от себя двух монахов с представлением, что между запорожцами и правительством существует согласие и что они явно нарушают свою обязанность к королю, а вместе с тем и народные права.

— Скажи епископу от лица всех запорожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ничего не боялся: это казаки еще только люльки раскуривают.

И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, солдат, жидов наводнили многолюдные города, и деревни почти пустые оставлялись на произвол неприятеля. Один только город Дубно не сдавался. Этим были раздражены все чины, в числе которых занимал не последнее место Тарас Бульба. Они положили взять его голодом. Толпы вольных наездников облегли со всех сторон его стены, расположились вместе с своими обозами, которые всегда почти за ними следовали. Жители с небольшим числом войск решились вытерпеть возможную степень бедствия и не сдаваться ни в каком случае. Запорожцы удвоили наблюдение, чтобы никакое вспомоществование не могло придти в город, играли в чет и нечет, курили люльки и с убийственным хладнокровием смотрели на городские стены. Прошло две недели, и, несмотря на то, что они свои вольные набеги гораздо более предпочитали осадам городов, однако ж ничто не могло преодолеть их терпения. Молодые, попробовавшие битв и опасностей, сгорали нетерпением, и в числе их были наши герои, Остап и Андрий, вдруг приобревшие опытность в военном деле, пылкие, исполненные отваги, желавшие новых встреч, жадные узнать новые эволюции и вариации войны и показать свое умение играть опасностями. Остап, казалось, только на то и создан был, чтобы гулять в вечном пире войны. Он теперь уже казался чем-то атлетическим, колоссальным. Его движения приобрели крепкую уверенность, и все качества его, прежде незаметные, получили

размер шире и казались качествами мощного льва. Андрий также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной, страшной прелести, как в битве.

Этот долгий роздых, который они имели под стенами города, им не нравился. Андрий сидел долго возле обоза своего, тогда как уже все спали, кроме некоторых, стоявших на стороже. Ночь, июньская прекрасная ночь с бесчисленными звездами, обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрелище: вблизи и вдали были видны зарева горевших деревень. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом месте оно, встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись вихрем, свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. В одном месте обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. В другом месте горело новое здание, потопленное в садах. Деревья шипели и покрывались дымом; иногда сквозь них просвечивалась лава огня, и гроздия груш, обвесивших ветви, принимали цвет червонного золота; даже видны были издали сливы, получившие фосфорический, лилово-огненный цвет; и среди этого иногда чернело висевшее на стене здания тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над ним вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крапинок, в виде едва заметных крестиков на огненном поле. Среди тишины одни только спутанные кони производили шум, и звонкое их ржание отдавалось с раскатами, несколько раз повторявшимися дребезжащим эхом.

Он глядел безмолвно на эту страшную и чудную картину и вдруг почувствовал как будто присутствие чего-то; ему казалось, как будто возле него кто-то стоял. Он оглянулся и в самом деле увидел стоявшую подле себя женщину. Смуглые черты лица ее и азиатская физиогномия показались ему как-то знакомыми. Он стал глядеть пристальнее: так! это была татарка! та самая татарка, которая служила горничною при дочери ковенского воеводы. Он встрепенулся. Сердце сильным ударом стукнуло в его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубине, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящим вольным бытом, —

все это всплыло разом на поверхность, потопивши в свою очередь настоящее, вся гордая сила юности зажглась вдруг самым томительным приливом беспокойства нестерпимого и страстного. Вопросы потоком излились из его груди:

— Откуда? как? где твоя панна? как ты явилась здесь? что это значит? говори, не мучь меня!

— Тише, ради Бога тише, — говорила татарка и закуталась в казацкий кобеняк, который было сбросила с себя. — Панна узнала вас между запорожцами. Она в городе.

— Милосердый Иисус! она здесь? что ты говоришь? она в городе?

Татарка кивнула утвердительно головою.

— Что ж она? говори, говори! что ж ты молчишь?

— Она другой день уже ничего не ела.

— Как!

— Ни у одного из жителей в городе нет куска хлеба. Все давно уже едят одну землю.

— Спаситель Иисус! И вы до сих пор не сделали ни одной вылазки?

— Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один только потаенный ход и есть; но на том самом месте стоят ваши обозы, и если только узнают этот ход, то город уже взят. Панна приказала мне все объявить вам, потому что вы не захотите изменить ей.

— Боже, изменить ей! И я ее увижу! О!.. когда бы мне не умереть только до того часу!

Вся грудь его была проникнута самым пронзительным острием радости. Он со всем пылом поспешности бросился из шатра своего, начал отыскивать все, что только мог найти съестного, и скоро два небольшие мешка были нагружены пшеном и сухарями. Он дал их в руки татарке, закутал ее плащом и приказал сказать панне, что он скоро будет сам; он велел татарке, отнесши припасы, ожидать его прихода. Он теперь думал только, как бы безопаснее провести ее до места, где был скрыт подземный ход. Этот ход был под самым возом, наполненным военными снарядами. К счастию его, запорожцы, по обыкновенной своей беспечности, все спали мертвецки. Тихо шел он с нею рука об руку и, желая обойти спящих, толкнул ее нечаянно локтем, кобеняк слетел, и зарево ярким блеском осветило ее белое платье.

Спаситель, она открыта! все пропало. Он со страхом и мертвою, убитою душою повел глазами вокруг: Боже, какое счастие! Даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном посте, спал, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крепче в кобеняк, полезла под телегу, небольшой четвероугольник дерну приподнялся — и она ушла в землю.

Торопливо он воротился к своему месту, желая обсмотреть, все ли спят и все ли спокойно.

— Андрий, — сказал в это время, поднявши голову, старый Бульба, — какая это к тебе татарка приходила?

Если бы кто-нибудь в то время посмотрел на Андрия, то бы почел его за мертвеца, вставшего из могилы.

— Эй, смотри, сын, ей-Богу, отделаю тебя батогом так, что до представления света будет болеть спина. Бабы не доведут тебя к добру.

Сказавши это, Бульба или был утружден заботами, или занят каким-нибудь важным планом, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была из города, а признав ее за какую-нибудь беглянку из села, с которою сын его свел интригу; как бы то ни было, только он поворотился на другую сторону и заснул.

Андрий отдохнул.

С трепещущим сердцем бросился он к обозам, обшарил, где только было съестное, нагрузил мешки и неизмеримые шаровары свои, и во все продолжение этого сердце его млело, дух занимался и, казалось, улетал при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще раз обсмотрелся он вокруг, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира, и пополз под телегу. Небольшое отверстие вдруг открылось перед ним и снова за ним захлопнулось. Он вдруг очутился в совершенной темноте. Он чувствовал под ногами своими ступени, идущие вниз, кто-то схватил его за руку. Они шли долго; наконец ступени прекратились, под ним была гладкая земля. Свет фонаря блеснул в подземном мраке.

— Теперь идите прямо, — говорил ему голос: это была татарка.

Коридор шел под городской стеною и оканчивался такою же лестницею вверх. Наконец он очутился среди города, когда уже занялась заря и перепархивал утренний ветер. Ни одна труба не дымилась. Мертвый вид города прерывался слабыми,

болезненными стонами, которые не могли не поразить его. На страже стояли часовые, бледные как смерть: это были больше привидения, нежели люди. Среди самой дороги попался им самый ужасный, поразительный предмет: это была женщина, страшная жертва голода, лежавшая при последнем издыхании, стиснувшая зубами иссохшую свою руку. Содрогнувшись, спешил он вслед за татаркою; он летел всеми чувствами видеть ту, за счастие которой он готов был отдать всю жизнь. Он взбежал на крыльцо; он взошел в комнату. Везде была тишина: все или спало, утомленное страданием, или безмолвно мучилось. Он вступил на порог спальни. О, как замерло его сердце! как замлел он весь, когда оно ему сказало, что через секунду, чрез молнию мига он ее увидит.

И он ее увидел, увидел ту, которая когда-то была беззаботна, весела, ветрена, шаловлива, которая когда-то надевала на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, как крылья мотыльков, убранствами. Он опять увидел ее. Она сидела на диване, подвернувши под себя обворожительную, стройную ножку. Она была томна; она была бледна, но белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда серафима. Гебеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее. Ресницы ее, длинные, как мечтания, были опущены и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице. — Что это было за создание! И это создание, которое, казалось, для чуда было рождено среди мира, к ногам которого повергнуть весь мир, все сокровища казалось малою жертвою, — это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли. Заплесневелая корка хлеба, лежавшая на золотом блюде как драгоценность, показывала, что еще недавно здесь было чувствуемо все свирепство голода. Услышавши шум, она приподняла свою голову и обратила к нему взгляд долгий, сокрушительный. Он опять, казалось, исчезнул и потерялся. Лицо ее с первого раза ему показалось как будто другим; в нем были прежние черты, но в нем же заключалась бездна новых, прекрасных, как небеса. Этот признак безмолвного страдания, этот болезненный вид... О, как она была лучше прежнего! Он бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ее устах, и в то же время слеза, как бриллиант, повисла на реснице.

— Царица! — сказал он, — что для тебя сделать? чего ты хочешь?

Она смотрела на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. С пожирающим пламенем страсти покрыл он ее поцелуями.

— Нет. Я не пойду от тебя. Я умру возле тебя. Пусть же у ног твоих, пожираемый голодом, я умру, как и ты, моя панна! и за смерть, за сладкую смерть у твоих ног, ничего не хочу!

— А твои товарищи, а твой отец, — ты должен идти к ним, — говорила она тихо. Уста ее еще долго шевелились без слов, и глаза ее, полные слез, не сводились с него.

— Что ты говоришь! — произнес Андрий со всею силою и крепостью воли. — Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко бросить. Нет, моя панна, нет, моя прекрасная. Я не так люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на земле, — все отдаю за тебя, все прощай! я теперь ваш! я твой! чего еще хочешь.

Она склонилась к нему головою. Он почувствовал, как электрически-пламенная щека ее коснулась его щеки, и лобзание, у! какое лобзание! слило уста их, прикипевшие друг к другу.

V

— Пане! — сказал жид Янкель, высунув свой яломок в шатер, где сидел Бульба.

Это был тот самый Янкель, которого он избавил от смерти и который теперь маркитантствовал и шпионничал при запорожском войске. — Пане, знаете ли, что делается?

— А что?

— Идет пятнадцать тысяч войска польского, и пушки везут.

— Били двадцатерых, побьем и пятнадцать! — отвечал Бульба.

— А знаете ли, еще что делается?

— А что?

— Ваш сын Андрий, ой вей мир, что это за славный рыцарь!..

— Ну?

— Он теперь держит сторону Польши.

— Как? — подхватил Бульба, вскочивши, — чтобы дитя мое... чтобы мой сын... да я тебя убью, проклятый жид! врешь ты, чертово племя!

— Ай, ай! как можно, чтобы я врал! Пусть отцу моему не будет счастья на том свете, если я вру.

— Как! чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на такое дело?

— Далибуг, ей же Богу, так.

— Чтобы он продал Христову веру и отчизну?

— Далибуг, так. Я его видел сам собственными глазами. Фай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесят червонных стоят одни латы, богатые латы: все в золоте, а если бы вы увидели, как он славно муштрует солдатами.

Тарас Бульба был поражен, как будто громом.

— Ты путаешь, проклятой Иуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало веру. Если бы он был турок или нечистый жид... Нет, не может он так сделать! Ей-Богу, не может!

Но, однако же, он вспомнил, что уже два дни, как его не видал, он вспомнил про татарку, появлявшуюся в его ставке, — и глаза его сверкнули. Ярость, ярость железная, могучая, ярость тигра вспыхнула на его лице. «Вишь, чертова детина, ты-таки свое взяла! Породил же тебя черт на позор всему роду!» С лицом, разгоревшимся от гнева, он вышел из ставки и дал приказ седлать коней. Между тем кошевой раздавал повеления от себя быть всем в готовности и не позволять никаким образом осажденным соединиться с приближавшимися польскими войсками. Неприятельских войск было, однако же, более нежели пятнадцать тысяч. Кошевой вместе с советом старшин решили на том, чтобы усилить более ту линию, которая обращена к неприятелю. Через это цепь с противуположной стороны города ослабела. И хотя польские войска были отбиты с первого раза, и притом с большим уроном, но отряд, остававшийся в городе, решился воспользоваться малочисленностью прикрытия и действительно, сделавши вылазку, прорвался через цепь и успел соединиться почти в виду запорожцев. Бульба рвал на себе волоса с досады, что уже невозможно было уморить их всех голодом. Запорожцы сдвинулись в густую непроломную стену — маневр, всегда доставлявший

им существенную выгоду, потому что тактика их соединяла азиатскую стремительность с европейскою крепостию. Неприятель, несмотря на то, что был вдвое сильнее, не был в силах удержать превосходства. Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарас Бульба занимал одно из главных начальств, и три коронные полка, не в состоянии будучи удержать его стремительной атаки, готовы были отступить и предаться бегству, как вдруг он обратил все силы свои совершенно в другую сторону.

Он завидел в стороне отряд, стоявший, по-видимому, в засаде. Он узнал среди его сына своего Андрия. Он отдал кое-какие наставления Остапу, как продолжать дело, а сам с небольшим числом бросился, как бешеный, на этот отряд. Андрий узнал его издали, и видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском. Силы Тараса были немногочисленны: с ним было только восемнадцать человек, но он ринулся с таким свирепством, с таким сверхъестественным стремлением, что ряды уступали со страхом перед этим разгневанным вепрем. Вряд ли тогда его можно было с чем-нибудь сравнить: шапки давно не было на его голове; волосы его развевались, как пламя, и чуб, как змея, раскидывался по воздуху; бешеной конь его грыз и кусал коней неприятельских; дорогой актамет был на нем разорван; он уже бросил и саблю и ружье и размахивал только одной ужасной, непомерной тяжести, булавой, усеянной медными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свирепство, чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавшего свою душу не совсем чистою. Бледный, — он видел, как гибли и рассеивались его поляки, он видел, как последние, окружавшие его уже готовы были бежать, он видел, как уже некоторые, поворотивши коней своих, бросали ружья. «Спасите! — кричал он, отчаянно простирая руки. — Куда бежите вы? глядите: он один!» Опомнившиеся воины на минуту остановились и в самом деле ободрились, увидевши, что их гонит только один с тремя утомленными казаками. Но напрасно силились бы они устоять против такой отчаянной воли. «Нет, ты не уйдешь от меня!» — кричал Тарас, поражая бегущих, начинавших думать, что они имеют дело с самим дьяволом. Отчаянный Андрий сделал усилие бежать, но поздно: ужасный отец уже был перед ним.

Безнадежно он остановился на одном месте. Тарас оглянулся: уже никого не было позади его, все сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их только было двое.

— Что, сынку? — сказал Бульба, глянувши ему в очи.

Андрий был безответен.

— Что, сынку? — повторил Тарас. — Помогли тебе твои ляхи?

Андрий не произнес ни слова; он стоял, как осужденный.

— Так продать, продать веру? Проклят тот и час, в который ты родился на свет!

Сказавши это, он глянул с каким-то исступленно-сверкающим взглядом по сторонам.

— Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое? Нет! Я тебя породил, я тебя и убью. Стой и не шевелись, и не проси у Господа Бога отпущения, за такое дело не прощают на том свете.

Андрий, бледный как полотно, прошептал губами одно только имя, но это не было имя родины, или отца, или матери: это было имя прекрасной полячки.

Тарас отступил на несколько шагов, снял с плеча ружье, прицелился... выстрел грянул...

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почувствовавший смертельное железо, повис он головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и думал: предать ли тело изменника на расхищение и поругание, чтобы хищные птицы растрепали его и сыромахи-волки расшарпали и разнесли его желтые кости, или честно погребсти в земле?

В это время подъехал Остап.

— Батько! — сказал он.

Тарас не слышал.

— Батько, это ты убил его?

— Я, сынку!

Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. Он бросился обнимать своего товарища и спутника, с которым двадцать лет росли вместе, жили пополам.

— Полно, сынку, довольно! Понесем мертвое тело, похороним! — сказал Тарас, который в то время сжал в груди своей подступавшее едкое чувство.

Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый лес, стоявший в тылу запорожских войск, и вырыли саблями и копьями яму.

Тарас оставил копье и взглянул на труп сына. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, еще сохраняло в себе следы их; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не казак был? — сказал Тарас. — И станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою — пропал! пропал без славы!..

Труп опустили, засыпали землею, и чрез минуту уже Тарас размахивал саблею в рядах неприятельских как ни в чем не бывало. Разница в том только, что он бился с большим исступлением, сгорая желанием отмстить смерть сына. Прибывший в то время его собственный полк, под начальством Товкача, доставил ему значительный перевес. Он наконец узнал, кто был виною отступничества его сына, и положил во что бы ни стало взять город. И он бы исполнил это. Свирепый, он бы протек, как смерть, по его улицам. Он бы вытащил ее своею железною рукою, ее, обворожительную, нежную, блистающую; свирепо повлек бы ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ее голубиного горла... Но одно непредвиденное происшествие остановило его на пути непримиримой мести.

VI

В запорожское войско пришло известие, что Сечь взята, разорена татарами и большая часть остававшихся запорожцев забрана в плен вместе с несколькими пушками. В подобных случаях обыкновенно казаки старались, не теряя времени, настигнуть хищников на возвратной их дороге и перехватить добычу, потому что тремя неделями позже уже этого сделать было невозможно и пленные казаки могли вдруг очутиться на рынках Великой Азии. Кошевой положил, и мнение его подкрепили прочие чины, идти на помощь немедленно, рассуждая, что уже довольно они отомстили за измену поляков и смерть гетманов и что опустошенные поля будут помнить, как гостили на них запорожцы. На это изъявил согласие и Бульба, хотя ему чрезвычайно хотелось

взять город. Уже он отправился, чтобы отдать приказ вьючить коней и мазать телеги, как вдруг остановился и сказал:

— Я хотел спросить еще об одном у тебя, атаман! Ведь, кажется, в неприятельском войске есть наших человек тридцать в плену?

— Я посылал просить размена — не соглашаются.

— Так мы, стало быть, их и оставим так?

— Что ж делать.

— Как! чтобы они опять замучили их?

— А что же делать! — отвечал кошевой. — Ведь помочь нельзя; хоть и останемся, то не одолеем, а между тем и свое прогуляем: татарва не станет ожидать нас.

— Так, стало быть, пусть еретичное поганство как хочет, так и ругается над христианскою верою?

Кошевой пожал плечами.

— А мне кажется, атаман, так не бывать этому.

— А отчего ж бы не бывать?

— Да так; я уже знаю.

— Ова! как важно! — сказал кошевой, прижавши пальцем золу в своей люльке.

— Слышали ли вы, панове, что кошевой хочет сделать? — сказал Бульба, выходя от кошевого и обращаясь к запорожцам. — Он хочет, чтобы мы теперь же отправились на Сечу, а товарищей, тех, что попались в плен неприятелю, так бы и оставили, чтобы их замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?

— Не послушаем мы кошевого! — сказала в один голос часть запорожцев, отделилась и стала на стороне. Их было около тысячи человек.

Кошевой вышел. Он уже слышал волнение, которое произвел неугомонный Бульба.

— Чего вы хотите? Из чего подняли вы такой гвалт! — закричал он грозно.

— Мы не хотим идти на Сечу. Мы остаемся здесь! — кричала толпа.

— Что вы? сдурели? Я вас, чертовы дети, перевяжу всех!

— Какую он может иметь власть? — сказал Тарас, обращаясь к запорожцам. — Мы вольные казаки!

— А что ж? мы вольные казаки! — говорили запорожцы.

— Дам я вам вольных! Вы где вольные? на Сече. Вот там вы вольные! Там вы можете снять с меня достоинство, связать меня и убить, и все, что хотите; а тут вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право? — А ты что тут заводишь бунт? — сказал он, обращаясь к Бульбе.

— Нет, я не бунт чиню, а исполняю долг христианской! — хладнокровно отвечал Тарас. — Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христианскую кровь.

— Я тебя, старый черт, присмыкну к обозу.

— А ну, попробуй!

— Слушайте, пане-браты! — сказал кошевой, несколько смягчивши речь. — За что же вы оставляете тех своих товарищей, которых на Сече забрала татарва в полон? Или вы думаете, что татары поступят лучше, чем ляхи?

— То татарва, а то ляхи: другое дело, — отвечал Бульба. — Еще у бусурмена есть совесть и страх Божий, а у католичества и не было и не будет. Постойте, хлопцы, и я скажу. Что, если бы вы попалися в плен да начали бы с вас живых драть кожу или жарить на сковродах? Что бы вы тогда сказали? А из ваших земляков, из товарищей, из тех, что должны до последней крови защищать, из тех товарищей ни один бы не захотел подать руку помощи, что бы вы тогда сказали?

— А что бы сказали? — произнесли некоторые, — сказали бы: вы помои, а не запорожцы! — Заметно было, что слова Тараса сильно потрясли их.

— Стойте, хлопьята! и я скажу! — кричал атаман. — Ну, скажите, панове-браты, куда ваш ум делся? Посудите сами, где вам управиться с такими неприятелями? Их больше десяти тысяч, а вас, может быть, две. Ведь пропадете все на месте!

— Пропадать так пропадать! — сказал Бульба.

— Оставайтеся же тут, если уже так захотели своей погибели! А те, которые разумнее вас, гайда в дорогу!

— Вы делайте свое, а мы будем делать свое! — сказал Бульба.

Обе стороны неподвижно стали одна против другой и минуту сохраняли мертвое молчание.

Наконец стоявшие в первых рядах поседевшие запорожцы, утупив глаза в землю, начали говорить:

— Оно, конечно, если рассудить по справедливости, то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаем по лыцарскому обычаю. На то и живет человек, чтобы защищать веру и обычай. Притом жизнь такое дело, что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих. Нужно же попробовать, что такое смерть. Ведь пробовали всякие невзгоды в жизни. В том и другом случае мы не должны питать друг против друга никакой неприязни. Мы все запорожцы, все из одного гнезда, всех нас вспоила Сечь, все мы братья родные... Спрашиваем каждого, не имеет ли против нас какого неудовольствия?

— Никакого! всегда были довольны! — закричали все в один голос.

— Ну, так пусть же на расставаньи, что будет впредь, то Бог один знает, может быть, ни один из нас уже не увидит дружка дружку; так поцелуемся все.

И две тысячи войска перецеловались с двумя тысячами. Кошевой обнял Тараса.

— Ну, прощайте же, паны-браты, молодцы! Дай же, Боже, чтобы все было так, как Богу угодно! Если мы положим головы, то вы расскажете про нас, что такие-то гуляки недаром жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы поведаем, чтобы знала вся Украйна, да и другие земли, что были такие молодцы, которые и веру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте! пусть благословение Божие будет и с вами и с нами!

Обе половины войска соединились вместе, чтобы не дать узнать неприятелю о своем разделении, и отступили к обгорелому монастырю, у подошвы которого был глубокий яр. Удалявшаяся половина с кошевым атаманом опустилась по скату горы и яром, невидимая неприятелем, пробиралась в тишине и молчании. Стоявший на высоте отряд польского войска не мог не заметить некоторого движения в войсках запорожских и уже решился было в тот же час сделать нападение, но французский артиллерист и инженер, служивший в польских войсках, большой знаток военного дела, остановил их, сказавши:

— Нет, нет, господа! это не то, что вы думаете: это больше ничего, как самая дьявольская засада. О, этот народ, запороги, —

сказал он, положивши палец на свой ястребиный нос, причем голос его, дотоле хриплый, пискнул дискантом, — этот народ, запороги, хитер, как сам черт или как капитан-дьявол!

— Ну, панове молодцы! — сказал Бульба по удалении войска, — теперь пришла нам пора показать честь запорожскую. Глядите же: если придется до того, что уже не можно будет стоять против бусурменов, то, панове, чтобы все полегли на месте, чтобы ни один не остался вживе, чтобы все, как добрые товарищи, покотом улеглись в одной могиле. Теперь, перед великим часом, выпьем, паны-браты, горелки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой должен веселиться всякой человек.

Пятьдесят казаков отправились к обозам и вынули баклажки, готовясь отправлять должность виночерпиев. Две тысячи казаков подставили свои рукавицы.

— Прежде всего, пане-браты, — сказал Бульба, поднявши вверх свою рукавицу, — долг велит выпить за веру Христову! Чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась она и все бусурмены поделались бы наконец христианами. Да за одним уже разом и за Сечь, чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один другого лучше, один другого лучше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, что не постыдили товарищества и не выдали своих. Итак, панове-браты, чтобы как эта горелка играет и шибает пузырями, так бы и мы шли на смерть. Ну-те, разом за веру!..

— За веру! — повторили ближние ряды, подняв вверх рукавицы.

— За веру! — подхватили дальние.

— За Сечь! — сказал Бульба, подняв снова рукавицу.

— За Сечь! — грянули ближние.

— За Сечь! — отозвалось в дальних.

— За славу и за всех христиан, какие живут на Божьем свете!

— За славу и христиан! — повторили ближние.

— За славу и христиан! — повторили дальние.

— Теперь на коней, хлопьята!

Все очутились на конях и выехали вместе стройною кучею. Все дышали силою, свыше естественной. Это не был дикий энтузиазм, порожденный отчаянием: это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновение веселости, какой-то трепет величия ощущался в сердцах этой гулливой и храброй толпы. Их черные и седые усы величаво опускались вниз: их лица были исполнены уверенности. Каждое движение их было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на неприятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но как будто веселясь и играя своим положением. Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку. Без всякого теоретического понятия о регулярности, они шли с изумительною регулярностию, как будто бы происходившею оттого, что сердца их и страсти били в один такт единством всеобщей мысли. Ни один не отделялся; нигде не разрывалась эта масса. Польские войска, которые было приняли их стремительным упорством, начали отступать, пораженные робостию и думая, не сверхъестественная ли какая сила начала помогать казакам. Лучшие распоряжения армии были совершенно уничтожены этою разрушительною силою. Вся эта конная толпа неслась как-то вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее. Французский инженер, который был истинный в душе артист, бросил фитиль, которым готовился зажигать пушки, и, позабывшись, бил в ладони, крича громко: «Браво, месье запороги!»

Около двух тысяч человек неприятеля было убито и столько же рассыпалось и обратилось в бегство. Свежее новоприбывшее войско остановилось как бы в недоумении. Запорожцы, с своей стороны, не решались идти далее. В виду самого неприятеля взяли они оставленные пушки, часть обоза с провиантом и отступили так же страшно, в таком же точно порядке к обгоревшему монастырю, которого положение чрезвычайно благоприятствовало укрытию. Бульба пировал вместе с запорожцами после такой славной битвы; но, когда обсмотрел и перечел ряды свои, их оставалось всего только не больше тысячи. Между тем новые войска приходили беспрестанно на помощь, и если что спасло его от неприятельского нападения, так это глубокая догадка французского инженера, заставлявшего опасаться скрытого множества запорожцев.

Между тем Бульба узнал, что запорожские пленники отправлены с конвоем по Варшавской дороге. В голове его тотчас родилась мысль перехватить их. Объявивши об этом войску, он начал тайно готовиться к отступлению. Целый день казаки мазали дегтем свои телеги, чтобы не скрипели; большую половину пушек закопали в землю, чтобы они не могли достаться неприятелю, и продолжали беспрестанную перестрелку. Часть запорожцев скинула с себя верхнюю одежду: из нее поделали чучел и расставили на стенах монастырских, везде, где была стража. За монастырем они нашли дорогу, о которой, по всем вероятностям, ничего не знали неприятели. Она продиралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленным лесом и пеплом. Пользуясь глубоким мраком ночи, они тронулись, потянулись гужом со всем обозом, продирались около пяти верст и наконец пробрались на чистое поле, где совершенно уже не было видно неприятеля. Запорожцы приударили коней и понеслись. Еще полчаса времени — и они бы, верно, встретили своих закованных земляков. Они бы имели еще достаточное время броситься на проселочную дорогу, и благодаря быстроте татарских коней, может быть, Сечь увидела бы вновь своих славных защитников. Но, как нарочно, польские войска вздумали сделать нападение на монастырь. Дальновидный инженер искусно зажег лес, к нему примыкавший, уверяя, что все будут иметь славное жаркое из казачьей дичи. Но глубокая тишина изумила их. Изумление еще более увеличилось, когда они увидели вместо замеченных ими издали запорожцев одни чучела. По всем признакам они видели, что запорожцев было небольшое число. Это увеличило их досаду, и начальствовавший войсками, человек запальчивый, в ту же минуту отдал приказ устремиться на преследование. Если бы Бульба не выбрался так громоздко, то он мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, может быть, ускользнуть от преследования. Но он пожалел оставить несколько пушек, а чрез несколько минут увидел подымавшуюся пыль от многочисленного, с двух сторон шедшего войска. «Вишь, черт побери! ляхи пронюхали», — сказал он, выпустив изо рта люльку, которую уже начал было курить с величайшим спокойствием.

Видя невозможность дальнейшего отступления от такого множества, он, с обыкновенным своим хладнокровием, дал

повеление сдвинуть обоз в кучу и окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался совершенством казацкой тактики и возбуждал всегда удивление даже в самых глубоких теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут казаки никогда не были побеждаемы: окружая обоз непроломною стеною, они со всех сторон были обращены лицом к неприятелю. Пушки доставили им большую выгоду, не допуская их к близкой схваткѣ и не утомляя чрез это их рядов, тем более, что неприятель, желая скорее настигнуть, отправился налегке. Войска польские, всегда отличавшиеся нетерпеливостию, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцев не облегчила их. В это время Остап, выстрелявший на своей стороне все пушечные заряды, увлекаемый пылкостию и негодуя на бездейственное положение, отделился немного подалее от обоза, вступил в мелкую перестрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но скоро он был схвачен стиснувшим его множеством, и старый Тарас видел собственными глазами, как он поднят несколькими руками, связан толстыми веревками и уведен в толпу. Желание подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Он отделился вместе с большею частию запорожцев от обоза и ударил в средину неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каждый должен был действовать отдельно, и нужно было видеть, как каждый из них ворочался, как молния, на все стороны, действуя и саблей, и ружейным прикладом, и нагайкою, и кием. Каждый видел перед собою смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе. Свирепо наносил он свои крепкие удары, воспламеняясь более и более от сыпавшихся на него. Он сопровождал все это диким и страшным криком, и голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили звонкие поля. Наконец сабельные удары посыпались на него кучею; он грянулся, лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытого прахом. Ни один из запорожцев не остался в живых: все полегли на месте. И ни один живой трофей не был свидетелем победы, одержанной польскими войсками.

VII

— Долго же я спал! — говорил Бульба, осматривая углы избенки, в которой он лежал, весь израненный и избитый. — Спал ли я это, или наяву видел?

— Да чуть было ты навеки не заснул! — отвечал сидевший возле него Товкач, лицо которого одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось в обыкновенное свое хладнокровие.

— Добрая была сеча! Как же это я спасся? Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами, и что было далее, я уже ничего не помню...

— Об том нечего толковать, как спасся; хорошо, что спасся.

Товкач был один из тех людей, которые делают дела молча и никогда не говорят о них.

На бледном и перевязанном лице Бульбы видно было усилие припомнить обстоятельства.

— А что же сын мой?.. что Остап? И он лег также вместе с другими и заслужил честную могилу?

Товкач молчал.

— Что ж ты не говоришь? Постой! помню, помню: я видел, как скрутили назад ему руки и взяли в плен нечестивые католики, — и я не высвободил тебя, сын мой! Остап мой! изменила наконец сила! — Морщины сжались на лбу его, и раздумье крепко осенило лицо, покрытое рубцами.

— Молчи, пан Тарас. Чему быть, тому быть. Молчи да крепись; еще нам больше ста верст нужно проехать.

— Зачем?

— Затем, что тебя теперь ищет всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут 2000 червонцев?

Но Тарас не слышал речей Товкача.

— Сын мой, Остап мой! — говорил он, — я не высвободил тебя!

И прилив тоски повергнул его в беспамятство. Товкач оставался целый день в избе; но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в воловую кожу, уложил в ящик

наподобие койки, укрепил поперек седла и пустился во всю прыть на татарском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые места видели его, летевшего с тяжелою своею ношею. Товкач боялся встреч и преследований, и хотя уже он был на степи, которой хозяевами более других могли считаться запорожцы, но тогдашние границы были так неопределенны, что каждый мог прогуляться на нехранимой земле, как на своей собственности. Он не хотел везти Тараса в его хутор, почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожьи, куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами, пирушки и новые битвы оживят его скорее и развлекут его. Он действительно не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то, что ему было шестьдесят лет; через две недели он уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. По-видимому, самые пиршества запорожцев казались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то время, которому еще и двух месяцев не прошло, то время, когда он гулял с своими сыновьями, еще крепкими, свежими, исполненными сил, — и на этом дотоле ничем не колеблемом лице прорывалась раздирающая горесть, и он тихо, понурив голову, говорил: «Сын мой, Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свои свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах; но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Неподвижный, сидел он на берегу, шевеля губами и произнося:

«Остап мой, Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.

Когда жид Янкель, который в то время очутился в городе Умане и занимался какими-то подрядами и сношениями с тамошними арендаторами, когда жид Янкель молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились в глаза 2000 червонных, которые были обещаны за его голову; но он тут же устыдился своей корысти и силился подавить в себе эту вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. — Я спас твою жизнь, теперь ты сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать.

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву.

— В Варшаву? как в Варшаву? — сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Как можно такое говорить? — говорил жид, расставив пальцы обеих рук своих. — Разве пан не слышал, что уже…

— Знаю, знаю все: за мою голову дают 2000 червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе двенадцать дам. Вот тебе 2000 сейчас! — при этом Бульба высыпал из кожаного гамана 2000 червонных, — а остальные, как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Славная монета! — сказал он, вертя один из них в своих пальцах и пробуя на зубах.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи. Ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для

чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сей час запрягай воз и вези меня!

— А как же, вы думаете, мне спрятать пана?

— Да уж вы, жиды, знаете как: в порожнюю бочку или там во что-нибудь другое.

— Как можно в бочку? Всяк подумает, что горелка!

— Ну, что ж? То и хорошо.

— Как хорошо? Ах, Боже мой! как можно эдакое говорить! Разве пан не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякой пробовал. Там все такие ласуны, что Боже упаси. А особливо военный народ: будет бежать верст пять за бочкою, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку, верно, тут есть что-нибудь».

— Ну, так положи меня в воз с рыбою.

— Ох вей мир! не можно, ей-Богу, не можно! Там везде по дороге люди голодные, как собаки, раскрадут, как ни береги, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте, — только вези!

— Стойте, стойте! теперь возят по дорогам много кирпичу. Там строят какие-то крепости. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, что будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези.

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под яломка, по мере того как он подпрыгивал на лошади.

VIII

В то время когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякой мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная

рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота.

Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц, и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную, узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы со множеством протянутых из окон жердей увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекотуренной кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякой, что было только у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел вместе с тремя жидами в комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то,

казалось, сильно потрясло его. На грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды, той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жиды! — сказал он, и в словах его было что-то восторженное. — Вы все на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского, и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных, — я прибавляю еще двенадцать. Все какие у меня есть дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам!

— О, не можно, любезный пан! не можно! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других. — Может быть, Бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «Мардохай» и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель, — нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У, у! то такой мудрый, как Соломон, и когда он ничего не сделает, то уже никто на свете не сделает. Сиди тут! вот ключ! и не впускай никого!

Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы. Наконец в конце ее, из-за одного дрянного дома, показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А! Мардохай! Мардохай!» — закричали все жиды

в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказывать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на стороже, должен был давать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, — но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал:

— Когда мы да Бог захочет сделать, то уже будет так, как нужно.

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище. Толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий, как дуб: он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже ввечеру поздно, показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою.

— О любезный пан! — сказал Янкель, — теперь совсем не можно! ей-Богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет; Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете, но Бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья, ой вей мир, что это за корыстный народ! и между нами таких нет. 50 червонцев я дал каждому, а левентару...

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду!

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку, — и никто бы из самых близких к нему казаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы, слышите, паны, это мы.

— Ступайте! — говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

— Кто идет? — закричало несколько голосов, и Тарас увидел порядочное количество воинов в полном вооружении. — Нам никого не велено пускать.

— Это мы! — кричал Янкель, — ей-Богу, мы, ясные паны!

Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время подошел какой-то толстяк, который, по всем приметам, казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы. Вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу...

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы, это я, это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно, только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой, — отвечал часовой.

— Ай, ай, — произнес тихо жид, — это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас.

Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему.

— Ваша ясновельможность! ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан.

— Гм... а я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

— А я, ей-Богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай... — при этом жид покрутил головою и расставил пальцы. — Ай, какой важный вид! Ей-Богу, полковник, совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник. Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

— Что за народ военный! — продолжал жид, — ох вей мир, что за народ хороший! Шнуречки, бляшечки... так от них блестит, как от солнца; а цурки, где только увидят военных... ай, ай!

Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид. — Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на казаков. Он еще сроду не видел, что это за народ казаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украйну они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможность, — говорил он, — зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба, — сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретичную веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук, — а я знаю, приятель, кто ты: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность; но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастию, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был казак? А если бы он был казак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский?

— Рассказывай себе! — и гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите! Молчите, ради Бога! — закричал Янкель. — Молчите! мы уж вам за это заплотим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! два червонца! Два червонца мне нипочем. Я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид! — Тут гайдук закрутил верхние усы. — А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много? — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой. Но он счастлив был,

что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать. — Пан! пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ! — сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук, — сказал Бульба, — деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите ноги, говорю я вам, скорее!

— Пан! пан! пойдем, ей-Богу, пойдем! Цурь им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно, — кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох вей мир, какое счастие посылает Бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О Боже мой! Боже милосердый!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу. Она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

— Пойдем! — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись, — пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!» — кричали из них многие с истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однако же простаивали иногда довольное время.

Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся, — говорил он, — весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, — то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перилы. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлою ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич,

высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощию длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он, с своей стороны, рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! ведут! казаки!»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены; они шли ни боязливо, ни угрюмо, но с какою-то тихою горделивостию; их платья, из дорогого сукна, износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел в него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, Боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и... я не стану смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою до такой степени, что сделался глух для человеколюбия. Должно, однако ж, сказать, что король всегда почти являлся первым противником этих ужасных мер. Он очень хорошо видел, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение казачьей нации. Но король не мог сделать ничего против дерзкой воли государственных магнатов, которые непостижимою недальновидностью, детским самолюбием, гордостью и неосновательностью превратили сейм в сатиру на правления.

Остап выносил терзания, как исполин, с невообразимою твердостью, и когда начали перебивать ему на руках и ногах кости, так что ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его. Лицо его не дрогнулось. Тарас стоял в толпе с потупленною головою и с поднятыми, однако же, глазами и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Наконец сила его, казалось, начала подаваться. Когда он увидел новые адские орудия казни, которыми готовились вытягивать из него жилы, губы его начали шевелиться.

— Батько! — произнес он все еще твердым голосом, показывавшим желание пересилить муки, — батько! где ты? слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.

Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел, как смерть, и когда они немного отдалились от него, он со страхом оборотился назад, но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.

IX

След Тарасов отыскался. Тридцать тысяч казацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной цели: это было дело общее. Это целая нация, которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленные права свои, за униженную религию свою и обычай, за вероломные убийства гетманов своих и полковников, за насилие жидовских арендаторов и за все, в чем считал себя оскорбленным угнетенный народ. Верховным начальником войска был гетман Остраница, еще молодой, кипевший желанием скорее сбросить утеснительный деспотизм, наложенный самоуправием государственных магнатов, и очистить Украйну от жидовства, унии и постороннего сброда. Возле него был виден престарелый и опытный товарищ и советник его, Гуня. Сорок тысяч лошадей нетерпеливо ржали под седоками и без седоков. Восемь полков, из которых половина конных

и половина пеших, в суконных алых, синих и желтых кафтанах, выступали браво и горделиво. Восемь опытных полковников правили ими и хладнокровным движением бровей своих ускоряли или останавливали нетерпеливый поход их. Одним из них начальствовал Бульба. Преклонные лета, слава и опытность давали ему значительный перевес в совете; но неумолимая и свирепая жестокость его казалась ужасною даже для глубоко оскорбленных защитников. Его совет дышал только одним истреблением, и седая голова его определяла только огонь и виселицу.

Не буду описывать тех битв, где отличились казаки, ни постепенного хода всей великой кампании: это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы, как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные казацкие полки и как приведенный в крайность польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ; но казаки, наученные прежним вероломством, были неумолимы, и Потоцкий не красовался бы более на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Торжественная процессия с образами и крестами и мольбы священника-старца тронули казаков, еще чувствовавших узы, привязывавшие их к королю. Гетман и полковники решились отпустить Потоцкого, не прежде, как заключивши трактат, обеспечивший бы во всем казаков. Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок волос, когда увидел такое, по словам его, бабье малодушие полковников.

— Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дело! — вскричал он твердо. Но на этот раз совет его был отвергнут. — Эй, не верьте, паны, ляхам! — повторил он опять тем же голосом, помахивая нагайкою и хлестнувши ею по пушке. Когда же полковой писарь подал уже написанное условие подписать гетману, он махнул рукою и сказал: — Оставайтесь же себе, паны!

Меня вы больше не увидите. Глядите, паны: вы вспомните меня! — и голос его имел в себе что-то пророческое. — Вы думаете, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать, — увидите, что не будет сего! Сдерут с твоей головы, гетман, кожу! набьют ее гречаною половою, и долго будут видеть ее по ярмаркам! Да и у вас, паны, у редкого уцелеет голова! Пропадете вы в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если не сварят вас живых в котлах, как баранов!

— А вы, хлопцы, хотите умирать? — продолжал он, обращаясь к своему полку, — умирать так, как умирают честные казаки? А может быть, вы думаете еще пожить, да залечь дома на печь, да и лежать там, покамест не приберет враг? Что ж лучше, спрашиваю я вас, молодцы? воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила вас жинка, и, напившись, пропасть где-нибудь под тыном, как собака; или всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки?

— За тобою, пане полковнику! за тобою все! — отвечали передние в полку, — веди! ей-Богу, веди!

— Добре, паны молодцы! — сказал Тарас, взявши свою шапку в руки и потом опять надевши ее на голову. Глаза его сверкнули. — Вырежем все католичество, чтобы его и духу не было! Пусть пропадут нечестивые! Гайда, хлопцы!

Сказавши это, исступленный седой фанатик отправился с полком своим в путь. Другие казаки с завистью глядели на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновение к полковникам, бывшее всегдашнею их добродетелию, препятствовало многим охотникам к ним присоединиться.

Гетман и полковники не остановили удалявшегося полка. Казалось, предсказание Тараса несколько смутило их, по крайней мере они сидели несколько времени молча и не глядя друг на друга. Скоро, однако же, пророческие слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым, голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками.

Но обратимся к нашей истории. Что ж делал Тарас с своим полком? А Тарас выжег восемнадцать местечек, около сорока костелов и уже доходил до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск посылаемы были схватить его: он всегда почти разминался

с ними. Он поступал неожиданно, скрывая свои намерения, и когда одно селение или небольшой городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто похожее на жалость не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, из которых иные были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у олтарей: Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, а свирепые казаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя, — он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — и такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении. Наконец польское правительство увидело, что поступки Тараса были несколько более, нежели обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Тарас понял опасность и поворотил назад. Проселочными дорогами, ночью, скакал он с своими казаками во всю мочь, и одни только татарские кони, которых он имел обычай держать целый табун при своем войске, могли вынести необыкновенную быстроту его бегства. Но на этот раз Потоцкий был достоин возложенного на него поручения: он преследовал его с удивительною неутомимостью и наконец настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для небольшого роздыха оставленную полуразвалившуюся крепость.

Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке такою страшною, почти наклоненною стремниною, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться в волны. Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр. Здесь-то облег его Потоцкий своими войсками с трех сторон, обращенных к полю и к оврагам неровных берегов. Тарас с помощью своей храбрости и упрямой воли мог сделать тщетными все усилия осаждающих; но он не имел в опустелой крепости никаких средств для прокормления, а казаки менее всего

могли сносить голод, особливо когда видели, что он должен наконец окончиться медленною смертью. С рекою невозможно было иметь сообщения: одна только половина узкой дорожки висела вверху, остальная упала в волны с недавно отколовшеюся глыбою скалы, и вместо нее осталась стремнина. Тарас решился оставить крепость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды неприятелей и по берегу достигнуть такого места, с которого бы можно было кинуться на лошадях и пуститься с ними вплавь. Он стремительно вышел из крепости, и уже казаки пробрались сквозь неприятельские ряды, как вдруг Тарас, остановившись и нагнувшись в землю, сказал: «Стой, братцы! уронил люльку». В это самое время он почувствовал себя в дюжих руках, был схвачен набежавшим с тыла отрядом и отрезан от своих. Он двигнул своими членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, почти что не заплакав. Ему прикрутили руки, увязали веревками и цепями, привязали его к огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздем и поставили это бревно рубом в расселину стены, так что он стоял выше всех и был виден всем войскам, как победный трофей удачи. Ветер развевал его белые волоса. Казалось, он стоял на воздухе, — и это, вместе с выражением сильного бессилия, делало его чем-то похожим на духа, представшего воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественною своею властью и увидевшего ее ничтожность. В лице его не было заметно никакой заботы о себе. Он вперил глаза в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно как на ладони.

— Занимайте, хлопцы, — кричал он, — занимайте, вражьи дети, говорю вам, скорее горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот пропадут, пропадут ни за что! — говорил он с бешенством и взглянул вниз, где блестел Днестр. Чувство радости сверкнуло в его глазах. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника три кормы. Он собрал все усилия и закричал так, что едва не оглушил стоявших близ него:

— Хлопцы, к берегу! к берегу! Под кручею, где крепость, стоят челны! а за вами в двадцати шагах спуск к берегу. Да забирайте все челны, чтобы не было погони!

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но удар обухом по голове за такой совет переворотил в его глазах все. Его опустили вместе с бревном ниже, чтобы он не мог более подавать своих наставлений.

Казаки поворотили коней и бросились бежать во всю прыть; но берег все еще состоял из стремнин. Они бы достигли понижения его, если бы дорогу не преграждала пропасть сажени в четыре шириною: одни только сваи разрушенного моста торчали на обоих концах; из недосягаемой глубины ее едва доходило до слуха умиравшее журчание какого-то потока, низвергавшего в Днестр. Эту пропасть можно было объехать, взявши вправо; но войска неприятельские были уже почти на плечах их. Казаки только один миг ока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, — и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть. Под одним только конь оступился; но зацепился копытом и, привыкший к крымским стремнинам, выкарабкался с своим седоком.

Отряд неприятельских войск с изумлением остановился на краю пропасти. Начальствовавший ими полковник, молодой, неустрашимый до безрассудности (он был брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия), без дальнего размышления решился повторить и себе то же и, желая подать пример своему отряду, бросился вперед с конем своим; но острые камни изорвали его, пропавшего среди пропасти, в клочки, и мозг его, смешанный с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда Бульба очнулся немного от своего удара и глянул на Днестр, он увидел под ногами своими казаков, садившихся в лодки. Глаза его сверкнули радостью. Град пуль сыпался сверху на казаков, но они не обращали никакого внимания и отчаливали от берегов.

— Прощайте, паны-браты товарищи! — говорил он им сверху, — вспоминайте иной час обо мне. Об участи же моей не заботьтесь! я знаю свою участь; я знаю, что меня заживо разнимут по кускам и что кусочка моего тела не оставят на земле, — да то уже мое дело... Будьте здоровы, паны-браты товарищи! Да глядите, прибывайте на следующее лето опять! да погуляйте хорошенько!.. — удар обухом по голове пресек его речи.

Черт побери! да есть ли что на свете, чего бы побоялся казак? Немалая река Днестр; а как погонит ветер с моря, то вал дохлестывает до самого месяца. Казаки плыли под пулями и выстрелами, осторожно минали зеленые острова, хорошенько выправляли парус, дружно и мерно ударяли веслами и говорили про своего атамана.

<Предисловие к сборнику «Арабески»>

Собрание это составляют пьесы, писанные мною в разные времена, в разные эпохи моей жизни. Я не писал их по заказу. Они высказывались от души, и предметом избирал я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, без сомнения, найдут много молодого. Признаюсь, некоторых пьес я бы, может быть, не допустил вовсе в это собрание, если бы издавал его годом прежде, когда я был более строг к своим старым трудам. Но вместо того, чтобы строго судить свое *прошедшее,* гораздо лучше быть неумолимым к своим занятиям *настоящим.* Истреблять прежде написанное нами, кажется, так же несправедливо, как позабывать минувшие дни своей юности. Притом если сочинение заключает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить несовершенство целого.

Я должен сказать о самом издании: когда я прочитал отпечатанные листы, меня самого испугали во многих местах неисправности в слоге, излишности и пропуски, происшедшие от моей неосмотрительности. Но недосуг и обстоятельства, иногда не очень приятные, не позволяли мне пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и потому смею надеяться, что читатели великодушно извинят меня.

Об архитектуре нынешнего времени

Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величеством рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротою украшений. Невольно втесняется мысль: неужели прошел невозвратимо век архитектуры? неужели величие и гениальность больше не посетят нас? или они — принадлежность народов юных, полных одного энтузиазма и энергии и чуждых усыпляющей, бесстрастной образованности? Отчего же те народы, перед которыми мы так самодовольно гордимся, которым едва даем место в истории мира, — отчего же они так возвышаются перед нами созданиями своего темного, не освещенного дробью познаний ума? Отчего же колоссальные памятники индусов так величавы и неизмеримы, отчего аравийские так роскошны и очаровательны? отчего у нас в Европе в Средние века так много воздвиглось их в изумительном величии?

Не хотелось бы убедиться в этой грустной мысли, но все говорит, что она истинна. Они прошли — те века, когда вера, пламенная, жаркая вера, устремляла все мысли, все умы, все действия к одному, когда художник выше и выше стремился вознести создание свое к небу, к нему одному рвался и пред ним, почти в виду его, благоговейно подымал молящуюся свою руку. Здание его летело к небу; узкие окна, столпы, своды тянулись нескончаемо в вышину; прозрачный, почти кружевной шпиц, как дым, сквозил над ними, и величественный храм так бывал велик перед обыкновенными жилищами людей, как велики требования души нашей перед требованиями тела.

Была архитектура необыкновенная, христианская, национальная для Европы — и мы ее оставили, забыли, как будто чужую, пренебрегли, как неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три века протекло, и Европа, которая жадно бросалась на всё, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудесам древним, римским и византийским, или уродовала их по своим формам, — Европа не знала, что среди ее находятся чуда, перед

которыми было ничто все ею виденное, что в недре ее находятся Миланский и Кельнский соборы и еще доныне чернеют кирпичи недоконченной башни Страсбургского мюнстера.

Готическая архитектура, та готическая архитектура, которая образовалась пред окончанием Средних веков, есть явление такое, какого еще никогда не производил вкус и воображение человека. Ее напрасно производят от арабской: идеи этих двух родов совершенно расходятся; из арабской она заимствовала только одно искусство сообщать тяжелой массе здания роскошь украшений и легкость; но самая эта роскошь украшений вылилась у ней совершенно в другую форму. Она обширна и возвышенна, как христианство. В ней все соединено вместе: этот стройно и высоко возносящийся над головою лес сводов, окна огромные, узкие, с бесчисленными изменениями и переплетами, присоединение к этой ужасающей колоссальности массы самых мелких, пестрых украшений; это легкая паутина резьбы, опутывающая его своею сетью, обвивающая его от подножия до конца шпица и улетающая вместе с ним на небо; величие и вместе красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость — это такие достоинства, которых никогда, кроме этого времени, не вмещала в себе архитектура. Вступая в священный мрак этого храма, сквозь который фантастически глядит разноцветный цвет окон, поднявши глаза кверху, где теряются, пересекаясь, стрельчатые своды один над другим, один над другим и им конца нет, — весьма естественно ощутить в душе невольный ужас присутствия святыни, которой не смеет и коснуться дерзновенный ум человека.

Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Как только энтузиазм Средних веков угас и мысль человека раздробилась и устремилась на множество разных целей, как только единство и целость одного исчезло — вместе с тем исчезло и величие. Силы его, раздробившись, сделались малыми; он произвел вдруг во всех родах множество удивительных вещей, но истинно великого, исполинского уже не было. Византийцы, убежавши из своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкус европейцев и колоссальную их архитектуру. Византийцы давно уже не имели древнего аттического вкуса; они уже не имели и первоначального византийского и принесли только испорченные остатки его. Они языческие, круглые, пленительные, сладострастные

формы куполов и колонн тщились применить к христианству, и применили так же неудачно, как неудачно привили христианство к своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свежести. Купол вытянулся вверх и сделался почти угловатым; стройные линии, фронтоны как-то странно изломались и произвели ничтожные формы. В таком виде получили эту архитектуру европейцы, которые, с своей стороны, изменили ее еще более, потому что в душе своей еще носили первоначальный образ готический и мысль, совершенно противоположную расслабленной многосторонности греков. Тогда произошли тяжелые дворцы с колоннами, полуколоннами без всякой цели. Все это было робко, мелко. Это была не роскошь, но искаженность простоты. Множество мифологических голов и украшений без смысла, облепив тяжелую массу, не придали ей никакой легкости, не смягчили крепких черт ее нежными и не выразили никакой идеи. Стремление в высоту, сообщавшее величие и легкость самым тяжелым массам, исчезло; вместо того они разъехались в ширину.

Но церкви, строенные в XVII и начале XVIII века, еще менее выражают идею своего назначения. Глядя на них, кажется, чувствуешь то же, как если бы человек грубый начал подделываться под светскую утонченность. В них прямая линия без всякого условия вкуса соединялась с выгнутою и кривою; при полуготической форме всей массы они ничего не имеют в себе готического: окна мелкие, сбитые в кучу или раскиданные без всякой гармонии; пилястры, не тянувшиеся во всю длину здания, но приклеенные иногда вверху, под куполом, иногда на середине, коротенькие, неуклюжие, сверх которых часто находился другой этаж таких же колонн, маленьких, некрасивых; крыша из ломаных линий; при этом часто удерживался и готический шпиц, но уже не тот легкий и прозрачный, который под рукою художника Средних веков принимал такую воздушность, но тяжелый, массивный, который уже вовсе не летел к небу. Все, что только отзывалось высокими, устремленными кверху готическими деталями, было оставлено как безвкусное.

Хотя в продолжение XVIII века вкус несколько улучшился, но из этого не выиграли мы ровно ничего: он улучшился в веригах чужих форм. Тяжесть готическая была справедливо изгнана совершенно, потому что она в греческой форме была уже до невозможности безобразна. Тогда еще с большим рвением стали

изучать древние формы, но изучали так, как робкие ученики, копирующие с точностью мелочные подробности оригинала и позабывающие об идее целого. Брали части и с необыкновенным излишеством лепили в огромную массу, показавшую еще никогда дотоле небывалое разъединение в целом. Колонны и купол, больше всего прельстившие нас, начали приставлять к зданию без всякой мысли и во всяком месте: они уже не были главною идеею строения, а только частями, или, лучше, украшениями его. Размер самого строения мы увеличили гораздо более, а размер купола в отношении к строению уменьшили. Мы не посмотрели в увеличительное стекло на строение, которое избрали моделью, не взглянули на него, отошедши на известное расстояние, но смотрели вблизи. Купол сделался ничтожным, малым. Видя его пустынность и одиночество на верху здания, прибавили к нему несколько других, возвысили для этого под ними башни — и куполы стали походить на грибы. И купол — это лучшее, прелестнейшее творение вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который должен был обнять все строение и роскошно отдыхать на всей его массе белою, облачною своей поверхностью, — исчез совершенно. Я люблю купол, тот прекрасный, огромный, легко-выпуклый купол, который возродил роскошный вкус греков в Александрийский век и позже, в век наслаждений и эгоизма, век утонченного раздробления жизни, век антологии, легкой, душистой, дышащей сладострастием, ленью и роскошью, когда каждый принадлежал себе, жил для себя, а не для общества, когда на великолепных роскошных банях, везде был виден этот смело-выпуклый, как небесный свод, купольск. Ничто не может так сладострастно, так пленительно украсить массу домов, как такой купольск. Но для этого он должен быть помещен только на том здании, которое неизмеримо своею шириною и как можно более захватывает пространства; он должен лечь на всей обширной его платформе; он должен быть светлее самого здания, и лучше, если он весь белый. Ослепительная белизна сообщает неизъяснимую очаровательность и полноту его легко-выпуклой форме, — он тогда лучше, роскошнее и облачнее круглится на небе. И доныне города сирийские и антиохские имеют необыкновенную прелесть через то, что удержали некоторое подобие этих куполов; и доныне на Востоке можно встретить их в величавом и огромном виде.

Портик с колоннами, это ясное произведение аттического стройного вкуса, который не терпел над собою никаких надстроек, у нас тоже пропал: ему не догадались дать колоссального размера, раздвинуть во всю ширину здания, возвысить во всю вышину его. Его не развили, не увеличили, но стали употреблять в обыкновенном виде. Удивительно ли, что здания, которые требовались огромные, казались пусты, потому что фронтоны с колоннами лепилися только над крыльцами их. Громоздимые над ними в церквах, дворцах башни и массы, вовсе ему не отвечавшие, подавили и уничтожили его совершенно. Таким самым образом поэт, не имеющий обширного гения, всегда недоволен одним простым сюжетом, и, вместо того чтобы развить его и сделать огромным, он привязывает к нему множество других; его поэма обременяется пестротою разных предметов, но не имеет одной господствующей мысли и не выражает одного целого.

В начале XIX столетия вдруг распространилась мысль об аттической простоте и так же, как обыкновенно бывает, обратилась в моду и отразилась вдруг на всем, начиная с дамских костюмов, преобразовавшихся в небрежное, легкое одеяние гетер. Казалось, еще ближе присмотрелись к древним, еще глубже изучили их дух; но все, что ни строили по их образцу, все носило отпечаток мелкости и миниатюрности: узнали искусство более связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величие всему целому и определить ему размер, способный вызвать изумление. Это новое стремление решительно было издержано на мелочные беседки, павильоны в садах и подобные небольшие игрушки. Они носили в себе много аттического, но их нужно было рассматривать в микроскоп. В огромных же публичных зданиях не считали за нужное ими руководствоваться; они сделались наконец просты до плоскости. Самое вредное направление архитектуре внушила мысль о соразмерности, — не о той соразмерности, которая должна быть в строении в отношении к нему самому, но просто о соразмерности в отношении к окружающим его зданиям. Это все равно если бы гений стал удерживаться от оригинального и необыкновенного потому только, что перед ним будут слишком уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмерность состояла еще в том, чтобы строение как бы велико ни было в своем объеме, но непременно чтобы

казалось малым. Его стали уединять и помещать на такой огромной и обширной площади, что оно казалось еще более ничтожным. Как будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое совсем не велико; как будто бы насильно старались истребить в душе благоговение и сделать человека равнодушным ко всему.

Всем строениям городским стали давать совершенно плоскую, простую форму. Домы старались делать как можно более похожими один на другого; но они более были похожи на сараи или казармы, нежели на веселые жилища людей. Совершенно гладкая их форма ничуть не принимала живости от маленьких правильных окон, которые в отношении ко всему строению были похожи на зажмуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тщеславились, как совершенством вкуса, и настроили целые города в ее духе! Осмелился бы кто-нибудь даже теперь, среди этой гладко-однообразной кучи, воздвигнуть здание, носившее бы на себе печать особенной, резкой архитектуры, осмелился бы кто-нибудь возле строения в аттическом вкусе непосредственно воздвигнуть готическое — его бы сочли едва ли не сумасшедшим. Оттого новые города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую. Это ряд стен, и больше ничего. Напрасно ищет взгляд, чтобы одна из этих беспрерывных стен в каком-нибудь месте вдруг возросла и выбросилась на воздух смелым переломленным сводом или извергласъ какою-нибудь башней-гигантом. Старинный германский городок с узенькими улицами, с пестрыми домиками и высокими колокольнями имеет вид, несравненно более говорящий нашему воображению. Даже вид какого-нибудь восточного города, с высокими, тонкими минаретами, с восточными пестрыми куполами, потонувшими в садах, имеет более характера, более дышит поэзией и воображением, нежели наши европейские города позднейшей архитектуры.

Башни огромные, колоссальные необходимы в городе, не говоря уже о важности их назначения для христианских церквей. Кроме того, что они составляют вид и украшение, они нужны для сообщения городу резких примет, чтобы служить маяком, указывавшим бы путь всякому, не допуская сбиться с пути. Они еще более нужны в столицах для наблюдения над окрестностями.

У нас обыкновенно ограничиваются высотою, дающею возможность обглядеть один только город, между тем как для столицы необходимо видеть, по крайней мере, на полтораста верст во все стороны, и для этого, может быть, один только или два этажа лишних — и все изменяется. Объем кругозора по мере возвышения распространяется необыкновенною прогрессией. Столица получает существенную выгоду, обозревая провинции и заранее предвидя все; здание, сделавшееся немного выше обыкновенного, уже приобретает величие; художник выигрывает, будучи более настроен колоссальностию здания к вдохновению и сильнее чувствуя в себе напряжение.

Это направление архитектуры старалось как будто нарочно скрывать свое величие, вместо того чтобы как можно более выказывать его пространству. Нет, не таков закон великого: строение должно неизмеримо возвышаться почти над головою зрителя, чтобы он стал, пораженный внезапным удивлением, едва будучи в состоянии окинуть глазами его вершину. И потому строение всегда лучше, если стоит на тесной площади. К нему может идти улица, показывающая его в перспективе, издали, но оно должно иметь поражающее величие вблизи. Чтобы дорога проходила мимо его! Чтобы кареты гремели у самого его подножия! Чтобы люди лепились под ним и своею малостью увеличивали его величие! Дайте человеку большое расстояние — и он уже будет глядеть выше, гордо на находящиеся пред ним предметы; ему покажется все малым. Мы так непостижимо устроены, наши нервы так странно связаны, что только внезапное, оглушающее с первого взгляда, производит на нас потрясение. И потому вышину строения подымайте в соразмерности с площадью, на которой оно стоит. Если оно с последнего края площади кажется малым и зритель не ощущает изумления, но должен для этого близко подходить к нему, то здание пропало, а вместе с ним пропали и труды и издержки, употребленные на сооружение его.

Но возвращаюсь к простоте архитектуры, которая заразила наш XIX век. Сами греки чувствовали, что одни прямые линии и совершенная простота строений будут казаться уже чересчур плоскими, особливо если множество такого рода строений соединятся вместе. Они чувствовали, что строгая правильность и гладкость строения должна непременно иметь возле себя

какую-нибудь противоположность, чтобы быть более оригинальною и заметною, и потому простирали над ними навес древесный. Белизна прямолинейной стены или стройного с колоннами фронтона, выказываясь из-за темной гущи зелени, действительно хороша, потому что составляет контраст с облачным расположением дерева, почти всегда неправильно, но красиво раскидывающего свои ветви. Как только здание их окружалось другими и находилось среди города, они чувствовали излишнюю простоту его и старались придать сколько можно более игры. Мысль о дереве и о природе прежде всего приходила им в голову. Но в городе дерево — драгоценность; тогда они чаще начали употреблять не гладкие дорические колонны, но большею частию коринфские, с капителью из завитых листьев. Вообще убирать строения листьями, виющимися гроздьями винограда или украшениями, носящими неясный образ ветвей дерева, было инстинктом у всех народов. Они невольно, слепо следовали тайному внушению своего вкуса. В готической архитектуре более всего заметен отпечаток, хотя неясный, тесно сплетенного леса, мрачного, величественного, где топор не звучал от века. Эти стремящиеся нескончаемыми линиями украшения и сети сквозной резьбы не что другое, как темное воспоминание о стволе, ветвях и листьях древесных. И потому смело возле готического строения ставьте греческое, исполненное стройности и простоты: оно будет стоять между ними, как между величественными, прекрасными деревьями. И готическое и греческое получит от этого двойную прелесть. Истинный эффект заключен в резкой противоположности; красота никогда не бывает так ярка и видна, как в контрасте. Контраст тогда только бывает дурен, когда располагается грубым вкусом или, лучше сказать, совершенным отсутствием вкуса, но, находясь во власти тонкого, высокого вкуса, он первое условие всего и действует ровно на всех. Разные части его гармонируют между собою по тем же законам, по которым цвет палевый гармонирует с синим, белый с голубым, розовый с зеленым и так далее. Все зависит от вкуса и от умения расположить. Не мешайте только в одном здании множества разных вкусов и родов архитектуры. Пусть каждый носит в себе что-то целое и самобытное, но пусть противуположность между этими самобытными, в отношении их друг к другу, будет резка и сильна. Чем более в городе памятников разных

родов зодчества, тем он интереснее, тем чаще заставляет осматривать себя, останавливаться с наслаждением на каждом шагу. Неужели было бы хорошо, если бы в английском саду вместо беспрерывных, неожиданных видов гуляющий находил ту же самую дорожку или, по крайней мере, так похожую своими окрестностями на виденную им прежде, что она кажется давно известною?

Терпимость нам нужна; без нее ничего не будет для художества. Все роды хороши, когда они хороши в своем роде. Какая бы ни была архитектура — гладкая массивная египетская, огромная ли пестрая индусов, роскошная ли мавров, вдохновенная ли и мрачная готическая, грациозная ли греческая — все они хороши, когда приспособлены к назначению строения, все они будут величественны, когда только истинно постигнуты.

Если бы, однако ж, потребовалось отдать решительное преимущество которой-нибудь из этих архитектур, то я всегда отдам его готической. Она чисто европейская, создание европейского духа и потому более всего прилична нам. Чудное ее величие и красота превосходит все другие. Но из милости, из сострадания не ломайте, не коверкайте ее! Глядите чаще на знаменитый Кельнский собор — там все ее совершенство и величие. Лучшего памятника никогда не производили ни древние, ни новые веки. Я предпочитаю потому еще готическую архитектуру, что она более дает разгула художнику. Воображение живее и пламеннее стремится в высоту, нежели в ширину. И потому готическую архитектуру нужно употреблять только в церквах и строениях, высоко возносящихся. Линии и бескарнизные готические пилястры, узко одна от другой, должны лететь через все строение. Горе, если они отстоят далеко друг от друга, если строение не перевысило, по крайней мере, вдвое своей ширины, если не втрое! Оно тогда уничтожилось само в себе. Возносите его таким, каким оно быть должно: чтоб выше, выше, сколько можно выше, поднимались его стены, чтобы гуще, как стрелы, как тополи, как сосны, окружали их бесчисленные угольные столбы! Никакого перереза, или перелома, или карниза, давшего бы другое направление или уменьшившего бы размер строения! Чтобы они были ровны от основания до самой вершины! Огромнее окна, разнообразнее их форму, колоссальнее их высоту! Воздушнее, легче шпиц! Чтобы все, чем более подымалось кверху, тем более бы летело

и сквозило. И помните самое главное: никакого сравнения высоты с шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здесь одна законодательная идея — высота.

Я уверен, что некоторые будут утверждать, что постройка здания слишком высокого бесполезна, потому что нам нужно больше места, что высота ни к чему не служит и даром истрачивает материалы. Но я вовсе не советую этот готический образ строений употреблять на театры, на биржи, на какие-нибудь комитеты и вообще на здания, назначаемые для собраний веселящегося, или торгующего, или работающего народа. Со мною согласится всякий, что нет величественнее, возвышеннее и приличнее архитектуры для здания христианскому Богу, как готическая. И что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? Величественного, колоссального, при взгляде на которое мысли устремляются к одному и отрывают молельщика от низкой его хижины. Весьма не мешает вспомнить великую старую истину, что народ не в силах понять религии в такой же самой чистоте и бестелесности, как получившие высшее образование; что на него более всего производят впечатление видимые предметы; что чем меньше этот видимый предмет на него действует, тем слабее его энтузиазм и простая вера. Великолепие повергает простолюдина в какое-то онемение, и оно-то единственная пружина, двигающая диким человеком. Необыкновенное поражает всякого, но тогда только, когда оно смело, резко и разом бросается в глаза. Здесь уже прочь всякое скряжничество и расчет! В противном случае этот расчет будет не расчет, и выгода, возникшая из него, будет выгода одного человека перед выгодою целого человечества.

Вальтер Скотт первый отряхнул пыль с готической архитектуры и показал свету все ее достоинство. С того времени она быстро распространилась. В Англии все новые церкви строят в готическом вкусе. Они очень милы, очень приятны для глаз, но, увы, истинного величия, дышащего в великих зданиях старины, в них нет. Они, несмотря на стрельчатые окна и шпицы, не сохраняют в целом истинно готического вкуса и уклонились от образцов. Во-первых, они сами по себе вовсе не огромны (великий недостаток готического строения); во-вторых, весь этот лес четырехгранных тонких столбов и линий, союзно стремящихся чрез все

строение, позабыт или отвергнут вовсе, оставшаяся чрез это гладкость нечувствительно дает им совершенно другое выражение.

Могущественным словом Вальтер Скотта вкус к готическому распространился быстро везде и проникнул во все. Еще не сделавшись великим, он уже сделался мелким: сельские домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — все обратилось в готическое. И эти величественные, прекрасные украшения употреблены были на игрушки. Век наш так мелок, желания так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном каком-нибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки. Мы имеем чудный дар делать все ничтожным. Египетскую архитектуру, которой весь эффект в колоссальности, мы издерживаем на небольшие мостики, на ворота, вершину которых проезжающий кучер может достать рукою. Из готической мы делаем серьги, футляры для часов; греческую мы употребляем в беседках. В публичных же и огромных зданиях показываем такую архитектуру, которую вряд ли можно признать особенным родом: в ней столько безмыслия, такое негармоническое соединение частей, такое отсутствие всякого воображения, что недостает сил назвать ее имеющею свой характер архитектурою.

Есть рудник, о котором едва только знают, что он существует; есть мир совершенно особенный, отдельный, из которого менее всего черпала Европа. Это — архитектура восточная, — архитектура, которая создана одним только воображением, воображением восточным, горячим, чудесным, облекшимся в иперболу и аллегорию, пролетевшим мимо жизни и прозаических нужд ее. Жизнь азиатцев никогда не имела такого многостороннего развития, как европейцев; никогда потребности их не были так разнообразны и бесчисленны, как наши, — и потому очень естественно, что обыкновенные жилища их лишены пестроты, ясности и стройности; они уединенны, однообразны, так же скучны отсутствием всякой мысли, как самый азиатец во время своего покоя. Но зато везде, куда ни проникала только азиатская роскошь, огромная, великолепная, та роскошь, которая блещет в их волшебных сказках, везде, куда ни проникала эта увешанная ожерельями дочь восточного воображения, — там стоят доныне

дворцы, великолепие которых изумительно. Строение их захватывало целые веки; целый народ, целая нация над ним трудилась, и предки верили, как в неотразимое предопределение, что здание будет окончено их потомками. Везде, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь или дикий энтузиазм первоначальной их религии, везде громоздились памятники, ужасные своею огромностью, перед которыми мысль немеет от изумления, когда вспомнишь, как бедны были их средства и познания, как ничтожны их машины для поднятия и укрепления этих страшных масс. Еще более изумление овладевает духом, когда видишь, как почти дикий, неразвившийся человек развился внезапно на этом гигантском здании, как был он проникнут и восторжен мыслью о божестве, что невольно показал разоблачение своего гения и упредил медленные годы векового образования.

Взгляните на этот массивный, величественный Триченгурский храм у индусов, едва ли не одно из первых зданий по величине своей. Это пирамидальное склонение массы кверху, постепенное уменьшение этажей, бездна индийских портиков, облепливающих их стены, пилястры, громоздящиеся над пилястрами, колонны над колоннами, как будто ступающие одна на другую, чтобы скорее достать вершины этой массы, — все это явление совершенно оригинального вкуса. Но если Триченгурский храм слишком уже тяжел и дышит язычеством, взгляните на стройный, прекрасный Кутуб-Минар, которым по справедливости славятся Дельфи. Я не знаю в мире башни, которая бы, при простоте почти аттической, столько дышала глубиною красоты, где бы воображение вылилось так чисто и величаво. Если этот род не может быть совершенно усвоен нами, то европейцы вообще могут заимствовать с пользою это пирамидальное или конусообразное устремление кверху — резкое отличие индийского стиля.

Восточная архитектура дворцов представляет совершенно противоположный род: здесь царство азиатской роскоши. Строение раздается пространнее в ширину. Огромный восточный купол — или совершенно круглый, или выгибающийся, как сладострастная ваза, опрокинутая вниз, или в виде шара, или обремененный, облепленный резьбою и украшениями, как богатая митра, — патриархально властвует над всем зданием; внизу, у самого подножия строения, небольшие куполы целою оградою

обходят его пространные стены, как покорные рабы; со всех сторон летят тонкие минареты, представляющие самый очаровательный контраст своею легкою, веселою торнюрою с важным, величественным видом всего здания. Так величественный магометанин, в широком, убранном золотом и каменьями платье, возлежит среди гурий, стройных, обнаженных, ослепительных своею белизною.

Нигде зодчество не принимало столько разнообразных форм, как на Востоке. Там каждое здание выливалось, можно сказать, всегда мимо прежних условий, или, лучше сказать, оно выливалось, облеченное новыми условиями собственного предчувствия, сходствовавшими с прежними разве только в самом отдаленном начале религиозном или национальном. Вся Индия усеяна прекрасными зданиями. Каждое из них сохраняет свое резкое отличие, свой особый отпечаток до такой степени, что их совершенно нельзя подвесть под одну категорию. Множество разных куполов всех возможных форм, вовсе не похожих один на другого, украшений и убранств совсем отличных и всегда новых — все говорит о необыкновенном воображении их, которое не стеснялось никакими правилами. Впрочем, причиною этого разнообразия, может быть, было бесчисленное множество сект, наполняющих Индию, производивших вечную оппозицию, вечную раздражительность воображения. Но более исполнены роскоши очаровательной, которою говорит восточная природа, те здания, которых коснулся вкус аравитян. В Азии, во время этих разрушительных встреч новых и старых народов, особенно магометан, произошло необыкновенное смешение архитектур, произошли самые дерзкие отступления. Но никогда, нигде не соединялось смелое с такою прекрасною роскошью, как у аравитян. Они заимствовали от природы все то, что есть в ней верх прекраснейшего. Их архитектура не носит на себе печати дремучих лесов; она вся состоит из цветов. Она убрана цветами, она потоплена целым морем цветов, прекрасных, роскошных, какими убрана нежная долина Кашемира. Их узорные колонны увенчаны тюльпаном; их резьба в виде незабудок и цветов с четырью лепестками или развивающихся роз; их галереи похожи на ветви пальм, вершинами своими образующих своды. Все отозвалось необыкновенной роскошью цветистого их вкуса. Эта архитектура как-то именно

создалась для жизни, отданной наслаждениям, для веселых, светлых жилищ человека. Она решительно изгнала из себя все мрачное. Здание так прелестно, очаровательно, как восточная красавица с черными, яркими, как молния, глазами, в пестром своем убранстве и драгоценных ожерельях.

Восточная архитектура имеет у себя то, чего никогда еще не употребляли европейцы: это — колонны, не гладкие, но распещренные украшениями от пьедестала до капители. Иногда эти колонны бывают совершенно сквозные и прозрачные: резьба проникает их насквозь. Они составляют пленительнейшее изобретение восточного вкуса. Здание, как бы ни было громоздко, но с такими колоннами кажется воздушно. Почему бы, казалось, нам не перенести их на свою почву? Но ум и вкус человека представляют странное явление: прежде нежели достигнет истины, он столько даст объездов, столько наделает несообразностей, неправильностей, ложного, что после сам дивится своей недогадливости. Обо всех сих памятниках Европа и не заботилась. Один только вкус китайцев, который можно назвать самым мелким, самым ничтожным из всех восточных народов, каким-то поветрием занесся к нам в конце XVIII столетия. Хорошо, что европейцы, по обыкновению своему, тотчас обратили его на мостики, павильоны, вазы, камины, а не вздумали приспособить к большим строениям. Этот вкус, точно, был недурен в безделках, потому что европейцы его тотчас усовершенствовали по-своему и дали ему ту прелесть, которой он сам в себе не имеет, так же как и его народ не имеет энергии, несмотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный род архитектуры, совершенно отличный от всего, доселе показанного мною. Это архитектура катакомб индийских и египетских, где эти два народа так удивительно сошлись между собою и дали повод подозревать древнее между ими родство. Главный характер ее — тяжесть. Здесь все должно соединиться в массу и толщу: здание тяжело ступает, как на слоновых пядях, на коротких, тяжелых колоннах, которых ширина своим диаметром равняется почти с высотою. Здесь уже совершенно всё ширина и масса. На ней как будто отпечаталась тяжесть земли, внутри которой она скрывает тяжелое свое величие. То, что порок в других родах ее, то здесь достоинство. Эта подземная архитектура имеет что-то также величавое, хотя внушает совершенно

другие мысли. Здесь тяжесть не безобразна, а величественна, потому что составляет главную идею всего здания. Если художник предположил создать тяжелое и массивное и выполнил это, его творение, верно, будет хорошо; но когда начертал он план тяжелого, а из него вышло вовсе не тяжелое, или, наоборот, когда он замыслил произвесть легкое, а вышло тяжелое, то это уже решительно дурно. Здание это, когда с него сбрасывали землю и оно выходило на свет, представляло всегда странный и вместе страшный вид — как будто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, как будто бы мрак очутился вдруг среди яркого света, — мрак, только освещаемый светом, а не прогоняемый им, как египетская урна или мертвая голова среди пиршеств. Мне кажется, напрасно эту архитектуру вгоняют в землю: показавшись вдруг, нечаянно, среди светлых, легких домиков, она должна непременно поразить всякого и произвести свой эффект. Одно такого рода строение среди многолюдного города было бы прелесть, но только одно, не более. В строениях такого рода все части состоят из тяжестей, но при всем том отношения их между собою исполнены какой-то внутренней, несколько страшной гармонии, и создать в этом роде совершенное весьма нелегко.

Египетская архитектура надземная составляет совершенно другой род: она массивна тоже, но стройность и простота в высшей степени с нею неразлучны; главный же ее характер — колоссальность. Чем она глаже снизу доверху, без всяких разделений и резких украшений, тем лучше. Но не употребляйте ее на небольшие мостики: без колоссальности эта архитектура менее нежели ничто. Еще раз повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены все ее условия и если она выбрана совершенно согласно назначению строения. Без этой благонамеренной, беспристрастной терпимости не будет ни истинных талантов, ни истинно величественных произведений. Прочь этот схоластицизм, предписывающий строения ранжировать под одну мерку и строить по одному вкусу! Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам. Пусть в нем совокупится более различных вкусов. Пусть в одной и той же улице возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшений восточное, и колоссальное египетское,

и проникнутое стройным размером греческое. Пусть в нем будут видны и легко-выпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиц, и восточная митра, и плоская крыша итальянская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск. Пусть как можно реже дома сливаются в одну ровную однообразную стену, но клонятся то вверх, то вниз. Пусть разных родов башни как можно чаще разнообразят улицы. Неужели найдется такой смельчак, или, лучше сказать, несмельчак, который бы ровное место в природе осмелился сравнить с видом утесов, обрывов, холмов, выходящих один из-за другого?

Архитектор-творец должен иметь глубокое познание во всех родах зодчества. Он менее всего должен пренебрегать вкусом тех народов, которым мы в отношении художеств обыкновенно оказываем презрение. Он должен быть всеобъемлющ, изучить и вместить в себе все бесчисленные изменения их. Но самое главное — должен изучить все в идее, а не в мелочной наружной форме и частях. Но для того чтобы изучить в идее, нужно быть ему гением и поэтом.

Но обратимся к архитектуре городов. Город нужно строить таким образом, чтобы каждая часть, каждая отдельно взятая масса домов представляла живой пейзаж. Нужно толпе домов придать игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла резкостями, чтобы она вдруг врезалась в память и преследовала бы воображение. Есть такие виды, которые век помнишь, и есть такие, которых, при всех усилиях, не можешь заметить в памяти. Зодчество грубее и вместе колоссальнее других искусств, как-то: живописи, скульптуры и музыки, и потому эффект его — в эффекте. Масса города имеет уже тем выгоду, что ее вдруг можно изменить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строение среди ее — и она совершенно изменяет вид свой, принимает другое выражение, так, как всякий рисунок ученика вдруг оживляется под кистью или карандашом его учителя, который в одном месте подкрепит, в другом отделит, в третьем только тронет, — и всё уже не то. Притом самые ошибки уже подают идею о том, как избежать их: бесхарактерное подает мысль о характерном, мелкое и плоское вызывают в противоположность дерзкое и необыкновенное, углубление вниз подает идею о возвышении

вверх, и наоборот. Гений — богач страшный, перед которым ничто весь мир и все сокровища.

При построении городов нужно обращать внимание на положение земли. Города строятся или на возвышении и холмах, или на равнинах. Город на возвышении менее требует искусства, потому что там природа работает уже сама: то подымает домы на величественных холмах своих и кажет их великанами из-за других домов, то опускает их вниз, чтобы дать вид другим. В таком городе можно менее употреблять разнообразия. В нем можно более употреблять гладких и одинаковых домов, потому что неровное положение земли уже дает им некоторым образом разнообразие, помещая их в разных местоположениях. Нужно наблюдать только, чтобы домы показывали свою вышину один из-за другого, так, чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядит двадцатиэтажная масса. Там мало нужно искусства, где природа одолевает искусство; там искусство только для того, чтобы украсить ее. Но где положение земли гладко совершенно, где природа спит, там должно работать искусство во всей силе. Оно должно пропестрить, если можно сказать, изрыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здесь однообразие и простота домов будет большая погрешность. Здесь архитектура должна быть как можно своенравнее: принимать суровую наружность, показывать веселое выражение, дышать древностью, блестеть новостью, обдавать ужасом, сверкать красотою, быть то мрачной, как день, обхваченный грозою с громовыми облаками, то ясною, как утро в солнечном сиянии. Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе, чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее ступенью нашего собственного возвышения[1].

[1] Мне прежде приходила очень странная мысль: я думал, что весьма не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая бы вмещала в себе архитектурную летопись. Чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, прошедши которые зритель видел бы с двух сторон

Неужели, однако же, невозможно создание (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежних условий? Когда дикий и малоразвившийся человек, которому одна природа, еще грубо им понимаемая, служит руководством и вдохновением, создает творение, в котором является и красота, и тайный инстинкт вкуса, — отчего же мы, которых все способности так обширно развились, которые более видим и понимаем природу во всех ее тайных явлениях, — отчего же мы не производим ничего совершенно проникнутого таким богатством нашего познания? Идея для зодчества вообще была черпана из природы, но тогда, когда человек сильно чувствовал на себе ее влияние; теперь же искусство поставил он выше самой природы, — разве не может он черпать своих идей из самого искусства, или, лучше сказать, из гармонического слияния природы с искусством? Рассмотрите только, какую страшную изобретательность показал он на мелких изделиях утонченной роскоши; рассмотрите все эти модные безделицы, которые каждый день являются и гибнут, рассмотрите их хотя в микроскоп, если так они не останавливают вашего внимания, — какого они исполнены тонкого вкуса! какие принимают они совершенно небывалые прелестные формы! Они создаются в таком особенном роде, который еще никогда не встречался. Резьба и тонкая отделка их так незаимствованы и вместе с тем так хороши, что мы иногда долго любуемся ими и, увы! вовсе не ощущаем жалости при виде, как гибнет вкус человека в ничтожном и временном, тогда как он был бы заметен

возвышающиеся величественные здания первобытного дикого вкуса, общего первоначальным народам. Потом постепенное изменение ее в разные виды: высокое преображение в колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потом в красавицу — греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую с плоскими куполами, потом в римскую с арками в несколько рядов, далее вновь нисходящую к диким временам и вдруг потом поднявшуюся до необыкновенной роскоши — аравийскою; потом дикою готическою, потом готико-арабскою, потом чисто готическою, венцом искусства, дышащею в Кельнском соборе, потом страшным смешением архитектур, происшедшим от обращения к византийской, потом древнею греческою в новом костюме, и, наконец, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы в себе стихии нового вкуса. Эта улица сделалась бы тогда в некотором отношении историею развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все.

в неподвижном и вечном. Разве мы не можем эту раздробленную мелочь искусства превратить в великое? Неужели все то, что встречается в природе, должно быть непременно только колонна, купол и арка? Сколько других еще образов нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линия может ломаться и изменять направление, сколько кривая выгибаться, сколько новых можно ввести украшений, которых еще ни один архитектор не вносил в свой кодекс! В нашем веке есть такие приобретения и такие новые, совершенно ему принадлежащие стихии, из которых бездну можно заимствовать никогда прежде не воздвигаемых зданий. Возьмем, например, те висящие украшения, которые начали появляться недавно. Покамест висящая архитектура только показывается в ложах, балконах и в небольших мостиках. Но если целые этажи повиснут, если перекинутся смелые арки, если целые массы вместо тяжелых колонн очутятся на сквозных чугунных подпорах, если дом обвесится снизу доверху балконами с узорными чугунными перилами, и от них висящие чугунные украшения, в тысячах разнообразных видов, облекут его своей легкою сетью, и он будет глядеть сквозь них, как сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунные сквозные украшения, обвитые около круглой прекрасной башни, полетят вместе с нею на небо, — какую легкость, какую эстетическую воздушность приобретут тогда дома наши! Но какое множество есть разбросанных на всем намеков, могущих зародить совершенно необыкновенную живую идею в голове архитектора, если только этот архитектор — творец и поэт[1].

1831

[1] Статья эта писана давно. В последнее время вкус в Европе улучшился, и особенно в нашей любезной России. Многие архитекторы уже ей делают честь; из них должно упомянуть о Брюллове, которого здания исполнены истинного вкуса и оригинальности.

Несколько слов о Пушкине

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка.* Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздолье, к которому иногда, позабывшись, стремится русский и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в свет. Судьба, как нарочно, забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью, где гладкая неизмеримость России перерывается подоблачными горами и обвевается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с козаком — слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни

и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особливо юности, которая все еще жаждет одного необыкновенного. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностию проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его на своем творении, уже оно расходилось повсюду[1].

Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и державно возносящеюся из-за облак вершиною и он погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел

[1] Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда наконец выходишь из молодости и видишь эти глупости непрекращающимися. Таким образом, начали наконец Пушкину приписывать: «Лекарство от холеры», «Первую ночь» и тому подобные.

быть вполне национальным поэтом, — его поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него все, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Грузия.

Явление это, кажется, не так трудно разрешить. Будучи поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы отечественные и исторические происшествия сделались предметом его поэзии, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русский. Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: «Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были». Но попробуй поэт, послушный ее велению, изобразить все в совершенной истине и так, как было, она тотчас заговорит: «Это вяло, это слабо, это нехорошо, это нимало не похоже на то, что было». Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий; но горе ему, если он не умел скрыть всех ее недостатков! Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость; до того характер народа большею частию был бесцветен, разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват; но и в народе тоже весьма извинительное чувство придать больший размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слог, дать силу бессильному, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет сильного жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его стороне, а вместе с ним и деньги; или быть верну одной истине: быть высоким там, где высок предмет, быть резким и смелым, где истинно резкое и смелое, быть спокойным и тихим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай толпа! ее не будет у него, разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и резок, что не может не произвесть всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талант таким средством. Никто не станет

спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и, несмотря на то что он зарезал своего врага, притаясь в ущелье, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по весьма естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта, — нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей. Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал в себе маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организирована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно

заглядывается толпа? По крайней мере, печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались доныне нетронуты.

В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякий, но зато большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние, нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности, — привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений — ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные грозди винограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; всё лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея.

Мне всегда было странно слышать суждения об них многих, слывущих знатоками и литераторами, которым я более доверял, покамест еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мелкие сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! Казалось, как бы им не быть доступными всем! Они так просто-возвышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их! Но, увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы и наконец так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей.

1832

Портрет

(Повесть)

<Редакция «Арабесок»>

I

Нигде столько не останавливалось народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок; картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, — вот обыкновенные их сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками тех картин, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одной из них была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другой город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ними, верно, уже стоит солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка из Охты с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают сурьезно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи в фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чертков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодежи. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами; наконец невольно овладело им размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Ерусланов Лазаричей*, на *объедал* и *обпивал*, на *Фому* и *Ерему* — это ему не казалось удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу, но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в которых выразилось все глубокое его унижение? Если бы это были труды ребенка, покоряющегося одному невольному желанию, если бы они совсем не имели никакой правильности, не сохраняли даже первых условий механического рисования, если бы в них было все в карикатурном виде, но в этом карикатурном виде просвечивалось бы хотя какое-нибудь старание, какой-нибудь порыв произвести подобное природе, — но ничего этого нельзя было отыскать в них. Какое-то тупоумие старости, какая-то бессмысленная охота, или, лучше сказать, неволя, водила рукою их творцов. Кто трудился над ними? И трудился, без сомнения, один и тот же, потому что те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку.

Он все так же стоял перед этими грязными картинами и глядел на них, но уже совершенно не глядя, между тем как содержатель этого живописного магазина, серенький человек лет пятидесяти, во фризовой шинели, с давно не бритым подбородком, рассказывал ему, что «картины *самый первый сорт* и только что получены с биржи, еще и лак не высох и в рамки не вставлены. *Смотрите сами, честью уверяю, что останетесь довольны*». Все эти заманчивые речи летели мимо ушей Черткова. Наконец, чтобы немного ободрить хозяина, он поднял с полу несколько запыливших картин. Это были старые фамильные портреты, которых

потомки вряд ли бы отыскались. Почти машинально начал он с одного из них стирать пыль. Легкая краска вспыхнула на лице его, краска, которая означает тайное удовольствие при чем-нибудь неожиданном. Он стал нетерпеливо тереть рукою и скоро увидел портрет, на котором ясно была видна мастерская кисть, хотя краски казались несколько мутными и почерневшими. Это был старик с каким-то беспокойным и даже злобным выражением лица; в устах его была улыбка, резкая, язвительная, и вместе какой-то страх; румянец болезни был тонко разлит по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы; но вместе с этим в них была заметна какая-то странная живость. Казалось, этот портрет изображал какого-нибудь скрягу, проведшего жизнь над сундуком, или одного из тех несчастных, которых всю жизнь мучит счастие других. Лицо вообще сохраняло яркий отпечаток южной физиогномии. Смуглота, черные как смоль волосы с пробившеюся проседью — все это не попадается у жителей северных губерний. Во всем портрете была видна какая-то неокончательность, но если бы он приведен был в совершенное исполнение, то знаток потерял бы голову в догадках, каким образом совершеннейшее творение Вандика очутилось в России и зашло в лавочку на Щукин двор.

С бьющимся сердцем молодой художник, отложивши его в сторону, начал перебирать другие, не найдется ли еще чего подобного, но все прочее составляло совершенно другой мир и показывало только, что этот гость глупым счастьем попал между ними. Наконец Чертков спросил о цене. Пронырливый купец, заметив по его вниманию, что портрет чего-нибудь стоит, почесал за ухом и сказал:

— Да что, ведь десять рублей будет за него маловато.

Чертков протянул руку в карман.

— Я даю одиннадцать! — раздалось позади его.

Он оборотился и увидел, что народу собралась куча и что один господин в плаще долго, подобно ему, стоял перед картиною. Сердце у него сильно забилось и губы тихо задрожали, как у человека, который чувствует, что у него хотят отнять предмет его исканий. Осмотревши внимательно нового покупщика, он несколько утешился, заметив на нем костюм, нимало не уступавший его собственному, и произнес дрожащим голосом:

— Я дам тебе двенадцать рублей, картина моя.

— Хозяин! картина за мною, вот тебе пятнадцать рублей! — произнес покупщик.

Лицо Черткова судорожно вздрогнуло, дух захватился, и он невольно выговорил:

— Двадцать рублей.

Купец потирал руки от удовольствия, видя, что покупщики сами торгуются в его пользу. Народ гуще обступил покупающих, услышав носом, что обыкновенная продажа превратилась в аукцион, всегда имеющий сильный интерес даже для посторонних. Цену наконец набили до пятидесяти рублей. Почти отчаянно закричал Чертков: «Пятьдесят», — вспомнивши, что у него вся сумма в пятидесяти рублях, из которых он должен хотя часть заплатить за квартиру и, кроме того, купить красок и еще коекаких необходимых вещей. Противник в это время отступился: сумма, казалось, превосходила также его состояние, — и картина осталась за Чертковым. Вынувши из кармана ассигнацию, он бросил ее в лицо купцу и ухватился с жадностью за картину, но вдруг отскочил от нее, пораженный страхом. Темные глаза нарисованного старика глядели так живо и вместе мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, в них неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человеческие глаза. Они были неподвижны, но, верно, не были бы так ужасны, если бы двигались. Какое-то дикое чувство — не страх, но то неизъяснимое ощущение, которое мы чувствуем при появлении странности, представляющей беспорядок природы, или, лучше сказать, какое-то сумасшествие природы, — это самое чувство заставило вскрикнуть почти всех. С трепетом провел Чертков рукою по полотну, но полотно было гладко. Действие, произведенное портретом, было всеобщее: народ с каким-то ужасом отхлынул от лавки; покупщик, вошедший с ним в соперничество, боязливо удалился. Сумерки в это время сгустились, казалось, для того, чтобы сделать еще более ужасным это непостижимое явление. Чертков не в силах был оставаться более. Не смея и думать о том, чтобы взять его с собою, он выбежал на улицу. Свежий воздух, гром мостовой, говор народа, казалось, на минуту освежил его, но душа была все еще сжата каким-то тягостным чувством. Сколько ни обращал

он глаз по сторонам на окружающие предметы, но мысли его были заняты одним необыкновенным явлением. «Что это? — думал он сам про себя, — искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законов природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание, и чрез которую шагнув, он уже похищает несоздаваемое трудом человека, он вырывает что-то живое из жизни, одушевляющей оригинал? Отчего же этот переход за черту, положенную границею для воображения, так ужасен? Или за воображением, за порывом следует, наконец, действительность, та ужасная действительность, на которую соскакивает воображение с своей оси каким-то посторонним толчком, та ужасная действительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда он, желая постигнуть прекрасного человека, вооружается анатомическим ножом, раскрывает его внутренность и видит отвратительного человека? Непостижимо! такая изумительная, такая ужасная живость! Или чересчур близкое подражание природе так же приторно, как блюдо, имеющее чересчур сладкий вкус?» С такими мыслями вошел он в свою маленькую комнатку в небольшом деревянном доме на Васильевском острове в Пятнадцатой линии, в которой лежали разбросанные во всех углах ученические его начатки, копии с антиков, тщательные, точные, показывавшие в художнике старание постигнуть фундаментальные законы и внутренний размер природы. Долго рассматривал он их, и наконец мысли его потянулись одна за другою и стали выражаться почти словами, — так живо чувствовал он то, о чем размышлял!

«И вот год, как я тружусь над этим сухим, скелетным трудом! Стараюсь всеми силами узнать то, что так чудно дается великим творцам и кажется плодом минутного быстрого вдохновения. Только тронут они кистью, и уже является у них человек вольный, свободный, таков, каким он создан природою; движения его живы, непринужденны. Им это дано вдруг, а мне должно трудиться всю жизнь; всю жизнь исследовать скучные начала стихии, всю жизнь отдать бесцветной, не отвечающей на чувства работе. Вот мои маранья! Они верны, схожи с оригиналами; но захоти я произвесть свое — и у меня выйдет совсем не то: нога не станет так верно и непринужденно; рука не подымется так легко

и свободно; поворот головы у меня вовеки не будет так естествен, как у них, а мысль, а те невыразимые явления... Нет, я не буду никогда великим художником!»

Размышления его прерваны были вошедшим его камердинером, парнем лет осьмнадцати, в русской рубашке, с розовым лицом и рыжими волосами. Он без церемонии начал стягивать с Черткова сапоги, который был погружен в свои размышления. Этот парень в красной рубашке был его лакей, натурщик, чистил ему сапоги, зевал в маленькой его передней, тер краски и пачкал грязными ногами его польск. Взявши сапоги, он бросил ему халат и выходил уже из комнаты, как вдруг оборотил голову назад и произнес громко:

— Барин, свечу зажигать или нет?

— Зажги, — отвечал рассеянно Чертков.

— Да еще хозяин приходил, — примолвил кстати грязный камердинер, следуя похвальному обычаю всех людей его звания упоминать в P.S. о том, что поважнее. — Хозяин приходил и сказал, что если не заплатите денег, то вышвырнет все ваши картины за окошко вместе с кроватью.

— Скажи хозяину, чтобы не беспокоился о деньгах, — ответил Чертков, — я достал деньги.

При этом он обратился к карману фрака, но вдруг вспомнил, что все деньги свои оставил за портрет у лавочника. Мысленно начал он укорять себя в безрассудности, что выбежал без всякой причины из лавки, испугавшись ничтожного случая, и не взял с собою ни денег, ни портрета. Завтра же решился он идти к купцу и взять деньги, почитая себя совершенно вправе отказаться от такой покупки, тем более что его домашние обстоятельства не позволяли сделать никакой лишней издержки.

Свет луны ярким белым окном ложился на его пол, захватывая часть кровати и оканчиваясь на стене. Все предметы и картины, висевшие в его комнате, как-то улыбались, захвативши иногда краями своими часть этого вечно прекрасного сияния. В эту минуту как-то нечаянно он взглянул на стену и увидел на ней тот же самый странный портрет, так поразивший его в лавке. Легкая дрожь невольно пробежала по его телу. Первым делом его было позвать своего камердинера и натурщика и расспросить, каким образом и кто принес к нему портрет; но камердинер-натурщик

клялся, что никто не приходил, выключая хозяина, который был еще поутру и, кроме ключа, ничего не имел в своих руках. Чертков чувствовал, что волосы его зашевелились на голове. Севши возле окна, он силился себя уверить, что здесь не могло ничего быть сверхъестественного, что мальчик его мог в это время заснуть, что хозяин портрета мог его прислать, узнавши каким-нибудь особенным случаем его квартиру... Короче, он начал приводить все те плоские изъяснения, которые мы употребляем, когда хотим, чтобы случившееся случилось непременно так, как мы думаем. Он положил себе не смотреть на портрет, но голова его невольно к нему обращалась и взгляд, казалось, прикипал к странному изображению. Неподвижный взгляд старика был нестерпим; глаза совершенно светились, вбирая в себя лунный свет, и живость их до такой степени была страшна, что Чертков невольно закрыл свои глаза рукою. Казалось, слеза дрожала на ресницах старика; светлые сумерки, в которые владычица луна превратила ночь, увеличивали действие; полотно пропадало, и страшное лицо старика выдвинулось и глядело из рам, как будто из окошка.

Приписывая это сверхъестественное действие луне, чудесный свет которой имеет в себе тайное свойство придавать предметам часть звуков и красок другого мира, он приказал подать скорее свечу, около которой копался его лакей; но выражение портрета ничуть не уменьшилось: лунный свет, слившись с сиянием свечи, придал ему еще более непостижимой и вместе странной живости. Схвативши простыню, он начал закрывать портрет, свернул ее втрое, чтобы он не мог сквозь нее просвечивать, но при всем том, или это было следствие сильно потревоженного воображения, или собственные глаза его, утомленные сильным напряжением, получили какую-то беглую, движущуюся сноровку, — только ему долго казалось, что взор старика сверкал сквозь полотно. Наконец он решился погасить свечу и лечь в постель, которая была заставлена ширмами, скрывавшими от него портрет. Напрасно ожидал он сна: мысли самые неутешительные прогоняли то спокойное состояние, которое ведет за собою сон. Тоска, досада, хозяин, требующий денег, недоконченные картины — создания бессильных порывов, бедность — все это двигалось перед ним и сменялось одно другим. И когда на минуту удавалось ему прогнать их, то чудный портрет властительно втеснялся в его воображение,

и казалось, сквозь щелку в ширмах сверкали его убийственные глаза. Никогда не чувствовал он на душе своей такого тяжелого гнета. Свет луны, который содержит в себе столько музыки, когда вторгается в одинокую спальню поэта и приносит младенчески-очаровательные полусны над его изголовьем, — этот свет луны не наводил на него музыкальных мечтаний; его мечтания были болезненны. Наконец впал он не в сон, но в какое-то полузабвение, в то тягостное состояние, когда одним глазом видим приступающие грезы сновидений, а другим — в неясном облаке окружающие предметы. Он видел, как поверхность старика отделялась и сходила с портрета, так же как снимается с кипящей жидкости верхняя пена, подымалась на воздух и неслась к нему ближе и ближе, наконец приближалась к самой его кровати. Чертков чувствовал занимавшееся дыхание, силился приподняться, — но руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горели и вперились в него всею магнитною своею силою.

— Не бойся, — говорил странный старик, и Чертков заметил у него на губах улыбку, которая, казалось, жалила его своим осклаблением и яркою живостью осветила тусклые морщины его лица. — Не бойся меня, — говорило странное явление. — Мы с тобою никогда не разлучимся. Ты задумал весьма глупое дело; что тебе за охота целые веки корпеть за азбукою, когда ты давно можешь читать по верхам? Ты думаешь, что долгими усилиями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь, — при этом лицо его странно исковеркалось и какой-то неподвижный смех выразился на всех его морщинах, — ты получишь завидное право кинуться с Исакиевского моста в Неву или, завязавши шею платком, повеситься на первом попавшемся гвозде; а труды твои первый маляр, накупивши их на рубль, замажет грунтом, чтобы нарисовать на нем какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все делается в свете для пользы. Бери же скорее кисть и рисуй портреты со всего города! бери все, что они закажут; но не влюбляйся в свою работу, не сиди над нею дни и ночи; время летит скоро, и жизнь не останавливается. Чем более смастеришь ты в день своих картин, тем больше в кармане будет у тебя денег и славы. Брось этот чердак и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и потому даю тебе такие советы; я тебе и денег дам, только

приходи ко мне. — При этом старик опять выразил на лице своем тот же неподвижный, страшный смех.

Непостижимая дрожь проняла Черткова и выступила холодным потом на его лице. Собравши все свои усилия, он приподнял руку и наконец привстал с кровати. Но образ старика сделался тусклым, и он только заметил, как он ушел в свои рамы. Чертков встал с беспокойством и начал ходить по комнате. Чтобы немного освежить себя, он приблизился к окну. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изредка долетало до слуха отдаленное дребезжание дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Чертков уверился наконец, что воображение его слишком расстроено и представило ему во сне творение его же возмущенных мыслей. Он подошел еще раз к портрету: простыня его совершенно скрывала от взоров, и казалось, только маленькая искра сквозила изредка сквозь нее. Наконец он заснул и проспал до самого утра.

Проснувшись, он долго чувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова его неприятно болела. В комнате было тускло, неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленных картинами или натянутым грунтом. Скоро у дверей раздался стук, и вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких так же неприятно, как для богатых умильное лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чертков, был одно из тех творений, какими обыкновенно бывают владетели домов в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны; творение, каких очень много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был и капитан, и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп, но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке; уже не щеголял, не хвастал, не задирался; любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по своей комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого

месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать, — одним словом, был человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладной остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставляя руки, — извольте распорядиться и объявить ему.

— Я должен вам объявить, — сказал квартальный надзиратель, заложивши руку за петлю своего мундира, — что вы должны непременно заплатить должные вами уже за три месяца квартирные деньги.

— Я бы рад заплатить, но что же делать, когда нечем, — сказал хладнокровно Чертков.

— В таком случае хозяин должен взять себе вашу движимость, равностоящую сумме квартирных денег, а вам должно немедленно сегодня же выехать.

— Берите все, что хотите, — отвечал почти бесчувственно Чертков.

— Картины многие не без искусства сделаны, — продолжал квартальный, перебирая из них некоторые. — Жаль только, что не кончены и краски-то не так живы... Верно, недостаток в деньгах не позволял вам купить их? А это что за картина, завернутая в холстину?

При этом квартальный, без церемоний подошедши к картине, сдернул с нее простыню, потому что эти господа всегда позволяют себе маленькую вольность там, где видят совершенную беззащитность или бедность. Портрет, казалось, изумил его, потому что необыкновенная живость глаз производила на всех равное действие. Рассматривая картину, он несколько крепко сжал ее рамы, и так как руки у полицейских служителей всегда несколько отзываются топорной работою, то рамка вдруг лопнула; небольшая дощечка упала на пол вместе с брякнувшим на землю свертком золота, и несколько блестящих кружков покатилось во все стороны. Чертков с жадностью бросился подбирать и вырвал из полицейских рук несколько поднятых им червонцев.

— Как же вы говорите, что не имеете чем заплатить, — заметил квартальный, приятно улыбаясь, — а между тем у вас столько золотой монеты.

— Эти деньги для меня священны! — вскричал Чертков, опасаясь искусных рук полицейского. — Я должен их хранить, они вверены мне покойным отцом. Впрочем, чтобы вас удовлетворить, вот вам за квартиру! — При этом он бросил несколько червонцев хозяину дома.

Физиогномия и приемы в одну минуту изменились у хозяина и достойного блюстителя за нравами пьяных извозчиков.

Полицейский стал извиняться и уверять, что он только исполнял предписанную форму, а впрочем, никак не имел права его принудить; а чтобы более в этом уверить Черткова, он предложил ему приз табаку. Хозяин дома уверял, что он только пошутил, и уверял с такою божбою и бессовестностию, с какою обыкновенно уверяет купец в Гостином дворе.

Но Чертков выбежал вон и не решился более оставаться на прежней квартире. Он не имел даже времени подумать о странности этого происшествия. Осмотревши сверток, он увидел в нем более сотни червонцев. Первым делом его было нанять щегольскую квартиру. Квартира, попавшаяся ему, была как нарочно для него приготовлена: четыре в ряд высокие комнаты, большие окна, все выгоды и удобства для художника! Лежа на турецком диване и глядя в цельные окна на растущие и мелькающие волны народа, он был погружен в какое-то самодовольное забвение и дивился сам своей судьбе, еще вчера пресмыкавшейся с ним на чердаке. Недоконченные и оконченные картины развесились по стройным колоссальным стенам; между ними висел таинственный портрет, который достался ему таким единственным образом. Он опять стал думать о причине необыкновенной живости его глаз. Мысли его обратились к видимому им полусновидению, наконец, к чудному кладу, скрывавшемуся в его рамках. Все привело его к тому, что какая-нибудь история соединена с существованием портрета и что даже, может быть, его собственное бытие связано с этим портретом. Он вскочил с своего дивана и начал его внимательно рассматривать: в раме находился ящик, прикрытый тоненькой дощечкой, но так искусно заделанной и заглаженной с поверхностью, что никто бы не мог узнать о его существовании, если

бы тяжелый палец квартального не продавил дощечки. Он поставил его на место и еще раз на него посмотрел. Живость глаз уже не казалась ему так страшною среди яркого света, наполнявшего его комнату сквозь огромные окна, и многолюдного шума улицы, громившего его слух, но она заключала в себе что-то неприятное, так что он постарался скорее от него отворотиться.

В это время зазвенел звонок у дверей, и вошла к нему почтенная дама пожилых лет, с талией в рюмочку, в сопровождении молоденькой лет осьмнадцати; лакей в богатой ливрее отворил им дверь и остановился в передней.

— Я к вам с просьбою,— произнесла дама ласковым тоном, с каким обыкновенно они говорят с художниками, французскими парикмахерами и прочими людьми, рожденными для удовольствия других. — Я слышала о ваших дарованиях... (Чертков удивился такой скорой своей славе.) Мне хочется, чтобы вы сняли портрет с моей дочери.

При этом бледное личико дочери обратилось к художнику, который, если бы был знаток сердца, то вдруг бы прочел на нем немноготомную историю ее: ребяческая страсть к балам, тоска и скука продолжительного времени до обеда и после обеда, желание побегать в платье последней моды на многолюдном гулянье, нетерпеливость увидеть свою приятельницу для того, чтобы ей сказать: «Ах, милая, как я скучала», — или объявить, какую мадам Сихлер сделала уборку к платью княгини Б... Вот все, что выражало лицо молодой посетительницы, бледное, почти без выражения, с оттенкою какой-то болезненной желтизны.

— Я бы желала, чтобы вы теперь же принялись за работу, — продолжала дама, — мы можем вам дать час.

Чертков бросился к краскам и кистям, взял уже готовый натянутый грунт и устроился как следует.

— Я вас должна несколько предуведомить,— говорила дама, — насчет моей Анет и этим облегчить несколько ваш труд. В глазах ее и даже во всех чертах лица всегда была заметна томность; моя Анет очень чувствительна, и, признаюсь, я никогда не даю ей читать новых романов!— Художник смотрел в оба и не заметил никакой томности.— Мне бы хотелось, чтобы вы изобразили ее просто в семейном кругу или, еще лучше, одну на чистом воздухе, в зеленой тени, чтобы ничто не показывало,

будто она едет на бал. Наши балы, должно признаться, так скучны и так убивают душу, что, право, я не понимаю удовольствия бывать на них.

Но на лице дочери и даже самой почтенной дамы было написано резкими чертами, что они не пропускали ни одного бала.

Чертков был минуту в размышлении, как согласить эти небольшие противуположности, наконец решился избрать благоразумную середину. Притом его прельщало желание победить трудности и восторжествовать искусством, сохранив двусмысленное выражение портрета. Кисть бросила на полотно первый туман, художнический хаос; из него начали делиться и выходить медленно образующиеся черты. Он приник весь к своему оригиналу и уже начал уловлять те неуловимые черты, которые самому бесцветному оригиналу придают в правдивой копии какой-то характер, составляющий высокое торжество истины. Какой-то сладкий трепет начал им одолевать, когда он чувствовал, что наконец подметил и, может быть, выразит то, что очень редко удается выражать. Это наслаждение, неизъяснимое и прогрессивно возвышающееся, известно только таланту. Под кистью его лицо портрета как будто невольно приобретало тот колорит, который был для него самого внезапным открытием; но оригинал начал так сильно вертеться и зевать перед ним, что художнику, еще неопытному, трудно было ловить урывками и мгновеньями постоянное его выражение.

— Мне кажется, на первый раз довольно, — произнесла почтенная дама.

Боже, как это ужасно! А душа и силы разохотились и хотели разгуляться. Повесивши голову и бросивши палитру, стоял он перед своею картиною.

— Мне, однако ж, сказали, что вы в два сеанса оканчиваете совершенно портрет, — произнесла дама, подходя к картине, — а у вас до сих пор еще только почти один абрис. Мы приедем к вам завтра в это же время.

Молчаливо выпроводил своих гостей художник и остался в неприятном размышлении. В его тесном чердаке никто не перебивал ему, когда он сидел над своею незаказною работою. С досадой отодвинул он начатый портрет и хотел заняться другими недоконченными работами. Но как будто можно мысль

и чувства, проникнувшие уже до души, заместить новыми, в которые еще не успело влюбиться наше воображение? Бросивши кисть, он вышел из дому.

Юность счастлива тем, что перед нею бежит множество разных дорог, что ее живая, свежая душа доступна тысяче разных наслаждений; и потому Чертков рассеялся почти в одну минуту. Несколько червонцев в кармане — и что ни во власти исполненной сил юности! Притом русский человек, а особливо дворянин или художник, имеет странное свойство: как только завелся у него в кармане грош — ему все трын-трава и море по колена. У него оставалось еще от денег, заплаченных вперед за квартиру, около тридцати червонцев. И все эти тридцать червонцев он спустил в один вечер. Прежде всегда он приказал себе подать обед отличнейший, выпил две бутылки вина и не захотел взять сдачи, нанял щегольскую карету, чтобы только съездить в театр, находившийся в двух шагах от его квартиры, угостил в кондитерской трех своих приятелей, зашел еще кое-куда и возвратился домой без копейки в кармане. Бросившись в кровать, он уснул крепко, но сновидения его были так же несвязны, и грудь, как и в первую ночь, сжималась, как будто чувствовала на себе что-то тяжелое; он увидел сквозь щелку своих ширм, что изображение старика отделилось от полотна и с выражением беспокойства пересчитывало кучи денег, золото сыпалось из его рук... Глаза Черткова горели; казалось, его чувства узнали в золоте ту неизъяснимую прелесть, которая дотоле ему не была понятна. Старик его манил пальцем и показывал ему целую гору червонцев. Чертков судорожно протянул руку и проснулся. Проснувшись, он подошел к портрету, тряс его, изрезал ножом все его рамы, но нигде не находил запрятанных денег; наконец махнул рукою и решился работать, дал себе слово не сидеть долго и не увлекаться заманчивою кистью.

В это время приехала вчерашняя дама с своею бледною Анетою. Художник поставил на станок свой портрет, и на этот раз кисть его неслась быстрее. Солнечный день, ясное освещение дали какое-то особенное выражение оригиналу, и открылось множество дотоле не замеченных тонкостей. Душа его загорелась опять напряжением. Он силился схватить мельчайшую точку или черту, даже самую желтизну и неровное изменение колорита в лице

зевавшей и изнуренной красавицы с тою точностию, которую позволяют себе неопытные артисты, воображающие, что истина может нравиться так же и другим, как нравится им самим. Кисть его только что хотела схватить одно общее выражение всего целого, как досадное «довольно» раздалось над его ушами и дама подошла к его портрету.

— Ах, Боже мой! Что это вы нарисовали? — вскрикнула она с досадою. — Анет у вас желта; у ней под глазами какие-то темные пятна; она как будто приняла несколько склянок микстуры. Нет, ради Бога, исправьте ваш портрет: это совсем не ее лицо. Мы к вам будем завтра в это же время.

Чертков с досадою бросил кисть; он проклинал и себя, и палитру, и ласковую даму, и дочь ее, и весь мир. Голодный просидел он в своей великолепной комнате и не имел сил приняться ни за одну картину. На другой день, вставши рано, он схватил первую попавшуюся ему работу: это была давно начатая им Псишея, поставил ее на станок, с намерением насильно продолжать. В это время вошла вчерашняя дама.

— Ах, Анет, посмотри, посмотри сюда! — вскричала дама с радостным видом. — Ах, как похоже! прелесть! прелесть! и нос, и рот, и брови! чем вас благодарить за этот прекрасный сюрприз? Как это мило! Как хорошо, что эта рука немного приподнята. Я вижу, что вы, точно, тот великий художник, о котором мне говорили.

Чертков стоял как оторопелый, увидевши, что дама приняла его Псишею за портрет своей дочери. С застенчивостью новичка он начал уверять, что этим слабым эскизом хотел изобразить Псишею, но дочь приняла это себе за комплимент и довольно мило улыбнулась, улыбку разделила мать. Адская мысль блеснула в голове художника, чувство досады и злости подкрепило ее, и он решился этим воспользоваться.

— Позвольте мне попросить вас сегодня посидеть немного подолее, — произнес он, обратясь к довольной на этот раз блондинке. — Вы видите, что платья я еще не делал вовсе, потому что хотел все с большею точностию рисовать с натуры.

Быстро он одел свою Псишею в костюм XIX века; тронул слегка глаза, губы, просветлил слегка волосы и отдал портрет своим посетительницам. Пук ассигнаций и ласковая улыбка благодарности были ему наградою.

Но художник стоял, как прикованный к одному месту. Его грызла совесть; им овладела та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношею, носящим в душе благородство таланта, которая заставляет если не истреблять, то, по крайней мере, скрывать от света те произведения, в которых он сам видит несовершенство, которая заставляет скорее вытерпеть презрение всей толпы, нежели презрение истинного ценителя. Ему казалось, что уже стоит перед его картиною грозный судия и, качая головою, укоряет его в бесстыдстве и бездарности. Чего бы он не дал, чтоб возвратить только ее назад! Уже он хотел бежать вслед за дамою, вырвать портрет из рук ее, разорвать и растоптать его ногами, но как это сделать? Куда идти? Он не знал даже фамилии его посетительницы.

С этого времени, однако ж, произошла в жизни его счастливая перемена. Он ожидал, что бесславие покроет его имя, но вышло совершенно напротив. Дама, заказывавшая портрет, рассказала с восторгом о необыкновенном художнике, и мастерская нашего Черткова наполнилась посетителями, желавшими удвоить и, если можно, удесятерить свое изображение. Но свежий, еще невинный, чувствующий в душе недостойным себя к принятию такого подвига, Чертков, чтобы сколько-нибудь загладить и искупить свое преступление, решился заняться со всевозможным старанием своею работою, решился удвоить напряжение своих сил, которое одно производит чудеса. Но намерения его встретили непредвиденные препятствия: посетители его, с которых он рисовал портреты, были большею частию народ нетерпеливый, занятой, торопящийся, и потому, едва только кисть его начинала творить что-нибудь не совсем обыкновенное, как уже вваливался новый посетитель, преважно выставлял свою голову, горя желанием увидеть ее скорее на полотне, и художник спешил скорее оканчивать свою работу. Время его наконец было так разобрано, что̀ он ни на одну минуту не мог предаться размышлению; и вдохновение, беспрестанно истребляемое при самом рождении своем, наконец отвыкло навещать его. Наконец, чтобы ускорять свою работу, он начал заключаться в известные, определенные, однообразные, давно изношенные формы. Скоро портреты его были похожи на те фамильные изображения старых художников, которые так часто можно встретить во всех краях Европы и даже

во всех углах мира, где дамы изображены с сложенными на груди руками и держащими цветок в руке, а кавалеры в мундире, с заложенною за пуговицу рукою. Иногда желал он дать новое, еще не избитое положение, отличавшееся бы оригинальностью и непринужденностью, но, увы! все непринужденное и легкое у поэта и художника достается слишком принужденно и есть плод великих усилий. Для того, чтобы дать новое, смелое выражение, постигнуть новую тайну в живописи, для этого нужно было ему долго думать, отвративши глаза от всего окружающего, унесшись от всего мирского и жизни. Но на это у него не оставалось времени, и притом он слишком был изнурен дневною работою, чтобы быть в готовности принять вдохновение; мир же, с которого он рисовал свои произведения, был слишком обыкновенен и однообразен, чтобы вызвать и возмутить воображение. Глубоко размышляющее и вместе неподвижное лицо директора департамента, красивое, но вечно на одну мерку лицо уланского ротмистра, бледное, с натянутою улыбкою, петербургской красавицы и множество других, уже чересчур обыкновенных, — вот все, что каждый день менялось перед нашим живописцем. Казалось, кисть его сама приобрела наконец ту бесцветность и отсутствие энергии, которою означались его оригиналы.

Беспрестанно мелькавшие перед ним ассигнации и золото наконец усыпили девственные движения души его. Он бесстыдно воспользовался слабостью людей, которые за лишнюю черту красоты, прибавленную художником к их изображениям, готовы простить ему все недостатки, хотя бы эта красота была во вред самому сходству.

Чертков наконец сделался совершенно модным живописцем. Вся столица обратилась к нему; его портреты видны были во всех кабинетах, спальнях, гостиных и будуарах. Истинные художники пожимали плечами, глядя на произведения этого баловня могущественного случая. Напрасно силились они отыскать в нем хотя одну черту верной истины, брошенную жарким вдохновением: это были правильные лица, почти всегда недурные собою, потому что понятие красоты удержалось еще в художнике, но никакого знания сердца, страстей или хотя привычек человека, — ничего такого, что бы отзывалось сильным развитием тонкого вкуса. Некоторые же, знавшие Черткова, удивлялись

этому странному событию, потому что видели в первых его началах присутствие таланта, и старались разрешить непостижимую загадку: как может дарование угаснуть в цвете сил, вместо того чтобы развиться в полном блеске?

Но этих толков не слышал самодовольный художник и величался всеобщею славою, потряхивая червонцами своими и начиная верить, что все в свете обыкновенно и просто, что откровения свыше в мире не существует и все необходимо должно быть подведено под строгий порядок аккуратности и однообразия. Уже жизнь его коснулась тех лет, когда все дышащее порывом сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновение красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательнее в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может насытить и дать наслаждения тому, который украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целию. Пуки ассигнаций росли в сундуках его. И как всякий, которому достается этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему и равнодушным ко всему. Казалось, он готов был превратиться в одно из тех странных существ, которые иногда попадаются в мире, на которых с ужасом глядит исполненный энергии и страсти человек и которому они кажутся живыми телами, заключающими в себе мертвеца. Но, однако же, одно событие сильно потрясло его и дало совершенно другое направление его жизни.

В один день он увидел на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом присланном из Италии произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству; с пламенною силою труженика погряз в нем всею душою своею и для него, оторвавшись от друзей, от родных, от милых привычек, бросился без всяких пособий

в неизвестную землю; терпел бедность, унижение, даже голод, но с редким самоотвержением, презревши все, был бесчувствен ко всему, кроме своего милого искусства.

Вошедши в залу, нашел он толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Чертков, принявши значительную физиогномию знатока, приблизился к картине, но, Боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло перед ним произведение художника. И хоть бы какое-нибудь видно было в нем желание блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславие, хотя бы мысль о том, чтобы показаться черни, — никакой, никаких! Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, как талант, как гений. Изумительно прекрасные фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна и, изумленные столькими устремленными на них взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасные ресницы. В чертах божественных лиц дышали те тайные явления, которых душа не умеет, не знает пересказать другому; невыразимо выразимое покоилось на них; и все это было наброшено так легко, так скромно-свободно, что, казалось, было плодом минутного вдохновения художника, вдруг осенившей его мысли. Вся картина была — мгновение, но то мгновение, к которому вся жизнь человеческая — есть одно приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окружавших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чертков перед картиною и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников: что произведение хорошо и в художнике виден талант, но желательно, чтобы во многих местах лучше была выполнена мысль и отделка, — но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. Боже! и погубить так безжалостно все лучшие годы своей юности, истребить, погасить искру огня, может быть теплившегося в груди, может быть развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице, весь обратился он в одно желание и, можно сказать, загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностью и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. В досаде он принял прочь из своей комнаты все труды свои, означенные мертвою бледностью поверхностной моды, запер дверь, не велел никого впускать к себе и занялся, как жаркий юноша, своею работою. Но, увы! на каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Иногда осенял его внезапный призрак великой мысли, воображение видело в темной перспективе что-то такое, что, схвативши и бросивши на полотно, можно было сделать необыкновенным и вместе доступным для всякой души, какая-то звезда чудесного сверкала в неясном тумане его мыслей, потому что он точно носил в себе призрак таланта; но, Боже! какое-нибудь незначащее условие, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило — и мысль замирала, порыв бессильного воображения цепенел нерассказанный, неизображенный; кисть его невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного

поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам! Пот катился с него градом, губы дрожали, и после долгой паузы, во время которой бунтовали внутри его все чувства, он принимался снова; но в тридцать с лишком лет труднее изучать скучную лестницу трудных правил и анатомии, еще труднее постигнуть то вдруг, что развивается медленно и дается за долгие усилия, за великие напряжения, за глубокое самоотвержение. Наконец он узнал ту ужасную муку, которая как поразительное исключение является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться, ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду, ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. Наконец в душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая ужасным смехом адского наслаждения. Едва только появлялось где-нибудь свежее произведение, дышащее огнем нового таланта, он употреблял все усилия купить его во что бы то ни стало. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. И люди, носившие в себе искру божественного познания, жадные одного великого, были безжалостно, бесчеловечно лишены тех святых, прекрасных произведений, в которых великое искусство приподняло покров с неба и показало человеку часть исполненного звуков и священных тайн его же внутреннего мира. Нигде, ни в каком уголке не могли они сокрыться от его хищной страсти, не знавшей никакой

пощады. Его зоркий, огненный глаз проникал всюду и находил даже в заброшенной пыли след художественной кисти. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на его лицо; на нем всегда почти была разлита желчь; глаза сверкали почти безумно; нависнувшие брови и вечно перерезанный морщинами лоб придавали ему какое-то дикое выражение и отделяли его совершенно от спокойных обитателей земли.

К счастию мира и искусства, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладели им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Портрет этот двоился, четверился в его глазах, и, наконец, ему чудилось, что все стены были увешаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные живые глаза. Страшные портреты глядели на него с потолка, с полу, и вдобавок он видел, как комната расширялась и продолжалась пространнее, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и пронзительным, невыразимо раздирающим голосом кричал и молил, чтобы приняли от него неотразимый портрет с живыми глазами, которого место он описывал с странными для безумного подробностями. Напрасно употребляли все старания, чтобы отыскать этот чудный портрет.

Все было перерыто в доме, но портрет не отыскивался. Тогда больной приподнимался с беспокойством и опять начинал описывать его место с такою точностью, которая показывала присутствие ясного и проницательного ума; но все поиски были тщетны. Наконец доктор заключил, что это было больше ничего, кроме особенное явление безумия. Скоро жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств, но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою посетителей, налетевших, как хищные птицы, на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и физиогномия была здесь как-то тверже, вольнее и не означалась тою приторною услужливостью, которая так видна в русском купце. Они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех значительных аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитающие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1-го часа; наконец, те благородные господа, которых платья и карманы чрезвычайно худы, которые являются ежедневно без всякой

корыстолюбивой цели, но единственно чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин разбросано было совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели и книги с вензелями прежнего владетеля, который, верно, не имел похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старинные мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — все было навалено и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона странно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах всех, и голоса: «Сто рублей!», «Рубль и двадцать копеек!», «Четыреста рублей пятьдесят копеек!» — протяжно вырывающиеся из уст, как-то дики для слуха. Но еще более производит впечатления погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь, искусствам.

Однако же аукцион еще не начинался; посетители рассматривали разные вещи, набросанные горою на полу. Между тем небольшая толпа остановилась перед одним портретом; на нем был изображен старик с такою странною живостью глаз, что невольно приковал к себе их внимание. В художнике нельзя было не признать истинного таланта; произведение хотя было не окончено, но, однако же, носило на себе резкий признак могущественной кисти; но при всем том эта сверхъестественная живость глаз возбуждала какой-то невольный упрек художнику. Они чувствовали, что это верх истины, что изобразить ее в такой степени может только гений, но что этот гений уже слишком дерзко перешагнул границы воли человека. Внимание их прервало внезапное восклицание одного, уже несколько пожилых лет, посетителя. «Ах, это он!» — вскрикнул он в сильном движении и неподвижно вперил глаза на портрет. Такое восклицание, натурально, зажгло во всех любопытство, и некоторые из рассматривавших никак не утерпели, чтобы не сказать, оборотившись к нему:

— Вам, верно, известно что-нибудь об этом портрете?

— Вы не ошиблись, — отвечал сделавший невольное восклицание. — Точно, мне более, нежели кому другому, известна история этого портрета. Все уверяет меня, что он должен быть тот самый, о котором я хочу говорить. Так как я замечаю, что вас всех интересует о нем узнать, то я теперь же готов несколько удовлетворить вас.

Посетители наклонением головы изъявили свою благодарность и с большою внимательностию приготовились слушать.

— Без сомнения, немногим из вас, — так начал он, — известна хорошо та часть города, которую называют Коломной. Характеристика ее отличается резкою особенностью от других частей города. Нравы, занятия, состояния, привычки жителей совершенно отличны от прочих. Здесь ничто не похоже на столицу, но вместе с этим не похоже и на провинциальный городок, потому что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизированной жизни проникла и сюда и оказалась в таких тонких мелочах, какие может только родить многолюдная столица. Тут совершенно другой свет, и, въехавши в уединенные коломенские улицы, вы, кажется, слышите, как оставляют вас молодые желания и порывы. Сюда не заглядывает живительное радужное будущее. Здесь все тишина и отставка. Здесь все, что осело от движения столицы. И в самом деле, сюда переезжают отставные чиновники, которых пенсион не превышает пятисот рублей в год; вдовы, жившие прежде мужними трудами; небогатые люди, имеющие приятное знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь на целую жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавке и забирающие каждый день на пять копеек кофию и на четыре копейки сахару; наконец, весь тот разряд людей, который я назову пепельным, которые с своим платьем, лицом, волосами имеют какую-то тусклую пепельную наружность. Они похожи на серенький день, когда солнце не слепит своим ярким блеском, когда тоже буря не свищет, сопровождаемая громом, дождем и градом, но просто когда на небе бывает ни се ни то: сеется туман и отнимает всю резкость у предметов. Лица этих людей бывают как-то искрасна-рыжеватые, волосы тоже красноватые; глаза почти всегда без блеска; платье их тоже

совершенно матовое и представляет тот мутный цвет, который происходит, когда смешаешь все краски вместе, и вообще вся их наружность совершенно матовая. К этому разряду можно причислить отставных театральных капельдинеров, уволенных пятидесятилетних титулярных советников, отставных питомцев Марса с двухсотрублевым пенсионом, выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: им все трын-трава; идут они, совершенно не обращая внимания ни на какие предметы, молчат, совершенно не думая ни о чем. В комнате их только кровать и штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого смелого прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот студент Мещанской улицы, один владеющий тротуаром за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне всегда однообразна: редко гремит в мирных улицах карета, кроме разве той, в которой ездят актеры и которая звоном, громом и бряканьем своим смущает всеобщую тишину. Здесь все почти — пешеходы. Извозчик редко, лениво, и почти всегда без седока, волочится, таща вместе с собою сено для своей скромной клячи. Цена квартир редко достигает тысячи рублей; их больше от пятнадцати до двадцати и тридцати рублей в месяц, не считая множества углов, которые отдаются с отоплением и кофием за четыре с полтиною в месяц. Вдовы-чиновницы, получающие пенсион, самые солидные обитательницы этой части. Они ведут себя очень хорошо, метут довольно чисто свою комнату и говорят с своими соседками и приятельницами о дороговизне говядины, картофеля и капусты; при них находится очень часто молоденькая дочь, молчаливое, безгласное существо, впрочем иногда довольно миловидное; при них находится также довольно гадкая собачонка и старинные часы с печально постукивающим маятником. Эти-то чиновницы занимают лучшие отделения, от двадцати до тридцати, а иногда и до сорока рублей. За ними следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны. Это народ свободный, как все артисты, живущие для наслаждения. Они, сидя в своих халатах, или вытачивают из кости какие-нибудь безделки, или починивают пистолет, или клеят из картона какие-нибудь полезные для дома вещи,

или играют с пришедшим приятелем в шашки или карты и так проводят утро; то же делают ввечеру, примешивая к этому часто пунш. После этих тузов, этого аристократства Коломны, следует необыкновенная дробь и мелочь; и для наблюдателя так же трудно сделать перечень всем лицам, занимающим разные углы и закоулки одной комнаты, как поименовать все то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Какого народа вы там не встретите! Старухи, которые молятся, старухи, которые пьянствуют, старухи, которые пьянствуют и молятся вместе, старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собою старые тряпья и белье от Калинкина моста до толкучего рынка с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек. Словом, весь жалкий и несчастный осадок человечества.

Естественное дело, что этот народ терпит иногда большой недостаток, не дающий возможности вести их обыкновенную, бедную жизнь; они должны часто делать экстренные займы, чтобы выпутаться из своих обстоятельств. Тогда находятся между ними такие люди, которые носят громкое название капиталистов и могут снабжать за разные проценты, всегда почти непомерные, суммою от двадцати до ста рублей. Эти люди мало-помалу составляют состояние, которое позволяет завестись иногда собственным домиком. Но на этих ростовщиков вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилию Петромихали. Был ли он грек, или армянин, или молдаван — этого никто не знал, но, по крайней мере, черты лица его были совершенно южные. Ходил он всегда в широком азиатском платье, был высокого роста, лицо его было темно-оливкового цвета, нависнувшие черные с проседью брови и такие же усы придавали ему несколько страшный вид. Никакого выражения нельзя было заметить на его лице: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контраст своею южною резкою физиогномией с пепельными обитателями Коломны. Петромихали вовсе не был похож на помянутых ростовщиков этой уединенной части города. Он мог выдать сумму, какую бы только от него ни потребовали; натурально, что за то и проценты были тоже необыкновенны. Ветхий дом его со множеством пристроек находился на Козьем болоте. Он был бы не так дряхл, если бы владелец его сколько-нибудь разорился

на починку, но Петромихали не делал решительно никаких издержек. Все комнаты его, выключая небольшой лачужки, которую он занимал сам, были холодные кладовые, в которых кучами были набросаны фарфоровые, золотые, яшмовые вазы, всякий хлам, даже мебели, которые приносили ему в залог разных чинов и званий должники, потому что Петромихали не пренебрегал ничем, и, несмотря на то что давал по сотне тысяч, он также готов был служить суммою, не превышавшею рубля. Старое негодное белье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги — все готов он был принять в свои кладовые, и нищий смело адресовался к нему с узелком в руке. Дорогие жемчуги, обвивавшие, может быть, прелестнейшую шею в мире, заключались в его грязном железном сундуке вместе с старинною табакеркою пятидесятилетней дамы, вместе с диадемою, возвышавшеюся над алебастровым лбом красавицы, и бриллиантовым перстнем бедного чиновника, получившего его в награду неутомимых своих трудов. Но нужно заметить, что одна только слишком крайняя нужда заставляла обращаться к нему. Его условия были так тягостны, что отбивали всякое желание. Но страннее всего, что с первого разу проценты казались не очень велики. Он посредством своих странных и необыкновенных выкладок расположил таким непонятным образом, что они росли у него страшною прогрессией, и даже контрольные чиновники не могли проникнуть этого непостижимого правила, тем более что оно казалось основанным на законах строгой математической истины; они видели явно преувеличение итога, но видели тоже, что в этих вычетах нет никакой ошибки. Жалость, как и все другие страсти чувствующего человека, никогда не достигала к нему, и никакие мольбы не могли преклонить его к отсрочке или к уменьшению платежа. Несколько раз находили у дверей его окостеневших от холода несчастных старух, которых посиневшие лица, замерзнувшие члены и мертвые вытянутые руки, казалось, и по смерти еще молили его о милости. Это возбуждало часто всеобщее негодование, и полиция несколько раз хотела разобрать внимательнее поступки этого странного человека, но квартальные надзиратели всегда умели под какими-нибудь предлогами уклонить и представить дело в другом виде, несмотря на то что они гроша не получали от него. Но богатство имеет такую странную силу, что ему верят, как государственной

ассигнации. Оно, не показываясь, может невидимо двигать всеми, как раболепными слугами. Это странное существо сидело, поджавши под себя ноги, на почерневшем диване, принимая недвижно просителей, слегка только мигнувши бровью в знак поклона; и ничего не можно было от него услышать лишнего или постороннего. Носились, однако ж, слухи, что будто бы он иногда давал деньги даром, не требуя возврата, но только такое предлагал условие, что все бежали от него с ужасом, и даже самые болтливые хозяйки не имели сил пошевелить губами, чтобы пересказать их другим. Те же, которые имели дух принять даваемые им деньги, желтели, чахли и умирали, не смея открыть тайны.

В этой части города имел небольшой домик один художник, славившийся в тогдашнее время своими действительно прекрасными произведениями. Этот художник был отец мой. Я могу вам показать несколько работ его, выказывающих решительный талант. Жизнь его была самая безмятежная. Это был тот скромный набожный живописец, какие только жили во время религиозных Средних веков. Он мог бы иметь большую известность и нажить большое состояние, если бы решился заняться множеством работ, которые предлагали ему со всех сторон; но он любил более заниматься предметами религиозными и за небольшую цену взялся расписать весь иконостас приходской церкви. Часто случалось ему нуждаться в деньгах, но никогда не решался он прибегнуть к ужасному ростовщику, хотя имел всегда впереди возможность уплатить долг, потому что ему стоило только присесть и написать несколько портретов — и деньги были бы в его кармане. Но ему так жалко было оторваться от своих занятий, так грустно было разлучиться хотя на время с любимою мыслью, что он лучше готов был несколько дней просидеть голодным в своей комнате, и на что бы он всегда решился, если бы не имел страстно любимой им жены и двух детей, из которых одного вы видите теперь перед собою. Однако же один раз крайность его так увеличилась, что он готов уже был идти к греку, как вдруг внезапно распространилась весть, что ужасный ростовщик находился при смерти. Это происшествие его поразило, и он уже готов был признать его нарочно посланным свыше для воспрепятствования его намерению, как встретил в сенях своих запыхавшуюся старуху, исправлявшую при ростовщике три разные должности: кухарки, дворника

и камердинера. Старуха, совершенно отвыкшая говорить, находясь при своем странном господине, глухо пробормотала несколько несвязных отрывистых слов, из которых отец мог только узнать, что господин ее имеет в нем крайнюю нужду и просил его взять с собою краски и кисти. Отец мой не мог придумать, на что бы он мог быть ему нужен в такое время, и притом еще с красками и кистями, но, побуждаемый любопытством, схватил свой ящик с живописным прибором и отправился за старухою.

Он насилу мог продраться сквозь толпу нищих, обступивших жилище умиравшего ростовщика и питавших себя надеждою, что авось-либо наконец перед смертию раскается этот грешник и раздаст малую часть из бесчисленного своего богатства. Он вошел в небольшую комнату и увидел протянувшееся почти во всю длину ее тело азиатца, которое он принял было за умершее, так оно вытянулось и было неподвижно. Наконец высохшая голова его приподнялась и глаза его так страшно устремились, что отец мой задрожал. Петромихали сделал глухое восклицание и наконец произнес: «Нарисуй с меня портрет!» Отец мой изумился такому странному желанию; он начал представлять ему, что теперь уже не время об этом думать, что он должен отвергнуть всякое земное желание, что уже немного минут осталось жить ему и потому пора помыслить о прежних своих делах и принести покаяние Всевышнему. «Я не хочу ничего; нарисуй с меня портрет!» — произнес твердым голосом Петромихали, причем лицо его покрылось такими конвульсиями, что отец мой, верно бы, ушел, если бы чувство, весьма извинительное в художнике, пораженном необыкновенным предметом для кисти, не остановило его. Лицо ростовщика именно было одно из тех, которые составляют клад для артиста. Со страхом и вместе с каким-то тайным желанием поставил он холст за неимением станка к себе на колени и начал рисовать. Мысль употребить после это лицо в своей картине, где хотел он изобразить одержимого бесами, которых изгоняет могущественное слово Спасителя, эта мысль заставила его усилить свое рвение. С поспешностью набросал он абрис и первые тени, опасаясь каждую минуту, что жизнь ростовщика вдруг прервется, потому что смерть уже, казалось, носилась на устах его. Изредка только он издавал хрипение и с беспокойством устремлял страшный взгляд свой на картину; наконец

что-то подобное радости мелькнуло в его глазах, при виде, как черты его ложились на полотно. Опасаясь ежеминутно за жизнь его, отец мой прежде всего решился заняться окончательною отделкою глаз. Это был предмет самый трудный, потому что чувство, в них изображавшееся, было совершенно необыкновенно и невыразимо. Около часу трудился он возле них и наконец совершенно схватил тот огонь, который уже потухал в его оригинале. С тайным удовольствием он отошел немного подалее от картины, чтобы лучше рассмотреть ее, и с ужасом отскочил от нее, увидев живые, глядящие на него глаза. Непостижимый страх овладел им в такой степени, что он, швырнув палитру и краски, бросился к дверям; но страшное, почти полумертвое тело ростовщика приподнялось с своей кровати и схватило его тощею рукою, приказывая продолжать работу. Отец мой клялся и крестился, что не станет продолжать. Тогда это ужасное существо повалилось с своей кровати, так что его кости застучали, собрало все свои силы, глаза его блеснули живостью, руки обхватили ноги моего отца, и он, ползая, целовал полы его платья и умолял дорисовать портрет. Но отец был неумолим и дивился только силе его воли, перемогшей самое приближение смерти. Наконец отчаянный Петромихали выдвинул с необыкновенною силою из-под кровати сундук, и страшная куча золота грянула к ногам моего отца; видя и тут его непреклонность, он повалился ему в ноги, и целый поток заклинаний полился из его молчаливых дотоле уст. Невозможно было не чувствовать какого-то ужасного и даже, если можно сказать, отвратительного сострадания. «Добрый человек! Божий человек! Христов человек! — говорил с выражением отчаяния этот живой скелет. — Заклинаю тебя маленькими детьми твоими, прекрасною женою, гробом отца твоего, кончи портрет с меня! еще один час только посиди за ним! Слушай, я тебе объявлю одну тайну. — При этом смертная бледность начала сильнее проступать на лице его. — Но тайны этой никому не объявляй — ни жене, ни детям твоим, а не то и ты умрешь, и они умрут, и все вы будете несчастны. Слушай, если ты теперь не сжалишься, то уже больше не стану просить. После смерти я должен идти к тому, к которому бы я не хотел идти. Там я должен вытерпеть муки, о каких тебе и во сне не слышалось; но я могу долго еще не идти к нему, до тех пор, покуда стоит земля наша, если ты только докончишь портрет

мой. Я узнал, что половина жизни моей перейдет в мой портрет, если только он будет сделан искусным живописцем. Ты видишь, что уже в глазах осталась часть жизни; она будет и во всех чертах, когда ты докончишь. И хотя тело мое сгибнет, но половина жизни моей останется на земле, и я убегу надолго еще от мук. Дорисуй! дорисуй! дорисуй!..» — кричало раздирающим и умирающим голосом это странное существо. Ужас еще более овладел моим отцом. Он слышал, как поднялись его волоса от этой ужасной тайны, и выронил кисть, которую было уже поднял, тронутый его мольбами. «А, так ты не хочешь дорисовать меня? — произнес хрипящим голосом Петромихали. — Так возьми же себе портрет мой: я тебе его дарю». При сих словах что-то вроде страшного смеха выразилось на устах его: жизнь, казалось, еще раз блеснула в его чертах, и чрез минуту пред ним остался синий труп. Отец не хотел притронуться к кистям и краскам, рисовавшим эти богоотступные черты, и выбежал из комнаты.

Чтобы развлечь неприятные мысли, нанесенные этим происшествием, он долго ходил по городу и ввечеру возвратился домой. Первый предмет, попавшийся ему в мастерской его, был писанный им портрет ростовщика. Он обратился к жене, к женщине, прислуживавшей на кухне, к дворнику, но все дали решительный ответ, что никто не приносил портрета и даже не приходил во время его отсутствия. Это заставило его минуту задуматься. Он приблизился к портрету и невольно отвратил глаза свои, проникнутый отвращением к собственной работе. Он приказал его снять и вынесть на чердак, но при всем том чувствовал какую-то странную тягость, присутствие таких мыслей, которых сам пугался. Но более всего поразило его, когда уже он лег в постелю, следующее, почти невероятное происшествие: он видел ясно, как вошел в его комнату Петромихали и остановился перед его кроватью. Долго глядел он на него своими живыми глазами, наконец начал предлагать ему такие ужасные предложения, такое адское направление хотел дать его искусству, что отец мой с болезненным стоном схватился с кровати, проникнутый холодным потом, нестерпимою тяжестью на душе и вместе самым пламенным негодованием. Он видел, как чудное изображение умершего Петромихали ушло в раму портрета, который висел снова перед ним на стене. Он решился в тот же день сжечь это проклятое

произведение рук своих. Как только затоплен был камин, он бросил его в разгоревшийся огонь и с тайным наслаждением видел, как лопались рамы, на которых натянут был холст, как шипели еще не высохшие краски; наконец куча золы одна только осталась от его существования. И когда начала она улетать легкою пылью в трубу, казалось, как будто неясный образ Петромихали улетел вместе с нею. Он почувствовал на душе какое-то облегчение. С чувством выздоровевшего от продолжительной болезни оборотился он к углу комнаты, где висел писанный им образ, чтобы принесть чистое покаяние, и с ужасом увидел, что перед ним стоял тот же портрет Петромихали, которого глаза, казалось, еще более получили живости, так что даже дети испустили крик, взглянувши на него. Это чрезвычайно поразило моего отца. Он решился открыться во всем священнику нашего прихода и просить у него совета, как поступить в этом необыкновенном деле. Священник был рассудительный человек и, кроме того, преданный с теплою любовию своей должности. Он немедленно явился по первому призыву к моему отцу, которого уважал как достойнейшего прихожанина. Отец не считал даже нужным отводить его в сторону и решился тут же, при матери моей и детях, рассказать ему это непостижимое происшествие. Но едва только произнес он первое слово, как мать моя вдруг глухо вскрикнула и упала без чувств на польск. Лицо ее покрылось страшною бледностью, уста остались неподвижны, открыты, и все черты ее исковеркались судорогами. Отец и священник подбежали к ней и с ужасом увидели, что она нечаянно проглотила десяток иголок, которые держала во рту. Пришедший доктор объявил, что это было неизлечимо: иголки остановились у нее в горле, другие прошли в желудок и во внутренность, и мать моя скончалась ужасною смертью.

Это происшествие произвело сильное влияние на всю жизнь моего отца. С этого времени какая-то мрачность овладела его душою. Редко он чем-нибудь занимался, всегда почти оставался безмолвным и убегал всякого сообщества. Но между тем ужасный образ Петромихали с его живыми глазами стал преследовать его неотлучнее, и часто отец мой чувствовал прилив таких отчаянных, свирепых мыслей, которых невольно содрогался сам. Все то, что улегается, как черный осадок, во глубине человека, истребляется и выгоняется воспитанием, благородными подвигами

и лицезрением прекрасного, — все это он чувствовал возмущавшимся и беспрестанно силившимся выйти внаружу и развиться во всем своем порочном совершенстве. Мрачное состояние души его именно было таково, чтобы заставить его ухватиться за эту черную сторону человека. Но я должен заметить, что сила характера отца моего была беспримерна; власть, которую он брал над собою и над страстями, была непостижима, его убеждения были тверже гранита, и чем сильнее было искушение, тем он более рвался противуставить ему несокрушимую силу души своей. Наконец, обессилев от этой борьбы, он решился излить и обнажить всего себя в изображении всей повести своих страданий тому же священнику, который всегда почти доставлял ему исцеление размышляющими своими речами.

Это было в начале осени; день был прекрасный, солнце сияло каким-то свежим осенним светом; окна наших комнат были отворены; отец мой сидел с достойным священником в мастерской; мы играли с братом в комнате, которая была рядом с нею. Обе эти комнаты были во втором этаже, составлявшем антресоли нашего маленького дома. Дверь в мастерской была несколько растворена; я как-то нечаянно заглянул в отверстие, увидел, что отец мой придвинулся ближе к священнику, и услышал даже, как он сказал ему: «Наконец я открою всю эту тайну...» Вдруг мгновенный крик заставил меня оборотиться: брата моего не было. Я подошел к окну и — Боже! я никогда не могу забыть этого происшествия: на мостовой лежал облитый кровью труп моего брата. Играя, он, верно, как-нибудь неосторожно перегнулся чрез окошко и упал, без сомнения, головою вниз, потому что она была размозжена. Я никогда не позабуду этого ужасного случая. Отец мой стоял неподвижен перед окном, сложа накрест руки и подняв глаза к небу. Священник был проникнут страхом, вспомнив об ужасной смерти моей матери, и сам требовал от отца моего, чтобы он хранил эту ужасную тайну.

После этого отец мой отдал меня в корпус, где я провел все время своего воспитания, а сам удалился в монастырь одного уединенного городка, окруженного пустынею, где бедный север уже представлял только дикую природу, и торжественно принял сан монашеский. Все тяжкие обязанности этого звания он нес с такою покорностью и смирением, всю труженическую жизнь

свою он вел с таким смирением, соединенным с энтузиазмом и пламенем веры, что, по-видимому, преступное не имело воли коснуться к нему. Но страшный им же начертанный образ с живыми глазами преследовал его и в этом почти гробовом уединении. Игумен, узнавши о необыкновенном таланте отца моего в живописи, поручил ему украсить церковь некоторыми образами. Нужно было видеть, с каким высоким религиозным смирением трудился он над своею работою: в строгом посте и молитве, в глубоком размышлении и уединении души приуготовлялся он к своему подвигу. Неотлучно проводил ночи над своими священными изображениями, и оттого, может быть, редко найдете вы произведений даже значительных художников, которые носили бы на себе печать таких истинно христианских чувств и мыслей. В его праведниках было такое небесное спокойствие, в его кающихся такое душевное сокрушение, какие я очень редко встречал даже в картинах известных художников. Наконец все мысли и желание его устремились к тому, чтобы изобразить Божественную Матерь, кротко простирающую руки над молящимся народом. Над этим произведением трудился он с таким самоотвержением и с таким забвением себя и всего мира, что часть спокойствия, разлитого его кистью в чертах Божественной Покровительницы мира, казалось, перешла в собственную его душу. По крайней мере, страшный образ ростовщика перестал навещать его, и портрет пропал неизвестно куда.

Между тем воспитание мое в корпусе окончилось. Я был выпущен офицером, но, к величайшему сожалению, обстоятельства не позволили мне видеть моего отца. Нас отправили тогда же в действующую армию, которая, по поводу объявленной войны турками, находилась на границе. Не буду надоедать вам рассказами о жизни, проведенной мною среди походов, бивак и жарких схваток; довольно сказать, что труды, опасности и жаркий климат изменили меня совершенно, так что знавшие меня прежде не узнавали вовсе. Загоревшее лицо, огромные усы и хриплый крикливый голос придали мне совершенно другую физиогномию. Я был весельчак, не думал о завтрашнем, любил выпорожнить лишнюю бутылку с товарищем, болтать вздор с смазливенькими девчонками, отпустить спроста глупость — словом, был военный беспечный человек. Однако ж, как только окончилась кампания, я почел первым долгом навестить отца.

Когда подъехал я к уединенному монастырю, мною овладело странное чувство, какого прежде я никогда не испытывал: я чувствовал, что я еще связан с одним существом, что есть еще что-то неполное в моем состоянии. Уединенный монастырь посреди природы, бледной, обнаженной, навел на меня какое-то пиитическое забвение и дал странное, неопределенное направление моим мыслям, какое обыкновенно мы чувствуем в глубокую осень, когда листья шумят под нашими ногами, над головами ни листа, черные ветви сквозят редкою сетью, воро́ны каркают в далекой вышине, и мы невольно ускоряем свой шаг, как бы стараясь собрать рассеявшиеся мысли. Множество деревянных почерневших пристроек окружали каменное строение. Я вступил под длинные, местами прогнившие, позеленевшие мохом галереи, находившиеся вокруг келий, и спросил монаха отца Григория. Это было имя, которое отец мой принял по вступлении в монашеское звание. Мне указали его келью.

Никогда не позабуду произведенного им на меня впечатления. Я увидел старца, на бледном, изнуренном лице которого не присутствовало, казалось, ни одной черты, ни одной мысли о земном. Глаза его, привыкшие быть устремленными к небу, получили тот бесстрастный, проникнутый нездешним огнем вид, который в минуту только вдохновения осеняет художника. Он сидел передо мною неподвижно, как святой, глядящий с полотна, на которое перенесла его рука художника, на молящийся народ; он, казалось, вовсе не заметил меня, хотя глаза его были обращены к той стороне, откуда я вошел к нему. Я не хотел еще открыться и потому попросил у него просто благословения как путешествующий молельщик; но каково было мое удивление, когда он произнес: «Здравствуй, сын мой, Леон!» Меня это изумило: я десяти лет еще расстался с ним; притом меня не узнавали даже те, которые меня видели не так давно. «Я знал, что ты ко мне прибудешь, — продолжал он. — Я просил об этом Пречистую Деву и святого угодника и ожидал тебя с часу на час, потому что чувствую близкую кончину и хочу тебе открыть важную тайну. Пойдем, сын мой, со мною и прежде помолимся!» Мы вошли в церковь, и он подвел меня к большой картине, изображавшей Божию Матерь, благословляющую народ. Я был поражен глубоким выражением божественности в Ее лице. Долго лежал он,

повергшись перед изображением, и наконец, после долгого молчания и размышления, вышел вместе со мною.

После того отец мой рассказал мне все то, что вы сейчас от меня слышали. В истину его я верил потому, что сам был свидетелем многих печальных случаев нашей жизни. «Теперь я расскажу тебе, сын мой, — прибавил он после этой истории, — то, что мне открыл виденный мною святой, не узнанный среди многолюдного народа никем, кроме меня, которого милосердный Создатель сподобил такой неизглаголанной Своей благости». При этом отец мой сложил руки и устремил глаза к небу, весь отданный ему всем своим бытием. И я наконец услышал то, что сейчас готовлюсь рассказать вам. Вы не должны удивляться странности его речей: я увидел, что он находился в том состоянии души, которое овладевает человеком, когда он испытывает сильные, нестерпимые несчастия; когда, желая собрать всю силу, всю железную силу души и не находя ее довольно мощною, весь повергается в религию; и чем сильнее гнет его несчастий, тем пламеннее его духовные созерцания и молитвы. Он уже не походит на того тихого размышляющего отшельника, который, как к желанной пристани, причалил к своей пустыне с желанием отдохнуть от жизни и с христианским смирением молиться Тому, к Которому он стал ближе и доступнее; напротив того, он становится чем-то исполинским. В нем не угаснул пыл души, но, напротив, стремится и вырывается с большею силою. Он тогда весь обратился в религиозный пламень. Его голова вечно наполнена чудными снами. Он видит на каждом шагу видения и слышит откровения; мысли его раскалены; глаз его уже не видит ничего, принадлежащего земле; все движения, следствия вечного устремления к одному, исполнены энтузиазма. Я с первого раза заметил в нем это состояние и упоминаю о нем потому, чтобы вам не казались слишком удивительными те речи, которые я от него услышал.

«Сын мой! — сказал он мне после долгого, почти неподвижного устремления глаз своих к небу, — уже скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человеческого, антихрист, народится в мир. Ужасно будет это время: оно будет перед концом мира. Он промчится на коне-гиганте, и великие потерпят муки те, которые останутся верными Христу. Слушай, сын мой: уже давно хочет народиться антихрист, но не может, потому что

должен родиться сверхъестественным образом; а в мире нашем все устроено Всемогущим так, что совершается все в естественном порядке, и потому ему никакие силы, сын мой, не помогут прорваться в мир. Но земля наша — прах пред Создателем. Она, по Его законам, должна разрушаться, и с каждым днем законы природы будут становиться слабее, и оттого границы, удерживающие сверхъестественное, приступнее. Он уже и теперь нарождается, но только некоторая часть его порывается показаться в мир. Он избирает для себя жилищем самого человека и показывается в тех людях, от которых уже, кажется, при самом рождении отшатнулся ангел, и они заклеймены страшною ненавистью к людям и ко всему, что есть создание Творца. Таков-то был тот дивный ростовщик, которого дерзнул я, окаянный, изобразить преступною своею кистью. Это он, сын мой, это был сам антихрист. Если бы моя преступная рука не дерзнула его изобразить, он бы удалился и исчезнул, потому что не мог жить долее того тела, в котором заключил себя. В этих отвратительных живых глазах удержалось бесовское чувство. Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во всё силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа, на земле. Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений. О, если бы моя кисть не остановила своей адской работы, он бы еще более наделал зла, и нет сил человеческих противустать ему. Потому что он именно выбирает то время, когда величайшие несчастия постигают нас. Горе, сын мой, бедному человечеству! Но слушай, что мне открыла в час святого видения Сама Божия Матерь. Когда я трудился над изображением пречистого лика Девы Марии, лил слезы покаяния о моей протекшей жизни и долго пребывал в посте и молитве, чтобы быть достойнее изобразить божественные черты Ее, я был посещен, сын мой, вдохновением, я чувствовал, что высшая сила осенила меня и ангел возносил мою грешную руку, и я чувствовал, как шевелились на мне волоса мои и душа вся трепетала. О сын мой! За эту минуту я бы тысячи взял мук на себя. И я сам дивился тому, что изобразила кисть моя. Тогда же предстал мне во сне пречистый лик Девы, и я узнал, что в награду моих трудов и молитв сверхъестественное существование этого демона

в портрете будет не вечно, что если кто торжественно объявит его историю по истечении пятидесяти лет в первое новолуние, то сила его погаснет и рассеется, яко прах, и что я могу тебе передать это перед моею смертию. Уже тридцать лет, как он с того времени живет; двадцать впереди. Помолимся, сын мой!» При этом он повергнулся на колени и весь превратился в молитву.

Признаюсь, я внутренно все эти слова приписывал распаленному его воображению, воздвигнутому беспрестанным постом и молитвами, и потому из уважения не хотел делать какого-нибудь замечания или соображения. Но когда я увидел, как он поднял к небу иссохшие свои руки, с каким глубоким сокрушением молчал он, уничтоженный в себе самом, с каким невыразимым умилением молил о тех, которые не в силах были противиться адскому обольстителю и погубили все возвышенное души своей, с какою пламенною скорбию простерся он, и по лицу его лились говорящие слезы, и во всех чертах его выразилось одно безмолвное рыдание — о! тогда я не в силах был предаться холодному размышлению и разбирать слова его.

Несколько лет прошло после его смерти. Я не верил этой истории и даже мало думал о ней; но никогда не мог ее никому пересказать. Я не знаю, отчего это было, но только я чувствовал всегда что-то удерживавшее меня от того. Сегодня без всякой цели зашел я на аукцион и в первый раз рассказал историю этого необыкновенного портрета, — так что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуние, о котором говорил отец мой, потому что действительно с того времени прошло уже двадцать лет.

Тут рассказывавший остановился, и слушатели, внимавшие ему с неразвлекаемым участием, невольно обратили глаза свои к странному портрету и, к удивлению своему, заметили, что глаза его вовсе не сохраняли той странной живости, которая так поразила их сначала. Удивление еще более увеличилось, когда черты странного изображения почти нечувствительно начали исчезать, как исчезает дыхание с чистой стали. Что-то мутное осталось на полотне. И когда подошли к нему ближе, то увидели какой-то незначащий пейзаж. Так что посетители, уже уходя, долго недоумевали: действительно ли они видели таинственный портрет, или это была мечта и представилась мгновенно глазам, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

Шлецер, Миллер и Гердер

Шлецер, Миллер и Гердер были великие зодчие всеобщей истории. Мысль о ней была их любимою мыслью и не оставляла их во все время разнообразного их поприща. Шлецер, можно сказать, первый почувствовал идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы. Он хотел одним взглядом обнять весь мир, все живущее. Казалось, как будто бы он силился иметь сто аргусовых глаз, для того чтобы разом видеть сбывающееся во всех отдаленных углах мира. Его слог — молния, почти вдруг блещущая то там, то здесь и освещающая предметы на одно мгновение, но зато в ослепительной ясности. Я не знаю, исполнил ли бы он в самом деле то, что резко показывал другим, но, по крайней мере, никто так сильно не поражен был сам своим предметом, как он. Он имел достоинство в высшей степени сжимать все в малообъемный фокус и двумя, тремя яркими чертами, часто даже одним эпитетом обозначать вдруг событие и народ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся плодом одной счастливой минуты, одного внезапного вдохновения и так исполнены резкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на ум определившему себя на долгое, глубокое исследование, выключая только, если этот исследователь будет сам Шлецер. Он не был историк, и я думаю даже, что он не мог быть историком. Его мысли слишком отрывисты, слишком горячи, чтобы улечься в гармоническую, стройную текучесть повествования. Он анализировал мир и все отжившие и живущие народы, а не описывал их; он рассекал весь мир анатомическим ножом, резал и делил на массивные части, располагал и отделял народы таким же образом, как ботаник распределяет растения по известным ему признакам. И оттого начертание его истории, казалось бы, должно быть слишком скелетным и сухим; но, к удивлению, все у него сверкает такими резкими чертами, могущественный удар его глаза так верен, что, читая этот сжатый эскиз мира, замечаешь с изумлением, что собственное воображение горит, расширяется и дополняет все по такому же самому закону, который определил Шлецер одним всемогущим словом, иногда оно стремится еще

далее, потому что ему указана смелая дорога. Будучи одним из первых, тревожимых мыслью о величии и истинной цели всеобщей истории, он долженствовал быть непременно гением оппозиционным. Это положение сообщило ему сильную энергию, жар и даже досаду на близорукость предшественников, прорывающиеся очень часто в его сочинениях. Он уничтожает их одним громовым словом, и в этом одном слове соединяется и наслаждение, и сардоническая усмешка над пораженным, и вместе несокрушимая правда; его справедливее, нежели Канта, можно назвать всесокрушающим. Всегда действующие в оппозиционном духе слишком увлекаются своим положением и в энтузиастическом порыве держатся только одного правила: противоречить всему прежнему. В этом случае нельзя упрекнуть Шлецера: германский дух его стал неколебим на своем месте. Он как строгий, всезрящий судия; его суждения резки, коротки и справедливы. Может быть, некоторым покажется странным, что я говорю о Шлецере как о великом зодчем всеобщей истории, тогда как его мысли и труды по этой части улеглись в небольшой книжке, изданной им для студентов, — но эта маленькая книжка принадлежит к числу тех, читая которые, кажется, читаешь целые томы; ее можно сравнить с небольшим окошком, к которому приставивши глаз поближе, можно увидеть весь мир. Он вдруг осеняет светом и показывает, как нужно понять, и тогда сам собою наконец видишь все.

Миллер представляет собою историка совершенно в другом роде. Спокойный, тихий, размышляющий, он представляет противоположность Шлецеру. Он с какою-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слог не блестит тем резким отличием, каким означен слог Шлецера; нет тех порывов, того меткого лаконизма, какими исполнен Шлецер. Он не схватывает вдруг за одним взглядом всего и не сжимает его мощною рукою, но он исследывает все, находящееся в мире, спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и поспешности, с какою выражается автор, опасающийся, чтобы у него не перехватил кто-нибудь мысли и не предупредил его. Слово «исследование» весьма идет к его стилю; его повествование именно исследовательное. Как человек государственный, он более всего занимается изложением форм правления и законов существующих и минувших государств; но он не предпочитает эту сторону

до такой степени, чтобы оставить совершенно в тени все другие, к чему способен бывает историк односторонний и чего не мог избежать и Герен, напротив того, он обращает внимание и на все сопредельное. Все, что не ясно в истории, что менее разоблачено, все это более другого подвергается его исследованию. Заметно даже, что он охотнее занимается временами первобытными и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен образованности и порокам, сохранял свои простые нравы и независимость. Это время изображает он с ясною подробностию, с тихим жаром, как будто позабываясь и воображая видеть себя среди своих добрых швейцарцев. Главный результат, царствующий в его истории, есть тот, что народ тогда только достигает своего счастия, когда сохраняет свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость. Везде в нем видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь к свободе проникают все его творения. Мысль о единстве и нераздельной целости не служит такою целью, к которой бы явно устремлялось его повествование; он даже никогда не говорит о нем, но единство чувствуется в целом творении, несмотря на то что он, кажется, забывает вовсе дела всего мира, занявшись одним народом. История его не состоит из непрерывной движущейся цепи происшествий; драматического искусства в нем нет; везде виден размышляющий мудрец. Он не высказывает слишком ярко своих мыслей; они у него таятся так скромно, иногда в таком незаметном уголке, что не ищущий не найдет их никогда; но зато они так высоки и глубоки, что открывшему их открывается, по выражению Вагнера в «Фаусте», на земле небо. Этот скромный, незаметный слог его и отсутствие ослепляющей яркости производит в душе невольное сожаление: через него Миллер очень мало известен или, лучше сказать, не так известен, как должен бы быть. Одни сильно проникнутые мыслью о истории и способные к тонкому развитию могут только вполне понимать его, другим же он кажется легким и не глубокомысленным.

Гердер представляет совершенно отличный образ воззрения. Он видит уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощает осязательные формы. Везде он видит одного человека как представителя всего человечества. Он выпытывает глубоко, вдохновенно, как брамин природы, —

название, которое придают ему немцы. У него крупнее группируются события; его мысли все высоки, глубоки и всемирны. Они у него являются мало соединенными с видимою природою и как будто извлеченными из одного только чистого ее горнила. Оттого они у него не имеют исторической осязательности и видимости. Если событие колоссально и заключается в идее — оно у него развертывается все, со всеми своими сокровенными явлениями; но если слишком коснулось жизни и практического, оно у него не получает определенного колорита. Если он нисходит до частных лиц и деятелей истории, они у него не так ярки, как общие группы; они принимают слишком общую физиогномию; они у него или добрые, или злые; все бесчисленные оттенки характеров, все смешение и разнообразие качеств, познание которых достается в удел взирающему с недоверчивостию на других, все эти оттенки у него исчезли. Он мудрец в познании идеального человека и человечества, но младенец в познании человека, по весьма естественному ходу вещей, как всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных занятиях жизни. Как поэт, он выше Шлецера и Миллера. Как поэт, он все создает и переваривает в себе, в своем уединенном кабинете, полный высшего откровения, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. Но высокое и прекрасное вырываются часто из низкой и презренной жизни или же вызываются натиском тех бесчисленных и разнохарактерных явлений, которые беспрестанно пестрят жизнь человеческую и которых познание редко дается отвлеченному от жизни мудрецу. Стиль его более, нежели у кого другого, исполнен живописи и широкого размера, потому что он поэт и этим резко отличается от Миллера, философа-законодателя, всегда спокойного и размышляющего, и Шлецера, философа-критика, всегда почти резкого и недовольного.

Мне кажется, что если бы глубокость результатов Гердера, нисходящих до самого начала человечества, соединить с быстрым, огненным взглядом Шлецера и изыскательною, расторопною мудростью Миллера, тогда бы вышел такой историк, который бы мог написать всеобщую историю. Но при всем том ему бы еще много кое-чего недоставало: ему бы недоставало высокого драматического искусства, которого не видно ни у Шлецера,

ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумею, однако ж, под словом «драматического искусства» не то искусство, которое состоит в умении вести разговор, но в драматическом интересе всего творения, который сообщил бы ему неодолимую увлекательность, тот интерес, который иногда дышит в исторических отрывках Шиллера, и особенно в «Тридцатилетней войне», и которым отличается почти всякое немногосложное происшествие. Я бы к этому присоединил еще в некоторой степени занимательность рассказа Вальтера Скотта и его умение замечать самые тонкие оттенки; к этому присоединил бы шекспировское искусство развивать крупные черты характеров в тесных границах, и тогда бы, мне кажется, составился такой историк, какого требует всеобщая история. Но до того времени Миллер, Шлецер и Гердер долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много осветили всеобщую историю, и если в нынешнее время мы имеем несколько замечательных сочинений, то этим обязаны им одним.

1832

О движении народов в конце V века

Великое странствие народов, произведшее нынешнее население Европы, касается началом своим глубокой древности. Оно было, может быть, современно основанию Рима, если еще не прежде. Когда Средиземное море омывало еще возрождающиеся государства, видело первые шаги возникающей торговли и развивался дух народов, составивших цвет Древнего мира, — во глубине Азии скрывался другой, неведомый мир, которому определено было уничтожить, убить все древнее величие, древний дух, древние формы прежнего и заместить его всем новым. Средняя Азия совершенно противуположна южной, юго-западной, африканским и европейским берегам Средиземного моря, где цветущее разнообразие природы, почвы, произведений, смесь земли и моря, куча бесчисленных островов, мысов, заливов, казалось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить деятельность и ум человека. Природа Средней Азии совершенно другого рода: она однообразна и неизмерима. Степи ее безбрежны, как-то огромно ровны, как будто похожи на пустынный океан, нигде не останавливаемый островом. Неподвижные озера беспредельных равнин не могли возбудить никакой деятельности. Казалось, сама природа определила эту землю народам пастушеским, чтобы по ним имели мы понятие о первобытной жизни первоначальных людей. Неизмеримость равнин не могла внушить человеку никакой идеи о постоянном жилище, которая обыкновенно возрождается у него при виде утесистой горы, берега, моря, острова и вообще, где только есть возможность укрепиться. Где же природа усыплена и недвижима, там и человек беспечен: он заботится только о слишком нужном. Патриархальные обитатели степей питались только молоком, сыром, доставляемыми их полудикими животными, и редко питались мясом. Оттого стада их множились необыкновенным образом; владельцы их чаще должны были переходить с места на место; степей требовалось с каждым годом более и более — и те земли, которые ужасают доныне своею неизмеримостью, земли, бывшие вдвое более тогдашнего образованного мира, земли, с которыми бы земледельцы всего света не знали, что делать, — эти земли сделались тесными. Сильнейшие властители должны были вытеснить слабейших. Народы

пастушеские, не имея неподвижной собственности, укрепленной давностию владения, легко уступают первому напору и уходят с своими стадами далее. И таким образом Азия сделалась народовержущим вулканом. С каждым годом выбрасывала она из недр своих новые толпы и стада, которые, в свою очередь, сгоняли с мест изверженных прежде. Они перешли горы и потянулись в Европу. Народы, можно сказать, не шли вперед, а машинально сталкивали других с мест. Это не были завоеватели, а какие-то невольники, действовавшие только от страха наказания. Цепь народов от востока и северо-востока протянулась таким образом по всей Европе к самому югу. На юге они встретили первое сопротивление, ощутили огромную власть римлян и встретились с Древним миром. Между тем Азия продолжала извергать новые толпы. Толчок от каждого нового извержения проходил по всей цепи: новые теснили прежних, предыдущие — последующих. Стремление народов становилось сильно, но зато и отпор со стороны римлян был очень силен, и потому-то на границах Римской империи накопилось такое множество народов. После каждого нового извержения это накопление становилось сильнее, и римлянам труднее было сопротивляться им. Наконец римляне уступили — и тогда орды стремительнее хлынули на юг Европы. Не имей Европа южною границею своею Средиземного моря или имей эти толпы народов какое-нибудь понятие о мореплавании, это переселение долго бы не остановилось, потому что Азия не переставала извергать новые толпы, народы перешли бы в Африку, Европа еще бы несколько лет не устоялась, хаос бы продолжился надолго, государства составились бы гораздо позже и вообще весь ход образования отодвинулся бы на дальнейшие времена. Но как только народы, овладевшие югом Европы, увидели позади себя море и невозможность идти далее, то решились всеми силами сопротивляться нападавшим на них неприятелям. Сии последние, встретивши неожиданный отпор, решились отразить и своих неприятелей, которые с своей стороны употребили то же с своими, и таким образом толчок получил обратное направление, и движение вдруг остановилось. Следствие этого почувствовалось даже в Азии, где некоторые пастушеские народы принуждены были заняться земледелием.

Это переселение совершилось бы гораздо быстрее, если бы Европа состояла из таких гладких, открытых равнин, какими

исполнена Азия. Но в ней, напротив того, природа на небольшом пространстве показала страшную нерегулярность и разнообразие. Со всех сторон она изрыта морями, берега ее все из полуостровов и мысов, средина почти нигде не имеет ровной поверхности: она идет то вверх, то вниз, то подымается безобразными высокими горами, то опускается долинами, как будто провалившимися между ними. К этому нужно прибавить, что она в то время вся была облечена дремучим, непроходимым лесом и пронята топкими болотами. И потому движение народов чем глубже касалось Европы, тем происходило медленнее: они должны были продираться сквозь леса, перелезать через горы и обходить болота. Они селились оазами и были так скрыты один от другого лесами и неведомыми местами, что часто долго были безопасны от всяких нападений. И когда новое наводнение толпы, слишком многочисленной, водимой предприимчивым повелителем, освещало Европу великолепными иллюминациями, зажигая вековые леса ее, и леса исчезали, — тогда изумленным глазам их представлялся народ, которого существования они даже и не подозревали и который нравами своими, хотя уже отдалившимися, все еще сходствовал с ними. Вся Европа состояла, можно сказать, из клочков и отрывков, отторженных друг от друга самою природою, оттого покорение ее и соединение под одну власть было вовсе невозможно, и оттого произошли ее бесчисленные нации, которые, без всякого сомнения, слились бы и изгладились, если бы она состояла из открытых равнин. Это был новый невидимый мир, о котором древние просвещенные народы ничего не знали и который, можно сказать, сам мало знал себя.

Основу его составляло множество разных отраслей германских племен, простиравшихся по всему западу. Берега Немецкого моря, Рейна и Дуная и вся средина Европы до Балтийского моря были заняты ими. Состояние их во время первого знакомства с ними римлян уже показывало давнюю оседлость в Европе и что переселение их совершилось в глубокой древности. Но что оно истекло из Азии, тому доказательством служит странное сходство некоторых коренных слов языка германского с персидским[1]. Выбросила ли Азия в первоначальной древности за одним разом

[1] Шлегель.

племена на юг, образовавшиеся среди гор в народ персидский, и на север, превратившиеся в лесах Европы в германцев, или позже тяжелое влияние парфян, ринувшихся из средины Азии, принесло в язык персидский множество слов, раздававшихся дотоле в неизмеримых степях ее и распространившихся уже и в Европе[1]. Как бы то ни было, но первоначальное происхождение германцев было из Азии, и переселение их совершилось в отдаленные времена.

Эти народы представляли совершенно противоположный и вовсе отличный мир от римского. Физическая и духовная их природа носила резкий отпечаток самобытности и особенности. Их организация физическая совершенно спорила с организацией народов Древнего мира: черные блестящие глаза, темные волосы, выразительные, южные черты лица, казалось, дышавшие потребностью роскоши и пресыщающих наслаждений — общей физиогномией уже остановившегося Древнего мира, встречали здесь совершенную противоположность: голубоглазые, светловолосые, рослые, крепкие, с одним только свирепым выражением войны на лице, германцы показали собою совершенно новую природу, которою означился новый мир. Их религия, их жизнь, их темперамент, первообразные стихии характера разнились во всем от образованных тогдашних народов. Религия германских народов отличалась особенною оригинальностию. Их божество и предмет поклонения была земля. Казалось, как будто мрачный вид тогдашней Европы внушил им идею этой религии. Будучи редко освещаемы солнцем и находясь вечно под мрачною тенью вековых дубов, роя пещеры для первоначальных своих жилищ или сохранения сокровищ, видя одну только землю, могущественно выбрасывавшую на поверхность растения, приносившие им бедную пищу, и величественные высокие деревья, шумевшие над ними, они почитали ее зиждительницею всего. От ней производили они бога своего Туистона, или Тевта, у которого был сын Ман, а от него различные ветви германских народов, которые, по мнению их, были древнейшими обитателями мира. По-видимому, такое понятие о религии совершенно отделяет их от Азии, но мы должны вспомнить, что владычество природы и положение

[1] Миллер.

земли всегда было сильно. Природа деспотически властвует над первоначальным человеком. Развиваясь и зрея умом, он получает над нею верх и предписывает ей законы, но в первобытном, но в диком состоянии он должен сам исполнять ее законы: он раб ее. В Средней Азии небо все открыто перед глазами. Там оно необозримо и велико. Земля перед ним кажется слишком низменною. Никакое высокое растение, никакая остроконечная, высокая, узкая скала не останавливает взора; расстилающаяся по необозримым пространствам трава представляет ее еще низменнее. Солнце там течет величественно, обливая все своим светом, звезды усыпают густо небесный небосклон и одни только могут остановить человека и препятствовать совратиться с пути. Оттого во всей Азии царствовало всегда поклонение солнцу и небесным светилам. Передвигаясь в Европу, народы реже виделись с солнцем. Густой и величественный мрак европейских лесов сильнее поражал их дикое воображение. Туманы севера и болотные испарения скрывали вовсе небо; самая необходимость заниматься иногда земледелием заставляла их более привязаться к земле. И потому-то у германских народов было очень слабо поклонение светилам; едва у немногих сохранилась о нем память. Во глубине и глуши лесов, непроницаемых солнцем, они приносили свои жертвы богине-матери Герте. Казалось, мрак считался у них чем-то священным, и потому-то их религия уже в самом начале не сходствовала с другими. Они верили в бессмертие. Но их небеса были мрачны. Они в своем Валгале видели продолжение воинственной жизни: туда переселяли они свои германские дубы, пылающие костры и гром оружий. Небеса облекали в свинцовые тучи и населяли темными тенями своих великих, уже погибших на войне героев. Поклонение Герте разошлось между всеми почти германскими племенами. К предметам поклонения их принадлежали также тени умерших героев, которых они представляли в колоссальном виде. Такие же почести разделяли их товарищи-кони, из которых белые почитались, по свидетельству Тацита, священными и хранились в заповедных рощах. Их впрягали в священную колесницу, за которою шел король, жрецы, и по храпению их узнавали будущее.

Германские народы долго сохраняли первобытный образ жизни. Они жили и веселились одною войною. Они трепетали

при звуке ее, как молодые, исполненные отваги тигры. Думали о том только, чтобы померяться силами и повеселиться битвой. Их мало занимала корысть или добыча. Блеснуть бы только подвигом, чтобы после пересказали его дело в песнях. С именем прославившегося в боях соединялись у них все выгоды и счастие жизни. Его выбирали в предводители; к нему чувствовалось у всех народов уважение и изумление. Он был посредник и судья во всех спорах; на войне полный распорядитель добычи; ему даже чуждые, отдаленные племена присылали конные сбруи; ему родные и подвластные племена добровольно приносили в дар произведения полей своих: плоды, скот и лошади. Храбрость казалась чем-то божеским, под его знамена все спешили наперерыв и сражались не для добычи, но чтобы показаться перед ним и заслужить его одобрительное слово. Его имя долго поминалось в песнях, и по смерти его в честь ему совершались пиршества, и долго племя, имевшее его, превозносилось его подвигами перед другими; тень его становилась божеством и служила предметом поклонения. Такой удел был завиден, потому что жажда бессмертия уже кипит и в неразвившемся человеке. Все наперерыв стремились прошуметь подвигами; битвы были часты, и германцы по первому призванию готовы были лететь с своими дикими силами.

Они сражались почти наги, выказывая во всей простоте атлетическую свою силу. Плащ, застегнутый вместо пряжки терновым шипом, кожа дикого зверя на плече — вот их убранство. Они строились густо, кучами, в виде клина; действовали вблизи и вдали короткими копьями, называемыми фрамеями; львиная сила мышц их бросала их так далеко, сколько нужно было, чтобы достать неприятеля; одни щиты их показывали роскошь, испещряемые яркими цветами; толпа жен, детей следовала за ними в битву, сопровождала их своим криком и была причиною нового мужества: они не мыслили предаться бегству при мысли о рабстве, ожидающем их жен и детей, усугубляли дикий напор свой, и неприятели уступали. Их жены тут же среди битвы высасывали раны мужей своих, залечивали их и даже уносили на плечах своих. Смерть предводителя, вместо того чтобы расстроить их, связывала железною силою мести и делала их несокрушимыми. Бросить щит было верх бесчестия, и несчастный, жертва всеобщего презрения, убивал сам себя. Предводитель силою одного

уважения, без власти, правил самовластно племенами, и воины с изумительною покорностью исполняли его веления. Предводя на войне, они оставляли при себе власть эту иногда и среди мира и назывались гериманами[1].

Они были вольны и не хотели никакой иметь над собою власти. Правления у них почти не было. Они собирались на народные собрания, стекавшиеся при новолунии и полнолунии каждого месяца, а в случаях чрезвычайных и во всякое время. На эти собрания они приходили лениво и медленно, желая показать, что делают это по своей воле; несколько дней протекало, покамест могло составиться нужное число для совещания. Они сидели в полном вооружении; одни только жрецы могли приказать наблюдать молчание; председательствовали старейшины семейств, седовласые (grawion), после изменившие это название в графов; говорили князья и прославившиеся в битвах; речи их были просты, но исполнены того сильного и сжатого лаконизма, которым отличается бесхитростное красноречие народов свежих.

Они были просты, прямодушны: их преступления были следствие невежества, а не разврата. То, что было бесчестие и низость духа, называлось только преступлением: переметчики, изменники были вешаны и предаваемы мучительной казни, за низкие и бесчестные поступки бросали в болото, забрасывали тиною и фашинником, как бы желая скрыть то, что не должно бы никогда показываться. Жена, изменившая мужу, была в его власти, он мог отрезать ей волоса, лишить одеяния и обнаженную, покрытую стыдом, гнать розгами через веси и деревни, и никто не смел изъявлять сожаления, несмотря на всю красоту ее: но примеры эти были редки, потому что германцы были дики и жестки нравами и что у них были только обычаи, которые обыкновенно сильнее самих законов.

Они были беспечны, бездейственны в домашней жизни и представляли совершенную противуположность беспокойному быту воинскому. Они были бесчувственно-ленивы и лежали в своих хижинах, не трогаясь с места. Чем более кто почитал себя храбрым, тем более считал для себя низким всякое занятие; поля обработывали старики, бессильные, малолетние и рабы, которые

[1] Тацит.

пользовались совершенною свободою и платили только небольшую подать от полей своих. Все домашние заботы лежали на женах. Жена не приносила мужу приданого; напротив, он должен был сам накануне свадьбы принесть в дар быка в ярме, вооруженную лошадь и копье, как бы желая этим дать знать, что она должна разделить все его занятия.

Они одевались совершенно противуположно римскому миру и всем народам южным, любителям вольных, широких одежд: они носили платье узкое, которое совершенно обвивалось около их тела; звериные кожи, носимые ими, придавали им что-то дикое и зверообразное. Одеяния жен их мало отличались от мужских: у иных платье было льняное алое, доходившее только до пояса, так что шея, грудь и руки были открыты. Дети были совершенно преданы своей воле и росли вместе с домашним скотом. Когда они достигали совершенного возраста, тогда только получали право носить оружие и заседать в собраниях. Гостеприимство, свойственное почти всем дикарям и первобытным нравам, было их принадлежностью. Гостя дарили подарками; не могший угостить его отводил сам к другому.

Но более всего можно было видеть древнего германца в его пиршествах, в которых проводили они напролет целые ночи, где зажженные дубы величественно освещали леса, и хлебный напиток из ячменя, может быть, пращур нынешнего пива, так употребительного в Германии, разрешал их мысли, речи и намерения. В этих-то пиршествах созревали все их предприятия. Тут они задумывали свои смелые и дерзкие дела, которые не всегда и не всем могли прийти в голову во время медленных народных собраний. Они были стремительны, азартны и как только были разбужены, потрясены и выходили из своего хладнокровного положения, то уже не знали пределов своему стремлению. Азартность их более всего оказывалась в игре, в которую заигрывался дикий германец до того, что проигрывал свой дом, оружие, жену, детей, наконец, самого себя и становился рабом, — состояние нестерпимее для него самой смерти! Эта азартность, может быть, служила основанием тех дерзких, сильных страстей, которыми исполнены европейцы.

Таковы были народы германские — грубые стихии, из которых образовалась новая Европа. Они делились на бесчисленные

племена и, как густые европейские леса, усеивали Северную Европу. Чтобы яснее обозреть их, начнем с тех мест, где Древний мир уже видел этих первоначальных зиждителей нового, то есть от реки Дуная, служившего пределом для римлян. Тут обитали уже входившие в сношение с древним просвещенным Римом, все еще вольные, но уже не столь одичавшие, как-то: гермундуры, нариски, маркоманы и квады. Потом великая цепь племен германских толпилась по Рейну от устья и вниз до впадения его в море: вангионы, трибоки, неметы, матиаки, убии; за ними следовали тенктеры, бывшие первыми наездниками, которых конница славилась и у римлян, которых все имущество были лошади и оставлялись в наследство только храбрым; за ними узепетры и у самого впадения Рейна в море сильные батавы. Средина Германии, погруженная в леса, скрывала самых свирепых и сильных народов. Начиная с запада и на восток первые встречались хаты, предки нынешних гессенцев, жившие при реке Майне, где Германия состоит из частых возвышенностей. Народ, страшивший своею пехотою, регулярным устройством ее, осмотрительностью в нападениях и диким выражением лиц своих. Их обычаи невольно поражали своею оригинальностью. Ни один юноша не смел отрезать волос своих до тех пор, пока не омыл рук своих в крови неприятеля; в битвах они должны были находиться впереди и своими обросшими косматыми лицами наводили робость на врага. Всякий хат носил на руке своей железное кольцо, что считалось бесчестием, потому что напоминало цепи; сбросить его он мог тогда только, когда поражал собственною рукою неприятеля. На юг от хатов были херуски, обитатели Гарца; далее следовали фозы, сигамбры, бруктеры, ангруарии, хазуарии, наконец, аряне, отличавшиеся совершенно особенным родом нападений, которые они производили в глухие, мрачные ночи, и, желая облечь их страхом, выкрашивали тело, носили щиты, покрытые черною краскою, и, в виде погребальной процессии, представлялись изумленным глазам неприятелей, не могших выносить такого зрелища. За ними на восток, в пространствах несколько более открытых, обитали свевы, состоявшие из множества разных племен и ведшие долго еще жизнь пастушескую, несмотря на то, что положение земли, еще болотной, мало представляло для ней удобства.

Вообще можно сказать: чем ближе к западу и юго-западу, тем более было занимавшихся земледелием, или, по крайней мере, оно мешалось у них с пастушескою жизнию; чем ближе к востоку, к Венгрии, Дакии и Польше, тем более преобладала пастушеская жизнь; чем глубже в леса Гарца, тем мрачнее и сильнее становились германские племена. Но самые опасные, которых римляне даже вовсе почти не знали и которые были истинные разрушители их владычества, это были все, населявшие берега морей и прибалтийские земли. Сюда никогда не досягали римляне. Здесь жили пираты, самые предприимчивые из германцев, которых уже положение земли и моря заставляло отважиться на дерзкие дела. Таким образом, по Немецкому морю жили фризы и хавки; за ними самые сильные корсары севера — саксы, в Голштинии — кимвры, по Балтийскому морю — готы, варны, ругии, бургунды, и в Пруссии — ламбарды, вандалы, герулы. Кроме того, в средине Германии находилось еще множество разных отродий, совершенно скрытых болотами и лесами, которые во время частых битв между ее племенами были вытесняемы и видели необходимость избирать неприступные места. Горы Альп и Карпата заключали в себе множество клочков или остатков разных племен галльских, германских и венедских, бандитствовавших в дикой Европе. Северо-восток ее, совершенною бедностию почвы, уединением и страшным пространством, не мог образовать и возрастить сильных народов. В рассеянных, бездомовных, бесприютных его обитателях финнах и отростках народов эстских замирала жизнь, как и в самой природе того края.

Вот каков был тот отдельный мир дикой Европы! Вот каковы были те народы, которых мощную силу прежде всего должны были испытать римляне. И если Всемирная империя не пала гораздо ранее, то причиною этого были: чрезвычайное раздробление народов германских, положение Европы, препятствовавшие им слиться в одно, простота нравов, заставлявшая их довольствоваться грубыми произведениями своей земли, незнание корысти, так свойственной разрушающим дикарям, оседлость и любовь к свободе, заставлявшая их удаляться во глубину своих лесов. Римляне чувствовали всю опасность от этих свежих сил европейских народов. И оттого никакая из границ империи: ни восточно-азийская, ни южно-африканская — не была так защищена,

как северо-европейская. Сюда, можно сказать, стеклась вся сила их. И должно признаться, что средства защиты при тогдашнем изнемогающем состоянии империи были приняты самые благоразумные. Империя отдавала опасные границы свои свежим воинственным народам, которые лучше всего могли защищать их и были довольны вначале немногим. Но к чести народов германских нужно сказать, что одна только сильная необходимость заставляла их принимать этот дар римлян. Эта зависимость казалась для них рабством, и они спешили в глубину лесов своих, скрыть там свою свободу. Покушения римлян принуждали их составлять сильные между собою союзы, но эти союзы никогда не были нападательны; цель их была только привести в безопасность свою волю, бывшую для них дороже всего. Один из сих союзов, известный под именем союза франков, более других возрос и усилился благодаря благоприятному положению земли и умножавшимся натискам со стороны всех народов. Разнородные племена, его составившие, заняли часть Вестфалии и Гессена и так тесно слились, что составили, наконец, одну нацию под именем франков. Но этот союз не был бы так страшен для римлян, и вся Германия долее пребывала бы неподвижною, если бы не действовали на нее посторонние силы выходивших из Азии народов. Восточная часть Европы была очень страшна своими равнинами. Это были широкие ворота в Западную Европу, большая дорога, через которую переходили попеременно разноцветные народы; леса были здесь более выжжены, нежели в других местах; болота скорее высохли, и с каждым столетием она становилась просторнее и удобнее для переходов. Открытые места ее давали средство народам и племенам соединяться в большие массы, представляли удобность для кочующей жизни, которая дает средства производить великие набеги. Народ вдруг мог подняться с легких жилищ своих и произвести всею массою самое страшное, ничем не отразимое, разрушительное нападение.

Одному из народов германских определено было прежде всех других произвести всеобщее движение. Этот народ был — готы[1], народ, над которым, казалось, тяготело какое-то проклятие, осудившее его на скитание. Долго блуждал он и показывал-

[1] О готах: Прокофий, Иорнанд, Гиббон.

ся то в Скандинавии, на противоположных берегах Балтийского моря, то, наконец, на широком востоке Европы. По свидетельству историка Иорнанда, он первобытную жизнь вел в Скандинавии. Может быть даже, что это был один из первоначальных народов Европы. Перебравшись из снеговой своей отчизны, он устремился на берег Пруссии и произвел страшный всемирный переворот, вытеснив оттуда вандалов, ломбардов, герулов, бургундов и саксов, и против их собственной воли заставил их быть одними из ревностных деятелей в разрушении Западной империи. Всеобщее потрясение ощутилось во всей Европе: вся эта цепь сильных прибалтийских народов придвинулась ближе к границам римским, потеснила в горы и болота множество племен, сжала сильнее их силу, и римляне должны были завести новое знакомство: герулы, вандалы, ломбарды уже стали появляться в войсках их.

Между тем готы, прочистивши перед собою дорогу, отчасти разогнали, отчасти покорили придунайских народов: маркоманов, квадов; соединились в южных равнинах Дакии в многочисленные массы и, с приведенными под власть свою народами, устремились к Черному морю. Чем далее к югу, тем удобнее была им дорога и тем быстрее был их путь; наконец они очутились в средине Греции и в Малой Азии, выжгли берега Черного моря. Халцедон, Эфес были обращены в пепел; Афины были разграблены страшно, безжалостно. Император Деций видел опасность восточных границ обширной своей империи, и между тем как на западных границах войска его сражались с вандалами, свевами, герулами, сдвинутыми с мест готами, он сам предводил войсками на востоке и погиб с оружием в руках. Готы с великою добычею возвратились, заняли нынешнюю Россию, приобрели трактатом от римлян всю Дакию и остались здесь, владычествуя над придунайскими народами и тревожа присутствием своим беспечную империю. Тогда всемирные императоры, узнавшие несчастным опытом дикое мужество готов, составили план принимать их в свои войска и выдавать жалованье этим неодолимым дикарям. Сим приобрели они сильных защитников, но вместе с тем приобрели и сильных неприятелей, потому что открыли им тайну благоустроенной тактики, которая еще более могла придать им перевеса. Но, впрочем, тактика готов и без того была неодолима. Она соединяла в себе вместе и тактику народов легких

и кочующих, и тактику неподвижных народов. Они строились густыми, великими массами и сохраняли одинаковую крепость в порыве первого нападения, в разгаре битвы и в потухающей силе ее окончания. Как бы долго ни длилась битва, их ряды невозможно было сдвинуть с места. Нападения свои они сопровождали так же, как и другие германские племена, песнями. В песнях провозглашались имена древних героев: Фридигера, Видигана, Этесбамера и других. Власть религиозная заключалась в одном лице, который был вместе и царь, и предводитель войск, и верховный жрец, и при всем том зависел от совета храбрых.

У готов с незапамятных времен тянулось царственное поколение Бальтов, из которых только одних можно было избирать царей. Поклонялись Водану, бывшему в отдаленные веки их предводителем вместе с Оденом, этим северным Улиссом[1]. Из всех народов германских готы более других способны были принять цивилизацию. До средины четвертого века власть готов признавалась более или менее народами на Дунае, на западе и на востоке нынешней России. Имя царя их Германриха было уважаемо от берегов Черного моря до Ливонии... Но владычество готов было смущено великим азиатским нашествием гуннов.

Гунны, или гионгну, по свидетельству Дегине, были племена сильные, занимавшие великие степи Татарии, Манжурии, потрясшие Китай, но не умевшие противиться китайской лукавой политике и обратившиеся впоследствии в данников китайских монархов. Однако же многочисленная часть поднялась с своими кибитками и табунами, направляясь на запад, заняла закаспийские земли и скрылась таким образом из виду Китая. Поселение их на берегах каспийских историки римские относят ко времени Домициана. Не мешает при этом заметить, что образованный тогдашний римско-греческий мир ничего не знал даже о том, существует ли на свете этот народ, до времени императора Валента, то есть до того времени, когда увидели вдруг извергавшиеся из гор Азии толпы гуннов и с ними аваров, гуннуюров, ульзингуров и других народов, которых имена дико звучали для утонченного и вместе испорченного слуха римлян-греков. Набег этих обитателей Азии, разрушительный, неотразимый, обычай их

[1] Шлегель.

есть сырое мясо, пить из неприятельских черепов и приносить на окровавленном костре в жертву теням своих предков первых попадавшихся пленников, самые их калмыцкие лица, плоские, неуклюжие, смуглые, наводившие робость одним своим свирепым движением, их приземистый рост, весь состоявший из одних мускул, привели в такой ужас азиатско-римские провинции, что жители не смели производить их от человеческого племени. Они думали, что маги и волшебники неизмеримых каспийских пустынь вошли в нечистое сношение с дьяволами и от этого союза произошли гунны.

Гунны, по какому-то странному инстинкту или, может быть, испугавшись слишком пестрой поверхности римской Азии, усеянной садами и городами, которых всегда убегают кочевые народы, считающие их темницами, или не находя вольных пустынных степей, необходимых для их неисчисляемых стад, как бы то ни было, только они двинулись, вместо того, чтобы на юг, на северо-запад; зацепили путем своим Кавказа, сорвали с его подошвы несколько народов кавказских и увлекли с собою. Вся эта кочевая толпа высыпала в Европу. Великий аванпост Европы занят был, как мы уже видели, владычеством готов. Их многочисленные племена и покоренные ими народы были передовыми ее стражами и наполняли ее обширные ворота, к несчастию, слишком обширные для такой небольшой части света, какова Европа. И готы, те готы, которые считались непобедимым ее оплотом и силою, уступили перед ними. Это так и долженствовало быть. Тайна азиатского многочисленного набега была совершенно неизвестна готам. Если бы они знали, что азиатское нападение более всего страшно силою первого порыва, что умение долее противустать ему и продлить битву одни только могут выиграть, если бы готы знали это, то гунны убрались бы снова за Кавказ, и Европа не почувствовала бы сильного потрясения, изменившего снова ее вид. Но эта тайна не была постигнута готами. Впрочем, надобно сказать и то, что нужно было иметь нечеловеческую храбрость и крепость духа, чтобы выдержать первый напор гуннов. Нападения их были производимы с таким ужасным криком; многочисленная масса их летела так густо и с такою силою на лошадях бешеных, почти диких, как будто бы была сброшена с крутого утеса и не в состоянии была сама удержать бега; узкий, почти пропадавший

между пухлых щек их глаз был так быстр и верен; в одно мгновение они давали столько изменений ходу битвы, так быстро могли рассыпаться и исчезнуть из виду, так скоро собраться в кучи, так метко высылать летящий лес стрел, даже убегая, так ловко они умели отстреливаться, и все это сопровождали таким диким оглушительным криком, — что вряд ли мог сыскаться предводитель, чей глаз не разбежался бы и голова не закружилась в битве с ними.

Погнавши готов, гунны заняли нынешний польский запад России да северные и дунайские земли, — и география Европы изменилась снова. Занявши такое огромное пространство, гунны необходимо должны были произвесть сильное потрясение и всеобщую перемену мест. Сдвинутые готы, хотя с трудом, но подались на запад и юг; вандалы и свевы, с которыми римляне или, лучше сказать, римские германцы мерялись уже на самых границах своими силами, ворвались чрез Францию и Альпы в Испанию. И в Испании, ко всеобщему изумлению, столкнулись народы совершенно с противуположных стран света: свевы с берегов Балтики и снежной Скандинавии и алане, оторванные гуннским порывом с подошвы Кавказа.

Гунны бродили по степям России, переносили свои кибитки и перегоняли табуны в течение целых пятидесяти лет, не производя дальних завоеваний, потому что Западную Европу и на тот раз спасало лесистое и неровное положение и потому что гуннам недоставало предприимчивого предводителя. Они производили свои набеги на соседей, которые обыкновенно состояли в хищничестве жен, детей и в угонке стад в свои пределы. Эти хищничества более всего должны были испытать готы, как ближайшие к ним народы. Готы в это время разделились на две великие ветви: на визиготов, которых цари были избираемы из прежней царственной линии Бальтов, и остроготов, избиравших царей из новой царственной ветви Амалов. Столкнутые гуннами, они притеснились к самому югу нынешней Украйны и Молдавии. Не нашедшая безопасности часть визиготов, под начальством Фридигера, Алета, Сафраха, обратилась с просьбою к римскому императору о позволении перейти через Дунай и, поселившись на южной стороне его, защищать провинции от нападения усиливавшихся варваров. Император Валентиниан, управлявший империей

вместе с братом своим Валентом, принял с радостию неожиданную помощь — и визиготы перешли чрез Дунай. Между тем остроготы и часть визиготов, живших на юго-востоке, терпели часто голод и видели беспрестанно увеличивающиеся свои нужды, просили императора Валента, который имел надзор над восточными провинциями и жил в Константинополе, снабдить их нужными произведениями и позволить им торговать с тамошними жителями. Император поручил удовлетворить их во всем фракийским правителям, Луципину и Максиму, которые были совершенные греки времен византийских, коварные, готовые оказать злодейские поступки даже без побудительных причин и почитавшие позволительными все поступки с варварами. Они не торговали, но просто грабили готов и доводили их до крайности продавать жен и детей; наконец, под видом приязни призвали доблестнейших готов и решились тайно умертвить их. Это пробудило мщение в диком, но сохранявшем первоначальные человеческие чувства народе. Многочисленные толпы готов ворвались во Фракию и до самого Константинополя жгли, грабили и обратили в пепел все находившиеся по дороге города и окрестности. Император Валент находился в весьма неблагоприятном положении. Он был ревностный арианец и потому гнал без милосердия противников секты, потому имел врагов, и сам брат его Валентиниан, императорствовавший в Риме, отказал подать ему помощь; кроме того, император Валент был жесток и ужасно подозрителен: ему предсказали, что гибель его последует от человека, которого имя начинается словом *Фео,* — и он перерезал и передушил всех Феодориков, Феодотов и Феодисиев, которые только занимали какие-нибудь значительные должности. Само собою разумеется, что такие поступки не внушили его подданным излишнего жара защищать своего монарха. Притом и самые подданные были жалкий, бесхарактерный народ, войска умели только бунтоваться и готовы были бежать при первом случае; финансы разбрелись по рукам евнухов, любимцев, любовниц и пронырливого духовенства. Итак, Валенту наконец пришло поплатиться за прежнюю жизнь свою. Оставленный бегущими войсками, он спрятался в бедную хижину и был сожжен вместе с нею мстительными готами. Константинополь уцелел благодаря незнанию готов осаждать города. Готы с торжеством, с бесчисленною добычею,

возвратились в свои жилища, оставив римлянам страшную память своего посещения.

Скоро после этого произошло совершенное разделение Римской империи. Император Феодосий думал спасти ее чрез эту секуляризацию, приписывая слабость ее неизмеримости и невозможности одному управлять. Восточная империя, которая очень справедливо стала называться Греческою, а еще справедливее могла бы называться империей евнухов, комедиантов, любимцев, ристалищ, заговоров, низких убийц и диспутствующих монахов, досталась Аркадию, которым управлял пронырливый опекун его Руфим; Западная, которая тоже весьма несправедливо называлась Римскою, потому что все административные значительные места были заняты выслужившимися варварами из готов, вандалов и других германцев, получивших только слабый наружный лоск римского образования, которая уже в собственном сердце своем видела насильно теснившихся врагов, которая в живом трупе своем видела и чувствовала онемение жизни, эта Западная империя вручена была малолетнему Гонорию, которым управлял Стиликон, родом вандал, бывший верным и храбрым при Феодосии и сделавшийся низким и слабым при ничтожном его сыне. Опекуны, правительствовавшие в разных углах Европы, ненавидели друг друга. Первый подарок, который Руфим, хитрый, как византийский грек, препроводил к своему неприятелю Стиликону, состоял в сильных войсках визиготов, которых он настроил воевать Италию, обещая с своей стороны не подавать никакой помощи. Все визиготы поднялись с своих становищ в Дакии и с берегов Дуная и вступили в Италию. Но Стиликон, вместо того чтобы устрашиться такого нашествия, втайне был рад ему. Он основывал на нем кучу планов. Прежде всего он думал этими свежими, многочисленными и сильными варварами истребить других варваров, уже втеснявшихся в самые пределы Римской империи. Тогда Галлия и принадлежала и не принадлежала римлянам. Сильный франкский союз стоял на границах ее вместе с накопленными под его эгидом племенами; на востоке и на юге, то есть в недре самой Франции, вольно расположились алеманы и бургунды. В Испании свевы, алане и вандалы захватили всю лучшую часть ее, то есть юг. Среди их римские префекты и начальники играли самую жалкую роль, имели достоинство без

власти. Казалось, вместо Римской империи лежала над полумиром одна только величественная длинная тень ее. Империя была похожа на тысячелетний дуб, который изумляет своею страшною толщиною и которого средина давно уже обратилась в гниль и прах. Стиликон искусно отклонил Алариха от желания поселиться в Италии и предложил ему богатую, цветущую Испанию. Он даже замышлял обратить этих варваров против врага своего Руфима, вместе с тем он располагал даже в случае удачи объявить себя императором вместо слабого Гонория, но чересчур перехитрил, и собственная голова слетела с плеч его. Слабый, ничтожный Гонорий, не понявший ни одного прожекта Стиликона, велел одному из своих также нерассудительных полководцев напасть с тыла на готов, уже выступавших в Испанию, с тем чтобы нанести им какой-нибудь вред. Аларих вдруг обратился и очутился под стенами Рима. Гонорий, по обыкновению, бежал. Сенат, видевши бессилие свое, умолил могущественного гота отступить, обещая дань, часть которой ему была выдана тогда же, остальной решился победитель ждать и отступил от Рима. Как только узнал Гонорий, что опасность миновалась, как уже вновь прибыл в Рим и вовсе не думал платить дани. На этот раз Аларих явился под стенами уже гневный, грозивший обратить в пепел вечный город. 23 августа 409 года стены всемирной столицы увидели среди себя предводителя готов. Великолепные домы и дворцы были разграблены, но грозный Аларих запретил зажигательство и пролитие крови. Из этого можно видеть силу воли и власть, какую он имел над своими дикарями, удержав их от того, от чего иногда не властен удержать и начальник образованных войск. Гонория и следа уже не было в Риме, он давно умел скрыться. Но зато победитель показал в величайшей степени презрение, какое чувствовал к римлянам: возвел им царя их же префекта Атала и заставил его ползать у дверей палат своих. Насытив свое мщение, оставил он Рим и обратился на юг Италии. Здесь он замышлял великие планы, строил флот и намеревался перенести свои победительные знамена на берега Африки, но смерть остановила его подвиги. Для гробницы его визиготы отвели течение реки Везанто, вырыли на бывшем дне ее глубокую могилу, в которую зарыли труп, и потом снова возвратили ее на прежнее лоно, чтобы никто не мог осквернить и поругаться над могилою великого гота. Избранный после

него Астольф наконец вывел готов в Испанию, где они быстро утвердились и составили сильное Готское королевство, изгнав не имевших значения римских начальников.

Вторжение визиготов было сильно почувствовано во всех концах Испании. Алане и свевы были крепко стеснены, и большая часть их должна была признать власть готов. Даже вандалы, бывшие сильнейшими в Испании, были сильно притеснены и придвинуты к Средиземному морю. Уже король их Гензерих помышлял о переправе в Африку. Но одно происшествие как будто нарочно ускорило исполнение его мысли. В Риме управлял именем малолетнего Валентиниана и его матери знаменитый Аэций, предприимчивый, честолюбивый, хитрый, не слишком разборчивый на средства к достижению желаемого. Он имел сильного противника в Бонифации, правителе Африки, и решился его погубить; для этого призывал его именем императора в Рим. Бонифаций, проникнувши умысел, решился остаться в Африке и призвать на помощь Гензериха. В 427 году Гензерих с вандалами и частию аланов высадился на берег Африки и означил путь свой пожарами и опустошениями. Бонифаций увидел наконец свою ошибку, что призвал такого гостя. Он успел уже примириться с императором и решился поставить преграду беспокойному своему союзнику. Но с Гензерихом не так было легко управиться. Бонифаций был разбит. Гензерих зажег Карфагену, ограбил домы, рубил жителей и извлек, где только могли скрываться, сокровища.

Быстрые успехи разожгли его хищное честолюбие. Скоро весь северный берег Африки подвергнулся его вандальскому владычеству. Огнем и мечом окрестил он его в арианство и составил сильнейшее в этот мятежный и темный век государство. С этого времени разгулялся Гензерих. Страшный флот его рассыпался по Средиземному морю и прекратил своим корсарством всякое плавание. Каждый год этот нумидийский лев появлялся у всех берегов Средиземного моря от Греции и Илирии до Гибралтара, собирая, как жатву на собственном поле, все, что могла только произвесть цветущая населенность их. Испания, Сицилия, Сардиния, Далмация попеременно чувствовали ужасную, разрушительную руку этого венчанного пирата, который так быстро воздвигнул первое государство христианских корсаров. Но наконец среди величия и награбленных богатств им овладело то состоя-

ние духа, та свирепая задумчивость, которая сушит, мучит душу и служит близким предвестием тиранства, ужасной нравственной болезни властителя. Он стал подозревать всех окружающих и подозрение наконец простер на жену свою, дочь визиготского короля, ему вообразилось, что она имеет умысел отравить его. Наполненный этою мыслию, он приказал отрезать ей нос и уши и в таком виде отправить к ее отцу. Но, испугавшись сам мщения готов, пригласил Аттилу, предводителя гуннов, напасть с севера на Испанию и Италию.

Аттила имел свою резиденцию в Дакии, где недалеко от Дуная находилось становище из грубых деревянных юрт, среди которых возвышался неуклюжий дворец его. Аттила был именно такой предводитель, какого дотоле недоставало гуннам. Он показал, как может быть ужасна стремительная азиатская сила. Весь северо-восток Европы признавал его владычество. Цепь народов, несших дань непобедимому царю гуннов, начиналась у Кавказа и оканчивалась у Рейна. Готы, гепиды, алане, герулы, аказиры, туринги и славяне очутились в границах его быстро раздавшейся кочевой империи. Греческий император, испытывавший его презрение, униженно присылал ему дань и ползал перед его могуществом. Это был маленький человечек, почти карло, с огромною головою, с небольшими калмыцкими глазами, но так быстрыми, что ни один из подданных его не мог выносить их без невольного трепета. Одним этим взглядом он двигал всеми своими племенами, которые, несмотря на разбросанное свое положение, различие жизни, нравов и обычаев, слились его словом в одну душу. Посреди своих придворных, блиставших награбленным золотом, этот необыкновенный человек носил грубую широкую одежду, лежал на простом войлоке, пил почти одну воду из деревянного котла, ни седло, ни лошадь его не видали на себе драгоценных каменьев, и сам себя называл бичом Божиим, посланным для того, чтобы исправить мир. Власть его над войском была беспредельна: оно верило, что у него находится чудесный меч, который должен завоевать ему весь мир. Повиновение покоренных народов было изумительно. Впрочем, невозможно было и думать им о возмущении, потому что Аттила мог выставить возле своей ставки такую пирамиду из отрубленных голов, глядя на которую немного находилось охотников. Он не любил заводить напрасно войны,

особенно когда мир мог ему доставить то же самое. Справедливость его была ужасна. Он показывал и великодушие, но только рабам, простертым у ног его. Мщение же Аттилы... но вызвать его мщение никто не имел духа.

Предложение Гензериха, казалось, упредило его собственную мысль. Властительно собрал он бесчисленные племена свои и шел на запад. Римская империя почувствовала всю опасность. Все народы, составлявшие тогда запад Европы, встревожились. И тогда случилось странное событие: вся западная дикая Европа сдвинулась в один союз. Римляне соединились с своими разрушителями, визиготами, аланами, франками. Народы кочующие и пастушеские шли на неподвижных и уже отчасти земледельцев, стремительная и деспотическая Азия — на крепкую и вольную Европу. Нужно заметить, что германские народы чем ближе к западу, тем более означались вольным духом. Альпы были древним хранилищем европейской свободы, и вокруг их на далекое расстояние племена хранят еще и доныне черты независимости. Равнинам близ Марны во Франции определено было быть театром этой единственной битвы. Западная вольная Европа из римлян, визиготов, арморикан, бреонов, бургундов, саксонов, аланов и франков, под начальством королей, военных предводителей и под высшим распоряжением искусного Аэция, и восточная кочевая Европа из остроготов, аланов, гепидов, маркоманов, венедов, ломбардов, герулов, аказиров, аваров, турингов, роксоланов и некоторых племен славянских, под начальством своих князей, королей и принцев и движимых одною всемогущею волею Аттилы, должны были решить многое важное в потомстве. Вольная Европа устояла. Неотразимая, разрушительная конница Аттилы была опрокинута вместе с союзными народами, и непобедимый гунн, употребивший все возможное напряжение своей воли, поворотил свои табуны и народы в равнины Венгрии и Панонии. Аэций, не желая дать перевеса визиготам, действовавшим сильнее других в этой кровопролитной сече, облегчил ему удаление. Великая лига, исполнявшая свое назначение, разошлась и обратилась в прежние начала, увидя минувшую опасность.

Но ужасный предводитель гуннов рвал на себе благородный клок волос своих от гнева и через год, пополнивши свои войска новыми, вступил в Италию, где беспечный император

Валентиниан и даже сам Аэций не мыслили об опасности. Первый город, испытавший его тяжелую руку, был Аквилея. Он его обратил в пепел и заставил горсть спасшихся жителей зародить на Адриатическом море Венецию. Отсюда прошел он всю Италию, действуя как огненный бич. Города: Конкордия, Бресчиа, Виченца, Падуа, Верона, Мантуа, Милан, Модена, Парма — представили одни обнаженные стены. «Клянусь, — гордо провозгласил дикий гунн, — что, где коснется копыто коня моего, там более не вырастет трава!» Наконец и Рим увидел под стенами своими Аттилу. Испуганный папа, в облачении, со всем крестным ходом, вышел навстречу неумолимому гунну, и великолепный ли обряд христианства или мысль, рассеянная между дикими, даже языческими, народами о пребывании чего-то священного в Риме, что бы то ни было, но Аттила отступил, взявши великий выкуп, и вышел из Италии.

Теперь предстояла очередь испытать его мщение и силу соединенной лиге западных народов, — но внезапная смерть его спасла ее. Аттила умер необыкновенным образом. Суровый, воздержный, не позволявший золотым украшениям и камням убрать даже рукояти сабли и войлочного седла своего, он в один день изменил свою жизнь. Сочетавшись браком с дочерью бактрианского царя, необыкновенною красавицею, упоенный вином и пиршеством, он с таким неистовством предался сладострастию, что выпил за одним разом всю железную жизнь свою. Кровь у него пошла из ушей, из носа, изо рта — и он задохнулся.

В неведомой пустыне, среди глубокой ночи, копали могилу Аттиле, сопровождая песнями о его подвигах. Тело его было положено в тройной гроб из золота, серебра и меди; с ним легли его оружия, его конные сбруи. На могиле его были заколоты все рабы и копавшие землю, чтобы никто из живущих не ведал о месте, где лежат кости великого человека[1].

По смерти Аттилы гунны вдруг рассеялись и рассыпались, как всякий азиатский народ, связанный только могущественною волею предводителя. Тогда европейские народы шире и вольнее раздались и более приняли самостоятельности, и на востоке начали виднее показываться племена славян, которые мало-помалу

[1] О гуннах и об Аттиле: Иорнанд, Дегине, Фишер.

разрослись в шестьдесят разных ветвей[1], протянулись до Тироля, прошумели по уходе остроготов на границах империи Греческой и, углубившись в великие пространства, наконец превратились в мирных оседлых народов.

Италия еще дымилась после опустошений Аттилы, но и среди полуразрушенных развалин ее крылись еще происки. И в этом изнеможенном государстве еще нашлись жалкие честолюбцы! Сенатор Максим успел очернить перед бессильным императором Валентинианом единственную опору его шаткого трона — Аэция, и неблагодарный Валентиниан убил его собственною рукою. Но, лишившись этой опоры, он сам погиб, умерщвленный Максимом, который надел на свою детски честолюбивую голову императорскую корону и женился на его вдове Евдоксии. Мстительная вдова, раздраженная низким умерщвлением своего супруга и мало заботившаяся об участи всей Италии, тайно пригласила Гензериха вступить в Рим и отмстить за смерть императора, его союзника и друга.

Гензерих не любил заставлять долго ждать себя, он немедленно поднялся с берегов Африки с толпами своих вандалов на пиратских судах и высадился в Италию. И что только уцелело от меча Аттилы, все то истребил, по своему обыкновению, Гензерих. Он не очень разбирал, кто прав, кто виноват и кому он должен оказать помощь. Все испытало равную участь. Гензерих имел необыкновенное искусство грабить: после него уже никто не мог ничем поживиться. Рим, который дотоле щажен был даже язычниками, был ограблен без милосердия этим христианским королем; все, что только можно было взять, он взял. Корабли свои он наполнил множеством пленников, с которыми сам не знал, что делать; вывез множество артистов и художников, увез даже супругу императора, к которой пришел сам на помощь, вместе с дочерьми ее, наконец, даже сорвал золотой купол с Капитолия и утащил его вместе с другими сокровищами в Африку.

После всех этих событий Италия не походила и на тень прежней своей славы. Цветущая, прекрасная, венец европейской природы, она представила дикий вид опустошенной, уничтоженной страны. Титло императора едва слышалось в опустелых

[1] Конрад Геснер.

городах. Римский император уже не мог иметь никаких доходов. Он не был в состоянии даже платить жалованья собственному войску, набранному из герулов, ругиев и турцелингов. И тогда предводитель их Одоакр отрешил своего императора от должности, сделался неограниченным и независимым и уже не хотел принять императорского достоинства, но назвался просто королем герулом. Еще часть римского войска находилась как бы отрезанною за Альпами в Галлии, и предводитель ее Сиагрий, не зная ничего о происшествиях в Италии, защищал несуществующую империю против соединенного франкского союза, который сделался уже слишком страшным потому, что имел предприимчивого короля и полководца Кловиса. Сиагрию, отрезанному от своего государства, не получавшему никаких подкреплений, трудно было противуборствовать этим свежим силам: он уступил — и Галлия потопилась франкскими народами. Скоро после того остроготы, предводимые Феодориком, двинулись с северных границ империи Восточной и заняли Италию, подчинив ее народы своей власти. Скоро после того англосаксы, на своих неуклюжих дерзких кораблях, перебрались через море и овладели Англиею — и потом великие эмиграции народов большими массами совершенно остановились, но в частности, и малыми силами, они производились беспрерывно. Дикие охотники, воспитанные этими всеобщими странствиями и беспрерывною переменою мест, получили страсть к приключениям и путешествиям, и вся Европа, несмотря на то что, по-видимому, уже казалась неподвижною, двигалась и шевелилась подобно огромному рынку. Все нации перемешались между собою так, что уже невозможно было отыскать совершенно цельной; и только впоследствии постоянный образ правления или занятий сообщил главным из них некоторую особенность и некоторые признаки отличия. Тогда было четыре первенствующих великих собраний или масс народа, четыре главные пункта европейской силы. В Испании — визиготы, вторгнувшиеся туда с частью покоренных народов и присоединившие к себе уже в Испании аланов, свевов, вандалов и разных подданных им народов, зародившие толпу сильных против себя бандитов в горах Астурийских. В Галлии — франки, уже составившие нацию из прежних соседей римлян, дунайских и рейнских германцев: узипетров, сигамбров, херусков, хатов, бруктеров,

ангривариев, хазуариев и других, соединившиеся с туземцами римскими галлами, соединившиеся, но не слившиеся с покоренными арморикаами, бретонами, алеманами, бургундами, отчасти бауарами и фризами и простершие владычество за Альпы и Рейн. Это было одно из сильнейших собраний народов. В северной Германии — саксоны, страшные своею дикостью и пиратством, менее смешавшиеся с другими народами, и в Италии — остроготы, имевшие в толпах своих множество отродий народов, странствовавших по Восточной Европе: свевских, аланских, аварских, славянских, гепидских, и под расторопным, твердым правлением Феодорика получившее на время перевес в Европе. Сверх того еще все эти великие массы народов распространяли покровительственную власть свою над многими отдаленными племенами. Взаимные границы их часто терялись в неопределенных пространствах; в этих промежутках земли иногда чересполосно и независимо сохранялись многие народы. Таким образом, в Средней Германии — ломбарды, потом блеснувшие в Италии, часть бауаров, все народы, жившие в неизмеримых прежде лесах Гарца и в гористых уклонениях Альп. Восток Европы занимали совершенно разбросанные племена славянские, которые, находясь под вечным угнетением всех стремившихся из Азии народов, еще не успели явиться деятелями всемирной истории. За означенным кругом на север и на восток рассеивались народы, еще покрытые темною недеятельностью.

Такова была Европа в это шумное окончание V века, когда непостижимою волею Провидения величественный хаос, носивший темные начала нового света, опустился на Европу, когда разрушающие народы безобразными массами текли на народы, колоссально совершались мрачные события, когда имена Алариха, Гензериха и Аттилы пронеслися беспокойными кометами, когда между тем древний мир долго дотлевал на востоке, робкое римское просвещение прижалось к берегам Сирии, Александрии, Цареграда и ереси Нестория и Евтихия раздирали дряхлые, старческие его силы.

Ал-Мамун

(Историческая характеристика)

Ни один государь не принимал правления в такую блестящую эпоху своего государства, как Ал-Мамун. Грозный калифат величественно возвышался на классической земле древнего мира. Он обнимал на востоке всю цветущую юго-западную Азию и замыкался Индиею, на западе он простирался по берегам Африки до Гибралтара. Сильный флот покрывал Средиземное море. Багдад, столица этого нового чудесного мира, видел повеления свои исполняющимися в отдаленных краях провинции; Бассора, Нигабур и Куфа зрели новообращенную Азию, стекающуюся в свои блестящие школы. Дамаск мог одеть всех сластолюбцев дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, араб уже думал, как бы осуществить на земле рай Магомета: создавал водопроводы, дворцы, целые леса пальм, где сладострастно били фонтаны и дымились благовония Востока. И к такому развитию роскоши еще не успела привиться ни одна нравственная болезнь политического общества. Все части этой великой империи, этого магометанского мира, были связаны довольно сильно, и связь эта укреплена была волею необыкновенного Гаруна, который постигнул все разнообразные способности своего народа. Он не был исключительно государь-философ, государь-политик, государь-воин или государь-литератор. Он соединял в себе все, умел ровно разлить свои действия на все и не доставить перевеса ни одной отрасли над другою. Просвещение чужеземное он прививал к своей нации в такой только степени, чтобы помочь развитию ее собственного. Уже арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваний, но все еще были исполнены энтузиазма, и огненные страницы Корана перелистывались с тем же благоговением, исполнялись так же раболепно. Гарун умел ускорить весь административный государственный ход и исполнение повелений страхом своей вездесущности. Наместники и эмиры, из которых каждый обыкновенно стремится быть деспотом, опасались встретить всезрящего, переодетого калифа — и правление без законов двигалось крепко и определенно. В таком виде принял государство Ал-Мамун, государь, которого Царьград назвал великодушным покровителем наук, которого имя история

внесла в число благодетелей человеческого рода и который замыслил государство политическое превратить в государство муз. Он был одарен всею живостию и способностию к долгому изучению. Его характер исполнен был благородства. Желание истины было его девизом. Он был влюблен в науку, и влюблен совершенно бескорыстно: он любил науку для нее же самой, не думая о ее цели и применении. Он предался ей с исключительною страстью. Тогда аравитяне только что открыли Аристотеля. Многообъемлющий и точный философ Греции не мог сойтись с их воображением, слишком стремительным, слишком колоссальным и восточным; но аравийские ученые, занимаясь долгое время кропотливою работою, уже несколько привыкнули к точности и формальности и оттого принялись за него с ученым энтузиазмом. Эти бесконечные выводы, это облечение в видимость и порядок того, что они прежде чувствовали в душе пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашних ученых. Воспитанный под их влиянием, Ал-Мамун, исполненный истинной жажды просвещения, употреблял все старания ввести в свое государство этот чуждый дотоле греческий мир. Багдад распростер дружелюбные длани всему ученому тогдашнему свету. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежал к какому бы то ни было званию, какой бы ни был он религии, каких бы ни был исполнен противоречащих начал. Естественно, что тогда более всего приносили свои познания в Багдад те, которые еще сохраняли в душе свой образ политеизма, облеченного христианскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммония Саккаса, Плотина и других последователей новоплатонизма, которые уже не находили поля для своих ученых ристаний в Царьграде, слишком занятом спорами о догмах христианства. Багдад превратился в республику разнородных отраслей познаний и мнений. Венценосный араб вслушивался внимательно в усыпительную музыку ученых толкований и тонкостей. Правители государственных мест не могли не увлечься примером государя, и тогда высшие ступени государства обняла какая-то литературная мономания. Визири и эмиры старались окружить свой двор учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была как будто чем-то второстепенным, что правители должны были многое, относящееся к управлению, поверять усмотрению своих

секретарей и любимцев, что эти любимцы были иногда вовсе невежды, часто получали пронырствами места, что все это должно было отозваться на народе и впоследствии времени обрушиться на самих правителей. Толпа теоретических философов и поэтов, занявших правительственные места, не может доставить государству твердого правления. Их сфера совершенно отдельна; они пользуются верховным покровительством и текут по своей дороге. Отсюда исключаются те великие поэты, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народом. Они — великие жрецы. Мудрые властители чествуют их своею беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца.

Благородный Ал-Мамун истинно желал сделать счастливыми своих подданных. Он знал, что верный путеводитель к тому — науки, клонящиеся к развитию человека. Он всеми силами заставлял своих подданных принимать вводимое им просвещение. Но просвещение, вводимое Ал-Мамуном, менее всего отвечало природным элементам и колоссальности воображения арабов. Лишенные энергии начала политеизма, обратившиеся в кучу слов, дерзко обезображенные идеи христианства, странно озарившие тогдашние науки, не слившиеся с ними, но, можно сказать, уничтожившие их своим преобладанием, представляли совершенный контраст пламенной природе араба, у которого воображение слишком потопляло тощие выводы холодного ума. Этот чудный народ не шел, а летел к своему развитию. Гений его вдруг оказывался в войне, торговле, искусствах, мануфактурах и в роскошной поэзии Востока. Его доселе небывалые в истории человечества стихии вспыхнули богато, ярко, странно и совершенно оригинально. Казалось, этот народ обещал дотоле невиданное совершенство нации. Но Ал-Мамун не понял его. Он упустил из вида великую истину, что образование черпается из самого же народа, что просвещение наносное должно быть в такой степени заимствовано, сколько может оно помогать собственному развитию, но что развиваться народ должен из своих же национальных стихий. Но для араба поле подвигов было заграждено этим

бесплодным чужестранным просвещением. Самый космополитизм Ал-Мамуна, открывавшего вход в государство ученым всех партий, уже зашел несколько далеко. Выгоды, которые в государстве получали христиане, не могли не возродить в собственных его подданных ненависти, а вместе и презрения к самым даже полезным их учреждениям, — и народ уже терял любовь к своему калифу. В правлении Ал-Мамун был больше философ-теоретик, нежели философ-практик, каким бы должен быть государь. Он знал жизнь своего народа из описаний, из рассказов других, а не изведал сам, как очевидец, как изведал его великий Гарун. В азиатских образах правления, не имеющих определенных законов, вся административная часть падает на самого монарха, и потому деятельность его должна быть необыкновенна, внимание его должно быть вечно напряжено; он не может ввериться совершенно никому, и глаз его должен иметь многосторонность Аргуса: минуту засни он — и его полномочные наместники вдруг возрастают, и государство наполняется миллионами деспотов. Но Ал-Мамун в своем Багдаде жил как в государстве муз, им же самим созданном и совершенно отдельном от мира политического. Христиане, которые стали наконец вмешиваться в административные должности, не могли узнать народного духа и обычаев земли. Притом самое иноверство их было невыносимо для араба, еще сохранявшего энтузиазм и нетерпимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось на устах всех ученых тогдашнего века, когда его гостеприимство привлекало пестрые флаги к берегам сирийским, власть его внутри государства становилась между тем слабее. Жители провинций, никогда не видавшие своего калифа, мало дорожили его именем. Военная сила ослабла. Просвещение обыкновенно стремилось из Багдада, как из центра, уменьшаясь и угасая по мере приближения к отдаленным границам. На границах арабы еще сохраняли свой первый период. На границах стояли войска, еще полные фанатизма, еще стремившиеся огнем и мечом водружать веру Магомета. Сильные эмиры их, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамун уже при жизни своей видел отторжение Персии, Индии и дальних провинций Африки. Но, может быть, все это неверное направление администрации было бы еще исправимое зло, если бы Ал-Мамун не простер уже слишком далеко своей

любви к истине. Он захотел быть религиозным реформатором своей нации. Исполненный ума чисто теоретического, будучи выше суеверий и предрассудков, будучи ближе познакомлен с некоторыми догмами христианства, нежели его предшественники, он не мог не видеть всех бесчисленных противоречий, пламенных нелепостей, которые вырывались всеместно в постановлениях исступленного творца Корана. Он решился очистить и преобразовать священную книгу магометан и — в то самое время, когда еще все низшие государственные ступени, вся чернь была уверена, что она принесена с неба, и когда усомниться в маловажном постановлении ее уже считалось величайшим преступлением. Полугреческий образ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слепого энтузиазма его подданных. Первым шагом к образованию своего народа он почитал истребление энтузиазма, того энтузиазма, который составлял существование народа аравийского, того энтузиазма, которому он обязан был всем своим развитием и блестящею эпохою, подорвать который — значило подорвать политический состав всего государства. Ему нелепее, несообразнее всего казался Магометов рай, куда араб переносил всю чувственную земную жизнь свою, жизнь, назначенную для наслаждения и сладострастия. Но Ал-Мамун не принял в соображение того, что это постановление изверглось из огненного аравийского климата, из огненной природы араба, что этот рай для магометанина есть великий оаз среди пустыни его жизни, что надежда в этот рай одна только заставляла чувственного араба терпеливо сносить бедность, притеснение, подавлять в душе своей зависть при виде утопающего в роскоши сибарита. Мысль, что и он будет наконец находиться среди гурий, среди роскоши, превышающей роскошь земных владык, одна могла быть доступна для такой чувственности и цветистости воображения, каким природа наделила араба, и что, может быть, с дальнейшим только развитием его могла нечувствительно очиститься его вера. Но Ал-Мамун не постигал азиатской природы своих подданных.

Можно себе представить силу негодования многочисленного класса народа, когда распространились вести о преобразованиях калифовых. Как должен был принять это народ, который уже за одно покровительство христианам и привязанность к иностранцам обвинял гласно калифа в мотализме или ереси? Грубая

толпа прежних точных исполнителей Корана жестоким упорством своим наконец заставила калифа взяться за оружие. И благородный, великодушный Ал-Мамун, проникнутый истинною любовию к человечеству, явился гонителем своих подданных. Гонением своим он воскресил опять в арабах дикий фанатизм, но уже не тот фанатизм, который сдвинул прежде кочевых обитателей Аравии в одну массу, — он произвел оппозиционный фанатизм, который растерзал массу, который посеял плевелы в недрах государства, который разбудил дикие страсти араба, который дал нож и яд ненависти в руки исступленных последователей ислама, который произвел множество ослепленных сект и ужаснее всего секту карматианов, долго еще свирепствовавшую под именем Сирийских Убийц во время Крестовых походов. Среди волнений, оказывавшихся в разных концах государства, среди смут и партий, рассыпая одною рукою благодеяния и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорных, исступленных своих подданных, умер благородный Ал-Мамун, — умер, не поняв своего народа, не понятый своим народом. Во всяком случае, он дал поучительный урок. Он показал собою государя, который при всем желании блага, при всей кротости сердца, при самоотвержении и необыкновенной страсти к наукам был, между прочим, невольно одною из главных пружин, ускоривших падение государства.

<Семен Семенович Батюшек>

Можно биться об заклад, что читатель, если ему случится только проезжать заштатный городишку Погар, увидит, что из окна одного деревянного, весьма крепкого дома, с высокою крышею и двумя белыми трубами, глядит весьма полное, без всяких рябин лицо, цветом несколько похожее на свежую, еще не ношенную подошву.

Это Семен Семенович Батюшек — помещик, дворянин, губернский секретарь. Он завел обыкновение глядеть из окна решительно на все, что ни есть на улице. Едет ли проезжий какой-нибудь дворянин, может быть, тоже и губернский секретарь, а может быть, и повыше, в коляске покойной, глубокой, как арбуз, из которой смотрят хлеб, няньки, подушки или просто жид-извозчик на облучке <покрытом?> рогожами, с узкою дрянной бородой, в которой оставили весьма немного волос разные господа, одетые в военные и партикулярные платья; или пронесется с шумом <?> картинно <?> разбойник и <...> ремонтер. Он все это рассмотр<ит>. Если ж и никто не проедет — ничего, это не *беда.* <Семен> Семенович посмотрит и на курицу и на чушку, которая пробежит перед окном, и весьма внимательно <?> от головы до хвоста. Когда столкнутся два воза, он из окна тут же подаст благоразумные советы, кому податься вперед, кому <назад>, и первому проходящему прикажет помочь. Если один из очень быстрых его глаз завидит, что мальчик лезет через забор в чужой огород или пачкает углем на стене неприличную фигуру, он подзовет очень ласковым голоском к себе, велит потом подвинуться ему ближе к окну, потом еще ближе, потом, протянувши руку, хвать его за ухо и отдерет это бедное <ухо> таким образом, что тот унесет его домой висящее на одной ниточке, как нерадиво пришитая пуговица к сюртуку. Если подерутся два мужика, то он сию ж минуту тут же из окна над ними суд, допросит, чьи они, велит позвать Петрушку и Павлушку-повара и комнатного лакея, у <которого> на серой куртке неизвестно по какой причине военный воротник, и тут же высечет обоих мужиков, а другим еще прикажет придержать. Ему нет нужды, что не его люди.

Только на два часа в день прячется это лицо. Это случается во время и после обеда, когда он имеет обыкновение отдыхать. Но и тут, случись только какое-нибудь происшествие на улице, <Семен> Семенович, как паук, к которому попадается в паутину муха, вдруг выбежит из своего угла, и уже так знакомое заштатному городишку лицо, цвету еще не ношенной подошвы, торчит у окна.

Альфред

Действие I

Народ толпится на набережной.

Один из народа. Ай, что ты так теснишь! Пустите хоть душу на покаянье!

Другой из народа. Да посторонись, ради Бога!

Голос третий. Эх, как продирается! Чего тебе? Ну, море, вода, больше ничего. Что, не видел никогда? Думаешь, так прямо и увидишь короля?

<Туркил>. Ну, теперь, как Бог даст, авось будет лучшее время, когда приедет король. Вот не прогонит ли собак-датчан.

— Ты откудова, брат?

Туркил. Из графства Гертинга. Томс Туркил. Сеорл.

— Не знаю.

<Туркил>. Бежал из Колдингама.

— Знаю. Где монахинь сожгли. Ах, страх там какой! такого нехристианства и от жидов, что распяли Христа, не было.

Женщина из толпы. А что же там было?

— А вот что. Когда узнали монахини, что уже подступает Ингвар с датчанами, которые, тетка, такой народ, что не спустят ни одной женщине, будь хоть немного смазлива... дело женское... ну, понимаешь... Так игуменья — вот святая так точно святая! — уговорила всех монахинь и сама первая изрезала себе все лицо. Да, изуродовала совсем себя. И как увидели эти звери — нет хороших лиц, так его не оставили и пережгли огнем всех монахинь.

Голос. Боже Ты мой!

Голос в толпе. Эх, англосаксы...

Другой. Сильный народ, проклятый.

— Конечно, нечистая сила.

— Что, как в вашем графстве?

— Что в нашем графстве? Вот я другой месяц обедни не слушал.

— Как?

— Все церкви пусты. Епископа со свечой не сыщешь.

— От датчан дурно, а от наших еще хуже. Всякий тан подличает с датчанином, чтоб больше земли притянуть к себе. А если какой-нибудь сеорл, чтоб убежать этой проклятой чужеземной собачьей власти, и поддастся в покровительство тану, думая, что если платить повинности, то уже лучше своему, чем чужому, — еще хуже: так закабалят его, что и бретон такого рабства не знал.

— Ну, наконец, мы приободримся немного. Теперь у нас, говорят, будет такой король, как и не бывало, — мудрый, как в Писании Давид.

— Отчего ж он не здесь, а за морем?

Другой. А где это за морем?

— В городе в Риме.

— Зачем же там он?

— Там он обучался потому, что умный город, и выучился, говорят, всему-всему, что ни есть на свете.

Другой голос. Какой город, ты сказал?

— Рим.

<Другой голос>. Не знаю.

— Рима не знаешь! Ну, умен ты!

Другой. Да что это Рим? Там, где святейший живет?

— Ну да, конечно. Пресвятая Дева! Если бы мне довелось побывать когда-нибудь в Риме! Говорят, город больше всей Англии и дома из чистого золота.

Дру<гой голос>. Мне не так Рим, как бы хотелось увидеть папу. Ведь посуди ты: выше уж нет никого на свете, как папа, — и епископ и сам король ниже папы. Такой святой, что какие ни есть грехи, то может отпустить.

— Вот, слышишь ли, кто-то говорит, что видел папу.

Голос народа *(на другой стороне)*. Ты видел папу?

Брифрик *(из толпы)*. Видел.

— Где ж ты его видел?

<Брифрик>. В самом Риме.

<Голоса>. Ну, как же? Что он? Какой?

Народ сталкивается в ту сторону.

Да пустите! Ну, чего вы лезете? Не слышали рассказов глупых?

Брифрик. Я расскажу по порядку, как я его видел... Когда тетка моя Маркинда умерла, то оставила мне всего только половину hydes земли. Тогда я сказал себе: «Зачем тебе, Брифрик, сын Квикельма, обработывать землю, когда ты можешь оружием добиться чести?» Сказавши это себе, я поехал кораблем к французскому королю. А французский король набирал себе дружину из людей самых сильных, чтобы охраняли его в случае сражения или когда выедет куда, то и они бы выезжали, чтобы если посмотреть, так хороший вид был. Когда я попросился, меня приняли. Славный народ! Латы лучше не в сто мер наших. Кольчуги такие ж, как и у нас, только не все железные. В одном месте, смотришь, — ряд колец медных, а в другом есть и серебряные. Меч при каждом, стрел нет, только копья. Топор больше чем в полпуда — о, куды больше! а железо такое острое, — то, что у старого Вульфинга на бердыше, — ни к черту не годится!

Вульфинг *(из толпы)*. Знай себя!

<Брифрик>. Вот мы отправились с французским королем в Рим, чтоб папе почтение отдать. Город такой, что никак нельзя рассказать. А домы и храмы Божии не так, как у нас, строятся, что крыши востры, как копье, а вот круглые — совсем как бы натянутый лук, и шпицев совсем нет. А столпы везде, и так много и резьбы и золота, великолепие такое!.. — так и ослепило глаза. Да, теперь насчет папы скажу. В один вечер пришел товарищ мой, немец Арнуль. Славный воин! Перстней у него и золотых крестов, добытых на войне, куча; и на гитаре так славно играет... «Хочешь, говорит, видеть папу?» — «Ну, хочу». — «Так смотри же, завтра я приду к тебе пораньше. Будет сам папа служить». Пошли мы с Арнулем. Народу на улице — Боже Ты мой! больше, чем здесь. Римлянки и римляне в таких нарядах!.. Так и ослепило глаза. Мы протолкались на лучшее место, но и то, если бы я немножко был ниже, то ничего бы не увидел за народом. Прежде всех пошли мальчишки лет десяти со свечами, в вышитых золотом платьях; и как вышли они — так и ослепило глаза. А ход-то, весь ход! Ход был выстлан красным сукном. Красным-красным, вот как кровь... Ей-Богу, такое красное сукно, какого я и не видал. Если бы из этого сукна да мне верхнюю мантию, то вот говорю вам перед всеми, то не только бы свой новый шлем, что с каменьем и позолотою, который вы знаете, но если бы прибавить к этому

ту сбрую, которую променял Кенфус рыжий за гнедого коня, да бердыш и рукавицы старого Вульфинга и еще коня в придачу — ей-Богу, не жаль бы за эту мантию! Красная-красная, как огонь!

Голос в народе. Черт знает что! Ты рассказывай об папе, а какая нужда до твоих мантий!

Вульфинг *(из толпы)*. Хвастун! Расхвастался!

Брифрик. Сейчас. Вот вслед за ребятами пошли те... как их? Они, с одной стороны, сдают на епископов — только не епископы, а так, как наши таны или бароны в рясах... Не помню, шепелявое какое-то имя. То эти все таны, или епископы, как вышли — так и ослепили глаза. А как показался сам папа, то такой блеск пошел — так и ослепил глаза. На епископах-то все серебряное, а на папе золотое. Где епископы выступают, там серебряный пол, а где папа — там золотой. Где епископы стоят — там серебряный пол, а где папа — там золотой...

Голос из толпы. Бровинг! Корабль! Ей-Богу, корабль!

Все бросаются, Брифрик первый, и теснятся гуще около набережной.

Голоса в толпе. Да ну, стой, ради Бога! — Задавили! — Да дайте хоть назад выбраться!

Голос женщины. Ай, ай! Косолапый медведь! Руку выломил! Ой, пропусти! Кто во Христа верует, пропустите!

Брифрик *(оборачиваясь)*. Чего лезешь на плечи? Разве я тебе лошадь верховая? Где ж король? Где ж корабль? Экая теснота!

Голос в народе. Да нет корабля никакого!

— Кто выдумал, что король едет?

— Да кто же? Ты говорил!

— И не думал.

— Да кто ж сказал, что король?

— Джон Шпинг сказал, что король едет.

— Эй, Шпинг, зачем ты сказал, что король едет?

<Шпинг>. Ей-Богу, любезный народ, совсем было похоже на корабль.

— Вперед молчи, дурак, если не хочешь сам поплыть.

Старуха *(пролезая вперед)*. Нашли чего толпиться! И куды? Ведь никого нет.

Брифрик. А, Кудред! Откудова, приятель?

<Кудред>. Из дому.

<Брифрик>. Короля видеть пришел?

<Кудред>. И побольше, чем видеть.

<Брифрик>. А что еще?

<Кудред>. Жалобу прямо самому королю.

<Брифрик>. На кого?

<Кудред>. На королевского тана Этельбальда.

<Брифрик>. Ты шутишь, братец?

<Кудред>. Нет, не шучу.

Голоса в народе. Вишь, на Этельбальда жалуется! — Он сошел с ума! — Да он ведь сильнее всех в королевстве! — Войска и богатства у него больше, чем у короля.

Эгберт. Кто несет жалобу на Этельбальда, тот подай мне руку. Хоть ты и простой сеорл, а я тан, но я пожимаю, потому что ты честный человек и англосакс. Я тебе буду помогать.

Кисса. Эй, друг, напрасно ты связываешься... А я расскажу королю, что ты жид, а не христианин, язычник скверный, что ты никогда не крестишься. Я знаю, кому ты молишься: у тебя на дому есть деревянный болван. Ты ему целуешь руки, язычник скверный... Тебе нужно монастырское покаяние, если не мог...

Брифрик. За что ж жалуешься?

<Кудред>. За что? Этельбальд хоть и королевских танов всех старше, но подлец и мошенник. Когда датчане ворвались в Вессекс и начали грабить, я прибегнул к нему, свинье. Думал, он богач и столько имеет земли, что зачем ему бы обижать меня. Я обещался ему, если надобность, первым явиться в его войско, и лошадь привести свою, и все вооружение мое. А он, мошенник, как только датчане ушли, совсем зачислил меня в свои рабы. За что я должен ему мостить чертовский мост к его замку и на моих двух лошадях, самых благородных, возить фашинник? А теперь, когда я отлучился по надобности в графство Гексгам, он взял мою собственную землю, родительскую землю, которой было у меня больше двух гидес, и отдал в лен какому-то, а мне отдал двадцать шагов песчанику за кладбищем. «Вот тебе, говорит, земля». Да разве я, старый плут, раб твой? Я вольный. Я сеорл. Я, если бы только захотел, прикупил еще два hydes земли да выстроил церковь и дом, я бы сам был таном. Никто по законам англосакским

не может обидеть и закабалить вольного человека. Разве я сделал какое преступление?

<Брифрик>. Да ходил ли ты с жалобою в ваш ширгемот?

<Кудред>. Подлецы все! Держат его сторону.

<Брифрик>. Ну, да все-таки, как же порешили?

<Кудред>. Вот на тебе бумагу, если ты прочтешь.

<Брифрик>. Что ты! Э, так у вас судьи пишут? Слышь ты, народ, писаная бумага! У нас во всем ширстве, да и во всем Вессексе ни один шир, ни алдерман не умеют писать. Вишь ты, какие каракульки. Тут где-нибудь должно быть А В С... Я уж знаю, меня было начинал учить один церковник.

Туркил *(Вульфингу).* Я думаю, нет мудренее науки, как письмо.

<Вульфинг>. Попы все-таки прочтут.

Брифрик *(обращаясь к Киссе).* Высокородный тан, прочтика. Ты, верно, знаешь?

Кисса. Поди прочь! Я тебе не поп.

Гунтинг. Давай я прочту.

Туркил. Кто он?

Вульфинг. Не знаю.

Голос. Это, видишь, тот, что был школьным учителем. Да теперь датчане разорили школу.

<Гунтинг> *(читает).* «Да будет ведомо: в Schirgemot Агельмостане, в графстве Герефорт, во время царствования Этельреда, где...»

— А, при покойном короле! Храбрый был король, всю жизнь бился с этими мерзкими датчанами.

<Гунтинг> *(продолжает).* «...где заседали: Дунстан епископ, Кеолрик алдерман, Варвик — его сын, и Эсквин — сын Пентвина, и Туркил косоглазый, как комиссары короля заседали...»

Вульфинг. Слышишь, Туркил? Это ты?

Туркил. Разве я косоглазый?

<Гунтинг> *(продолжает).* «...в присутствии Брининга шерифа, Ательварда де Фрома, Леофина де Фрома черного, Годрига де Штока и всех танов графства Герефорта, Кудред — сын Эгвинов — представил суду против высокородного графа и королевского тана в том, что якобы он, Кудред, от него, высокородного графа Этельбальда...»

В народе крик и давка.

— Пусти, пусти! — Куда теперь сторониться! — Батюшки, батюшки, тресну! Со всех сторон придавили!

Высокий *(болтает вверху руками).* Чего эти бабы лезут, желал бы я знать.

Брифрик. Чего народ лезет? *(Продирается.)*

— Да взбеленился просто, никого нет. Какой-то дурак опять пронес, что корабль показался.

Кудред *(кричит).* Бумагу, бумагу, бумагу дай! Экий трус, изорвал...

Кисса. Да кто сказал, что король едет?

<Голоса>. Я не говорил. — Я не говорил. — Опять, верно, Шпинг.

Шпинг. Нет, высокородный тан, и языком не воротил.

Брифрик. Ей-Богу, глупый народ! Ну что, хоть бы и в самом деле был корабль?

Вульфинг. А сам небось первый полез.

Брифрик. Что ж! Только посмотреть.

Один из народа. Вон таны поехали на лошадях. Это, верно, встречать короля.

Рыцарь *(на лошади).* Дорогу, дорогу! Народ, посторонись!

<Эгберт>. Кому дорогу?

<Рыцарь>. Посторонись, говорят тебе! Дорогу высокородному королевскому тану Этельбальду.

Эгберт. Отнеси ему эту пощечину. *(Бьет его и убегает.)*

Рыцарь *(кричит).* Мы увидимся, проклятый длиннорукий черт!

<Вульфинг>. Вон поехал граф Эдвиг. Видел?

<Туркил>. Видел. Славное вооружение.

<Вульфинг>. Вон Этельбальд. Гляди, какой около него строй стоит, — в толпе рыцарей, как в лесу! Эх, как одеты славно! Какие кирасы, щиты! Ей-Богу, если б хотели, побили датчан.

Туркил. Отчего ж не хотят?

<Вульфинг>. А так. Сами держат руку неприятелей.

<Туркил>. Ну вот!

<Вульфинг>. Почему ж не побить? Ведь наших впятеро будет больше, если собрать всех саксонов, а англов-то одних

всадников будет на всю дорогу от Лондона до Йорка! А датчан всех-навсех трех тысяч не будет.

<Туркил>. Э, любезный приятель мой! Как твое имя? Вульфинг?

<Вульфинг>. Вульфинг.

<Туркил>. Так будем приятелями, Вульфинг.

<Вульфинг>. Вот тебе рука моя.

<Туркил>. Не говори этого, любезный Вульфинг. Им помогает нечистая сила, тот самый сатана, о котором читал нам в церкви священник, что искушает людей. Они, брат, и море заговаривают. Вдруг из бурного сделается тихо, как ребенок, а захотят — начнет выть, как волк. Наши всадники давно бы совладали с ними...

<Вульфинг>. Народ опять затеснился. Да и сами таны махают шапками. Посмотрим, верно, король наконец едет.

Голос в народе. Ну, теперь корабль так корабль!

Туркил. Опять пошла теснота!

Голоса. Корабль с тремя ветрилами. — Зачем дерешься? — Не лезь вперед!

— Вон и люди, как мухи, стоят на палубе.

— А что ж не видно короля?

— Где ж теперь его увидишь? Людей многое множество.

— Вон что-то блеснуло перед солнцем!

— Скоро идет корабль. Видно, что заморской работы! Вон как окошечки блестят. У нас таких кораблей нет.

— Это должен быть, что блестит, тан.

— Нет, вот тот больше блестит. Смотри, какой шлем, какое богатое убранство!

<Вульфинг>. Это всё те таны, что поехали за ним в Рим с посольством.

<Туркил>. Где ж король? Ведь король в короне.

Вульфинг. Да еще не короновался.

<Туркил>. А, вон, снял шляпу... Таны машут... Виват, король!..

Весь берег *(кричит)*. Виват, король!.. Здравствуй, король!..

— Вон снова машут... Здравствуй, король!..

Народ. Здравствуй, король!

В с а д н и к *(на лошади).* Расступись, народ! *(Машет алебардой.)*

Народ пятится, прижатые кричат.

<Т у р к и л>. Что он так кричит? Кто это?

<В с а д н и к>. Тан из Кенульф, сын Эгальдов. Тан из Медлисекса, славный воин.

Корабль подходит к самому берегу.
За столпившимся народом видны только головы.

А л ь ф р е д *(сходя с корабля).* Здравствуйте, добрые мои подданные.

<Н а р о д>. Здравствуй, король! Виват!

К о р о л ь и с в и т а подымаются на лошадях в народ.

Н а р о д. Виват! Виват, король!

А л ь ф р е д. Благодарю, благодарю вас, мои добрые. Я сам не менее рад видеть вас и мою отцовскую землю Англосаксию.

Э г б е р т. Слышишь? Англосаксию! Он, верно, не знает, что Мерси и Эст-Англ уже не наши.

Король уезжает. Таны и народ с восклицаниями тянутся за ним.

<Т у р к и л>. Молодец король! видный, рослый, лучше всех! Как он славно выступал, словно сокол. Я думаю, латы его стоят больше, чем твоя жизнь. Пойдем посмотрим.

<В у л ь ф и н г>. Постой! Зачем же идти? Глянь, за ними не угнаться: они на лошадях и во всю рысь поедут в Йорк.

<Т у р к и л>. Отчего ж не в Лондон?

<В у л ь ф и н г>. Видишь, в Лондоне приготовят всё как следует; а когда приготовят, тогда и он поедет.

Э г б е р т *(возвращаясь).* Нет, я не хочу быть последним. Я такой же тан. У меня тоже было в услужении шестнадцать танов ситкундменов. Правда, я потерял много в войну. У меня теперь нет этого. Но я защищал землю нашу. Отчего граф Эдвиг, Кенульф, не говоря уж о собаке Этельбальде, молокосос сын его, рыжебородый Киль, — почему они имеют право провожать короля в первом ряду? Отчего я должен следовать еще за двумя танами? Я хотел было сбить с седла копьем плута Киля, да не хотел только сделать этого при короле.

Кисса. Дьявол ему на шею! Я рад, по крайней мере, что король приехал. Датчан опять за море, завоюем опять Эст-Англию, Мерси и Нортумберланд также; хоть и разоренная страна, однако же есть добрые земли для скота и для пашен.

<Эгберт>. Мне король понравился — добрый молодец! Пойду к нему прямо и суну ему руку по древнему саксонскому обычаю. Скажу: «Король, вот тебе рука! При первой надобности всегда привожу четырнадцать тебе всадников, вооруженных, с добрыми конями, и сам пятнадцатый. А надежный ли человек? Вон, гляди, сколько рубцов у меня». Пойдем, Кисса, выпьем его здоровье. Эй, Кудред! Тебя обидел Этельбальд? Будь завтра в Лондоне, спроси тана Эгберта, тана из графства Сомерсетского. Меня знают.

Кудред. Ну, теперь, я думаю, король укротит немного танов.

<Вульфинг>. Да что ж король? Ведь король не может сказать тану: «Отдай такую-то землю, я тебе приказываю». Что скажет витенагемот?

<Кудред>. Да, беспорядков, верно, будет меньше. Что ни скажет, а все будет лучше. По крайней мере, можно будет по дороге пройти безопасно. Чем живешь, Вульфинг?

<Вульфинг>. Один hydes земли держу от тана.

<Кудред>. Платишь хлебом?

<Вульфинг>. Нет, еще никогда не марал рук своих в земле.

<Кудред>. Кто ж ты?

<Вульфинг>. Пастух. Шесть десятков овец и три десятка рогатой скотины моей собственной выгоняю на Гельгудскую пажить. Если ты хочешь, пришлец, отдохни у меня. Ты будешь есть сыр и молоко, каких не сыщешь во всем Вессексе. А завтра ранним утром мы отправимся в Лондон смотреть королевский праздник. Гляди, чего народ опять смотрит? Чего вы, храбрые мужи, столпились?

Голос в народе. Корабль, опять корабль!

<Кудред>. В самом деле корабль! Что же это? Верно, тоже королевская свита?

Туркил. Вишь, это уже не такой! Мачта и паруса совсем не так сделаны. Постой, рассмотреть поближе — и народ как будто не так одет.

Один из толпы *(всплескивая руками)*. Саксонцы! Убежим, убежим!..

Кудред. Что такое?

Одна из толпы. Морской король!

<Кудред>. Нет, что ты!

<Туркил>. Как христианин, не лгу! Разве вы не видите, что датский корабль?

<Голоса>. Ай, народ! Точно — датчане! — Вон машут, чтобы остались. — Да, как бы не так! — Бежим, друзья!

Все в беспорядке убегают.

Корабль виден у берега. Руальд висит на мачте.

Голос Губбо. Перекидай канат.

Руальд *(сверху)*. Кормщик, бери ниже: там мель.

Норманд плывет с канатом в зубах.

Еще ниже. Еще ниже. А, народ проклятый! Весь разбежался! Теперь прямо. Норманд, хватай крюком!.. Стой!

Губбо *(выходит с корабля)*. Ну, вот мы и в Англии. Тащите старшую лодку на берег.

Вытаскивает лодку.

Что, мои храбрые берсеркеры, дожидаться ли нам Ингвара или теперь налететь и окропить наши доспехи алою, как перед бурей вечерняя заря, кровью саксонцев, а?

<Воины>. Наши копья готовы.

<Руальд>. Не лучше ли, король мой Губбо, послать проведать узнать о числе неприятеля?

<Губбо>. Это ты, Руальд, говоришь? Тебя, верно, не море пеленало. За эти слова тебя стоит вышвырнуть в море. «Какой храбрый, когда спрашивает о числе?» — говорил отец мой Лодброд, победивший на тридцати трех сражениях.

<Руальд>. Губбо, сын Лодбродов! Ты меня укоряешь трусостью. Когда же мы вместе с братом Гримуальдом срамили себя перед дружиною? Разве я когда-нибудь в жизни грелся у очага или спал под крышей? Разве платье мое на мачте сушилось, а не на мне?

<Губбо>. Прости, Руальд. Брат твой Гримуальд был славный воин. Мы лишились, други, храброго товарища. Великий

Оден! Какая была буря и битва! Ветер оборвал во тьме наши платья, и морские брызги пронзали разгоревшиеся лица наши. Клянусь моим мечом и копьем, ничего бы не пожалел за такую участь: завидная участь! Теперь Гримуальд пирует с легионом храбрых. Сам Оден наливает ему чашу из широкого черепа и говорит ему: «А сколько ты, Гримуальд, получил ран на последней битве?» — «Ран семнадцать и четыре», — отвечает ему Гримуальд. «Сильный воин! Вон тебе, Гримуальд, бессмертные лани с лоснящейся, как серебро, шерстью. Веселись, храбрый витязь, поражая их далеко достающим копьем». Слушай, Стемид, теперь не время, но когда будем пировать на покрытых пылью саксонских трупах и зажжем альбионские дубы, ты спой нам песню о подвиге Гримуальда. Знаешь, какую песню? Такую, чтобы в груди все встрепенулось: отвага, самое бешеное веселье, и руки схватились за рукояти мечей... Но следует теперь сказать вам, мои товарищи, что мы будем делать. Англия земля хорошая: скота, пажитей и земель в ней много. В Нортумберландии и в Мерси, где уже поселились соотечественники наши, жители бедны, но здесь жилища, а более всего церкви, очень богаты, и золота в них много. Каждому достанется на золотую цепь. Мечи у англосаксов славные. Они достают их издалека. Мы можем тут себе выбрать любые мечи, и копья, и все вооружение. А еще я скажу теперь такое, что больше всего нравится, товарищи, и мне и вам: у англосаксов девы белизною лица — как наши скандинавские снега, окропленные алой кровью молодых ланей. Но стойте, товарищи! В Англии воинов, которые станут под мечом и копьем на конях, несметное множество. Только из них Оден никого не примет в Валгал к себе, потому что они презренные христиане. Помните и то, что ныне будут наши соотечественники, и как только нападем с одной стороны, они нападут с другой... Видите ли, как тут хорошо и тепло. В нашей Скандинавии нет этого. Тут зимы всего только два месяца.

Руальд. Я себе отвоюю лучший замок во всей Англии. Девять десятков англосакских рабов будет прислуживать мне за чашею пиршества.

— Что, конунг Губбо, правда ли, что есть где-то земли еще теплее?

<Губбо>. Есть.

— И что зимы совсем не бывает?

Губбо. Ну, этого нет — чтобы зимы совсем не было. Зима есть. Нужно, однако, попробовать. Мы с тобою, Элгад, пустимся потом далее. Скучно долго жить на одном месте. Чтобы и там, по ту сторону океана, вспоминали нас в песнях. Клянусь всей моей сбруей, приедешь оттуда на вызолоченном корабле. Красная, как огонь, мантия, и весь будет убран дорогими каменьями шлем. Крыло на нем будет, как вечерняя звезда, сиять. И как приеду к первой царевне в мире, скажу: «Прекрасная царевна, я, король, пришел, горя любовью к твоим голубым очам. Его рука поразила сто и сто десятков витязей, и пришел король Губбо взять тебя этою самою рукой вместе с приданым, которое приготовил тебе престарелый отец твой».

<Воины>. Виват, король Губбо!

<Губбо>. Виват и вы, товарищи! Теперь идем. Вы два, Авлут и Ролло, оставайтесь беречь лодки. А мы — никому не спускать и насыщать кровью мечи наши, пока есть...

Альфред *(окруженный танами и графами королевства)*. Благодарю, благодарю вас, благородные таны, за ваше поздравление. Я надеюсь, что вы окажете с своей стороны мне всякую помощь разогнать варварство и невежество, в котором тяготеет англосакская нация.

Граф Эдвиг. Я всегда готов. Пятьдесят вооруженных всадников всякую минуту может требовать государь.

Граф Этельбальд. Рука моя и моих восьмидесяти вассалов принадлежат тебе, государь мой.

Сифред. Всякое законное требование государя готов выполнить. Двадцать конных и сто сорок пеших стрелков.

Клеобальд. В моей стране лошадей мало, но пеших сколько могу собрать...

<Альфред>. Вы ошибаетесь, друзья. Не этой помощи я требовал от вас, на которую, конечно, имею всегда право. Но я разумел о том благодетельном просвещении, которого нет в Англии. Я вас просил споспешествовать мне научить англосаксов искоренить грубость нравов, которая, как старая кора, пристала к ним.

Таны в безмолвии.
Некоторые расставляют руки, рассуждая, что это значит.

Эдвиг. Как же, государь, ты говоришь, что англы и саксы грубы? Да ведь они покорили Англию?

<Альфред>. Ну, против этого мне ничего не остается говорить. Этот, кажется, кроме войны, и думать ни о чем не хочет. Видел ли ты, Эдвиг, своего сына?

<Эдвиг>. Видел, государь.

<Альфред>. Что ж, как нашел его?

<Эдвиг>. Хорош малый, да чуть ли к чернокнижию не пристрастен и копьем плохо владеет.

<Альфред>. Нет, Эдвиг, ты должен благодарить Бога за такого сына. Этот день побудь с ним, а завтра пришли ко мне. Мы с ним были друзья во всю бытность в Риме. Давно не видел я Англию. Прежнее время свое как сквозь сон помню. Ведь тут должны уцелеть еще остатки римских памятников. Существует ли та стена, которую выстроил император Константин в Лондоне, и бани близ Йорка, выстроенные римлянами?

<Эдвиг>. Не знаю, государь, о каких ты римлянах говоришь.

<Альфред>. Римляне — народ, который завоевал Англию и которому были подвластны бритты.

<Эдвиг>. Бритты были, это правда, а римлян, государь, никаких не было.

<Альфред>. Ты не знаешь, потому что не читал. Римляне были народ великий. Они покорили весь мир и в том числе Британь.

<Эдвиг>. Воля твоя, король, римляне и живут в Риме. Нет, король, это тебе солгали. У нас есть старики, которые помнят, как покорили саксы народ, которого храбрее еще никого не было. И те говорят, что были одни только бритты.

<Альфред>. Ну, об этом тоже нечего долго толковать. Хороши наши таны! Я, любезные, хочу слышать отчет об нынешнем положении государства и о всех происшествиях, бывших без меня по кончине брата моего Этельреда. Об отдыхе моем не беспокойтесь. Отдохнуть я успею. Ты, Этельбальд, так как старший в государстве и первый советник в витенагемоте, расскажи мне подробно все.

<Этельбальд>. Все хорошо, государь. Со стороны датчан только худо. Впрочем, дорога от Йорка до Лондона поправлена и была мощена все время. Зверинец твой в исправности. Все королевские твои латы, щиты, отцовские и добытые покойным братом твоим Этельредом, я сохранил в исправности.

— Врет, старый медведь! Лучшее копье стянул себе.

<Альфред>. Ты, Этельбальд, говоришь о моем хозяйстве. Это дело пустое. Я просил тебя рассказать — как государство, в каком положении?

Граф Эдвиг. В гадком положении государство. Сеорлы и бретонские рабы ничего не выплачивают. Поля очень опустошены датчанами. Не на что вооружить рыцаря. Лошади — мерзость.

<Альфред>. Зачем вы позволили датчанам взять Мерси и Эст-Англию?

— Что ж делать, король? Покойный король, брат твой, храбро сражался, да сильнее перетянула сила... Они знаются с дьяволом, с ними из моря находят морские чудища.

<Альфред>. Брат мой Этельред сражался, как должно храброму, доблестному саксонцу, но вы были виною, непокорность вассалов была причиною.

Сифред. Если б я имел землю в Эст-Англии или Мерси, я бы защитил ее моею рукою и руками моих вассалов, но у меня свои земли есть.

Альфред. Да умели ли вы свои защитить? Отчего по всей дороге, по которой мы ехали, пустые пажити и две развалившиеся церкви? Малолюдный гирд датчан издевался над вами, а вы, хорошо вооруженные христиане, могли вынести это?

— Браво, о король! — Вот король! — Прозорлив, как горный орел!

<Сифред>. Я никогда не был бесчестным и всегда готов, и если бы граф Мидльсекс не поссорился со мною, я бы не впустил датчан в Вессекс, и его бы владения спас.

<Альфред>. И виною вы же, вы, через свои мелкие ссоры. Мне очень не нравится это ваше феодальное обыкновение. Бог знает, что такое! Всякий управляет, как ему хочется. Высшему не повинуются, между собою не согласны. В государстве должно быть так, как в Римской империи: государь должен повелевать всем по своему усмотрению, как ему захочется.

Одон *(потупляет глаза)*. Гм! Я что-то не вполне понял это. Ведь англосакский всякий тан, вольный и свободный человек, — разве возьмет землю собственно от короля...

<Альфред>. Отчего я не вижу здесь ни одного епископа? Один только дряхлый старик и вышел меня встретить.

— Епископ Вессекский убит во время войны с датчанами, а Адельстан из Кента умер.

<Альфред>. И никто не позаботился о том, чтобы избрать на место!

Арвальд. Нет, король, в том нет нам укоризны. Все таны нарочно собрались, но некого было избрать в епископы: не нашли такого, который мог бы читать Святое Письмо.

<Альфред>. Будто уже в Англии нет ни одного священника, умеющего читать? Ведь еще отцом Этельвальдом заведена была коллегия.

— Коллегии давно уж нет!

<Альфред>. Где же она?

— Сожжена датчанами.

<Альфред>. Опять датчане! Да что за бич такой датчане! Или Англия состоит вся из трусов, или в самом деле датчане... Что это за человек? Что ты?

<Вестник>. Король!

<Альфред>. Что?

<Вестник>. Датчане ворвались и грабят Лондон.

Король *(в изумлении)*. Как легки на помине!.. Ну, господа таны и графы! Нам приходится сию минуту думать о вооружении. Нечего делать, нужно все отложить в сторону.

— Я готов.

— Все вассалы уже при мне, государь.

— Мое войско всегда со мною.

Этельбальд. Для тебя, государь, все рад принесть.

Арвальд. В одну минуту буду снаряжен. *(Уходит.)*

<Альфред>. Да, шумно начинается мое царствование! Дайте и вы все, благородные таны, клятву: ни пяди земли не уступить датчанам.

<Таны>. Спасителем Иисусом и Девой Марией клянемся!

<Альфред>. Идем и сейчас на коней! Но прежде я хочу обсмотреть войска ваши. Ну, король, яви теперь деятельность души. Вот тебе то поле, которое ты рвался возделать. Много

работы предстоит. Страшные перспективы: внести туда пламенник наук и познаний, где их в помине нет, где нет букваря во всем государстве... Подвести под законы и укротить своевольное неустройство этих беспокойных магнатов государства, глядящих лесным зверем, а вдобавок и на плечах неприятель... Дай, Боже, силы!.. *(Уходит.)*

Цеолин. Как мне нравится король!

Эдрик. Ты не знаешь его еще, Цеолин, хорошо. Это Бог, [а не человек].

Эдвиг. Что, Кедовалла, у тебя все вооружены?

<Кедовалла>. Все.

<Эдвиг>. Что король? Ведь, кажется, молодец?

<Кедовалла>. Да, кажется, храбрый. Да что-то так...

<Эдвиг>. Что?

Кедовалла. Мудреный что-то.

Действие II

Альфред, граф Этельбальд, граф Эдвиг, Цеолин, Кедовалла с толпою воинов входят на сцену.

Альфред. Мне еще не верится, чтобы мы были побеждены. Горсть, разбойничья шайка, не более, и перед этой шайкой не могло устоять пятнадцать тысяч всадников и цвет саксонской нации и девяносто тысяч пеших! Что скажете вы на это, столпы этой нации, благородные таны?

Граф Эдвиг. Король, распусти нас. Я соберу всех слуг своего замка, сам выгоню моих вассалов. Пусть каждый сделает то же.

<Альфред>. Граф, ты сед волосом, а даешь такой совет. Нет, благородные таны, все теперь зависит от нас самих и от нашей решимости. Уступим — мы потеряем всё, возрастим гордость неприятельскую. Клянусь, мы им дадим и уверенность в их непобедимости, и тогда кто против них? Вы видели, как они неслись в битве. Один шаг назад — и дерзость их возрастет, как Голиаф. Бароны, одно нам средство! Здесь нечего думать. С этими же самыми силами обратить отступление в нападение, покамест не узнала о нашем поражении нация.

<Кедовалла>. Король, ты видел сам, что наша храбрость не заслужила упрека. Я никогда не думал о своей жизни.

Но, клянусь Пресвятой Матерью, за них стоит демон! Я видел сам, как его темный образ мчался рядом с этим непобедимым Губбо. Мои вассалы в первый раз побледнели от страха. Мои латы, которые окропил епископ два года назад, в первый раз пробиты.

Альфред. Какое черное невежество веет от Кедоваллы! Тебя, я знаю, не уверишь, потому что твоя душа в старой коре. Но, таны, как видно, что недавно приняли христианскую веру и не смыслите ничего в ней! Вы испугались злого духа! Разве злой дух может устоять против Бога? Разве есть что на свете больше христианского Бога? Вы видели, с каким криком и острым копьем стремились в наши ряды эти морские люди. А отчего? Потому что призывали поминутно языческого бога их Одена, который — пыль и прах перед Богом христианским. А вы не надеетесь! Какие вы христиане! За вас Христос и Пречистая Дева...

<Таны>. Король, идем! Ни двух шагов земли датчанам!

Часть народа и всадников. Король, датчане...

<Альфред>. Стой!

<Всадник>. ...гонятся!

<Альфред>. Все таны ни с места! Далеко датчане?

<Всадник>. По пятам нашим...

<Альфред>. Во имя Святой Марии! не подавайся, как кельданские скалы.

Врывается на сцену дружина датчан.
Саксонцы встречают копьями. Начинается сеча.

Губбо. Сыны Одена! не полон будет пир наш, если не сокрушим англосаксов!

<Альфред>. Англосаксы! не забывайте — с нами Христос и Мария!

Губбо. Ринальд, Ринальд! тихо гремит твой меч. Мало искр вышибает твое копье из неприятельских лат.

Ринальд. Нет, король Губбо, кровь от вражеских трупов отуманила твой взгляд!

Альфред. Христиане, крепитесь! Святой Георгий на белом коне за нас!

<Губбо>. Оден! рука моя дымится кровью, а Ингвара нет со мною. Ринальд, Ринальд! Зачем избит шлем твой? Не дрожат ли твои перси?

<Ринальд>. Еще станет, король мой Губбо! Вот тебе, собака!.. Сыны Одена доставят черепов на пиршественные чаши!

<Альфред>. За Марию, за Христа, англосаксы!

Губбо. Уста мои запеклись, язык сохнет, а Ингвар мой не летит на помощь!

Ринальд *(падая)*. Оден! Готовь мне место в Валгале!

— Вот тебе, собака-датчанин! *(Протыкает ему голову копьем.)*

Альфред. Англосаксы! победа за нами!

Губбо. Отдыха не будет тебе, Альфред, до коих пор меч играет в руках моих!

Альфред. Остановитесь, датчане! Сдавайся, Губбо, и положи твое оружие!

<Губбо>. Никогда! Ты думаешь, что сыны Одена когда-нибудь соглашались быть чьими бы то ни было рабами?

<Альфред>. Мне не нужно, Губбо, твоей свободы, я не отнимаю ее. На два слова.

Губбо тотчас останавливается. Обе стороны опускают копья.

Я готов заключить с тобою мир и пощадить <...>[1] остаток твоих товарищей, с тем чтобы ты теперь же немедля отправлялся за море, принес клятву, по обычаю своей религии, никогда не являться у берегов Англии. Оружие все при вас остается. Все, что ни имеете на себе, не будет тронуто.

<Губбо>. Король Альфред, я соглашаюсь.

<Альфред>. Итак, храбрый, произнеси клятву.

<Губбо>. Клянусь моим Оденом, моею сбруею, моим вызубренным мечом, что никогда я и вся храбрая моя дружина не будем нападать на твои владения, а когда не выполню моей клятвы, да будем желты, как медь на латах наших! Да обратятся наши копья на нас же самих!

Альфред. Слышите вы все клятву? Губбо, ты свободен. Ступай! Твои ладьи ждут у берегов.

<Губбо>. Пойдем, товарищи. Нам не стыдно глядеть друг на друга. Мы бились храбро. Не сегодня — завтра, не здесь — в другом месте нанесут наши ладьи гибель неприятелям, носящим золотое убранство...

[1] *Одно слово в рукописи не прочитано.*

<Заметка к «Альфреду»>

К Альфреду. Вельможи что́ толкуют. Что Альфред не занимается охотою.

Ревизор

Комедия в пяти действиях

<Редакция первого издания, 1836 г.>

Действующие лица

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, *городничий*	г-н *Сосницкий.*	
Анна Андреевна, *жена его*	г-жа *Сосницкая.*	
Марья Антоновна, *дочь его*	г-жа *Асенкова*	(м.).
Лука Лукич Хлопов, *смотритель училищ*	г-н *Хотяинцов.*	
Жена его	г-жа *Шемаева.*	
Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, *судья*	г-н *Григорьев*	(б.).
Артемий Филиппович Земленика, *попечитель богоугодных заведений*	г-н *Толченов.*	
Иван Кузьмич Шпекин, *почтмейстер*	г-н *Рославский.*	
Петр Иванович Добчинский } *городские помещики*	г-н *Крамолей*	(восп.).
Петр Иванович Бобчинский } *городские помещики*	г-н *Петров*	(восп.).
Иван Александрович Хлестаков, *чиновник из Петербурга*	г-н *Дюр.*	
Осип, слуга его	г-н *Афанасьев.*	
Христиан Иванович Гибнер, *уездный лекарь*		
Федор Андреевич Люлюков } *отставные чиновники, почетные лица в городе*	г-н *Горшенков*	(восп.).
Иван Лазаревич Растаковский } *отставные чиновники, почетные лица в городе*	г-н *Бекер* 2-й.	
Степан Иванович Коробкин } *отставные чиновники, почетные лица в городе*	г-н *Байков.*	
Степан Ильич Уховертов, *частный пристав*	г-н *Григорьев*	(м.).
Свистунов } *полицейские*	г-н *Дубровин.*	
Пуговицын } *полицейские*	г-н *Чайский.*	
Держиморда } *полицейские*	г-н *Ахалин*	(восп.).
Абулин, *купец*	г-н *Сосновский.*	
Февронья Петровна Пошлепкина, *слесарша*	г-жа *Гусева.*	
Мишка, *слуга городничего*	г-н *Марловецкий*	(восп.).
Слуга трактирный	г-н *Краюшкин.*	

Гости и гостьи, купцы, мещане, просители.

Характеры и костюмы

Замечания для гг. актеров

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости,

от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью.

Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится что отвечать ей. Но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.

Хлестаков, молодой человек, лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове. Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно; смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его — серый или синий поношенный сюртук.

Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные и чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского. Оба в серых фраках, желтых нанковых панталонах; сапоги с кисточками. Представляются: Добчинский в широком фраке бутылочного цвета, Бобчинский в прежнем гарнизонном мундире.

Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.

Земленика, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив. Костюм его: довольно широкий фрак, но в четвертом действии является в узком губернском мундире с короткими рукавами и огромным воротником, почти захватывающим уши.

Почтмейстер, простодушный до наивности человек.

Прочие роли не требуют особых изъяснений; оригиналы их всегда почти находятся пред глазами.

Гости должны быть разнохарактерны. Они должны быть высокие и низенькие, толстые и тонкие, нечесаные и причесанные. Костюмированы тоже должны быть различно: во фраках, венгерках и сюртуках разного цвета и покроя. В дамских костюмах та же пестрота: одни одеты довольно прилично, даже с притязанием на моду, но что-нибудь должны иметь не так как следует; или чепец набекрень, или ридикюль какой-нибудь странный. Другие в платьях, уже совершенно не принадлежащих ни к какой моде; с большими платками и чепчиками в виде сахарной головы и проч.

Вообще следует обратить внимание на целое всей пьесы. Страх, испуг, недоумение, суетливость должны разом и вдруг выражаться на всей группе действующих лиц, выражаться в каждом совершенно особенно, сообразно с его характером.

Действие I

Комната в доме городничего.

Явление I

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Меня уведомляют, что отправился инкогнито из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать в нашей губернии все относящееся по части гражданского управления.

Аммос Федорович. Что вы говорите! из Петербурга?

Артемий Филиппович *(в испуге)*. С секретным предписанием?

Лука Лукич *(в испуге)*. Инкогнито?

Городничий. Я, признаюсь вам откровенно, очень потревожился. Так как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель *(бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами)*... и уведомить тебя». А! вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд *(значительно поднимает палец вверх)*. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...» *(Остановясь.)* Ну, здесь свои... «то советую тебе взять предосторожность: ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито... Вчерашнего дни я...» Ну, тут уж пошли дела семейные: «...сестра Анна Кириловна приехала к нам со своим мужем; Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрипке...» и прочее и прочее. Так вот какое обстоятельство.

Аммос Федорович. В самом деле, чрезвычайное происшествие.

Лука Лукич. Скажите, пожалуйста, Антон Антонович, отчего это? Зачем же к нам ревизор? Ведь наш город уже, кажется, так далеко от всего, что об нем бы и заботиться нечего.

Городничий *(испуская вздох)*. Говорите же вы! до сегодняшнего дни Бог миловал. Случалось, правда, по газетам слышать, что в таком-то месте того-то посадили за взятки, того-то отдали под суд за потворство и воровство или за подлог, но все это случалось, благодарение Богу, в других местах, а к нам до сих пор никаких ни ревизовок, ни ревизоров... ничего не было.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит, Россия хочет вести войну, и потому министерия нарочно отправляет чиновника, чтоб узнать, нет ли где измены.

Городничий. Нет, Аммос Федорович. Вы хотя и ученый человек, но не туда попали. Где нашему уездному городишке? Если б он был пограничным, еще бы как-нибудь возможно предположить; а то стоит черт знает где, в глуши... Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий *(махнув рукой)*. Ну... вас, я знаю, не переговоришь. Я, господа, собрал вас нарочно... По своей части, то есть в отношении устройства городового и полиции, я уже кое-как распорядился, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения, — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему в будни; и там, как следует, надписать перед каждою кроватью по-латыни или на другом каком языке... как признается нужно, — это уж по вашей части, Христиан Иванович, — всякую болезнь, когда кто заболел, которого дня и числа как найдете лучше. *(Помолчав и покачав головою.)* У вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше, потому что сейчас отнесут или к дурному смотрению, или к неискусству врача.

Артемий Филиппович. На счет этот мы уже с Христианом Ивановичем распорядились как нужно. Все зависит от образа лечения: я полагаю, что чем ближе к натуре, тем лучше. Да и в самом деле, зачем убыточиться и выписывать дорогие лекарства для какого-нибудь инвалида?.. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Притом и Христиану Ивановичу очень затруднительно было б с ними изъясняться, потому что он не знает по-русски. Лучше же сберегу я казенный интерес и уменьшением расходов увеличу сумму. Тогда и начальство, видя мое усердие, без сомнения, представит меня к отличию в поощрение прочим *(обращаясь к Христиану Ивановичу),* — то есть я разумею, что при этом и вам будет какое-нибудь благоволение.

Христиан Иванович издает звук,
отчасти похожий на букву и *и несколько на* е.

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его? только, знаете, в таком месте неприлично... я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, вы, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель наш... он, может быть, очень хороший человек и сведущий в своем деле, но от него, знаете, такой запах, как будто б он только что вышел из винокуренного завода, — это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть такие средства, которые могут это несколько поправить, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными средствами или медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович издает тот же звук.

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, точно, что как-то в детстве мамка его ушибла, и с того времени от него отдает немного водкою.

Городничий. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить, потому что нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так Самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.

Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. У меня если есть грешки, то самые невинные! Ведь я, как вам известно, беру взятки борзыми щенками.

Городничий. Ну, щенками или чем другим, все взятки.

Аммос Федорович. Э, нет, Антон Антонович, это совсем не то. Вот у вас, например: шуба стоит пятьсот рублей, да...

Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете: вы в церковь никогда не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, то просто волосы дыбом поднимаются.

Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.

Городничий. Ну, в этом случае, Бог знает: ежели слишком много ума, то бывает иной раз хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а оно вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак *(делает гримасу)*, и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего, может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это

посетителю, — это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.

Лука Лукич. Ах, Боже мой! У меня совершенно из ума вышло.

Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-Богу! Сбежал с кафедры и, что силы есть, хвать стулом об польск. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.

Лука Лукич. Да, он горяч, я ему это несколько раз уже замечал... Право, я не знаю, что и делать с ним.

Городничий. Да. Таков уж неизъяснимый закон судеб, что умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.

Лука Лукич. Эко, право, хлопотливое дело.

Городничий. Это бы еще ничего — хлопоты; худо, что не знаешь, с которой стороны ожидать его, когда и в какое время. Инкогнито проклятое — вот что смущает! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья?» — «Ляпкин-Тяпкин». — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» — «Земляника». — «А подать сюда Землянику!» Вот что худо.

Явление II

Те же и почтмейстер.

Городничий. Здравствуйте, Иван Кузьмич. Я нарочно посылал за вами с тем, чтобы сообщить очень важную новость.

Почтмейстер. Я слышал уже от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.

Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?

Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.

Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же думал.

Городничий. Нет, нет, совсем не то.

Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.

Городничий. Какая тут война с турками! Где тут турки? Тут просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: меня уведомляет достоверный человек, что именно едет чиновник с тем, чтоб осмотреть в нашем городе все гражданское устройство.

Почтмейстер. А может быть, очень может быть. И это правда.

Городничий. Ну, как вы, Иван Кузьмич, а меня даже немного по коже подирает.

Почтмейстер. Да я и сам чувствую... а вы очень боитесь?

Городничий. Чего ж бояться! Боязни нет, а так как-то неловко... больше со стороны купечества и гражданства здешнего. Я, признаться сказать, им немножко солоно пришелся. Они на меня, как коршуны... так бы всего и растрепали, только перья полетят во все стороны. Пожалуйте сюда, Иван Кузьмич, я вам кое-что скажу. *(Отводит его в сторону.)* Вот в чем дело: может быть, он если не приехал, то находится близко отсюда. Я, признаюсь вам, имею основательные причины думать, не жаловался ли кто-нибудь на меня. Отчего ж такая напасть на наш город? Да притом еще инкогнито? Черт знает что такое: инкогнито! Ведь начальство ж есть в городе, к чему ж тут инкогнито? Так вам нужно, Иван Кузьмич, для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать. Для этого снять как-нибудь из глины слепок; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.

Почтмейстер. Знаю, знаю... Я это делаю и без того: не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства, ибо, признаюсь, очень люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это весьма интересное чтение! Иное письмо с большим удовольствием прочтешь: так хорошо описываются разные этакие пассажи... назидательные даже! Лучше, нежели в «Московских Ведомостях». А вы никогда не читали?

Городничий. Нет, не читал; я, однако же, рад, что вы делаете. Это в жизни хорошо. Скажите: там вы до сих пор ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

Почтмейстер. О петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы никогда не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно читал я: один поручик пишет к одному приятелю своему и описал бал и жизнь свою с таким искусством... очень хорошо! «Я провожу, говорит, время с крайним удовольствием, барышень, говорит, много, музыка играет, штандарт скачет...» С большим, с большим чувством описал. Вот, если хотите, я вам дам его прочесть. Я нарочно оставил его у себя.

Городничий. Покорнейше благодарю. Теперь, право, мне не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: как только получите какое-нибудь известие, то сейчас же его ко мне: а если жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.

Почтмейстер. С большим удовольствием.

Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.

Почтмейстер. Ах, батюшки!

Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если б вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.

Аммос Федорович. Эко в самом деле какое непредвидимое известие! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. У меня завели тяжбу два помещика-соседа, и я теперь травлю зайцев на землях и у того и у другого.

Городничий. Бог с ними теперь, со всякими зайцами! У меня в ушах только и слышно, что инкогнито проклятое. Так и ожидаешь, что вдруг отворятся двери и войдет...

Явление III

Те же, Бобчинский и Добчинский, оба входят, запыхавшись.

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие!

Добчинский. Неожиданное известие!

Все. Что? Что такое?

Добчинский. Непредвиденное дело: приходим в гостиницу...

Бобчинский *(перебивая).* Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...

Добчинский *(перебивая). Э,* позвольте, Петр Иванович, я расскажу.

Бобчинский. Э, нет, позвольте уж я... позвольте, позвольте... вы уж и слога такого не имеете...

Добчинский. А вы не помните всех обстоятельств; вы сейчас собьетесь.

Бобчинский. Э, нет, помню, ей-Богу, помню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.

Городничий. Да что такое, говорите, ради Бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Сделайте милость, садитесь! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул!

Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.

Ну, что такое?

Бобчинский. Позвольте, я сейчас по порядку. Как только вышел я от вас... Э, не мешайте, Петр Иванович, не говорите уж ничего, сделайте милость, я уж сам знаю... Как только вышел я от вас, то побежал тотчас к Коробкину, а не заставши Коробкина дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем...

Добчинский. Возле будки, где продаются пироги.

Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. «Слышали вы, — говорю я Петру Ивановичу, — о той новости, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уже услышали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинский. За бочонком для французской водки.

Бобчинский. За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром Ивановичем к Почечуеву... Э, сделайте одолжение, Петр Иванович, не перебивайте; пожалуйста,

не перебивайте... Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит мне: «Сегодня, я знаю, привезли в трактир свежей семги, так пойдем закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...

Добчинский *(перебивая)*. Недурной наружности, в партикулярном платье...

Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит по комнате, и в лице такое рассуждение и физиономия... такие важные поступки, и так здесь *(вертит рукою около лба)* много, много всего. Я, так как будто предчувствовал, и говорю себе: «Здесь что-нибудь да недаром». А Петр Иванович тотчас мигнули пальцем и подозвали трактирщика, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой хороший мальчик, большие подает надежды, со временем так же, как отец, будет содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович спросил потихоньку: «Кто такой этот молодой человек?» А Влас говорит: «Это», — говорит... Э, — не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте! Вы не расскажете, ей-Богу, не расскажете; вы немного шепеляете; у вас, я знаю, один зуб со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, едущий из Петербурга: Иван Александрович Хлестаков, а едет он в Саратовскую губернию, и что чрезвычайно странно себя аттестует: больше полуторы недели живет, дальше не едет, забирает все на счет и денег хоть бы копейку заплатил». Меня в одну минуту так и вразумило. «Э!» — говорю я Петру Ивановичу.

Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: «Э!»

Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем, — с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит Бог знает куда: в Саратовскую губернию?» Это, верно, не кто другой, как самый тот чиновник!

Городничий. Что вы говорите! Не может быть! *(Придвигает поближе стул.)* Да нет, это вам так показалось. Это кто-нибудь другой.

Добчинский. Помилуйте, как не он? И денег не платит, и не едет, — кому же б быть, как не ему? И с какой стати жил бы он здесь, когда ему прописана подорожная в Саратов?

Бобчинский. Он, он, ей-Богу, он... Я ставлю Бог знает что... Такой наблюдательный: все обсмотрел, и по углам везде,

и даже заглянул в наши тарелки — полюбопытствовать, что едим. Такой осмотрительный, что Боже сохрани!

Городничий. Ах, Боже мой! Помилуй нас, грешных! Где же он там живет?

Добчинский. В пятом номере, под лестницей.

Бобчинский. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.

Городничий. И давно он уж здесь?

Добчинский. Уж будет полторы недели. Приехал на Василья Египтянина.

Городничий. Полторы недели! Что вы! *(В сторону.)* Ай, ай, ай! *(Почесывая ухо.)* В эти полторы недели высечена почти напрасно унтер-офицерская жена! Боже мой! В эти полторы недели арестантам никакой провизии не выдавали. На улицах кабак, нечистота. О, Боже мой, Боже мой!.. *(Хватается за голову.)*

Артемий Филиппович. Мне кажется, Антон Антонович, нам теперь поскорей одеться в мундиры и сей же час ехать прямо к нему в гостиницу.

Аммос Федорович. А я полагаю, Антон Антонович, что нужно больше параду. Нужно пригласить купечество, вперед пустить голову: он человек видный. Недурно бы тоже и священство. Это имеет глубокое и таинственное значение; вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»...

Городничий. Нет, нет; позвольте уж мне самому это обделать. *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Вы говорите, что он человек молодой?

Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.

Городничий. Ну, это хорошо, что молодой человек. Мы вот как сделаем: вы теперь приготовляйтесь каждый по своей части наскоро, что можете, к принятию, а я отправлюсь сам, или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно, так, как бы просто для прогулки, будто бы наведаться: не терпят ли проезжающие каких-нибудь недостатков или неприятностей. А вам советую сей же час воспользоваться временем. Ей, Свистунов!

Свистунов. Что угодно?

Городничий. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.

Квартальный бежит впопыхах.

Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович. В самом деле может случиться беда.

Аммос Федорович. Да вам-то еще ничего. У вас всё в исправности.

Артемий Филиппович. Кой черт в исправности! Плохо, чрезвычайно плохо. Для больных сегодня и на кухне ничего не готовилось.

Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.

Явление IV

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?

Квартальный. Стоят.

Городничий. Ступай на улицу… или нет, постой! Ступай принеси… да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий. Как так?

Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.

Городничий *(хватаясь за голову)*. Ах, Боже мой, Боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет — беги прежде в комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем!

Бобчинский. И я, и я… позвольте и мне, Антон Антонович.

Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и в дрожки не поместимся.

Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне так только посмотреть в щелочку; так, знаете, из дверей только увидеть, как там он… Больше сущность и поступки его, а я ничего.

Городничий *(принимая шпагу, к квартальному)*. Беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет…

Эк, шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин! видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице... черт возьми, по улице — по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто. Слышишь? Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки. Смотри — у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

Явление V

Те же и частный пристав.

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради Бога, куда вы запропастились? На что это похоже?

Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.

Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?

Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.

Городничий. А Держиморда где?

Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.

Городничий. А Прохоров пьян?

Частный пристав. Пьян.

Городничий. Как же вы это так допустили?

Частный пристав. Да Бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, — поехал туда для порядка, а возвратился пьян.

Городничий. Послушайте же, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит, для благоустройства, на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, Боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город: только где-нибудь поставь какой-нибудь

памятник или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни! *(Вздыхает.)* Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? — чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия... О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. *(Берет вместо шляпы футляр.)* Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О, Боже мой, Боже мой! Едем, Петр Иванович! *(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*

Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

Городничий *(бросает ее).* Коробка так коробка! Черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что началась строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами: и правому и виноватому. Едем, едем Петр Иванович. *(Уходит и возвращается.)* Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.

Все уходят.

Явление VI

Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.

Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, Боже мой!.. *(Отворяя дверь.)* Муж! Антоша! Антон! *(Говорит скоро.)* А всё ты, а всё за тобой. И пошла копаться: «Я булавочку, я косынку». *(Подбегает к окну и кричит.)* Антон, куда, куда? Что, приехал? ревизор? С усами! с какими усами?

Голос городничего. После, после, матушка.

Анна Андреевна. После? Вот новости — после! Я не хочу после... Мне только одно слово: что он, полковник? А? *(С пренебрежением.)* Уехал! Я тебе вспомню это! А все эта: «Маменька,

маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас». Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство: услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться: и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто делает гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно через два часа мы всё узнаем.

Анна Андреевна. Чрез два часа! Покорнейше благодарю! Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что чрез месяц еще лучше можно узнать. *(Свешивается в окно.)* Эй, Авдотья! А! Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, всё женихи сидят. А? Скоро уехали! Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас! Слышишь, побеги расспроси, куда поехали, да расспроси хорошенько: что за приезжий, каков он, — слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие: черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь?

Обе остаются смотрящими в окно. Занавес опускается.

Действие II

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

Явление I

Осип лежит на барской постеле.

Черт побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя. *(Дразнит его.)* «Эй, Осип, ступай посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой. С проезжающим знакомится, а потом в картишки — вот тебе и доигрался. Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше; возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги. Ну, кто ж спорит: конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеатры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: «Почтенный!»; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, — так вот как на ладони всё видишь. Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу! *(Усмехается и трясет головою.)* Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякий тебе говорит «вы». Наскучило идти — берешь извозчика, и сидишь себе, как барин; а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься,

а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеатр билет, а там через неделю — глядь и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз всё до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... ей-Богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублев полтораста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего — нипочем идут. А отчего? Оттого, что делом не занимается: вместо того чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если бы узнал это старый барин, он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи! Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну а коли не заплатим? *(Со вздохом.)* Ах, Боже Ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится; верно, это он идет. *(Поспешно схватывается с постели.)*

Явление II

Осип и Хлестаков.

Хлестаков. На, прийми это. *(Отдает фуражку и тросточку.)* А, опять валялся на кровати?

Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?

Хлестаков. Врешь, валялся: видишь, вся склочена.

Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги; я и постою. Зачем мне ваша кровать?

Хлестаков *(ходит по комнате)*. Посмотри, там в картузе табаку нет?

Осип. Да где ж ему быть, табаку! Вы еще четвертого дня последнее выкурили.

Хлестаков *(ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом)*. Послушай, эй, Осип!

Осип. Чего изволите?

Хлестаков *(громким, но не столь решительным голосом).* Ты ступай туда.

Осип. Куда?

Хлестаков *(голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе).* Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать.

Осип. Да нет, я и ходить не хочу.

Хлестаков. Как ты смеешь, дурак!

Осип. Да так; все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.

Хлестаков. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!

Осип. «Еще, говорит, и к городничему пойду, третью неделю барин денег не плотит. Вы-де с барином, говорит, мошенники, и барин твой плут. Мы-де, говорит, этаких шерамыжников видали».

Хлестаков. А ты уж и рад сейчас пересказывать!

Осип. Говорит: «Этак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, а прямо с жалобою, чтоб на съезжую да в тюрьму».

Хлестаков. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай скажи ему.

Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам.

Хлестаков. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи.

Осип. Да, право, сударь...

Хлестаков. Ну, ступай, черт с тобой! Позови хозяина.

Осип уходит.

Явление III

Хлестаков, один.

Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся — думал, не пройдет ли аппетит, — нет, черт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан больше всего меня поддел; однако ж, что ни говори, а удивительно, бестия, штосы срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и всё обобрал. Славно играет. Если б еще где-нибудь с ним встретиться. Впрочем, как же встретиться, на

это все нужно случай. Когда б, в самом деле, уже скорее доехать домой, надоело в дороге! Нарочно такой мерзкий городишко; в других, по крайней мере, что-нибудь бывает, а здесь ничего совершенно нет. В овошенной лавке балыки еще сносные, но проклятые сидельцы очень мало дают на пробу. *(Насвистывает сначала из «Роберта», потом: «Не шей ты мне, матушка», а наконец — ни се ни то.)* Никто не хочет идти.

Явление IV

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно.

Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?

Слуга. Слава Богу.

Хлестаков. Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет?

Слуга. Да, слава Богу, все хорошо.

Хлестаков. Много проезжающих?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, — видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.

Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю.

Слуга. Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее». Таков уж ответ его был.

Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что ж ему такое говорить?

Хлестаков. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою... Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

Явление V

Хлестаков, один.

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Нет, не хочу; лучше немного поголодаю, да, по крайней мере, приеду домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы приехать домой в карете. Очень бы недурно подкатить к какому-нибудь соседу помещику с фонарями под крыльцо, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы переполошились все: «Кто такой, что такое?» А лакей входит: «Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если приедет какой-нибудь гусь помещик, то в ту же минуту вылазит из брички и, не говоря ни слова, так прямо, медведь, и валится в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, как я...» Тьфу *(плюет)*, даже тошнит, так есть хочется.

Явление VI

Хлестаков, Осип, потом слуга.

Хлестаков. А что?

Осип. Несут обед.

Хлестаков *(прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле)*. Несут! несут! несут!

Слуга *(с тарелками и салфеткой)*. Хозяин в последний раз уж дает.

Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин... Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?

Слуга. Суп и жаркое.

Хлестаков. Как, только два блюда?

Слуга. Только-с.

Хлестаков. Вот вздор какой! Я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это в самом деле такое!.. этого мало.

Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.

Хлестаков. А соуса почему нет?

Слуга. Соуса нет.

Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, как готовилась рыба и котлеты.

Слуга. Да это, может быть, для тех, которые почище-с.

Хлестаков. Ах, ты, дурак!

Слуга. Да-с.

Хлестаков. Поросенок ты скверный... Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт меня возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?

Слуга. Да уж известно, что не такие.

Хлестаков. Какие же?

Слуга. Обнаковенно какие! Они уж известно: они деньги платят.

Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. *(Наливает суп и ест.)* Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супа, дай мне другого.

Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал, коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков *(защищая рукою кушанье)*. Ну, ну, ну... оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую... *(Ест.)* Боже мой, какой суп! *(Продолжает есть.)* Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супа: какие-то перья плавают вместо масла. *(Режет курицу.)* Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось, Осип, возьми себе. *(Режет жаркое.)* Что это за жаркое? Это не жаркое.

Слуга. Да что ж такое?

Хлестаков. Черт его знает что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. *(Ест.)* Мошенники, канальи! чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. *(Ковыряет пальцем в зубах.)* Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя, и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! *(Вытирает рот салфеткой.)* Больше ничего нет?

Слуга. Нет.

Хлестаков. Канальи! Подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! Дерут только с проезжающих.

Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.

Явление VII

Хлестаков, потом Осип.

Хлестаков. Право, как будто и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.

Осип *(входит).* Там чего-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.

Хлестаков *(испугавшись).* Вот тебе на! Я, ей-Богу, никак не думал про это... эка бестия трактирщик! Если в самом деле потащит в тюрьму? Что ж, если благородным образом, еще ничего, я, пожалуй, пойду... Нет, что ж я говорю: пойду? Там вчера смотрели на меня две купеческие дочери, офицеры тоже беспрестанно ходят... Нет, я не соглашусь. Он не может сделать этого, или уж он будет после этого такая скотина... Это можно какого-нибудь мещанина или ремесленника... Нет, не поддаваться! *(Ободряется.)* Что он может мне! Я скажу ему: «Как вы!.. Я знать не хочу...» *(У дверей вертится ручка; Хлестаков бледнеет.)*

Явление VIII

Хлестаков, городничий и Добчинский. Городничий, вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.

Городничий *(немного оправившись и протянув руки по швам).* Желаю здравствовать!

Хлестаков *(кланяется).* Мое почтение!..

Городничий. Извините!

Хлестаков. Ничего...

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений...

Хлестаков *(сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко).* Да что ж делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни.

Бобчинский выглядывает из дверей.

Он больше виноват: говядину мне подает такую твердую, как бревно: а суп — он черт знает чего плеснул туда, я должен был

выбросить его за окно. Он меня голодом по целым дням... чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. За что ж я... Вот новость!

Городничий *(робея)*. Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, я не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть — в тюрьму. Зачем же меня... Вы не имеете права... Я покажу вам подорожную... Я чиновник, еду в собственную мою деревню в Саратовскую губернию. Службу по министерству... Вы не смеете... я буду жаловаться.

Городничий *(в сторону)*. О, Боже мой! Все, все узнал! какой сердитый! Всё рассказали проклятые купцы!

Хлестаков *(храбрясь)*. Да как вы смеете!.. Меня сам министр знает... Нет, не пойду! Ей-Богу, не пойду, вот хоть вы со всей своей командой... *(В сторону.)* Не поддаваться, право, не поддаваться, и если что-нибудь... то *(Берет сзади рукою бутылку.)*

Городничий *(вытянувшись и дрожа всем телом)*. Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным человека.

Хлестаков. Нет, я не хочу. Вот еще! Мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму. Вот пре-красно!

Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.

Нет, благодарю покорно, не хочу.

Городничий *(дрожа)*. По неопытности, ей-Богу, по неопытности. Недостаточность состояния. Казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-Богу, клевета! Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Хлестаков. Да... конечно... *(В размышлении.)* Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове... Я незнаком с нею. Да мне и дела нет к ней. Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко... Я заплачу вам деньги; у меня только теперь

нет. Я потому и сижу здесь так долго, что ни копейки нет денег.

Городничий *(в сторону).* О, тонкая штука! Эк куда метнул! Какого тумана напустил! разбери, кто хочет. Не знаешь, с которой стороны и приняться. Попробовать разве на авось? *(Вслух.)* Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.

Хлестаков. Так вы даете мне взаймы? О, если так, то я сейчас готов расплатиться. Мне бы двести рублей — разделаться только с трактирщиком, а там я, как только в деревню, сей же час и возвращу вам... Это вдруг.

Городничий. Помилуйте, я готов ожидать сколько угодно. Как можно, чтобы я осмелился назначить срок. Вот тут ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Хлестаков *(принимает деньги).* Покорнейше благодарю; я вам очень благодарен. Меня, признаюсь, это чрезвычайно поощрило; у меня уж ни копейки не было. Вы, как я вижу теперь, очень благородный человек, а прежде я думал... *(Кладет их в карман.)*

Городничий *(в сторону).* Ну, слава Богу! По крайней мере, деньги взял. Теперь дело, может быть, на лад пойдет. Я таки ему вместо двухсот четыреста ввернул.

Хлестаков. Эй, Осип!

Осип входит.

Позови сюда трактирного слугу! *(К городничему и Добчинскому.)* А что ж вы стоите? Сделайте милость, садитесь. *(Добчинскому.)* Садитесь, прошу покорнейше.

Городничий. Ничего, мы и так постоим.

Хлестаков. Садитесь, пожалуйста, я вас прошу. *(Добчинскому.)* Садитесь.

Городничий и Добчинский садятся;
Бобчинский выглядывает в дверь.

Городничий *(в сторону).* Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. *(Вслух.)* Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся

проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, я кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием, — и вот в награду за ревностную службу случай доставил такое приятное знакомство с вами.

Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал, чем заплатить.

Городничий *(в сторону).* Да, рассказывай себе. *(Вслух.)* Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?

Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.

Городничий *(в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение).* В Саратовскую губернию! О! Да ты штука! *(Вслух.)* Да, приятная прогулка для ума и сердца. В дороге способности хорошо развиваются... и вы, верно, так только, по своей охоте едете туда, для своего удовольствия?

Хлестаков. Нет, батюшка меня требует; а мне, признаюсь, в Петербурге лучше бы...

Городничий *(в сторону).* Батюшка требует. А? Экие пули отливает! А ведь какой маленький. *(Вслух.)* И на долгое время изволите ехать туда?

Хлестаков. Не знаю. Мне не хотелось бы жить с мужиками; помещики тоже не имеют образованности; однако ж отставку подал.

Городничий *(в сторону).* И в отставку подал! Каково подвертывает! *(Вслух.)* И прекрасно делаете. Что служба? одни хлопоты: ночь не спишь — стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. *(Окидывает глазами комнату.)* Какие большие пятна по углам, должно быть, течь и сырость бывает, и стены тоже уж слишком низенькие... мне кажется, эта комната для вас не слишком удобна.

Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я еще нигде не видывал: так, как собаки, каналии, кусают!

Городничий. Скажите! Такой просвещенный гость, и претерпевает такое неудовольствие от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Мне кажется, сколько на мои слабые глаза — или это мухи обпачкали? — как будто бы даже темно в этой комнате.

Хлестаков. Да, совсем темно, и хозяин завел такое обыкновение: не отпускает совсем свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или так придет фантазия сочинить что-нибудь; но не можно, потому что вовсе темно.

Городничий. Осмелюсь ли просить вас об одном наивеличайшем одолжении, которого, без сомнения, может быть, я даже не достоин.

Хлестаков. А что?

Городничий. Я бы дерзнул попросить вас переехать ко мне на дом: у меня есть для вас очень удобная комната.

Хлестаков *(в размышлении)*. Как, то есть, к вам?.. Да у вас какая комната?

Городничий. Прекрасная комната, и стол тоже вы будете у меня иметь, хоть не столичный, но хороший стол; припасы свежие, не такие, какие отпускают в трактире за деньги. Не откажите! А я уж так рад буду гостю!.. У меня таков нрав: гостеприимство с самого детства; все, что ни есть, готов предложить; особливо если еще притом гость такой просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.

Хлестаков. Покорно благодарю вас. Мне тоже вы очень понравились.

Явление IX

Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом; Бобчинский выглядывает в дверь.

Слуга. Изволили спрашивать?

Хлестаков. Да, подай счет.

Слуга. Я уж давича подал вам другой счет.

Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?

Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой только закусили семги и потом пошли все в долг брать.

Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. Всего сколько следует?

Городничий. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. *(Слуге.)* Пошел вон, тебе пришлют.

Хлестаков. В самом деле, и то правда. *(Прячет деньги.)*

Слуга уходит. В дверь выглядывает Бобчинский.

Явление X

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то: богоугодные и другие?

Хлестаков. А что там такое?

Городничий. А так; посмотрите, какое у нас течение дел... знаете, это для наблюдательного ума хорошо; тут можно много полезного вывести.

Хлестаков. С большим удовольствием, я готов.

Бобчинский выставляет голову в дверь.

Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы — рассмотрите, как у нас содержатся преступники.

Хлестаков. Да, тюрьмы... Нет, лучше я посмотрю богоугодные заведения.

Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены: в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?

Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.

Городничий *(Добчинскому).* Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.

Добчинский. Ничего, я так.

Городничий. Вы побегите наскоро ко мне и скажите жене моей, или лучше я дам вам записочку. *(Хлестакову.)* Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя?

Хлестаков. Зачем беспокоиться? Впрочем, извольте, напишите: вот тут и чернила, только бумаги — не знаю... разве на этом счете.

Городничий. Я здесь напишу. *(Пишет и отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит*

вместе с нею на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.)

Хлестаков. Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь?

Бобчинский. Ничего, ничего; только сверх носа небольшая нашлепка. Я забегу к Христиану Ивановичу; он даст мне пластыря, и все пройдет.

Городничий *(делая Бобчинскому укорительный знак, Хлестакову).* Прошу покорнейше, пожалуйте! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. *(Осипу.)* Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему, — тебе всякий покажет. Прошу покорнейше! *(Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому.)* Уж и вы! не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает что такое. *(Уходит; за ним Бобчинский.)*

Занавес опускается.

Действие III

Комната первого действия.

Явление I

Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.

Анна Андреевна. Ну, вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет! еще нужно копаться... Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло все.

Марья Антоновна. Да, право, маменька, чрез минуты две всё узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. *(Всматривается в окно и вскрикивает,)* Ах, маменька, маменька! Кто-то идет, вон в конце улицы.

Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто ж это идет? Небольшого роста... во фраке... кто ж это? а? Это, однако ж, досадно! Кто ж бы это такой был?

Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька.

Анна Андреевна. Какой Добчинский! Тебе всегда вдруг вообразится этакое! Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй вы, ступайте сюда! Скорее!

Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.

Анна Андреевна. Ну вот: нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе, не Добчинский.

Марья Антоновна. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский?

Анна Андреевна. Ну да, Добчинский, теперь я вижу, — из чего же ты споришь? *(Кричит в окно.)* Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда, все равно. Что? очень строгий? А? А муж, муж? *(Немного отступая от окна,* с *досадою.)* Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

Явление II

Те же и Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, скажите, пожалуйста: ну не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного

человека; все вдруг выбежали, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизаньку, а вы вот как со мною поступили!

Добчинский. Ей-Богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна!

Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович!

Анна Андреевна. Ну, что? Ну, рассказывайте: что и как там?

Добчинский. Антон Антонович прислал вам записочку.

Анна Андреевна. Ну, да он кто такой? генерал?

Добчинский. Нет, не генерал, а не уступит генералу. Такое образование, и важные поступки.

Анна Андреевна. А! так это тот самый, о котором было писано мужу.

Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.

Анна Андреевна. Ну, расскажите: что и как?

Добчинский. Да, слава Богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово; сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме, но потом, как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава Богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения... А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.

Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.

Добчинский. Да так, знаете, когда вельможа говорит, то чувствуешь страх.

Анна Андреевна. Ну, что ж... это все, однако ж, вздор. Расскажите, каков он собою? что, стар или молод?

Добчинский. Молодой, молодой человек, лет двадцати трех; а говорит совсем так, как старик. «Извольте, говорит, я поеду: и туда и туда...» *(размахивает руками)*, так это все славно. «Я, говорит, и написать, и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно».

А н н а А н д р е е в н а. А собой каков он: брюнет или блондин?

Д о б ч и н с к и й. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки; так в смущенье даже приводят.

А н н а А н д р е е в н а. Что тут пишет он мне в записке? *(Читает.)* «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...» *(Останавливается.)* Я ничего не понимаю, к чему же тут соленые огурцы и икра?

Д о б ч и н с к и й. А это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был написан.

А н н а А н д р е е в н а. А, да, точно. *(Продолжает читать.)* «Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше: скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целуя, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский...» Ах, Боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей. Эй, кто там? Мишка!

Д о б ч и н с к и й *(бежит и кричит в дверь).* Мишка! Мишка! Мишка!

Мишка входит.

А н н а А н д р е е в н а. Послушай: беги к купцу Абдулину... постой, я дам тебе записочку *(садится к столу, пишет записку и между тем говорит):* эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.

Д о б ч и н с к и й. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает.

А н н а А н д р е е в н а. Ступайте, ступайте, я не держу вас.

Явление III

Анна Андреевна и Марья Антоновна

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: Боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!

Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?

Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.

Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценою.)* Этакое вдруг вообразится! Червонная дама! Бог знает что такое!

По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.

Явление IV

Мишка и Осип.

Осип. Куда тут?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда.

Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемышное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал?

Осип. Какой генерал?

Мишка. Да барин ваш.

Осип. Барин? Да какой он генерал?

Мишка. А разве не генерал?

Осип. Генерал, да только с другой стороны.

Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала?

Осип. Больше.

Мишка. Вишь ты, как! то-то у нас сумятицу подняли.

Осип. Послушай, малый! ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.

Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать. Вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.

Осип. Ну, а простова-то что есть у вас?.

Мишка. Щи, каша да пироги.

Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, всё будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?

Мишка. Есть.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

Явление V

Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков; за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку, которые бегут и снимают ее, толкая друг друга впопыхах.

Хлестаков. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.

Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностию заслужить внимание начальства.

Хлестаков. Завтрак тоже был очень недурен. Что, у вас каждый день бывает такой завтрак или по некоторым дням?

Городничий. Нарочно для такого приятного гостя.

Хлестаков. Покорнейше благодарю. Я тоже вас прошу, господа, если приедете ко мне в деревню... Вина тоже были у вас очень хороши; я никак не полагал, чтобы в уездном городишке могли быть они. А это какая была рыба?

Артемий Филиппович. Лабардан-с.

Хлестаков. Да, вкусная; я давно такой не ел. Где это мы завтракали? Кажется, в больнице.

Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении.

Хлестаков. Помню, помню, там стояли кровати. А больные, верно, выздоровели? там их было немного.

Артемий Филиппович. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Городничий. Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломна обязанность здешнего градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки... словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение Богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи Боже Ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно?..» Наградит ли оно или нет — конечно, в его воле; по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало... то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью всё прах и суета.

Артемий Филиппович *(в сторону).* Эка, бездельник, как расписывает! Дал же Бог такой дар!

Хлестаков. Да, я и сам люблю этак иногда заумствоваться и пофилософствовать: так, знаете, иногда прозой, а иногда и стишки выкинутся.

Бобчинский *(Добчинскому).* Справедливо, все справедливо, Петр Иванович! Замечания такие... видно, что наукам учился.

Хлестаков. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас тут таких обществ, где бы можно было, например, этак поиграть в карты?

Городничий *(в сторону).* Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! *(Вслух.)* Боже сохрани! Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно; и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю ночь снились, проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?

Лука Лукич *(в сторону).* А у меня, подлец, выпонтировал вчера́ сто рублей.

Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.

Хлестаков. Нет, вы напрасно говорите. Это все зависит от того, как кто играет: конечно, если кто забастует, тогда как нужно ему гнуть от трех углов... Нет, иногда очень заманчиво поиграть.

Явление VI

Те же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Осмелюсь представить вам семейство мое: жена и дочь.

Хлестаков *(раскланиваясь).* Как я счастлив, сударыня, что имею удовольствие вас видеть.

Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.

Хлестаков *(рисуясь).* Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.

Анна Андреевна. Прошу покорно садиться.

Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастие; впрочем, если вы так уж непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею на свой счет... Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.

Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Знаете, сделавши привычку жить в свете, пользоваться всеми удобствами, и вдруг после этого в какой-нибудь дороге... не встретишься с образованным человеком, с которым бы можно поговорить о чем-нибудь; станционные смотрители чрезвычайные невежи и совершенно без воспитания... Если б, признаюсь, не такой случай, как теперь, который меня вознаградил совершенно *(посматривая на Анну Андреевну)*, то я совсем не нашелся бы.

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.

Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.

Анна Андреевна. Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, очень заслуживаете.

Анна Андреевна. Я живу в деревне...

Хлестаков. Да, конечно, впрочем, деревня тоже имеет приятности: ручейки, хижинки, зефиры!.. Я, сударыня, служу в Петербурге с большою выгодою. Это правда, что на мне небольшой чин. Уж никак не больше коллежского асессора, даже немножко меньше. Но зато меня вся канцелярия знает, и начальник отделения совершенно со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец, обедать». Правду сказать, я уж зато и делаю много. Вы, может быть, думаете, что я принадлежу к тем, которые только переписывают бумаги? О нет, совсем нет! Я только приду и скажу: «Это вот так, это вот так», — а там уже чиновник для письма сию минуту пером: тр... тр... так это все скоро. Мне там уж и кресло стоит особенно, как будто столоначальнику, право. И сторож летит еще на лестнице за мною с щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». *(Городничему.)* Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь.

Вместе:
Городничий. Чин такой, что еще можно постоять.
Артемий Филиппович. Мы постоим.
Лука Лукич. Не извольте беспокоиться!

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

Да. Там из наших чиновников никто так не одевается. Платье заказываю Ручу, триста рублей за пару. И если этак куда иду, то все говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз, когда я шел пешком, меня приняли даже за турецкого посланника, право. И удивительно то, что на мне даже не было военной шинели. Все солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за турецкого посланника».

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. Да, меня уже везде знают. Я на всех гуляньях бываю, в театре... с хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже литературою занимаюсь. На сцену разные водевильчики даю, и довольно, знаете, этак удачно. Литераторов часто вижу. У меня тоже обедают некоторые. Хорошенькая у меня очень квартирка; я плачу восемьсот рублей; три комнаты, на улицу окна.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это, должно быть, приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Сумбека»... Вот и «Фенелла» тоже мое сочинение. И все это так, по случаю, я даже не хотел их, признаюсь, писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер написал. Да и в журналы помещаю сочинения: в «Московском Телеграфе» и в «Библиотеке для Чтения». Вот эти все статьи, что были там Брамбеуса, — это все мои.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Да, это всё мои и другие разные сочинения. Мне Смирдин двадцать пять тысяч платит. Да если сказать по правде, то все журналы, какие там ни есть, это всё я издаю.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.

Марья Антоновна. Ах, маменька! там написано, что это господина Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будет спорить!

Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Хлестаков. Да, мне Смирдин сорок тысяч дает в год. Я этим составил себе состояние: у меня два дома есть в Петербурге; и если бы вы подошли к моему дому, то вы бы подумали, что дворец. Я нарочно велел архитектору, чтобы дал самый лучший вид. Везде колонны, пруды, каскады... О, если б этакую квартиру нанимать, то нужно по крайней мере двадцать тысяч в год. Я сам даю балы даже иногда.

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!

Хлестаков. О, балы там отличные! Подадут вам десертную тарелочку, так это просто объядение; или какой-нибудь пирог, что сам он горяч так, что вы не можете взять в рот, а в середине мороженое холодное, вот как лед! Да, я каждый раз бываю на этих балах: там у нас и вист свой составился: министр, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И как только иногда как-нибудь замешкаюсь, то уж посланники и говорят: «Да где ж Иван Александрович? Послать за Иваном Александровичем!» И как начнем играть — то просто я вам скажу, что уж ни на что не похоже. Так уморишься, так уморишься, что как взбежишь к себе на лестницу в четвертый этаж, то просто сбросишь с себя шинель кухарке и скажешь только: «На, Маврушка!» А пот так в три ручья и льется! И на другой день в должность уж никак не хочешь идти. «Осип, и не буди меня, — бывало, говорю, — не пойду!» Впрочем, я это так только говорю, а у меня должность тут же на дому, и чиновники всегда ко мне приходят. А любопытно очень видеть, если бы нарочно заглянули, когда я проснусь. В передней у меня графы и князья толкутся и жужжат так, как шмели; только слышно ж... ж... ж... Ну, нечего делать, нужно, однако ж, выйти к ним. Нельзя, впрочем: иной раз министр... не то чтобы всегда, а иногда заедет.

Городничий и прочие с робостию встают с своих стульев.

Всем нужда ко мне: я ведь имею самое прибыточное место. Мне даже на пакетах пишут иногда: «ваше превосходительство».

А один раз я даже управлял департаментом, право. И так это странно случилось; директор по болезни уехал в свою деревню; все думали: кому дать исправлять должность? кто будет? как и что? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало: нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — нет, черт возьми, трудно! Да после видят, что нечего делать, — ко мне: «Иван Александрович, говорят, может это сделать». И в ту же минуту по улицам везде курьеры, курьеры... курьеров пятнадцать: «Иван Александрович! Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате; хотел отказаться, но, думаю себе: дойдет до государя — неприятно; ну, да и не хотелось испортить свой послужной список. «Извольте, говорю, господа, я принимаю должность, только уж у меня, прошу, не так, уж теперь ни-ни-ни!.. уж у меня ухо востро держите! я уж...» И точно: бывало, как прохожу, то у меня чиновники все вот так трясутся.

Городничий и прочие трясутся от страха.

Я и в Государственном совете присутствую. И во дворец, если иногда балы случатся, за мной всегда уж посылают. Меня даже хотели сделать вице-канцлером. *(Зевает во всю глотку.)* О чем бишь я говорил?

Городничий *(подходя и, трясясь всем телом, силится выговорить).* А ва ва ва... ва.

Хлестаков. Что такое? Вы что-то говорите?

Городничий. А ва ва ва... ва.

Хлестаков. Не разберу ничего.

Городничий. Ва ва ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. Вот и комната, и все что нужно.

Хлестаков. Отдохнуть? Извольте, извольте, я готов. *(Встает.)* Прощайте, сударыня! Право, чрезвычайно хочется спать. Завтрак был у вас хорош. *(Входит в боковую комнату, за ним городничий.)*

Явление VII

Те же, кроме Хлестакова и городничего.

Бобчинский *(Добчинскому).* Вот это, Петр Иванович, какой важный человек! Я никогда еще не был в присутствии такой

важной персоны. Я чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой?

Добчинский. Я думаю, что чуть ли не генерал.

Бобчинский. А я думаю, что генерал ему и в подметки не станет; а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. И во дворец ездит! Пойдем, Петр Иванович, расскажем об этом Аммосу Федоровичу и Коробкину. Они еще ничего об этом не знают. Прощайте, Анна Андреевна!

Добчинский. Прощайте, кумушка!

Артемий Филиппович *(Луке Лукичу).* Такой знатный человек, а мы даже и не в мундирах! С эдакою молодостию, да такие должности отправляет. Ах, Боже мой! Когда бы, в самом деле, что-нибудь не досталось. Прощайте, сударыня! *(Уходит, за ним Лука Лукич.)*

Явление VIII

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!

Марья Антоновна. Ах, милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое... Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Он, однако ж, меня очень понравил: я заметила — все на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел.

Анна Андреевна. Пожалуйста, с своим вздором подальше! Это здесь вовсе неуместно.

Марья Антоновна. Нет, маменька, право.

Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно. Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.

Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее».

Явление IX

Те же и Городничий.

Городничий *(входит на цыпочках).* Чш... ш...

Анна Андреевна. Что?

Городничий. Прилег отдохнуть. Боже вас сохрани тут как-нибудь шуметь. Так совсем ошеломило! Страх такой напал: еще такого важного человека никогда не видел! *(Задумывается.)* С министрами играет и во дворец ездит... Так вот, право, чем больше думаешь... черт его знает, не знаешь, что и делается в голове: как будто стоишь на какой-нибудь колокольне или тебя хотят повесить.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости! Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека; а о чинах его мне и нужды нет.

Городничий. Ну, уж вы — женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вам все тра-ла-ла. Вдруг брякнут ни из того ни из другого словцо. Вас высекут, да и только, а мужа и поминай как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.

Анна Андреевна. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое... *(Посматривает на дочь.)*

Городничий *(один).* Ну, уж с вами говорить! Эка, в самом деле, оказия! До сих пор не могу очнуться от страха. *(Отворяет дверь и говорит в дверь.)* Мишка, позови квартальных Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. *(После небольшого молчания.)* Чудно все завелось теперь на свете; народ всё тоненький, поджаристый такой, — никак не узнаешь, что он важная особа. Однако ж как он ни скрывался, а наконец-таки не выдержал и все рассказал. Видно, что человек молодой.

Явление X

Те же и Осип; все бегут ему навстречу и кивают пальцами.

Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!

Городничий. Чш!.. что? что? спит?

Осип. Нет еще, немножко потягивается.

Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут?

Осип. Осип, сударыня.

Городничий *(жене и дочери)*. Полно, полно вам! *(Осипу.)* Ну что, друг, тебя накормили хорошо?

Осип. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.

Анна Андреевна. Ну что, скажи: к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?

Осип *(в сторону)*. А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. *(Вслух.)* Да, бывают и графы.

Марья Антоновна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!

Анна Андреевна. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он...

Городничий. Да перестаньте, пожалуйста! Вы эдакими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг?..

Анна Андреевна. А чин какой на твоем барине?

Осип. Чин обыкновенно какой.

Городничий. Ах, Боже мой, вы всё с своими глупыми расспросами! Не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин... строг? любит этак распекать или нет?

Осип. Да, порядок любит. Уж ему чтобы все было в исправности.

Городничий. А мне очень нравится твое лицо! Друг, ты должен быть хороший человек. Ну, что...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире, ходит?..

Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека... *(К Осипу.)* Ну что, друг? право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, — оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай.

Осип *(принимая деньги)*. А покорнейше благодарю, сударь. Дай Бог вам всякого здоровья; бедный человек; помогли ему.

Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?..

Марья Антоновна. Осип, душенька! Какой миленький носик у твоего барина!

Городничий. Да постойте, дайте мне!.. *(К Осипу.)* А что, друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть что ему в дороге больше нравится?

Осип. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.

Городничий. Хорошее?

Осип. Да, хорошее. Вот уж на что я, крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-Богу! Бывало, заедем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» — «Плохо, ваше высокоблагородие!» — «Э, говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду». — «А, — думаю себе *(махнув рукою),* — Бог с ним! Я человек простой».

Городничий. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.

Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? *(Прячет деньги.)* Разве уж выпью за ваше здоровье.

Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне! Тоже получишь.

Марья Антоновна. Осип, душенька, поцелуй своего барина!

Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.

Городничий. Чш! *(Поднимается на цыпочки: вся сцена вполголоса.)* Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! Полно уж вам...

Анна Андреевна. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.

Городничий. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только да послушай — и уши потом заткнешь. *(Обращаясь к Осипу.)* Ну, друг...

Явление XI

Те же, Держиморда и Свистунов.

Городничий. Чш! Экие косолапые медведи, — стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?

Держиморда. Был по приказанию...

Городничий. Чш! *(Закрывает ему рот.)* Эк, как каркнула ворона! *(Дразнит его.)* Был по приказанию! Как из бочки, так рычит. *(К Осипу.)* Ну, друг, ты ступай приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть на дому, требуй.

Осип уходит.

А вы — стоять на крыльце и ни с места! И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, то взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! *(Показывает ногою.)* Слышите? Чш... чш... *(Уходит на цыпочках вслед за квартальными.)*

Действие IV

Та же комната.

Явление I

Хлестаков, один.

Мне нравится здешний городок. Такое добродушие со стороны жителей... А как много значит несколько времени пожить в Петербурге! Все с таким почтением: суетятся, бегают, как будто точно за каким-нибудь важным. Дочка у городничего очень хорошенькая! Такая свеженькая, розовые губки. Да и матушка такая, что еще можно бы... Я люблю этак проводить время. Городничий, я думаю, однако же, должен быть очень рассеян: вместо двухсот рублей, как я рассмотрел теперь, он мне дал четыреста. Я попрошу у него удержать их на время при себе для путевых издержек. Я полагаю даже, если он уже такой добрый, еще попросить взаймы. Оно хоть и не так теперь нужно, но все же лучше за одним разом. Дорога ведь такая вещь, что никак нельзя рассчитать в обрез. Может, опять капитан встретится.

Явление II

Хлестаков и почтмейстер, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.

Хлестаков. Прошу покорнейше садиться... Так вы в этом городе и живете?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. Мне очень приятно с вами познакомиться. Как же, мне очень знаком ваш начальник. Ведь это по адмиралтейству, кажется?.. Да, такой добряк. Мы даже, если вам сказать правду, волочились вместе за одною прехорошенькою. Ну, натурально: куда ж ему? — старик. Бывало, всегда как только встретит меня, — я еще у Полицейского моста, а он у Аничкина, — поднимет палец и кричит: «Злодей! счастливец, канальья!..» А там, знаете, ввечеру на Невском проспекте очень много

можно встретить хорошеньких... *(В сторону.)* У этого, мне кажется, почтмейстера можно занять денег! *(Вслух.)* Так вы здешний почтмейстер?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. Вообразите: какой странный случай со мною! Выехавши из Петербурга, я рассчитал, как нарочно, все это самым аккуратнейшим образом: вот это, думаю себе, на прогоны, это на издержки для себя, это ямщикам на водку, это для моего крепостного человека, — и все как нельзя лучше. Но, к величайшему изумлению, стало мне всего только на половину дороги, и теперь недостает какой-нибудь безделицы; не можете ли вы одолжить мне на самое короткое время сколько-нибудь денег?

Почтмейстер. Сколько прикажете?

Хлестаков. Да рублей хоть сто на первый случай, я завтра даже... или очень скоро возвращу.

Почтмейстер. Сейчас. *(Шарит в карманах и говорит вполголоса.)* Ах, Боже мой, вот штука, если не будет! Вот не приведи Бог... Есть, есть! *(С поспешностью дает ассигнации.)*

Хлестаков. Покорнейше благодарю! *(В сторону.)* Почтмейстер, кажется, хороший человек.

Почтмейстер *(встает, вытягивается и придерживает шпагу)*. Не смея далее беспокоить своим присутствием... Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

Хлестаков. Прощайте, прощайте! Хорошо, хорошо.

Явление III

Хлестаков и Аммос Федорович, в мундире, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.

Аммос Федорович. Имею честь представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.

Хлестаков. А, сделайте милость, садитесь. Что, вы давно занимаете тут место?

Аммос Федорович. С восемьсот шестнадцатого; был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.

Хлестаков. Это хорошо. Я сам тоже служу. Что, получаете награды?

Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства.

Хлестаков. Да, это, впрочем, еще довольно счастливо. У нас есть один такой, что пятнадцать лет служит и получил только одну пряжку. Скажите, пожалуйста, — мне, право, несколько и совестно, да нечего делать, — со мною странный случай: в дороге совершенно истратился... Не можете ли вы одолжить мне на малое время рублей сто? Я вам, может быть, завтра же отдам.

Аммос Федорович. Сейчас. *(Вынимает поспешно из бумажника деньги.)*

Хлестаков. Очень вам благодарен. В дороге, знаете, эдак разные потребности могут случиться. Никак нельзя предвидеть. В одном месте захочется поесть, в другом купить что-нибудь. Оно хоть безделица, а все составляет счет.

Аммос Федорович *(раскланиваясь)*. Не смея беспокоить своим присутствием, имею честь пребыть...

Хлестаков. А вы уж едете? Зачем же так рано? Посидите еще. Мне очень приятно с вами побеседовать.

Аммос Федорович. Не смею беспокоить.

Хлестаков. Ну, когда так, то прощайте. Покорно благодарю за то, что навестили меня. *(Выпроваживает Аммоса Федоровича.)* Судья тоже, сколько мне кажется, очень неглупый человек. Я люблю таких людей, с которыми можно быть откровенну.

Явление IV

Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земленика.

Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

Артемий Филиппович. Рад стараться на службу отечеству.

Хлестаков. Я, признаюсь, очень люблю, если кушанья хорошо сготовлены; и странно, что мне не столько нравится, чтоб их было много, сколько то, чтобы были бы вкусные и сытные. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

Артемий Филиппович. Очень может быть. *(Помолчав.)* Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. *(Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.)* Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются... извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами, — конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, — поведения самого предосудительного: здесь есть один помещик Добчинский, которого вы изволили видеть, и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов... И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.

Хлестаков. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал!

Артемий Филиппович. Вот и смотритель здешнего училища. Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?

Хлестаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, эдак люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное... Как ваша фамилия? Я все позабываю.

Артемий Филиппович. Земленика.

Хлестаков. А, да! Земленика. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?

Артемий Филиппович. Как же-с, пятеро; двое уже взрослых.

Хлестаков. Скажите, какое счастие! А как по имени?

Артемий Филиппович. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.

Хлестаков. Это хорошо.

Артемий Филиппович. Не смея беспокоить своим присутствием, имею честь...

Хлестаков. Прощайте! Покорнейше благодарю вас за приятную беседу. Сделайте милость, навещайте... в другое время тоже когда-нибудь. *(Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.)* Эй, вы! как вас? я все позабываю, как ваше имя и отчество.

Артемий Филиппович. Артемий Филиппович.

Хлестаков. Сделайте милость, Артемий Филиппович, посмотрите, нет ли здесь при вас мне взаймы рублей триста на самое короткое время... в дороге совсем издержался.

Артемий Филиппович. Есть.

Хлестаков. Скажите, как кстати. Я именно только что думал о том, что не худо... Прощайте! Покорнейше вас благодарю.

Явление V

Хлестаков, Бобчинский и Добчинский.

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр, Иванов сын, Бобчинский.

Добчинский. Помещик Петр, Иванов сын, Добчинский.

Хлестаков. А, да, я уже вас видел. Вы, кажется, тогда упали? Что, как ваш нос?

Бобчинский. Слава Богу! Не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.

Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад... *(Вдруг и отрывисто.)* Денег нет у вас?

Бобчинский. Денег? как денег?

Хлестаков *(громко и скоро)*. Взаймы рублей тысячу.

Бобчинский. Такой суммы, ей-Богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?

Добчинский. Нет, а если есть, то в приказе общественного призрения.

Хлестаков. Досадно... ну, если тысячи нет, в таком случае хоть рублей сто.

Бобчинский. У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня только двадцать пять.

Добчинский *(смотря в бумажник)*. Сорок ассигнациями.

Бобчинский. А у меня двадцатипятирублевая. А вот, может быть, есть мелочь. Сейчас поищу. *(Копается в карманах.)* Три двугривенных.

Хлестаков. Ну, толковать об этом, впрочем, нечего; как случилось. Давайте, все равно. Я вам это при первом случае почту долгом возвратить. *(Принимает деньги.)*

Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.

Хлестаков. А что это?

Добчинский. Дело очень тонкого свойства: старший сын рожден мною еще до брака.

Хлестаков. Да?

Добчинский. То есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными узами супружества. Так я хочу, чтоб он теперь уже был совсем законным моим сыном и назывался бы так, как я: Добчинский.

Хлестаков. Хорошо, я...

Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль очень; такой мальчишка... большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет, и этак, если где попадет ножик, то сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как лучший фокусник. Вот и Петр Иванович знает.

Бобчинский. Да, большие способности имеет.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить... И вы надейтесь, что все будет сделано; я скажу министру. *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?

Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков. А что, о чем?

Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите, что живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Хлестаков. Ничего, ничего. Мне очень приятно. *(Выпроваживает их.)*

Явление VI

Хлестаков, один

Как много здесь чиновников! Городишко довольно населен. Теперь я вижу, сколько мне кажется, они меня почитают за человека государственного. Я это люблю. Мне нравится, если меня почитают за важного человека. В моей физиономии точно есть что-то такое, внушающее... это с их стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаймы денег. А в Петербурге попробуй пойти к какому-нибудь даже последнему портнишке, чтобы сшил тебе в долг фрак: ни за что не сошьет. Мне кажется, это уж чересчур... такое развращение нравов может быть только в столице... А, перечесть, сколько у меня теперь денег. *(Вынимает из кармана.)* В этой пачке четыреста. *(Кладет особо.)* Сколько тут? *(Считает.)* Двадцать пять, пятьдесят, семьдесят пять... какая замасленная!.. сто; и тут сто... О! о! всех до тысячи добирается! А должно быть, однако ж, сколько мне кажется, эти чиновники большие дураки; и в голове только, я думаю, фай — даже посвистывает. Такая простота! Написать нарочно об этом Тряпичкину. Он там сочиняет разные статейки — пускай-ка их отбреет хорошенько; это, право, будет хорошо. Эй, Осип! Подай мне бумаги и чернила.

Осип *(выглянув из дверей)*. Сейчас.

Явление VII

Хлестаков и Осип, с чернилами и бумагою.

Хлестаков. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? *(Начинает писать.)*

Осип. Да, слава Богу! Только знаете что, Иван Александрович?

Хлестаков *(пишет)*. А что?

Осип. Уезжайте отсюда. Ей-Богу, уж пора.

Хлестаков *(пишет)*. Вот вздор! Зачем?

О с и п. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька — ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час, какой-нибудь другой наедет... ей-Богу, Иван Александрович! А лошади тут славные — так бы закатили!..

Х л е с т а к о в *(пишет).* Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.

О с и п. Да что завтра! Ей-Богу, поедем, Иван Александрович! Оно хоть и большая тут честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли... И батюшка будет гневаться за то, что так замешкались... Так бы, право, закатили славно! А лошадей бы важных здесь дали.

Х л е с т а к о в *(пишет).* Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо; пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтобы лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому; чтобы так, как фельдъегеря, катили! и песни бы пели!.. *(Продолжает писать.)* Воображаю, что скажет Тряпичкин; он ведь такой остроумный...

О с и п. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.

Х л е с т а к о в *(пишет).* Хорошо. Принеси только свечу.

О с и п *(выходит и говорит за сценой).* Эй, послушай, брат! отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег, да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит. Прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб всё живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.

Х л е с т а к о в *(продолжает писать).* Любопытно знать: где он теперь живет — в Почтамтской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать. Напишу наудалую в Почтамтскую. *(Свертывает и надписывает.)*

Осип приносит свечу. Хлестаков печатает.
В это время слышен голос Держиморды: «Куда лезешь, борода?
Говорят тебе, никого не велено впускать».

(Дает Осипу письмо.) На, отнеси.

Г о л о с а к у п ц о в. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить. Мы за делом пришли.

Г о л о с Д е р ж и м о р д ы. Пошел, пошел! Не принимает, спит.

Шум увеличивается.

Хлестаков. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.

Осип *(глядя в окно)*. Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.

Хлестаков *(подходя к окну)*. А что вы, любезные?

Голоса купцов. К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.

Хлестаков. Впустите их, впустите! Пусть идут. Осип, скажи им: пусть идут.

Осип уходит.

(Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает.) «Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина...» Черт знает что, и чина такого нет!

Явление VIII

Хлестаков и купцы, с кузовом вина и сахарными головами.

Хлестаков. А что вы, любезные?

Купцы. Челом бьем вашей милости!

Хлестаков. А что вам угодно?

Купцы. Не погуби, государь! Обижательство терпим совсем понапрасну.

Хлестаков. От кого?

Один из купцов. Да всё от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Так поступает, что рассказать страшно. Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-Богу! Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем; каждый подарит на пару платья, это дело уж известное, супружнице его и дочке, — мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконцо: снеси-ка его ко мне». Нечего делать, и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.

Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!

Купцы. Ей-Богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, чего ему больше? — всего нанесешь, ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь подарки.

Хлестаков. Да это просто разбойник!

Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. Позовет к себе, да и двери велит запереть. «Я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать, — это, говорит, запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»

Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это его просто в Сибирь.

Купцы. Да уж куда милость твоя ни запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.

Хлестаков. Нет, вы этого не думайте: я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей триста — ну, тогда совсем дело другое: взаймы я могу взять.

Купцы. Изволь, отец наш! *(Вынимают деньги.)* Да что триста! Уж лучше пятьсот возьми, помоги только.

Хлестаков. Извольте: взаймы — я ни слова; я возьму.

Купцы *(подносят ему на серебряном подносе деньги)*. Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.

Хлестаков. Ну, и подносик можно.

Купцы *(кланяясь)*. Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.

Хлестаков. О нет, я взяток никаких...

Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай всё! всё пойдет впрок. Что там? веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно.

Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство! Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.

Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь.

Купцы уходят. Слышен голос женщины: «Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!»

Кто там? *(Подходит к окну.)* А что ты, матушка?

Голос слесарши. Милости твоей, отец мой, прошу! Повели, государь, выслушать.

Хлестаков *(в окно)*. Пропустить ее.

Явление IX

Хлестаков и слесарша.

Слесарша *(кланяясь в ноги)*. Милости прошу твоей, государь!

Хлестаков. Да что ты за женщина?

Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка: Февронья Петровна Пошлепкина, отец мой...

Хлестаков. Чего тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу: на городничего челом бью! Пошли ему Бог всякое зло! Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было.

Хлестаков. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! Да и по закону нельзя: он женатый.

Хлестаков. Как же он мог это сделать?

Слесарша. Сделал, мошенник, сделал — побей Бог его и на том и на этом свете! Чтоб ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если жив у него, то чтоб и он, каналья, околел и поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки;

так он ко мне: «На что, говорит, тебе муж, он уж тебе не годится». Да я-то знаю — годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! «Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекруты». Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего! И если есть теща, то чтоб и теще...

Хлестаков. Хорошо, хорошо, матушка. Ступай, ступай. Я ему это всё... Ступай с Богом. *(Выпровожает старуху.)*

Слесарша *(уходя)*. Не позабудь, отец наш! будь милостив!

Хлестаков. Хорошо, хорошо.

В окно высовываются руки с просьбами.

Да кто там еще? *(Подходит к окну.)* Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно. *(Отходя.)* Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип.

Осип *(кричит в окно)*. Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!

Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели с небритою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою. За ним в перспективе показывается несколько других.

Пошел, пошел! что лезешь? *(Упирается ему руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.)*

Явление X

Хлестаков и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ах!

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.

Хлестаков *(рисуется)*. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти?

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька...

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.

Хлестаков *(рисуется)*. А ваши глаза лучше, нежели важные дела... Вы никак не можете мне помешать; никаким образом не можете; напротив того, вы можете принесть удовольствие.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Сделайте милость, садитесь! Я никак не могу видеть, чтоб вы стояли. Вам должно не стул, а трон.

Марья Антоновна. Право, я не знаю... мне так нужно. *(Села.)*

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!..

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только бы посмеяться над провинциальными.

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек... Сегодня какая странная погода!

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы всё говорите... Я бы вас попросила, чтоб вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.

Хлестаков. Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам?

Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие: хорошие, новые.

Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.

Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете?

Хлестаков. Да к чему же говорить, я и так их знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю их...

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек...» Ну, и другие... теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда... *(Придвигая стул.)*

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь. *(Отодвигает стул).*

Хлестаков *(придвигая стул).* Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.

Марья Антоновна *(отдвигаясь).* Для чего ж близко? все равно и далеко.

Хлестаков *(придвигая).* Отчего ж далеко? все равно и близко.

Марья Антоновна *(отдвигается).* Да к чему ж это?

Хлестаков *(придвигаясь).* Да ведь это вам кажется только, что близко, а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия.

Марья Антоновна *(смотрит в окно).* Что это так как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?

Хлестаков *(целует ее в плечо и смотрит в окно).* Это сорока.

Марья Антоновна *(встает в негодовании).* Нет, это уж слишком... Наглость такая!..

Хлестаков *(удерживая ее).* Простите сударыня: я это сделал от любви, точно от любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку. *(Силится уйти.)*

Хлестаков *(продолжая удерживать ее).* Из любви, право, из любви. Я так только, пошутил. Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения. *(Падает на колени.)*

Явление XI

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна *(увидев Хлестакова, не успевшего встать на ноги, и всплеснув руками).* Ах, какой пассаж!

Хлестаков *(вставая).* А, черт возьми!

Анна Андреевна. Признаюсь, я в таком нахожусь... я не знаю... *(К Марье Антоновне.)* Что это ты вздумала? С кого ты это пример взяла?

Хлестаков *(вдруг бросается на колена).* Анна Андреевна! Влюблен, влюблен! Прошу руки Марьи Антоновны.

Анна Андреевна. Ах, Боже мой!.. как же это! Право, так скоро да еще... и на коленах стоите!

Хлестаков. Руки, руки прошу! Если не согласитесь, умру, сейчас же умру, на этом самом месте. Застрелюсь, напропалую застрелюсь!

Анна Андреевна. Я, право, не могу еще прийти в себя... мы никак и не смеем думать о такой чести. Вам нужна, по крайней мере, графиня или княгиня.

Хлестаков. О, мне все равно. Я не слишком гляжу на графинь. Если вы не решитесь исполнить моей просьбы, то вы не можете представить, что со мною случится; как честный человек уверяю. Я решительный человек, мне жизнь — копейка!

Анна Андреевна. Ах, Боже мой! Как вы меня пугаете! Отваживать жизнь свою, да еще таким страшным образом! Встаньте... я согласна, только встаньте.

Хлестаков *(вставая)*. Теперь я самый... *(в сторону)*, а она тоже очень аппетитна! *(Вслух Анне Андреевне, подбираясь к ней.)* Как я счастлив, что могу наконец...

Явление XII

Те же и городничий впопыхах.

Городничий. Ваше превосходительство! Не погубите! не погубите!

Хлестаков. Что с вами?

Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству... Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Слесарша налгала вам, что будто бы я забрил лоб ее мужу. Право, не брил, как честный человек, не брил; она сама забрила.

Хлестаков. О, об этом не беспокойтесь, я им не верю.

Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны... им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, то осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.

Хлестаков. О да, бездельники; я это сейчас увидел.

Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостаивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.

Городничий. Куда! Куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее.

Хлестаков. Нет. Я точно прошу руки. Я очень влюблен.

Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорят тебе?

Хлестаков. Я не шутя вам говорю... Если вы не согласитесь, то сделаете меня несчастным человеком.

Городничий. Не смею верить, недостоин такой чести.

Хлестаков. Сделайте милость, не приводите меня в отчаяние. Если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я, признаюсь, на черт знает что готов.

Городничий. Не могу верить: изволите шутить ваше превосходительство.

Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну когда тебе толкуют!

Городничий. Не могу верить.

Хлестаков. Отдайте руку вашей дочери, я говорю в последний раз. А не то — я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, то вас под суд отдадут.

Городничий. Ах, Боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом! Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь... я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.

Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Городничий. Да благословит Бог, а я не виноват.

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной.

(Смотрит на них.) Что за черт! В самом деле! *(Протирает глаза.)* Да, да, целуются! Точно, целуются! Как будто бы точно жених! Эхе! Какое счастье привалило! Вот тебе на!

Явление XIII

Те же и Осип.

Осип. Лошади готовы.

Хлестаков. А, хорошо... я сейчас.

Городничий. Изволите ехать?

Хлестаков. Да, еду.

Городничий. А когда же, то есть... вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?

Хлестаков. Да я еду только на один день, к дяде моему. Тут он недалеко живет, богатый человек; завтра я буду назад.

Городничий. Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения.

Хлестаков. О! Я человек аккуратный. Прощайте, Марья Антоновна, нежнейший предмет моей страсти! Грустно и на малое время расставаться с вами! Прощайте, душенька! *(Целует ее ручку.)*

Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?

Хлестаков. О нет, к чему это? *(Немного подумав.)* А впрочем, не худо!

Городничий. Сколько угодно вам?

Хлестаков. Ну, это пустяки... сколько-нибудь. А вот тогда, кажется, дали вы мне двести, то есть оно не двести, а по-настоящему четыреста, — я не хочу воспользоваться вашею ошибкою, — так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.

Городничий. Вот я сию минуту. *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.

Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастие, когда новенькими бумажками?

Городничий. Так точно-с.

Хлестаков. Ну, так прощайте, Антон Антонович! Вы меня очень обязали вашим гостеприимством, я вам много благодарен. Я поистине признаюсь вам, — не думайте, чтоб это было комплимент, — мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька, Марья Антоновна! Не замешкаюсь. Может быть, завтра же и назад.

За сценой.

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей, Марья Антоновна!

Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?

Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Голос Хлестакова. Нет, зачем! это пустое! А впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Голос городничего. Эй, Авдотья! Ступай в кладовую: вынь ковер самый лучший — что по голубому полю, персидский. Скорей!

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Так когда же прикажете ожидать вас?

Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра непременно.

Голос Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай-ка с этой стороны сена.

Голос ямщика. Тпр...

Голос Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! Хорошо. Славно будет! *(Бьет рукою по ковру.)* Теперь садитесь, ваше благородие!

Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович!

Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство!

Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович!

Голос Хлестакова. Прощайте, маменька!

Голос ямщика. Эй вы, залетные!

Колокольчик звенит. Занавес опускается.

Действие V

Та же комната.

Явление I

Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось: просто из какой-нибудь городничихи и вдруг... фу ты, канальство!.. с каким дьяволом породнилась!

Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.

Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Какие мы с тобою теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?

Входит квартальный.

А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка, сюда, брат, купцов. Вот я их, каналий! Так жаловаться на меня? Вишь ты, проклятый иудейский народ! Постойте ж, голубчики! Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтобы знали: что вот, дискать, какую честь Бог послал городничему, — что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого чиновника, что и на свете еще не было, что может и прогнать всех в городе, и в тюрьму посадить, и все, что хочет. Всем объяви, чтобы все знали! Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество!

Квартальный уходит.

Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?

Анна Андреевна. Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться!

Городничий. Ну, в Питере так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?

Анна Андреевна. Натурально! Что за городничество!

Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрата со всеми министрами и во дворец ездит; так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничий. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна? красную или голубую?

Анна Андреевна. Уж конечно, голубую лучше.

Городничий. Э? вишь, чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? — потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, все дожидается — все эти титулярные, капитаны, городничие. А ты себе и в ус не дуешь! Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой городничий! Хе, хе, хе! *(Заливается и помирает со смеху.)* Вот что, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебе это такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то, что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев, или Земленика; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские... Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.

Городничий. Что ж, ведь слово не вредит!

Анна Андреевна. Да, хорошо, когда ты был городничим, — а там ведь жизнь совершенно другая.

Городничий. Да! там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, — такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть!

Анна Андреевна. Ему все бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза. *(Зажмуривает глаза и нюхает.)* Ах, как хорошо!

Явление II

Те же и купцы

Городничий. А! здорово, соколики!

Купцы *(кланяясь)*. Здравия желаем, батюшка!

Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники проклятые, жаловаться? Жаловаться, протоканалии? Жаловаться, архибестии? Жаловаться, рассусленные бороды? Что? Много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят!. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Анна Андреевна. Ах, Боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничий *(с неудовольствием)*. А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? а? Что теперь скажете? Теперь я вас всех скручу так, что ни одного волоска не останется в ваших бородах. Мошенники! Вы только обманываете народ, мошенники! Сделаешь подряд с казною, на сто тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь, каналья, двадцать аршин... Если б знали, так бы тебе петлю навесили. Брюхо сует вперед: он купец, его не тронь, «мы, говорит, и дворянам не уступим». Да, дворянин... ах ты, рожа! — дворянин учится наукам; его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? Ты начинаешь плутнями: тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Ты мальчишка еще, «Отче наш» не знаешь, а уж обмериваешь, а там как разодмет тебе брюхо да набьешь себе карман, так и заважничал! Фу ты, какая! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

Купцы *(кланяясь)*. Виноваты, Антон Антонович!

Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также, каналья, спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?

Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал! И закаемся вперед жаловаться. Всякое удовлетворение, какое хошь, готовы сделать, не гневись только!

Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? Оттого, что мое взяло, а будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.

Купцы *(кланяются в ноги).* Не погуби, Антон Антонович!

Городничий. Не погуби! Теперь: не погуби! А прежде что? Я бы вас в тюрьму... *(Махнув рукой.)* Ну, да Бог простит! Встаньте, полно! Я непамятозлобен; только теперь смотрите: ухо востро! Я выдаю дочку свою не за какого-нибудь простого дворянина. Смотрите же, чтоб поздравление было приличное — не то чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару, понимаешь? Ну, ступай же с Богом.

Купцы уходят.

Явление III

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, потом Растаковский.

Аммос Федорович *(еще в дверях).* Верить ли слухам, Антон Антонович? К вам привалило необыкновенное счастие!

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастием. Я душевно обрадовался, когда услышал. *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)* Марья Антоновна!

Растаковский *(входит).* Антона Антоновича поздравляю! Да продлит Бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат, Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)*

Явление IV

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ее ручке.)*

Жена Коробкина. Душевно вас поздравляю, Анна Андреевна, с новым счастием!

Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! *(Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.)* Марья Антоновна! Имею честь поздравить! *(Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.)*

Явление V

Множество гостей, в сюртуках и фраках, подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» — потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!»
Бобчинский и Добчинский проталкиваются.

Бобчинский. Имею честь поздравить!

Добчинский. Антон Антонович! Имею честь поздравить!

Бобчинский. С благополучным происшествием!

Добчинский. Анна Андреевна!

Бобчинский. Анна Андреевна!

Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами.

Добчинский. Марья Антоновна! *(Подходит к ручке.)* Честь имею поздравить. Вы будете в большом, в большом счастии, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время.

Бобчинский *(перебивая).* Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка такого маленького, вот этакого *(показывает рукою),* чтоб можно было на ладонку посадить; и так только все будет кричать: «уа! уа! уа!»

Явление VI

Еще несколько гостей, подходящих к ручкам, Лука Лукич с женою.

Лука Лукич. Имею честь...

Жена Луки Лукича *(бежит вперед).* Поздравляю вас, Анна Андреевна!

Целуются.

А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку». — «Ах, Боже мой!» — думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчик! вот какое счастие Анне Андреевне!» — «Ну, — думаю себе, — слава Богу!»

И говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне...» — «Ах, Боже мой! — думаю себе. — Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела!» И так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю! Уже Лука Лукич говорит: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь!» — «Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются».

Городничий. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.

Гости садятся.

Явление VII

Те же, частный пристав и квартальные.

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета!

Городничий. Спасибо, спасибо, прошу садиться, господа!

Гости усаживаются.

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось: постепенный ход всего, то есть, дела.

Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственнолично сделать предложение.

Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил! Говорит: «Я, Анна Андреевна, не посмотрю на то, что она не графиня и не княгиня; я именно из одного уважения к вашим достоинствам и вашей дочери». И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил. «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь — копейка; но именно за то только, что уважаю ваши редкие качества, я прошу, я умоляю руки вашей; если вы будете жестоки...»

Марья Антоновна. Ах, маменька! Ведь это он мне говорил.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, вы поверите

ли, что я потому только ищу руки вашей или вашей дочери, что чувствую сердечную любовь и изумляюсь вашим достоинствам». В таких лестных рассыпался словах!.. И когда я хотела сказать: «Мы никогда не смеем надеяться на такую честь», — тогда он, не говоря ни слова, вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна! не сделайте меня несчастнейшим! И если вы не согласитесь отвечать моим чувствам, я смертью окончу жизнь свою!»

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил!

Анна Андреевна. Да, конечно... и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.

Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. «Застрелюсь, застрелюсь!» — говорит.

Многие из гостей. Скажите пожалуйста!

Аммос Федорович. В самом деле, чрезвычайное происшествие!

Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.

Артемий Филиппович *(в сторону)*. Вот этакой свинье так и лезет в самый рот счастье!

Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.

Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.

Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.

Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью! Вы не можете себе представить.

Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.

Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу.

Анна Андреевна. К своему дяде, чтоб испросить благословения.

Городничий. Испросить благословения; но завтра же... *(Чихает.)*

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад... *(Чихает.)*

Поздравительный гул. Слышнее других голоса:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!

Добчинского. Продли, Боже, на сорок сороков!

Артемий Филиппович. Чтоб ты пропал!

Жена Коробкина. Черт тебя побери!

Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.

Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... деревенский уж слишком... признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой... он там получит генеральский чин.

Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.

Лука Лукич. И дай Бог получить!

Растаковский. От человека невозможно, а от Бога все возможно.

Аммос Федорович. Большому кораблю — большое плаванье!

Артемий Филиппович. По заслугам и честь!

Аммос Федорович *(в сторону)*. Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.

Артемий Филиппович *(в сторону)*. Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно! *(Обращаясь к нему.)* Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.

Аммос Федорович. И если что случится: например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!

Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.

Городничий. Я готов с своей стороны, готов стараться.

Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно, и с какой стати себя обременять этакими обещаниями?

Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно!

Анна Андреевна. Можно! Это ты себе так воображаешь.

Жена Коробкина. Вы слышали, как она отзывается о нас?

Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои...

Явление VIII

Те же и почтмейстер.

Почтмейстер. Я, господа, пришел объявить вам удивительное дело!

Городничий. А например, что такое? Послушаем.

Почтмейстер. Я и сам не знаю, что сказать вам: такое странное обстоятельство, что я...

Некоторые. Какое? Что?

Почтмейстер. Прихожу я домой и застаю письмо этого чиновника, которому мы показывали все заведения. На пакете было написано какому-то Тряпичкину, в Санкт-Петербург, в Почтамтскую улицу. И как прочитал я, что в Почтамтскую улицу, то в ту же минуту так и обомлел. «Верно, — думаю себе, — это обо мне писано. Может быть, как-нибудь дошло до него, что я для своего удовольствия распечатывал иногда письма!» И в ту же самую минуту так, как будто какая-нибудь непредвидимая сила понудила меня распечатать.

Аммос Федорович. Как, и это самое письмо?

Городничий. Как же вы это?..

Все показывают ужас.

Почтмейстер. Я и сам испугался такой мысли и в ту же минуту положил письмо на стол и уже хотел позвать почталиона, чтоб отправить скорее с эштафетой. Но только немножко отойду от стола, так вот опять и тянет, и тянет. В одном ухе кричит: «Распечатай!» — в другом: «Не распечатывай!» — «Распечатай!» — «Не распечатывай!» С этой стороны — так вот как бы под руку кто-нибудь толкает, а с другой стороны — как будто бы невидимая сила говорит: «Оставь, пропадешь как курица!» Так что

минут с десять не знал, что делать; наконец напропалую решился распечатать!

Городничий. Как же вы смели распечатать?

Почтмейстер. Ей-Богу, распечатал! Со страхом таким, какого еще никогда не помню. И ставни велел закрыть, и собственноручно заткнул все щелки. И как только придавил сургуч, то огонь так по всему телу и пробежал; а как разломал печать — мороз, мороз! так вот и чувствую, что мороз! А как вынул и развернул письмо — то я уже не знаю, где я в то время был! Зубы и губы так тряслись, что целый час не мог одной строчки прочесть.

Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстер. В том-то и штука, что он и не уполномоченный и не особа!

Городничий. Что ж он, по-вашему, такое?

Почтмейстер. Ни се ни то! черт знает что такое!

Городничий *(запальчиво)*. Как вы смеете это сказать? Знаете ли, что я велю вас под арест взять!

Почтмейстер. Кто? вы?

Городничий. Да, я.

Почтмейстер. Коротки руки!

Городничий. Знаете ли, что этот самый чиновник женится на моей дочери? Я сам скоро буду вельможа, и если захочу, то вас в Сибирь законопачу!

Почтмейстер. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь! Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо.

Все. Читайте, читайте!

Почтмейстер *(читает)*. «Мая такого-то числа и прочее, и прочее, и прочее. Я уже писал к тебе, душа Тряпичкин, о том, как обыграл меня в Пензе пехотный капитан. Трактирщик хотел даже потащить в тюрьму. К батюшке не писал: недоволен тоном. Все одно: розги да розги. Этим, при теперешнем образовании, он ничего не возьмет. Но вдруг сцена переменилась: я живу теперь у городничего в доме, жуирую, отпускаю bons mots. Жена и дочка его, обе ко мне неравнодушны. Не решился, с которой прежде начать; думаю, лучше с матушки: к дочке, может быть, труден доступ, а матушка такая, что сию минуту готова влюбиться по

уши. Сам городничий преблагороднейший человек, с гостеприимством патриархальным, но глуп, как сивый мерин!!!»

Городничий. Не может быть! Там нет этого.

Почтмейстер *(показывает письмо).* Читайте сами!

Городничий *(читает).* «Как сивый мерин». Не может быть! вы это сами написали.

Почтмейстер. Как же бы я стал писать?

Артемий Филиппович. Читайте!

Лука Лукич. Читайте!

Почтмейстер *(продолжая читать).* «Городничий преблагороднейший человек, с гостеприимством патриархальным, но глуп, как сивый мерин».

Городничий. О, черт возьми! Нужно еще повторять! Как будто оно там и без того не стоит.

Почтмейстер *(продолжает читать).* «Но... — хм, хм, хм, хм... — сивый мерин; почтмейстер тоже добрый человек...» *(Оставляя читать.)* Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.

Городничий. Нет, читайте!

Почтмейстер. Да к чему ж?..

Городничий. Нет, черт возьми! когда уж читать, так читать! Читайте всё!

Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. *(Надевает очки и читает.)* «Почтмейстер тоже добрый человек; чрезвычайно похож на департаментского сторожа Михеева; должно быть, тоже, подлец, пьет горькую».

Почтмейстер *(к зрителям).* Ну, скверный мальчишка, которого нужно посечь; больше ничего!

Артемий Филиппович *(продолжая читать).* «Кроме того, надзиратель над богоугодным заведением какой-то и... и... и...» *(Заикается.)*

Коробкин. А что ж вы остановились?

Артемий Филиппович. Да нечеткое перо... впрочем, видно, что негодяй.

Коробкин. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. *(Берет письмо.)*

Артемий Филиппович *(не давая письма).* Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.

Коробкин. Да позвольте, уж я знаю.

Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю: далее, право, все разборчиво.

Почтмейстер. Нет, всё читайте! Ведь прежде все читано.

Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо. *(Коробкину.)* Читайте!

Артемий Филиппович. Сейчас. *(Отдает письмо.)* Вот позвольте, я закрою пальцем *(закрывает пальцем),* вот этого места только не читайте, а прочее все можно.

Все приступают к нему.

Почтмейстер. Читайте! Читайте всё!

Коробкин *(читая).* «Кроме того, надзиратель за богоугодным заведением, какой-то Земленика; вообрази себе чухонскую свинью в ермолке, с пребольшими ушами».

Артемий Филиппович *(к зрителям).* И нимало не остроумно. Бог знает что: свинья в ермолке! Совсем неправдоподобно: где ж свинья в ермолке бывает?

Коробкин *(продолжая читать).* «А от смотрителя училищ страшно воняет луком».

Лука Лукич *(к зрителям).* Ей-Богу, и в рот никогда не брал луку.

Аммос Федорович *(в сторону).* Слава Богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет!

Коробкин *(читает).* «Кроме того, какой-то судья...»

Аммос Федорович. Вот тебе на! *(Вслух.)* Господа, я думаю, что письмо действительно несколько длинно. На первый раз этого будет довольно.

Лука Лукич. Зачем же? нет, мне хочется все знать.

Коробкин *(продолжает).* «Какой-то судья Ляпкин-Тяпкин, ужасный моветон...» *(Останавливается.)* Должно быть, французское слово.

Аммос Федорович. А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже!

Коробкин *(продолжает читать).* «Словом, дурачье страшное! По моей физиогномии приняли меня за военного генерал-губернатора. Я с своей стороны подпустил им пыли порядочной. Ты пописываешь для “Библиотеки для Чтения”. Пожалуйста,

помести их в свою литературу и окритикуй хорошенько! Прощай, душа Тряпичкин! Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, братец, так жить: ищешь пищи для души; а светская чернь тебя не понимает. Хочешь наконец чем-нибудь эдаким высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку». *(Переворачивает письмо и читает адрес.)* «Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петербург, в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже, направо».

Одна из дам. Какой репримант неожиданный!

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц; а больше ничего... Воротить, воротить его! *(Машет рукою.)*

Почтмейстер. Куда тут воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку и вперед писал предписание, черт бы меня совсем побрал!

Жена Коробкина. Вот, в самом деле, беспримерная конфузия!

Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа! Ведь он у меня взял деньги взаймы.

Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.

Почтмейстер *(вздыхает)*. Ох! и у меня сто рублей.

Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем семьдесят пять ассигнациями и три двугривенных.

Аммос Федорович *(в недоумении расставляет руки)*. Как же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали?

Городничий *(бьет себя по плечу)*. Как я? Нет, как я, старый дурак! Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести меня; мошенников над мошенниками обманывал; пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду; трех губернаторов обманул!.. Что губернаторов! А теперь... вертопрах, какой-нибудь мальчишка — на губах молоко еще не обсохло... ступай ищи его! черт побери! Я думаю, так удирает по столбовой дороге, что колокольчик заливается!

Анна Андреевна *(мужу)*. Как же... Ведь это не может быть... Он совсем ведь обручился уж с нашей Машенькой!

Городничий *(с досадою).* А разве ты не видишь, что у него все это: фу-фу? Пустейший человек, черт бы побрал его! Вот подлинно, если Бог захочет наказать, так отнимет разум. Ну, что в нем было такого, чтоб можно было принять за важного человека или вельможу? Пусть бы имел он в себе что-нибудь внушающее уважение, а то черт знает что: дрянь, сосулька! Тоньше серной спички. И каким это образом случилось? кто первый вынес, что он чиновник, присланный для того, чтоб ревизовать?..

Артемий Филиппович. А кто вынес? Вот кто вынес! Эти молодцы! *(Показывает на Добчинского и Бобчинского.)*

Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал...

Добчинский. Я ничего, совсем ничего...

Артемий Филиппович. Конечно, вы!

Лука Лукич. Разумеется, вы первые прибежали, как сумасшедшие, из трактира: «Приехал, приехал ревизор, и денег не плотит»... Нашли, черт бы вас побрал, важную птицу!

Городничий. Натурально, вы! Сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!

Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!

Лука Лукич. Колпаки!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-Богу, это не я, это Петр Иванович!

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович! это вы говорили.

Бобчинский. Э, нет! вы прежде...

Явление последнее

Те же и жандарм.

Жандарм. Приехавший по Именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

Все издают звук изумления и остаются с открытыми ртами и вытянутыми лицами. Немая сцена.

Занавес опускается.

Сцены и отрывки из черновых редакций «Ревизора»

Из действия I

Комната в д<оме> городничего.

Явление I

Городничий, Попечитель богоугодных заведений, Антон [Игнатьевич], Смотритель училищ, Судья, Частный пристав, два квартальных, Лекарь.

Городничий. Я пригласил вас, господа... Вот и Антона Антоновича, и Григория Петровича, и Христиана Ивановича, и всех вас <для> того, чтобы сообщить одно чрезвычайно важное известие, которое, признаюсь вам, чрезвычайно меня потревожило. И вдруг сегодня неожиданное известие, меня уведомляют, что отправился из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать все, относящееся по части управления, и именно, в нашу губернию, что уже выехал 10 дней назад тому и с часу на час должен быть, если не действительно уже находится инкогнито, в нашем городе.

Попечитель. Что вы говорите?..

Смотритель. Неужели?

Судья. Нет?

Христ<иан> Иван<ович>. Он будет сюда?

<Городничий.> Я признаюсь вам откровенно, что я очень потревожился. Я как будто предчувствовал. Сегодня во сне мне всю ночь снились какие-то собаки... Право, какие-то эдакие необыкновенные собаки, черные, с большими ушами и нечеловеческими мордами. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Пшикина, которого вы, Антон Антонович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель *(бормочет вполголоса, пробегая глазами)*... уведомить тебя...» А вот: «Спешу между прочим уведомить, что приехал сюда чиновник с секретным предписанием осмотреть все губернии, а более всего нашу. У нас даже губернатор узнал его после выезду. Это я узнал от самых верных людей, хотя он больше представляет себя частным лицом... *(Городничий оборачивается и осматривает*

всех) частным лицом... Так я знаю, что за тобою, как за всяким водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, то я советую тебе взять предосторожность и удержаться на время от прибыточной стрижки, как называешь взносы со стороны просителей и непросителей. Ибо он может приехать во всякой час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито... Вечерашнего дни я...» Тут пошли уж семейные дела. «Сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем. Иван Кириллович очень потолстел и всё играет на скрыпке» и проч. и проч. Ну, так вот какое обстоятельство. У меня просто голова идет кругом.

Из действия II

Явление VIII

<Хлестаков>. Мне вот теперь только приключился случай такой, что оказалась нужда в деньгах, а то у меня много денег. У меня имений <?> очень много и в Петербурге мне так просто приходится, что совершенно некуда девать денег, так бывало, просишь кого-нибудь: возьми, пожалу<й>ста, братец, у меня деньги взаймы, право не знаю, что с ними делать, и точно, знаете, опасно даже держать, потому что мошенников в городе очень много. Вот недавно у нас в департаменте случилось мошенничество. Украли у начальника отделения шубу рублей в четыреста. Да нет, если по правде сказать, то и не у начальника отделения, а эта шуба была больше моя. А, черт возьми, подумал я себе: это досадно! Я бы, господа, вас попотчевал и трубкою, да здесь прескверный табак, я потому и не покупал.

<Городничий>. Помилуйте, как можно, чтобы мы в таком приятном присутствии вашем осмелились курить.

Из действия III

Явление VI

<1>

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться. (*Городничий и все садятся.)* А какой странный со мною анекдот случился во время проезда в гостинице. Приезжаю я, вот в этакую самую пору.

Только нет, правда, это было около вечера... Только вижу, в гостинице уж дожидается какой-то этакой молодой человек, которых называют *(вертит рукою)* фу, фу! в козырьке каком-то эдаком залихватском. Я уж, как только вошел: ну, думаю себе, хорош ты гусь. Нужно вам знать, что мне есть страшным образом хотелось. Только трактирщик приходит и говорит: Ну, господа, как хотите, только и есть всего одна куропатка. Когда хотите, поделитесь поровну, а нет — так который-нибудь один должен съесть. — Ну, делить-то я не хочу. Зачем же делить, черт возьми! Ему дать даром куропатку. А к тому ж аппетит — проклятый просто. Вот я думаю: Постой же ты, голубчик, я тебя подбрею. — Ну, милостивый государь, видите ли: кому-нибудь из нас нужно съесть. Не хотите ли, мы вот как сделаем: пусть каждый из нас заснет теперь и кто увидит из нас лучший сон — того и куропатка. — Пожалуй, пожалуй. Вот трактирщик сейчас прибежал: Не прикажете ли диван? — Да зачем? — Помилуйте, помилуйте, как так спать, Иван Александрович, Иван Александрович, вам будет неловко. — Ничего, говорю себе: я человек походный — привык уж. Только мой молодчик в козырку, смотрю я, растянулся на всем диване и свою венгерку... и венгерку ему шил какой-то дрянной портнишка, совсем не Руч... храпит так, что мочи <нет>, а я, нужно сказать, облокотился на стуле и так сделал знак, совершенно как будто сплю. Только ж заметил, что он совсем спит, я сейчас потихоньку накинул на себя халат, потихоньку к шкапу и преспокойно съел себе куропатку. Только поутру просыпается мой молодец в венгерке, будит меня: Вставайте! Я видел сон такой, какого вам никогда не удастся видеть. И врет чепуху мне такую, не знаю, дмется так, расписывает, что его и на небо подняли и в самый рай внесли. — Ну, братец, я говорю ему: я как увидел, что тебя подняли в рай, так подумал, что ты уж совсем не воротишься на землю, да и съел куропатку. И если бы вы увидели, в какое бешенство впал мой франт. Уж этот, говорит, Хлестаков, всегда он наделает таких штук! *(Городничий и все почтительно смеются.)*

Анна Андреевна. Как это забавно! какой простак ваш приятель!

Хлестаков. Да, этаких молодчиков много есть на свете. Мне часто случалось иметь с ними дело. Я в Петербурге бываю

во всех лучших обществах. Меня даже раз, когда я шел пешком, приняли за Дибича-Забалканского, право. И удивительно то, что даже на мне не было военной шинели: все солдаты выскочили из гоубтвахты и сделали ружьем. После уже их офицер, который мне очень знаком, говорит мне: Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за Дибича-Забалканского.

Анна Андреевна. Скажите, как!

Хлестаков. Да, меня уже везде знают, я на всех гуляньях бываю, в театре... С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже литературою занимаюсь: на сцену разные водевильчики даю и довольно, знаете, этак удачно. Литераторов часто вижу. А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного австрийского императора берегут, — и потом уж как начнет писать, так перо только: тр... тр... тр... Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство от холеры, что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник с ума сошел, когда прочитал. Того же самого дня приехала за ним кибитка и взяли его в больницу. С Булгариным обедаю.

<2>

<Хлестаков>. Да я там во всех лучших обществах бываю. А какой со мною недавно анекдот случился <*1 нрзб.*> Меня одна графиня очень того... Один раз приезжает ко мне карета, убрано все это великолепнейшим <образом>, камердинер весь в золоте [спрашивает] входит ко мне: Вы Иван Александрович... Я... и вдруг не говоря мне ни слова, завязывают мне глаза, сажают в карету. Я признаюсь, я сначала даже немного испугался. [Только] привозят к дому великолепнейшему, берут меня под руки, и чувствую, что ведут меня по вызолоченной лестнице, по сторонам вазы, все это со вкусом. Наконец приводят в великолепную комнату, вдруг [я чувствую] развязывают глаза, и что ж я вижу: передо мной красавица, вообразите, в полном совершенстве, одета как нельзя лучше. Шляпа на ней в перьях, бриллианты сияют. Белизна лица. Лицо просто ослепительно... Ну само собою разумеется, что тот же час воспользовался.

Анна Андреевна. Скажите, какое романическое происшествие.

Хлестаков. О да! со мною много подобных было случаев. Да я там бываю во всех домах. Танцую французской кадриль. А какой странный случай там был со мною. Приезжаю я в лучшее общество. Ну, становлюсь в первую пару. Вдруг один из этих молодчиков, знаете, эдакие из числа фонфаронов. Только он, смотрю, наступил мне на самую ногу. Извините, говорит, что не каблуком; а я тут же, поворотившись, хлоп его по щеке: извините, говорю, что не кулаком. И он после это<го>, знаете, так сконфузился, присел в уголку и уж ни с кем не танцовал. [Да.] А после говорит уж мне граф Ивелич: Ну ты, братец, его хорошо отделал. Да. [Я уж знаю этих молодчиков.] Там без меня, знаете...

Из действия IV

Явление VIII

Хлестаков и Гибнер.

Гибнер. Ich habe die Ehre mich zu rekommandiren. Doktor der Armen-Anstalten, Hiebner.

Хлестаков. Прошу покорнейше садиться.

Гибнер. Es freuet mich sehr die Ehre zu haben, einen so würdigen Mann zu sehen, den die hohe Obrigkeit bevollmächtigt hat...

Хлестаков. Нет, я по-немецки... не так. Лучше по-русски. Скажите, пожалуйста: теперь вообще время хорошее на все — не обзавелись ли вы деньгами?

Гибнер. Денг?.. и што денги?..

Хлестаков. Да. Если вы обзавелись, то я бы попросил у вас... Вы мне giebt взаймы, а я вам после назад отгибаю.

Гибнер. Денг... нет деньги... *(Вынимает бумажник и вытряхивает.)* Sehen Sie! Нет... одна сигар... больш нет...

Хлестаков. Ну, нечего делать! На нет и суда нет.

Гибнер *(прячет бумажник, потом опять берется за карман).* Wollen Sie eine Cigarre rauchen? *(Вынимает и подает сигару.)*

Хлестаков. А, хорошо, gut. Дайте сюда, giebt. *(Берет и раскуривает.)* Хорошая сигарка. Это, верно, из Петербурга? *(Пускает дым.)*

Гибнер. Нет... из... Рига.

Хлестаков. Из Риги? Да, я так и думал.

Гибнер *(вставая со стула и кланяясь).* Ich darf Sie nicht mehr zu beunruhigen und Ihnen die theure Zeit zu berauben, die Sie den Staatsgeschäften widmen. *(Откланивается.)*

Хлестаков. Прощайте, рад познакомиться.

Из действия V

Явление VII

Мацапур с женою.

<Мацапур>. Мое почтение Антону Антоновичу. Я поспешил скорее, чтобы поздравить вас. Говорят, Бог послал счастие на весь дом ваш, что вы соединяетесь с знаменитою фамилиею, — такою фамилиею, что еще никогда и на свете не была. Говорят, что у жениха одних золотых карет <четыре> и что он как-то там такая приближеннейшая особа. Я очень сожалею, что не имел чести представиться ему лично.

<Городничий>. Да, первый человек при дворе: он там все заведывает и распоряжает.

Жена <Мацапура>. Скажите, какое счастье. Я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Марья Андреевна выдает дочку». — «Ах, Боже мой», думаю себе, и так обрадовалась, что говорю: «Послушай, Ясун Никифорович, вот какое счастье Анне Андреевне. Ну, слава Богу».

О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году

Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обращает и пускает в ход все выходящее наружу в книжном мире, и которое без того было бы, в обоих смыслах, мертвым капиталом. Она — быстрый, своенравный размен всеобщих мнений, живой разговор всего тиснимого типографскими станками; ее голос есть верный представитель мнений целой эпохи и века, мнений, без нее бы исчезнувших безгласно. Она волею и неволею захватывает и увлекает в свою область девять десятых всего, что делается принадлежностию литературы. Сколько есть людей, которые судят, говорят и толкуют потому, что все суждения поднесены им почти готовые, и которые сами от себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. Итак, журнальная литература во всяком случае имеет право требовать самого пристального внимания.

Может быть, давно у нас не было так резко заметно отсутствия журнальной деятельности и живого современного движения, как в последние два года. Бесцветность была выражением большей части повременных изданий. Многие старые журналы прекратились, другие тянулись медленно и вяло; новых, кроме «Библиотеки для Чтения» и впоследствии «Московского Наблюдателя», не показалось, между тем как именно в это время была заметна всеобщая потребность умственной пищи и значительно возросло число читающих. Как ни бедна эта эпоха, но она такое же имеет право на наше внимание, как и та, которая бы кипела движением, ибо также принадлежит истории нашей словесности. Читатели имели полное право жаловаться на скудость и постный вид наших журналов: «Телеграф» давно потерял тот резкий тон, который давало ему воинственное его положение в отношении журналов петербургских; «Телескоп» наполнялся статьями, в которых не было ничего свежего, животрепещущего. В это время книгопродавец Смирдин, давно уже известный своею деятельностию и добросовестностию, который один только, к стыду

прочих недальнозорких своих товарищей, показал предприимчивость и своими оборотами дал движение книжной торговле, — книгопродавец Смирдин решился издавать журнал обширный, энциклопедический, завоевать всех литераторов, сколько ни есть их в России, и заставить их участвовать в своем предприятии. В программе были выставлены имена почти всех наших писателей. Профессор арабской словесности, г. Сенковский, взялся быть распорядителем журнала; к нему был присоединен редактор г. Греч, известный уже постоянным изданием двух журналов: «Северной Пчелы» и «Сына Отечества». Не знаем, сами ли они взялись за сие дело, или упрошены были г. Смирдиным; но в том и другом случае книгопродавец, по общему мнению, поступил несколько неосмотрительно. Успевши соединить для своего издания такое множество литераторов, он должен был предоставить их суду избрание редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важном вопросе: должен ли журнал иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение, или быть складочным местом всех мнений и толков. Журнал на сей счет отозвался глухо, обыкновенным объявлением, что критика будет самая благонамеренная и беспристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, — обещание, которое дает всякий журналист. С выходом первой книжки публика ясно увидела, что в журнале господствует тон, мнения и мысли *одного,* что имена писателей, которых блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавного листка, взята была только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков.

Книгопродавец Смирдин исполнил с своей стороны все, чего публика вправе была *от него* требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показал он и в издании журнала. Журнал выходил с необыкновенною исправностию: подписчики вместе с первым числом каждого месяца встречали толстую книгу, какой у нас в прежнее время ни одна типография не могла бы поставить в два месяца. Вместо обещанного числа, осьмнадцати листов в месяц, выходило иногда вдвое более. Теперь рассмотрим, исполнили ли долг те, которым он вверил внутреннее распоряжение журнала. Главным деятелем и движущею пружиною всего журнала был г. Сенковский. Имя г. Греча выставлено было только для формы, — по крайней мере, никакого действия

не было заметно с его стороны. Г. Греч давно уже сделался почетным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания: так обыкновенно почтенного, пожилого человека приглашают в посаженые отцы на все свадьбы. Но какая цель была редакции этого журнала, какую задачу предположила она решить? Здесь поневоле должны мы задуматься, что, без сомнения, сделает и читатель. В программе ничего не сказал г. Сенковский о том, какой начертал для себя путь, какую выбрал себе цель; все увидели только, что он взошел незаметно в первый номер и в конце его развернулся как полный хозяин.

Впрочем, нельзя жаловаться и на это: положим, для журналиста необходим резкий тон и некоторая даже дерзость (чего, однако ж, мы не одобряем, хотя нам известно, что с подобными качествами журналисты всегда выигрывают в мнении толпы); но на что преимущественно было обращено внимание сего хозяина, какая мысль его пересиливала все прочие, к чему направлено было его пристрастие, были ли где заметны те неподвижные правила, без коих человек делается бесхарактерным, которые дают ему оригинальность и определяют его физиогномию?

Прочитавши все, помещенное им в этом журнале, следуя за всеми словами, сказанными им, невольно остановимся в изумлении: что это такое? что заставляло писать этого человека? Мы видим человека, который берет деньги вовсе не даром, который трудится до поту лица, не только заботится о своих статьях, но даже переправляет чужие, — одним словом, является неутомимым. Для чего же вся эта деятельность? Последуем за распорядителем во всех родах его сочинений и скажем несколько слов о главных качествах его статей. Это во всех отношениях необходимо.

Г. Сенковский является в журнале своем как критик, как повествователь, как ученый, как сатирик, как глашатай новостей и проч. и проч., является в виде Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу-Оглу, А. Белкина, наконец, в собственном виде. Как ученый, г. Сенковский поместил довольно большую статью о сагах, — статью, исполненную ипотез, не собственных, но схваченных наудачу из разных бегло прочитанных книг, — ипотез, вовсе не принадлежащих русской истории. Эти саги, которые проницательный Шлёцер, не имеющий доныне равного по строгому и глубокому

критическому взгляду, признал за басни, не достойные никакого внимания, — эти саги он ставит краеугольным камнем русской истории и не приводит ни одного доказательства, поверенного критикою: он вовсе не определил их истинного и единственного достоинства. Саги суть поэтическое создание народа, игравшего великую в истории роль. Эта статья, испещренная риторическими фигурами, понравилась добрым, но ограниченным людям, а г. Булгарин даже написал рецензию, в которой поставил г. Сенковского выше Шлёцера, Гумбольта и всех когда-либо существовавших ученых. Другое весьма важное притязание г. Сенковского и настоящий конек его есть Восток. Здесь он всегда возвышал голос, и как только выходило какое-нибудь сочинение о Востоке или упоминалось где-нибудь о Востоке, хотя бы даже это было в стихотворении, он гневался и утверждал, что автор не может судить и не должен судить о Востоке, что он не знает Востока. Слово, сказанное с сердцем, очень извинительно в человеке, влюбленном в свой предмет и который между тем видит, как мало понимают его другие; но этот человек уже должен, по крайней мере, утвердить за собою авторитет. Г. Сенковскому, точно, следовало бы издать что-нибудь о Востоке. Человеку, ничего не сделавшему, трудно верить на слово, особливо когда его суждения так легковесны и проникнуты духом нетерпимости; а из некоторых его отрывков о Востоке видны те же самые недостатки, которые он беспрестанно порицает у других. Ничего нового не сказал он в них о Востоке — ни одной яркой черты, сильной мысли, гениального предположения! Нельзя отвергать, чтобы г. Сенковский не имел сведений; напротив, очень видно, что он много читал; но у него нигде не заметно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его к какой-нибудь цели. Все эти сведения находятся у него в каком-то брожении, друг другу противоречат, между собой не уживаются. Рассмотрим его мнения, относящиеся собственно к текущей изящной литературе. В критике г. Сенковский показал отсутствие всякого мнения, так что ни один из читателей не может сказать наверное, что более нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствам: в его рецензиях нет *ни положительного, ни отрицательного вкуса — вовсе никакого.* То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек. Он первый поставил

г. Кукольника наряду с Гете и сам же объявил, что это сделано им потому только, что так ему вздумалось. Стало быть, у него рецензия не есть дело убеждения и чувства, а просто — следствие расположения духа и обстоятельств. Вальтер Скотт, этот великий гений, коего бессмертные создания объемлют жизнь с такою полнотою, Вальтер Скотт назван шарлатаном. И это читала Россия, это говорилось людям уже образованным, уже читавшим Вальтер Скотта. Можно быть уверену, что г. Сенковский сказал это без всякого намерения, из одной опрометчивости; потому что он никогда не заботится о том, что говорит, и в следующей статье уже не помнит вовсе написанного в предыдущей.

В разборах и критиках г. Сенковский тоже никогда не говорил о внутреннем характере разбираемого сочинения, не определял верными и точными чертами его достоинства. Критика его была или безусловная похвала, в которой рецензент от всей души тешился собственными фразами, или хула, в которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла в мелочах, ограничивалась выпискою двух-трех фраз и насмешкою. Ничего не было сказано о том, что предполагал себе целью автор разбираемого сочинения, как оное выполнил и, если не выполнил, как должен был выполнить. Больше всего г. Сенковский занимался разбором разного литературного сора, множеством всякого рода пустых книг; над ними шутил, трунил и показывал то остроумие, которое так нравится некоторым читателям. Наконец даже завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оный,* которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском слоге. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения *сей* и *оный* совершенно неприличны. Это напомнило старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное і, который впоследствии, еще не так давно, поддерживал один профессор. Книга, в которой г. Сенковский встречал эти две частицы, была торжественно признаваема написанною дурным слогом.

Его собственные сочинения, повести и тому подобное являлись под фирмою Брамбеуса. Эти повести и статьи вроде повестей своим близким, неумеренным подражанием нынешним писателям французским произвели всеобщее изумление,

потому что г. Сенковский охуждал гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, как в этом случае он имел так мало сметливости и до такой степени считал простоватыми своих читателей. Неизвестно тоже, почему называл он некоторые статьи свои фантастическими. Отсутствие всякой истины, естественности и вероятности еще нельзя считать фантастическим. Фантастические сочинения барона Брамбеуса напоминают книги, каких некогда было очень много, как-то: «Не любо — не слушай, а лгать не мешай», и тому подобные: та же безотчетность и еще менее устремления к доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели заметили в них чрезвычайно много похищений, сделанных наскоро, на всем бегу: автор мало заботился о их связи. То, что в оригиналах имело смысл, то в копии было без всякого значения.

Таковы были труды и действия распорядителя «Библиотеки для Чтения». Мы почли нужным упомянуть о них несколько обстоятельнее потому, что он один законодательствовал в «Библиотеке для Чтения» и что мнения его разносились чрезвычайно быстро, вместе с четырьмя тысячами экземпляров журнала, по всему лицу России.

Невозможно, чтобы журнал, издаваемый при средствах, доставленных книгопродавцем Смирдиным, был плох. Он уже выигрывал тем, что издавался в большом объеме, толстыми книгами. Это для подписчиков была приятная новость, особливо для жителей наших городов и сельских помещиков. В «Библиотеке» находились переводы иногда любопытных статей из иностранных журналов, в отделе стихотворном попадались имена светил русского Парнаса. Но постоянно лучшим отделением ее была *смесь*, вмещавшая в себе очень много разнообразных свежих новостей, отделение живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная, — повести и прочее, — оказывала очень мало вкуса и выбора. В «Библиотеке для Чтения» случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что он объявлял об этом сам довольно смело и откровенно. «У нас, — говорит он, — в «Библиотеке для Чтения», не так, как в других журналах: мы никакой повести не оставляем в прежнем виде, всякую переделываем: иногда составляем

из двух одну, иногда из трех, и статья значительно улучшается нашими переделками». Такой странной опеки до сих пор на Руси еще не бывало.

Многие писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помещаемых без подписи или под вымышленными именами, за их собственные, и потому начали отказываться от участия в издании сего журнала. Число сотрудников так умалилось, что на другой год издатели уже не выставили длинного списка имен и упомянули глухо, что участвуют лучшие литераторы, не означая какие. Журнал хотя не изменился в величине и плане, но статьи заметно начали быть хуже; видно было менее старания. «Библиотеку» уже менее читали в столицах, но все так же много в провинциях, и мнения ее так же обращались быстро. Обратимся к другим журналам.

«Северная Пчела» заключила в себе официальные известия и в этом отношении выполнила свое дело. Она помещала известия политические, заграничные и отечественные новости. Редактор г. Греч довел ее до строгой исправности: она всегда выходила в положенное время; но в литературном смысле она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнение. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякий все, что ему хотелось. Разборы книг, всегда почти благосклонные, писались приятелями, а иногда самими авторами. В «Северной Пчеле» пробовали остроту пера разные незнакомцы, скрывавшиеся под разными буквами, — без сомнения, люди молодые, потому что в статьях выказывалось довольно удальства. Они нападали разве уже на самого беззащитного и круглого сироту. Насчет неопрятных изданий являлись умные колкости, несколько похожие одна на другую. Сущность рецензий состояла в том, чтобы расхвалить книгу и при конце сложить с себя весь грех такой оговоркою: «Впрочем, желательно, чтобы почтенный автор исправил небольшие погрешности относительно языка и слога», или: «Хорошая книга требует хорошего издания», — и тому подобное, за что автор разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастие рецензента. Книги часто были разбираемы теми же самыми рецензентами, которые писали известия о новых табачных фабриках, открывавшихся в столице, о помаде и проч.; сии известия иногда довольно остроумны

и в шутках своих показывали ловких и хорошо воспитанных людей, без сомнения имевших основательные причины быть довольными фабрикантами. Впрочем, от «Северной Пчелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ее делом было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публике.

Журнал, носивший название «Сына Отечества и Северного Архива», был почти невидимкою во все время. О нем никто не говорил, на него никто не ссылался, несмотря на то, что он выходил исправно еженедельно и что печатал такую огромную программу на своей обвертке, какую вряд ли где можно было встретить. В «Сыне Отечества» (говорила программа) будет археология, медицина, правоведение, статистика, русская история, всеобщая история, русская словесность, иностранная словесность, наконец, просто словесность, география, этнография, историческая галерея и прочее. Иной ахнет, прочитавши такую ужасную программу, и подумает, что это огромнейшее энциклопедическое издание, когда-либо существовавшее на свете. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка в три листа, начинавшаяся статьею о каких-нибудь болезнях, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тем еще более живая и современная, не была в нем постоянною. Новости политические были те же сухие факты, взятые из «Северной Пчелы», следственно, уже всем известные. Помещаемые какие-то оригинальные повести были довольно странны, чрезвычайно коротенькие и совершенно бесцветны. Если попадалось что-нибудь достойное замечания, то оно оставалось незаметным. Имена редакторов, гг. Булгарина и Греча, стояли только на заглавном листке; но с их стороны решительно не было видно никакого участия. Однако ж журнал существовал, стало быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущие в провинциях, которым что-нибудь почитать так же необходимо, как заснуть часик после обеда или выбриться два раза в неделю.

Издавалась еще в Петербурге в продолжение всего этого времени газета чисто литературная, освобожденная от всяких вторжений наук и важных сведений, — не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница старого, но при всем том имевшая особенный характер. Название

этой газеты: «Литературные Прибавления к Инвалиду». В ней помещались легонькие повести, беседы деревенских помещиков о литературе, — беседы, часто довольно обыкновенные, но иногда местами проникнутые колкостями, близкими к истине: читатель, к изумлению своему, видел, что помещики к концу статьи делались совершенными литераторами, принимали к сердцу текущую литературу и приправляли свои мнения едкою насмешкою. Этот журнал всегда оказывал оппозицию противу всякого счастливого наездника, хотя его вся тактика часто состояла только в том, что он выписывал одно какое-нибудь место, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокуплял от себя довольно злое замечание, не длиннее строчки, с восклицательным знаком. Г. Воейков был чрезвычайно деятельный ловец и, как рыбак, сидел, с удой на берегу, не теряя терпения, хотя на его уду попадалась большею частию мелкая рыба, а большая обрывалась. В редакторе была заметна чисто литературная жизнь, и он с неохлажденным вниманием не сводил глаз с журнального поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того, чтобы иногда в нее заглянуть.

В Москве издавался один только «Телескоп», с небольшими листками прибавления под именем «Молвы», — журнал, вначале отозвавшийся живостью, но вскоре простывший, наполнявшийся статьями без всякого разбора, лишенный всякого литературного движения. Видно было, что издатели не прилагали о нем никакого старания и выдавали книжки как-нибудь.

Монополия, захваченная «Библиотекою для Чтения», не могла не задеть за живое других журналов. Но «Северная Пчела» были издаваема тем же самым г. Гречем, которого имя некоторое время стояло на заглавном листке в «Библиотеке», как главного ее редактора, хотя это звание, как мы уже видели, было только почетное, и потому очень естественно, что «Северная Пчела» должна была хвалить все помещаемое в «Библиотеке» и настоящего ее движителя, являвшегося под множеством разных имен, называть русским Гумбольтом. Но и без того она вряд ли бы могла явиться сильною противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. «Сын Отечества» должен был повторять слова «Пчелы». Итак, всего только два журнала могли восстать против его мнений.

Г. Воейков показал в «Литературных Прибавлениях» что-то похожее на оппозицию; но оппозиция его состояла в легких заметках журнальных промахов и иногда удачной остроте, выраженных отрывисто, в немногих словах, с насмешкою, очень понятною для немногих литераторов, но незаметною для непосвященных. Нигде не поместил он обстоятельной и основательной критики, которая определила бы сколько-нибудь направление нового журнала. «Телескоп» в соединении с «Молвою» действовал против «Библиотеки для Чтения», но действовал слабо, без постоянства, терпения и необходимого хладнокровия. В статьях критических он был часто исполнен негодования против нового счастливца, шутил над баронством г. Сенковского, сделал несколько справедливых замечаний относительно его странного подражания французским писателям, но не видел дела во всей ясности. В «Молве» повторялись те же намеки на Брамбеуса, часто по поводу разбора совершенно постороннего сочинения. Кроме того, «Телескоп» много вредил себе опаздыванием книжек, неаккуратностию издания, и критические статьи его чрез то еще менее были в обороте.

Очевидно, что силы и средства этих журналов были слишком слабы в отношении к «Библиотеке для Чтения», которая была между ними, как слон между мелкими четвероногими. Их бой был слишком неравен, и они, кажется, не приняли в соображение, что «Библиотека для Чтения» имела около пяти тысяч подписчиков; что мнения «Библиотеки для Чтения» разносились в таких слоях общества, где даже не слышали, существует ли «Телескоп» и «Литературные Прибавления»; что мнения и сочинения, помещаемые в «Библиотеке для Чтения», были расхвалены издателями той же «Библиотеки для Чтения», скрывавшимися под разными именами, расхвалены с энтузиазмом, всегда имеющим влияние на большую часть публики, — ибо то, что смешно для читателей просвещенных, тому верят со всем простодушием читатели ограниченные, каких, по количеству подписчиков, можно предполагать более между читателями «Библиотеки», и к тому же большая часть подписчиков были люди новые, дотоле не знавшие журналов, следственно принимавшие все за чистую истину; что, наконец, «Библиотека для Чтения» имела сильное для себя подкрепление в 4000 экземплярах «Северной Пчелы».

Ропот на такую неслыханную монополию сделался силен. В Москве наконец несколько литераторов решились издавать какой-нибудь свой журнал. Новый журнал нужен был не для публики, то есть для большего числа читателей, но собственно для литераторов, различно притесняемых «Библиотекою». Он был нужен: 1) для тех, которые желали иметь приют для своих мнений, — ибо «Библиотека для Чтения» не принимала никаких критических статей, если не были они по вкусу главного распорядителя; 2) для тех, которые видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядителя, — ибо г. Сенковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в «Библиотеку». Он переправлял статьи военные, исторические, литературные, относящиеся к политической экономии и проч., и все делал без всякого дурного намерения, даже без всякого отчета, не руководствуясь никаким чувством надобности или приличия. Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина, не рассмотревши, что она и без того была с концом.

Все это было очень досадно для писателей, решительно не имевших места, куда бы могли подать жалобу свету и читателям.

Но уже один слух о новом журнале возбудил негодование «Библиотеки для Чтения» и подвинул ее к неожиданному поступку: она уверяла своих читателей и подписчиков с необыкновенным жаром, что новый журнал будет бранчивый и неблагонамеренный. Статья, помещенная по этому же случаю в «Северной Пчеле», казалось, была писана человеком, в отчаянии предвидевшим свою конечную погибель. В ней уведомляли публику, что новый журнал хотел уронить «Библиотеку для Чтения» потому только, что издатели оного объявили, что будут выпускать таковое же число листов, как и «Библиотека для Чтения». Поступок чрезвычайно неосмотрительный! В подобном деле необходимо скрыть свои мелкие чувства искусно и потом, выждав удобный случай, нанесть обдуманный удар. Если я издаю журнал, зачем же не издавать его и другому? И как могу гневаться, если другой скажет, что он будет брать меня в образец? Не должен ли я, напротив, его благодарить? Не показывает ли он тем степень уважения, мною заслуженного в публике? Чем больше соревнования, тем больше выигрыша для читателей и для литераторов.

Но рассмотрим, в какой степени «Московский Наблюдатель» выполнил ожидания публики, жадной до новизны, ожидание читателей образованных, ожидание литераторов и опасение «Библиотеки для Чтения».

Новый журнал, несмотря на ревностное старание привести себя во всеобщую известность, не имел средств огласить во все углы России о своем появлении, потому что единственные глашатаи вестей были его противники — «Северная Пчела» и «Библиотека для Чтения», которые, конечно, не поместили бы благоприятных о нем объявлений. Он начался довольно поздно, не с новым годом, следственно, не в то время, когда обыкновенно начинаются подписки; наконец, он пренебрег быстрым выходом книжек и срочною их поставкою. Но важнейшие причины неуспеха заключались в характере самого журнала. По первым вышедшим книжкам уже можно было видеть, что предположение журнала было следствием одного горячего мгновения. В «Московском Наблюдателе» тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала. Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. Он написал доселе несколько сочинений статистических, имеющих много достоинства, но которых публика чисто литературная не знала вовсе. Литературные мнения его были неизвестны. В этом состояла большая ошибка издателей «Московского Наблюдателя». Они позабыли, что редактор всегда должен быть видным лицом. На нем, на оригинальности его мнений, на живости его слога, на общепонятности и общезанимательности языка его, на постоянной свежей деятельности его основывается весь кредит журнала. Но г. Андросов явился в «Московском Наблюдателе» вовсе незаметным лицом. Если желание издателей было постановить только почетного редактора, как вошло в обычай у нас на ленивой Руси, то в таком случае они должны были труды редакции разложить на себя; но они оставили всю ответственность на редакторе, и «Московский Наблюдатель» стал похож на те ученые общества, где члены ничего не делают и даже не бывают в присутствии, между тем как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания. В журнале было несколько очень хороших статей; его украсили стихи Языкова и Баратынского, эти перлы

русской поэзии; но при всем том в журнале не было заметно никакой современной живости, никакого хлопотливого движения; не было в нем разнообразия, необходимого для издания периодического. Замечательные статьи, поступавшие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеленеющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нравится публике. Статьи часто хорошие делались скучными потому только, что они тянулись из одного нумера в другой с несносною подписью: *продолжение впредь.* Вот таков был журнал, долженствовавший бороться с «Библиотекой для Чтения».

«Наблюдатель» начался оппозиционною статьею г. Шевырева о торговле, зародившейся в нашей литературе. В ней автор нападает на торговлю в ученом мире, на всеобщее стремление составить себе доход из литературных занятий. Первая ошибка была здесь та, что автор статьи обратил внимание не на главный предмет. Во-вторых, он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара. Статья сия была понятна одним литераторам, нанесла досаду «Библиотеке для Чтения», но ничего не дала знать публике, не понимавшей даже, в чем состояло дело. Притом сии нападения были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши. Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г. Шевыреву на бедных покупщиков, а не на продавцов. Продавцы обыкновенно бывают люди наездные: сегодня здесь, а завтра Бог знает где. При этом случае сделан был несправедливый упрек книгопродавцу Смирдину, который вовсе не виноват, который за предприимчивость и честную деятельность заслуживает одну только благодарность. Нет спора, что он дал, может

быть, много воли людям, которым приличнее было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талант не искателен, но корыстолюбие искательно. На это так же смешно жаловаться, как было бы странно жаловаться на правительство, встретивши недальновидного чиновника. Для таланта есть потомство, этот неподкупный ювелир, который оправляет одни чистые бриллианты. Г. Шевырев показал в статье своей благородный порыв негодования на прозаическое, униженное направление литературы, но на большинство публики эта статья решительно не сделала никакого впечатления. «Библиотека» отвечала коротко, в духе обыкновенной своей тактики: обратившись к зрителям, то есть к подписчикам, она говорила: «вот какое неблагородство духа показал г. Шевырев, неприличие и неимение высоких чувств, упрекая нас в том, что мы трудимся для денег, тогда как» и проч. Это обыкновенная политика петербургских журналов и газет. Как только кто-нибудь сделает им упрек в корыстолюбии и в бездействии, они всегда жалуются публике на неприличие выражений и неблагородство духа своих противников, говорят, что статья эта писана с целию только поддеть публику и забрать от читателей деньги, что они почитают с своей стороны священным долгом предуведомить публику.

Итак, выходка «Московского Наблюдателя» скользнула по «Библиотеке для Чтения», как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, «Московский Наблюдатель» замолчал, — доказательство, что он не начертал для себя обдуманного плана действий и что решительно не знал, как и с чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постоянным действием мог «Наблюдатель» дать себе ход и сделать имя свое известным публике, как сделал его известным «Телеграф», действуя таким же образом и почти при таких же обстоятельствах. «Наблюдатель» выпустил вслед за тем несколько нумеров, но ни в одном из них не сказал ничего в защиту и подкрепление своих мнений. Через несколько нумеров показалась наконец статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной в «Библиотеке» статьи под именем «Брамбеус и юная словесность», в которой Брамбеус назвал сам себя законодателем какой-то новой школы и вводителем новой эпохи в русской литературе.

Это в самом деле было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самих себя, или под именем друзей своих, или даже сами от себя, но все же с некоторою застенчивостию и после сами старались всё это как-нибудь загресть собственными руками, чувствуя, что несколько провинились. Но никогда еще автор не хвалил себя так свободно и непринужденно, как барон Брамбеус. Эта оригинальная статья слишком была ярка, чтобы не быть замеченною. Ею занялся и «Телескоп» и потрунил над нею довольно забавно, только вскользь; с обыкновенною сметливостью о ней намекнул и г. Воейков; она возродила статью и в «Московском Наблюдателе». Цель этой статьи была доказать, откуда барон Брамбеус почерпнул талант свой и знаменитость, какими творениями чужих хозяев пользовался, как своим; другими словами: из каких лоскутов барон Брамбеус сшил себе халат. Несколько безгласных книжек, выходивших вслед за тем, совершенно погрузили «Московского Наблюдателя» в забвение. Даже самая «Библиотека для Чтения» перестала наконец упоминать о нем, как о бессильном противнике, продолжала шутить над важным и неважным и говорить все то, что первое попадалось под перо ее.

Вот каковы были действия наших журналов. Изложив их, рассмотрим теперь, что сделали они в эти два года такого, которое должно вписаться в историю нашей литературы, оставить в ней свою оригинальную черту, — какие мнения, какие толки они утвердили, что определили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значит. Извещение о том, что критика будет благонамеренная, чуждая личностей и партий, тоже не показывает цели. Она должна быть необходимым условием всякого журнала. Даже множество помещенных в журнале статей ничего не значит, если журнал не имеет своего мнения и не оказывается в нем направление, хотя даже одностороннее, к какой-нибудь цели. «Телеграф» издавался, кажется, с тем, чтобы испровергнуть обветшалые, заматорелые, почти машинальные мысли тогдашних наших старожилов, классиков; «Московский Вестник», один из лучших журналов, несмотря на то что в нем немного было современного движения, издавался с тем, чтобы познакомить

публику с замечательнейшими созданиями Европы, раздвинуть круг нашей литературы, доставить нам свежие идеи о писателях всех времен и народов. Здесь не место говорить, в какой степени оба сии журнала выполнили цель свою; по крайней мере, стремление к ней было чувствуемо в них читателями. Но рассмотрите внимательно издававшиеся в последние два года журналы; уловите главную нить каждого из них: сей-то нити и не сыщете. Развернувши их, будете поражены мелкостью предметов, вызвавших толки их. Подумаете, что решительно ни одного важного события не произошло в литературном мире. А между тем:

1) Умер знаменитый шотландец, великий деописатель сердца, природы и жизни, полнейший, обширнейший гений XIX века.

2) В литературе всей Европы распространился беспокойный, волнующийся вкус. Являлись опрометчивые, бессвязные, младенческие творения, но часто восторженные, пламенные — следствие политических волнений той страны, где рождались. Странная, мятежная, как комета, неорганизованная, как она, эта литература волновала Европу, быстро облетела все углы читающего мира. Пусть эти явления будут всемирно-европейские, хотя они отражались и в России; рассмотрим литературные события чисто русские.

3) Распространилось в большой степени чтение романов, холодных, скучных повестей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушие к поэзии.

4) Вышли новыми изданиями Державин, Карамзин, гласно требовавшие своего определения и настоящей, верной оценки, так как и все прочие старые писатели наши, ибо в литературном мире нет смерти и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и живые. Они требовали возвращения того, что действительно им следует; они требовали уничтожения неправого обвинения, неправого определения, бессмысленно повторенного в продолжение нескольких лет и повторяемого доныне.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгим размышлением, что такое был Вальтер Скотт, в чем состояло влияние его, что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводом неправильного уклонения вкуса и в чем состоял ее характер? Отчего поэзия заменилась

прозаическими сочинениями? На какой степени образования стоит русская публика и что такое русская публика? В чем состоит оригинальность и свойство наших писателей?

Напрасно в этом отношении читатель станет искать в них новых мыслей или каких-нибудь следов глубокого, добросовестного изучения. Вальтер Скотта у нас только побранили. Французскую литературу одни приняли с детским энтузиазмом, утверждали, что модные писатели проникнули тайны сердца человеческого, дотоле сокровенные для Сервантеса, для Шекспира... другие безотчетно поносили ее, а между тем сами писали во вкусе той же школы еще с большими несообразностями. Вопросом, отчего у нас в большом ходу водяные романы и повести, вовсе не занялись, а вместо того вдобавок напустили и своих еще собственных. О нашей публике сказали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на все журналы и разные издания, ибо их может читать и отец семейства, и купец, и воин, и литератор; о Державине, Карамзине и Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный учитель своему ученику, и отделались пошлыми фразами.

О чем же говорили наши журналисты? Они говорили о ближайших и любимейших предметах: они говорили о себе, они хвалили в своих журналах собственные свои сочинения; они решительно были заняты только собою; на все другое они обращали какое-то холодное, бесстрастное внимание. Великое и замечательное было как будто невидимо. Их равнодушная критика обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания.

В чем же состоял главный характер этой критики? В ней очень явственно было заметно:

1) Пренебрежение к собственному мнению. Почти никогда не было заметно, чтобы критик считал свое дело важным и принимался за него с благоговением и предварительным размышлением, чтобы, водя пером своим, думал о небольшом числе возвышенно образованных современников, перед которыми он должен дать ответ в каждом своем слове. Журнальная критика по большей части была каким-то гаерством. Как хвалили книгу покровительствуемого автора? Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна внимания в таком-то и в таком-то

отношении, совсем нет. «Это книга, — говорили рецензенты, — удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси, продается по пятнадцати рублей; автор выше Вальтер Скотта, Гумбольта, Гете, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте в библиотеку вашу; также и второе издание купите и поставьте в библиотеку: хорошего не мешает иметь и по два экземпляра».

Большая часть книг была расхвалена без всякого разбора и совершенно безотчетно. Если счесть все те, которые попали в первоклассные, то иной подумает, что нет в мире богаче русской литературы, и только через несколько времени противоположные толки тех же самых рецензентов о тех же самых книгах заставят его задуматься и приведут в недоумение. Та же самая неумеренность являлась в упреках сочинениям писателей, против которых рецензент питал ненависть или неблагорасположение. Так же безотчетно изливал он гнев свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безверие и литературное невежество. Эти два свойства особенно распространились в последнее время у нас в литературе. Нигде не встретишь, чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас, в лучах славы, с вышины своей. Ни один из критиков не поднял благоговейно глаз своих, чтобы их приметить. Никогда почти не стоят на журнальных страницах имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о влиянии их, еще остающемся, еще заметном. Никогда они даже не брались в сравнение с нынешнею эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует. Это литературное невежество распространяется особенно между молодыми рецензентами, так что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успеет пройти год-другой, как толки, вначале довольно громкие, уже безгласные, неслышные, как звук без отголоска, как фразы, сказанные на вчерашнем бале. Имена писателей, уже упрочивших свою славу, и писателей, еще требующих ее, сделались совершенною игрушкою. Один рецензент роняет тех, которых поднял его противник, и все это делается без всякого разбора, без всякой идеи. Иное имя

бывает обязано славою своею ссоре двух рецензентов. Не говоря о писателях отечественных, рецензент, о какой бы пустейшей книге ни говорил, непременно начнет Шекспиром, которого он вовсе не читал. Но о Шекспире пошло в моду говорить, — итак, подавай нам Шекспира! Говорит он: «С сей точки начнем мы теперь разбирать открытую пред нами книгу. Посмотрим, как автор наш соответствовал Шекспиру», — а между тем разбираемая книга — чепуха, писанная вовсе без всяких притязаний на соперничество с Шекспиром, и сходствует разве только с духом и образом выражений самого рецензента.

3) Отсутствие чистого эстетического наслаждения и вкуса. Еще в московских журналах видишь иногда какой-нибудь вкус, что-нибудь похожее на любовь к искусству; напротив того, критики журналов петербургских, особенно так называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемые сочинения превозносятся выше Байрона, Гете и проч.! Но нигде не видит читатель, чтобы это было признаком чувства, признаком понимания, истекло из глубины признательной, растроганной души. Слог их, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышит мертвящею холодностию. В нем видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензент задет за живое и когда дело относится к его собственному достоинству. Справедливость требует упомянуть о критиках Шевырева, как об утешительном исключении. Он передает нам впечатления в том виде, как приняла их душа его. В статьях его везде заметен мыслящий человек, иногда увлекающийся первым впечатлением.

4) Мелочное в мыслях и мелочное щегольство. Мы уже видели, что критика не занималась вопросом важным. Внимание рецензий было устремлено на целую шеренгу пустых книг, и вовсе не с тем, чтобы разбирать их, но чтобы блеснуть любезностию, заставить читателя рассмеяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видели из знаменитого процесса о двух бедных местоимениях: сей и оный. Вот до чего дошла наконец русская критика!

Кто же были те, которые у нас говорили о литературе? В это время не сказал своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, ни даже те, которые еще не так давно издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих

вкус и знание: нужно ли после этого удивляться такому состоянию нашей литературы?

Отчего же не говорили сии писатели, показавшие в творениях своих глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низким спуститься на журнальную сферу, где обыкновенно бойцы всякого рода заводят свой шумный бой? Мы не имеем права решить этого. Мы должны только заметить, что критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования. Для истории литературы она неоценима. Наша словесность молода, корифеев ее было немного; но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы. Писатели наши отлились совершенно в особенную форму, и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражания, они заключают в себе чисто русские элементы; и подражание наше носит совершенно северообразный характер, представляет явление, замечательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заключим искренним желанием, чтобы с текущим годом более показалось деятельности и, при большем количестве журналов, явилось бы более независимости от монополии, а через то более соревнования у всех соответствовать своей цели. По крайней мере, заметно какое-то утешительное стремление уже и в том, что некоторые журналы с будущим годом обещают издаваться с большим противу прежнего рачением. Издатели «Сына Отечества», издатель «Телескопа» заговорили об улучшениях. Нельзя и сомневаться, чтобы при большем старании невозможно было сделать большего. По крайней мере, со всем чистосердечием и теплою молитвою излагаем желание наше: да наградятся старания всех и каждого сторицею, и чем бескорыстнее и добросовестнее будут труды его, тем более да будет он почтен заслуженным вниманием и благодарностию.

<Рецензии, помещенные в «Современнике»>

Исторические афоризмы Михайла Погодина. Москва, Универс. тип. 1836 (8), VIII и 128 стр.

Г-н Погодин во многих отношениях есть лицо примечательное в нашей литературе. Он уединенно стоит среди писателей наших, не привлекая благорасположения большинства. Но из всех, посвятивших себя истории, он более всего останавливает на себе внимание. Он первый у нас сказал, что «история должна из всего рода человеческого сотворить одну единицу, одного человека, и представить биографию этого человека чрез все степени его возраста»; что «многочисленные народы, жившие и действовавшие в продолжение тысящелетий, доставят в такую биографию, может быть, по одной черте. Черту сию узнают великие историки». Он первый говорил о великих писателях, указавших в творениях своих на истинное значение истории. Он переводил из них отрывки для своего журнала; наконец, он многих из них перевел вполне, почти не заботясь о том, что важность их еще мало у нас чувствовали. Вот реестр изданных им сочинений:

Исследование о Кирилле и Мефодии, Иосифа Добровского.
О жилищах древних руссов, собственное сочинение.
Критические исследования Эверса.
Начертание древней географии, собств. соч.
Лекции по Герену.
Начертание всеобщей истории, Бетигера.
Введение в историю для детей, А. Шлецера.
Русская история для училищ.
Карты Европы, Риттера.
Гец Фон Берлихинген, соч. Гёте.
Марфа Посадница, драма.
Димитрий Самозванец, история в лицах.
Славянская грамматика, Добровского, переведенная вместе с г. Шевыревым.

Кроме того, издавал он:

Московский вестник за 1827, 1828, 1829 и 1830 год.
Уранию, альманах на 1826.

В его исторических критиках видно много ума, обдуманная умеренность, иногда юношеский порыв вслед за собственною мыслию.

Изданная ныне книжка заключает отдельные мысли и замечания, записанные им в разное время. Эти мысли помещены без всякого порядка; выражены не всегда ясно. Но в них ощутительно стремление к общим идеям. Границы, им начертанные для истории, обширны. Он заключает ее не в одних явлениях политических; он видит ее в торговле, в литературе, в религии, в художественном развитии, во всех многообразных явлениях, в каких оказывается человечество. Вот его мысли об истории вообще:

«Каждый человек действует для себя, по своему плану, а выходит общее действие, исполняется другой высший план, и из суровых, тонких, гнилых нитей биографических сплетается каменная ткань истории».

«История для нас есть еще поэма на иностранном языке, которого мы не понимаем, и только чаем значение некоторых слов, много-много эпизодов. А сколько мест искаженных в нашей рукописи от невежества, ограниченности переписчиков! Историю надо восстановлять (restaurare), как статую, найденную в развалинах Афин, как текст Виргилиев в монастырском списке».

«Представьте себе (я требую возможного только в воображении), что человек, не имеющий понятия о музыке, но одаренный от природы всеми способностями, чтоб чувствовать и понимать ее, получает партитуру какой-нибудь огромной оратории и все музыкальные инструменты, на коих она может быть разыграна, с голым известием, что условными знаками, им видимыми (нотами), означаются разные звуки, производимые на данных инструментах. Он хочет по сим двум данным представить себе исполнение (exécution) сего великого музыкального произведения. Ему должно, во-первых, испытать все инструменты и узнать все их возможные звуки, переметить их и привести в порядок свои новые ноты, отыскать посредством соображений, опытов отношение своих нот к данным (как бы посредством фальшивого арифметического правила), узнать таким образом, какой звук и на каком инструменте тою или другою данною нотою изображается, разыграть партитуру по частям и проч. и проч. Сколько усилий ума потребно, чтоб попасть на сии средства, сколько потребно труда, чтоб воспользоваться сими средствами! Целые поколения прейдут, пока наконец внуку внуков удастся достигнуть отдаленной цели прародителя и насладиться божественною гармониею».

«Труднейшая задача задается историку: он сам должен ловить все звуки (летописи, Несторы, Григории Турские), отличить

фальшивые от верных (историческая критика, — Шлецеры, Круги), незначительные от важных, сложить в одну кучу (истории, собрания деяний, — Роллени), разобрать сии кучи по родам истории (частные истории религии, торговли, — Герены), провидеть, что в сей куче и кучах должна быть система, какой-нибудь порядок, гармония (Шлецеры, Гердеры, Шиллеры), доказать это положительно a priori (Шеллинги), делать опыты, как найти сию систему (Асты, Штуцманы), наконец найти ее и прочесть историю так, как глухой Бетховен читал партитуры».

В империи Византийской г-н Погодин видит продолжение истории древней Греции. Гений Платона, Аристотеля воскресает в Иоанне Златоусте и Григории Назианзине.

Францию он полагает родником всего общественного, гражданского и политического, землей, где совершается вечный опыт. Подведенные в подтверждение события доказывают большую наблюдательность. У франков, говорит он, прежде всего была принята христианская католическая религия и раньше сделалась государственною; у франков прежде началась и развилась феодальная система; коронованный франк Карл Великий первый возвысил папу; отозвавши папу в Авинион, Франция была отчасти виною его падения; во Франции были первые попытки противу папской власти (альбийцы); рыцарство развилось блистательнее во Франции; Крестовый поход был подвинут французом, Амиенским пустынником; разрушенный феодализм прежде всего организовался в самодержавие во Франции; постоянные войска начались во Франции; постоянные налоги и королевский суд во Франции; идея о равновесии истекла из войн италиянских, порожденных Францией; учреждение посольств, политические журналы, кофейные дома, энциклопедия, язык, мода, карты — всё родилось во Франции. Общественное мнение нигде так не сильно, как во Франции; Франция остановила революции своим ужасным примером; виною нынешнего тесного соединения европейских держав между собою есть Франция и ее Наполеон.

Многие афоризмы суть только сближения сходных и противоположных происшествий, совершившихся в разных углах мира или на одной и той же земле; сближение отдаленной, почти сокровенной причины с ее колоссальными следствиями, отозвавшимися чрез несколько веков, всегда разительно. Другие афоризмы суть только вопросы на вопросы. Везде видишь человека, обладаемого

величием своего предмета. Это благоговейное изумление дышит на каждой странице. Иногда, пораженный бесконечностью науки, он как будто чувствует бессилие духа и восклицает: «Как же мудрено распознать, отчего что происходит, что к чему клонится! Как переплетаются причины и следствия! Повторяю вопрос: можно ли представить историю? Где форма для нее? Историю вполне можно только чувствовать».

Читатель обыкновенный небрежно и рассеянно взглянет на эту книгу и, отыскав две-три незначительные мысли, дурно выраженные, может быть, посмеется над нею с детским легкомыслием; но читатель, в душе которого горит пламень любви к науке, а мысль постигает глубокое значение ее, прочтет эти страницы с соучастием, проникнется благодарностию за оживленные в душе его размышления и скажет: этот человек видел и чувствовал в истории то, что не всякому дано видеть и чувствовать.

Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь, сочинение Я. Озерецковского. С.-П.-бург, 1836, в тип. Н. Греча, в 12 д. л., 54 стр.

Несколько занимательных замечаний о северной природе. Желательно было бы слышать более о сем угрюмом и знаменитом в наших летописях монастыре, где древле томились в заточении наши опальные патриархи и святители.

Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год, артиллерии подполковника И. Р... Москва, 1835–1836 г., в 8 д. Четыре части. Стр. 296–348–354–375.

Когда возвратились наши войска из славного путешествия в Париж, каждый офицер принес запас воспоминаний. Их рассказы все без исключения были занимательны; всё наблюдаемо было свежими и любопытными чувствами новичка; даже постой русского офицера на немецкой квартире составлял уже роман. Доныне, если бывший в Париже офицер, уже ветеран, уже во фраке, уже с проседью на голове, станет рассказывать о прошедших походах, то около него собирается любопытный кружок. Но ни один

из наших офицеров до сих пор не вздумал записать свои рассказы в той истине и простоте, в какой они изливаются изустно. То, что случалося с ними, как с людьми частными, почитают они слишком неважным, и очень ошибаются. Их простые рассказы иногда вносят такую черту в историю, какой нигде не дороешься. Возьмите, например, эту книгу: она не отличается блестящим слогом и замашками опытного писателя; но всё в ней живо и везде слышен очевидец. Ее прочтут и те, которые читают только для развлечения, и те, которые из книг извлекают новое богатство для ума.

Письма леди Рондо, супруги английского министра при российском дворе в царствование императрицы Анны Иоановны. Перевел с английского М. К. С.-П.-бург, в тип. III отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1836, в 8, стр. 128.

Книжка замечательная. Леди Рондо пишет к приятельнице своей о себе, о своих чувствах, о том, что занимательно для нее одной, но мимоходом задевает и историю. Несколько беглых слов о Петре II, об императрице Анне Иоановне, о Бироне прибавляют новые черты к их портретам.

Путешествие вокруг света, составленное из путешествий и открытий Магеллана, Тасмана, Дампиера, Ансона, Байрона, Валлиса, Картере, Бугенвилля, Кука, Лаперуза, Блейга, Ванкувера, Дантркасто, Вильсона, Бодена, Флиндерса, Крузенштерна, Головнина, Портера, Коцебу, Фрейсине, Беллингсгаузена, Галля, Дюперре, Польдинга, Бичи, Дюмон-Дюрвиля, Литке, Диллона, Лапласа, Мореля и пр., издано под руководством Дюмон-Дюрвиля, капитана Французского королевского флота, с картами и многочисленным собранием изображений, гравированных на меди, с рисунков известного г. Сенсона, рисовальщика, совершившего путешествие с Дюмон-Дюрвилем. Издание А. Плюшара. Часть первая, С.-П.-бург. 1836, в тип. А. Плюшара, в 4.

Есть книги, пишущиеся для того общества, которое нужно как детей заохочивать и принуждать к чтению. В этом случае

бескорыстнее действовали англичане, которые, при всей народной гордости, отличаются своею филантропией, составляют общества для распространения нравственности, воздержания и проч., издают и распускают по свету безденежно, или по чрезвычайно низкой цене, множество полезных книг для народа. Что изобретет англичанин, то углубит, расширит и разнесет по всему свету француз. Едва появилось во Франции одно дешевое издание, как уже на другой год нахлынул потоп дешевых изданий. Еще не успеет Европа получить одно, как является другое. К числу множества таких изданий принадлежит и вышеозначенное. Оно замечательнее других потому, что полезнее. Это свод всех путешествий, изображение всего мира в его нынешнем географическом, статистическом и физическом состоянии, словом, книга, более всего находящая себе читателей, потому что путешествие и рассказы путешествий более всего действуют на развивающийся ум. Сведения, принесенные новейшими путешественниками, в этой книге вложены в уста одного. Быть может, слишком взыскательному читателю станет досадно при мысли, что всё это рассказывает ему человек не существующий: свежесть впечатлений, сохраняемых очевидцем, ничем незаменима. Язык перевода ясен и жив. Картинки очень хороши. В месяц выходит довольно большая тетрадь в 4; печатанная в два столбца. В Москве это же самое сочинение начал переводить г. Полевой. Он выдал уже один том; если выйдут остальные пять, то и его издание будет дешевое.

Атлас к космографии, изд. Ободовским. СПб. 1836, в 2. XVI чертежей.

Атлас этот принадлежит к вышедшей за два года пред сим космографии г. Ободовского.

Мое новоселье. Альманах на 1836 год, В. Крыловского. СПб., в тип. издателя, 206 стр.

Это альманах! Какое странное чувство находит, когда глядим на него: кажется, как будто на крыше опустелого дома, где

когда-то было весело и шумно, видим перед собою тощего мяукающего кота. Альманах! Когда-то Дельвиг издавал благоуханный свой альманах! В нем цвели имена Жуковского, князя Вяземского, Баратынского, Языкова, Плетнева, Туманского, Козлова. Теперь всё новое, никого не узнаешь: другие люди, другие лица. В оглавлении, приложенном к началу, стоят имена гг. Куруты, Варгасова, Крыловского, Грена; кроме того, написали еще стихи буква С., буква Ш., буква Щ. Читаем стихи — подобные стихи бывали и в прежнее время; по крайней мере в них всё было ровнее, текучее, сочинители лепетали вслед за талантами. Грустно по старым временам!..

Сорок одна повесть лучших иностранных писателей (Бальзака, Бальоль, Блюменбаха, доктора Гаррисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. Жанена, Ваш. Ирвинга, Кинда, Крузе, И. Люка, Сентина, Тика, Цшоке, Ф. Шаля и других); изданы Николаем Надеждиным. Москва, в типогр. Степанова, 1836, в 12, двенадцать частей, стр. 287–261–259–287–275–276–262–263–227–246–251–236.

Повести, печатанные в разных номерах «Телескопа». Издатель, выбрав их оттуда, выпустил отдельными книжками и хорошо сделал. Здесь им лучше, нежели там. Собравшись вместе, они представляют действительно что-то разнообразное. Их развезут по первой зимней дороге русские разносчики во все отдаленные города и деревни; они приятно займут в долгие вечера и ночи наших уездных барышень, по крайней мере приятнее, нежели наши самодельные романы.

<Рецензии, не вошедшие в «Современник»>

<*Летописи русской славы* со времен воцарения на русском престоле благословенного Дома Романовых. С.-П.-бург 1836, в тип. Хр. Гинце, в 16, 87 стр. с портретами.>

Памятная книжка вроде календаря, в котором под каждым числом каждого месяца ознаменование случившихся в тот день сражений и все подвиги нашего победоносного войска. При ней находятся портреты императоров и великих генералов.

<*Детский Карамзин,* или Русская история в картинах, издаваемая Андреем Прево, коммиссионером Общества поощрения художеств, выходит тетрадями. С.-П.-бург, в тип. Гинце, 1836, в 8 д. л.>

Издается периодически, в месяц до двух тетрадей. Литография незавидная, но для детей годится.

<* *Русские классики.* Часть 1. Кантемир. 1836. СПб., в тип. Гинце. Выходит небольшими тетрадями.>

Намерение очень хорошее — издать Кантемира и других старых писателей наших. Но издается это очень странно: в месяц выходит один или два печатных листа. За эти два листа и за обертку к ним, в которой читателю решительно нет никакой надоб<ности>, читатель плотит рубль. Довольно дорого и неудобно. Дорого потому, что небольшой томик Кантемира будет стоить гораздо дороже десяти рублей. Неудобно потому, что у нас не привыкли к такому мелкому расчету, и всякой будет ожидать лучше всей книги, чтобы куп<ить>. На тетрадки обыкновенно разлагаются в Европе огромные издания, для того чтобы облегчить взнос денег для читателей, которые NB все почти люди бедные. Притом ливрезоны, выпускаемые французами, никогда не издаются по одному листу, но за 1 рубль они представят такое количество букв, какого не составит весь Кантемир. Плюшар издает

«Путешествие вокруг света» Дюмон-Дюрвиля. В месяц выходит тетрадь из 10 печатных листов довольно густой печати; при них множество картинок, и вся тетрадь обходится по два рубли. Это можно назвать у нас дешевым.

Притом издатели очень длят это издание. Кантемир, которого можно отпечатать всего в две недели, будет печатать<ся> полгода; кому охота каждый месяц <ждать> одного печатного листа?

<**История поэзии.* Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева. Том первый, содержащий в себе Историю поэзии индейцев и евреев, с приложением двух вступительных чтений о характере образования и поэзии главных народов новой Западной Европы. Москва, в тип. Семена, 1835 в 8, стр. III — 333.>

Замечательное явление в нашей литературе. В первый раз является наш русский оригинальный курс Истории всемирной поэзии. Курс, написанный мыслящим, исполненным критического ума писателем. Из всех доселе писателей наших, преимущественно заним<авшихся> кри<тикою>, бесспорно, Шевырев первый, которого имя останется в летописях нашей литературы. В следующем томе поместим обстоятельный разбор этого важного сочинения.

<*Он и она.* Роман. Москва, в тип. Селивановского. 1836, в 12, 4 части, 169–170–182–163 стр.>

Романы в нашей литературе завелись теперь трех родов: романы пятнадцатирублевые, всегда почти толс<тые>, длинные, солидные, в 4 частях по 300 страниц в каждой, другие романы средней руки, романы восьми- и шестирублевые, тоже иногда в четырех частях, но бывают и в двух. В этих частях бывает уже только по 160 страниц, а иногда и меньше. Этого сорта дешевые романы пишутся обыкновенно людьми молодыми; в них много романтического, не бывает недостатка в восклицаниях, и чрезвычайно много точек. Наконец следуют романы пяти- и четырехрублевые; эти состоят большею частию из трех частей,

иногда из двух, но эти части уже никак не бывают больше 60 или 90 страниц, а иногда иная часть удается так странно, что в ней всей всего-навсего бывает страниц 36. Пишут большею частию люди пожилые, вовсе не должностные. Это русские самородки, и предводитель сего последнего инвалидного войска есть А. А. Орлов, на<д> которым очень любят подшучивать петербургские журналисты.

Разбираемый роман принадлежит к первому роду, то есть к романам пятнадцатирублевым, хотя автор, как видно из первых страниц, часто бывает очень нетерпелив и никак не посидит на месте и не займется долго одним лицом. Ничего не осталось в голове после прочтения половины первой части. Помнится только, что какой-то граф и какой-то студент таскаются по улицам в каком-то городе, чуть ли не в Москве, берут Катю и увозят, потом опять берут Катю и, кажется, опять увозят. Впрочем, кто охотник, тот может прочесть сам и узнать, что делается дальше...

<*Недовольные*. Комедия в четырех действиях, сочинение М. Н. Загоскина. Москва, в тип. Степанова, 1836, в 8, 147 стр.>

План задуман довольно слабо. Действия нет вовсе. [Стало быть, условия сценические не выполнены.] Стихи местами хороши, везде почти непринужденны, но комического, [а это-то главное], почти нет. Лица не взяты с природы.

<*Путешествие к Святым Местам,* совершенное в XVII столетии Иеродиаконом Троицкой Лавры. Издано М. Коркуновым. Москва, в Универ. тип., 1836, в 8, стр. 39.>

Путешествия в Иерусалим производят действие магическое в нашем народе. Это одна из тех книг, кот<орые> больше всего и благоговейнее всего читаются. Почти такое производит на них впечатление <путешествия> в Цареград, как будто невольная признательная черта, сохранившаяся в русском племени, за тот свет, который некогда истекал оттуда. Нередко русской мещанин промышленник сколько-нибудь ученый, бросив дела, отправлял<ся>

сам в Иерусалим и Цареград и даже издавал книгу, которую жадно покупали у разносчиков, пропуская множество картин, висящих на шнурочке у него на плечах, несмотря на то, что многие из них разрисованы всякими красками. Прочие книги русский народ читает для <того> только, чтобы прочитать что-нибудь в случае показать себе и другим, что он может прочесть по верхам то, что другой читает по складам — без малейшего внимания к содержанию книги. И потому для народа нашего чрезвычайно трудно выбрать чтения.

<*Описание Прусского государства* в географическом и статистическом отношениях, составленное Ардалионом Ивановым, воспитателем и наставником Императорского училища Правоведения. СПб., в тип. И. Глазунова, 1836, в 8. Часть первая, стр. 201.>

Книга вроде тех географий, каких расходится по Руси много и по которым учат у нас детей. Кто захочет иметь полное статистическое удовлетворительное понятие о Пруссии, тот его не отыщет в этой книге. Она что-то среднее: как книга для уч<ени-ка> она велика, для выучившегося пахнет указкою.

<*Указатель губернских и уездных почтовых дорог* в Российской Империи, составленный по новейшему учреждению почтовых дорог и станций г. Савинковым, с приложением дорожной карты. СПб., 1836, в б. осьмушку, 36 гравир. страниц.>

Книжка издана довольно укладисто для дороги, хотя бы можно издать еще укладистее. Карту не нужно особенно и в большом виде, в дороге нечего разворачивать, лучше придумать как-нибудь поместить ее в страницах самой книги хотя по частям, а еще лучше соединить [описание с топографиею].

<*Основание Москвы,* или Смерть боярина Степана Ивановича Кучки. Исторический роман, взятый из времен княжения

Изяслава Мстиславовича. Сочинение И... К..... ва. СПб., в тип. Вингебера, 1836. Четыре части, стр. VII и 189–194–168–162.>

Один из тех романов, в роде которых выходит очень много и особенно в Москве. Сюжет их обыкновенно взят из отечественной истории. Они обыкновенно бывают худенькие, тоненькие, но разделены на четыре части, продаются очень дешево. Авторы их — часто робкие, молодые, еще не обжегшиеся на огне писатели и поэтому выставляют часто одни только заглавные литеры своего имени и окончивают его точками. Автор обыкновенно заставляет говорить своих героев слогом русских мужичков и купцов, потому что у нас в продолжение десяти последних <лет> со времени появления романов в русском кафтане возникла мысль, что наши исторические лица и вообще все герои прошедшего должны непременно говорить языком нынешнего простого народа и отпускать как можно побольше пословиц. В последние года два или три новая французская школа, выразив<шаяся> у нас во многих переводных отрывка<х> и мелодрамах на театре, прояви<ла> заметное свое влияние даже и на них. От этого произошло чрезвычайно много самых странных явлений в наших романах. Иногда русской мужичок отпустит такую театральную штуку, что и римлянин не сделает. Подымется с полатей или с своей печки и выступит таким шагом, как Наполеон; какой-нибудь Василий, Улита или Степан Иванович Кучка после какой-нибудь русской замашки, отпустивши народную поговорку, зарычит вдруг «смерть и ад!». В другом месте читатель приготовлен к тому, что эти мужички засучат рукава и потузят друг друга, но вместо того [он] видит, что они кинули один на другого мрачный взгляд и!! тут обыкновенно автор поставит несколько точек и прибавит: «и поняли друг друга». [А] иногда даже прибавит: и в этом безмолвии произошла страшная драма и тому подобное. В этом уже и упрекать нельзя, что лицо немного похоже на испанца или француза; этого греха не могли избегнуть и большие наши романы и... Общий характер этих маленьких романов, котор<ые> в таком изобилии и так скоро вырастают на Руси, есть совершенная детскость. Это будет очень несправедливо, если б мы сказали, что в них видна глупость одна, в чем часто упрекают их наши журналисты. Совсем нет, не глупость, но создание самого

незрелого дитяти, которого и то занимает и другое, и того хочется ему и другого, никакой постоянности. Оттуда у него на одной странице столько несообразностей, сколько у другого в целом томе. Каждая строчка у него ниже целой октавой или выше другой. У бесталанного, но опытного человека, набившего руку на писаньи, несообразности становятся явны по прочтении только многих страниц, у бесталанного, но неопытного и молодого, их в одной странице наберется столько, что читатель по ним может вывести безошибочно мнение обо всем сочинении.

Если бы мы привели в пример оттуда несколько страниц, они могли бы заставить читателей усмехнуться; незачем наполнять листок нашего журнала плохим тогда, когда можно занять место выпискою чего-нибудь хорошего. Во всех этих книгах видно невинное желание написать непременно какой-нибудь романчик. Да простит Бог невольные их прегрешения! Нам нечего досадовать на них и сердиться, что они неопрятно изданы и тому подобное. И здесь потому только почтено необходимым сказать о них несколько слов, чтобы <при> другом подобном романе иметь случай не говорить о нем вовсе, а сослаться <на> сказанные нами ныне слова.

<*Убийственная встреча,* повесть Я. А. СПб. 1836 г., в тип. Артил. департ. Воен. Мин. в 8, 113 стр.>

Эта книжечка вышла, стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее.

<*Картины мира,* или Полезное и приятное чтение для юношества. Часть 2-я. С.-П.-бург, 1836 г. (4)>

Заглавие этой книги показывает, что она ошибкою попала в книги литературы.

За несколько лет пред сим на Руси, так же как и в Европе, заметна была вообще охота к чтениям нравственным, являвшимся в виде длинных рассуждений и трактатов. Читатели требовали назидательных, питательных сочинений. Психологические

сочинения, печатавшиеся в целых огромных томах, имели значительный перевес над всем прочим. Всё прочее, всё практическое, всё легкое, взятое из жизни, считалось пустым и недостойным. У нас в России в это время вышло чрезвычайно<е> множество подобных книг. Это был век солидный; впрочем, нужно заметить здесь то, что при всем этом нравственность этого века была не очень чиста, и те, которые читали питательные книги, делали под рукою такие шашни и проказы, которые теперь бы слишком бросились всем в глаза. Замечательно, что в одно время с таким множеством нравственных сочинений появлялись такие безнравственные, что теперь даже отважнейшие из французских писателей посовестились бы написать. Все старики тогда читали душеспасительные книги, вся молодежь, напротив, читала Фоблазов и других, и при внимательном рассмотрении оказывалось даже, что едва ли старики не обгоняли молодежь в своих домашних делах. Такой раздор теории с практикою был повсеместен в конце 18 столетия. В 19 столетии масонские и другие секты, отвлеченный мистицизм поддержали существование подобных философских сочинений, рассуждений, увещаний и трактатов, хотя облеченных уже в другие формы. Они, можно сказать, были виною малого распространения охоты к чтению в нашем обществе, потому что требовали постоянства внимания, некоторого напряжения ума и потому были уделом немногих. Когда Кант, Шеллинг, Гегель, Окен, как художники, обработывали науку, облекая ее точными определительными терминами, анатомически дробя, разделяя и соединяя в единство великую область мышления, их мнения распространялись только в кругу небольшом их слушателей, понимавших трудный, немногословный, почти математический язык их. Но когда мысли их начали рассеиваться, германские писатели, если можно так выразиться, среднего класса люди, большею частию довольно умные, но без орлиной мысли и таланта, когда начали они эти идеи распложивать собственным мерилом понимания, когда они облекли эти рассуждения красноречивыми фразами, общеупотребительным языком, часто даже лирическим пылом души, то эти творения их распространились повсеместно между всем читающим кругом — и приученные мистицизмом читатели брались охотно за эти книги. В наш век почти общим сочувствием была признана необходимость

воплощения всякой мысли практически. Она всегда должна торжествовать, как прекрасную эпоху, это начинающее<ся> соединение теории с практикою, следуя великой, но простой истине, что дела более значат, нежели слова. Живой пример сильнее рассуждения, и никогда мысль не кажется нам так высока, так поразительно высока, так оглушительна своим величием, как когда облечена она [видимой формою], когда разрешается пред нами живым, знакомым миром, когда она, можно сказать, читается духовными нашими глазами из целого создания поэта. Божественный Учитель и Спаситель наш первый открыл эту высокую тайну, облекши святые божест<венные> мысли Свои в притчи, которые слушали и понимали тысячи народов. Итак, мы, сделавши такие великие тысящелетние обходы, наконец возвращаемся к той истине, которая была сказана еще в глубине младенческих сердец наших. И вот уже история показывает умам соединение с философией и образует великое здание. И вот уже везде, во всех нынешних попытках романов и повестей, видно стремление осуществить, окрылить или доказать какую-нибудь мысль, и только посредственность бывает виною, что изысканная, неправильная мысль иногда предпочитается глубокой и простой.

<*Детский павильон.* Книжка, содержащая в себе черты из русской истории, разные повести, разговоры, анекдоты, стихотворения, сказочки и проч., составленная на 1836 год Б. Федоровым. СПб., в тип. Гинце, 1836, в 16, стр. 320.>

Детский альманах, небольшой магазин, без сомнения, очень приятных для них вещей... Б. М. Федоров — один из старых наших литераторов, писал трагедии, романы, писал и переводил стихотворения во многих родах, но наконец, почувствовавши, что всё на свете суета и что нужно иметь слишком много, чтобы расшевелить взрослое наше поколение, принялся издавать книжки для детей. И из наших писателей никто в этом отношении не исполнял своего дела с таким старанием, как он. Он издавал довольно исправно и постоянно детский журнал, всегда к новому году готовил нам какой-нибудь подарок в виде альманаха. Академия Российская избрала его в свои члены, и хотя он не написал

такого ученого рассуждения на шести страницах, в котором говорится обыкновенно, что такой-то говорит вот то-то, такой-то вот то-то, а я полагаю, что этот предмет требует разъяснения. Но при всем том труды его были полезны и сочинения его раскупались. Его имя не заслужило никакого упрека. Альманах его нынешний име<ет> так же достоинства, как и предыдущие, и дети могут все из него составить себе приятное чтение.

<*Прекрасная астраханка,* или Хижина на берегу реки Оки. Роман, взятый из неистинного происшествия. Российское сочинение. Москва, в Универс. тип. 1836, в 12, две части, стр. IV и 42–76.>

Не роман, а разве романчик, потому что в 1-й части 42 страницы, а во 2-й — 76.

<*Обозрение сельского хозяйства удельных имений* в 1832 и 1833 годах, изданное Департаментом уделов. С.-П.-бург, в тип. Д. Внешней торговли, 1836, в 8, 158, с 4 черт.>

Книжка замечательна во многих отношениях тем, что проливает некоторый статистический свет на средние губернии нашей России. Все удельные имения ныне округлены и заключены в средней полосе. Их нет ни на юге, ни на севере. Они большею <частию> начинаются узким клином от Москвы и тянутся на восток, раздвигаяся по мере приближения, <к> Уральск<ому> хребт<у>, захватывая земли губерний: Московской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Пензенской, Саратовской, Вятской, Пермской и Оренбургской. Кроме того, есть еще удельные имения в губерниях остзейских.

Упомянем слова два о почве и земле, как первых естественных законах организации государственного хозяйства. Центральные земли, то есть земли недалеко от Москвы, губерний Московской, Владимирской, отчасти земли Костромской и Нижегородской, содержат почву песчаную, глинистую, перемежаемую тундрами, илом, кочками, чернозем почти не встречается, — земли,

требующие более всего возделки. Далее на юго-во<сток> характер почвы изменяется; южная часть имений Костромской и Нижегородской и северная губерний Казанской, Симбирской и Пензенской составляют другой отдел; в почве меньше глины, меньше тундр, чаще чернозем, и углубляется в землю он несравненно далее, на шесть вершков. Эта почва менее требует возделки предыдущей. Южные имения губерний Казанской, Симбирской, и Пензенской и особенно вся Саратовская составляют почти степные пространства. Почва — уже чистый чернозем, тучный, углубляющий<ся> далеко в землю; пески и солончаки уже исключения и находятся только в Саратовской губернии; земля производит почти без всякого удобрения. Земли трех колоссальных губерний Пермской, Вятской и Оренбургской представляют отличительный совершенно отдел почвы. В Пермской и Вятской владычествует лес, в Оренбургской сила растительной природы мечет дань кормовых трав по всему своему огромному прос<транству>. Близость Урала и разрушающаяся горная природа дают новые силы растительности. Большое количество мергелю представляет средство для удобрения. Почва при небольших трудах может превзойти ожидания.

Но рассматривая в этой замечательной <книге> работящие силы людей, мы видим еще глубокое младенческое состояние земледелия, несмотря на средства, доставляемые правительством. Усилия рук без сравнения малы относительно пространства земли. Орудия еще много не облегчены, привыч<ка> и давность обыкновения еще держит место испытующего опыта. Плуг еще доныне тяжел, ленивый медленный серп, бессильный против таких огромных пространств, еще не изгнан косою.

Усилия труда более видны в центральных губерниях, где беднее почва, они слабеют, где почва богаче, и наконец совсем исче<зают> в губерниях Пермской, Вятской и Оренбургской, где людей мало против земли, где дикая природа почвы кладет печать дикости и на самого человека.

Итак, что причина такого состояния земледелия? Эта причина заключается, во-первых, в земле, не в почве земли, но в необык<новенном> пространстве ее, еще несоразмерно превышающем население. На тесном уголке земли, хотя бы почва была бесплодна, земледелие возникает и развивается быстро;

вначале следствие первой необходимости, оно <затем> в возрастающей степени делается необходимо, его развивают потребности. Земля и человек идет в равной прогрессии; земля, пробуя все силы его, образует и утрояет его разви<тие>, сметливость. Человек находит беспрестанно средства обогащать его. Итак, естественное дело, что земледелие в России еще долго будет идти медленно, несмотря на все введенные меры правитель<ства>, потому что это дело веков. И кто думает, что может то произвести один человек в малое время, что производится массами и веками?

Вторая, главная причина заключается в людях. Что же такое русской крестьянин? Он раскинут или, лучше сказать, рассеян нечасто, как семена по обширному полю, из которого будет густой хлеб, но только не скоро. Он живет уединенно в деревнях, отделенных большими пространствами, удаленных от городов — и городов мало чем богатее иных деревень. Лишенный живого, быстрого сообщения, он еще довольно груб, мало развит и имеет самые бедные потребности. Возьмите земледела северной и средней <полосы>. У него пища однообразна, ржаной хлеб и щи, одни и те же щи, которые он ест каждый день. Возле дома его нет даже огорода. У него нет никакой потребности наслаждения. Много ли ему нужно трудов и усилий, чтобы достать такую пищу, и какое другое желание может занять его по удовлетворении этой первой нужды, когда окружающая его глубокая простота никакой не может подать идеи. Он способен переменить вдруг свою жизнь, но только тогда, <когда> вокруг его явятся улучшения, а побывавши в городе, русской человек уже бросает земледелие и делается промышленником, и тут вдруг разви<вается> его деятельность и оказывает<ся> его живая, хлопотливая природа; с помощью живости и сметливости он в непродолжительное время делается богачом. Таким образом русской мужик делается решительно гражданином всей Руси, не укрепясь ни в каком месте.

Итак, должно ли удивляться, что у нас земледелие в младенческом состоянии? Часто слышны вопросы, отчего у нас хуже земле<делие>, нежели в Европе, и мнения, как нам сравниться с Европой. Это легко сказать. Особливо тем, чей ум не видит страшного преобладания европейского населения над землею и страшного преобладания земли над жителями в России. Во всяком случае, правительство действует, руководимое

глубокою мудростью, оно обращает преимущественное внимание на землед<елие>. Земледел добрый, крепкий корень государства в полити<ческом> и нравственном отношении. Купец человек продажный, рем<есленник> человек продажный; всякой промышленник человек подвижный, сегодня здесь, завтра там, но земледел неподвижный элемент государства. Одно из лучших действий правительства в этом отношении есть издаваемые от него результаты хозяйственных отчетов, к каким, в некотором отношении, можно причисл<ить> и эту книгу. Они всегда ясно покажут дело и наведут на мысли, что и как нужно предпринять для улучшения дела.

<*Правила построения мореходных и речных пароходов.* Перевел с английского корабельный мастер Василий Берков. СПб. 1835 года, в тип. Вингебера.>

Довольно обстоятельное наставление в строении пароходных судов <с> небольшим взглядом на начало и усовершенствование этого искусства.

<*Полная ручная кухмистерская книга,* выбранная из книжек: 1) Прибавление к опытному повару; 2) Полный кухмистер и кандитер и 3) Продолжение к книге — Полный кухмистер и кандитер; со многими прибавлениями; содержащая объяснение поварских терминов и рисунок печи для московских калачей, составленная из собственных опытов Герасимом Степановым. Москва, в Универс. типогр. 1835, в 12, стр. VII и 310.>

Если воспользоваться всеми этими рецептами, наставлениями, то можно сварить такую кашу, на которую и охотника не найдешь.

<*Торговый адрес-календарь,* или Всеобщий коммерческий указатель Российского государства на 1836 год, составленный Викентием Жгерским, чиновником для особых поручений

в Министерстве финансов, разных ученых обществ и иностранных академий действительным членом, СПб. 1836 в тип. Вингебера, в 8, стр. 128.>

Торговый адрес-календарь, как адрес-календарь, очень не полон и неудовлетворительно составлен. При этом сюда вошли статьи по части промышленности и даже проекты не без достоинств, но здесь представляющиеся совершенно отрывками непоказывающими никакого плана в издании. Продается очень дорого по объему, какой имеет книжка.

Петербургская сцена в 1835–36 г.

Балет и опера завладели совершенно нашей сценой. Публика слушает только оперы, смотрит только балеты. Говорят только об опере и балете. Билетов чрезвычайно трудно достать на оперу и балет. А между тем живет еще в мыслях каждого мнение, что есть род зрелищ, может, более возвышенный, более отвечающий глубоко обработанному вкусу, что есть драма: высокая, вдыхающая невольное присутствие высоких волнений в сердца согласных зрителей, что есть комедия высокая, верный сколок с общества, движущегося перед нами, комедия, производящая смех глубокостью своей иронии, не тот смех, который оставляет на нас легкие впечатления, который рождается беглою остротою, мгновенным каламбуром, не тот пошлый смех, который движет грубою толпою общества, для произведения которого нужны конвульсия, гримасы природы. Но тот электрический, живительный смех, который исторгается невольно и свободно, который разносит по всем нервам освежающего наслаждения, рождается из спокойного наслаждения души и производится высоким и тонким умом.

Итак, правa ли наша публика, что оставила драму и уступила преимущественно пристрастие свое к опере и балету? Может быть, это ошибка? Может быть, вкус ее так односторонен, что может <довольствоваться> только одним. Но редко масса публики ошибается в деле, которого она есть судья. Общий голос почти всегда бывает прав, а вкусом могущественный драматический писатель всегда может ворочать по своей воле и гениальной прихоти. По этому самому публика права, что устремила исключительное внимание свое на оперу и балет. Итак, первый вопрос мы должны переменить вторым. Стоила ли в это время наша драматическая сцена того, чтоб ее можно было предпочесть опере и балету? Что такое игралось <на> нашей сцене? Мелодрама и водевиль, эти незаконные дети ума нашего девятнадцатого столетия, совершенные отступления [от] природы, введшие множество мелких несообразностей. Но какие были эти водевили? Эти водевили были переводы с французского. В Петербурге есть французский театр, и очень изрядный. Итак, кто же захочет

смотреть французскую пиесу в переводе, играющуюся русскими актерами, не видавшими французского общества, тогда как он может на французском театре видеть ту же самую в оригинале, играемую природными французами, которые и потому уже вообще могут лучше выполнить свое дело, что им вовсе не стоит труда, [потому что] во Франции больше смешаны между собою сословия. Итак, высший класс общества был совершенно прав, что оставлял русскую сцену. Очень был почувствован этот недостаток оригинальности. Несколько пиес появилось оригинальных. Но какие были эти пиесы? Эти пиесы были водевили. Русские водевили! Это немножко смешно, во-первых, <потому>, что это легкая бесцветная игрушка могла родиться только у французской нации, не имеющей в характере своем глубокой физиогномии, если сказать сильно — национальности. Но что же теперь вышло, когда наш русский, да еще несколько суровый, но дышащий своеобразною национальностью характер с своею тяжелой фигурою начал подделываться под шарканье петиметра и наш тучный, но сметливый и умный купец с широкою бородою, не видевший на ноге своей <ничего>, кроме тяжелого сапога, надел бы вместо него узенький башмачок и чулки à jour, а другую, еще лучше, оставил бы в сапоге и стал бы в первую пару во французскую кадриль. А ведь почти то же наши национальные водевили. Не странно ли, например, что нашей публике русской судья, которых чрезвычайно много в водевилях, начинает петь куплет в обыкновенном разговоре. В французском театре мы прощаем эти выходки против естественности, ибо нам известно, что французский судья и танцор и куплеты сочиняет, играет хорошо на флажеолете, может быть, даже рисует в альбомах. Но если начнет все это делать наш уездный судья, и обязательно с такою грубою наружностью, с какою обыкновенно его выставляют на наших водевилях, то... Судью заставляют петь! Да если наш уездный судья запоет, то зрители услышат такой рев, что, верно, в другой раз и не покажутся в театр. Но рассмотрим вообще, что такое драма и водевиль, рассмотрим, как родились эти незаконные дети нашего девятнадцатого <столетия>. Их называют извержениями романтизма. Но что такое романтизм? О нем толковали во все окончание первой четверти этого столетия и даже сделали его как-то родом сочинений, так что называли: это пиеса романтическая, а это —

не романтическая. Ему в противуположность противупоставляли классицизм. Странную несообразность этого всякой знает. Но что такое было то, что называли романтизм? Это было больше ничего, как стремление подвинуться ближе к нашему обществу, от которого мы были совершенно отдалены подражанием обществу и людям, являвшимся в созданиях писателей древних. То же самое стремление, которое имели все государства Древнего и Нового мира. Переход к этому стремлению, то есть первые взрывы и попытки производятся обыкновенно людьми отчаянно дерзкими, какими производятся мятежи в обществах. Они видят несвойственные формы, несоответствующие нравам и обычаям правила и ломятся напролом чрез все. Они не видят границ, ломают без рассуждения все и всегда, и, желая исправить несправедливость, они в обратном количестве наносят столько же зла. Они падают первые, как жертвы в произведенном ими хаосе. Их имя не остается в числе чистых воспоминаний. Но они произрастили хаос, из которого потом великий творец спокойно и обдуманно творит новое здание, обнимая своим мудрым двойственным взглядом ветхое и новое. Много писателей в творениях своих этою романтической смелостью даже изумляли оглушенное новым языком, не имевшее время одуматься общество. Но как только из среды их выказывался талант великий, он уже обращал это романтическое, с великим вдохновенным спокойством художника, в классическое, или, лучше сказать, в отчетливое, ясное, величественное создание. Так совершил это Вальтер Скотт, и, имея столько же размышляющего, спокойного ума, совершил бы Байрон в колоссальнейшем размере. Так совершит и из нынешнего брожения вооруженный тройною опытностью будущий поэт...

Публика была права, писатели были правы, что были недовольны прежними пиесами. Пиесы точно были холодны. Сам Мольер, талант истинный, талант, который, явившись в нынешнее время, изгнал бы нынешнюю бродящую беззаконную драму, — сам Мольер на сцене теперь длинен, со сцены скучен. Его план обдуман искусно, но он обдуман по законам старым, по одному и тому же образцу, действие пиесы слишком чинно, составлено независимо от века и тогдашнего времени, а между тем характеры многих именно принадлежали к его веку. Ведь не было и одного анекдота, случившегося в его время, в таком же точно виде, как

он случился, как делал это Шекспир. Он, напротив, сюжет составлял сам по плану Теренция и давал разыгрывать его лицам, имевшим странности и причуды его века. Это не имело уже после живости для зрителей, могло только нравиться приятелям, которые могли замечать все мелочи, и могло выполняться только слишком искусными актерами, но то и другое является редко, стало быть, их успех...

Нынешняя драма показала стремление вывести законы действий из нашего же общества. Чтобы заметить общие элементы нашего общества, двигающие его пружины, для этого нужно быть великому таланту. Но то, что служит исключением, что странно и поражает среди стройности всего целого своим безобразием, то бросается в глаза всякому. Писатели, порожденные новым стремлением, не были таланты, чтобы могли заметить одни только эти исключения. Странность сюжета выносила их имя и делала известным. И везде почти решительно в них сюжет берет сам за себя, в исполнении его не видно никакого таланта, кроме механического, привыкшего знания сцены.

Итак, идея создания нынешних драм — непременно рассказать какой-либо новый случай, непременно странный, непременно еще никем не виданный, не слыханный. Стремление к странному произвело до такой степени несообразность и сверхъестественность театральных сюжетов, произвело в такой степени неправильное отступление в драме, какого не произвели прежние классические писатели педантическою аккуратностью и отчетливостью.

Главное в мелодрамах эффект, оглушить вдруг чем-нибудь зрителей, хотя на одно мгновение. Что сильнее бросается в глаза: каторга, убийство. Чем можно испугать и произвести судороги, что движет эшафот кровавою тенью. Вся мелодрама состоит из убийств и преступлений, и между тем ни одно лицо не возбуждает участия: никогда еще не выходил зритель растроганный, в слезах, но в каком-то растревоженном состоянии и пугливо садился в свою карету, долго не могший собрать и сообразить своих мыслей. Какое странное явление! в наш век, когда во всяком обществе существует число людей, исполненных тонко-возвышенного вкуса, и вдруг такие зрелища. Эффекты те, которые действуют на грубую, черствую и притом притупленную площадною

развратностью природу. Передвигаются пред глазами те кровавые зрелища и боевые [ристалища], на которые собиралась смотреть вся римская чернь, стало быть, властительная масса государства. Но, слава Богу, мы еще не римляне и не на закате существования, но только еще на заре его стоим мы. Еще молод наш народ и служит вечным материалом для писателя, поражая его множеством разнообразных степеней образования, и все стихии нашего государства стихией могущества и юности.

Итак, не удивительно, что среди этих безобразных случайных явлений балет и опера представляют нам что-то утешительное. В опере зритель, заслушиваясь музыки, уже наслаждается внутри себя, он уже в спокойном состоянии, ему даже самая растянутость, общий недостаток опер, не наскучит. Он в покойном состоянии и в балете.

Балет и опера сделали большие успехи. В прошедшей четверти текущего года появилась на русской сцене «Семирамида», которую, не знаю, могли ли поставить прежде на нашей сцене. Она установилась и поддержана двумя [певцами]. Ничего не скажу о двух неподдельных талантах: о Петрове и о Воробьевой. Они составляют условие оперы, и без них ее нельзя поставить. Об оркестре и музыке странно говорить, и мне кажется, что все музыкальные трактаты и критики и рецензии также скучны для самых записных музыкантов. Глубокое в музыке так же невыразимо и безотчетно, как и в поэзии. Музыкальные страсти — не житейские страсти. Музыка иногда только выражает, или, лучше сказать, подделывается под голос наших страстей для того, чтобы, опершись на их, устремиться огненным фонтаном других страстей в другую сферу. Замечу, что меломания, чем дальше, чрезвычайно распространяется в Петербурге. Люди такие, которых до сего времени никто бы не подозревал в музыкальном образе мыслей, жадно сидят неотлучно в «Роберте» и «Норме», «Фенелле» и «Семирамиде». Оперы даются почти два раза в каждую неделю, выдержали несчетное множество представлений, и всетаки трудно достать билет. Это не наша ли славянская певучая природа так действует? И не есть ли стремление это — возврат к нашей старине после путешествия по чужой земле европейского просвещения, где около нас говорили всё непонятным для <нас> языком и мелькали незнакомые люди, но возврат на русской

тройке, с заливающимся колокольчиком, с которой мы привстаем на бегу, помахиваем шляпою и говорим: в гостях хорошо, а дома лучше. В самом деле, какую оперу, какую музыку можно составить из наших народных мотивов! Покажите мне народ, у которого больше было бы песен. Малороссия кипит песнями. По всей Волге звенят бурлацкие песни. Под песни рубятся из бревен избы по всей Руси, метают из рук в руки кирпичи и подымаются домы. Под песни работает вся Русь. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами козак любит, заряжая пищаль, петь старинную песню. На другом конце у Морозного моря верхом на пловущей льдине русской промышленник бьет острогой кита, затягивая песню... Что? у нас ли не из чего составить оперы своей! Нет, погодите, люди чужеземные, прежде [приосамтесь немного], [приоденьтесь] немного почище!

Обстановка балетов великолепна. Дирекция не жалеет никаких с своей стороны средств, и вряд ли где так богато ставятся балеты, как в Петербурге. [Нужно только пожелать, чтобы артисты умели пользоваться теми средствами, которые предлагают им.] Удивительно только, что никогда на русской сцене не было такой счастливой поры для талантов, а между тем они лениво являются, не вполне отвечая <издержкам>. Все сословия жадны до театра. Петербург большой охотник наслаждаться прекрасным. Чиновник идет в театр, купец идет в театр, даже немец часто идет в русской театр, несмотря на то <что> в Петербурге есть и немецкой театр. Еще более замечательно то, что во всем Петербург соблюдает строгое приличие, что вообще вкус его жаждет прекрасного, спокойного наслажденья, добрый знак. Вспомните мое слово, когда-нибудь из таких начал разовьется чисто эстетический вкус, но это не тревожный Париж, где стихия — перемена, а вкус — крайности. Не сравню его я и с немецкими городами. Слишком уж холодны и расчетливо они скупы <на> наслаждения. Если взять, например, наше сословие, среднее, в всей его массе, то есть сословие малоденежное, или живущее жалованием, стало быть, самое многочисленное и чисто русское, то (нет нужды, что попадется другой, третий чиновник, совершенно похожий на то отношение, которое он пишет) в нем есть много очень замечательного — и русская дворянская решительность, и при этом терпение, и толк, и соль, одним словом, стихии нового

характера. Ничего дурного, никакого пристрастия, только разве, по старой славянской привычке, небольшого пристрастия к стеклянной посуде, но и это уже наконец оставляется одним только купцам да извозчикам. Когда вы будете гулять свежим морозным утром по Невскому проспекту, во время которого небо золотисто-розового, нежного цвета и только его перемежает золотистыми сквозными облаками дыма, а домы в конце уличной перспективы в голубом свете, и в морозном воздухе, дрожа, звенит: «Говядина свежая!» — зайдите в это время в сени всякого театра, вы будете поражены тем упорным терпением, с которым собравшийся народ грудью осаждает раздавателя билетов, высовывающего только одну руку свою из окошка. Сколько только шинелей всякого рода, сколько лакейства всякого рода, начиная от того, который пришел в серой шинели с шелковым цветным галстухом и без шапки, до того, у которого трехэтажный воротник ливрейной шинели так пестрит, как суконная бабочка для вытирания перьев. Тут протираются сухощавые геморроидальные чиновники, у которых чистит сапоги кухарка, и потому они должны сами хлопотать билет. Тут вы увидите, как русской офицер, потеряв наконец терпение, доходит, к необыкновенному изумлению всех, по плечам к окошку и получает билет. Тогда только увидите, в какой степени видна у нас любовь <к театру>. И что же дается на наших <театрах>. Какие-нибудь мелодрамы, водевили. Ох, мне эти мелодрамы! Какое смешное, неприличное название мелодрама. «Что это за нехристь такая — мелодрама», я думаю, говорит про себя русской купец, сидя в ложе 3-го яруса и развернув перед собою аршинную афишу, но... посмотрим мелодрамы. Давалась «Венецианская актриса», драма Гюго, от которого еще не так давно была без <ума> Франция, начинали восхищаться студенты в Германии и превозносили выше Вальтер Скотта отважные журналисты на Руси. «Венецианская актриса» составлена по образцу мелодрам с немного большим талантом и с меньшим знанием сцены. В этой драме, как во всех других, показал Гюго в полной мере молодость и незрелость своего таланта — таланта, который несравненно зрелее виден в его немногих лирических <произведениях>. На русской сцене удержалась драма только игрою Каратыгиной. Дали три большие мелодрамы с пожарами, убийствами и другими эффектами: «Мономан», «Живая покойница»,

«Честолюбец» и еще, кажется, что-то. Нечего рассказать о каждой из них, потому что нужно говорить почти одно и то же. Мелодрама нынешняя есть никак не более, как программа для балета. Она говорит только, о чем должно идти дело, что такое есть в пиесе, а разрешать ее и создавать должны актеры сами. Она установилась и держится на нашей сцене не пожарами и убийствами, но игрою Каратыгина. Всеобщая жалоба на недостаток таланта в актерах. Но где же развиться талантам, на чем развиться? Разве попадается им хоть одно лицо русское, которое могли бы они живо представить себе? Кого играют наши актеры? Каких-то нехристей, людей не французов, не немцев, но Бог знает кого, каких-то взбалмошных людей, иначе и трудно назвать героев мелодрамы, не имеющих решительно никакой точно определенной страсти, а тем более видной физиогномии. Не странно ли: тогда как мы больше всего говорим теперь о естественности, нам, как нарочно, подносят под нос верх уродливости. Русского мы просим! Своего давайте нам! Что нам французы и весь заморский люд, разве мало у нас нашего народа? Русских характеров! своих характеров. Давайте нас самих. Давайте нам наших плутов, которые тихомолком употребляют в зло благо, изливаемое на нас правительством нашим, которые превратно толкуют наши законы, которые под личиною кротости под рукою делают делишки не совсем кроткие. Изобразите нам нашего честного, прямого человека, который среди несправедливостей, ему наносимых, среди потерь и трат, чинимых ему тайком, и остается неколебим в своих положениях без ропота на безвинное правительство, и исполнен той же русской безграничной любви к царю своему, для которого бы он и жизнь, и дом, и последнее, и каплю благородной крови готов принесть, как незначащую жертву. Пусть он не в общих театральных фразах говорит это, нет, пусть он явится весь проникнутый этою русскою стихиею, ни слова не говорит, не разглагольствует об этих чувствах, но упорно хранит в душе их, как старую свою святыню, вдохнутую в него еще с давних веков, еще с смиренных предков, воспитанную тысящелетием. Но пусть он молчаливо кидается в волны, равнодушно несет свои помыслы, сам носит повинную голову и делает, как русской обыкновенно, на деле, а не в словах. Бросьте долгий взгляд во всю длину и ширину животрепещущего населения нашей раздольной <Руси>,

сколько есть у нас добрых людей, но сколько есть и плевел, от которых житья нет добрым и за которыми не в силах следить никакой закон. На сцену их: пусть видит их весь народ, пусть посмеется им. О, смех великое дело! Ничего более не боится человек так, как смеха. Он не отнимает ни жизни, ни имения у виновного, но он ему силы связывает, и, боясь смеха, человек удержится от того, от чего бы не удержала его никакая сила. Но мы так заслушались во французском <театре> бесцветных пиес, что нам все теперь боязливо видеть свое. Если только нам представят какой-нибудь живой характер, то уж и думаем, не личность ли это, потому что лицо совсем не похоже на французские лица. Если сказать, что в таком-то управлении был, например, один надворный советник пьяница, то все надворные советники, сколько ни есть в России, примут на свой счет. Если сказать, что один бессмысленный председатель завел в присутственной зале псарню, то сейчас слышишь: «Псарню, ведь это присутственное место», не рассуждая о том, что именно затем это выведено, чтобы все видели и бросили странности. Если выведен даже квартальный плут, то сейчас найдутся люди, которые будут говорить: «Как же можно выводить квартальных, ведь они тут же находятся в городе», а другой прибавит: «Я сам знаю одного квартального хорошего человека». Если изобразить чиновника, который вместо того, чтобы исполнять священные обязанности наложенной на него должности, думает только за тем, чтобы красиво была написана бумага, то сейчас говорят: это личность, это на того мечено, а другой говорит: нет, это <на того>. Да разве один человек порочит все сословие. Положим, я воин, украшенный орденами, я доказал любовь к государю своему и заслугу отечеству моими бесчисленными ранами, но должен ли я рассердиться за то, если выводится на сцену офицер, пустой человек, бегающий за вечерними нимфами, или вместо обязанностей службы дебошничающий где-нибудь в неприличном для русского офицера месте. Разве через это оскорбляется моя личность; не должен ли я, напротив того, смотреть на это с тайною радостью, потому что после такого примеру, верно, уже трудно будет найти товарищей моих с такою нравственностью. Когда я скажу: случился один генерал, гордый человек, черствый в обращении, который не сумел привязать к себе своих подчиненных или который совсем распустил своих

подчиненных и, вместо своих занятий, спускивал бумажку или вязал дамский чулок, разве должны обидеться наши храбрые генералы, цвет России и пример Европе, которых у нас более нежели где-либо. Нет. Благосклонно склонится око монарха к тому писателю, который, движимый чистым желанием добра, предпримет уличать низкий порок, недостойные слабости и привычки в слоях нашего общества и этим подаст от себя помочь и крылья его правдивому закону. Театр великая школа, глубоко <его> назначение. Он целой толпе, целой тысяче народа за одним разом читает живой полезный урок и при блеске торжественного освещения, при громе музыки показывает смешное привычек и пороков, высокотрогательное достоинств и возвышенных чувств человека. Нет, театр не то, что сделали из него теперь. Нет, он не должен возбудить тех тревожных и беспокойных движений души. Нет, пусть зритель выходит из театра в счастливом расположении, помирая от смеха или обливаясь сладкими слезами и понесший с собою какое-нибудь доброе намерение.

Балет значительно сделался блестящее в постановке. Его возносят чрезвычайно много декорации и костюмы, которые богаты. Явившийся в текущую четверть года балет «Восстание в серале» был обставлен с такою роскошью, с какой, кажется, не ставились балеты. Великолепие для балета нужно, необходимо. Он этим только может прикрыть вообще сухость содержания. Балетные композиторы делают ошибку, являя в программах своих чрезвычайно мало действия. Действие только сильное и быстрота движения, но то, что, можно сказать, очевидно для глаз, то нужно в балете. Но, как нарочно, теперь помещаются в балетную сферу очень длинные изъяснения в любви и рассказы; кажется, лица даже рассказывают друг другу анекдоты. Вообще для балета лучше комическое, в комическом более может выразиться действия, в действии может быть больше комического в сравнении с трагическим. Но нет, и в трагическом тоже может быть действие; сколько случалось встречать лаконических высоких сцен, которых никто не берет в балет. Это, я думаю, произошло от того, что движение всегда считалось главное, главное танцы. Это настоящая его поэтическая сторона. Если бы и танцам придать такое же разнообразие, какое придает в опере действие с музыкою, то балет стал бы выше.

Мне кажется в танцах вообще тоньше характерность. Смотрите, в каком бесчисленном разнообразии являются танцы в разных [углах мира]. Они, так же как народ, [отлились каждый в свою форму. Вот русский плавный, не напряженный и тихий танец, почти восточный танец. Вот танец западных славян, вольный, необузданный, шотландский вольный и живописный танец]. Швейцарский [частый] веселый. [Французский.]

У каждого народа они тоже следствие жизни, у одного буйной, у другого тихой, у другого бесстрастие, у другого пламень живой страсти, тяжелой и легкой, многосложной и односложной. Но может ли некоторым образом создатель балета явить это различие для некоторого определения характера действующих лиц. Из элементов каждого натурально может он создать тоже утонченное и обработанное, возведенное до высшего искусства. По крайней мере, это средство образнообразить этот легкий воздушный язык, которому мы даем название танцев.

1836

Петербургские записки 1836 года

I

...В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. «На семьсот верст убежать от матушки! Экой востроногой какой!» — говорит московский народ, прищуривая глаза на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкою и сынком! Что это за виды, что за природа! Воздух продернут туманом; на бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, сосны, ельник, кочки... Хорошо еще, что стрелою летящее шоссе да русские поющие и звенящие тройки духом пронесут мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какая она нечесаная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе перышко или пушок, ту ж минуту его щелчком. Москва — старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете; Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и похаживает на кордоне, охорашиваясь перед Европою, которую видит, но не слышит.

Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинает печь французские хлебы, которые назавтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве всё невесты, в Петербурге всё женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода: если

талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней — как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расчетом и, прежде нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане: она не любит средины. В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают картинки; если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч. и проч., в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности... В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частию на обед; Петербург, в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или «в должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше второго часу; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день как ни в чем не бывало в девять часов спешит, в своем байковом сюртуке, в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках, по зимним ухабам, сбывать и закупать; в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет; Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупщиков. Москва говорит: «коли нужно покупщику — сыщет»; Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с «Ренским погребом» и ставит извозчичью биржу в самые двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России;

для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостию, неловкостию и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется, в самой середине модной толпы, какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии. Сказал бы еще кое-что, но —

Дистанция огромного размера!..

II

Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию; так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу. Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев обществ. Эти общества совершенно отдельны: аристократы, служащие чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы — все составляют совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою, больше живущие, веселящиеся невидимо для других.

И каждый из этих классов, если присмотреться ближе, составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой. Например, возьмите чиновников. Молоденькие помощники столоначальников составляют свой круг, в который ни за что не опустится начальник отделения. Столоначальник, с своей стороны, подымает свою прическу несколько повыше в присутствии канцелярского чиновника. Немцы-мастеровые и немцы-служащие тоже составляют два отдельные круга. Учителя составляют свой круг, актеры свой круг; даже литератор, являющийся до сих пор двусмысленным и сомнительным лицом, стоит совершенно отдельно. Словом, как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу закрывшись и вошел в общую залу потому только, что

не было другого места. Попытка на заведение публичных обществ доселе не имеет успеха. В клуб петербургский житель идет для того только, чтобы пообедать, а не провесть время. Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностию даже в вечной шлифовке с иностранцами. Чтобы говорить о каждом из этих кругов и заметить жизнь, текущую между них с ее веселостями, наслаждениями, надеждами, печалями, нужно быть одним из тех, которые вовсе ничего не пишут, потому что у этих господ, в награду за их деятельность, решительно нет времени. Итак, мимо балы и вечеринки! Обращусь к тем увеселениям, после которых долее остается воспоминание и которые приемлются всеми классами. Театр, концерт — вот те пункты, где сталкиваются классы петербургских обществ и имеют время вдоволь насмотреться друг на друга. Балет и опера — царь и царица петербургского театра. Они явились блестящее, шумнее, восторженнее прежних годов, и упоенные зрители позабыли, что существует величавая трагедия, вдыхающая невольно высокие ощущения в согласные сердца сей безмолвно слушающей толпы; что есть комедия — верный список общества, движущегося пред нами, комедия строго обдуманная, производящая глубокостью своей иронии смех, — не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром, не тот также смех, который движет грубою толпою общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический, живительный смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом. Зрители правы, что были упоены балетом и оперой... На драматической сцене являлись мелодрама и водевиль, заезжие гости, которые были хозяевами во французском театре, а на русском играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русские актеры несколько странны, когда представляют маркизов, виконтов и баронов, как, вероятно, были бы смешны французы, вздумав подделаться под русских мужиков; а сцены балов, вечеров и модных раутов, являющихся в русских пьесах, — каковы они? А водевили?.. Давно уже пролезли водевили на русскую сцену, тешат народ средней

руки, благо смешлив. Кто бы мог думать, что водевиль будет не только переводный на русской сцене, но даже и оригинальный? Русский водевиль! право, немножко странно, — странно потому, что эта легкая, бесцветная игрушка могла родиться только у французов — нации, не имеющей в характере своем глубокой, неподвижной физиономии; но когда русский, еще несколько суровый, тяжелый характер заставляют вертеться петиметром... мне так и представляется, что наш тучный и сметливый купец с широкою бородою, не знавши на ноге своей ничего другого, кроме тяжелого сапога, надел вместо него узенький башмачок и чулки à jour, а другую ногу свою оставил просто в сапоге и стал таким образом в первую пару во французском кадриле.

Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! Даже немцы — ну кто бы мог подумать, что немцы, этот основательный, этот склонный к глубокому эстетическому наслаждению народ, — немцы теперь играют и пишут водевили, переделывают и клеят надутые и холодные мелодрамы! И пусть бы еще поветрие это занесено было могуществом мановения гения! Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно; в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканж и другие стали всемирными законодателями!.. Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти пять лет. О Мольер, великий Мольер! ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени их; ты, строгий, осмотрительный Лессинг, и ты, благородный, пламенный Шиллер, в таком поэтическом свете выказавший достоинство человека! взгляните, что делается после вас на нашей сцене; посмотрите, какое странное чудовище, под видом мелодрамы, забралось между нас! Где же жизнь наша? где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама...

Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключения, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, за то схватывается обеими руками посредственность. И вот жизнь

глубокого таланта течет во всем своем разливе, со всей стройностью, чистая, как зеркало, отражая с одинаковою ясностью и темные и светлые облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни ясного, ни темного.

Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. Все дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах! Как будто в наши европейские фраки переоделися сыны палящей Африки! Палачи, яды — эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия! Никогда еще не выходил из театра зритель растроганный, в слезах; напротив того, в каком-то тревожном состоянии торопливо садился он в карету и долго не мог собрать и сообразить своих мыслей. И среди нашего утонченного, образованного общества такой род зрелища! Невольно передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на которые собирался смотреть весь Рим в эпоху величайшего владычества своего и притупленного пресыщения. Но, слава Богу, мы еще не римляне и не на закате существования, но только на заре его! Если собрать все мелодрамы, какие были даны в наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы, или лучше — календарь, в котором записаны с календарною холодностию все странные происшествия, где против каждого числа выставлено: сегодня было в таком-то месте такое-то мошенничество; сегодня отрубили головы таким-то разбойникам и зажигателям; такой-то ремесленник зарезал тогда-то жену свою... и тому подобное. Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумающий искать нашего общества в наших мелодрамах.

Не удивительно, что балет и опера утешительнее и служат отдохновением: в них наслаждение спокойно. Опера принимается у нас очень жадно. До сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку «Роберта». «Семирамида», на которую за пять лет пред сим равнодушно глядела публика, «Семирамида» в нынешнее время, когда музыка Россини почти анахронизм, приводит в совершенный восторг

ту же самую публику. Об энтузиазме, произведенном оперою «Жизнь за Царя», и говорить нечего: он понятен и известен уже целой России. Об этой опере надобно говорить много или ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне кажется, что все музыкальные трактаты и рецензии должны быть скучны для самих музыкантов: в музыке огромнейшая часть ее невыразима и безотчетна. Музыкальные страсти — не житейские страсти; музыка иногда только выражает, или, лучше сказать, подделывается под голос наших страстей, для того чтобы, опершись на них, устремиться брызжущим и поющим фонтаном других страстей в другую сферу. Замечу только, что меломания более и более распространяется. Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в «Жизни за Царя», «Роберте», «Норме», «Фенелле» и «Семирамиде». Оперы даются почти два раза каждую неделю, выдерживают несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билет. Уж не наша ли славянская певучая природа так действует? И не есть ли это возврат к нашей старине после путешествия по чужой земле европейского просвещения, где около нас говорили всё непонятным языком и мелькали всё незнакомые люди, возврат на русской тройке, с заливающимся колокольчиком, с которым мы, пристав на бегу и помахивая шляпой, говорим: «В гостях хорошо, а дома лучше!»

Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украйна звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное, дворянство и недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами козак, заряжая пищаль свою, поет старинную песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своем творении две

славянские музыки; слышишь, где говорит русский и где поляк; у одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив польской мазурки.

Петербургские балеты блестят. Кстати о балетах вообще. Постановка балетов в Париже, Петербурге и Берлине ушла очень далеко; но надо заметить, что совершенствуется в них только богатство костюмов и богатство декораций; самая же сущность балета, изобретение его, нейдет в ряд с его постановкой; балетные композиторы очень мало нового показывают в танцах. До сих пор мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как француз, как азиатец. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостию, творец балета может брать из них сколько хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собою разумеется, что, схвативши в них первую стихию, он может развить ее и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений из простой, услышанной на улице песни создает целую поэму. По крайней мере, танцы будут иметь тогда более смысла, и таким образом может более образнообразиться этот легкий, воздушный и пламенный язык, доселе еще несколько стесненный и сжатый.

Петербург — большой охотник до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту в свежее морозное утро, во время которого небо золотисто-розового цвета перемежается сквозными облаками подымающегося из труб дыма, зайдите в это время в сени Александрийского театра: вы будете поражены упорным

терпением, с которым собравшийся народ осаждает грудью раздавателя билетов, высовывающего одну руку свою из окошка. Сколько толпится там лакеев всякого рода, начиная от того, который пришел в серой шинели и в шелковом цветном галстуке, но без шапки, до того, у которого трехэтажный воротник ливрейной шинели похож на пеструю суконную бабочку для вытирания перьев. Тут протираются и те чиновники, которым чистят сапоги кухарки и которым некого послать за билетом. Тут увидите, как прямо-русский герой, потеряв наконец терпение, доходит, к необыкновенному изумлению, по плечам всей толпы к окошку и получает билет. Тогда только вы узнаете, в какой степени видна у нас любовь к театру. И что же дается на наших театрах? — какие-нибудь мелодрамы и водевили!.. Сердит я на мелодрамы и водевили.

Положение русских актеров жалко. Перед ними трепещет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видели. Что им делать с этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определенной страсти и резкой физиономии? где выказаться? на чем развиться таланту? Ради Бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный — как связанный заяц... Мы так приглядeлись к французским бесцветным пьесам, что нам уже боязливо видеть свое. Если нам представят какой-нибудь живой характер, то мы уже думаем, не личность ли это, потому что представляемое лицо совсем не похоже на какого-нибудь пейзана, театрального тирана, рифмоплета, судью и тому подобные обношенные лица, которых таскают беззубые авторы в свои пьесы, как таскают на сцену вечных фигурантов, отплясывающих перед зрителями с тою же улыбкою свое лихо вытверженное в продолжение сорока лет па. Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвого поведения, то все надворные советники обидятся, а иной, совершенно другой советник, даже скажет: «Как же это? у меня есть родственник надворный советник, прекрасный человек! Как же можно сказать, что есть надворный советник нетрезвого поведения!» Как будто один может порочить все сословие!

И такая раздражительность у нас решительно распространена на все классы. Нужны ли примеры? Вспомните «Ревизора»...

Досадно. Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров, не в общих вытверженных чертах, но и в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек», — только такое изображение приносит существенную пользу. Из театра мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе, показывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство...

Но довольно о театре. Я заговорился о нем. Его зимний карнавал замыкает шумная неделя Петербурга, когда он одною половиною своего народонаселения летает на качелях, мчится, как вихорь, с ледяных гор, а другою превращается в длинную цепь карет и едва движется, равняемый жандармами, когда спектакли даются и днем и вечером и вся Адмиралтейская площадь засеяна скорлупами орехов...

Спокоен и грозен Великий пост. Кажется, слышен голос: «Стой, христианин; оглянись на жизнь свою». На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнее, обдуманнее потекут мои мысли. Весь пустой и ничтожный народ, верно, пролежит заспанный и утомленный и позабудет зайти потревожить меня пошлым разговором о висте, о литературе, о наградах, о театре.

Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. В это время они съезжаются из разных сторон Европы. Огромный концерт в пользу инвалидов всегда бывает величествен: четыреста музыкантов! это что-то могущественное. Когда согласный ропот четырехсот звуков раздается под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганием.

В продолжение поста в петербургскую атмосферу заглядывает солнце. Западная сторона с моря делается яснее. Север глядит с меньшею суровостью из своей Выборгской стороны. Экипажи

чаще останавливаются на улице и высаживают на тротуар гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект, упал совершенно: гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный Император любил Английскую набережную. Она, точно, прекрасна. Но тогда только, когда начались гулянья, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие всё в выигрыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно было получить толчков целою третью больше, нежели где-либо в другом месте...

К чему так быстро летит ничем не заменимое наше время? Кто его кличет к себе? Великий пост — какой спокойный, какой уединенный его отрывок! Чего нельзя сделать в эти семь недель? Теперь наконец займусь я основательно трудом своим. Теперь свершу я наконец то, чего не дали совершить мне шум и всеобщее волнение. Но вот уже на исходе первая неделя; не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже средина третьей, уже четвертая, уже ярмарка в Гостином дворе, и целая галерея верб с восковыми фруктами и цветами зацвела под темными его арками. Когда я проходил мимо этой пестрой аллеи, под тенью которой были навалены топорные детские игрушки, мне сделалось досадно. Я сердился и на краснощеких нянек, шатавшихся толпами, и на детей, радостно останавливавшихся перед кучами приятного для них сора, и на черномазого, приземистого и усатого грека, титуловавшего себя молдаванским кондитером, с его сомнительными и неопределенными вареньями. Лежавшие на столиках сапожные щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькие зеркальца мне казались противны. Народ все так же пестрится, теснится; те же чувства выражаются на лице его; с тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, два и три, и несколько лет, — а я и каждый человек из этого народа уже не тот: уже другие в нем чувства, нежели были за год пред сим; уже суровее мысли его; менее улыбается на устах душа его, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости.

Нева вскрылась рано. Льды, не тревоженные ветрами, успели истаять почти до вскрытия, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти в одно

время. Столица вдруг изменилась. И шпиц Петропавловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгская сторона, и Английская набережная — все получило картинный вид. Дымясь, влетел первый пароход. Первые лодки с чиновниками, солдатами, старухами няньками, английскими конторщиками понеслись с Васильевского и на Васильевский. Давно не помню я такой тихой и светлой погоды. Когда взошел я на Адмиралтейский бульвар, — это было накануне Светлого Воскресения вечером, — когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которою блестят две яшмовые вазы, когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны голубым туманом, строения стороны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи и в этой лилово-голубой мгле блестел один только шпиц Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы, — мне казалось, будто я был не в Петербурге: мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где все знаю и где то, чего нет в Петербурге... Вон и знакомый гребец, с которым я не видался более полугода, болтается со своим яликом у берега, и знакомые раздаются речи, и вода, и лето, которых не было в Петербурге.

Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом диком севере, она моя. Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность; с ней мое прошедшее более чем воспоминание: оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными, светлыми днями Христова Воскресения, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на угольном балагане, на котором нарисован был пребольшой рыжий черт с топором в руке. Больше я ничего не видел.

Светлым Воскресением, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видим на улице, укладывается в дорогу. Спектакли, балы после Светлого Воскресения — больше ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед

нет? Я читаю ее, читаю... и до сих пор не могу добраться до конца; чтение мое бесконечно. Я не знаю, где бы лучше могла быть проведена жизнь человека, для которого пошлые удовольствия света не имеют много цены. Это город и деревня вместе. Обширнейший город — и, при всем том, в две минуты вы уже можете очутиться за городом. Хотите — рисуйте, хотите — глядите... не хотите ни того, ни другого — воздух сам лезет вам в рот. Приглянет солнце (а оно глядит каждый день) — и ничего уже более не хочешь; кажется, ничего уже не может прибавиться к вашему счастию. А если случится, что нет солнца (что бывает так же редко, как в Петербурге солнце), то идите по церквам. На каждом шагу и в каждой церкви чудо живописи, старая картина, к подножию которой несут миллионы людей умиленное чувство изумления. Но небо, небо!.. Вообразите, иногда проходят два-три месяца, и оно от утра до вечера чисто, чисто — хоть бы одно облачко, хотя бы какой-нибудь лоскуточек его!

Но я разучился совсем писать письма; одно слово толкает другое, я мараю, ставлю ошибки... но когда-нибудь вы увидите записки, в которых отразились, может быть, верно впечатления души моей, где она вылила признательные движения свои, которых не могла бы излить открыто, не нарушая тонкой разборчивости тех, кому в глубине ее сожигается неугасимо жертвенный пламень благодарности. Там и те предметы, дива природы и искусства, к которым издалека мы несемся пламенной душой, в том виде, в каком она приняла их.

Ночи на вилле

Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Он безмолвно и невольно, казалось, уважал святыню ночного бдения. Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже две ночи, как мы говорили друг другу: ты. Как ближе после этого он стал мне! Он сидел все тот же кроткий, тихий, покорный. Боже, с какою радостью, с каким бы веселием я принял бы на себя его болезнь, и если бы моя смерть могла возвратить его к здоровью, с какою готовностью я бы кинулся тогда к ней.

Я не был у него эту ночь. Я решился наконец заснуть ее у себя. О, как пошла, как подла была эта ночь вместе с моим презренным сном! Я дурно спал ее, несмотря на то, что всю неделю проводил ночи без сна. Меня терзали мысли о нем. Мне он представлялся молящий, упрекающий. Я видел его глазами души. Я поспешил на другой день поутру и шел к нему как преступник. Он увидел меня лежащий в постели. Он усмехнулся тем же смехом ангела, которым привык усмехаться. Он дал мне руку. Пожал ее любовно: «Изменник! — сказал он мне. — Ты изменил мне». — «Ангел мой! — сказал я ему. — Прости меня. Я страдал сам твоим страданием, я терзался эту ночь. Не спокойствие был мой отдых, прости меня». Кроткий! Он пожал мою руку! Как я был полно вознагражден тогда за страдания, нанесенные мне моею глупо проведенною ночью. «Голова моя тяжела», — сказал он. Я стал его обмахивать веткою лавра. «Ах, как свежо и хорошо!» — говорил он. Его слова были тогда, что они были! Что бы я дал тогда, каких бы благ земных, презренных этих, подлых этих, гадких благ, нет! о них не стоит говорить. Ты, кому попадутся, если только попадутся, в руки эти нестройные слабые строки, бледные выражения моих чувств, ты поймешь меня. Иначе они не попадутся тебе. Ты поймешь, как гадка вся груда сокровищей и почестей, эта звенящая приманка деревянных кукол, называемых людьми. О, как бы тогда весело, с какой бы злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение на лице его.

«Что ты приготовил для меня такой дурной май!» — сказал он мне, проснувшись, сидя в креслах, услышав шумевший за стеклами окон ветер, срывавший благовония с цвевших диких жасминов и белых акаций и клубивший их вместе с листками роз.

В 10 часов я сошел к нему. Я его оставил за 3 часа до этого времени, чтобы отдохнуть немного и чтобы доставить какое-нибудь разнообразие, чтобы мой приход потом был ему приятнее. Я сошел к нему в 10 часов. Он уже более часу сидел один. Гости, бывшие у него, давно ушли. Он сидел один, томление скуки выражалось на лице его. Он меня увидел. Слегка махнул рукой. «Спаситель ты мой!» — сказал он мне. Они еще доныне раздаются в ушах моих, эти слова. «Ангел ты мой! ты скучал?» — «О, как скучал!» — отвечал он мне. Я поцеловал его в плечо. Он мне подставил свою щеку. Мы поцеловались. Он все еще жал мою руку.

Ночь 8

Он не любил и не ложился почти вовсе в постель. Он предпочитал свои кресла и то же свое сидячее положение. В ту ночь ему доктор велел отдохнуть. Он приподнялся неохотно и, опираясь на мое плечо, шел к своей постеле. Душенька мой! Его уставший взгляд, его теплый пестрый сюртук, медленное движение шагов его... Все это я вижу, все это передо мною. Он сказал мне на ухо, прислонившись к плечу и взглянувши на постель: «Теперь я пропавший человек». — «Мы всего только полчаса останемся в постеле, — сказал я ему. — Потом перейдем вновь в твои кресла».

Я глядел на тебя, мой милый, нежный цвет! Во все то время, как ты спал или только дремал на постеле и в креслах, я следил твои движения и твои мгновенья, прикованный непостижимою к тебе силою.

Как странно нова была тогда моя жизнь и как вместе с тем я читал в ней повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего. Но, мне кажется, трудно дать идею о ней: ко мне возвратился летучий свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками, и дружбы решительно юношеской, полной милых, почти младенческих мелочей и наперерыв

оказываемых знаков нежной привязанности; когда сладко смотреть очами в очи и когда весь готов на пожертвования, часто даже вовсе не нужные. И все эти чувства сладкие, молодые, свежие — увы! жители невозвратимого мира, — все эти чувства возвратились ко мне. Боже! Зачем? Я глядел на тебя. Милый мой молодой цвет! Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь. Так угаснувший огонь еще посылает на воздух последнее пламя, озарившее трепетно мрачные стены, чтобы потом скрыться навеки и...[1]

[1] *На этом рукопись обрывается.*

<Девицы Чабловы>

Девицы Чабловы, дочери [небогатых] бедных родителей, вышли вместе из института в одно время и вдруг очутились среди [большого] света, огромного, великого, со страхом и робостью в душе. Они были умны; каким образом они сделались умны, никто не знал, может бы<ть> это было внушено им от рождения как инстинкт, или, может быть, они умели извлечь [эти] крупицы опытности и здравого суждения из книг, которые им удалось читать, из которых не всякий умеет извлекать что-либо. Дело в том, что они задумали<сь> о своем существовании, и в то время, когда ветрен<ая> и малодушная бросается на свет без рассмотрения, как бабочка на свечу, они уже захотели сделать для себя план жизни и предначертать заранее для себя самих правила, [как] [по ко<торым>] в законах которых обращалась бы их жизнь. Вещь совершенно необыкновенная в девицах осьмнадцатилетних.

<Характер русского>

Характер русского несравненно тонее и хитрее, чем жителей всей Европы. Всякий из них, несмотря на самое тонкое остроумие, даже итальянец, простодушнее. Но русский всякий, даже неумный, может так притвориться, что [проведет всякого] и дурачит другого.

<Наброски к статье «Взгляд на составление Малороссии»>

<1. Вступление>

Как зародились стихии политического существован<ия> на юге нашего отечества, это ведомо всякому. Как с [варяжскими средства<ми>] помощию силы пришельце<в> основались и утвердились пункты будущего государ<ства>. Как Киев, Чернигов, Переяслав явились главными [над другими основами] между ними. Как Владимир постоянным и [долгим] долговременным правлением [приучил] дал вид единства и вид государства [южному краю] этим землям некогда независимых племе<н>, и внес туда [Веру] Христианскую. — Как бесчисленное число его родственников и потомков правило независимо городами [этого несовершенно образованного тела], строило новые и заселило мало-помалу неподвижными пунктами <всю страну...>

<2. Набросок к разделу V>

Вражды, войны, битвы и замировки были семейственные между Россией и Литвой. (Князья Рус<с>кие ходили часто в их леса и полонили их, а Литовцы [сильн<о>], не без пожертвований сильных, противились и часто, сжег<ши> свои жилища, убегали в леса, а оттуда, выждав случая, мстили, сильно нападая на беспечного князя врасплох (см. Мстислав в 1130). Князь Роман Ростисл<авович>, князь Смол<енский>, забравши в полон Литовцев, населил ими деревни. — «Зле, Романе, робишь, что Литвином орешь». Псковским провинциям, городам и селам, сопредельным с лесами, была беда от Литовских набегов. Псковитяне вторгались, полные мщения, несколько раз в их пределы, пустошили сильно их области, уводили их в плен вместе с скотом (см. Яросл<ав> Владим<ирович>, Князь Новгород<ский>). [Летописи Рус<с>ки<е>, начина<я> от 1<200>] История наша, начиная с 1200 года, наполнена битвами и взаимными вторжениями, отмщениями и опустошениями и уводами в плен Литовцев. У Новгорода и Пскова битвы с ними становились чаще

и чаще [в битвах сих укреп<лялись>]. Еще ни одного [имени] вождя, звонкого именем, не было слышно у Литовцев. Образ их войны, очевидно, [был] состоял из нападений хищнических толпами. Но в этих беспорядочн<ых> бранных движениях, однако ж, крепились мышцы Молодого Народа. Когда тягостная, [так] непостижимо завязавш<аяся> связь южной России с татарами и обратила туда всю деятельность, Литовцы [вр<аждовали>] умирялись и враждовали и вновь враждовали и вновь умирялись, побежденные, с Новгородцами, обложившими их данью. Влияние Татар, равномерно как и самое имя их, здесь почти было не слышно в этот период, когда [темная] кочующая Ордынская сила, подвергнув под свое дикое владычество, обвела какою-то тонкою цепью Рус<с>кие княжества и повергла их в онемение и рабскую недвижность. Происшествия дали силу Литовцам. То, что унизило Князей Рус<с>ких, то их возвысило. Им было легко устремляться на еще дымившиеся от Татарских пожаров села и развалины и скоро вслед за Татарами на еще дымившиеся села. И <они> явились скоро и беспрекословно владетелями многих мест в Южной Рос<с>ии. Таким образом они заняли <и> укрепили Новогродск, Гродно, Брест и Дрогичин. Они успели отстоять эти места у Татар и встретили, не бледнея, их Орды, насылавшие трепет на Россию. Общий враг сдружил [побежденных] Рус<с>ких с Литовцами. Имя князя Эрдивила раздалось, как имя победителя Мо<н>голов. [Села] Селения Рус<с>кие освобождались из-под Татар и очнулись под Литовским владычеством. Некоторые сопротивления и нападения на них были неудачны. Полоцк, [вос<с>тав<ший>] предпринявший это, был покорен, скоро взволновались также Пинск и Туров. Мо<н>голы видели, что этот новый сосед выхватывает, так сказать, изо рта их завоевания, и еще раз попробовали вооруженною силою набросить дань [на этот] и подвергнуть их под толпу подвластных себе племен, но это было безуспешно. Разбивши их, прогнавши <и> преследуя за Днепр, [они о<тняли>] Литовцы с соединенными южными Рус<с>кими войсками отняли у них Мозырь, Стародуб, Чернигов, Карачев и всю область северскую. [Пок<орители>] Новые обладатели южной России вели себя хорошо в отнош<ении> к подвергнувшимся их власти городам и весям. Связь их была, как у простых народов, братская, [условия не тяжелы]

ни собственность, ни вера не тронута. Хотя новые победители были язычники. Везде прежние обычаи городов, и даже [кажется] многие князья, кажется, остались те же. Некоторые из Литовских предводителей установили себе резиденции, где и остались. В Полоцке был Литовский князь Борис, который принял даже Христианство и женился на дочери Рус<с>кого великого князя Тверского, основал на границе своих владе<ний> на Березине город Борисов. С ним безуспешно боролись Смоленск и Псков, а преемник его Василий наложил дань на Псков. А другой владетель Литовский, Ольгимунд, победил Рус<с>кого Кн<язя> Давида Луцкого. В минуты опасности прибегали князья под Литовские знамена и в битве с татарами между Литовскими рядами видны были князи Киевский, Друцкой, Волынский и Луцкий.

<Наброски и материалы драмы из эпохи Богдана Хмельницкого>

<1>

<Заметки при чтении книги И.-Б. Шерера «annales de la petite Russie...». paris, 1788>

Гайдамаки, услышавши, сами приходят целою ватагою или полком.

Помнить, что между Рус<с>кими и Козацкими фамилиями были и Польские и что было две партии, Рус<с>кая и Польская.

[*Гетьманы* по Шереру]

Osman разбил [Турок] Поляков. Михайло Хмельницкий остался на месте, сражен, а сын Зиновий взят в плен, но два года после татарин [Jaris l'acheta et le men<a en Tartarie>] Ярис его выкупил из плена.

В битве с Турками при [Жол<кевском>] Цоцоре под Жолкевским Михаил Хмельницкий находился в качестве сотника. Он уже был секретарем или, лучше, принимателем у Старосты Чигиринского Ивана Даниловича.

<... неожи?>данно слышит дворянство и высокой род козаков именитых. Уважение черни к таковым.

Простые козаки, мещане и купцы платили в казну разные подати. Избирали благородные.[1]

Слова два скажу о языке.

Несправедливо приписывают Древним козакам козацкие и чумацкие какие-то поступки. Что придали и заставили их так говорить и действовать бандуристы — это не доказательство, они пересказы<вали> по своим понятиям и речам. Песни сочинялись

[1] *Далее в рукописи треть листа осталась незаполненной.*

в народе и [часто уже] большею частию после той эпохи, которую они изображают.

Староство Чигиринское было очень значитель<но>. Глава <его> Чаплинский с подстарост<ы> был сделан Гетьманом. «Мать Козацкая еще не умерла, по крайней мере, пока имеем саблю, имеем эту надежду». — Субботово было подарено Хмельницк<ому> Михаилу Чигиринск<им> покойным старостою. Чаплинский притеснил и отнял его у Хмельницкого.

<2>

<Заметки при чтении «Описания Украйны» Г. де Боплана. СПб., 1832>

Распоряжение полковника:

Смотрите, не так одевайтесь, как Ляхи, которые как навешают около себя [и баклагу] и веревок, и точил, и ложек, и платков, еще и сумку с гребенками и с бельем, и чару, да еще к седлу и баклагу привяжут в ведро величиною. Ничего не рубите кроме пи<к>, веревок не нужно; нечего вязать пленного, только времени трата.

Козаки берут пленников у турок и проч., только малолетних; употребляют их в услужение или даря<т> польским магнатам.

Лучше, чтобы козак был и мастеровой; у запорожцев много было мастеровых: кузнецы, оружейники, тележники, плотники для постройки домов и лодок [и], кожевники, сапожники, бочары, портные и пр.

Козаки добывают селитру и делают сами порох пушечный.

Женщины ткут полотна и сукна.

Все козаки умеют пахать, сеять, печь хлебы, готовить кушанье и варить пиво [б<рагу>], мед, брагу, гнать водку.

Изобилие хлеба дает почувствовать лень, и труд только тогда, когда нет денег.

[Воздержание], строгое соблюдение постов.

Огородка телегами табора.

Крестьяне работают три дня в неделю и за землю должны давать господину несколько четвериков хлеба, несколько пар каплунов, кур, цыплят, гусей. Оброк собирается около Пасхи, Духова дня и Рождества. Сверх того они возят дрова на господский двор и исполняют тысячи других обяза<нностей>.

Денежный оброк. Десятина с овец, свиней, меду, плодов. По прошествии трех лет они отдают 3-го вола.

За новорожденных детей, особенно мужеского пола, и за венчание платилось по грошу.

Занятия главные козаков в мирное время — охота, рыбная ловля.

Терехтемиров среди неприступных скал.

Черкасы.	Боровицы.	Кременчуг.
Канев.	Вороновка.	Тарентский Рог.
	Чигирин.	
	Дуброва.	

Курган Романов, где козаки держали иногда свои рад<ы> <и> собирали войско.

Острова на Днепре.

Монастырский остров.

Конский остров.

Самара впадает в Днепр против него. Она обильна рыбою и берега ее воском, медом и строев<ым> лесом и дичиною. Козаки называют ее святою рекою.

Князев остров.

Козацкий остров.

У Козаков есть обычай принимать в свои ряды того, кто проплывет все пороги против течения.

Большой остров и около него десятки тысяч островов, которые служили скарбницами для козак<ов>. В Войсковой скарбнице делили они свою добычу.

Козаки кое-где говорят о житье татар и об домах на двух колесах.

Козаки [переплывают вплавь] ходят вброд пролив и на косе похищают из ханских та<бунов> лошадей.

С семи лет татарченок уже живет на своей воле, уже не спит в юрте и достает себе пищу сам стрелами.

Татары носят сапоги красные, сафьянные, а тулуп вывернет шерстью вверх. И такой легкий, как птица: как только увидит заводского коня, так на него разом и перескочит, а его конь все бежит сбоку, так что потом он опять на его перескочит.

А ест он кобылину, а свинины, так, как и жид, не станет есть.

И что попадет, то все и заберет: бабу с грудным младенцем, быка, корову, овец, коз и проч. А свиньи не возьмет, бесовский сын. Возьмут свиней всех, заколют в овине, да и зажгут.

Так проклятые и норовят, чтобы стать спиною к солнцу; а как солнце в глаза, ну, что ты прикажешь? ни за что не рассмотришь, только жмуришь глаза.

[Варит] Запасается козак вареным просом, ест саламату.

Полковник приказывает на повозки брать съестное и все лишнее, а с собой кроме оружия ничего не брать.

Крестьянам позволяется варить пиво только во время свадьбы и крестин.

<3>

Улицы древней Варшавы

В Старом Месте домов 39
На улице Новомиейской........ 12
На Кривом Коле............... 18
Улица Св. Яна.................. 6
Гродская (где ныне Замок)...... 23
Вернардинская 9
Св. Марчина.................... 13
Пьекарская 17

Пивная........................ 15
Жидовская неизве<стно> какая... 5
Дунаю........................ 12
Фрета........................ 24
Валишевье.................... 34
Рыбитвье над Вислой........... 86
На Рынке в предместь<е>....... 40
Там же монастырских.......... 10
Поповских..................... 2
Mieyskich...................... 7

Свиенто Krzyska, где теперь часть Краковского предместья.......

<4>

Как нужно создать эту драму

Облечь ее в месячную ночь и ее серебряное сияние и в роскошное дыхание юга.

Облить ее сверкающим потопом солнечных ярких лучей, и да исполнится она вся нестерпимого блеска!

Осветить ее всю минувшим и вызванным из строя удалившихся веков, полным старины временем, обвить разгулом, козачком и всем раздольем воли.

И в потоп речей неугасаемой страсти, и в решительный, отрывистый лаконизм силы и свободы, и в ужасный, дышащий диким мщением порыв, и в грубые, суровые добродетели, и в железные, несмягченные пороки, и в самоотвержение неслыханное, дикое и нечеловечески великодушное.

И в беспечность забубённых веков.

Отвечает сравнением, иносказательно: «Правда, случается, что вол падал, издыхал, — но под рукою человека, которому Бог дал ум на то, чтобы сделать нож; но никогда еще не случалось, чтобы бык погибал от свиньи».

Делает распоряжения о продаже рыбы, о запасе на зиму, именно на такое-то время, потому что тогда хлопцы пьянствуют. О покупке соли, о баштанах, хлебах, о порохе, ружьях, кунтушах

для солдат. — «Войны, кажется, ожидать не нужно, потому что мужицкая и козацкая сноровка бунтовать, — так, чтобы не побунтовать, не может проклятый народ; так вот у него рука чешется; дармоедничает да повесничает по шинкам да по улицам».

Монахам такого-то монастыря купить вытканные и шитые утиральники.

Рыцарские

Не поединки, а разделываются драками; набравши с собою сколько можно больше слуг и выехавши на поле, нападает на своих противников.

Мужики

Разговор между мужиками. «Вздорожало все, дорого. За землю, ей-Богу, не длиннее вот этого пальца — двадцать четвериков, четыре пары цыплят, к Духову дню да к Пасхе — пару гусей, да десять с каждой свиньи, с меду, да и после каждых трех лет третьего вола».

Рассказывают про клады и сокровища запорожцев. «Уйду на Запорожье, здесь всякий черт тебя колотит».

Демьян превращается в кашевара, Самко в перекупщика.

Выдумать, как запала мысль в голову молодому дворянину. Чисто козацкое изобретение, как подговорить. Лукаш говорит, что он ничего не значит, что нужно склонить полковников. Народ обступает их домы, и вынуждают... И сказать, каким же образом...

Входят, возвещают и советуют бежать.

«Бегите и спасайтесь, жены и бабы! Ляхи за нами, и грабят и жгут». В этом положении находят. Укладывается старушка, плачет, расставаясь с прежним жилищем, где столько пробыла и откуда никуда не выходила.

Вдохновенная, небесноухающая, чудесная ночь. Любишь ли ты меня? По-прежнему ли ты глядишь на своего любимца, не изменившегося ни годами, ни тратами, и горишь, и блещешь ему в очи, и целуешь его в уста и лоб? Ты так же ли, по-прежнему ли смеешься, месячный свет? О Боже, Боже, Боже! Такие ли звуки, такие снуются и дрожат в тебе? Клянусь, я слышал эти звуки, я слышал их один в то время, когда я перед окном; на груди рубашка раздернута, и грудь и шея моя навстречу освежительному ночному ветру. Какой божественный, и какой чудесный и обновительный, утомительный, дышащий негой и благовонием, рай и небеса — ветер ночной. Дышащий радостным холодом ветер урывками обнимал меня и обхватывал своими объятиями, и убегал, и вновь возвращался обнимать меня, а черные, угрюмые массы лесу, нагнувшись, издали глядели, и над ними стоял торжественный, несмущенный воздух. И вдруг соловей... О небеса, как загорелось все, как вспыхнуло! У, какой гром... А месяц, месяц... Отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, молодую крепость сил моих, меня, меня свежего — того, который был. О, невозвратимо все, что ни есть в свете.

Сказавши монолог, долго кричит. Выходит мать. «Дочь, у тебя болит голова», — и прочее.

— Нет, не голова. Болею я вся, болят мои руки, болят мои ноги, болит грудь моя, болит моя душа, болит мое сердце. Огонь во мне. Воды, мать моя, матушка, мамуся. Дай такой воды, чтобы загасила жгущее меня пламя. О, проклята моя злодейка, и проклят род твой и прокляты те сво...[1] что кричали. Мать моя, матушка, зачем ты меня породила такую несчастную? Ты, видно, не ходила в церковь; ты, видно, не молилась Богу, ты, видно, в нечистой воде искупалась, в ядовитом зелье, на котором проползла гадина.

— Внутри рвет меня, все не мило мне: ни земля, ни небо, ни все, что вокруг меня.

---

[1] *Слово недописано.*

Отречение от мира совершенное. А между тем рисуется прежнее счастие и богатство, которое могло... Прощание слезное с молодыми летами, с молодыми радостями, со всем, и строгое покорение судьбе. Обеты и как будет молиться, как припадать к иконе: «И все буду плакать, и ничего никакой пищи бедному сердцу, не порадую его никаким воспоминанием».

И вдруг. Здесь встреча с соперницей в уничтоженном состоянии, и все вспыхивает вновь во всем огне и силе. Потоки упреков и злобная радость. Потом опомнивается и вспоминает об обетах, бросается на колени и просит прощения.

<5>

Народ кипит и толчется на площади, около дома обоих полковников, требуя их принять участие в деле, начальство над ними. Полковник выходит на крыльцо, увещевает, уговаривает, представляет невозможность.

<Рецензия для «Москвитянина»>

Утренняя Заря. <Альманах на 1842 год, изданный В. Владиславлевым. С.-Петербург. В типогр. III отдел, собств. Е. И. В. канцелярии. 1842 г., в 16-ю, 369 стр.>

Начнем блестящим изделием типографической роскоши, легким, сверкающим цветком, приветствующим наступающий 1842-й год.

Альманах «Утренняя заря» с каждым годом издается роскошней. Он украшен теперь портретами красавиц Петербурга. Портрет Ее Импера<торского> Высочества Марьи Александровны предводит ими. Выражением и мыслью сквозят черты его, и, верно, всякой русской накануне Нового года всмотрится в них внимательней, как во что-то светлое, пророческое. Все прочие портреты прекрасны. Не без тайной внутренней гордости рассматриваешь их, видя, что едва ли красавицы Севера не возьмут верх над красавицами, украшающими европейские кипсеки. Портрет графини Елены Миха<й>ловны Завадовской блещет всею роскошью ее неувядаемой красоты. Светлая ясность простоты отражается в лице графини Софьи Александровны Бенкендорф. Южной полнотой взгляда озарено лицо баронессы Екатерины Николаевны Менгден. Наконец, тип чисто славянской красоты виден в профиле княжны Марьи Ивановны Барятинской. Помещение портретов сияющих наших современниц есть у нас дело еще новое. Их будет рассматривать с жадностью житель отдаленного угла России, куда едва доходят слухи о столице, и не один одаренный высоким художественным вкусом полюбуется ими,

Благоговея богомольно
Перед святыней красоты,

как сказал Пушкин. И всякой на этот текущий год будет еще радостней дарить или получать «Утренню<ю> зарю».

Жаль подвергнуть это блестящее изделье черствому перу суровой критики. Она пред ним остановится, как пред нежным мотыльком или цветком, боясь дуновеньем своим лишить его свежести. Содержанье его вполне соответствует своему значению. Это легкое будуарное чтение красавицы. Светский слог, гладкость

языка, строгое приличье во многих повестях и легкая грациозность некоторых стихов, словом, это сияющая игрушка. Повести самого издателя блещут живостью и легкостью. В них то же обычное ему искусство незначащий предмет обращать в занимательный. «Картезианский монастырь» Жуковой и «Черногорцы» Надеждина выходят рельефнее других... Что до стихов, то читатель, верно, остановится над «Любовью мертвеца» Лермонтова, «Дорожною думою» князя Вяземского. Кроме того, мелькают в «Утренней заре» имена Кольцова, Бенедиктова, графа Соллогуба, Кукольника. Но зачем рассказывать, что в ней читатель найдет? Пусть лучше разносится этот блестящий мотылек по всем концам России и светло поздравляет с Новым годом всех от Камчатки до берегов Тавриды.

Приложение

Переводы под редакцией Н. В. Гоголя. Пьесы для бенефисов М. С. Щепкина

Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою

Комедия в одном действии, Мольера

Перевод с французского под редакцией Гоголя

Действующие лица

Горгибус, *мещанин.*
Целия, *дочь его.*
Лелий, *влюбленный в Целию.*
Гро-Рене, *слуга Лелия.*
Сганарель, *мещанин.*
Жена его.
Виллебрекень, *отец Валерия.*
Горничная Целии.
Родственник жены Сганареля.

Явление 1-е

Горгибус, Целия и горничная.

Целия *(выходя в слезах)*. Нет, нет! не думайте, чтоб я согласилась!

Горгибус. Что ты там бормочешь? Дерзкая девчонка! Идти против моей воли! Да разве я не имею над тобой полной власти? Да кто из нас двух знает, что кому полезно, ты или я? Глупая, неужели ты лучше меня знаешь, что для тебя полезнее? Берегись, не раздражай меня, а то я, пожалуй, покажу, что рука моя еще не совсем обессилела. Лучше всего, госпожа своевольница, без дальних околичностей, идти за человека, которого я назначаю. «Да как же, папенька», говоришь ты: «я не знаю-с его характера, надобно подумать». Черт возьми, что тут обдумывать,

и как не любить? Да какие еще прелести надобно, когда у него наследство? Ручаюсь, что с двадцатью тысячами дукатов он прекраснейший человек.

Целия. Ах!

Горгибус. Ну, что «ах!» Что значит этот «ах»? Посмотрите, пожалуйста, какие она отпускает прекрасные ахи! Послушай, если ты меня взбесишь, то я тебя заставлю ахать другим порядком. Вот плоды этих проклятых романов, которыми изволишь забавляться и дни, и ночи! Голова твоя набита любовными фразами; ты больше думаешь о Клелии, чем о Боге. Нет, сударыня, в огонь, в огонь все эти вредные книги, которые с каждым днем развращают больше и больше умов! Читайте-ка лучше четверостишия Пибрака да ученые «Таблицы» советника Матьё; эти назидательные сочинения стоит выучить наизусть. Не худо бы заняться и «Путеводителем грешников»: из него можно научиться, как должно жить. И если б ты занималась только такими творениями, так не стала бы противоречить моим желаниям.

Целия. Как, папенька, вы думаете, что я могу забыть Лелия? Конечно, я не могла бы решиться ни на что без вашего согласия, но ведь вы сами дали за меня слово.

Горгибус. Да если б я дал двадцать слов, так какое до того дело, когда явился человек, которого деньги дороже всякого слова? Правда, Лелий недурен собой, но, милая, состояние важнее всего: золото придает даже и уроду какую-то прелесть, с ним нельзя не понравиться; а без золота все остальное — нуль. Конечно, ты не любишь Валера; это ничего: полюбишь, когда будешь за ним замужем. В слове муж есть что-то увлекательное, и любовь часто бывает плодом женитьбы. Да впрочем, что ж я это за дурак, пустился в рассуждения, когда могу приказывать? Прошу не беспокоить меня глупыми вздохами. Мой будущий зять явится сегодня вечером. Прошу принять его хорошенько, и Боже тебя избави делать ему кислые рожицы. Ни слова, ни слова более! *(Уходит.)*

Явление 2-е

Прежние без Горгибуса.

Горничная. Как, сударыня, и вы еще колеблетесь, когда вам предлагают мужа? И вы боитесь произнести это очаровател-

ное да? Ах, Боже мой, что это меня никто не постарается выдать замуж? Вместо того, чтобы плакать над одним да, сию же минуту наговорила бы их дюжину. Учитель вашего братца говорит правду, что женщина — точно плющ, который хорош только, когда вьется около дерева, и не значит решительно ничего, от него когда отделится. Ах, я, бедная грешница, очень чувствую, как это справедливо! Бедный мой Мартын, упокой Бог его душу! При нем я была такая полненькая, такая румяненькая, на душе было так весело! Теперь совсем не то. Когда он был жив, я, бывало, зимой лягу в нетопленной комнате, а теперь дрожу в июле. О, сударыня, вы себе и представить не можете, что такое иметь возле себя мужа, хоть бы только для того, чтоб сказать: «здравствуй!» когда чихнет.

Целия. Как? и ты можешь мне советовать оставить, забыть Лелия? взять такой грех на душу?

Горничная. Да помилуйте, что ж он за урод, — нашел время путешествовать! Право, мне что-то сдается, что он забыл вас.

Целия *(показывая портрет Лелия)*. О, не убивай меня таким ужасным предсказанием! Вглядись хорошенько в это лицо: ну, может ли оно изменить? А этот портрет так похож! Нет, он не может обманывать.

Горничная. Да, он не дурен: конечно, нельзя не любить его.

Целия. А между тем надобно... Ах, поддержи меня! *(Роняет портрет.)*

Горничная. Боже мой! что с вами? Как она побледнела! Помогите! помогите!

Явление 3-е

Те же и Сганарель.

Сганарель. Что, что тут такое?

Горничная. Барышня умирает.

Сганарель. Только-то? Я думал, что и Бог знает, что случилось. Впрочем, посмотрим. Сударыня! А? Вы умерли?.. Она не говорит ни слова.

Горничная. Постойте, я сбегаю за людьми, а вы покамест поддержите ее. *(Убегает.)*

Явление 4-е

Целия, Сганарель и жена Сганареля.

Сганарель *(прикладывая руку к груди Целии.)* Она холоднехонька. Что тут делать? *(Нагибается щекой к губам ее.)* Однако ж, черт возьми, кажется, она дышит! Решительно — дышит.

Жена Сганареля *(выглядывает в окно).* Это что такое? Мой муж в объятиях женщины! Вероломный! теперь-то я подстерегу тебя.

Сганарель. Надобно бы помочь ей. Право, я не знаю ничего глупее, как умирать, тогда как и здесь можно еще пристроиться как нельзя лучше. *(Уносит ее в дом Горгибуса.)*

Явление 5-е

Жена Сганареля (одна).

Жена Сганареля. Куда же он пропал? Теперь все ясно: он изменяет мне. Теперь я не удивляюсь холодности, которой он отвечает на мою целомудренную страсть. Злодей! он бережет свои ласки для другой. Вот таковы-то все мужья! Позволенное надоедает им как раз; они скоро относят в другое место то, что должно бы оставлять дома. Сначала покорные рабы, готовы для вас на все, а там вы им прискучили. О, как это досадно, что нельзя менять мужей, как рубашки! Швырнула вон — и концы в воду! Как бы это было покойно, особливо теперь для меня! *(Поднимает портрет, уроненный Целией.)* Это что такое? Медальон! Какая прекрасная эмаль! Откроем!

Явление 6-е

Сганарель и жена его.

Сганарель *(не замечая жены).* Живехонька! Здоровехонька! Как ни в чем не бывало. А, жена!

Жена Сганареля *(не видя его).* Ах, Боже мой, какой хорошенький мужчина!

Сганарель *(в сторону, глядя через плечо жены).* Что это она рассматривает с таким вниманием? Портрет мужчины, и молодого, и не дурного! Тут ничего я не вижу хорошего для моей чести.

Жена Сганареля *(не видя мужа).* Я никогда не видала лица красивее. И как он славно пахнет!

Сганарель. Черт возьми, да она целует его! О, варварка, зарезала!

Жена Сганареля *(все еще не видя мужа).* Что ни говори, а надобно признаться, что приятно быть любимой таким красавцем, что искушение так сладко, так непреодолимо. Ах! зачем я не имею такого прекрасного мужа наместо моего плешивого урода!

Сганарель *(вырывая портрет из ее рук).* А, сударыня, попались! Попались в злоумышлении на мою личность! Попались в злоумышлении на мою честь! Так, по вашему расчету, моя дорогая половина, супруг ваш не стоит вас? Да, — тысячи чертей, которым бы не худо принять вас в свои объятия, — когда же бы вы могли составить лучшую партию? А что во мне есть такого, что бы было, например сказать, нехорошо? Этот, например, стан; эта походка, которой все удивляются; это лицо, невольно внушающее любовь, от которого вздыхала не одна особа и почище вас. А весь я разве такой кусок, которым можно быть недовольной? И, чтоб насытить ваш волчий аппетит, вам мало мужа — подавай вам еще волокиту!

Жена Сганареля. Понимаю, понимаю! Ты думаешь этой хитростью...

Сганарель. Дурачь других! Все ясно: в руках моих доказательство...

Жена Сганареля. Мое негодование и без того сильно; тут не к чему еще его усиливать. Отдай мне мой медальон и подумай лучше...

Сганарель. Думаю, сударыня, думаю сломить вам шею. О, если б вместо портрета попался мне в руки сам подлинник!

Жена Сганареля. Для чего?

Сганарель. Так, моя милая; ни для чего. Я виноват, что так раскричался, я должен благодарить тебя за приятное украшение моего чела. *(Смотря на портрет).* А, вот и он, прелестный сотрудник, с которым...

Жена Сганареля. С которым?... Продолжай!

Сганарель. С которым... А я, между тем, чуть не тресну от гнева!

Жена Сганареля. Что хочет мне этим сказать этот пьяница?

Сганарель. Не прикидывайся! Ты меня хорошо понимаешь. Отныне Сганарель — это такое имя, которое ты не должна

сметь произносить, а называть меня просто «господин Корнелиус». Я постою за свою честь, а тебе я за нее попробую пересчитать ребра.

Жена Сганареля. И ты можешь говорить мне такие дерзости?

Сганарель. А ты можешь шутить со мною такими шутками?

Жена Сганареля. Да что же я сделала? Говори яснее!

Сганарель. Да безделица! Вовсе не стоит жаловаться! Произвела в олени! Вот, что называется: придите — поглядите!

Жена Сганареля. Бесстыдный! ты наносишь мне оскорбление, какое когда-либо могла вынести женщина, да еще прикидываешься рассерженным, выдумываешь басни, чтобы предупредить мое негодование. Вот истинно прекрасный способ: сам же оскорбитель хочет сделаться обвинителем!

Сганарель. Прошу покорно! Глядя на это гордое, обиженное лицо, подумаешь, что честная женщина!..

Жена Сганареля. Ступай, ухаживай за своими прелестницами, неси им свои нежности! А мне портрет отдай! *(Вырывает и убегает.)*

Сганарель. Э, нет, постой! Я могу и отнять его. *(Убегает за ней.)*

Явление 7-е

Лелий и Гро-Рене.

Гро-Рене. Наконец, мы приехали. Но скажите же, сударь: если вы позволите, я бы спросил вас об одном.

Лелий. Говори.

Гро-Рене. Что за дьявол сидит в вашем теле? Вы как будто ни в чем не бывало. Целых восемь дней тряслись мы на проклятых кляченках — у меня все члены одеревенели. Я уже не говорю ничего, что сталось с чувствительнейшей частью моего тела от проклятой тряски. А с вас — как с гуся вода: вы ни на минуту не прилегли отдохнуть, ни кусочка не сели.

Лелий. Меня встревожили слухи о браке Целии. Ты знаешь, как я ее люблю. Как тут думать об отдыхе, об пище? Прежде всего мне надобно разведать: справедливы ли эти слухи.

Гро-Рене. Да, но все-таки покушать-то бы вам не мешало, прежде чем пуститесь вы разведывать. Ей-Богу! Когда в желуд-

ке у человека хорошо, так и смелость откуда берется, и крепость, и лучше как-то все делается. Я сужу по себе: когда со мной приключится какое-нибудь несчастие натощак, то оно так меня и растормошит; но когда я хорошенько поем, душа у меня становится так крепка, что бей по ней хоть молотком, ничего! Право, послушайтесь меня. А чтоб горю не дать продраться до сердца, сделайте вокруг себя ограду из двадцати стаканов вина.

Лелий. Я теперь не в состоянии ни пить, ни есть...

Гро-Рене *(в сторону).* Ну вот, прошу покорно, а я умираю с голоду. *(Громко.)* А ваш обед поспел бы в несколько минут.

Лелий. Молчи — я тебе приказываю.

Гро-Рене. О, Боже мой! Какое бесчеловечное приказание!

Лелий. Меня мучит неизвестность, а не голод.

Гро-Рене. А меня голод и неизвестность — когда будем обедать.

Лелий. Не надоедай мне своими глупостями и убирайся есть, если хочешь.

Гро-Рене. Я не смею противиться вашим приказаниям. *(Уходит.)*

Явление 8-е

Лелий (один).

Нет, нет, это вздор! Отец дал мне слово; а она, я не сомневаюсь, она меня любит!

Явление 9-е

Лелий и Сганарель.

Сганарель *(не видя Лелия, с портретом в руках).* Он в моих руках. Теперь я могу вдоволь насмотреться на рожу мерзавца, вздумавшего срамить меня. Лицо решительно незнакомое.

Лелий *(в сторону).* Боже! что я вижу! Кажется, это мой портрет! Что это значит?

Сганарель. Бедный, бедный Сганарель! Вот тебе твое честное имя, твоя репутация! Недостает... *(Заметив, что Лелий смотрит на него пристально, отворачивается в другую сторону.)*

Лелий. Как попал залог моей любви в руки этого человека?

Сганарель. Недостает только, чтоб на тебя показывали пальцами, чтоб тебя поместили в какую-нибудь неблагопристойную песню, чтоб тебе подносили под нос твое же бесчестие!

Лелий *(в сторону).* Но не ошибаюсь ли я?

Сганарель *(в сторону).* Гнусная женщина! Подарить меня рогами в цвете лет! Променять меня, почти красавца, на этого поджарого молокососа!

Лелий *(не спуская глаз с портрета).* Нет, я не ошибаюсь: это мой портрет.

Сганарель *(оборачиваясь к нему спиной).* Что за странное любопытство!

Лелий. Я вне себя от удивления!

Сганарель. Что ему надобно?

Лелий. Я подойду к нему. Позвольте! *(Сганарель хочет уйти.)* Ради Бога, одно слово!

Сганарель. Что вам угодно?

Лелий. Скажите, каким образом попался в ваши руки этот портрет?

Сганарель *(в сторону).* Что ему за нужда до этого портрета? Э, э! Что это? *(Посматривает то на портрет, то на Лелия.)* Вот тебе на! Ну, что ж тут удивительного, что он смутился! Это он — мой почтеннейший друг, или, лучше, любезнейший друг моей жены.

Лелий. Бога ради, отвечайте мне: откуда?..

Сганарель. Мы, слава Богу, знаем, что вас так беспокоит. Это портрет ваш; он был в знакомых вам руках. Любовь ваша для нас не тайна. Не знаю, известна ли вам моя особа, но осмеливаюсь просить вас избавить меня <от> чести, которую делаете мне своей любовью. Прошу вас вспомнить, что священные узы брака...

Лелий. Как? Та, от которой вы получили этот залог...

Сганарель. Моя жена, а я — муж ее.

Лелий. Ее муж?

Сганарель. Да, муж, муж, говорю, — и муж, который духом не дюж. А почему, вы знаете: я сию же минуту объявлю об этом ее родственникам. *(Уходит.)*

Явление 10-е

Лелий (один).

Что я слышал? Все правда; меня не обманули. Изменить мне, и для кого же? для урода! Неблагодарная! И какая

причина?.. Голова кружится. Дорога и этот урод потрясли все существо мое. Я едва держусь на ногах.

Явление 11-е

Лелий и жена Сганареля.

Жена Сганареля *(не видя Лелия)*. Несмотря ни на что, вероломный... *(Заметивши Лелия)*. Что с вами? Вы едва держитесь на ногах.

Лелий. Так... дурнота...

Жена Сганареля. Вы можете упасть здесь. Взойдите в наш дом, побудьте у нас, пока пройдет этот припадок.

Лелий. Я воспользуюсь вашим позволением на две, на три минуты. *(Уходят.)*

Явление 12-е

Сганарель и родственник его жены.

Родственник. Я понимаю, что все это может обеспокоить мужа; но, любезнейший друг, из вашего рассказа я еще не вижу, чтоб она в самом деле была виновата. Дела такого рода чрезвычайно деликатны: необходимы ясные доказательства.

Сганарель. Ясные доказательства — то есть надо быть очевидцем?

Родственник. Поспешность часто вводит в заблуждение. Ведь вы еще не знаете, как попался в ее руки этот портрет; может быть, самый подлинник ей совсем неизвестен. Убедитесь прежде во всем, и тогда будьте уверены, что мы первые дадим ей почувствовать всю низость ее поступка. *(Уходит.)*

Явление 13-е

Сганарель (один).

Нельзя ничего лучше сказать! В самом деле, нужно приняться за это, как можно тише. Может быть, совершенно без всякой причины, пришло мне в голову это рогатое привидение, и меня слишком рано бросило в пот?.. Что ж портрет? — портрет еще ничего не доказывает. Портрет — и есть портрет. Лучше ж мы постараемся...

Явление 14-е

Сганарель и жена его, в дверях, провожая Лелия.

Сганарель *(в сторону).* Боже! что это такое? Умираю! Нет, черт возьми, тут уж не портрет, а самый подлинник.

Жена Сганареля. Вы напрасно так спешите! Отдохните еще немного: вам опять может сделаться дурно.

Лелий. Благодарю, благодарю, сударыня! Все прошло. Я вам очень обязан за вашу помощь.

Сганарель. Как рассыпается в вежливостях! *(Его жена уходит в дом.)*

Явление 15-е

Сганарель и Лелий.

Сганарель *(в сторону).* Он заметил меня; посмотрим, что-то он мне скажет.

Лелий *(в сторону).* Душа кипит при взгляде на него... Но кто ж виноват тут? Моя судьба! *(Проходя мимо Сганареля.)* О, как счастлив, кто владеет такой прелестной женой!

Явление 16-е

Сганарель и Целия (смотрят в окно вслед уходящему Лелию).

Сганарель. Ну, уж это совсем недвусмысленно. Это восклицание, признаюсь, смутило меня так, как будто бы здесь в самом деле... *(Потирает рукою лоб и смотрит вслед Лелию).* Признаюсь, в этом, кажется, нет ничего, что бы пахло честью.

Целия *(в сторону, выходя).* Что это значит? Здесь сейчас прошел Лелий, и от меня скрыли, что он приехал.

Сганарель *(не видя Целии).* «О, как счастлив тот, кто владеет такой прелестной женой!» А счастие-то в чем? Вероломная! безстыдница! Проводить честного гражданина, как дурака — и это счастие? И я позволяю ему покойно удаляться прочь и смотрю ему в след, сложа руки, как болван? Я должен бы, по крайней мере, сшибить с него шляпу, бросить в него камнем с мостовой, разодрать его шинель, закричать: «разбой, грабеж!»

Целия (*подходившая к нему постепенно в ожидании окончания монолога).* Скажите, вы знаете молодого человека, который сейчас к вам подходил?

Сганарель. Нет, сударыня, его знает моя жена.

Целия. Что с вами? Вы так расстроены.

Сганарель. Не обременяйте меня еще более огорчениями и позвольте мне испускать вздохи.

Целия. От чего такая необыкновенная печаль?

Сганарель. Если я огорчен, то уж, наверно, не из безделицы; а на несчастие ближнего я поглядел бы равнодушнее, чем на собственное мое. О! Вы видите перед собой модель несчастнейших мужей. У бедного Сганареля крадут, грабят его честь, — да этого еще мало, что честь: репутацию, репутацию, доброе имя, репутацию крадут.

Целия. Как это?

Сганарель. Негодяй, говоря просто, сделал меня мужем, над которым... вы понимаете, сударыня... в народе смеются, и сделал с неслыханною дерзостью!..

Целия. Тот, что сейчас ушел?

Сганарель. Да, да, бесчестит, срамит меня! Он обожает мою жену, моя жена обожает его.

Целия. Так вот что значит этот секретный приезд? Недаром я затрепетала, увидев его: это было предчувствие.

Сганарель. Благодарю, благодарю от души за ваше отрадное участие в моем бедственном положении! Ах! не все так добры, как вы. Многие вместо того, чтобы принять должное участие, еще подымут на смех.

Целия. Может ли быть что-нибудь ужаснее, чернее твоего поступка? Кто бы подумал, поверил?..

Сганарель. Это очень верно.

Целия. Изменник, предатель! Двуличная, коварная душа!

Сганарель. О, добрая душа!

Целия. Все наказания, какие только есть в аду, для тебя только еще маленькое наказание.

Сганарель. Вот что называется — хорошо говорить!

Целия. Обмануть таким образом самую чистейшую невинность!

Сганарель *(глубоко вздыхая)*. Ох, правда!

Целия. Сердце, которое никогда не подало повода к такому оскорблению!

Сганарель. Ох, правда!

Целия. Который вместо... но это ужасно, и сердце не может об этом помыслить, не разорвавшись от горести.

Сганарель. Успокойтесь немного, сударыня; вы принимаете во мне такое сильное участие, что я готов плакать.

Целия. Не воображайте, однако ж, чтоб я стала плакать, рыдать — нет! Я знаю, как отомстить. О, я отомщу! В этом никто не может мне воспрепятствовать. *(Уходит.)*

Явление 17-е

Сганарель (один).

Да сохранит ее Бог от всякой опасности! Посмотрите, какая доброта! За меня хочет мстить! Однако ж, негодование, возбужденное в ней моим несчастием, научает меня, что я должен делать. Нет, таких оскорблений нельзя и не должно выносить безропотно, если есть во лбу хоть крошка мозгу! Скорей отыщем негодяя и покажем нашу храбрость, как нужно отмщать бесчестье; отучим тешиться на наш счет и без должного почтения делать нас мужьями... мужьями... известно, какими. Потише, однако ж! Этот человек по виду, кажется, должен иметь кровь несколько горячую и нрав, я полагаю, даже взбалмошный. Он может, пожалуй, прибавлять оскорбление к оскорблению, похлопотать и около моей спины так же, как позаботился около моего лба. От души ненавижу людей холерического сложения и чувствую большую привязанность к людям кротким. Я вовсе не такой человек, чтобы бить других, ибо это кончится тем, что побьют тебя же. Кроткий нрав — это моя добродетель. Но честь мне говорит, что подобные оскорбления требуют непременного отмщения. Боже мой! Оставим говорить честь так, как она хочет! Впрочем, черт побери и того, кто не думает о ней! Но скажите, милостивая государыня — честь: если я расхрабрюсь и за все удальство негодяй меня проколет, как крысу, и по городу пойдет шум о моих похоронах... вы разве растолстеете от этого? Гроб был всегда постелью меланхолическою и нездоровою для людей, которые боятся колики. Нет, взвесив все хорошенько, я, право, нахожу, что быть рогатым все-таки сноснее, чем мертвым. Да если рассудить, в чем тут несчастие? Разве от этого будет у меня кривая нога, или не так хороша талия? Проклятье первому, кто выдумал

возмущать разум этими химерами, прицепить честь умнейшего из мужей к тому, что делает ветреная женщина! Ну, что за безумие отвечать за проступки других? Что жена там себе напакостит, все это взваливать на спину мужа! Они будут делать глупости, а мы оставаться в дураках! Это злоупотребление — и полицейские люди должны поправить его непременно. Разве мы не имеем и без того забот, неприятностей? То ссора, то процесс, то голод, то жажда, то болезнь, — нет, ведь этого еще мало: поди, оскорбляйся еще черт знает чем! Посмеемся же над этим и попрем ногами вздохи и слезы! Моя жена прогрешилась — ну, и плачь! Но зачем мне плакать, когда я не виноват? Да и что ж я за выскочка? Мало ли людей, и получше меня, смотрят, как ухаживают за их женами — и помалчивают! Не будем заводить ссоры из такой дряни. Меня назовут глупцом за то, что не отмстил, но ведь я буду больше дурак, когда умру. *(Кладет руку на грудь.)* Однако ж, я чувствую, что желчь моя шевелится, подстрекает меня на этакое мужественное деяние. Да, я начинаю приходить в ярость! Это уж слишком — быть трусом! Мщение! решительно мщение! И чтобы еще более укрепиться в ярости, сейчас говорю встречному и поперечному сам, что он в связи с моей женой. *(Уходит.)*

Явление 18-е

Горгибус, Целия и горничная.

Целия. Да, батюшка, я покоряюсь вашей воле: располагайте мною, я готова подписать контракт хоть сию минуту.

Горгибус. Вот это прекрасно! Я так рад, что готов танцевать и, право, протанцевал бы, если б мы были одни, а то осмеют ведь старика. Ну, подойди же ко мне, дай мне поцеловать тебя. Отец ведь всегда может поцеловать дочь свою: тут нет никакого соблазна. Удовольствие, которое ты мне доставила своим послушанием, сбросило с плеч моих, по крайней мере, десять дет. *(Уходит.)*

Явление 19-е

Целия и горничная.

Горничная. Скажите, что значит эта удивительная перемена?

Целия. О, если б ты знала, ты похвалила бы меня!

Горничная. Очень может быть.

Целия. Лелий изменил мне. Он был здесь...

Горничная. Да вот и он сам.

Явление 20-е

Те же и Лелий.

Лелий. Прежде, чем я оставлю навсегда этот город, я хочу упрекнуть вас на этом самом месте.

Целия. Как? и вы еще так дерзки, что решаетесь говорить со мной?

Лелий. О, конечно, я ужасно дерзок! Как сметь упрекать вас, когда ваш выбор так прекрасен! Нет ни одного упрека. Живите, живите счастливо, презирайте память обо мне вместе с вашим достойным супругом.

Целия. Да, вероломный, буду счастлива — буду счастлива тебе назло. И моя величайшая радость, если это тебе доставит досаду.

Лелий. Но скажите, кто возбудил ваш гнев против меня?

Целия. Как? и ты можешь еще разыгрыва]ть роль удивленного? спрашивать, что ты сделал?

Явление 21-е

Те же и Сганарель (вооруженный с ног до головы).

Сганарель. Война, смертельная война похитителю, который безжалостно ограбил нашу честь!

Целия *(показывая Лелию на Сганареля).* Обернись лучше — вместо ответа.

Лелий. А!

Целия. Этот предмет достаточен, чтоб тебя смутить.

Лелий. Но он еще более достаточен заставить вас краснеть.

Сганарель *(в сторону).* Я теперь достаточно сердит: теперь я могу действовать. Моя храбрость доходит до бешенства. Только бы с ним встретиться — кровопролитие, решительно кровопролитие! Я поклялся убить его, и ничто меня не остановит.

Смерть, смерть, где бы я ни отыскал его! *(Вытаскивая шпагу до половины, подходит к Лелию).* Нужно, чтоб я попал ему в самую середину сердца.

Лелий *(оборачиваясь).* Кому это?

Сганарель. Никому.

Лелий. К чему же это вооружение?

Сганарель. Так — от дождя. *(В сторону.)* Уж какое же я получу удовольствие, его убивши! Бодрей, бодрей!

Лелий *(снова оборачиваясь).* А? что?

Сганарель. Ничего, ничего. (*Бьет себя по щекам, чтобы придать себе храбрости и говорит про себя).* Да ну же, смелей! Приободрись, трус, куриное сердце!

Целия *(Лелию).* И глядя на этого человека, вы не сознаетесь?

Лелий. О, нет, сознаю ясно, что вы изменили мне ужаснейшим образом.

Сганарель *(в сторону).* Ну, если бы хоть крошечку храбрости!..

Целия. Неблагодарный! и ты еще можешь оскорблять меня так жестоко?

Сганарель *(в сторону).* А! Сганарель, смотри, она за тебя заступается. Да соберись же с духом, мой милый! Будь похрабрее — смелей, смелей! Коли его великодушно, когда он обернется к тебе спиной.

Лелий *(ненарочно сделав два или три шага, заставляет отступит Сганареля, который хотел его заколоть).* Если мои слова возбуждают ваш гнев, я очень рад — и от души хвалю ваш выбор.

Целия. Да, да, мой выбор такой, которого никто не может отменить.

Лелий. Прекрасно, и как не защищать вам его?

Сганарель. Без сомнения, прекрасно! Она хорошо делает, что защищает мои права. Такой поступок, милостивый государь, совершенно не в сообразность законам. Я имею право жаловаться, и если б я не был так благоразумен, то не обошлось бы без самого сверхъестественного кровопролития.

Лелий. Это что такое? Откуда это неуместное негодование?

Сганарель. Довольно! Вы знаете, в каком месте у меня болит. По совести и для спасения души вы должны сознаться, что моя жена — моя жена, и ваша претензия сделать ее в моих глазах вашим достоянием — вовсе не христианская.

Лелий. Такое подозрение и подло, и смешно. На этот счет вы можете быть совершенно покойны: я знаю, что она ваша, и вместо того, чтоб так сердиться...

Целия. А, изменник, как ты хорошо умеешь притворяться!

Лелий. Так вы подозреваете, что я замышлял на честь этого господина? Я не думал, чтобы вы могли так дурно обо мне думать.

Целия. Поговори, поговори с ним самим: он объяснит тебе.

Сганарель *(Целии)*. Нет, для чего же? Вы защищаете меня лучше, чем я сам; продолжайте, продолжайте; я вам очень благодарен.

Явление 22-е

Те же и жена Сганареля.

Жена Сганареля. Я не хочу, сударыня, ревновать к вам, однако ж, и не так простодушна, чтобы не видеть, что здесь делается. Замечу только, что вы могли бы заняться чем-нибудь получше, а не отнимать у меня сердца, которое мне одной принадлежит.

Целия. Объяснение довольно замысловатое.

Сганарель *(жене)*. Ну, кто тебя здесь спрашивает? Пришла с ней браниться, тогда как она меня защищает! Испугалась, чтоб у тебя не отняли любовника.

Целия. Полноте, не воображайте, чтоб кто-нибудь вам завидовал. *(Лелию.)* Ну, что же, права я? Неужели и теперь вы станете притворяться? О, как я рада!

Лелий. Что все это значит?

Горничная. Право, не знаю, когда кончится вся эта путаница. Слушаю, слушаю — и ничего не понимаю. Видно, придется мне вмешаться. *(Становится между Лелием и Целиею.)* Позвольте мне сделать вам несколько вопросов; но только не перебивайте. *(Лелию.)* В чем упрекаете вы мою барышню?

Лелий. В том, что она изменила мне. Услышав о ее несчастном сговоре, я лечу к ней, полный любви, не думая, чтобы она меня забыла, — и нахожу ее замужем.

Горничная. Замужем? Да за кем же?

Лелий *(показывая на Сганареля).* За ним.

Горничная. Как — за ним?

Лелий. Да, за ним.

Горничная. Кто ж вам это сказал?

Лелий. Он сам сегодня.

Горничная *(Сганарелю).* В самом деле?

Сганарель. Я? Я ему сказал, что я женат на моей жене.

Лелий. Да вы давеча в ужасном волнении смотрели на мой портрет.

Сганарель. Правда; вот он.

Лелий *(Сганарелю).* Вы мне сказали, что женаты на той, у которой взяли этот портрет.

Сганарель *(показывая на свою жену).* Совершенная правда, и если б я не вырвал его у ней из рук, никогда не открыл бы преступления.

Жена Сганареля. Помилуй, что ж тут за преступление? Я нашла его здесь, и даже не узнала по нем этого господина *(показывая на Лелия),* когда впустила его больного к нам в дом, после того, как ты взбесился на меня, Бог знает за что.

Целия. Да это я всему виною: я уронила его, когда упала в обморок.

Горничная. Видите, без меня вы бы и теперь были в обмороке; все моя чемерица!

Сганарель. Что ж в самом деле, так, стало быть, все это вздор? Однако ж, этот вздор заставил меня попотеть порядком.

Жена Сганареля. Все хорошо, однако ж я все-таки не совсем тебе верю.

Сганарель *(жене).* Ну, полно же, мой ангел, оставим все эти вздоры. Ведь все-таки я рисковал больше, чем ты! Ну, лапку!

Жена Сганареля. Пожалуй; но смотри, если я что-нибудь узнаю!

Целия *(Лелию, поговорив с ним потихоньку).* Боже мой! если так, что ж это я наделала? Я думала, что вы мне изменили, и чтоб отомстить, обещалась отдать руку ненавистному Валерию. Что теперь делать? Вот и папенька!

Лелий. Он сдержат данное мне слово.

Явление 23-е

Те же и Горгибус.

Лелий. Милостивый государь! я возвратился с тою ж пламенной любовью к вашей прелестной дочери и надеюсь, что вы не измените вашему слову и, наконец, согласитесь соединить нас.

Горгибус. Милостивый государь, возвратившийся с тою же пламенной любовью к моей дочери и обольщающий себя напрасною надеждою к соединению с ней! честь имею пребыть вашим покорнейшим слугой.

Лелий. Что это значит, милостивый государь? Вы отказываетесь?

Горгибус. Точно так, милостивый государь: так исполняю я свой долг, и дочь моя повинуется...

Целия. Обязанности исполнить, батюшка, данное вами обещание.

Горгибус. Как? это что за новая перемена? Давно ли ты соглашалась выйти за Валера, а теперь... Но вот отец его! Он, верно, спешит кончить дело.

Явление 24-е

Прежние и Виллебрекень.

Горгибус. Ну, что скажете, любезнейший Виллебрекень?

Виллебрекень. Чрезвычайная оказия! Я должен нарушить наше условие. Ныне я узнал, что мой сын уже несколько месяцев как женат, и я пришел...

Горгибус. Довольно! И я должен вам открыть, что я давно уже обещал руку моей дочери г. Лелию, которого при сем случае честь имею представить.

Виллебрекень. Очень, очень рад.

Лелий. О, как я счастлив!

Горгибус. Ну, пойдем же и назначим день свадьбы.

(Все уходят, кроме Сганареля.)

Сганарель *(один)*. Ну, скажите, пожалуйста, случалось ли кому-нибудь из вас быть, подобно мне, в такой твердой уверенности, что голова ваша увенчана украшением, ей-Богу, совсем

нелестным? Однако ж, вы видели сами, что самые ужасные видимости часто обманывают. Припоминайте же иногда этот случай и, если увидите что — не верьте! Право, не верьте!

Дядька в затруднительном положении

Комедия графа Джиованни Жиро

Перевод с итальянского под редакцией Гоголя

Действующие лица

Маркиз Джулио Антиквати.
Маркиз Энрико, *его сын.*
Госпожа Джильда Онорати, *жена Энрико.*
Бернардино, грудной ребенок, *их сын.*
Маркиз Пиппетто, *второй сын Джулио.*
Дон Грегорио Кордебоно, *дядька, гувернер в доме маркиза.*
Леонарда, *старая служанка.*
Симон, *слуга маркиза.*

Действие в Риме, в доме маркиза.

Действие первое

Явление I

Комната со многими дверями.
Маркиз Джулио и Леонарда.

Маркиз. Оставя всю эту болтовню в сторону, сказала ли ты Дон Грегорио, что я хочу с ним поговорить!?

Леонарда. Да, сударь.

Маркиз. Ну, и довольно; вот и всё.

Леонарда. Но так как он до сих пор не идет, то я хотела... потому что вы думаете, что я...

Маркиз. Придет, придет.

Леонарда. Мне кажется, однако ж, что это пренебрежение со стороны дядьки — заставлять себя дожидаться тогда, как сам господин дома зовет его.

Маркиз. Пожалуйста, об этом не заботься. Ты славная женщина; но не хочешь, вот во все время, что ни живешь в моем доме, бросить прескверную привычку — болтать и мешаться не в свои дела.

Леонарда. Что до меня, то я... Может быть, вы воображаете... Напротив, я говорю так, как... а впрочем...

Маркиз. Довольно! Ступай, тебе говорю.

Леонарда. Слушаю. *(Про себя.)* Это Дон Грегорио поссорил его со мною, и таким образом, что я не заметила когда, и ничего не могла этого предвидеть... Но я постарее его... то есть, я хотела сказать: я похитрее его. *(Уходит.)*

Явление II

Маркиз и Дон Грегорио.

Маркиз. Дай только этой женщине волю, не перестанет вечно болтать, ворча то на одного, то на другого.

Дон Грегорио. Извините, маркиз, что замедлил: письмо, которое...

Маркиз. Помилуйте, Дон Грегорио, напротив, простите меня, что вас побеспокоил. Я к вам имею нужду, любезнейший Дон Грегорио.

Дон Грегорио. Приказывайте, маркиз.

Маркиз. Признаюсь, меня смущала всегда ипохондрия, овладевшая с недавнего времени сыном моим Энрико; но сегодня, когда он вошел ко мне сказать доброго утра, он показался мне в таком положении, как я никогда не видал... Я за него боюсь.

Дон Грегорио. И на это вы имеете полную причину.

Маркиз. Почему?

Дон Грегорио. Почему!

Маркиз. Я не могу этого себе представить.

Дон Грегорио. И я также.

Маркиз. Он говорит, что совершенно здоров; доктор утверждает то же, — что у него нет лихорадки.

Дон Грегорио. Это так.

Маркиз. Если бы, положим, за мальчиком меньше было смотрения, как бы в доме моем меньше было строгости, я бы мог подозревать: но с моей системой...

Дон Грегорио. Вы меня извините, маркиз, но насчет этого я вам скажу то, что уже сто раз повторял. Вы называете мальчиками ваших двух сыновей, а между тем маркизу Энрико уже двадцать пять лет, а вашему Пиппетто исполнилось девятнадцать.

Маркиз. Хорошо, но какое же отсюда влияние может быть на здоровье?

Дон Грегорио. Сказать вам откровенно, я думаю, что молодой человек впал в ипохондрию, видя себя в такие лета содержимого с такою строгостию. Не доставить ему ни разу случая быть на бале, в театре, ни разу не поговорить с женщинами...

Маркиз. Ох, не говорите мне о женщинах!

Дон Грегорио. Ни разу не позволили ему, так сказать, высунуть носа из дому.

Маркиз. Это не от того. К тому ж вы знаете мой образ мыслей. Молодые люди, пока не достигнут по крайней мере двадцати пяти лет, не должны знать ничего другого, кроме своего дома и учебных занятий. *(Начиная горячиться).* Боже сохрани, если бы я заметил в них какой-нибудь светский каприз или светскую потребность! Вы понимаете меня?

Дон Грегорио. Успокойтесь! Десять лет я живу в вашем доме, не беру за это никакого жалованья и только из дружбы принял на себя эту должность. Если доныне сохраняю звание дядьки ваших сыновей, то единственно из любви к ним. Вы должны быть после этого твердо уверены во мне.

Маркиз. Так, но ваши правила....

Дон Грегорио. Делайте, что вам угодно. Хотите держать ваших сыновей в тюрьме, держите. Но будьте уверены, что сыновья поступят так, как собака, которая, если на свободе и не привязана, ходит, обнюхивает, узнает, бегает осторожно, словом — делает всё, как следует. Но будучи содержана вечно на цепи — посчастливься ей только когда-нибудь сорваться с этой цепи: мечется, ворчит, кусается и, если попадет в какую навозную кучу, то вымарается в ней хуже всякой другой собаки.

Маркиз. Вы человек, который хочет словам дать более силы, чем рассудку, и придерживаетесь нынешних правил: Я так воспитан, и хочу, чтоб так же воспитывались мои дети.

Дон Грегорио. Итак, не жалуйтесь, если один из них погибнет, а другой, одаренный и без того не щедро природою, останется дураком, не будучи в состоянии отличить солнца от луны.

Маркиз. При всем том, вы меня никогда не уверите, чтоб это была единственная причина болезни Энрико. Дон Грегорио! Вы должны всячески узнать это дело. Это правда, что я его несколько отталкиваю от себя своею строгостью, и он, натурально, не будет со мною так откровенен, как с вами. Я вас прошу,

займитесь серьезно этим. С недавнего времени Энрико больше, нежели когда-либо, расстроен.

Дон Грегорио. Будьте спокойны, маркиз. Употреблю все средства, чтоб узнать, есть ли какая другая неизвестная причина, но до сих пор...

Маркиз. Я поручаю себя вам, Дон Грегорио. Теперь я ухожу из дому — отдать визит министру. Статься может, что я должен буду остаться там обедать. И потому, если к трем часам не возвращусь, можете садиться за стол без меня.

Дон Грегорио. Очень хорошо.

Маркиз. Вам поручаю это дело, как самое близкое моему сердцу. *(Уходит.)*

Дон Грегорио (*один*). Какое упрямое убеждение имеют эти старикашки с своими деревянными головами! Держат молодых людей взаперти половину жизни! И ведь для чего? Именно с тем, чтобы после, как выйдут в свет без малейшего познания света, их одурачил первый, какой попадется, мошенник, или поддела первая плутовка. Положение, однако ж, маркиза Энрико внушает сострадание. Но успею ли я открыть? По крайней мере, постараюсь... А между тем узнаем, что делает наш чудачок. *(Кличет.)* Пиппетто! Маркиз Пиппетто!

Явление III

Дон Грегорио и маркиз Пиппетто.

Пиппетто. Что вам угодно, Дон Грегорио?

Дон Грегорио. Из какой комнаты вы теперь пришли?

Пиппетто. Я был у Леонарды.

Дон Грегорио. За каким делом?

Пиппетто. Она мне показывала, как метать петли и шить.

Дон Грегорио. Ну, к чему вам может послужить это?

Пиппетто. Все науки полезны.

Дон Грегорио. Наука шить! Бедные попечения, брошенные на ветер! И отец воображает, что голова этого сорта в двадцать пять лет годна занять роль в обществе.

Пиппетто. Что вам угодно от меня?

Дон Грегорио. Скажите, хотите ли идти со мной прогуливаться?

Пиппетто. Извините, мне теперь не хочется.

Дон Грегорио. Ну, оставайтесь. Только не будьте так часто с служителями. Говоря с Леонардой и с лакеями, вы уже успели научиться таким словам и фразам... Они уж чересчур тривиальны.

Пиппетто. Но с кем же вы хотите, чтоб я говорил, если я никого другого не вижу?..

Дон Грегорио *(про себя).* Вот то самое, что я говорю всегда маркизу. *<К Пиппетто.>* Ну, довольно. По крайней мере, старайтесь подражать разговору вашего отца, учителей, а не слуг.

Пиппетто. Постараюсь. Впрочем, Леонарда, мне кажется, говорит недурно.

Дон Грегорио. Это правда, что в эти годы пора бы ей выучиться.

Пиппетто. А мне она совсем не кажется стара.

Дон Грегорио. А между прочим потрудитесь сказать Энрико, не хочет ли идти из дому. Я через минуту буду здесь. Зайду только к себе запечатать кое-какие письма и сейчас возвращусь. *(Про себя.)* Тупоумие этого молодца, положение Энрико, упрямство старого маркиза заставят меня просто потерять голову! *(Уходит.)*

Пиппетто. Теперь я вижу, что Леонарда говорит правду, что Дон Грегорио сделался ее врагом. Выходит тоже правда, что он покушался соблазнить ее невинность. Гадкий старичишка! Нужно позвать брата, чтоб сказать, не хочет ли он идти. *(Кличет).* Энрико! Энрико!

Явление IV

Энрико и Пиппетто.

Энрико *(за сценой).* Что тебе нужно? Пиппетто. Слушай!

Энрико *(за сценой).* Да что тебе нужно, говори!

Пиппетто. Ступай сюда, и ты услышишь.

Энрико *(за сценой).* Как ты несносен! *(Входя.)* Ну, что?

Пиппетто. О, как ты не в духе сегодня!

Энрико. Оставь меня в покое!

Пиппетто. Дон Грегорио говорит, не хочешь ли идти из дома. Он сейчас придет, чтоб идти с тобой.

Энрико. Нет.

Пиппетто. Ну, так останься покамест здесь и, если Дон Грегорио возвратится, скажи, что хочешь остаться дома.

Энрико *(с поникшими глазами)*. Хорошо.

Пиппетто. Но отчего ты всегда так печален? Знаешь, что я тебе скажу? Если будешь ты так продолжать, то скоро умрешь.

Энрико *(хладнокровно)*. Правда.

Пиппетто. Берегись! Когда умрешь, это тебе будет очень неприятно. Делай потом себе, что хочешь. *(Про себя.)* Пойду к Леонарде, которая теперь меня ожидает, и скажу ей, что Дон Грегорио сказал, что она старуха. Но с которой стороны он ни заходи и какие ни пробуй дороги, а Леонардушка во всяком случае любит только своего Пиппетто. *(Уходит.)*

Энрико *(один)*. Я теперь в решительном отчаянии. Нет никаких средств! Суровый характер моего отца... Тогда, как он «воображает, что я никогда не выходил из дому — и быть принуждену признаться, что я имею жену! При одной мысли об этом мороз обхватывает меня. Правда, что звания почти равны, что качества душевные достойны всякого уважения, что я не мог бы желать больше... но характер, характер отца моего, его неукротимый характер... его система... Я трепещу при одном взгляде на свое положение. Пока еще было можно хранить тайну, сердце успокаивалось разнообразными льстивыми мечтами; но теперь, когда всё должно непременно открыться, теперь, когда Джильда не имеет никого у себя, кроме меня, когда я... О, какая мука! Как свирепо мое горе! *(Печаль сильными чертами выражается на лице его.)*

Явление V

Энрико и Дон Грегорио.

Дон Грегорио *(про себя)*. Вот он в своем обыкновенном положении. Бедный молодой человек! Он возбуждает слишком мое сострадание. *(К нему.)* Маркиз!

Энрико. Господин Дон Грегорио!

Дон Грегорио. Хотите сделать небольшую прогулку?

Энрико. Ах, увольте меня от нее, я вас прошу.

Дон Грегорио. Как хотите. Я вижу, что вы несколько взволнованы.

Энрико. Ах!.. Не сомневайтесь, Дон Грегорио... *(Слезы льются из глаз его.)*

Дон Грегорио. Что говорите! Из глаз ваших падают слезы, как капли дождя. Сын мой милый! К чему послужит скрываться? В душе вашей есть горе, убивающее ваше здоровье. Энрико мой милый, мой прекрасный Энрико! Бросься в объятия твоего Дон Грегорио! Не стыдись обнаружить тайную причину, ввергающую тебя в это несчастное состояние. Сердце мое открыто для тебя. В эту минуту я не дядька твой, я твой нежный друг. Клянусь сохранить свято тайну и обещаю тебе всякую помощь, как отец самый нежнейший, который прижимает тебя к груди своей. *(Обнимая его, про себя.)* Если не подвигнется от этих слов, то больше ничем не подвигнется.

Энрико. Дон Грегорио! Вы клянетесь?..

Дон Грегорио *(в сторону).* А! вот наконец поддается! *(Вслух.)* Да, мой Энрико!

Энрико. Ах, вы видите, в какое положение я приведен!

Дон Грегорио. Несчастный! Вы исхудали, вы сделались бледны.

Энрико. Я не ем, я терплю, я мучаюсь, ночью сны мои... Ах, я слишком заслуживаю состраданья! Но вы, Дон Грегорио, вы не можете пособить моему горю.

Дон Грегорио. Да, да, есть средства пособить всякому горю. Подойдите ко мне, скажите, исповедайтесь, откройтесь! Дон Грегорио запечатает уста свои; слова ваши останутся окаменевшими в ушах его. Скажите, скажите мне: какого рода ваше горе? какая причина произвела болезнь вашу?

Энрико. Дон Грегорио! горе... Нет, у меня недостает присутствия духа! Моя болезнь... Боже! где я? О, женщины, женщины!

Дон Грегорио. Женщины! как? *(Хвативши себя руками по лбу.)* О, несчастный малый! И как это возможно? Не выходивши никогда из дому?.. Что, вы влюблены? а? Ну, что такое вам приключилось?

Энрико. Дон Грегорио! молчите, ради самого неба! Я в ваших руках... Да, вы можете вообразить... Женщина привела меня в то состояние, в каком меня видите.

Дон Грегорио. О, мошенница! Пот проступает на лице моем... я вне себя... Сын мой, объяснитесь!

Энрико. О, Боже! я не нахожу слов... Дайте мне минуту времени... стыд... Отец мой где?

Дон Грегорио. Отец ваш вышел. Не бойтесь, он, может быть, не возвратится и к обеду.

Энрико *(весь в волнении).* Точно ли так?

Дон Грегорио. В этом я могу вас уверить.

Энрико. Итак... *(в размышлении, потом про себя).* Вот, наконец, минута! *(Вслух.)* Вы клянетесь помочь мне?

Дон Грегорио. Да, от всего моего сердца.

Энрико. Хорошо. Итак, теперь... *(В мучительной нерешимости.)* Небо, дай мне силы!.. Решусь... Я вам покажу все.

Дон Грегорио. Да, да, сын мой!

Энрико. Заприте эту дверь, чтобы Пиппетто и Леонарда не могли войти сюда... Слуга, который теперь в столовой... ради Бога ушлите его куда-нибудь из дому...

Дон Грегорио. Да, Энрико, все сделаю, что тебе хочется. Здесь мы запрем. *(Запирает дверь.)* Отправлю за каким-нибудь делом слугу Смелее, смелее, Энрико!

Энрико. Сейчас... Иду... Увидите всё... Вы подвигнетесь участием... Боже, не оставь меня в эту сильную минуту! *(Уходит в свою комнату.)*

Дон Грегорио. Бедный мальчик!.. Никак не могу объяснить... Разбойница! *(Кличет).* Симон! После такого бдительного надзора... Но что я говорю! Все бесполезно!.. Симон! Но каким образом?.. Кто-нибудь должен помогать ему... Симон! Симон!

Явление VI

Симон и Дон Грегорио.

Симон. Что прикажете?

Дон Грегорио. Ступай на почту, узнай, нет ли мне писем.

Симон. Я уж был там. Писем вам нет никаких.

Дон Грегорио (в *сторону).* Черт возьми! *(Ему.)* Сходил бы ты, между прочим, к книгопродавцу: не переплел ли он мне те два тома, которые я ему говорил.

Симон. Да, сударь; он уже их принес. Я их положил на стол в вашей комнате.

Дон Грегорио *(в сторону).* Прошу покорно! Смотрите, нарочно как этот бестия-дьявол всюду тычет хвост свой! *(Ему.)*

Хорошо; так как ты теперь ничем не занят, то сходи к цырюльнику и приведи его сюда: я хочу побриться.

Симон. Очень хорошо *(готовясь идти)*.

Дон Грегорио *(в сторону)*. Недостает только, чтоб он сказал, что я уже брился.

Симон *(возвращаясь)*. Ведь я позабыл, что сегодня все лавки заперты. У цырюльников праздник.

Дон Грегорио *(в сторону)*. Тьфу ты, сатана!.. *(Плюет.)* Очень хорошо! Сегодня черный день! *(К Симону.)* Ступай за мною в мою комнату, я тебе дам отнести на почту кое-какие письма.

Симон. Как прикажете.

Дон Грегорио *(в сторону)*. Слава Богу! Я уж думал, что почтовый ящик, куда бросают письма, заперт. Бедный мальчик! Как только подумаю об этом, хочется плакать. *(Уходят.)*

Явление VII

Энрико и потом Джильда.

Энрико. Правосудное небо! Помоги мне в этом смелом предприятии! Ах, если б никто не увидал ее! Бедненькая! Едва только я подал из окна знак ей прийти сюда, мне показалось, что она сама воодушевилась смелостью необыкновенною: вскочила со стула, отняла от груди бедного ребенка... *(Слышен легкий шорох шагов.)* Она уже тут, а между тем слуга еще... *(Дрожит.)*

Джильда *(на цыпочках)*. Энрико, я здесь. Так ли? Ты того хотел?

Энрико. Ты никого не встретила?

Джильда. Нет.

Энрико. Отдыхаю.

Джильда. Что нового? Что ты хочешь делать? Безопасны ли мы здесь?

Энрико. Смелее, моя милая Джильда! Тебе предстоит важное дело.

Джильда. Энрико мой драгоценный! все, что хочешь, — все сделает твоя Джильда.

Энрико. Слушай. За несколько минут перед сим обняло меня отчаяние, как вдруг дядька, увидя меня в слезах, с помощью убеждений своих заставил ему открыть причину несчастного

моего положения. Я отчасти кое-что уже сказал, но не имел еще духу открыть ему, что мы супруги. Ты знаешь, что когда я должен наконец выговорить некоторые слова, уста мои запираются. И потому, чтоб доверить это дело, мне внушило само небо, теперь, когда отец мой ушел со двора, призвать тебя сюда, — тебя, которая обладает такою силою и разумом речей, чтобы отвечать на все то, что будет говорить Дон Грегорио, услыша подобные вещи.

Джильда. Сделаю все, что только могу. Ты знаешь, что я, как только чувствую, что недостает у меня слов, в ту ж минуту пускаю в дело страницу из романа, который читала. Я тебя, однако ж, предупреждаю, что этот твой дядька имеет наружность, которая не предвещает хорошего.

Энрико. Ты обманываешься. У Дон Грегорио не дурное сердце.

Джильда. Джильда станет делать всё, что ты прикажешь.

Энрико. Как ты добра! Как я люблю тебя! Твой характер уже есть мое оправданье.

Джильда. Когда же я увижу его, этого Дон Грегорио?

Энрико. Вот он.

Явление VIII

Те же и Дон Грегорио.

Дон Грегорио *(остолбеневши от изумления при виде женщины, про себя).* Черт побери! Что я вижу!

Энрико. Дон Грегорио, вот она!

Дон Грегорио. Возможно ли? Вы?

Джильда. Ах, сударь!

Дон Грегорио. Или я обманываюсь, или вы та девица, что живет против нашего дома, со стороны, обращенной в переулок?

Джильда. Так точно.

Дон Грегорио. Дочь полковника...

Джильда. Таллемани.

Дон Грегорио. Который, сказывали, умер в последнюю войну?

Джильда. К несчастию.

Дон Грегорио. И вы привели в такое состояние...

Джильда. Да, я не отрекаюсь: я привела в такое состояние моего Энрико.

Дон Грегорио. Тише, тише... что вы говорите?.. Стыдитесь, стыдитесь!

Энрико. Дон Грегорио, не начинайте упреками!

Дон Грегорио. Но как это?.. как это?.. *(В сторону.)* Теряю голову! *(Вслух.)* Как вы делали, чтоб между собою видеться?

Джильда. Скажи ему, как мы делали.

Энрико. Нет, Джильда, скажи ты. Что, или ты потеряла свое присутствие духа?

Дон Грегорио *(про себя, в величайшем беспокойствии и нерешительности)*. Я дурею, вот просто чувствую, что дурею... Кто бы мог это подумать? *(Вслух.)* Но объясните, говорите!

Джильда. Итак, знайте же, что по отъезде бедного отца моего мать моя содержала меня под строжайшим надзором. Энрико, как вы знаете, тоже...

Дон Грегорио. О! что до него, то ему невозможно было отлучиться из дому.

Джильда. Хорошо. Итак, мы стояли у окон, которые, как нарочно, были одно против другого. Энрико смотрел на меня, я смотрела на него; он смеялся, и я смеялась; он мне делал знаки, я ему отвечала на это другими... Сегодня смеялся, завтра делал знаки, послезавтра вздыхал, так что наконец...

Дон Грегорио. Так что, наконец, вам удалось...

Джильда. Да, наконец, удалось. Но знаете ли, сколько времени прошло, пока посчастливилось нам в первый раз поговорить?

Энрико. Да, прошло очень много времени.

Дон Грегорио *(про себя)*. Я ничего не понимаю. Я не в своей тарелке. Я черт знает где!

Джильда. Наконец, в одну ночь удалось Энрико ускользнуть из дому и взбежать на нашу лестницу. Я тремя вязальными спицами, связанными вместе, поворотила пружинку в замке дверей нашего дома. Он вошел трепеща, и я, дрожа всем телом, заперла его.

Дон Грегорио. Правосудный Боже! Что слышу! Я умираю!

Джильда. Едва только переступил Энрико порог моей комнаты *(показывая рукою)* — он стоял здесь, а я здесь, — как вдруг показалась моя мать, вскрикнула, увидевши нас, и бросилась на меня. Но потом вдруг остановилась и обратилась к Энрико, не зная сама, на кого первого излить гнев свой. Находясь таким образом между изумлением и негодованием, она подверглась вдруг сильным конвульсиям и упала без чувств.

Дон Грегорио. Ну, далее...

Джильда. Произнося со страху бессвязные звуки, я вцепилась за ее, пораженную отчаянием, шею; рыдая, Энрико бросился к ее ногам. На крик наш прибежала старая служанка, и мать пришла в себя... Чтобы загладить безрассудный шаг, чтобы спасти честь мою, было только одно средство; Энрико предложил его, я его приняла, и мать благословила его.

Дон Грегорио *(со страхом)*. Как!

Джильда. Мы дали друг другу руки, как супруги, и день после был освящен и утвержден тайно союз наш.

Дон Грегорио *(крича)*. Что говорите? Супруги! Супруги? Вправду? Без согласия отца! Так вот ваше несчастие! Я думал просто какое-нибудь несчастие в любовных делишках... *(В отчаянии.)* Идите прочь! Пусть делает отец ваш, что хочет!.. Он вас убьет! Я вас оставляю...

Энрико. Дон Грегорио, дело уже сделано.

Джильда. Даже слишком — нет никакого средства исправить.

Дон Грегорио. Не говорите мне, не говорите... Я ничего не знаю... Бесчестные! изменить мне... *(В ярости.)* Но как ты сделал, как ты мог выйти из дому?

Энрико. Бастиано, слуга, который месяца два назад тому умер, помогал мне и заказал мне поддельный ключ...

Дон Грегорио *(в гневе)*. Недостойные, недостойные! *(Обращаясь к Джильде.)* А ты как сделала, что он влюбился в тебя?

Джильда. Как делают все другие.

Дон Грегорио *(в гневе)*. Предательница! предательница! *(В отчаянии.)* Но точно ли законно ваше соединение?

Энрико. Сделано в присутствии нотариуса.

Джильда. И свидетелей.

Энрико. Узаконено и скреплено.

Джильда. По всем формам.

Дон Грегорио. Я не знаю, где я нахожусь... Маркиз умрет от печали. Здесь ничего нельзя поправить. Я не могу помочь вам. Ступайте, отправляйтесь!.. Сколько времени, как вы супруги?

Джильда. Один год.

Дон Грегорио. И в продолжение одного года...

Джильда. Мы доставили себе одного сына.

Дон Грегорио *(вскрикивая)*. Сына?

Энрико. Одного только, душенька Дон Грегорио.

Дон Грегорио. Оставьте меня в покое, дайте мне удалиться; оставайтесь, бегите, делайте, что хотите. Я вас предаю гневу вашего отца и его ярости. *(Готов уйти)*.

Джильда. Как!

Энрико *(удерживая его за платье)*. Ради самого неба!

Дон Грегорио *(вырываясь)*. Нет! Нет! Здесь нет жалости.

Джильда. Когда так, оставь его, Энрико. Оставь этого человека с сердцем тирана. Я тебе говорила, что мне не предвещала ничего другого его наружность.

Дон Грегорио *(останавливаясь)*. Как! Что вы говорите? Я тиран?

Джильда. Да, вы — тиран, и вечно останетесь им; и, как кажется, вы этим довольны. Сердца наши связаны между собою союзом священным, союзом чести, союзом законов и тысячами тысяч других нежнейших отношений, союзами страсти и клятв переплетены и вмещены одно в другом и сжаты тесно. Отрешить наши сердца одно от другого нельзя, как разве изрубивши на части одно из них или раздробивши оба. Вы насытитесь, сколько желается душе вашей, кровью и слезами; об одном только молю вас: насыщайтесь, сколько хотите, стенаньями и муками моими, но спасите моего Энрико от ярости сурового отца. Если бы я была причиною несчастия этой фамилии, отмстите и обрушьте всё на несчастную Джильду, но да будет прощен мой Энрико! За эту цену я согласна идти скитаться беглянкой, изгнанницей, оставленной всеми, сохранивши только у груди своей несчастный плод любви нашей.

Дон Грегорио *(который к концу этой речи разжалоблен совершенно, говорит про себя навзрыд)*. Сердце мое разрывается на части.

Энрико *(вполголоса)*. Браво, Джильда!

Джильда *(рыдая)*. Прощай, мой Энрико!.. Прости мне, если...

Дон Грегорио. Остановитесь... Что я делаю! *(Осушая слезы и про себя.)* Бедные молодые люди! Оставить их в добычу отчаяния... Зло сделано... Они уже муж и жена... О Боже! Звания их почти равные... *(в нерешительности)*.

Явление IX

Те же и маркиз Джулио.

Голос маркиза. Дон Грегорио возвратился?

Дон Грегорио. Святые всего света! Это маркиз!

Энрико *(в испуге)*. Дон Грегорио! Я погиб!

Джильда *(к Дон Грегорио)*. О Боже! Спасите меня!

Дон Грегорио *(в сторону)*. Небо, подай совет!... *(Толкая ее в комнату Энрико.)* Сюда, сюда войдите скорее!

Джильда *(входя)*. Не предайте Энрико!

Дон Грегорио. Молчите, молчите! чш!..

Энрико. Ради Бога! Я должен идти?

Дон Грегорио. Останьтесь! *(Запирает дверь на ключ.)*

Маркиз *(входя в ту минуту, когда Дон Грегорио отскакивает поспешно от двери с ключом в руках)*. Вы дома?

Энрико. Счастливого возвращения, папа! *(Целует его руку.)*

Маркиз *(рассматривая со вниманием и недоверчивостью Дон Грегорио и ключ, находящийся в его руках)*. Извините, Дон Грегорио, зачем вы с такою поспешностью вынули ключ от этой двери?

Дон Грегорио *(про себя)*. Холодный пот проступает у меня на лбу. *(Вслух.)* Ничего!..

Энрико *(про себя)*. О Боже!

Маркиз. Я располагал было не обедать сегодня дома, но министр обедает у маршала. Извините меня, Дон Грегорио, вы, кажется, в большом замешательстве; что такое вы заперли в этой комнате?

Дон Грегорио *(про себя)*. Опять! *(Вслух.)* Говорю вам: вздор, ничего...

Маркиз. Однако ж?

Энрико *(тихо Дон Грегорио)*. Дон Грегорио! Не измените!

Дон Грегорио *(про себя).* Тут нужен ум. *(Вслух.)* Я вам сейчас скажу... мне подарена... одна... собачонка. И потому я, чтобы не запачкала комнат, запер ее туда. После я отнесу ее в свою комнату.

Маркиз. В таком случае я должен просить у вас извинения. Но вы говорите таким образом... Сделайте одолжение, дайте мне ключ!

Дон Грегорио. Как!

Энрико *(про себя).* Я пропал!

Маркиз. Разве я не господин дома?

Дон Грегорио. Вы, точно, он; и поэтому...

Маркиз. Я хочу видеть, что там заперто.

Дон Грегорио. Я уж вам сказал... одна кудлашка.

Маркиз. Извините, я этому не верю. К тому ж этот дом мой. Дон Грегорио, отдайте мне ключ!

Энрико. Я умираю.

Дон Грегорио. Вы этому не верите? *(Про себя.)* Черт побери всех чертей! *(Вслух.)* Господин маркиз! *(С чувством негодования.)* Разве этаким образом можно говорить мне? Возьмите ключ! Вот он! Отоприте, смотрите, и потом, покрытые стыдом за нанесенное мне оскорбление, не имейте присутствия духа посмотреть мне прямо в глаза! Подозревать, подозревать, что Дон Грегорио может обмануть! Нанести подобное оскорбление в присутствии этого молодого юноши!.. Отоприте, маркиз, сию же минуту! Отоприте в моем присутствии! Пусть увидят ваше бесчестное подозрение и честность Дон Грегорио, который с этой минуты оставляет навсегда дом ваш.

Маркиз. Дон Грегорио!

Дон Грегорио. Отоприте! Не слушаю никаких резонов!

Маркиз. Дон Грегорио! Вот ключ!

Дон Грегорио (*горячась*). Нет, маркиз, отоприте! Мне — подобное оскорбление!

Маркиз. Простите меня, говорю вам, на минуту я потерял рассудок. Я виноват.

Дон Грегорио. Подозревать! Дайте ключ! Ступайте, смотрите! *(Готовясь отпирать.)*

Маркиз. Остановитесь! Я не хочу.

Дон Грегорио. Пустите меня! Увидите, увидите! Пусть объяснится...

Маркиз. Говорю вам, что не хочу. Прошу извинения, простите меня, я виноват! *(Удерживает его за полы.)*

Дон Грегорио *(представляя, что насильно хочет отпереть)*. Нет, теперь нет.

Маркиз. Что хотите, чтоб я еще сделал, чтоб получить ваше прощение? Дон Грегорио, простите меня. Я был дурак. Ничего не хочу видеть. Я в вас уверен. Ради Бога, простите меня. (*Про себя.*) Что я наделал! Я горю от стыда. *(Уходит.)*

Дон Грегорио. Мне! меня! со мною! *(Про себя.)* Отвязался, наконец, старая дубовая башка!..

Энрико. Ух! как было страшно! Я вам должен... Дон Грегорио *(передразнивая.)* Я должен вам... *(В отчаянии.)* Что вы заставили меня сделать? Энрико. Теперь...

Дон Грегорио. Теперь я ничего не знаю... поищу того... Вы вот что... это обстоятельство... Впрочем того... *(Дает ключ, в смущении, не зная и не понимая сам, что говорит.)* Нужно... нужно... Удалите ее отсюда прочь.

Энрико. То есть...

Дон Грегорио. То есть как то, что не стоит выеденного яйца. Боже, какое затруднительное положение!.. Сделайте так, чтобы никто не видал: я был бы компрометирован... Ради Бога!.. Было бы хорошо так... Вы поняли всё? Черт меня побери, если понимаю хоть одно слово из того, что говорю. (*Уходит.*)

Энрико. Небо, помоги мне! *(Уходит в комнату, где жена.)*

Конец первого действия.

Действие второе

Явление I

Дон Грегорио и Энрико.

Дон Грегорио. Как! Вы до сих пор еще не вывели ее отсюда?

Энрико. Нельзя было никаким образом. В столовой вечно кто-нибудь толкался. Потом мы пошли обедать...

Дон Грегорио. Итак, она до сих пор там?

Энрико. Там.

Дон Грегорио. Прах побери! Как же?.. И она ничего не ела?

Энрико. Сейчас я вам скажу. Мне удалось утащить за столом полкурицы и пару котлет, спрятать их в карман и отнести ей тотчас после обеда, чтоб не умерла с голоду.

Дон Грегорио. Но что же она делает теперь?

Энрико. Плачет, опасаясь за ребенка, которого теперь время кормить.

Дон Грегорио. Но как же помочь этому? как? Зачем отваживались вы приводить ее сюда? Разве вы не могли открыть все, не подвергая...

Энрико. Я не имел столько присутствия духа, чтобы открыть вам, милый Дон Грегорио! Покамест было возможно, я скрывал все, но теперь, когда Джильда осталась одна, отчаяние заставило прибегнуть к этому поступку.

Дон Грегорио. А мать ее?

Энрико. Мать ее, которая условилась в продолжение года держать дочь у себя в доме, имея нужду в деньгах, должна была отправиться в Милан, чтобы собрать кое-какое оставшееся имущество после своего мужа, и уехала три дня тому назад, оставивши дочь на руки провидений и меня, ее мужа.

Дон Грегорио. Итак, она никого больше не имеет кроме вас?

Энрико. По крайней мере, сколько я знаю...

Дон Грегорио. Но как же вы думаете содержать ее до тех пор, пока отец?..

Энрико. Здесь-то и есть мое затруднение.

Дон Грегорио. Отец ваш дает ли вам деньги?

Энрико. Ничего кроме тридцати паолов *(15 рублей)* шестого генваря, в виде подарка на игрушки.

Дон Грегорио *(в сторону.)* Да, посмотри-ка теперь, каких игрушек требуют эти дети! Какая лошадь этот маркиз! *(Ударивши себя по лбу.)* О Боже! И вот я замешался в интригу... Но как, черт возьми, удалось вам все сделать так, что никто не проник.

Энрико. Бастиано...

Дон Грегорио. Проклятый Бастиано! И я не мог этого предвидеть!

Энрико. Он наблюдал очень осторожно, чтоб из вас кто-нибудь не проснулся, и поддельным ключом отпирал и запирал дверь. В то время, когда мы говорили и проводили время с Джильдой, у нас была стража, чтобы никто не мог ничего узнать; таким образом…

Дон Грегорио *(в сторону).* Я говорил маркизу: «Позвольте мне, позвольте мне спать внизу!» — «А, — говорит, — не нужно; нет никакой опасности». Вот тебе нет никакой опасности! Распорядился прекрасно! *(Вслух.)* А потом, когда умер Бастиано?

Энрико. Тогда родился Бернардино...

Дон Грегорио. Кто? Бернардино?

Энрико. Сын наш.

Дон Грегорио. А! *(В сторону.)* А между прочим, сколько есть таких, которые бы желали, чтоб у них родился сын, а нет, не родится.

Энрико. После рождения его мы виделись очень редко и с большими предосторожностями.

Дон Грегорио. Я просто безумею. И никто не мог открыть ни супружества, ни беременности девушки, ни разрешения, ни сына!..

Энрико. Никто. Потому что синьора Бриджида, мать Джильды, заключила брачное наше условие посредством одного очень хорошего человека, своего искреннего друга, с которым она уехала в Милан. Он же засвидетельствовал, как следует, рождение ребенка. Синьора Бриджида не выпускала дочь из дому во всё время ее беременности. Синьора Бриджида присутствовала при ней и подавала помощь во всех припадках, для того, чтоб это дело было известно только синьоре Бриджиде, ее другу, старушке служанке дома, Джильде и мне.

Дон Грегорио. А когда маркиз узнает это дело, то разобьет голову синьоре Бриджиде, дону Грегорио, который не знал об этом, Джильде и старушке служанке. Это не шутка! Это интрига, интрига сурьезная, роковая...

Энрико. Итак, вы хотите бросить нас в руки отчаяния? В положении сделать какой-нибудь шаг, внушенный последнею безнадежностью? Если вы имеете столько на это духа и сердце, то сделайте это. По крайней мере, дайте возможность уйти только этой несчастной, чтобы избавить ее от взоров и ярости моего отца, какой предастся он, ее увидевши... (*в слезах*).

Дон Грегорио *(в сторону).* Да, теперь бы я попросил вас, грозные педанты, придти посмотреть, что делается в таком случае! Они уже супруги, любят друг друга, различия в званиях почти нет никакого, имеют сына...

Энрико. Дон Грегорио!

Дон Грегорио *(горячась).* Дон Грегорио, Дон Грегорио! Это обстоятельства отчаянные... *(В сторону.)* Но как же однако ж? Теперь, когда выстрел уже сделан, когда пуля вылетела, разве можно теперь оставить их так?

Энрико. Дон Грегорио!

Дон Грегорио. Надоел с этим «Дон Грегорио»... Слушай, прежде всего нужно ее вывести. Через несколько дней, может быть, как-нибудь можно будет уладить это дело. Между тем я постараюсь до того времени твоего отца... Но как, как это сделать?.. А, довольно! Скажи ей, чтобы не плакала, что я подумаю обо всем.

Энрико. Я вверяюсь вам.

Дон Грегорио. Ступай, запрись и не отпирай никому, пока не услышишь моего голоса.

Энрико. Милый мой Дон Грегорио!

Дон Грегорио. Да перестань раз навсегда! Я теперь, черт его знает, в таком положении, что не могу слышать даже собственного имени.

Энрико. Повинуюсь и предаюсь весь вам. Пойду утешить мою Джильду и проведать, не имеет ли она в чем нужды. *(Уходит.)*

Дон Грегорио *(один).* Здесь нет никакого средства поправить. Происходит то, что должно произойти — я не должен оставить этих молодых людей! Впрочем, ведь зло могло бы быть в десять раз хуже. Она не имеет в себе ничего дурного, хорошей фамилии; а если состояние ее небольших доходов, то это еще ничего: маркиз не имеет нужды в деньгах. Да, смелее! *(Решительно.)* Молодым людям помочь! Так! Теперь нужно вывести молодую женщину так, чтобы никто не видал, и с сегодня я приступаю располагать понемногу маркиза.

Явление II

Маркиз и Дон Грегорио.

Маркиз. А! Дон Грегорио!

Дон Грегорио. Синьор маркиз! *(В сторону.)* Кстати пришел!

Маркиз. Прежде всего, повторяю, позабудьте об оскорблении, которое сегодня поутру...

Дон Грегорио. Вы меня поразили, я уж вам говорил...

Маркиз. Довольно! Обнимемся *(обнимаются),* и пусть это будет последнее напоминание о случившемся.

Дон Грегорио. В этом будьте уверены. *(В сторону.)* Вот хорошая минута!

Маркиз. Где Энрико?

Дон Грегорио *(про себя).* Вот оно! *(Вслух.)* Не знаю... может быть, у своего брата.

Маркиз. Вы еще ничего не говорили с ним?

Дон Грегорио. Говорил... *(Про себя.)* Да, если б ты знал, о чем мы говорили!

Маркиз. Ну, что ж? Он по обыкновению...

Дон Грегорио. То есть, если хотите, чтоб я вам сказал правду, то чем дальше, тем более я утверждаюсь в моем подозрении.

Маркиз. То есть?..

Дон Грегорио. Что этот молодой человек имеет нужду... *(в сторону.)* Тише, тише, чш, Дон Грегорио! *(Вслух.)* Имеет нужду делать так, как делают молодые люди — гулять, разговаривать...

Маркиз. Вы вечно метите в одно.

Дон Грегорио. Что ж делать? так оно есть. Принимайте мои слова в каком угодно смысле, но нужно, чтоб я сказал вам то, что думаю. Маркиз, положим руку на сердце: что были, например, вы?

Маркиз. Что хотите сказать вы этим?

Дон Грегорио. Что был я в молодости?

Маркиз. Не знаю.

Дон Грегорио. Что такое все люди тогда, как в цвете лет кипит кровь и когда весь — горящая Этна?

Маркиз. Фурии, которых нужно держать на цепях.

Дон Грегорио. Однако ж цепями не излечить зла. Лишение не уменьшает желания. Бешенство занимает его место; яркая противоположность становится палачом, и юноша гибнет невозвратно.

Маркиз. Посмотрим, однако ж, какой результат всего этого? Что, показалось вам, прочитали вы в душе Энрико? Может быть, вы думаете, что его сердце... Вы обманываетесь. С методой, которая введена в моем доме, со строгостью...

Дон Грегорио *(в сторону)*. Да, поди-ка смотри, отопри эту дверь — и ты увидишь, какая там строгость сидит.

Маркиз. Любезный друг! вы, должно быть, в юности были целый дьявол.

Дон Грегорио. Нет, я был в юности молод, как и все другие, с движениями и побуждениями, свойственными этим летам, и я вижу, что они были бы гораздо хуже, если бы, вместо рассудка и советов, родители мои употребили замки и строгость. Поверьте, наконец, маркиз, что свет и общество кажутся несравненно ослепительнее и прекраснее тому, кто слышит шум их издалека, не видя их, нежели тому, кто проник их, имея их долго пред глазами, и видит их в настоящем виде. Да, сын ваш, наконец, должен начать показываться на солнце и вылезть из этого гроба, где он находится погребенным с той минуты, как родился...

Маркиз. Да, да, именно из одной глупой и, может быть, даже притворной его меланхолии я ему позволю выходить, видеть женщин, говорить с ними...

Дон Грегорио. Ну, так! Как только вы станете говорить о женщинах, кажется, как будто хотите назвать самого дьявола! Мне женщины не представлялись никогда в этом виде, и даже скажу вам, что я был *(в сторону)* отважился! *(вслух)* очень часто их партизаном и защитником...

Маркиз. Браво! Прекрасные правила... Оставим, оставим этот разговор. Вы, я вижу, хотите злоупотреблять мною,

Дон Грегорио *(про себя)*. Это я предвидел. *(Вслух.)* Постойте! так как вы имеете такого рода опасения, то зачем не жените его?

Маркиз *(вспыхнув)*. Женить, женить ребенка! Синьор Дон Грегорио, мы увидимся в другое время. Извините, сегодня вы, мне кажется, не похожи на самого себя.

Дон Грегорио *(про себя)*. Этого еще недоставало... *(Вслух.)* Я говорю, чтоб...

Маркиз. Женить Энрико! Мой отец согласился на мою свадьбу тогда только, когда ему было семьдесят два года, а мне сорок семь...

Дон Грегорио. И, однако ж, вы теперь видите...

Маркиз. Довольно, довольно! Я не могу обратить никакого внимания на предложение, сделанное мне человеком, который, не сгорев от стыда, назвал себя протектором и партизаном женщин. Вы никогда еще до сих пор не делали мне подобного предложения. Если б я это знал прежде, я бы, может быть, судил о вас иначе.

Дон Грегорио. Не думайте, что я...

Маркиз. Я извиняю вас, предполагая, что голова ваша сегодня не в полном рассудке.

Дон Грегорио. Вы...

Маркиз. Не говорите мне теперь, я вас прошу. Не напоминайте мне об этом, если хотите, чтоб мы остались друзьями. Не напоминайте мне об этом, или я приду в бешенство. *(Уходит.)*

Дон Грегорио *(один)*. Теперь прошу посмотреть, в каких я нахожусь обстоятельствах! Если стану упорствовать в своих речах, потеряю его уважение — и они тогда погибли... Я нахожусь в положении напакостить себе же собственными руками... *(Крякнув.)* А! терять времени нечего! Постараемся удалить людей из столовой и, улучивши первую минуту, вывести отсюда эту несчастную заключенную.

Явление III

Леонарда и Дон Грегорио.

Леонарда. Дон Грегорио, нам нужно кой о чем иметь с вами довольно длинный разговор.

Дон Грегорио. В другое время, любезная.

Леонарда. Я не прошу, чтобы вы меня называли любезною.

Дон Грегорио. Любезная или нелюбезная, как хотите, но теперь я занят.

Леонарда. Вы бежите?.. Стало быть, уже знаете, что я должна вам сказать? Вы...

Дон Грегорио. Что касается до меня, то я не знаю, что вы говорите. После, немного позже, поговорю, когда вы хотите, но теперь не могу. *(Про себя.)* Я и без того в довольно хорошем расположении духа. Недоставало еще этой с длинным разговором. *(Вслух.)* Увидимся после! *(Уходит.)*

Леонарда *(одна).* За кого меня принимает Дон Грегорио? Нет, он не знает Леонарды! Наговорить мальчику, что я не умею говорить, наговорить ему, что я пожилая, в летах... Разве он думает, я не найду минуты поселить в голову маркиза подозрение насчет его? Я не буду женщина, если не отомщу.

Явление IV

Леонарда и Пиппетто.

Пиппетто. Ты здесь еще?

Леонарда. Оставьте меня в покое.

Пиппетто. Что такое с тобою, Леонардушенька?

Леонарда. Оставьте меня, вам говорю. Все, все против меня! Не можете видеть меня спокойно. Я вам — как язва какая... Останетесь довольны. Я уйду отсюда. Вы меня больше не увидите.

Пиппетто. Послушай, ты дура. Разве и я...

Леонарда. И вы тоже, и вы тоже.

Пиппетто. Как?

Леонарда. Если б вы в самом деле любили меня, вы бы не могли потерпеть, чтобы меня презирали и издевались надо мною.

Пиппетто. Но чего ж ты хочешь?

Леонарда. Вы видите, что Дон Грегорио ищет все средства оскорблять меня. Поносит меня, насмехается, говорит, что я старуха, и вы не в состоянии...

Пиппетто. Но скажи мне, дорогой свет очей моих, — это любовное выражение я узнал от тебя, — скажи, что ты хочешь, чтоб я сделал?

Леонарда. К делу! Если любовные ощущения ваши точно справедливы, если Леонарда вам действительно так дорога, как

вы говорите, то нужно, чтоб <вы> соединились со мною на тот конец, чтоб выгнать его из этого дома.

Пиппетто. Я охотно, но как?..

Леонарда. Оставьте мне все это сделать. Вы только должны мне помогать. Я уже с некоторого времени замечаю, что у него есть в голове какой-то секрет. Если... того... я его узнаю — прибавлю, выдумаю кой-что в придаток. Мы его обвиним, уличим, сделаем все. Ты это сделаешь, Пиппетто?

Пиппетто. Довольно будет, если...

Леонарда. Сделаешь ли ты это? Или больше меня никогда в глаза не увидишь.

Пиппетто. Сделаю, сделаю все, что хочешь.

Леонарда. Клянись мне в том.

Пиппетто. Но клятва есть...

Леонарда. Не хочешь?

Пиппетто. Клянусь, клянусь!

Леонарда. Так. Теперь я тебя очень люблю. Теперь ты можешь владеть моим сердцем.

Пиппетто. О моя Леонардушка!.. Леонардушечка моя!..

Явление V

Те же и Дон Грегорио.

Дон Грегорио *(за сценой).* Оставайтесь и не двигайтесь.

Леонарда. Уйдем: это он!

Пиппетто. Я вечно с тобою.

Леонарда. Помни клятву.

Пиппетто. Да, моя Леонардушка.

Леонарда *(в сторону).* Я тебе отомщу.

Пиппетто *(про себя).* Для Леонарды все сделаю. *(Уходят.)*

Дон Грегорио *(входит).* Именно потому, что хочу, чтоб никого не было, — сегодня все слуги ходят за мною по пятам. Вывести ее из комнаты невозможно. Оставить ее до ночи в этой комнате есть большой риск. И потому нет другого средства, как разве... *(Говорит вполголоса, стуча в дверь.)* Энрико, отоприте, это я!.. Это, мне кажется, лучше всего.

Явление VI

Дон Грегорио и Энрико.

Энрико. Что, можно ей теперь идти?

Дон Грегорио. Нет! никак нельзя.

Энрико. О Боже!

Дон Грегорио. Я думаю перевести ее сюда, отсюда по лестничке в мою комнату, а из моей комнаты, как только смеркнет, она может пробежать по большой лестнице.

Энрико. Но она хотела идти домой...

Дон Грегорио. Хотела! И я тоже хотел, но если нельзя. Лестница поминутно наполняется людьми. Сделайте по-моему, ступайте. Я уже запер дверь в зал, чтоб никто не вошел в то время, как я с Джильдою пробегу. Если вы не будете говорить, то это знак, что там нет никого и я заставлю Джильду пересесть в мою комнату. Потом можете и вы также войти.

Энрико. Вы думаете, можно провести ее даже туда?

Дон Грегорио. Думаю. Не сомневайтесь. Ступайте.

Энрико *(про себя).* Я устал, перебирая все слова и утешения, чтоб успокоить Джильду. Я слышу, холодный пот проступает по мне. *(Уходит.)*

Дон Грегорио. Сохрани Боже от маркиза! Теперь, кажется, нечего бояться. Эта дверь заперта... В зале на страже Энрико. Вызовем теперь ее бедненькую. Я не имею даже духа подумать о положении, в которое она меня привела. С другой стороны, что бы могла сделать строгость? Привела бы только в совершенное отчаяние эти две бедные жертвы. Они ведь уже муж и жена. Нет никакого средства поправить это дело. Да, совершенно никакого!.. Не станем терять времени. *(Говорит вполголоса в дверь.)* Джильда, идите сюда!

Явление VII

Дон Грегорио и Джильда.

Джильда *(изнутри комнаты).* Вы? Дон Грегорио. Скорее!

Джильда *(выходя).* Ради святого неба, дайте мне средство уйти, по крайней мере, домой!

Дон Грегорио. Имейте, любезнейшая, крошку терпения. Сейчас никак нельзя...

Джильда. Но когда же? скажите, когда?

Дон Грегорио. С маленьким терпением можно все сделать. Будьте покойны.

Джильда. Я готова все делать, что вы только мне прикажете.

Дон Грегорио. Дочь моя! здесь мы не безопасны... Скорее, скорее идите в мою комнату!

Джильда. Но если маркиз...

Дон Грегорио. Маркиз там не может вас увидать.

Джильда *(уходя на цыпочках)*. Я в ваших руках; делаю всё, что хотите.

Дон Грегорио. Вечером потом, при удобном случае, мне будет легко вывести вас так, чтобы никто не заметил. *(Уходят.)*

Явление VIII

Леонарда и Пиппетто.

Леонарда *(отпирая тихо дверь)*. Слышал?

Пиппетто. Видела?

Леонарда. Бог услышал мои молитвы!

Пиппетто. Кажется, даже невероятно.

Леонарда. Мог ли бы ты поверить этому?

Пиппетто. Никогда в жизни?

Леонарда. Но мы не видали, откуда она вышла,

Пиппетто. Нет. Я стоял перед замочной скважиной, когда Дон Грегорио стоял тут и говорил: «Имейте крошку терпения!» Но откуда она могла выйти? Из зала ей нельзя было.

Леонарда. Почему нельзя? Улучил минуту, когда там никого не было из людей. Быть может, он был принужден ввести ее в эту комнату, потому что кто-нибудь проходил в то время через переднюю, а теперь ведет ее в свою комнату.

Пиппетто. Да, верно, что так.

Леонарда. Нужно, чтоб вы сейчас же сказали вашему батюшке.

Пиппетто. Я? Зачем не скажешь ему этого ты?

Леонарда. Нет, это принадлежит вам. Смотрите! Если ему этого не скажете, больше не увидите Леонарды.

Пиппетто. Не сердись, не сердись, Леонардушка, скажу.

Леонарда. И скажите непременно все.

Пиппетто. Я помню слово в слово все, что было ими сказано.

Леонарда. Слышу точно шаги маркиза. Это он. Все скажите, не пропуская ничего.

Пиппетто. Но...

Леонарда. Смотрите, если не скажете ему этого, то Леонарда умерла для вас. *(Про себя).* Ты теперь попался, гадкий старичишка. *(Уходит.)*

Пиппетто. Выбранит меня отец, когда я донесу ему на нашего дядьку. Но ведь я говорю правду, стало быть, это доставит ему удовольствие.

Явление IX

Маркиз и Пиппетто.

Маркиз. Зачем ты вечно в праздности? Зачем не учишься? Зачем не услаждаешь себя чтением какой-нибудь книги или не отдыхаешь за произведением какого-нибудь арифметического счета? Дон Грегорио должен бы...

Пиппетто. Дон Грегорио... *(В сторону.)* У меня дрожат колена.

Маркиз. Что делает Дон Грегорио?

Пиппетто. Занят.

Маркиз. С кем? с Энрико?

Пиппетто. Фи! совсем нет! *(В сторону.)* У меня недостает голоса, но для Леонардушечки на все решусь.

Маркиз. С кем же?

Пиппетто *(с усилием и вскрикнув).* Не браните меня, не браните!.. С одною женщиною, которая приведена в его комнату.

Маркиз. Что ты смеешь говорить, дерзкий? Это неправда!

Пиппетто. Убейте меня, если я говорю вам ложь.

Маркиз *(весь в волнении).* Скажи, как ты ее видел.

Пиппетто. В замочную скважину, к которой я приставил глаз из любопытства, услышавши голос женщины, говорившей шепотом.

Маркиз. Боже! возможно ли? Но откудова она вошла?

Пиппетто. Не знаю. Я только видел ее, когда она была в этой комнате.

Маркиз *(в сильной тревоге).* Дон Грегорио где был?

Пиппетто *(показывая).* Здесь.

Маркиз. А женщина?

Пиппетто. Он держал ее под руку.

Маркиз. Может быть, какая-нибудь старуха?

Пиппетто. О нет, самая молоденькая!

Маркиз *(в сторону).* О, разбойник. Теперь понимаю: может быть, даже сего утра... О, без сомнения!.. Но каким образом? Я весь дрожу... И молодой мальчик был этому свидетель! *(Вслух).* Может, это была какая-нибудь женщина, которая приходила за делом? Ты не слышал, что они говорили?

Пиппетто. Да. «Имейте любезнейшая, крошку терпения. Сейчас никак не могу». Так говорил Дон Грегорио.

Маркиз *(про себя).* Недостойный!

Пиппетто. А она отвечала: «Но когда же? Скажите, когда?» А он сказал: «С маленьким терпением можно всё сделать».

Маркиз *(про себя).* Я не знаю, что меня удерживает. Но как же, однако ж?.. В продолжение стольких лет, как он у меня живёт, стало быть, он обманывал меня?.. притворялся?.. О, так издеваться надо мною!.. *(Вслух).* А потом они ушли?

Пиппетто. Да, синьор, потому что Дон Грегорио сказал: «Здесь мы небезопасны. Скорее, скорее в мою комнату! там маркиз не может нас увидеть».

Маркиз *(про себя).* Чудовище, выскочившее из ада! Говорить в моем доме подобные вещи, где могли слышать эти дети... Ох! *(Хватается за сердце.)* Я боюсь, чтобы не разорвались мои жилы. *(Вслух.)* И ушли?

Пиппетто. В комнату Дон Грегорио.

Маркиз. Сколько будет времени тому назад?

Пиппетто. Только что, в эту самую минуту.

Маркиз *(про себя).* Я вне себя! Иду к этому мерзавцу! *(Остановясь.)* Но если произойдет какая-нибудь сцена, может, даже очевидиц, скандалезная... Может быть, теперь она ушла уже прочь... Я рискую умереть от тоски, однако ж, нужно немножко умерить себя, чтоб не показать этим невинным... *(Вслух.)* Это ничего не значит. Девушка имела нужду о чем-нибудь поговорить. Ступай, ступай в свою комнату. А об этом и не думай. Тут нет ничего худого.

Пиппетто. Я вам сказал это, потому что вы любите, чтоб вам говорили всё, что делается в доме.

Маркиз. Хорошо. *(Про себя.)* Я чувствую, что задыхаюсь от бешенства. *(Ему.)* Ступай!

Пиппетто *(про себя).* Я думал, что это больше его взволнует. Нужно сказать, что он говорит против женщин потому только, чтобы напугать, а в душе, как видно, он напротив... Это мне дает со временем надежду, что ему можно будет изъяснить любовь мою к Леонарде. (*Ему.*) Когда вам нужно меня, я буду в этой комнате. *(Уходит.)*

Маркиз *(один).* Возможно ли? В течение десяти лет... Но, впрочем, я уж, начинал и без того иметь подозрения... Предложения в пользу женщин... кое-какие модные правила, которые он мне беспрестанно начал советовать... Недостойный! Я вне себя! Счастье, что я сам глядел в оба за своими сыновьями. Но теперь, что мне делать? Если я стану кричать, он будет отпираться, и невинные дети... Попробовать с помощью какой-нибудь хитрости узнать, есть ли женщина в его комнате... *(По некотором молчании, громко.)* Эй, позвать ко мне Дон Грегорио!

Явление X

Маркиз и Дон Грегорио.

Дон Грегорио. Что прикажете?

Маркиз *(про себя).* А, предатель, ты здесь!

Дон Грегорио *(про себя).* Теперь я покойнее, после того, как удалось мне провести ее ко мне так, что никто не видал.

Маркиз. Синьор Дон Грегорио, я позабыл попросить у вас одного одолжения.

Дон Грегорио. Приказывайте.

Маркиз. Я ожидаю на днях племянника моей сестры, которого я бы хотел, желая доставить ему более свободы, поместить в ваших комнатах. Вы, я полагаю, уступите ему охотно на несколько времени, а вас я переведу на время в комнату, что возле меня.

Дон Грегорио. Почему нет? Если только это вам удобно, вы имеете полное право.

Маркиз. Итак, я бы хотел, если вы позволите, на минуточку взойти и посмотреть, не нужно ли чего-нибудь поправить.

Дон Грегорио *(про себя)*. Вот тебе на! *(Вслух.)* Любезнейший маркиз, комната теперь в беспорядке. Еще не убрано ничего.

Маркиз. Не беда. Между нами не нужно комплиментов.

Дон Грегорио. Вы так думаете? Но постель еще не приведена в порядок, платья разбросаны и скомканы, как попало, везде на стульях... *(Про себя.)* Небо, помоги мне!

Маркиз *(начиная горячиться)*. Это ничего... Я хочу посмотреть один, не нужно ли что привести в порядок в комнатах — занавесы, мебель...

Дон Грегорио *(почти хватая его за руки)*. Будьте уверены, что так, как будто новая.

Маркиз. Нужно будет побелить камин.

Дон Грегорио. Я никогда не развожу в нем огня.

Маркиз. Паркет?

Дон Грегорио. Превосходнейший!

Маркиз. Окна?..

Дон Грегорио. Чисты чистейшим образом.

Маркиз. Нет никакого сомнения. Развратник, ты уличен! *(Вслух.)* Вижу, что вы имеете особенное удовольствие принять меня в убранных комнатах. Хорошо, я приду завтра утром.

Дон Грегорио. С охотою. Вы сделаете мне большую честь. *(Про себя.)* О, благодарение небу!

Маркиз *(про себя)*. Ободрись, адская душа! Чрез несколько времени увидишь! Женщина не убежит. Я сам буду караулить. *(Вслух.)* Больше ничего не нужно.

Дон Грегорио. Итак, пусть будет так.

Маркиз. Завтра. *(Про себя.)* Я весь дрожу.

Дон Грегорио *(про себя)*. Ух, как я испугался! *(Вслух.)* Я вижу, маркиз, что вы до сих пор еще встревожены, потому что я вам говорил в пользу...

Маркиз. Фи! ничуть. *(Про себя.)* Недостойный боится, однако ж!

Дон Грегорио. Что касается до синьора Энрико...

Маркиз. Я вас прошу, Дон Грегорио, теперь вы ему ничего не говорите... для этого будет время... *(Про себя.)* Я опасаюсь, что одно дыхание его заразит эту невинную душу.

Дон Грегорио. Но поверьте, что...

Маркиз. Нет, нет, Дон Грегорио, отец отвечает за детей, но дядька... Невинность может быть заражена одною тенью только... Слова... но пример... Если б в эти лета, да уже на то... Довольно. Небо, небо!..

Дон Грегорио *(в изумлении)*. Как?

Маркиз *(удерживая себя)*. Извините. Прощайте, Дон Грегорио...

Дон Грегорио. Но...

Маркиз. Ничего, ничего. Прощайте, мой любезный! Ваш слуга. *(Про себя.)* Гнев изменил мне. *(Уходит.)*

Дон Грегорио *(один)*. Есть ли где на свете этакий взбалмошный старик? Из одного только слова, которое я сказал ему в пользу женщин... Нет, я вижу, что нет никакой надежды в этом деле. Нужно покамест об этом и мысль отложить! И если б он захотел войти со мною в мою комнату...

Явление XI

Дон Грегорио и Пиппетто.

Пиппетто. Синьор Дон Грегорио!

Дон Грегорио. Что хотите вы?

Пиппетто. Ничего, ничего! *(Проходя сцену)*. Хотел... но не нужно.

Дон Грегорио. Скажите, скажите, однако ж!

Пиппетто. Теперь у вас есть дела... Приду после в вашу комнату.

Дон Грегорио. Да говорите здесь... Послушайте!

Пиппетто. Без комплиментов... После, когда вам будет свободнее...

Дон Грегорио. Но, однако ж...

Пиппетто. После, синьор Дон Грегорио, после... *(В сторону, спеша удалиться.)* Хорошо, хорошо, он смутился, Леонарда будет довольна. *(Уходит.)*

Дон Грегорио. Я просто с досады убил бы себя. Никогда не привыкши притворяться, мне кажется, что все воображают какой-то секрет. Этот тоже хотел войти в мою комнату!.. Нет, нечего терять времени; как только потемнеет, сей же час ее вывесть. Нет никакой надежды устроить это дело.

Явление XII

Леонарда и Дон Грегорио.

Леонарда. Слуга ваша, Дон Грегорио. Вы очень заняты?

Дон Грегорио. Нужно не дать подозрения. *(Вслух.)* Нет, напротив...

Леонарда. К чему, к чему это! Без церемонии!

Дон Грегорио. Я говорю вам...

Леонарда. Со мною вы не имеете времени говорить.

Дон Грегорио. Вы ошибаетесь...

Леонарда. Я это знаю, я это знаю... Я старуха.

Дон Грегорио. Я никогда...

Леонарда. Но кто, например, молод...

Дон Грегорио. Что такое вы говорите?

Леонарда. Где тонко, тут и рвется.

Дон Грегорио. Как так?

Леонарда. А кто дольше пождет, тот после возьмет.

Дон Грегорио. То есть, Леонарда?..

Леонарда. Ничего.

Дон Грегорио *(с сердцем)*. Провались ты! *(Про себя.)* Даже странно, право: все со всех сторон доезжают меня. Дьявол! Кончится ли это? *(Уходит.)*

Леонарда. А, попался! Ты, наконец, уничтожен! Ты уничтожен! *(Убегает.)*

Конец второго действия.

Действие третье

Явление I

Комната Дон Грегорио.
Дон Грегорио, Энрико и Джильда.

Дон Грегорио *(весь в волнении, прохаживаясь взад и вперед)*. Если б вы знали, как я весь дрожу!.. Провались сам Вакх!

Джильда. Ради Бога, пустите меня, я уйду!

Дон Грегорио. Но как хотите вы это сделать? Теперь это невозможно!

Джильда. Клянусь, я умру с тоски. *(Приставляя ухо.)* Вон он! Я слышу, это его голос... Бернардин мой!

Дон Грегорио. Это невозможно, это дело воображения: окна мои обращены совершенно в противоположную сторону.

Джильда. Да, я слышу плач его...

Энрико. Исполните ее просьбу!

Дон Грегорио *(с сердцем)*. Когда и вы еще с своей стороны принимаетесь говорить то же, то достойны, чтоб я вам на это отвечал рифмою. Как это сделать, когда дверь залы отперта для всех, и когда слуги уходят и приходят беспрестанно! Я уже вам сказал, что у маркиза этот вечер, кажется, огонь в ногах. Два раза встретил я его, как он всходил взад и вперед по лестнице, то в гардероб, то в библиотеку. Кажется, что этот вечер дьявол нашептывает ему на уши. Что бы могло произойти, если б он увидел выходящую из моей комнаты женщину в этот час! За кого он примет ее? Боже сохрани!

Джильда *(плача)*. Итак, бедное невинное дитя должно умереть от голоду? Сын мой, Бернардин мой, милый Бернардин мой, тебе отказывают в пище, которую зверям, даже самым презреннейшим творениям, природа дает в груди матери.

Энрико. Мое сердце разрывается.

Дон Грегорио. Не бойтесь, от этого он не умрет. Здесь вы безопасны; но, рискуя открыть себя, вы погубите себя, своего мужа...

Джильда *(в тоске)*. Бернардин мой, сын мой!.. Нет, это не мать твоя, нет, это не я отказываю тебе в пище! Мать твоя терзается больше, чем ты. О Боже!.. Тоска!.. Бешенство!.. Нет, я не могу. *(Вырывается.)* Пустите! пустите! Происходи, что хочет, — я слышу, он плачет... Пустите меня, или я закричу, я стану кричать.

Дон Грегорио. Вы сумасшедшая!

Джильда. И потому пустите меня!

Дон Грегорио. Теперь возись с этой!..

Энрико. Милый Дон Грегорио!

Джильда. Если только есть у вас сердце в груди...

Дон Грегорио. Но если...

Джильда. Если б вы знали когда-нибудь, что такое любить свое дитя...

Энрико. Милый Дон Грегорио!

Дон Грегорио. Что должен я...

Джильда. Ради этих слез матери...

Дон Грегорио. Но как, как хотите вы, чтоб я сделал? Будет просто гибель.

Энрико *(приближаясь к Джильде)*. Бедная Джильда!

Джильда *(в тоске)*. Несчастное невинное творение!

Дон Грегорио. Я чувствую, разрывается мое сердце... *(Думая.)* Здесь нет другого средства... Пусть говорит, что хочет, свет. Дело идет о любви матери... о помощи двум несчастным...

Джильда. Итак...

Энрико. Милый Дон Грегорио!

Дон Грегорио. Вы ничего не умеете говорить, как только: Дон Грегорио, Дон Грегорио!.. *(В отчаянии.)* Что вы мне наделали! Постойте... Нужно будет... Но вы хотите иметь своего сына?

Джильда. Да, от самого утра он не имел никакой пищи. Я слышу плач его, в доме никого нет кроме Маделины, бедной старухи, которая больна. Из сострадания, из человеколюбия я прошу у вас сына!

Дон Грегорио *(ударивши себя по лбу)*. О Боже! что я принужден делать! *(Про себя)*. Но как же сделать это иначе? как? *(Вслух.)* Первый этаж?

Джильда. Да.

Дон Грегорио. Большая дверь?

Джильда. Да, по левую руку.

Дон Грегорио. Дайте мне какой-нибудь знак.

Джильда *(снимая поспешно с руки браслет)*. Возьмите!

Энрико. Вы идете сами разве?

Дон Грегорио. Имя ребенку Бернардино?

Джильда. Да, милый. Бернардин мой!

Дон Грегорио *(мешаясь)*. Плащ и шляпа там внизу. Свечи не нужно. В случае... Нет, незачем... Да, здесь нужно присутствие духа.

Энрико. Браво! Браво!

Джильда. Вы идете сами? О, как вы добры! Бог да благословит вас!

Дон Грегорио. О, какой безрассудный поступок вы заставляете меня сделать! *(Про себя.)* Эта имеет, однако ж, что-то

такое в себе, что, признаюсь, подвинуло бы меня еще на худшее, чем сделал Энрико. *(Вслух.)* Теперь иду... Заприте. Не отпирайте, если не назову вас по имени. Вы останетесь с ней... Я сию минуту возвращусь... Не знаю, что говорю... Если маркиз меня встретит, я умру... *(Про себя.)* Вот тебе! Дядька сделался нянькою!.. Критикуйте, критикуйте вы, важные, любящие нахмуривать брови! Я бы желал посмотреть на вас в этаком положении. *(Вслух.)* Заприте, заприте! *(Уходит.)*

Джильда. Энрико мой! Происходи, что хочет, но когда я буду иметь в руках своих сына, снесу с большею твердостью всякое несчастие.

Энрико. Теперь, когда Дон Грегорио, благодаря тебе, принял в нас участие, я надеюсь, что всё устроится.

Джильда. Ах, если когда-нибудь мы достигнем того, что будем, наконец, свободны и покойны, как все жены с своими мужьями, я бы хотела, чтобы утро, вечер и всегда и еще всегда мы были бы вечно один возле другого, разговаривая и беседуя между собою вечно.

Энрико. Наконец тебе бы это надоело.

Джильда. Я тебе клянусь, что чем больше тебе говорю, тем более растет во мне желание говорить тебе. И потом, когда, кажется, я тебе пересказала и переговорила всё, как только ты удалишься от меня, нахожу вечно, что позабыла тебе сказать еще много кое-каких вещей.

Энрико. И сердцам, которые так созданы одно для другого, не дают жить вместе!

Джильда. Но теперь будь покоен, скоро всё уладится. Мое сердце говорит мне это, а сердце мое не обманывает.

Явление II

Те же и маркиз.

Маркиз *(стуча в дверь).* Отвори!

Джильда *(вскрикивая).* Ах!

Энрико. Не отворяй: это отец мой! Я погиб. Маркиз. Женщина, отвори! не производи шума!

Джильда *(решительно).* Не бойся, Энрико; спрячься и оставь все мне! Или уже твой отец знает об этом, или здесь

есть какая-нибудь двусмысленность; во всяком случае, позволь, обработаю это я.

Энрико *(в отчаянии).* Я погиб!

Маркиз. Черт побери, отопри, или я разломаю дверь.

Джильда *(возвышая голос).* Синьор, кто вы?

Маркиз. Господин дома.

Джильда *(принуждая Энрико спрятаться).* Не бойся, здесь я. Ступай, ступай, повинуйся твоей Джильде!

Энрико. Я тебе повинуюсь... Смотри, подумай... Я вне себя. *(Уходит в дверь.)*

Маркиз *(кричит вполголоса).* Отвори, или я сейчас же выломаю дверь.

Джильда. Терпенья, синьор! Размыслите только о том, что я не знаю вас вовсе; однако ж при всем том я хочу показать, что уважаю вас. Я отопру вам дверь, но прошу вас не употребить во зло моей доверенности и не нарушить прав гостеприимства *(отпирает).*

Маркиз (в *гневе).* Бесстыдная женщина!

Джильда. Тише, синьор! Вы знаете меня?

Маркиз. Молодая женщина в этот час в комнате Дон Грегорио даст очень хорошо знать, кто она. Не нужно более никаких изъяснений.

Джильда. Это меня изумляет, синьор! Вы почитаете меня за презренную...

Маркиз. Увольте меня от этих слов. Все женщины вашего разбора обыкновенно говорят таким образом.

Джильда. Как? *(Про себя.)* Он в заблуждении. Тут нужна осторожность.

Маркиз. Прошу вас знать, что я имею двух мальчиков, можно сказать, голубей невинности. Вы видите по глазам моим и по лицу, какое усилие я делаю самому себе, чтобы не произвести сцены, в которую бы бросило меня мое негодование. Единственное только, чтобы не доставить соблазна детям моим... Ступайте со мною.

Джильда. Но что вы хотите делать?

Маркиз. Когда этот чудовище, Дон Грегорио, возвратится, то он не должен вас найти здесь. Но я вас покажу ему потом, чтоб он не мог отпереться.

Джильда. Синьор, успокойтесь на минуту, всмотритесь в лицо мне и разуверьтесь: я дочь полковника...

Маркиз. Кто вы бы ни были, стыдитесь говорить свое имя, ибо, так как вы уже впали в бесславие, будучи обольщены...

Джильда. Но...

Маркиз. Молчите, я не в силах!

Джильда. Но выслушайте!

Маркиз. Что вы хотите еще говорить? Я очень хорошо знаю свет. Я знаю всё до последнего слова, что вы говорили с этим безнравственным человеком.

Джильда. Синьор...

Маркиз. Что? извиненья? предлоги? Знаю, известен обо всём этом. Всё ложь!

Явление III

Те же и Дон Грегорио.

Дон Грегорио *(стуча в дверь)*. Джильда, это я! Это Дон Грегорио.

Джильда. Любезный мой...

Маркиз *(вполголоса)*. Молчите, если не хотите, чтоб я взбесился.

Дон Грегорио. Отоприте, это я несу всё с собою.

Маркиз. Удалитесь, говорю вам, или я сделаюсь зверем.

Джильда *(про себя)*. Не нужно сердить его... *(Вслух.)* Синьор! Не от страха, но чтоб показать вам мое повиновение, я удаляюсь. *(Про себя.)* Боже! какая минута должна наконец произойти! *(Уходит.)*

Дон Грегорио. Скорее, скорее!

Маркиз. Потише, не так горячись! *(Отпирает проворно дверь и становится таким образом, чтоб Дон Грегорио, вошедши, его не видел.)*

Дон Грегорио *(входит с ребенком в руках под плащом)*. Черт возьми! можно ли так долго не отворять! Боялся всякую минуту этого старого сатира маркиза.

Маркиз *(голосом, прерывающимся и дрожащим от гнева)*. Вот он — старый сатир, здесь.

Дон Грегорио *(вскрикивает, дрожит всем телом и ищет куда бы спрятать ребенка)*.

Маркиз. Развратный старичишка! Смотри, в какое положение ты меня привел! Смотри, я в параличе от гнева.

Дон Грегорио *(про себя).* А я, если не поражен до сих пор апоплексическим ударом, так это просто чудо. *(Не в состоянии будучи произнести слова.)* Синьор... мар... киз...

Маркиз. Бесстыдный! *(Приближаясь к нему потихоньку, задыхающимся голосом, едва в состоянии произнести слово.)* В этот час молодая женщина... в моем доме... где невинные... ничего еще не знающие мои дети... А, истинный волк, приставленный стеречь ягненков!..

Дон Грегорио *(не в состоянии произнести одного слова.)* Синьор... мар... киз...

Маркиз *(приближаясь к нему все поближе, почти наступая на него и наконец заметив, что тот хочет что-то скрыть под плащом.)* Что там такое? Что под плащом?

Дон Грегорио. Синьор мар... киз... Совершенно ничего. Это ни сё ни то... Это вздор.

Маркиз *(гневно).* Как, ни сё ни то?

Дон Грегорио. Это пустяк. *(Про себя.)* Ух! Я падаю в обморок!

Маркиз. Покажите, или я потеряю к вам последнее уважение.

Дон Грегорио. Это дело мое приватное...

Маркиз. Нет, вы от меня не закроете!.. *(Схватывает за один конец плащ, открывает ребенка.)*

Дон Грегорио. Ах, любезный маркиз!

Маркиз *(дрожа).* Что вижу!

Дон Грегорио *(минуты две остается неподвижным в совершенной нерешительности, совершенно потерянный, с открытым ребенком, и смотря пристально в глаза маркизу).* Это, маркиз, ничего...

Маркиз. И кто после этого удержит меня, чтоб я не потерял рассудка, и чтоб этими моими руками... *(Бросается на Дон Грегорио.)*

Явление IV

Те же и Джильда.

Джильда *(выхватывая сына из рук Дон Грегорио).* Маркиз, что вы делаете? Это мой сын! Это ваша кровь!

Маркиз. Это моя кровь! Ах ты бесстыдная!

Джильда. Да, и никто не в силах исторгнуть его из рук моих. *(Про* себя, *прижимая и целуя ребенка).* Тут нужно будет действие занять из романа.

Маркиз. Бесстыдная! моя кровь!

Дон Грегорио *(про себя, крякнув).* А, будь то, что должно быть. *(Вслух.)* Да, маркиз, все открыто: это ваша кровь!

Маркиз. Как, бесстыдный!

Дон Грегорио. К чему послужит отрекаться? Маркиз, бросьтесь в мои объятья!

Маркиз *(отталкивая его).* К черту ступай в объятья!

Дон Грегорио *(про себя).* Тут нужна каменная грудь... (*Вслух.*) Выдьте из заблуждения и не отнимайте из одной обманчивой наружности от меня того уважения, которое я заслужил от вас в продолжение десяти лет.

Маркиз. Как!

Дон Грегорио. Знайте...

Маркиз. Что?

Дон Грегорио *(крякнув, про себя).* А, всё за одним разом!.. *(Вслух.)* Эта молодая женщина — жена, а этот ребенок — сын...

Маркиз. Чей?

Дон Грегорио. Энрико, вашего сына.

Маркиз *(в бешенстве).* Ах! Измена! Точно ли? Правда ли это? Я умерщвлен... Предатели!.. Недостойные!.. Вы хотите гроб мне приготовить? Да, вы этого достигли. Да, вы успели в этом. *(В совершенном отчаянии.)*

Дон Грегорио *(в сторону).* Нужно теперь дать ему испариться.

Маркиз. Сын неблагодарный! Но нет, если ты точно в этом преступник, ты более не сын мой. Но справедливо ли это?

Дон Грегорио *(со страхом).* Справедливо. *(Про себя.)* После того, как удар уже дан, прилично дать время, чтобы стекла кровь.

Маркиз. Говорите мне, говорите скорее, что лжете, а не то бешенство мое перейдет все границы! Столько отеческой любви,

столько стараний, столько забот!.. Варвары, трепещите! Я покажу вам, кто я.

Дон Грегорио. Испарьтесь немного, маркиз, испарьтесь, утишитесь, успокойтесь.

Маркиз. Как! еще оскорблять меня, еще оскорбление!

Дон Грегорио. Нет, Боже сохрани от того! Право, нет!

Маркиз. Да, прежде всего я должен испарить свой гнев на тебе, который был гнусным, бесчестным посредником...

Дон Грегорио. О! тише, маркиз!

Маркиз *(сраженный останавливается)*. Я вне себя.

Дон Грегорио. Дон Грегорио не позволит наносить себе оскорблений. Вы достойны извинения, когда ослепляет гнев вас; но не оскорбляйте чести человека честного, каков я. Только сего утра Энрико, удрученный слезами и горем, открыл мне тайну. Молодая женщина, которую видите, пришла плакать тоже в то время, как вы пришли сюда. Чтоб избавить и пощадить вас от подобной неожиданности, я скрыл ее, не имея возможности дать ей уйти отсюда, в моей комнате. Необходимость кормить ребенка заставила меня идти взять его в то время, когда вы, не знаю из какого подозрения, пришли поймать меня. Клянусь всею святостью чести, что до самого сего утра я ничего не знал об этом. И Энрико удалось скрыть свое супружество, в течение целого года, как от ваших глаз, так равномерно и от моих.

Маркиз. Изменник! предатель!

Дон Грегорио. Всё, что вам говорю, — правда, и я тысячами клятв готов подтвердить ее. Зло сделано; средства против него нет никакого. Дайте место рассудку и успокойте себя тем, что могло бы сделаться хуже. Молодая женщина есть дочь полковника Таллемани, которого вы знали очень хорошо и которого звание не ниже вашего. Если она не богата, то это заменяют ее прекрасные качества души, делающие ее достойною любви вашего сына и вашего прощения.

Маркиз *(в бешенстве)*. Прощения! Слушайте, Дон Грегорио! Я вне себя. Я не увижу никогда сына моего!.. Без моего согласия... на позор мне... Будь она дочь владетельного принца, короля... Иметь жену! мой сын!.. Пусть сию же минуту идут вон из моего дома! Пусть скитаются бродягами, умирая от голода! И на них и на детей их моя отеческая рука наносит...

Явление V

Те же и Джильда (с сыном на руках, сопровождаемая Энриком).

Джильда *(почти в смелом движении неистовства).* Окаменей при виде пораженной отчаянием, которая, прежде чем поразят слова твои это невинное творение, хочет разодрать его на части сию же минуту! Смотри!.. *(Делая движение убить его.)*

Маркиз *(в страхе, останавливая ее).* Чш! Чш!.. Что ты делаешь? Изверг! Разве ты не мать?

Джильда *(твердым голосом).* А ты что делаешь? Разве ты не отец?

Маркиз *(остановившись, про себя).* О небо! Какой ответ!

Джильда *(продолжая).* Вы гоните, грозите, проклинаете — и после всего этого вы отец? И разве эти молнии проклятий не хуже в несколько раз неистовства матери против сына в то время, когда она видит, как поражает его проклятие?

Энрико *(тихо).* Браво, Джильда!

Дон Грегорио. Черт побери, в самом деле!

Маркиз *(про себя).* О, какое потрясение произвела во мне эта неожиданность!

Энрико. Я преступник, я заслужил всю силу гнева вашего, но я требую от вас милосердия.

Джильда. Простите Энрико и поразите наказанием меня — я виновна.

Маркиз *(про себя).* Ах, я чувствую, что заслуживаю упреки, и что я отец.

Джильда. Это случилось не с тем, чтобы оскорбить вас.

Энрико. Меня принудила честь.

Джильда. Если вы отец...

Энрико. Я также отец.

Джильда. Любовь нас победила.

Энрико. Из любви я преступник.

Маркиз *(про себя).* И любовь и долг берут верх. *(Обращаясь к Дон Грегорио.)* Точно ли она дочь Таллемани?

Дон Грегорио. Она сама лично.

Маркиз. Вы точно законные супруги?

Энрико. Точно. В этом вам клянусь.

Маркиз. И вас благословило небо?

Джильда. В этом будьте уверены.

Маркиз *(после нескольких минут нерешительности и противоборства с самим собою).* Хорошо, я вас прощаю, обнимаю вас и благословляю вас, также вместе с тем и плод ваш.

Дон Грегорио. О! браво, маркиз!

Энрико. Мой дражайший родитель!

Джильда *(целуя сына).* Я умираю от радости!

Дон Грегорио. Дайте сюда это невинное творение! Так как оно теперь заснуло, то, чтобы как-нибудь мы нашею радостию не потревожили, дайте его сюда мне!

Джильда. Ах, да, я вам вверяю его, Дон Грегорио.

Дон Грегорио. Не сомневайтесь. Я в этом деле опытен... Положим его в люльку. *(В сторону.)* Как похож на отца! Точно две капли воды! *(Уходит и возвращается.)*

Маркиз. Я принес моим негодованием жертву небу. Голос свыше говорит мне и упрекает меня в излишней строгости, он же пророчит мне счастливую будущность. Не обманите сладких надежд моих!

Энрико. Нет, отец мой!

Джильда. Не бойтесь! Не думайте также, чтоб я в самом деле хотела убить Бернардино моего. Нет, я это сделала только для того, чтоб потрясти и испугать вас.

Маркиз. Понимаю. После вы мне должны рассказать, как вы могли...

Джильда. Да, после, когда вы успокоитесь совершенно.

Энрико. Всё это знает Дон Грегорио.

Явление VI и последнее

Те же, Леонарда и Пиппетто.

Пиппетто. Синьор отец, мы слышали всё. И так как уже вы начали, то продолжайте. Сделайте также счастливыми навсегда эти две любящие друг друга души.

Маркиз. Что ты несешь за чертовщину? Я ничего не понимаю.

Дон Грегорио. Вот тебе раз! Провал возьми!

Пиппетто. Любовь глубоко просверлила мое сердце.

Маркиз. Дурак! Что ты такое вообразил себе? Что ты задумал? *(Приходит в гнев.)*

Пиппетто. Соедините наши руки так же, как нежно соединены наши сердца.

Маркиз *(про себя).* Во сне ли я или просто в бреду? *(Вслух.)* Ты говоришь серьезно?

Джильда. Мог ли ты это думать, Энрико?

Энрико *(Джильде).* Конечно, потому что Леонарда всегда водила его за нос.

Маркиз. Дон Грегорио!

Дон Грегорио. Синьор маркиз, я просто превратился в камень.

Пиппетто. Итак... *(Тихо Леонарде.)* Скажи теперь ты что-нибудь такое, как говорила эта. *(Указывает на Джильду.)*

Маркиз. Ты смеешься, что ли, надо мною? *(Обращаясь к Леонарде.)* А ты, в твои лета, глупая женщина! ты хочешь разве испытывать мое терпение?

Леонарда *(про себя).* Дело пошло плохо. По необходимости нужно теперь сыграть роль добродетельной. *(Вслух.)* Синьор, и вы могли думать, что я все это говорила серьезно? Я обманывала нарочно этого мальчика, представляя, будто сохраняю к нему любовные ощущения, единственно на тот конец, чтобы он не искал где-нибудь в другом месте совратиться с пути добродетели, а по правде я даже и во сне не думала о нем.

Пиппетто. Неверная! Изменщица! Итак, ты меня обманула? Итак, были ложны твои клятвы, притворны твои слезы? Любовники, любовники! Если эти прекрасные уста лгали, какие же после этого могут говорить правду?

Маркиз *(вскрикивая на него).* Перестань! Замолчи, дурак!

Пиппетто. Да, отец мой! Небо наказывает меня за то, что я не слушал ваших наставлений. Поверьте мне, что разлучение с этим сердцем стоит мне горьких слез.

Маркиз. Дон Грегорио! И этого вы также не могли предвидеть?

Дон Грегорио. Но кто бы мог предполагать, маркиз, чтобы женщина в эти лета...

Леонарда *(с сердцем).* Прошу не оскорблять меня, Дон Грегорио.

Маркиз. Ты ступай прочь и приготовься-ка отдать отчет в твоем поведении, если только в самом деле в нем есть какой-нибудь соблазн и ты, пользуясь слабоумием этого мальчишки...

Леонарда. Что касается до меня, то вы убедитесь, что я чиста, как кристалл. Я повинуюсь вам, но не могу удержаться, чтоб не сказать, что Дон Грегорио есть настоящая причина моей гибели, и что ревность его виною, что со мною поступают таким образом. (*Уходит.*)

Маркиз. Дон Грегорио!

Дон Грегорио. И вы еще слушаете ее, маркиз?

Маркиз. Вы правы. Она не заслуживает никакого доверия. Из всего этого, что случилось, я вижу, что излишняя строгость и смотрение не суть еще средства к хорошему воспитанию детей.

Дон Грегорио. И вы потом согласитесь со мною, что воспитание молодых людей должно образоваться силою кротости, советов, примера, и показывая им свет осторожно, с благоразумием, в его настоящем виде, чуждом фанатизма его жарких защитников, так же, как и ложного о нем понятия людей предубежденных...

Маркиз. Правда. Пиппетто между тем чрез несколько дней отправится путешествовать и узнать немного людей.

Пиппетто. И скрыться из вида этой неблагодарной. *(Про себя.)* Кажется, даже невозможно: под этакою наружностью и такая лживая душа!

Маркиз. Вы, Дон Грегорио, будете сопровождать его, и пусть случившееся сделает вас более проницательным в подобных случаях.

Дон Грегорио. Я этим воспользуюсь. Никогда не позволю молодым, еще неопытным людям находиться возле пожилых женщин, хотя бы даже они были старее дьявола.

Маркиз. Вы, дети мои, останетесь со мною. Любите меня и любите друг друга.

Энрико. Это мы сделаем от всех сердец наших!

Джильда. От всей души!

Маркиз. Я этого надеюсь. И вот вдруг и разом избавился я от долговременного заблуждения.

Энрико. А сын ваш от страха.

Джильда. А жена его от горестей.

Дон Грегорио. А бедный дядька от своего затруднительного положения.

Конец.

Коллективные шуточные стихотворения

<1>

И с Матреной наш Яким
Потянулся прямо в Крым.

<2>

Все бобрами завелись,
У Фаге все завились —
И пошли через Неву,
Как чрез мягку мураву.

<3>

Да здравствует нежинская бурса!
Севрюгин, Билевич и Урсо,
Студенты первого курса,
И прочие курсы все также.
Без них обойтиться как же!?
Не все они теперь в Петербурге:
В карете в Стамбул уехал один, другой в Оренбурге,
А те же, что прочих здоровьем пожиже,
Всё лето водами лечились, а зиму проводят в Париже.
Женились одни и в сладком дремлют покое,
Учители в корпусе двое,
Известный лгунишка бумаги в юстиции пишет, —
(Черт его колышет!)[1]
Артистов, поэтов меж них есть довольно,
Читаешь, сердцу становится больно.
А те, что в гусарах, не храброго люди десятку —
Коней объезжают в манеже, гнут короля и десятку.

[1] На этот раз Иван Григорьевич никак не ложился под стих.

Приписываемое Гоголю

Эпиграмма <на И. Г. Пащенко>

Наш Вралькин в мире сем редчайший человек!
Подобного ему не сыщешь в целой век.
Как станет говорить — заслушаться всем нада,
Как станет — так и рай вдруг сделает из ада.
Был в Риме, в Лондоне… да где он не бывал —
Весь мир на языке искусно облетал.

<Эпиграмма на Ф. К. Бороздина. Акростих>

Се образ жизни нечестивой,
Пугалище монахов всех,
Инóк монастыря строптивой,
Расстрига, сотворивший грех.
И за сие-то преступленье
Достал он титул сей.
О, чтец! имей терпенье,
Начальные слова в устах запечатлей.

<Эпиграмма на Е. И. Зельднера>

Гицель — морда поросяча,
Журавлини ножки;
Той же чортик, що в болоти,
Тилько приставь рожки!

Полтава

Фрагмент

Язык малороссийский довольно звучен, несмотря на то, что принял много грубых татарских слов, и к церковному славянскому гораздо ближе, чем русский. Находясь под влиянием Польши и Литвы, он во многих местах, особливо пограничных, потерпел большое изменение. Полтава может назваться столицею его; здесь он в первоначальной чистоте своей, без посторонней примеси звучит по хуторам и селам. При приближении к Чернигову он заметно начинает портиться, за Черниговым изменяется в литвинский, в Киеве смешивается с польским, а за Киевом совершенно исчезает.

Монтировка первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра в 1836 году

Монтировка первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра в 1836 году

В контору Императорских театров

от инспектора российской труппы коллежского советника и кавалера Храповицкого

Требование

Для комедии «Ревизор». Долженствующая быть представлена в апреле «22» дня сего года *в Александринском театре.*

По декорационной части

Действие 1-е

Театр представляет комнату двудверную, направо во второй кулисе кабинет, налево окно. (Комната на 4 месте). *Декорация по прилагаемому у сего рисунку.*

Слонка

Действие 2-е

Театр представляет простую серую запачканную комнату в трактире, на правой стороне кабинет, на левой окно; у средней двери замок медный с ручкою. (Средняя дверь должна быть на петлях, которая во время действия падает на сцену; половинки дверей должны быть с обоих сторон одинаковы.)

Действие 3, 4 и 5

Комната первого действия.

По бутафорской части

Действие 1

На правой стороне стол, на столе письменный прибор, на левой стороне диван. У дивана столик, кресла и стулья красного дерева.

Действие 2	Мебель *самая* простая березовая с черными кожаными подушками, на левой стороне простой белый стол, на столе простая чернильница, пол-листа бумаги и пустая бутылка; на правой стороне в первой кулисе простая кровать, на кровати перина, подушки и одеяло; у кровати полусапожки мужские; у средних дверей простой комод, на комоде платяная щетка, картуз табачный пустой, у комода стул, на стуле кожаный чемодан. За кулисами приготовить г. Алекину небольшую миску, в ней: порция супу с *куском* курицею, порция жареной говядины на тарелке, столовый прибор: нож, вилка, салфетка и хлеб.
Действие 3	Ничего.
Действие 4	За кулисами приготовить: для гг. Краюшкина корзинку, в нее поставить дюжину пустых бутылок, *закупоренных пробками.* Сосновскому корзинку, в нее поставить 4 головы бутафорского *фальшивого ватного* сахару. Геину небольшой серебряный поднос. Волкову кулечек завязанный. Бузуеву тоже. Режиссеру колокольчик валдайский.
Действие 5	Мебель та же. За кулисами приготовить дюжину стульев красного дерева.

По рукам роздать

г. Сосницкому	Шпагу на портупее с темляком *военную,* письмо писанное по пьесе, бумажник с ассигнациями на 1000 рублей и 4 целковых.
г. Хотяинцову	Шпагу на портупее без темляка, бумажник с ассигнациями на 200 рублей.
г. Григорьеву б.	Шпагу на портупее без темляка, бумажник с ассигнациями на 200 рублей.

г. Толченову	Шпагу на портупее без темляка, бумажник с ассигнациями на 300 рублей и очки.	
г. Рославскому	Шпагу на портупее с темляком, бумажник с ассигнациями на 100 рублей, письмо писанное по пьесе и очки.	*Примечание. Всем тем, которые имеют белые панталоны, нужно белые портупеи, а имеющим цветные черные портупеи.*
г. Крамолей (восп.)	Бумажник с ассигнациями на 50 рублей.	
г. Прохорову	Бумажник с ассигнациями на 25 рублей, три двугривенных, черный пластырь на нос и военную шпагу *на портупее* с темляком.	
г. Дюру	Пустой бумажник, подорожную и тросточку.	
г. Афанасьеву	Чернильницу, бумаги, сергуч, печать и свечу.	
г. Даллоке	Очки.	
г. Смирнову	Карманные часы с печатками и две цепочки на шею.	
г. Григорьеву м.	Шпагу на портупее с темляком *военную.*	
г. Сосновскому	Бумаги лист, бумажник с ассигнациями на 300 рублей.	
г. Марковецкому	Щетку половую.	
г. Соколову г. Чайскому г. Ахалину (восп.)	Шпаги на портупеях с темляками военные.	
г. Семихатову	Лист бумаги.	
г. Геину г. Бузуеву г. Краюшкину г. Волкову	По листу бумаги.	
г. Лебедеву г. Новицкому г. Хабарову	По листу бумаги.	
2 Певчих б.	То же.	

г. Мельникову	Саблю жандармскую с портупеею поверх мундира.	

По гардеробной части

	Полиции всей мундиры на военный покрой, а г. Толченову и прочим на статский покрой.	
г. Сосницкому в роли городничего	Мундир зеленого сукна с красным бархатным воротником, на воротнике по две вьющихся серебряных петлиц, на обшлагах по три петлицы. Пуговицы белые, панталоны [белые] *под цвет мундира*, шляпа трехугольная новая (шляпа должна быть в *бумажном* футляре, который выносят на сцену). Мундир должен быть сшит на военный манер, *однако фалды широкие, как статские, только зашпилены.*	
г-же Сосницкой в роли жены его	Городское платье (свое).	
г-же Асенковой в роли дочери их	Городское платье (свое).	
г. Хотяинцову в роли Хлопова, смотритель училищ	1) Фрак, панталоны синего сукна, жилет белый.	Вицмундир, брюки, жилет.
	2) Мундир синего сукна статский, воротник черный *бархатный* с серебряным малым кругом шитьем, панталоны *в сапоги* синие, шляпа трехугольная.	Отменить
г-же Шемаевой в роли Хлоповой	Гроднаплевое коричневого цвета платье, платок большой на шею, на голову чепчик с лентами.	
г. Григорьеву б. в роли судьи	1) Фрак оливкового цвета, панталоны серые, жилет пестрой материи двубортный.	Фрак выбрать, панталоны и жилет сделать.

	2) Мундир, *сделанный на манер статского*, зеленого сукна с красным бархатным воротником, панталоны белые, шляпа трехугольная.	Сделать.
г. Толченову в роли Земляники, попечитель богоугодных заведений	1) Фрак темно-зеленого сукна большой, широкий, вицмундирный, пуговицы на фраке желтые, гладкие, панталоны зеленые, жилет двубортный.	Сделать.
	2) Мундир зеленый с высоким воротником, рукава узкие и короткие, панталоны белые (подобно как у г. Григорьева б.). Шляпа трехугольная.	Сделать.
г. Рославскому в роли Шпекина, почтмейстер	1) Фрак темно-зеленый вроде вицмундира с черным бархатным воротником и такими же обшлагами, пуговицы желтые.	Выбрать.
	2) Мундир зеленый с черным бархатным воротником и такими же обшлагами, с золотым жидким *по воротнику* шитьем, панталоны белые, шляпа трехугольная, *пуговицы желтые гладкие.*	Выбрать.
г. Крамолею в роли Добчинского, помещик	1) Фрак серого сукна, китайчатые желтые панталоны в сапоги, белый жилет, на шею цветной платок, *круглая стариковская шляпа.*	Выбрать.
	2) Фрак бутылочного цвета с васильковым воротником бархатным [узким] *самым маленьким*, панталоны под цвет фрака, шляпа.	Фрак выбрать, воротник и пуговицы вновь.
г. [Прохорову] *Петрову восп.* в роли Бобчинского, помещик	1) Фрак серого сукна, желтые китайчатые панталоны, белый жилет, на шею белая косынка.	Сделать.
	2) Мундир внутренней стражи с желтым высоким до пол-уха воротником, пуговицы белые выпуклые в два ряда, темно-зеленые панталоны с красною выпушкою. Шляпу трехугольную с *черным* пером *и белые петлицы.*	Выбрать и переделать.

г. Афанасьеву в роли Осипа, слуга	Сюртук поношенный серого сукна, брюки, черный платок на шею, зеленый картуоз.	Выбрать.
г. Дюру в роли Хлестакова, чиновника из Петербурга	[Фрак сшитый по последней] Темно-зеленый вицмундир с зеленым бархатным воротником и желтыми пуговицами по последней моде, жилет щегольской, белая манишка, брюки черные.	
г. Даллоке в роли уездного лекаря	Фрак вроде виц-мундира темно-зеленого сукна, брюки черные, белый жилет, на фраке пуговицы желтые гладкие.	Выбрать черный фрак и сделать вицмундир.
г. Смирнову в роли Люлюкова, отставной помещик, уездной франт	Фрак старинный с узенькими фалдами, узким воротником и с высокой талией, брюки широкие со складками, жилет гарусной материи с шалью, шляпа круглая.	Брюки сделать, жилет сд<елать>.
г. Беккеру 2 в роли Растаковского, помещик	Фрак горохового цвета, панталоны коричневые, жилет красной материи, картуз бархатный.	Жилет сделать красного гаруса <?>.
г. Войкову, в роли Коробкина, помещик	Венгерка черного сукна, брюки черные, фуражка клеенчатая.	Выбрать.
г-же Перхуровой в роли Коробкиной, жены его	Городское платье полосатой материи, большой платок на шею, большой шелковой материи мешок вроде ридикюля. Чепчик высокий *старинный* [похожий на сахарную голову] с лентами.	
г. Григорьеву м. в роли частного пристава	Мундир зеленого сукна с красной выпушкою *на покрой военный*, воротник красного сукна, панталоны *под цвет мундира* [белые], шляпа трехугольная, *пуговицы желтые*.	*Отличается от полицейских чиновников тем, что мундир новый.*
г. Соколову г. Чайскому г. Ахалину — полицейские чиновники	Мундиры зеленого сукна *на манер военный* с красною выпушкою, воротники красного сукна, панталоны темно-зеленые, шляпы трехугольные *подобные г. Григорьеву м.*	*Сии полицейские чиновники должны иметь мундиры и воротники весьма поношенные.*

г. Сосновскому в роли Авдулина, купец г. [Краюшкину] *Буслов* г. Бузуеву г. [Геину] Крылов г. Волкову	Купеческие сибирки синего сукна со всеми принадлежностями.	Выбрать.
г. Мельникову, жандармский солдат *русский*	Жандармский *русский* солдатский мундир со всеми принадлежностями, белые перчатки *с крагами* и каску. *Серые рейтузы с красными лампасами.*	Как жандарм.
г-же Гусевой в роли Пошлепкиной, слесарша	Кофта, юбка, на голову шелковый платок, на шею бумажный небольшой платок.	
г. Марковецкому, слуга городничего	Полуфрак серого сукна, темно-серой нанки, брюки, жилет полосатый, платок черный на шею.	
г. Алекину в роли слуги *половой* в трактире	Сюртук длиннополый серой нанки с высокою талиею, брюки желтой нанки широкие.	
г-же Рыкаловой в роли гостьи	Городское платье шелковое малиновое, большой платок на шею, ридикюль, чепчик с голубыми лентами.	

На выход

г. Семихатову в роли просителя	Фризовая желтого цвета шинель старая, с длинным воротником, брюки черные, черный платок на шею и полосатый платок для подвязывания щеки, фуражка старая суконная.	
г. Лебедеву, проситель	Мундир солдатский серого сукна с серым воротником инвалидный и брюки серые.	
г. Новицкому, проситель	Сюртук городской с разодранным рукавом.	

г. Хабарову, пономарь, проситель	Костюм Кутейкина из комедии Недоросль.	
6 певчих б., слуги	Сюртуки городские разных цветов, брюки и жилеты.	
г-же Кронштейн, гостья	Коричневой материи платок, чепчик с пунцовыми лентами, платок большой на шею.	
г-же Петровской, гостья	Оранжевого цвета шелковой материи платье, чепчик старинного покроя городской, платок небольшой на шею.	
г-же Горичевой, гостья	Ситцевое пестрое платье, чепчик, подобный г-же Перхуровой, платок большой на шею.	
г. Воротникову м. г. Кубинову	Фраки, брюки разных цветов со всеми принадлежностями.	гости у Городничего
г. Макарову	Военный армейский мундир с красным воротником пехотный, эполеты желтые, рейтузы, шляпа с черным султаном.	
г. Иванову	Военный армейский мундир с красным воротником пехотный, эполеты желтые, рейтузы, шляпа с султаном.	
г. Носову	Костюм майора (из драмы «Двумужница», который надевает г. Беккер 2-й) со всеми принадлежностями.	
1 Воспитанник м.	Полуфрачек темной китайки и брюки.	
Воспитанник м.	Полуфрак желтой китайки и брюки.	
2 Воспитанницы м.	Ситцевые платья.	

По сапожному гардеробу

г. Сосницкому	Ботфорты со шпорами.
г-же Сосницкой г-же Асенковой	Башмаки (свое).

г. Хотяинцову	Сапоги с кисточками.
г-же Шемаевой	Башмаки по костюму.
г. Григорьеву б.	1) Сапоги старинные с отворотами.
	2) Сапоги с кисточками.
г. Рославскому	Сапоги с кисточками.
г. Крамолею г. Прохорову	Сапоги с кисточками.
г. Дюру	Полусапожки (свое).
г. Афанасьеву	Полусапожки.
г. Даллоке	Сапоги с кисточками.
г. Смирнову	Полусапожки.
г. Беккеру 2	Сапоги с кисточками.
г. Байкову	Полусапожки.
г. Григорьеву м.	Ботфорты со шпорами.
г. Сосновскому г. Краюшкину г. Бузуеву г. Волкову г. Геину	Сапоги русские.
г-же Гусевой	Коты.
г. Марковецкому г. Алекину	Полусапожки.
г-же Перхуровой	Башмаки черные.
г. Соколову г. Чайскому г. Ахалину	Ботфорты со шпорами, а г. Ахалину нужно, чтобы звенели громко.
г-же Рыкаловой	Башмаки.
г. Семихатову	Полусапожки.
г. Хабарову	Сапоги по костюму. Дьячковские.
г. Носову	[Сапоги по костюму] Ботфорты со шпорами.

г. Лебедеву г. Макарову г. Новицкому г. Иванову	Сапоги по костюму.
г. Толченову	Сапоги с кисточками.

По парикмахерскому гардеробу

г. Сосницкому	Парик стриженный городской с проседью, большие бакенбарды.
г. Григорьеву б.	Парик из водевиля «В тихом омуте черти водятся», который он надевает.
г. Крамолею г. Прохорову	Парик под цвет волос, прилизанные.
г. Даллоке	Городской рыжий парик с небольшою лысиной, бакенбарды рыжие.
г. Сосновскому и 4 актерам	Парики и русские бороды.
г. Семихатову	Парик городской всклокоченный рыжий, бакенбарды большие.
г. Хабарову, пономарь	Парик пономаря с косичкою.
г. Носову	Парик седой гладенький с косою.
г. Алекину	Русский парик круглый.

Инспектор Российской труппы — *Храповицкий.*

28 марта 1836 г.

Комментарии

Юношеские опыты Николая Гоголя

«Человек со временем будет тем, чем смолоду был», — сказал как-то в 1850 году в разговоре с друзьями Гоголь (<*Хитрово Е. А.*> Гоголь в Одессе. 1850–1851 // Русский Архив. 1902. № 3. С. 545). Попытку показать единство своих взглядов во времени Гоголь предпринял, включив в состав пятого тома готовившегося им незадолго до смерти собрания сочинений наряду со статьями «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) несколько статей из раннего сборника «Арабески» (1835). Тогда же вслед за пятым томом Гоголь намечает шестой — «Юношеские опыты», который должен был завершить собрание. Сюда он намеревался включить все произведения, не вошедшие в первые пять томов. «Все же прочее, — замечал он в предисловии к пятому тому, — может со временем составить отдельный том под названием юношеских опытов». О намерении Гоголя издать в конце жизни том «Юношеские опыты» вспоминал и Г. П. Данилевский, посетивший писателя осенью 1851 года (см.: Гоголь в воспоминаниях современников. Без м. изд., 1952. С. 439). Такой том выделил впоследствии в собрании сочинений Гоголя Н. С. Тихонравов (Сочинения *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 5. М., 1889).

Действительно, резкого, принципиального размежевания между зрелой прозой Гоголя и его «юношескими опытами» не существует. Несмотря на кажущиеся противоречия в его творчестве, все написанные им произведения в итоге составили лишь последовательные (хотя подчас и крутые) ступени духовного восхождения, так что начало и конец его жизненного пути вполне умещаются в евангельской притче: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Мф. 13, 33).

В 1846 году Гоголь, характеризуя ранние переводы В. А. Жуковского, в подражание которым он написал свою первую поэму «Ганц Кюхельгартен», замечал, что в них сказалось безотчетное, «младенческое» стремление человеческого духа, требующего себе «живой пищи». В конце жизни на вопрос «отчего же вы скупы теперь и не хотите делиться с публикою своими трудами?» Гоголь ответил: «Одно направление было, созрело и прошло, другое еще не дозрело». — «Так, стало быть, — возразил собеседник, — вы по самолюбию не хотите писать, чтобы не показаться при новом направлении ниже, нежели каковы были вы при прежнем». — «Как хотите, думайте, — отвечал он. — Но неужели живописец не прав, если он не выставляет напоказ своей картины, как бы она хороша ни была, если он сам недоволен ею». — «Но вы должны иметь в виду пользу публики; если вы осуждаете сами свое прежнее направление, то поспешили бы высказать новое». — «Я не осуждаю, — отвечал он, — всему свое время» (*П. К.* Встреча с Гоголем. <Воспоминания неизвестного, записанные П. А. Кулишом> // Русский Дневник. 1859. 14 января).

Г. П. Данилевский в год смерти Гоголя со слов его матери, Марии Ивановны, записал: «Будучи еще пяти лет от роду, он <Гоголь> вздумал писать стихи. Никто не помнит, какого рода стихи писал он; но вот что осталось в памяти его домашних. Известный литератор наш *Капнист*, заехав однажды к отцу молодого поэта, застал пятилетнего сына его за пером. Малютка Гоголь сидел за столом, глубокомысленно задумавшись над какою-то фразою. Капнисту удалось, просьбами, ласками и другими средствами, заставить нового литератора прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи... Капнист никому не сказал о содержании этих стихов. Он вышел к домашним Гоголя глубоко тронутый, лаская и обнимая маленького писателя, и сказал: "Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!" Над этими словами даровитого и проницательного Капниста призадумается не один из биографов Гоголя» (*Данилевский Г.* Хуторок близь Диканьки // Московские Ведомости. 1852. 14 октября. № 124. С. 1279).

Свидетельство, опубликованное Г. П. Данилевским, было настолько впечатляющим, что, конечно, не могло не вызвать возражений. К тому же слишком отличалось оно от схемы творческой эволюции Гоголя, навязанной читателям В. Г. Белинским. П. А. Кулиш, прочитав статью Данилевского, писал: «...нам не хочется верить... тому, чтоб Гоголь, пяти лет от роду, написал такие стихи, что известный литератор, Капнист, "глубоко тронутый", сказал будто бы: "Из него будет большой талант" и проч.» (<*Кулиш П. А.*> Выправка некоторых биографических известий о Гоголе // Отечественные Записки. 1853. № 2. Отд. 7. С. 117). Данилевский не стал оправдываться, а спустя неделю при повторной публикации своей статьи, отвечая на критику Кулиша, к фрагменту о сочинении пятилетним Гоголем стихов лаконично добавил: «Это нам сообщила М. И. Гоголь» (*Данилевский Г.* Хуторок близь Диканьки (Родина Н. В. Гоголя) // Русский Инвалид. 1853. 1 февраля. № 26. С. 104).

Вслед за Данилевским на родину Гоголя отправился в 1852 году С. П. Шевырев, которому Академия наук поручила составить биографию Гоголя (это поручение осталось неисполненным). Шевырев тоже познакомился с Марией Ивановной и беседовал с ней о ее сыне. Это происходило спустя ровно месяц после посещения гоголевской Васильевки Данилевским.

По-видимому, Данилевский не счел нужным послать тогда Марии Ивановне свою статью, и когда еще через полгода ей на глаза наконец попала газета с его очерком, это вызвало у нее некоторое раздражение. 24 февраля 1853 года она писала Шевыреву: «Чрезвычайно неприятно удивила меня пропечатанная галиматья в газетах г-м Данилевским о детстве моего сына; он все смешал, я ему рассказывала, по его просьбе, то самое, что и Вам говорила... До пяти лет он <Гоголь> начал выписывать на столе мелом слова и слагать, так что мы не обратили на то никакого внимания; нам не приходило

на мысль, что он делает, облокотясь, сидевши, на стол, но когда приехал к нам покойный Василий Васильевич Капнист, тогда было моему сыну 5 лет, и он сидел у стола, нагнувшись, и что-то ворсил уже на бумаге, какие-то каракульки. Он взял у него бумагу и увидел из этой нескладицы нечто похожее на рихму и сказал, как нужно его поручить отличному учителю» (цит. по автографу: Российская национальная библиотека (*РНБ*). Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 17; опубл.: Лит. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 770).

Казалось, Кулишу можно было убедиться в своей правоте. Критика Марии Ивановны статьи Данилевского почти совпала с его замечанием. Впоследствии некоторые исследователи не раз пользовались ее словами, чтобы развеять «легенды» о единстве миросозерцания Гоголя на всем протяжении его пути. Однако по существу дело обстояло иначе. Минутное раздражение матери лишь «по букве» совпало с заявлением стороннего наблюдателя.

Кажется, можно понять Марию Ивановну. Данилевский был первым из почитателей Гоголя, приехавшим к ней из Москвы после смерти сына. Он приехал к ней издалека, чтобы побольше узнать о ее любимом Николиньке — источнике еще не утихших слез и воспоминаний. И она поделилась с молодым человеком сокровенным, памятным от самых первых лет, — а тот, то ли по занятости, то ли по молодости, обидел ее затем своим невниманием. Ничем другим не объяснить, почему она отказалась тогда от собственных слов. Потому что, как выясняется, Данилевский отнюдь ничего не «смешал» и не напутал, а напечатал слово в слово то, что она ему тогда говорила. Свидетельством тому — дневник Шевырева, который тот вел во время поездки в Васильевку. Вот что говорила Мария Ивановна Шевыреву спустя месяц после посещения Данилевского: «...5-ти лет <Гоголь> сочиня<л> стихи, и писал иероглифы. Из карт азбучных выписывал сам — и учился писать самоучкой. — Сложил стихи и записал сам. — Вас<илий> Вас<ильевич> Капнист заметил эти стихи... Слово В. В. Капниста при чтении первых стихов Н. В. Гоголя, когда было ему еще пять лет: "Хорошо бы было, если бы он был отдан на воспитание на руки Христианину". — Слышано от матери» (*Виноградов И. А.* Неопубликованные воспоминания о Н. В. Гоголе его матери // Acta Philologica. Филологические записки. М., 2007. Вып. 1. С. 348–349).

Из дневника С. П. Шевырева со всей определенностью явствует, что слова Капниста о Гоголе в изложении Данилевского: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!», — отнюдь не были досужим вымыслом рассказчика. «Благословение» соседа по имению, прославленного В. В. Капниста из полтавской Обуховки, оказалось не безблагодатным.

* * *

По признанию Гоголя в «Авторской исповеди» (1847), первые его «опыты, первые упражненья в сочиненьях», к которым он

«получил навык», будучи еще в Нежинской гимназии, «были почти все в лирическом и серьезном роде». По преданию, им были написаны баллада «Две рыбки», трагедия «Разбойники», поэма «Россия под игом татар» и «славянская повесть» «Братья Твердиславичи» (вероятно, из истории древнего Новгорода; по словам школьного приятеля А. С. Данилевского, Гоголь писал тогда «во вкусе Бестужева»; *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 102). Из этих ранних опытов Гоголя до нас дошли две строки из поэмы «Россия под игом татар», стихотворения «Новоселье», «Италия» и поэма «Ганц Кюхельгартен».

В 1884 году С. И. Пономаревым был обнаружен первый номер школьного рукописного журнала «Метеор литературы» («Часть 1. 1826, январь. № 1»), писанный, предположительно, рукою Гоголя и содержащий некоторые «гоголевские» материалы (*Пономарев С.* Нежинский журнал Н. В. Гоголя // Киевская Старина. 1884. № 5. С. 143–146). Помимо почерка, об участии Гоголя в составлении этого номера может свидетельствовать опубликованная тогда же исследователем эпиграмма «Наш Вралькин в мире сем...», приписываемая Гоголю (*Иофанов Д.* Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 164), а также упомянутый Пономаревым при описании журнала эпиграф из первых восьми стихов басни Крылова «Орел и Пчела» (1811) — позднее Гоголь цитировал строки этой басни, с четвертой по восьмую, в статье о русской поэзии «Выбранных мест из переписки с друзьями». По свидетельству соученика Гоголя П. И. Мартоса, который, по его словам, «издавал» в 1826 году журнал «Метеор литературы», в том же году в одном из номеров журнала и было помещено упомянутое стихотворение Гоголя «Новоселье» (Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 773–774). О существовании других юношеских произведений Гоголя можно судить лишь по рассказам его школьных друзей.

Так, Н. Я. Прокопович сохранил воспоминание о том, как Гоголь, «бывши еще в одном из первых классов гимназии, читал ему наизусть свою стихотворную балладу “Две рыбки”. В ней, под двумя рыбками, он изобразил судьбу свою и своего брата, — очень трогательно, сколько припомнит г. Прокопович тогдашнее свое впечатление... Наконец, сохранилось предание еще об одном ученическом произведении Гоголя — о трагедии “Разбойники”, написанной пятистопными ямбами... Не ограничиваясь первыми успехами в стихотворстве, Гоголь захотел быть журналистом, и это звание стоило ему больших трудов. Нужно было написать самому статьи почти по всем отделам, потом переписать их и, что всего важнее, сделать обертку наподобие печатной. Гоголь хлопотал изо всех сил, чтоб придать своему изданию наружность печатной книги, и просиживал ночи, разрисовывая заглавный листок, на котором красовалось название журнала: “Звезда”. Все это делалось, разумеется, украдкою от товарищей, которые не прежде должны были узнать содержание книжки, как по ее выходе из редакции. Наконец

первого числа месяца книжка журнала выходила в свет. Издатель брал иногда на себя труд читать вслух свои и чужие статьи. Все внимало и восхищалось. В "Звезде", между прочим, помещена была повесть Гоголя "Братья Твердиславичи" (подражание повестям, появлявшимся в тогдашних современных альманахах) и разные его стихотворения. Все это написано было так называемым "высоким" слогом, из-за которого бились и все сотрудники редактора. Гоголь был комиком во время своего ученичества только на деле: в литературе он считал комический элемент слишком низким. Но журнал его имеет происхождение комическое. Был в Гимназии один ученик с необыкновенною страстью к стихотворству и с отсутствием всякого таланта, — словом, маленький Тредьяковский. Гоголь собрал его стихи, придал им название "Альманаха" и издал под заглавием: "Парнасский навоз". От этой шутки он перешел к серьезному подражанию журналам и работал над обертками очень усердно в течение полугода или более» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 1. С. 25–26).

В. И. Любич-Романович позднее сообщал: «Наш товарищ П. Г. Редкин имел комнату у профессора Белоусова. По субботам, вечером, у него собирались некоторые из приятелей, пописывавшие стишки. Постоянными посетителями этих литературных вечеров были Гоголь, Кукольник, Константин Базили, Прокопович, Гребенка, я и другие. Происходило чтение наших произведений, критический разбор их и решения, годятся ли они для помещения в издававшемся нами рукописном журнале "Навоз Парнасский" или для блага автора должны быть преданы торжественному уничтожению. Некоторые из стихотворений Гоголя, в приятельской переделке Прокоповича, были помещены в этом журнале, чему всегда радовался безгранично Николай Васильевич. И те из бойких стихослагателей, которые в стенах гимназии трунили над его неудачными литературными попытками, с какою недоумевающею завистью смотрели впоследствии на славу талантливого сатирика! Первая прозаическая вещь Гоголя была написана в гимназии и прочитана публично на вечере Редкина. Называлась она "Братья Твердославичи, славянская повесть". Наш кружок разнес ее беспощадно и решил тотчас же предать уничтожению. Гоголь не противился и не возражал. Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь.

— В стихах упражняйся, — дружески посоветовал ему тогда Базили, — а прозой не пиши, очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно...

Но без приятельской поддержки Прокоповича и стихи Гоголя были бы негодны, так как он никогда не мог совладать с размером, с гармонией, а, гоняясь за рифмами, так обезображивал всегда смысл своих творений, что даже всегда сдержанный Прокопович приходил в ужас» (*Шевляков М.* Рассказы о Гоголе и Кукольнике // Исторический Вестник. 1892. Декабрь. С. 695).

Еще один однокашник Гоголя, К. М. Базили, вспоминал: «В 1825, 26, 27 годах наш литературный кружок стал издавать свои журналы и альманахи, разумеется, рукописные. Вдвоем с Гоголем, лучшим моим приятелем, хотя и не обходилось дело без ссор и без драки, потому что оба были запальчивы, издавали мы ежемесячный журнал страниц в пятьдесят и шестьдесят в желтой обертке с виньетками нашего изделия, со всеми притязаниями дельного литературного обозрения. В нем были отделы беллетристики, разборы современных лучших произведений русской литературы, была и местная критика, в которой преимущественно Гоголь поднимал на смех наших преподавателей под вымышленными именами. Нестор Кукольник издавал также свой журнал, в котором помещал первые опыты своих драматических произведений. По воскресеньям собирался наш кружок, человек 15–20<-ть> старшего возраста, и читались наши труды и шли толки и споры…» (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 250–251). О том, что «Базили издавал вместе с Гоголем “Северную зарю”, в желтой обертке с виньетками, которые сами они рисовали» — и что «по воскресеньям это читалось в заседании всего литературного общества воспитанников», вспоминал также И. Д. Халчинский (Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. СПб., 1881. С. 329).

По словам Г. П. Данилевского, Гоголь «на школьной скамейке… переписывал для себя только что выходившие в свет поэмы Пушкина “Цыганы”, “Полтава”, “Братья Разбойники” и главы “Евгения Онегина”. Он обыкновенно переписывал их на самой лучшей бумаге и украшал рисунками собственного изобретения» (*Данилевский Г.* Хуторок близь Диканьки // Московские Ведомости. 1852. 14 октября. № 124. С. 1279). Однокашник Н. И. Билевич вспоминал также, что на Гоголя «из писателей первоначально имел… влияние Боккаччио» (*Виноградов И. А.* Воспоминания о Н. В. Гоголе Н. И. Билевича в путевом дневнике С. П. Шевырева // Вестник Литературного ин-та им. А. М. Горького. 2007. № 1. С. 78). Последнее, вероятно, явилось следствием общения с воспитанниками нескольких «свободомыслящих» профессоров Нежинской гимназии, осужденных позднее, в 1830 году, личным распоряжением Императора, «за вредное на юношество влияние» и «за дурное поведение». Согласно материалам следствия, именно эти преподаватели, в частности, профессора И. Я. Ландражин и Ф. И. Зингер, — не только профессора, но и карточные игроки, и завсегдатаи трактиров, куда они водили с собой учеников, — раздавали «неприличные возрасту» подопечных книги. (Подробнее см.: *Виноградов И. А.* Религиозное образование Гоголя в Нежинской гимназии высших наук // Н. В. Гоголь и Православие. М.: Отчий дом, 2004).

Гоголь замечал, что в школе на него «часто находила охота шутить и даже надоедать другим» своими шутками. Его друзьям запомнились две из таких шуток — акростих на товарища по гимназии Ф. К. Бороздина и эпиграмма на школьного надзирателя Е. И. Зельднера. В те же годы Гоголем была написана пространная

сатира на жителей города Нежина «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», состоявшая из пяти «отделов»: 1) «Освящение церкви на греческом кладбище»; 2) «Выбор в греческий магистрат»; 3) «Всеедная ярмарка»; 4) «Обед у предводителя (дворянства) П* * *»; 5) «Роспуск и съезд студентов» (см.: <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 24–25; *Самойленко Г. В.* Историко-бытовая основа повести Н. Гоголя «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан» // *Самойленко Г. В.* Творча спадщина М. Гоголя на перетині епох. Ніжин, 2009). По объяснению Гоголя в «Авторской исповеди», потребность шутить была связана с его «меланхолическим от природы характером», «припадками тоски», развеять которую ему удавалось с помощью шутки.

В печати Гоголь дебютировал дважды. Сначала — как поэт. В 1829 году он анонимно опубликовал стихотворение «Италия» и поэму «Ганц Кюхельгартен» (под псевдонимом В. Алов). Последняя получила в журналах отрицательные рецензии, после чего Гоголь постарался сжечь все имевшиеся у книгопродавцев экземпляры тиража. Второй дебют был в прозе и сразу поставил Гоголя в число первых литераторов России. 22 февраля 1831 года П. А. Плетнев писал А. С. Пушкину: «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в “Северных Цветах” отрывок из исторического романа, с подписью “0000”, также в “Литературной Газете” — “Мысли о преподавании географии”, статью “Женщина” и главу из малороссийской повести “Учитель”. Их писал Гоголь-Яновский... Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает» (*Плетнев П. А.* Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 366).

Можно только удивляться высокой требовательности к себе Гоголя, ибо из произведений, принесших ему известность и открывших доступ к Пушкину, все они, за исключением статьи о географии, были впоследствии отнесены в том «Юношеские опыты».

К этому следует добавить, что, по воспоминаниям О. М. Бодянского, в юношеские опыты Гоголем в конце жизни едва не отнесены были и «Вечера на хуторе близ Диканьки» — книга, сделавшая в свое время его имя еще более известным (см.: <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 258). В 1842 году Гоголь в предисловии к собранию своих сочинений в четырех томах замечал о «Вечерах...»: «...Это первоначальные ученические опыты... Снисходительный читатель может пропустить весь первый том...» Таким образом, можно сказать, что юношескими, или «ученическими» опытами открывалось гоголевское собрание сочинений, ими же предполагалось его завершить.

Относительно хронологических рамок тома следует заметить, что, несмотря на некоторую временную неопределенность границы, проведенной Гоголем между его «юношескими» и зрелыми

произведениями, главный рубеж явственно приходится на середину 1830-х годов — время выхода в свет «Арабесок», «Миргорода» и «Ревизора». 28 июня (н. ст.) 1836 года Гоголь писал В. А. Жуковскому из Гамбурга: «Каких высоких, каких торжественных ощущений... исполнена жизнь моя!.. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства... В самом деле, если рассмотреть строго и справедливо, что такое все написанное мною до сих пор? Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, в которой на одной странице видны нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность... Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, провидящий в них зародыш будущего. Пора, пора наконец заняться делом». Еще несколько набросков датируются 1839 годом.

Крайней датой, которой исчерпываются «юношеские опыты», является 1842 год — год появления в печати первого собрания сочинений Гоголя. Все произведения, опубликованные и неопубликованные, написанные до этого времени и не вошедшие в собрание (с исключением из этого числа, как уже говорилось, нескольких статей, намеченных позднее Гоголем в том духовной прозы и публицистики — см. т. 6 наст. изд.), включены в настоящий том. Здесь же помещаются первоначальные редакции «Тяжбы» и «Лакейской» («Владимир 3-ей степени»), «Женитьбы» («Женихи»), «Тараса Бульбы», «Портрета», «Ревизора», а также гоголевские редакции переводов двух пьес: «Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою» Ж. Б. Мольера и «Дядька в затруднительном положении» графа Дж. Жиро. В состав «Юношеских опытов» — и в состав художественных произведений Гоголя в целом — впервые включается готовившееся Гоголем в 1838 году к публикации <Письмо из Рима к редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу> — своеобразный «опыт» и предвестие позднейших «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Игорь Виноградов, Владимир Воропаев

Юношеские опыты
Первоначальные редакции

Тексты, кроме особо оговоренных случаев, печатаются по изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. / Сост., подготовка текстов и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1994. Отсутствующие в рукописи, но необходимые по смыслу слова обозначены угловыми скобками; слова, зачеркнутые в рукописи автором, — квадратными.

<Из поэмы «Россия под игом татар»>

Впервые напечатано Г. П. Данилевским в очерке «Хуторок близь Диканьки» по воспоминаниям матери Гоголя: Московские Ведомости. 1852. 14 октября. № 124 (см. также: Русский Инвалид. 1853. 1 февраля. № 26). Посетив родину Гоголя в мае 1852 г., Г. П. Данилевский сообщал: «По словам его матери, он в Нежинском лицее написал стихотворение “Россия под игом татар”. Эту никогда не напечатанную вещь Гоголь тщательно переписал в изящную книжечку, украсил ее собственными рисунками и переслал матери из Нежина по почте. Из всего содержания этой поэмы, увезенной им впоследствии из Яновщины и, вероятно, истребленной, мать покойного вспомнила мне только окончание, а именно следующие два стиха:

Раздвинув тучки среброрунны,
Явилась трепетно луна»

(*Данилевский Г.* Хуторок близь Диканьки // Московские Ведомости. 1852. 14 октября. № 124. С. 1279).

Мать Гоголя, Мария Ивановна, прочитав статью Г. П. Данилевского, писала 24 февраля 1853 г. С. П. Шевыреву из Васильевки: «...я сказала г. Данилевскому, что он (Гоголь. — *И. В., В. В.),* будучи 16-ти лет, поднес мне свою рукопись в стихах, со тщанием написанную, взяв то время, когда Россия была под игом татар. Эта тетрадка им же была и обрисована, но после, когда он приезжал в каникулы домой, взял, рассматривая в шкапу книги, и, как видно, истребил, и, когда начала ему выговаривать, зачем он лишил меня этого, то он отнекивался, что не брал. Г. Данилевский очень усердно просил меня сказать ему, что запомнила из его стихов; я сказала, что очень жалею, что не помню; это было так давно, и я долго грустила, что не спрятала в таком месте, где бы он не нашел, но я не могла предвидеть, чтоб он мог взять обратно свой подарок. Один только при конце врезался в моей памяти куплет: “Раздравши тучи среброрунны, являлась трепетно луна”. Г. Данилевский напечатал вместо “туч” — “тучки”...» (Лит. наследство. Т. 58. С. 770).

Согласно свидетельству матери Гоголя, поэма написана в 1825 г. (когда Гоголю было 16 лет): «В стихах он поднес было мне тетрадку,

обрисованную как можно тщательнее, когда Рос<с>ия была под игом татар, и мне казались стихи необыкновенно хороши, и мне очень было жаль, что он у меня тайно их взял с шкаба, прося ключ вынуть книги при отъезде в Нежин, и я не подозревала этого и не скоро узнала, и начала ему выговаривать, зачем он лишил меня моей собственности, он отнекивался, что не брал, и обещал мне доставить что-нибудь лучшее» (*Виноградов И. А.* Неопубликованные воспоминания о Н. В. Гоголе его матери. С. 355). В. С. Аксакова 29–30 мая 1842 г. писала М. Г. Карташевской о матери Гоголя: «Как интересны все те мелочные подробности, которые она рассказывает про детство своего *Николиньки*. Какое он написал один раз какое-то сочинение и поднес ей, а потом она подозревает, что сам же у ней его взял и т. д.» (речь в письме, по-видимому, идет также о поэме «Россия под игом татар») (Там же. С. 356).

Можно предположить, что в качестве литературных образцов для поэмы Гоголю послужили стихотворения Н. М. Языкова «Песнь барда во время владычества татар в России» (1823); «Баян к русскому воину при Дмитрии Донском, прежде знаменитого сражения на Непрядве» (1823); «Евпатий» (1824). Последнее стихотворение Гоголь включил впоследствии в список «дум» «Учебной книги словесности для русского юношества» (1845).

Новоселье

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым по неполному автографу в кн.: Сочинения Н. В. Гоголя. Дополнительный том ко всем предшествовавшим изданиям сочинений Гоголя. Вып. I. М., 1892 (Библиотека для Чтения. Бесплатное приложение к журналу «Царь-Колокол». № 3). В автографе стихотворение носит название «Непогода». Рукопись представляет полулист с вырезанной серединой (недостает девяти стихов) и припиской лицейского товарища Гоголя А. С. Данилевского: «Я нашел эти стихи, к сожалению, разорванные, они еще писаны в Нежине на школьной скамейке».

Полный текст стихотворения сообщен другим нежинским приятелем Гоголя — П. И. Мартосом в письме к П. И. Бартеневу от 16 февраля 1866 г. (см.: Лит. наследство. Т. 58. С. 773–774). По свидетельству П. И. Мартоса, под названием «Новоселье» гоголевское стихотворение было помещено в 1826 г. в школьном рукописном журнале «Метеор литературы» (см. сопроводит. статью к наст. тому).

Италия

Впервые напечатано: Сын Отечества и Северный Архив. 1829. Т. 2. № 12 (без подписи; цензурное разрешение 22 февраля 1829 г., вышел в свет 23 марта). На авторство Гоголя указано Н. Я. Прокоповичем (<*Кулиш П. А.*> Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя // Отечественные Записки. 1852. № 4. Отд. VIII.

С. 200). Первое из напечатанных произведений Гоголя. П. А. Кулиш, первый биограф писателя, сопроводил стихотворение следующим комментарием: «...Гоголь сам боялся гласности и прокладывал себе дорогу к литературным успехам тайком даже от ближайших друзей своих. Он написал стихотворение "Италия" и отправил его incognito к издателю "Сына Отечества", может быть, для того только, чтобы узнать, удостоят ли его стихи печати. Стихи были напечатаны, и вот эти первые черты пера, которому предназначено было создать столько художественных образов. Несмотря на крайнюю молодость поэта, в них заметно дарование» (<*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854. С. 35–36).

Стихотворение «Италия», по всей видимости, представляет собой фрагмент поэмы «Ганц Кюхельгартен» (см.: *Жданов И. Н.* Н. В. Гоголь. Литограф. курс лекций 1896–1897. СПб., 1897. С. 130; *Гиппиус В. В.* Ганц Кюхельгартен // Литературный архив. Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 369–370). См. также коммент. к с. 21 — *И благоуханьем весь воздух обвит.*

Литературным источником «Италии» послужило Гоголю одноименное стихотворение Д. В. Веневитинова (напечатано в «Московском Вестнике» в 1827 г.). См.: *Николаев О. Р.* У истоков гоголевского художественного мира (поэма «Ганц Кюхельгартен») // Н. В. Гоголь и русская литература XIX века. Л., 1989. С. 15.

Позднее, 3 марта 1851 г., Гоголь говорил одесской знакомой Е. А. Хитрово по поводу журнальной статьи М. Б. Чистякова об Италии: «И зачем так восхищаться?! Только поселят желания, которые волнуют! Те же самые потом поедут и, не найдя, чего ожидали, бранят Италию» (<*Хитрово Е. А.*> Гоголь в Одессе. С. 556).

И страстно мирт над ней главой колышет... — *Мирт* (мирта; к стр. 9
греч. mirtos) — род вечнозеленых деревьев и кустарников.

Еще живут Рафаэль и Торкват! — *Рафаэль* Санти (1483– к стр. 10
1520) — итальянский живописец эпохи Высокого Возрождения. *Торкват* (Торквато) Тассо (1544–1595) — итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Ганц Кюхельгартен

Впервые напечатано: Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах. Соч. В. Алова. (Писано в 1827.) СПб., 1829 (цензурное разрешение 7 мая 1829 г.). В книжных лавках «Ганц Кюхельгартен» появился после 5 июня 1829 г., когда Гоголь обратился с письменной просьбой к цензору К. С. Сербиновичу «ускорить выдачу билета на выпуск в продажу». В «Московских Ведомостях» объявление о книжке В. Алова, «полученной на сих днях из Петербурга», напечатано 27 июня.

Три последовавших отклика на поэму никому не известного автора — Н. А. Полевого в «Московском Телеграфе» (1829. № 12) и О. М. Сомова в «Северной Пчеле» (1829. № 87. 20 июля; атрибуцию рецензии О. М. Сомову см.: *Гиппиус В. В.* Ганц Кюхельгартен. С. 391–392) и в «Северных Цветах на 1830 год» — были единодушны в оценке ее как произведения незрелого, которому, вопреки мнению издателя, следовало бы лучше остаться «под спудом». Сраженный первыми двумя отзывами, Гоголь «отправился по книжным магазинам, собрал экземпляры, нашел в гостинице нумер и сжег все до одного» (<*Кулиш П. А.*> Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя. С. 199).

Сохранившиеся экземпляры прижизненного издания «Ганца Кюхельгартена» представляют библиографическую редкость. Из знакомых и друзей Гоголя об его авторстве было известно только Н. Я. Прокоповичу. Для всех прочих «это оставалось непроницаемою тайною. Некоторые из них, — и в том числе П. А. Плетнев, которого Гоголь знал тогда еще только по имени, и М. П. Погодин получили incognito по экземпляру его поэмы; но автор никогда ни одним словом не дал им понять, от кого была прислана книжка» (<*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 67).

Мироощущению героя поэмы — «Ему казалось душно, пыльно / В сей позаброшенной стране...» и ее автора, воспевающего в заключительных строках «страну высоких помышлений, воздушных призраков страну», Германию (куда Гоголь вскоре и отправился наблюдать «быт и занятия добрых немцев» и писать «сочинение... на иностранном языке» — как он сообщал матери 24 июля 1829 г.), созвучны строки гоголевского письма к школьному приятелю Г. И. Высоцкому от 26 июня 1827 г.: «Ты знаешь всех наших существователей... Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека… я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине. Я иноземец, забредший на чужбину искать того, что только находится в одной родине...» Позднее Гоголь писал своей бывшей ученице М. П. Балабиной: «...я сомневаюсь, та ли эта Германия, какою ее мы представляем себе. Не кажется ли она нам такою только в сказках Гофмана?.. Та мысль, которую я носил в уме об этой чудной и фантастической Германии, исчезла, когда я увидел Германию на самом деле... Я знаю, есть эта земля, где все чудно и не так, как здесь; но к этой земле не всякие знают дорогу» (письмо от 7 ноября (н. ст.) 1838 г.).

В статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846) Гоголь, характеризуя поэзию В. А. Жуковского, влияние которого определенно сказывается в «Ганце Кюхельгартене», писал: «Неясные грезы, таинственные предания... темные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот

младенческий лепет, которым подает о себе весть бессмертный дух человека... В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направленья. По мере того как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад». Еще в 1831 г. Гоголь, приветствуя выход в свет сказок В. А. Жуковского, восклицал: «Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт и уже чисто русской. Ничего германского и прежнего». Подобный же путь проделал и Гоголь — от «Ганца Кюхельгартена» к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», — и в этом, очевидно, свою роль сыграла его поездка в Германию в 1829 г.

Следует отметить, что в самом «Ганце Кюхельгартене» наряду с размышлениями о благодетельной роли искусства слышна уже мысль о его «бренности» и даже внутренней неправде («коварные мечты»). Отмечено, что уже здесь у Гоголя присутствует понимание «скрытого внеморализма эстетической сферы» (*Зеньковский В. В., проф., прот.* Н. В. Гоголь. Париж, <1961>. С. 117). Можно предположить, что истинное призвание гоголевского Ганца, его «незнаемый удел», — занять место умершего во время его дальних странствий деревенского пастора, жизненный путь которого («...дьявола отрекся я...»), равно как и удел его зятя, ремесленника Бауха (*нем.* Bauch — чрево, живот, брюхо), скрыто сопоставляются в поэме с исканиями юного Ганца. (О дальнейшем развитии у Гоголя мотивов покаяния в «Страшной мести» см. в коммент. к повести в т. 1 наст. изд.)

Содержание поэмы позволяет судить об определенной зрелости религиозно-политических воззрений восемнадцатилетнего Гоголя. Это касается отразившихся в поэме критических воззрений на александровские принципы «Священного Союза», основанного в 1815 г. монархами трех разных вероисповеданий: австрийским императором — католиком, прусским королем — протестантом и русским православным монархом. Позднее, в статье «О преподавании всеобщей истории», образование «Священного Союза» Гоголь рассматривал даже как одну из примет приближающегося конца света (см. коммент. к этой статье в т. 6 наст. изд.). О расхождении автора с официальной политикой александровской эпохи свидетельствует в «Ганце Кюхельгартене» сочувственное освещение одной из поднятых здесь тем — религиозной и национально-освободительной борьбы православных греков 1821–1827 гг. против турецкого владычества (позднее Гоголь напоминал об этих событиях в «Мертвых душах»: портреты греческих полководцев в доме Собакевича). В результате последовательного осуществления во внешней политике России внеконфессиональных принципов «Священного Союза» позиция, занятая Императором Александром I по отношению к освободительному движению греков, явилась таким же вопиющим противоречием, каким во внутренней политике Императора было распространение

враждебных Православию сочинений западных мистиков. Англия, не участвовавшая в «Священном Союзе», поддержала, из политических соображений, движение православных греков, тогда как православный Император, — убежденный на Веронском конгрессе (1822) австрийским министром князем К.-В. Меттернихом, что в интересах Австрии и всего «Братского Христианского Союза» выступать на стороне Оттоманской империи, — помощи Греции не оказал. По замечанию историка, «Александр считал своим долгом не уклоняться от тех принципов, которые лежали в основе Священного Союза и подавлять всякое народное движение, направленное к ниспровержению алтарей и престолов, а в восстании греков он усматривал революционные стремления» (*Н<еведомский> В.* Баронесса Крюднер и ее переписка с князем А. Н. Голицыным // Русский Архив. 1883. № 3. С. 329). (Одним из тех, кто подобным же образом представлял Императору восстание православных греков, был, в частности, и декабрист П. И. Пестель, командированный в 1821 г. в Бессарабию для собирания сведений о греческом восстании.) Положение дел изменилось только со вступлением на престол Николая I. 23 марта 1826 г. между Англией и Россией, к неудовольствию Меттерниха, был заключен союз, в 1827 г. подписан лондонский трактат (к которому присоединилась также Франция), и Греция была объявлена автономным государством. (8 октября 1827 г. в Наваринской битве союзный флот России, Англии и Франции разгромил турецкий флот — это событие призван напомнить во втором томе «Мертвых душ» цвет сукна нового фрака Чичикова — «наваринского пламени с дымом».)

Между тем отношение к освободительному движению греков осталось едва ли не прежним. Первый президент Греции с 1827 г. граф И. А. Каподистрия 27 сентября (9 октября) 1831 г. был убит. Как отметил В. И. Сахаров, фамилия убийц Каподистрии — Г. и К. Мавромихали — дважды встречается в черновой редакции гоголевского «Портрета»: «образ Мавромихала», «портрет Мавромихала» (*Сахаров В. И.* Граф Иоаннис Каподистрия — вождь греческой революции // Греческая газета. 2003. Январь. № 6. С. 23). После убийства Каподистрии на греческий престол в 1832 г., по соглашению европейских государств, был избран несовершеннолетний принц Оттон, младший сын баварского императора Людвига I. В Греции вместо прежней «туркократии» наступила эпоха «баварократии». В этот период один из вождей греческого восстания против турок, глава «русской партии» в Греции Т. Колокотронис (упоминаемый Гоголем в «Ганце Кюхельгартене») был обвинен в 1834 г. новым правительством в государственной измене, приговорен к смертной казни, замененной двадцатью годами тюремного заключения (вскоре Колокотронис был, однако, помилован). Спустя еще несколько лет, в 1843 г., в Греции вновь вспыхнуло восстание — на этот раз против правления немцев-католиков. Ф. И. Тютчев полагал, что «эта революция, уничтожившая чужеземную власть и, казалось бы,

восстановившая в правах инициативу более национальных влияний, могла бы в конце концов привести к укреплению связи, соединяющей маленькую страну с великим целым, чьей только частью является» (*Тютчев Ф. И.* <О необходимости учреждения за границей русской печати. Записка Императору Николаю I.> // Полн. собр. соч. и писем: В 6 т. М., 2003. Т. 3. С. 138; перевод Б. Н. Тарасова; записка относится к первой половине 1845 г.). Однако, несмотря на враждебную по отношению к России политику правительства Оттона I, Император Николай I как последовательный приверженец монархического принципа выразил возмущение лояльным отношением к восставшим своего посланника Г. А. Катакази, приказал его отозвать и даже уволил от службы (см.: *Арш Г. Л.* Греческое королевство // Международные отношения на Балканах. 1830–1856 гг. М., 1990. С. 87–113).

События религиозной и национально-освободительной борьбы греков 1821–1827 гг. и имеет в виду Гоголь в «Ганце Кюхельгартене», где герои, в частности, рассуждают «про новости газет, / ...про греков и про турок, / Про Мисолунги, про дела войны, / Про славного вождя Колокотрони, / Про Каннинга, про парламент...».

В 1820-х гг. к освободительному движению православных греков было обращено пристальное внимание всего русского общества, но особый интерес проявляли в Нежине, где с XVII в. существовала обширная греческая колония. Гоголь узнавал об этих событиях не только из газет, но и от тех, кого они непосредственно затрагивали. С новым потоком беженцев, вырвавшихся из рук турок и нашедших приют в России, в Нежинскую гимназию поступило в 1822 г. шесть воспитанников-греков, из которых один, Константин Базили, впоследствии известный историк и дипломат, стал близким другом Гоголя. Свидетель ужасов константинопольской резни греков в 1821 г., К. М. Базили, «самою своею судьбой, приведшей его в Нежинскую гимназию», оказал, по мнению исследователей, важное влияние на будущего творца "Тараса Бульбы"» (*Коялович А.* Детство и юность Гоголя // Московский Сборник. М., 1887. С. 213; см. также: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 90; *Каманин И. М.* Научные и литературные произведения Гоголя по истории Малороссии // Памяти Гоголя. Киев, 1902. С. 80). От Базили Гоголю мог, в частности, быть известен подвиг Константинопольского патриарха Григория V (причисленного позднее к лику святых), который поддержал освободительное движение и пострадал от турок-мусульман в 1821 г. (память священномученика Григория, патриарха Константинопольского, совершается 10 апреля ст. ст.). Отец К. М. Базили, М. В. Базили, был старостой патриаршей церкви; и сам малолетний Базили был свидетелем казни патриарха. По словам соученика Гоголя и Константина Базили, И. Д. Халчинского, обо всем этом и о своем бегстве из Константинополя «молодой Базили рассказывал во время своего пребывания в Гимназии товарищам много примечательных подробностей»

(*Халчинский И. Д.* К. М. Базили // Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. СПб., 1881. С. 327). Учитель латинского языка в Нежине И. Г. Кулжинский также вспоминал: «Базили был одним из тех лиц, которые приехали из Константинополя в Одессу вместе с телом блаженного священномученика Григория, патриарха Цареградского... Он любил рассказывать о своем плавании с этим драгоценным залогом страждущей Греции, и слезы всегда, при таком рассказе, блестели в юношеских черных очах молодого эллина» (*<Кулжинский И. Г.> И. К.* Воспоминания учителя // Москвитянин. 1854. № 21. Отд. V. С. 10). Впоследствии события константинопольской резни К. М. Базили описал в своих «Очерках Константинополя», опубликованных в 1835 г. (см.: *Базили К.* Очерки Константинополя. СПб., 1835. Т. 2. С. 129–140).

В числе литературных источников поэмы Гоголя исследователи называют идиллию немецкого поэта Иоганна Фосса «Луиза» (1783–1784), имевшуюся в Нежинской гимназии в переводе П. А. Теряева: «Луиза, сельское стихотворение в трех идиллиях. Соч. Ивана Фосса». СПб., 1820; отмечается также близость Ганца с Ленским в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина, песни Луизы — с письмом Татьяны и др. В строфах об Элладе, а также в образе романтической Германии ощущается влияние «Отрывка из путешествия по Германии» В. К. Кюхельбекера, напечатанного в 1825 г. в «Мнемозине» (см.: *Десницкий В. А.* Задачи изучения жизни и творчества Гоголя // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2). Источником IV картины «Ганца Кюхельгартена» послужил Гоголю прозаический перевод последней (четвертой) вставной поэмы в «восточную повесть» Т. Мура «Лалла Рук» (1817), опубликованный в 1827 г. в «Сыне Отечества» (см.: *Алексеев М. П.* Гоголь и Т. Мур // *Алексеев М. П.* Сравнительное литературоведение. Л., 1983).

В образах «Ганца Кюхельгартена» нашло также отражение содержание поэмы двоюродного дяди Гоголя Ивана Петровича Косяровского «Нина» (СПб., 1826; цензурное разрешение 22 сентября). В первой половине 1820-х гг. И. П. Косяровский служил с братьями на Кавказе, переписывался с матерью Гоголя, Марией Ивановной, и 20 сентября 1825 г. послал ей оттуда стихотворение на смерть мужа В. А. Гоголя-Яновского (опубл.: *Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей // Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 48–50). С 1826 г. И. П. Косяровский жил в Петербурге, позднее — в Одессе. В. А. Чаговец видел в Васильевке два экземпляра поэмы И. П. Косяровского «Нина», на одном из которых была дарственная надпись двоюродному племяннику — Н. В. Гоголю (*Чаговец В. А.* Дополнения и поправки // Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 6. С. 10). С поэмой своего двоюродного дяди Гоголь познакомился в первой половине января 1827 г., приехав из Нежина в Васильевку на Рождественские каникулы. Именно этим годом он датировал «Ганца Кюхельгартена». В том же году М. И. Гоголь,

прочитав поэму своего двоюродного брата, нашла в ней «точное описание» дома в имении ее соседа и дальнего родственника Д. П. Трощинского Кибинцы (*Ильин-Томич А. А.* Косяровский Иван Петрович… // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 107). С этого описания начинается поэма Косяровского:

Поднесь, как сторожа лугов,
Стоят еще, с нашествий Ханов,
Остатки вскопанных валов
И зыбкие ряды курганов.
Близ сих могил, горы крутой,
Река подошву омывает;
Она закрыта осокой,
Стеклом дрожащим отражает
Красивый и огромный дом:
Хлеб-соль, покой, веселье в нем,
Соседей добрых угощают.
По сторонам его сады:
В них гроты, рощи и пруды,
И за рекой в дали высокой,
Навстречу солнечным лучам,
Блестит Главами Божий Храм —
Величественный, одинокой.

(Нина. Стихотворная повесть. Соч. *Ивана Косяровского.* СПб., 1826. С. 1–2). Гоголевское описание деревни в поэме «Ганц Кюхельгартен» почти повторяет этот отрывок: «Вся в золоте сияет колокольня… / Пленительно оборотилось всё / Вниз головой, в серебряной воде…»

К «точному описанию» дома в Кибинцах относятся, по-видимому, и следующие строки поэмы: «Вельможи дом великолепный / Призывной роскошью блистал, / И сам хозяин многолетный / Любил гостей — и угощал. / И часто, средь огромной залы, / За сладкоякственным столом, / Заздравным пенились вином / Пирамидальные покалы» (Там же. С. 15). — Описание «душистой яствы» в «Ганце Кюхельгартене», в свою очередь, могло быть навеяно строками поэмы Косяровского.

В предисловии к поэме, открывающейся посвящением «Двум братьям моим» (т. е. Петру и Павлу Косяровским), автор писал: «Чтоб исполнить желание приятелей моих, я написал сию повесть; но сам много не доволен ею, более потому, что содержание оной может быть занимательно только для коротких моих знакомых… Но это первое произведение пера моего — и я ожидаю снисхождения Вашего, просвещенный Читатель!» (Там же. С. 11). Позднее Гоголь в таком же «патриархально-доверительном» тоне напишет свои предисловия к «Ганцу Кюхельгартену», «Арабескам» и второму изданию первого тома «Мертвых душ».

Кроме дома в Кибинцах в поэме узнаваем и сам министр Д. П. Трощинский, отправившийся вновь в 1814 г., после продолжительной отставки, на службу в Петербург: «...он трем Царям служил умом, / А годы старости глубокой / Желал прожить в краю родном... / Но в сердце Русском бьется рвенье: / Свое отечество любя, / Сей старец, не жалев себя, / Оставил вновь уединенье...» (Там же. С. 4). Под именем Нины — семнадцатилетней девушки, лишившейся в детстве отца и матери, богатой невесты, — выведена внучка Трощинского, княжна Прасковья Ивановна Хилкова (дочь единственной побочной дочери Д. П. Трощинского — княгини Надежды Дмитриевны Хилковой, ум. в 1817; смерть дочери стала причиной второй отставки Трощинского). В упомянутом письме к Петру П. Косяровскому (из Кибинец от 18 января 1827 г.) М. И. Гоголь-Яновская сообщала: «...успела прочесть первое произведение ума, выпущенное в свет, брата нашего, в котором нашла точное описание кибинского дома и княжны...» (*РНБ*. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 14). П. И. Хилкова приходилась автору поэмы троюродной сестрой: его тетка Анна Матвеевна Трощинская (рожд. Косяровская) была замужем за братом Д. П. Трощинского Андреем Прокофьевичем Трощинским. Автобиографические черты носит образ главного героя, влюбленного в Нину, — юного офицера, служившего на Кавказе в войсках А. П. Ермолова (в поэме герой умирает от раны).

В начале осени 1827 г. княжна П. И. Хилкова вышла замуж за барона С. К. Остен-Сакена. 31 марта 1827 г. М. И. Гоголь писала Петру П. Косяровскому: «О кибинской свадьбе мы не знаем, когда она назначена, а будучи там, я слышала, что Дмитрий Про<кофиевич> отлагает на осень, но Ольга Дм<итриевна> и все его окружающие хотели его просить, чтобы весной, и после того, как я выехала, то ничего и не слышу об этом, хотя довольно часто получаю письма от Ольги Д<митриевны>, но о сем предмете ничего не упоминает; обращение Сакена с княжной показывает, что они будут непременно друг другу принадлежать, но Д<митрий> Про<кофиевич> никому не говорит о сем и не рекомендует никому женихом своей внучки» (*РНБ*. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 11). Гоголь в письме к матери от 30 августа 1827 г. из Нежина упоминал об этой свадьбе: «Я думаю, вы ездили, или, может быть, поедете в Кибенцы на свадьбу...» В письме к Павлу П. Косяровскому от 13 сентября 1827 г. он также замечал о том, как княжна Хилкова «перерядилась в баронессу». (О встрече Гоголя с И. П. Косяровским в Петербурге в конце 1829 — начале 1829 г. и о значении этой встречи для формирования замысла «Мертвых душ» см. в сопроводит. статье к т. 5 наст. изд.)

Одно из размышлений Гоголя, воплощенное в его юношеской поэме, стало впоследствии основополагающим для композиции сборника «Миргород». Это мысль о непреходящей ценности патриархальной идиллии перед честолюбивыми, суетными исканиями

человека — и в то же время ущербность, «недостаточность» самой патриархальной идиллии перед миром возвышенной героики, «великих трудов» во имя «блага и добра» (лирическое отступление «Дума» в «Ганце Кюхельгартене»). Это двоякое сопоставление лежит в основе концепции «Миргорода», которая заключает в себе, с одной стороны, утверждение идиллии «Старосветских помещиков» перед честолюбивыми устремлениями «низких малороссиян», с другой, — противопоставление самой этой «скромной» старосветской идиллии высокому героическому эпосу «Тараса Бульбы» (*Абрамович Г. Л.* Идиллия Гоголя «Ганц Кюхельгартен» (к проблеме жанра) // Ученые записки Московского обл. пед. ин-та. 1968. Т. 212. Вып. 12. С. 3–11).

Зато вкруг ней зеленые прилавки... — *Прилавок* — здесь: место для сидения. к стр. 12

Ему зазнаться уж с тоской... — *Зазнаться* (*укр.*) — узнать, познакомиться. к стр. 14

Гений — здесь: Ангел Хранитель (ср. строки заметки Гоголя «1834»: «Молю тебя, жизнь души моей, [Хранитель Ангел] мой — Гений»; а также упоминание в конце 1840-х — начале 1850-х гг. в «Оглавлении <к сборнику стихотворений>» стихотворения графини Е. П. Ростопчиной «Туда, где жизнь. Вечерняя беседа души с Ангелом Хранителем» (1840): «“Беседа души с гением” гр. Е. Растопчиной» (см. в т. 6 наст. изд.). к стр. 17

Или в долине ходит думный... — *Думный* — задумчивый. к стр. 18

...до самого Пирея... — *Пирей* — афинская гавань, соединенная с городом длинными стенами. к стр. 19

Где речь Эсхинова... — *Эсхин* (ок. 390–314 до Р. Х.) — греческий оратор.

Как воды шумные прозрачного Иллиса. — *Иллис* — река в Аттике, ныне Илиссо.

Велик сей мраморный изящный Парфенон! — *Парфенон* — храм афинского Акрополя, построенный в 447–438 гг. до Р. Х. после окончания греко-персидских войн.

Колонн дорических он рядом обнесен... — В гоголевской «Книге всякой всячины, или подручной Энциклопедии» сохранились вырезки из печатного издания изображений капителей и других частей колонн древнегреческих стилей с указанием рукою Гоголя их пропорций.

Минерву Фидий в нем переселил резцом... — *Минерва* — в римской мифологии богиня мудрости, отождествлявшаяся с Афиной. *Фидий* (ок. 485 — ок. 432 до Р. Х.) — греческий скульптор эпохи расцвета Афин.

И блещет кисть Парразия, Зевксиса. — *Парразий* (Паррасий, вторая половина V в. до Р. Х.) — греческий художник, современник Платона. *Зевксис* (464–398 до Р. Х) — греческий художник, современник Сократа.

Персидский кандис... испещренный... — Ср. в заметке «Об одежде персов (Из Винкельмана)» гоголевской «Книги всякой всячины...»: «*Кандис,* верхняя часть одежды персов, отличавшая<ся> от греческого плаща (pallium), имевшего форму длинного четвероугольника, тем, что снабжен был иногда рукавами. Страбон говорит, что плащ сей был летом пурпуровый, зимою из ткани со цветами. Была шелковая, иногда кожаная. Длиною до самых пят, прикрепляется на шее и окутывает с ног до головы. Знатнейшие персы снимали свои кандис, когда занимались трудною работою... Одежды персов были испещрены вышивками или изображениями жив<от>ных. Дарий имел плащ, на котором хищные птицы терзали себя искривленными носами. Персы почитали благопристойными длинные и разноцветные одежды, у греков, напротив, одни распутные носили такие платья».

И вьются легкие туники. — «*Туники.* Туники носились под плащом, доходили до колен. По словам Страбона, имели рукава несравненно длиннее самых рук. Верхняя была из цветной или пестрой ткани, нижняя, как наша рубашка, была белая» (гоголевская «Книга всякой всячины...»).

Стихи Софокловы... — *Софокл* (ок. 496–406 до Р. Х.) — греческий драматург.

С медоточивых уст любимца Эпикура... — *Эпикур* (341–270 до Р. Х.) — греческий философ-материалист.

Архонты — высшие должностные лица в Афинах, избиравшиеся на год (архонтов было 9).

Аспазия (Аспасия, ок. 470 до Р. Х.) — славившаяся своим умом и красотой афинская гетера, на которой, разведясь со своей супругой, женился известный государственный деятель и оратор Афин Перикл; в ее доме собирались поэты, философы и художники — Софокл, Анаксагор, Сократ, Алкивиад, Фидий.

к стр. 20 *Но что при звуке чаш тимпанов дикий вой?* — *Тимпаны* (*др.-рус.*) — бубны, литавры. В статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» (1845) Гоголь писал: «Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваленье истинного Бога...» В целом же описание поэтической Эллады в III картине «Ганца Кюхельгартена» предваряет у Гоголя изображение колоний «веселой Греции» в статье «Жизнь», датированной им 1831 г. (черновая рукопись статьи, вошедшей в сборник «Арабески», относится к августу — сентябрю 1834 г.).

Хотя бы Фавн пришел с долин... — *Фавн* — в римской мифологии бог полей, лесов, пастбищ, животных.

Хотя б прекрасная Дриада... — *Дриада* — в греческой мифологии нимфа, покровительница деревьев.

...дыхание амры... — В прозаическом переводе поэмы Томаса Мура «Свет гарема» (имя переводчика не указано) к строкам «Здесь

юные девы вздыхают, и вздохи их благовонны, как цвет Амры, раскрытый пчелою» сделано примечание: «Сладостны цветы Амры, вкруг коих жужжат пчелы (Песнь Яйадевы)» (Сын Отечества. 1827. Ч. 112. № 5. С. 56).

...розы ночной... — *Роза ночная* — тубероза. Ср. в «Свете гарема» Т. Мура: «...там красовалась тубероза сребровидная, которая в садах малайских слывет *красавицей ночи,* потому, что является в благовониях и убранстве, как юная супруга, когда солнце скроется...» (Там же. С. 42).

Плоды мангустана... — В «Свете гарема» к строкам «Взор любуется... мангустанами, нектаром малайцев...» сделано примечание: «Мангустан есть самый приятнейший в мире плод, коим гордятся островитяне Молукские (Марсден)» (Там же. С. 52–53). к стр. 21

Лугов Кандагарских сверкает ковер... — В поэме Т. Мура к строкам «...нимфы... топчут ногами своими золотистые луга Кандагарские...» сделано примечание: «В Кандагаре есть страна, называемая Перия, или страна волшебств (Thevenot); в некоторых местах Индии, на севере, полагают, что находится золото в царстве растений» (Там же. С. 51).

Я вижу там Пери... — Согласно примечанию В. А. Жуковского к его переводу второй части поэмы Т. Мура «Лалла Рук» («Пери и Ангел», 1821), «*пери* — воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходнее людей, не живут на небе, но в цветах радуги, и порхают в бальзамических облаках, питаются одними испарениями роз и жасминов и подвержены общей участи смертных. Индейцы и другие восточные народы представляют их себе в виде женщин, коих отличительные свойства составляют красота и благотворительность». Образ Пери заимствован Т. Муром из древнеиранской мифологии.

Как Гемасагара... — Ср.: «В саду там расцветали анемоны и *море золота.* — Гемасагара, или *море золота.* Цветы его самого яркого золотого цвета (Сир Вилльям Джонс)» (Свет гарема (из Томаса Мура) // Сын Отечества. 1827. Ч. 112. № 5. С. 42).

...как звуки сиринды ночной... — *Сиринда* — «индейская гитара» (Там же. С. 55).

Исразил — «ангел музыки, по мифологии магометан» (Там же. С. 57).

Иль плески Хиндары таинственных струй... — *Хиндара* (Чиндара) — «баснословный источник, в котором, по словам восточных язычников, музыкальные инструменты беспрестанно играют» (Там же. С. 46).

А что же улыбка? А что ж поцелуй? — Ср. в «Свете гарема» Т. Мура: «Что же должны быть поцелуи и улыбки, когда вздохи и слезы так восхитительны? Когда есть жилище утех на земле, то оно здесь!» (Там же. С. 56).

И благоуханьем весь воздух обвит. — Следовавшей далее картиной V являлось, по-видимому, опубликованное отдельно стихотворение «Италия» (см. коммент.). Отмечено, что Гоголь исключил

строфы об Италии по той причине, что ему показалось «однообразно и монотонно ставить рядом два “каталогических” описания, сходных по методу изображения, хотя и представляющих различные южные страны» (*Алексеев М. П.* Гоголь и Т. Мур. С. 345). Ср.: «Всего вероятнее видеть в “Италии” именно пятую, пропущенную картину “Ганца”. Пропуск объясняется легко: включением “Италии” в поэму был бы разоблачен псевдоним В. Алова — по крайней мере для редакции “Сына Отечества”» (*Гиппиус В. В.* Ганц Кюхельгартен. С. 370).

к стр. 22 *От Висмара в двух милях...* — *Висмар* — немецкий портовый город на Балтийском море.

...скромный домик... мызника — *Мызник* — владелец мызы (хутора или усадьбы с хозяйством). «Выселок, хутор, мыза» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

Решетка из... лоз, красиво И хитро сделана... — В гоголевской «Книге всякой всячины...» сохранилось несколько рисунков различных видов решеток-изгородей, выполненных акварелью и чернилами и наклеенных на листы.

к стр. 23 *...и сладкий бишеф...* — *Бишеф* (бишоф) — настойка виноградного вина с сахаром и лимоном.

к стр. 24 *...про греков и про турок...* — Имеется в виду греческое национально-освободительное движение 1821–1829 гг. против турецкого ига.

Про Мисолунги... Колокотрони... Канинга... парламент... Про бедствия и мятежи в Мадрите. — Речь идет о героической обороне защитников греческого города *Миссолунги*, о доблестном вожде греческих повстанцев Теодоросе *Колокотронисе* (1770–1843), а также о *Канинге* — либо министре иностранных дел Англии лорде Джордже Каннинге (1770–1827) (в 1827 г. премьер-министр); либо — что более вероятно — об английском после в Турции лорде Стратфорде Каннинге (1788–1880; двоюродном брате Дж. Каннинга), который действовал в пользу восставших греков. Оба этих английских политических деятеля, Джордж Каннинг и Стратфорд Каннинг, часто упоминались в 1826–1827 гг. в газете «Северная Пчела» наряду с сообщениями о ходе греческого восстания — обороне Миссолунги, о Теодоросе Колокотронисе, а также о действиях «мятежников в Испании» (см.: *Машинский С. И.* Художественный мир Гоголя. М., 1971. С. 58).

...каплун горячий... — *Каплун* — холощеный петух, специально откормленный для жаркого.

к стр. 34 *Платон и Шиллер своенравный...* — *Платон* (428 или 427–348 или 347 до Р. Х.) — греческий философ, ученик Сократа. *Шиллер* Иоганн Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения, поклонник поэтической Эллады.

Петрарка, Тик, Аристофан... — *Петрарка* Франческо (1304–1374) — итальянский поэт, один из родоначальников гуманистической культуры Возрождения, идеализировавший античность.

Тик Людвиг (1773–1853) — немецкий писатель-романтик. *Аристофан* (ок. 445 — ок. 385 до Р. Х.) — греческий драматург, «отец комедии».

Да позабытый Винкельман... — *Винкельман* Иоганн Иоахим (1717–1768) — немецкий историк античного искусства. В гоголевской «Книге всякой всячины...» сохранились две выписки «из Винкельмана»: «Нечто об истории искусств» и упомянутая уже «Об одежде персов». В целом приведенный перечень авторов отражает «влияние романтизма и культа античности, который предшествовал в Германии романтизму» (*Зеньковский В. В.* Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях // Христианская Мысль. Киев, 1916. № 5. С. 16).

Язык лепечет странно пени... — *Пени* — сетования, жалобы, упреки.

Чернеет дряхлый архитрав... — *Архитрав* (*архит.*) — нижняя балка, лежащая на капителях колонн. к стр. 38

Еще блестит сей дивный фриз... — *Фриз* (*архит.*) — Часть антаблемента (верхней части здания, опирающейся на колонны) между архитравом и карнизом. к стр. 39

Сии рельефные метопы... — *Метоп* (*архит.*) — прямоугольные плиты, украшенные скульптурой; элемент фриза.

...мусульманин... Коня свирепо напирает... — Вероятно, имеются в виду события лета 1827 г., когда войска египетского паши Мухаммеда Али Каваллалы на короткое время вступили в Афины. Поражение 8 октября 1827 г. в бухте Наварин египетского и турецкого флотов от союзных эскадр Англии, Франции и России вынудило пашу вскоре покинуть греческую территорию.

Два явора зеленые шумят... — *Явор* — белый клен. к стр. 41

Нас обвенчать перед святым налоем... — *Налой* (аналой) — высокий, с покатым верхом столик, на который кладутся богослужебные книги и иконы. к стр. 42

Великий Гете... — *Гете* Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий писатель. к стр. 50

<Две главы из малороссийской повести «Страшный кабан»>

Главы неоконченной повести Гоголя «Страшный кабан» были напечатаны в «Литературной Газете» в 1831 г.: «Учитель. (Из малороссийской повести “Страшный кабан”)», с подписью «П. Глечик» — в № 1 от 1 января; «Успех посольства (Из малороссийской повести “Страшный кабан”)», без подписи — в № 17 от 22 марта. В дальнейшем Гоголь намеревался включить 1-ю главу в сб. «Арабески» (см. коммент. к <Предисловию к сборнику «Арабески»>), однако в книгу она не вошла.

По объяснению В. П. Гаевского, избранный Гоголем псевдоним «П. Глечик» имеет то основание, что в историческом романе «Гетьман», глава из которого напечатана в «Северных Цветах», одно из действующих лиц — миргородский полковник Глечик

(<*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 89).

Материалом к созданию образа «педагога»-семинариста Ивана Осиповича, возможно, послужили Гоголю личные воспоминания. По свидетельству матери, в 1816 г. Гоголя вместе с братом Иваном для начального обучения поручили наемному «учителю семинаристу» (*Виноградов И. А.* Неопубликованные воспоминания о Н. В. Гоголе его матери. С. 351; см. также: <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 16).

<I>

к стр. 51 *...благословенные места голтвянские...* — *Голтва* — река на Полтавщине, неподалеку от имения Гоголей. Ср. в письме М. И. Гоголь к мужу В. А. Гоголь-Яновскому от 14 марта 1825 г.: «...ярманка была хуже всех раз, я думаю, от погоды, не могли никто приехать, через Голтву нельзя скоро переехать, и теперь с большим трудом переехали, кому необходимость была...» (*Дурылин С.* Из семейной хроники Гоголя. М., 1928. С. 68).

...вывозимую из Крыма украинскими степовиками. — *Степовик* — человек, живущий в степной глуши, хуторянин, заимщик.

Шинок — питейный дом, кабак.

...в серых кобеняках и свитах... — *Кобеняк* — «род суконного плаща, с пришитою сзади видлогою» (словарь «Малороссийских слов, встречающихся в первом и втором томах» собрания сочинений Гоголя 1842 г.); *видлога* — «откидная шапка из сукна, пришитая к кобеняку» (Там же). *Свита* (свитка) — «род полукафтанья» (Там же).

...старшинам... нечего опасаться... — *Старшины* — выборные должностные лица в казачестве, руководящая, привилегированная часть казаков.

...новой шапке из серых решетиловских смушков... — *Решетиловские смушки* — сорт овчины с мелкими завитками (по названию села Решетиловка Полтавской губернии, где выделывались смушки).

...остановить пятерню... — *Пятерня,* пятерик — пять лошадей под одной повозкой.

к стр. 52 *...села Мандрык.* — *Мандрики (укр.)* — сырники.

...очипки... летели им на голову... — *Очипок* — «род женской шапочки» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

...убоявшихся бездны премудрости... — Реминисценция из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781): «Такой-то-де семинарист, из церковничьих детей, убояся бездны премудрости, просит от нея об увольнении».

...дошел даже до богословия... — Класс богословия был высшим в духовных учебных заведениях. См. также коммент. к с. 57 — *...не дошел еще до философии...*

...подсыпали в табакерку его чемерки... — *Чемерки* (чемерица) — ядовитое травянистое растение (используется в ветеринарии против паразитов); другие названия (согласно гоголевскому «объяснительному словарю» русского языка): «стародубка», «дикий чеснок», «чихотка», «дремлик».

...смурого сукна... — домотканого, из некрашеной темной шерсти. к стр. 53

Всех сюртуков, полагая в то число и хламиду дьячка... — В описании светло-синих сюртуков Гоголь воспользовался сведениями из письма своего двоюродного дяди священника церкви села Олиферовка Миргородского уезда отца Саввы Кирилловича Яновского (получено в июле 1829 г.). Эти сведения Гоголь занес тогда в раздел «Одеяния малороссиян» своей «Книги всякой всячины...»: «К дополнению описания одежды дьячка доложу вам, — пишет ко мне иерей от<ец> Савва, — сколько мог я заметить еще в малолетстве моем, что кроме нижнего платья носили еще наверху так называемую кирею, большею частью голубого сукна...» Кирея — плащ, длинная суконная верхняя одежда с капюшоном. *Хламида (греч.)* — плащ, накидка.

Цяця (укр.) — игрушка.

...составление лекарства против укушения бешеных собак... — В Государственном Историческом музее в Москве хранится гербарий из полевых цветов, собранный Гоголем. Он представляет собой толстую тетрадь в самодельном картонном переплете зеленого цвета. На первой странице рукою Гоголя сделана надпись: «Дрок. Когда бешеная собака укусит». На листах имеются латинские названия цветов.

Острая водка (или крепкая водка) — азотная кислота.

...кудлатый Бровко... — *Кудлатый* — здесь: длинношерстный. к стр. 54 *Бровко* — обычная украинская кличка собаки с большими бровями. «Бровко, имя собаки» (*Котляревский И.* Словарь Малороссийских слов // Виргилиева Энеида на Малороссийский язык переложенная *И. Котляревским.* СПб., 1809. Ч. 4. <Отд. 2>. С. 3).

...в коричневом шушуне... — *Шушун* — женская распашная кофта, а также сарафан с воротом и висячими позади рукавами.

Кухмистер (*нем.* Küchenmeister) — повар. к стр. 56

...воскресли Орест и Пилад нового мира. — *Орест и Пилад* — в греческой мифологии друзья, верность которых друг другу сделала их имена нарицательными.

...лекарственной настойки на буквицу... — *Буквица* (буковица, буковина) — полевой шалфей.

...на поприще Мельпомены... — *Мельпомена* — в греческой мифологии муза трагедии.

...Иван Осипович был настоящий стоик... — Стоицизм — к стр. 57 философское учение, возникшее в Древней Греции в конце IV в. до Р. Х., одно из главных положений которого заключалось в борьбе со страстями. Очевидно, что семинарист Иван Осипович является у Гоголя прообразом бурсака Хомы Брута в «Вии»; помимо общего

сходства значимым является, очевидно, еще и то, что стоиком был и исторический Брут, давший имя герою гоголевской повести.

...не дошел еще до философии... — Здесь видимое противоречие: класс философии предшествовал классу богословия. См. коммент. к с. 52 — *...дошел даже до богословия...*

...ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа... — *Сенека* Луций Анней (ок. 4 г. до Р. Х. — 65 г.) — римский государственный деятель, философ и писатель, представитель стоицизма. *Сократ* (ок. 470–399 до Р. Х.) — греческий философ.

Ergo (*лат.*) — следовательно.

Homo proponit, Deus disponit... (лат.) — Человек предполагает, Бог располагает.

...удары линейкою... — Об этом наказании Гоголь упоминает также в повести «Вий»: «...порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги». «Паля — свая, линейка» (*Павловский А.* Краткий малороссийский словарь // *Павловский А.* Грамматика малороссийского наречия. СПб., 1818. С. 50).

<II>

к стр. 57 *...козака Харька Потылицы.* — *Харько* — «Харитін, Харько — Харитон» (список «Имен, даемых при крещении» гоголевской «Книги всякой всячины...»).

Потылица — затылок (*Павловский А.* Краткий малороссийский словарь. С. 53).

Онисько — «Онисько, Онисечко — Анисим» (Там же).

Мелькнула синяя запаска... — *Запаска* — «род шерстяного передника у женщин» (словарик «Вечеров...»).

Присьба — «земляная насыпь, завалина ок. дома» (*Павловский А.* Краткий малороссийский словарь. С. 54).

к стр. 58 *Гумно* — «кладенник — где складывается хлеб» (из записной книжки Гоголя 1841–1844 гг.).

Нехай ему так легенько икнеться, як з тыну ввирветься! — Ср. в гоголевской «Книге всякой всячины...»: «Нехай йому так легенько ікнется, як собака з тину ввірветься» (раздел «Пословицы, поговорки, приговорки и фразы малороссийские»).

...от кухни до коморы... — *Комора* — амбар (словарь «Малороссийских слов...»).

...свежепросольными опенками... — *Опенки* — грибы.

к стр. 60 *...околела после запала.* — *Запал* — конская болезнь (одышка); запалить лошадь — означает загнать или опоить горячую, неостывшую.

Родич — родственник.

...отдал штоф лучшей третьепробной водки... — *Штоф* — западноевропейская мера жидкости (водки или вина), введенная в России в XVIII в. и равная 1, 23 л; фактически соответствовала старой русской мере — кружке (1, 2 л). Штофом называлась также

четырехгранная бутылка с коротким горлышком для водки или вина указанной вместимости. *Третьепробная водка* — водка, получаемая при разведении 100 ведер хлебного спирта 33 1/3 ведра воды. Обычное рядовое трактирное вино «для народа».

...помахивая батогом... — *Батог* — кнут (словарь «Малороссийских слов...»). к стр. 62

Евдоха — «Вiвдя, Овдюшка, Евдоха — Евдокия» («Имена, даемые при крещении» гоголевской «Книги всякой всячины...»).

Женщина

Впервые напечатано в «Литературной Газете» (1831. 16 января. № 4; цензурное разрешение 24 января), с подписью: «Н. Гоголь». Первое произведение писателя, появившееся в печати под его именем. Написано между 14 и 24 января 1831 г.

Публикация статьи Гоголя в «Литературной Газете», издававшейся поэтом бароном А. А. Дельвигом, вызвана внезапной кончиной Дельвига, случившейся 14 января 1831 г., незадолго до выхода в свет этого номера газеты. Поэтому весь номер почти полностью был посвящен памяти поэта. Вслед за гоголевской статьей были опубликованы два стихотворения на смерть Дельвига (Н. И. Гнедича и М. Д. Деларю), далее помещены три послания, обращенные к его жене и дочери (стихотворения М. Д. Деларю и барона Е. Ф. Розена), некрологи П. А. Плетнева и В. И. Туманского, в заключение следовало извещение О. М. Сомова о причине задержки выхода газеты — смерть Дельвига (газета запоздала на восемь дней; номер вышел не 16 января, как это следовало бы из выходных данных газеты, а 24 января — как на это указывает дата ее цензурного разрешения).

Своеобразную дань памяти поэта — посмертный литературный памятник — представляет и открывавшая номер «Литературной Газеты» гоголевская статья — непосредственно развивающая мотивы дельвиговской поэзии. В статье ощутимо влияние идиллии Дельвига «Изобретение ваяния», опубликованной в «Северных Цветах на 1830 год» и включенной позднее Гоголем в список «примеров» «Учебной книги словесности для русского юношества» (1845).

Непосредственное отношение к гоголевской статье имеют следующие строки идиллии Дельвига:

...Эрмий, раскуй Промефея! Старец, утешься меж славных
Теней! Небесный огонь не вотще похищен был тобою!
Пользой твое святотатство изгладилось! Ты же, мгновенной,
Бренной красе даровавший бессмертье, взглянь, как потомкам
Поздним твоим представятся боги в нетленном сияньи,
Камень простой искусством твоим оживить и в их подобьи,
Смертных красой к небесам восхищать и о Зевсе глаголать!

Ср. в статье слова о женщине — «существе, которое, как Промефей, все, что ни исхитило прекрасного от богов, принесло в дар» человеку, водворив «небо» в его душу, и о греческом скульпторе Фидии, способном «мрамор зажечь чувством и воплотить жизнь в мертвой глыбе» (см. коммент. к с. 19 — *Фидий*). Сходные размышления о скульптуре встречаются также в эссе Д. В. Веневитинова «Скульптура, живопись и музыка» (1827), использованной Гоголем в работе над статьей с одноименным названием (дата, поставленная под этой статьей, — 1831, совпадает со временем написания статьи «Женщина»).

В изданиях барона А. А. Дельвига появились самые первые произведения Гоголя, доставившие ему известность. В «Северных Цветах на 1831 год» (цензурное разрешение 18 декабря 1830 г.) опубликована «Глава из исторического романа»; в первом номере «Литературной Газеты» за 1831 г. (от 1 января) напечатаны глава из «малороссийской повести» «Страшный кабан», «Учитель» и статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии». Гоголь как начинающий писатель имел все основания быть благодарным Дельвигу.

Именно благодарностью к покойному поэту — другу А. С. Пушкина — и продиктовано, по-видимому, типично «дельвиговское» содержание статьи Гоголя. Не стоит при этом принимать статью за выражение собственных взглядов Гоголя. Как следует из сличения ее содержания с написанной в том же году Гоголем повестью «Страшная месть», изображение в этой повести волхвований колдуна, вызывающего «душу» Катерины, прямо перекликается с описанием «греческой» красавицы Алкинои в статье «Женщина» (см. сопроводит. статью к т. 1 наст. изд.). Именно в «утонченных» чувственных созерцаниях и заключается, по Гоголю, возможность предательства веры и Отчизны «эстетически развитого» Андрия в «Тарасе Бульбе», казака Остраницы в незавершенном романе «Гетьман»... В образе охваченного преступной страстью колдуна «Страшной мести» содержится несомненная «поправка» к дельвиговскому безотчетному восхищению «прекрасным». Отдав дань памяти поэта, Гоголь оставляет за собой заветную для него — «сквозную» для всего его творчества — мысль о внеморализме эстетических переживаний.

к стр. 63 *...окутав голову хитоном...* — *Хитон* — нижняя одежда у древних греков из льняного полотна или шерстяной материи, доходившая до колен (короткий хитон) или ступней (длинный хитон), с поясом вокруг бедер.

к стр. 64 *...премудрая Пифия...* — *Пифия* — жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах (Дельфийский, или Пифийский, оракул).

...все золото Ливии... — *Ливия* — греческое название Африки.

Промефей (Прометей) — в греческой мифологии титан, похитивший у богов с Олимпа огонь и принесший его людям.

...богини Праксителевой... — Подразумевается скульптура Афродиты греческого ваятеля *Праксителя* (ок. 390 — ок. 330 до Р. Х.). к стр. 65

...берегов Аида. — *Аид* — в греческой мифологии царство мертвых. к стр. 66

...полные небесной амврозии... — *Амврозия* (амброзия) — в греческой мифологии пища богов, дающая каждому вкушающему ее бессмертие.

...царица любви... возродилась из пены девственных волн!.. — Согласно греческому мифу, богиня любви и красоты Афродита (по народной этимологии — «пенорожденная») возникла из морской пены у города Пафос, на острове Кипр.

<Отрывок детской книги по географии>

Последний параграф отрывка впервые напечатан К. Михайловым в журнале «Исторический Вестник» (1902. № 2). Полностью опубликовано В. В. Гиппиусом в кн.: Атеней. Историко-литературный временник. Л., 1926. Кн. 3. Предположительно датируется 1830–1831 гг. Набросок связан со статьей Гоголя «Несколько мыслей о преподавании детям географии», напечатанной в № 1 «Литературной Газеты» 1 января 1831 г. (в «Арабесках» название статьи изменено: «Мысли о географии (Для детского возраста)»). Здесь уже намечены темы будущих петербургских повестей Гоголя.

...апельсинов, лимонов, ананасов, за которые мы платим так дорого... — Ср. с соблазнами петербургской жизни, изображенными в «Повести о капитане Копейкине» из десятой главы первого тома «Мертвых душ»: «Пройдет ли мимо Милютинских лавок, там из окна... вишенки — по пяти рублей штучка, арбуз-громадище... высунулся из окна, и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил сто рублей...» к стр. 67

Там растут... смоковницы... — *Смоковница* — южное плодовое дерево (то же, что инжир, фиговое дерево); распространено в Средиземноморье и Азии. Плоды смоковницы, или смоквы, в естественном виде походят на грушу. Это дерево нередко упоминается в Священном Писании.

Это камчадалы... самоеды... — *Камчадалы* — старое название коренного населения Камчатки — ительменов. *Самоеды* — старое название саамских племен Северной Руси, позднее перенесенное на ненцев, энцев, нганасан и селькупов, называемых в настоящее время самодийскими народами (от *саам.* самэ-емне — земля саами). к стр. 68

Борис Годунов. Поэма Пушкина

Впервые напечатано И. С. Аксаковым в газете «Русь» (1881. 31 января. № 12). Статья находилась среди черновых тетрадей

и записных книг, оставленных Гоголем К. С. Аксакову перед отъездом за границу в 1842 г. «Когда, по возвращении его из-за границы, — вспоминал И. С. Аксаков, — К<онстантин> Сергеевич напомнил ему о них, Гоголь махнул рукой и сказал, что они ему не нужны». Статья тщательно переписана набело самим Гоголем. Название и посвящение в рукописи зачеркнуты. Сверх зачеркнутого заглавия Гоголь крупными буквами написал: «Как вам кажется, как вы находите это сочинение?»

Как следует из содержания статьи, она написана в конце 1830 или начале 1831 г., вскоре после выхода в свет «Бориса Годунова» А. С. Пушкина.

к стр. 69 *Сидельцы суетились.* — *Сиделец* — лавочник, продавец, находящийся на жалованье у купца.

...пол-унции табаку... — *Унция* — мера веса ок. 30 г.

О поэзии Козлова

Впервые напечатано В. И. Шенроком в журнале «Русская Старина» (1890. Т. 65. Кн. 3). Статья написана, вероятно, в 1831–1832 гг.

С творчеством Ивана Ивановича Козлова (1779–1840) Гоголь познакомился еще в Нежине. По воспоминаниям его соучеников, на лекциях по российской словесности гимназисты подкладывали профессору П. И. Никольскому вместо своих стихов — стихи известных поэтов, в том числе И. И. Козлова.

к стр. 74 *...слились для него в мрак...* — И. И. Козлов всерьез занялся литературным творчеством в возрасте сорока двух лет после полной потери зрения в 1821 г.

Глядя на радужные цвета... тотчас узнаешь... что они уже утрачены для него... — Размышления о представляющихся поэту во мраке ярких цветах и красках Гоголь перенес впоследствии в отрывок «Кровавый бандурист», где изобразил ощущения заключенного в темницу пленника (отрывок датирован Гоголем 1830–1832 гг.): «Совершенного мрака нет для глаза. Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цвета, которые видел». Во второй редакции «Тараса Бульбы» это описание легло в основу величественной картины готического храма, куда попадает плененный страстью к прекрасной панночке Андрий (см. также в наст. томе коммент. к статье «Женщина»).

к стр. 75 *...упреки... что Безумная нимало не похожа на русскую крестьянку...* — *«Безумная»* — поэма И. И. Козлова, вышедшая в октябре 1830 г. В рецензии на поэму А. А. Дельвиг писал: «Разделяешь печаль с милым певцом и невольно сердишься на него, что он заставил нас плакать от несчастий вымышленных и рассказанных оперною актрисой, а не настоящею поселянкой» (Литературная Газета. 1830. № 68. 2 декабря). Подобное же мнение высказывал критик

«Телескопа»: «Кто узнает в Безумной подмосковную поселянку?» (Телескоп. 1831. № 1).

Новые... стихотворения Козлова — «Субботний вечер», перевод и мелкие с трогательным посвящением... — Первое издание «Стихотворений» И. И. Козлова вышло в 1828 г.; «Субботний вечер» появился впервые отдельным изданием в 1829 г.: «Сельский субботний вечер в Шотландии. Вольное подражание Р. Борнсу И. Козлова». Стихотворение посвящено А. А. Воейковой (1795–1829), племяннице В. А. Жуковского, с которой Козлова связывала многолетняя дружба. И. В. Киреевский в «Обозрении русской словесности 1829 года» замечал по поводу этого посвящения: «Субботний вечер»... замечателен по приложенным в начале стихам на смерть А. А. Воейковой, где видно трогательное чувство души, умеющей любить прекрасное» (Денница. Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем. М., <1830>).

Той красоте, которой много... — Из послания Н. М. Языкова «К П. А. Ос...й» (1826; «К П. А. Осиповой»). Гоголь цитирует стихотворение по первой публикации: Подснежник на 1830 год. СПб., 1830.

<Главы из романа «Гетьман»>

<I> Глава из исторического романа

Впервые напечатано в альманахе А. А. Дельвига «Северные Цветы на 1831 год» (цензурное разрешение 18 декабря 1830 г.) с подписью «0000» и датой «1830». С небольшими изменениями перепечатано в сб. «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» (СПб., 1835. Ч. 1) с той же датой и примечанием: «Из романа под заглавием: “Гетьман”. Первая часть его была написана и сожжена, потому что сам автор не был ею доволен; две главы, напечатанные в периодических изданиях, помещаются в этом собрании». Вторая «глава» — «Пленник (Отрывок из исторического романа)» также была помещена в «Арабесках» с датой «1830». См. коммент. к «Кровавому бандуристу».

21 августа 1831 г. Гоголь, посылая матери «Северные Цветы» с «Главой из исторического романа», писал: «Книжка вам будет приятна, потому что в ней вы найдете мою статью, которую я писал, бывши еще в Нежинской гимназии. Как она попала сюда, я никак не могу понять. Издатели говорят, что они давно ее получили при письме от неизвестного и если бы прежде знали, что моя, то не поместили бы, не спросивши наперед меня, и потому я прошу вас не объявлять ее моею никому; сохраняйте ее для себя. Приятно похвастать чем-нибудь совершенным; но тем, что носит на себе печать младенческого несовершенства, не совсем приятно. — Она подписана четырьмя нулями: 0000». П. А. Кулиш со слов В. П. Гаевского объяснял подпись тем, что «О» встречается четыре раза в имени и фамилии автора: Николай Гоголь-Яновский (см.: <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Опыт биографии Н. В. Гоголя. С. 43).

к стр. 76 *...Пирятинский повет от Лубенского.* — *Пирятин* — город на Полтавщине, известен с 1155 г. *Лубны* — город в Полтавской губернии, основан в 988 г. как сторожевая крепость. *Повет* — уезд (словарь «Малороссийских слов...»).

И кто этот Глечик?.. — *Глечик* (*укр.*) — кувшин (*Павловский А.* Краткий малороссийский словарь. С. 31).

Казимир IV (1427–1492) — великий князь Литовский (с 1440 г.) и король Польши (с 1447 г.).

...полковник миргородского полку... — *Полк* — на Украине XVI–XVIII вв.: территориально-войсковая единица, состоявшая из сотен (от 7 до 20). Полк именовался по названию города, где располагалась полковая старшина во главе с полковником.

к стр. 77 *...цоб, цоб!..* — Восклицание, которым направляют волов или лошадей. «Цоб — вправо»; «Цабе́ — влево. Слово, употребляемое теми людьми, кои ездят на волах» (*Войцехович И.* Собрание слов малороссийского наречия // Труды Общества любителей Российской словесности. Сочинения в прозе и стихах. М., 1823. Ч. 3. С. 322).

Нагольный тулуп — сшитый кожей наружу и не покрытый тканью.

Из-за пояса... пищаль... — *Пищаль* — *здесь:* короткое ружье, заряжающееся со ствола.

...что только носило название ляха или принадлежало ляхам... — *Ляхи* — старинное название поляков. «Поляне, или ляхи» (черновой набросок Гоголя к лекции «Состояние Европы неримской и народов, основавшихся на землях, не принадлежавших Римской империи»); «...племена юго-западные: ляхи, или поляцы в нынешней Польше...» (лекция «Состояние Европы неримской...»). Ср. также в заметке Гоголя «Западные славяне»: «Валахи... вытесняют, по Нестору, славян дунайских, поселившись между ними, и заставляют иных поселиться на Висле под именем ляхов. “Словене же они пришедше седоша на Висле реце и прозвашася ляхове; а инии от тех ляхов прозвашася поляне, а ляхове друзи лутичи, инии мазовшане, инии поморяне”. Стало быть, лях есть общее название народа».

к стр. 78 *Ромодановский шлях* — старинный торговый путь. Проходил по Левобережной Украине с севера на юг через Ромны — Лохвицу — Лубны — Кременчуг. Являлся частью большого пути из России в Крым.

Добродию — «сударь, милостивец» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

...все шляхетство собирается к нам на Сулу в гости. — *Шляхе́тство* (*польск.* szlachta) — то же, что шляхта — польское дворянство. *Сула* — река на Украине, левый приток Днепра.

Мосьпане (польск.) — вельможный господин.

...полкопны жита... — *Жито* — необмолоченные снопы.

к стр. 79 *Ворскла* — река на Украине, левый приток Днепра.

Лохвица — город на Полтавщине, известен с 1320 г.

...какого-нибудь упыря... — «Упир, вампир или оборотень» («Лексикон малороссийский» гоголевской «Книги всякой всячины...»). к стр. 80

...на каждого бердыши, самопалы... — *Бердыш* (*польск.* berdysz) — боевой топор с лезвием в виде вытянутого полумесяца, насаженный на древко. *Самопал* — старинное гладкоствольное фитильное ружье, заряжающееся со ствола.

Цимбалы и бандуры бренчали и гудели... — *Цимбалы* (*польск.* cymbaly от *греч.* кимвал) — народный музыкальный инструмент (род малых гуслей) в виде плоского ящика с металлическими струнами, по которым ударяют двумя молоточками. *Бандура* — «инструмент, род гитары» (словарь «Малороссийских слов...»). к стр. 81

...отдирали краковяк. — *Краковяк* — польский национальный танец.

...поднимите попа на крылос... — *Крылос* (клирос) — место для певчих в церкви по правую и левую сторону от амвона.

...стал схимником... — т. е. монахом, принявшим схиму, высшую монашескую степень в Православии. к стр. 82

...дня за три до Купала... — *Купала* — день Ивана Купала — праздник Рождества св. Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (24 июня ст. ст.).

Буколическая жизнь — идиллическая, мирная, простая жизнь на лоне природы (по названию цикла стихотворений римского поэта Вергилия «Буколики»). к стр. 83

...хлеб и соль... что гость во всякое время может найти радушный прием... — Ср. в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (Т. 1, гл. 3): «Славянин, выходя из дому, оставлял дверь отворенную и пищу готовую для странника». Упоминание об этом обычае встречается также в классном выпускном сочинении Гоголя 1828 г. (см. в т. 8 наст. изд.).

...неопущенная (неотпущенная) *коса...* — неотточенная.

<II> Кровавый бандурист

Первоначально «Кровавый бандурист. Глава из романа» с подписью «Гоголь» и датой «1832» предназначался для помещения в «Библиотеке для Чтения» (1834. Т. 2. Отд. 1), однако встретил противодействие одного из редакторов, Н. И. Греча. Последний писал 20 февраля 1834 г. цензору А. В. Никитенко: «...сделайте милость, не позволяйте печатать в “Библиотеке для Чтения” статьи “Кровавый бандурист”. Эта гнусная картина противна всем цензурным уставам в мире. Мы негодуем на французскую литературу, а сами начинаем писать еще хуже. В звании редактора я исключил статью, но на меня нападают целою ватагою, утверждая, что я это делаю из зависти к таланту г. Гоголя. Помогите Вы, почтеннейший, и попросите помощи князя Михаила Александровича (Дондукова-Корсакова, председателя цензурного комитета. — *И. В., В. В.).* Все отцы семейства

к вам взывают: не позволяйте гнусных картин хотя в "Библиотеке". В целом романе пусть читают! Извините меня, что я вмешиваюсь в дело, которое касается меня не прямо. Цензура вольна делать что угодно, но я счел обязанностию обратить Ваше внимание на сей важный предмет...» (Лит. наследство. Т. 58. С. 545–546).

Письмо Н. И. Греча легло в основу суждения А. В. Никитенко, высказанного им на заседании Петербургского цензурного комитета 27 февраля 1834 г.: «Прочитав статью... "Кровавый бандурист"... я нашел в ней как многие выражения, так и самый предмет в нравственном смысле неприличным. Эта картина страданий и унижения человеческого, написанная совершенно в духе новейшей французской школы, отвратительная, возбуждающая не сострадание и даже не ужас эстетический, а просто омерзение. Посему, имея в виду распоряжение высшего начальства о воспрещении новейших французских романов и повестей, я тем менее могу согласиться на пропуск русского сочинения, написанного в их тоне» (Литературный музеум. Т. 1. Пг., 1921. С. 352).

Комитет, выслушав цензора, определил: «Удержать статью сию при делах и о запрещении оной уведомить прочие ценсурные комитеты». Впоследствии Гоголь предполагал включить «Кровавого бандуриста» в сб. «Арабески» (СПб., 1835; см. коммент. к <Предисловию к сборнику «Арабески»>). Помещая здесь «Главу из исторического романа» (напечатанную прежде в «Северных Цветах на 1831 год»), он сделал примечание, касающееся и «Кровавого бандуриста»: «Из романа под заглавием "Гетьман". Первая часть его была написана и сожжена... две главы, напечатанные в периодических изданиях, помещаются в этом собрании». В «Арабесках» из «главы» был напечатан «отрывок» — «Пленник (Отрывок из исторического романа)». Вероятно, Гоголь сам изменил название и отказался от окончания главы («картины страданий и унижения человеческого»). Это окончание (начиная со слов: «"Попался, псяюха!" говорил усатый предводитель...») было опубликовано впервые в «Ниве» (1917. № 1) по корректурному оттиску, сохранившемуся в цензурном деле. Новая дата, появившаяся под «Пленником» — «1830», поставлена, вероятно, для согласования с «Главой из исторического романа», датированной этим годом.

Отмечено, что «картины страданий» были навеяны Гоголю не «новейшей французской школой», а украинскими летописями (см.: *Паламарчук П. Г.* Примечания // Гоголь Н. В. Арабески. М., 1990. С. 420).

В главе упоминается один из главных героев романа руководитель антипольского казацкого восстания 1638 г. гетман запорожских нереестровых казаков Стефан Остраница (Острjаница). Согласно «Истории Русов», приписывавшейся архиепископу Белорусскому Георгию Конисскому, Остраница после двух поражений, нанесенных полякам, заключил с ними «вечный мир» и удалился на богомолье в Канев, где был схвачен врагами и предан в Варшаве мучительной казни: «Немного времени спустя после вероломного

поступка под Каневым голова гетьмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками» («Тарас Бульба», 1835). По другим источникам, Остраница потерпел поражение у Жовнина (неподалеку от упоминаемого в «Кровавом бандуристе» городка Лукомья, или Лукомля) и бежал в Слободскую Украину, под защиту русского царя, где поселился на Чугуевском городище (ныне г. Чугуев на Харьковщине). Убит здесь во время волнений в связи с обострением отношений между рядовым казачеством и казацкой старшиной в 1641 г. Очевидно, дату «1543» в начале «Кровавого бандуриста» следует признать анахронизмом. В то же время если считать помещаемый далее фрагмент <III> <Начало исторического романа> началом именно «Гетьмана» (героем его также является Остраница), то дата, которой он открывается, «1645», относит повествование к тому времени, когда Остраница через несколько лет после неудачного выступления «возвращается на родину, рискуя быть схваченным поляками» (*Казарин В. П.* Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»: Вопросы творческой истории. Киев; Одесса, 1986. С. 55).

Лукомье (Лукомль) — известны, по крайней мере, два местечка с таким названием: в Лубенском уезде Полтавской губернии и в Сеннинском уезде Могилевской губернии. Вероятно, в данном случае имеется в виду второе, упоминаемое в летописях с 1078 г. к стр. 86

...отрядом рейстровых коронных войск. — *Рейстровые* (реестровые) *войска* — часть украинского казачества, принятая в XVI — первой половине XVII в. на службу польским правительством. *Коронные* — государственные, правительственные.

Терем-те-те, поповство проклятое! — *Терем-те-те* (от *венг.* teremtetteznі — проклинать, ругаться, сквернословить) — тьфу, пропасть! к стр. 87

То брешешь, лайдак... — *Лайдак* (*польск.*) — негодяй, бездельник.

Я тебе, псяюха, порохом прочищу глаза! — *Псяюха* — «польское бранное слово» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

Басе мазенята — венгерское бранное выражение (baszem az anyad(at).

Принеси им, антихристам, ключ... — *Антихрист* — см. коммент. к с. 316.

...с *железным наличником...* — *Наличник* — забрало, часть боевого шлема, закрывающая лицо. к стр. 88

...жабу... возьми... за женку... — Реминисценция украинской пословицы (см.: *Данилевский Г. П.* Ода малороссийского простолюдина на случай военных действий при нашествии французов в пределы Российской Империи в 1812 году. СПб., 1813. С. 15). к стр. 89

Совершенного мрака нет для глаза! — См. коммент. к с. 74 — *Глядя на радужные цвета... тотчас узнаешь... что они уже утрачены для него...* к стр. 90

Жолнеры опустились вниз... — *Жолнер* — «жовнір, солдат *(польск.)*» (гоголевский «Лексикон малороссийский»). к стр. 91

...епанчу тонкого черного сукна... — *Епанча* — широкий плащ без рукавов.

На цугундру (на цугундер; от *нем.* zu Hundertum — к сотне, т. е. к сотне ударов) — на расправу. Приказ о телесном наказании в старинном военном языке.

к стр. 92 *...Ганулечка... Галюночка...* — «Ганна, Галя, Галька — Анна» («Имена, даемые при крещении» гоголевской «Книги всякой всячины...»).

...голос, который слышит человек перед смертью. — Об этом «голосе» Гоголь упоминает также в «Старосветских помещиках» (1835), в драматическом отрывке 1834 г., начинающемся словами «Что это?» (см. в наст. томе), в конспекте-очерке книги Н. Нефедьева «Подробные сведения о волжских калмыках» (СПб., 1834).

к стр. 93 *Никогда не мог предстать человеку страшнейший фантом!..* — *Фантом* (*фр.* fantôme) — призрак, видение.

<III> <Начало исторического романа>

Впервые напечатано племянником Гоголя Н. П. Трушковским в кн.: Сочинения Николая Гоголя. Т. 5. СПб., 1856.

Рукопись не имеет заглавия. И. С. Аксаков, познакомившийся в июне 1854 г. в Васильевке с Н. П. Трушковским, писал о нем: «От Авд<отьи> Петр<овны> Елагиной он получил чемодан Ник<олая> Вас<ильевича>, хранившийся у Жуковского. Там, кроме книг, есть письма к Гоголю от разных лиц, в том числе чисто семейные от матери его и рукопись черновая одной главы из романа Остраница, которую очень трудно разобрать. Трушковский намерен разобрать и переписать ее. Впрочем, Елагины ему говорили, что они разобрали. Этот роман принадлежит к молодым произведениям Гоголя» (*Аксаков И. С.* Письма к родным. 1849–1856. М., 1994. С. 282). Н. П. Трушковский, назвавший роман Гоголя «Отрывок неизвестной повести», сообщал: «Этот черновой отрывок хранился в числе бумаг, оставленных Гоголем у В. А. Жуковского, и доставлен нам его супругою. Текст его был разбираем многими, но, несмотря на все старания, некоторые слова остались неразобраны, — добавленные же нами, как необходимые для полноты смысла, поставлены в скобках». Текстологическая работа была проделана П. И. Бартеневым и О. М. Бодянским.

Второй раз по автографу отрывок был напечатан П. А. Кулишом в т. 3 Собрания сочинений Гоголя 1857 г. под названием: «Остраница, начало исторического романа». Текст для публикации готовил О. М. Бодянский. В дальнейшем набросок печатался по изданию П. А. Кулиша, так как рукопись считалась утраченной.

Н. С. Тихонравов в т. 5 Сочинений Гоголя (10-е изд. М., 1889) опубликовал еще несколько обнаруженных им приписок к тексту отрывка. Набросок получил в его издании новое название: «Несколько глав из неоконченной повести».

По вновь найденному автографу текст отрывка напечатан М. В. Чарушниковой (см.: *Чарушникова М. В.* Фрагмент незавершенного романа Н. В. Гоголя «Гетьман» // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 37. М., 1976).

Связь настоящего отрывка с историческим романом Гоголя «Гетьман» не достаточно установлена. Впервые под общим заглавием «Гетьман» он был помещен вместе с другими набросками («Главой из исторического романа», «Кровавым бандуристом» и отрывком «Мне нужно видеть полковника...») в т. 3 академического Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (1938) И. Я. Айзенштоком. Во всяком случае, следует отметить, что в «Кровавом бандуристе» и в не имеющей заглавия рукописи действуют те же герои — Остраница, Галя (Ганна). Отмечено, что автографы <Начала исторического романа> и отрывка «Мне нужно видеть полковника...» написаны Гоголем не ранее второй половины 1833 г. и, следовательно, отделяются от «Главы из исторического романа» и «Кровавого бандуриста» (1830–1832) определенным временным промежутком (см.: *Казарин В. П.* Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». С. 30–31). Поскольку в примечании к этим главам в «Арабесках» говорится о «первой части» «Гетьмана» как о написанной и сожженной, можно предположить, что текст <Начала исторического романа> представляет собой неудавшуюся попытку Гоголя реализовать давний замысел, связав единой сюжетной линией уже написанные главы с целым романа (объединяющее «звено» сюжета просматривается в отрывке «Мне нужно видеть полковника...» — см. коммент.). Только после этой попытки Гоголь решается издать «Кровавого бандуриста» в качестве отдельной главы, подобно другой главе из «Гетьмана» («Главе из исторического романа»), перепечатанной в «Арабесках».

Повествовательной манерой и рядом эпизодов <Начало исторического романа> предваряет «Тараса Бульбу», задуманного в конце 1833 г. Впоследствии Гоголь еще раз вернется к своему «давнишнему» замыслу написать произведение из малороссийской истории, главным героем которого должен был стать гетман Остраница (см. коммент. к <Наброскам и материалам драмы из эпохи Богдана Хмельницкого>).

Комишны (Камишна; от *укр.* комиш — камыш) (М. В. Чаруш- к стр. 94
никовой ошибочно прочитано: «Помишня») — местечко в Миргородском уезде Полтавской губернии.

Свет паникадила... придавал еще сильнее выражения лицам. — *Паникадило* (*греч.* — многосвечный светильник) — большой светильник о многих свечах; привешивается среди церкви под куполом.

...на лице каждого выходившего дрогнули скулы. — По предпо- к стр. 95
ложению Н. С. Тихонравова, к данному месту относится следующая приписка Гоголя на отдельном листе: «Правительство, — или,

лучше сказать, деспотические магнаты мимо правительства, — [с страною, имевшею] с народом, имевшим собственные постановления, поступало безрассудно. [Но величайшие заблуждения] Но величайшая ошибка его состояла в том, что <оно> решилось унижать веру соплеменного народа, который оказывал почти изумительную покорность при этой ширине разгульной жизни, но который, вместе с тем, будучи доведен до крайности, мог показать весь вихорь самых сильных и порывных страстей. [Не употребляй] Не одевая своей власти нетерпимостью, Польша в соединении этой земли воинственных Козаков...» *(не дописано).* Отмечено, что эта мысль «лежит в основе» повествования «Истории Русов» (*Казарин В. П.* Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». С. 54).

к стр. 96 *...в галанцях?* — «Галанці, штаны немецкие» («Лексикон малороссийский» гоголевской «Книги всякой всячины...»).

...пока не оборвал тебе пейсики. — *Пейсики* — «жидовские локоны» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

Гунство (от *укр.* гуни — гунны, азиатский кочевой народ, вторгшийся в Европу в IV в.) — «бранное на ребят слово»; «гуственьска душа — собачья душа *(бран.)*» (*Павловский А.* Краткий малороссийский словарь. С. 32). См. также коммент. к с. 336 — *Гунны... по свидетельству Дегине...*

...в кашу с смальцем... — *Смалец* — «гусиный жир» (Там же).

У него еломок краше, чем ваша холопска вяра... — *Еломок* (яломок) — «жидовская шапочка» (гоголевский словарь «малороссийских слов...»); «шапка, свалянная из коровьей шерсти» (гоголевский «Лексикон малороссийский»); «скуфья; полстяная шапка у литвинов» (*Павловский А.* Краткий малороссийский словарь. С. 68), ермолка. *Холопска вяра.* — По замечанию В. П. Казарина, выражение заимствовано Гоголем из «Истории Русов»: «А что знатнейшее малороссийское шляхетство все почти обратилось к ним в католичество и осталось в русской религии из народа одно среднее и низшее сословие, то дали они (поляки. — *И. В., В. В.)* новый титул униятству, назвав его “Холопска вяра”». Очевидно, что в повести «Тарас Бульба» второй редакции (1842), события которой приурочены ко времени, «когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйне за унию», речь также идет о части украинского населения, насильственно обращенного в унию и подвергавшегося притеснению со стороны католиков. А. С. Пушкин в статье, посвященной выходу в свет собрания сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского (СПб., 1835), замечал, в частности, о беседе этого пастыря с униатским архиереем: «“Мы за вами еще живем, — сказал однажды ему униатский епископ Шептицкий, — а когда католики вас догрызут, то примутся и за нас”. Униаты втайне готовы были отложиться от папы и снова соединиться с Грекороссийскою Церковью» (Современник. 1836. Т. 1).

к стр. 97 *Параска* — «Параска, Парасочка, Парася — Парасковея» («Имена, даемые при крещении»).

Пидорка — «Підоря, Підорка — Федора» (Там же).

...исправлявшему звание алгвазила. — *Алгвазил* — судебный исполнитель.

...овчинный кожух... — *Кожух* — тулуп (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»). к стр. 98

Кузубия — ср. в «Лексиконе малороссийском» гоголевской «Книги всякой всячины...»: «Кузубенька, лукошко. Круглый коробок из липины, выгнутый, со дном, употребляется для меда и черешен»; «Козубенька, корзинка».

...гуляет с рыбами на дне Сивача... — Сивач, Сиваш (Гнилое море) — мелкие заливы у западного берега Азовского моря. Вероятно, подразумевается сражение с турками под Перекопом в 1620 г.

Как назло, крашанки и нет. — *Крашанки* — крашеные яйца.

...что до мизерии относится. — *Мизерия* — мелкие хозяйственные предметы.

...чвертку горелки... — *Чвертка* (четвертка) — четверть штофа или полбутылки, косушка.

...двух кобыл взяли под верх вербуны. — *Вербуны* — вербовщики. к стр. 99

...храмы Божии взяло на откуп жидовство? — Сведения об аренде православных храмов евреями-торговцами Гоголь почерпнул из «Истории Русов» и казацких летописей. См. коммент. к «Тарасу Бульбе» в т. 3 наст. изд.

...мимо валу нет уже проезду. — *Вал* — земляная насыпь для защиты места от неприятеля.

...на платане был повешен... — *Платан* — то же, что явор. См. коммент. к с. 41 — *Два явора зеленые шумят...* к стр. 100

...посполитый народ! — Крестьяне.

...у него не достает одной клепки в голове... — Клепки — «выпуклые дощечки, из которых составляется бочка» (словарь «Малороссийских слов...»). Согласно Толковому словарю В. Даля, это выражение означает: «нет здравого смысла, отчего и все умственные способности рушатся, как посудина без одной клепки». к стр. 101

...что лучше для коня, пашница или овес? — *Пашница* — пшеница. к стр. 102

...высокие, как стрела, осокори... — *Осокóрь* — разновидность тополя, то же, что черный тополь.

...лоза вся в отпрысках... — *Отпрыск* — молодой побег дерева, из пня или от корня.

...убранный повиликой... — *Повилика* — сорное травянистое растение, не имеющее листьев и корней и живущее на стеблях других растений.

...нежных первенцах весны. — По предположению Н. С. Тихонравова, к данному месту относится приписка Гоголя на отдельном листе: «В другом месте деревья так тесно и часто перемешивались между собою, что образовали, несмотря на молодость листьев, совершенный мрак, на котором резко зеленели обхваченные луча-

ми солнца молодые ветви. Здесь было изумительное разнообразие: листья осины трепетали под самым небом; клен простирал свои листья, похожие на зеленые лапки, узколиственный ясень рябил еще более, а терновник и дикий глод, оградивши их колючею стеною, скрывал пышные стволы и сучья, и только очень редко северная береза высовывала из <чащи?> часть своего ослепительного, как рука красавицы, ствола». Позднее этот фрагмент был использован Гоголем при описании сада в имении Плюшкина в шестой главе первого тома «Мертвых душ».

к стр. 103 *...очеретяная... крыша...* — *Очерет* — камыш, тростник.

...дам... еще и злотый. — *Злотый* — серебряная польская монета.

к стр. 104 *...стала спускаться к гребле.* — *Гребля* — плотина, насыпь на топком месте.

Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее... — В приписке к этому месту на отдельном листе, опубликованной Н. С. Тихонравовым, Гоголь расширил описание нарядов красавицы. Еще одно подобное описание встречается в записной книжке Гоголя 1846–1850 гг.: «Бежит обтянутая синей запаскою у поясу...». *Плахта* — «нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»). *Кашемировая* — из кашемира — тонкой шерстяной или полушерстяной ткани. «*Плахта*, вытканная из шелку, и *запаска* из материи называлась попередница» (из письма Гоголю матери от 4 июня 1829 г.). См. также коммент. к с. 57 — *Мелькнула синяя запаска...*

...все в мережках рукава... — *Мережки* (от *церк.-сл.* мрежа — сеть) — ажурные узоры, получаемые выдергиванием нитей из полотна.

Галочка — см. коммент. к с. 92 — *...Ганулечка... Галюночка...*

...татарским конем... — Написано вместо зачеркнутого: «...хазарским конем...».

к стр. 105 *Галиция* — Галицкая Русь.

Прися — «Пріська, Пріся, Прісечка — Евфросиния» («Имена, даемые при крещении»).

...на Перекопе или на Запорожье. — *Перекоп* — Перекопский перешеек, соединяющий Крымский полуостров с материком. *Запорожье* — здесь: Запорожская Сечь — военная и общественно-политическая организация украинских казаков (казачья республика) в низовьях Днепра, за речными порогами, в XVI–XVIII вв. называвшаяся по своему главному укреплению Сечью (сечь, или Січь — лесная вырубка).

к стр. 106 *...как хмелинонька около дуба вьюсь...* — *Хмелина* — ветка хмеля.

к стр. 108 *...с каганцем в руках.* — *Каганец* — «светильник, состоящий из черепка, наполненного салом» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

Горпина — Агриппина («Имена, даемые при крещении»).

...позвольте кием угомонить проклятую бабу! — *Кий* — здесь: дубина (см.: *Павловский А.* Краткий малороссийский словарь. С. 68). к стр. 109

Баторий Стефан (1533–1586) — король польский с 1576 г., полководец. См. также коммент. к с. 191 — *Когда Баторий устроил полки в Малороссии...*

Собиралось компанейство отомстить за ругательство над Христовой верой... — *Компанейство* — товарищество. к стр. 113

...преданный гетман наш... — *Гетман* (гетьман; от *нем.* Hauptmann) — в Польше и Великом княжестве Литовском главнокомандующий и военный министр (с начала XVI в.). Предводители казацкого войска стали называться гетманами с 1570-х гг. Однако официально этот титул был дан польским правительством только в 1648 г. Богдану Хмельницкому.

...женские парчевые кораблики... — *«Головной убор...* у женщин *кораблик...* Вершок его из суто золотой парчи (или насипу) и кажется скованным из золота, и как он на затылке вырезан, то видно из-под него золотой *очiпок;* околица широкая вокруг головы [и] с двумя рожками: один напереди, другой назади, из черного, самого мелкого, хорошего смушка» (из письма Гоголю матери от 4 июня 1829 г.). к стр. 114

...белые намитки... — «Намитка — белое женское покрывало из редкого полотна с откидными концами» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

...синие кунтуши. — В «Одеяниях малороссиян» из гоголевской «Книги всякой всячины...» со ссылкой на Академический словарь указано: «*Кунтуш* — старинное название длинной нарядной верхней женской распашной, летом и зимой носимой одежды, с широкою вокруг опушкою, рукава у нее бывают узкие с широким по локоть клапаном». Здесь же Гоголь отметил: «Он обыкновенно шьется из тонкого сукна цветов синих и голубых, с парчовыми отворотами на рукавах и воротнике, шалью сделанном, как в обыкновенном халате; спинка кроится; род сюртука; сзади на фалдах вместо пуговиц нашивается род креста золотым галуном (усы)».

...задай перцу баранам и сивухе! — *Сивуха* — неочищенная хлебная водка, мутная или сероватая (сивая) по цвету. к стр. 115

Нет ли у тебя в запасе губки? — *Губка* (*укр.*) — трут; фитиль, употребляемый при высекании огня.

<IV> <Мне нужно видеть полковника>

Отрывок (в двух вариантах) впервые напечатан Н. С. Тихонравовым в 10-м изд. Сочинений Н. В. Гоголя (Т. 5. М., 1889). Написан во второй половине 1833 г. (см. коммент. к <Началу исторического романа>).

По предположению ряда исследователей, в «отроке», стремящемся попасть к полковнику, можно видеть переодевшуюся в мужское платье возлюбленную Остраницы Ганну (Галю), которую

в <Начале исторического романа> он зовет с собой и которая в «Кровавом бандуристе» оказывается пленником, захваченным вместо него поляками. «Если б я была козаком...» — говорит она в ответ на уговоры Остраницы, как бы предвосхищая свое будущее перевоплощение.

к стр. 117 *...перед большою ставкою...* — *Ставка* — здесь: палатка, шатер.

к стр. 118 *..не пускать далеко на попас...* — *Попаса́ть* — пасти коней дорогой на подножном корму.

...не стреляли... дрохв... — *Дрофа* (драхва) — крупная степная птица.

...что за мясоед такой козаку? — *Мясоед* — время, когда Церковь разрешает вкушение мясной пищи.

<Я давно уже ничего не рассказывал вам>

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856. Т. 1). Отрывок связан с работой Гоголя над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» и, в частности, тесно перекликается с началом повести «Вечер накануне Ивана Купала» (1829–1831). Восходит к записанной Гоголем в «Книге всякой всячины...» малороссийской пословице: «Добра то річ, що е в хаті піч».

к стр. 120 *...схвативши под руку черевики.* — *Черевики* — башмаки (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

<Рўдокопов>

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856. Т. 1). По расположению в рукописи датируется второй половиной 1833 г.

к стр. 121 *...к чему ни притрогивался он, все то обращалось в деньги.* — Подразумевается свойство мифического царя Крита Миноса.

Страшная рука

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856. Т. 1). Подзаголовок «Страшной руки» — «Повесть из книги под названием: “Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16-й линии”» — напоминает заглавие повести В. П. Титова «Уединенный домик в Васильевском», восходящей к устному рассказу А. С. Пушкина и опубликованной в «Северных Цветах на 1829 год» (СПб., 1828). Этот подзаголовок, по замечанию М. П. Громова, позволяет отнести начатую повесть к сентябрю 1833 г., когда возник замысел альманаха «Тройчатка», о котором в письме от 28 сентября князь В. Ф. Одоевский сообщал А. С. Пушкину. Предполагался «разрез дома в три этажа», где

Гоголю отведено было как раз описание чердака (Одоевскому — гостиной, Пушкину — погреба). См.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М., 1984. С. 334. Пушкин предполагал поместить в альманахе повесть «Пиковая дама», князь Одоевский — повесть «Княжна Мими». Гоголь в основу своей повести, вероятно, предполагал положить автобиографический материал. «...Мы люди такого сорта, — писал он, в частности, М. П. Погодину 9 февраля 1835 г., — которых вся жизнь протекает на чердаке».

<Фонарь умирал>

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856. Т. 1). Датируется 1833 г. Представляет собой второй набросок повести «Страшная рука». В отрывке отчетливо слышны мотивы, по крайней мере, трех будущих петербургских повестей Гоголя: «Невского проспекта», «Носа» и «Шинели».

Дерпт (эстонское название Тарту) — старинный русский город к стр. 122
Юрьев, основанный в XI в. князем Ярославом Мудрым.

<Дождь был продолжительный>

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856. Т. 1). Датируется 1833 г. В отрывке слышны мотивы «Невского проспекта» и «Записок сумасшедшего». Произведение с названием «Дождь» встречается в первоначальном плане «Арабесок» (см. коммент. к <Предисловию к сборнику «Арабески»>).

К числу несохранившихся повестей Гоголя «петербургской» тематики ему приписывают также рассказ «Прачка» 1832–1833 гг. По свидетельству журналиста А. С. Гиероглифова (1825–1901), Гоголь читал в те годы этот рассказ у цензора В. Н. Семенова (подписавшего в ноябре и декабре 1834 г. к печати своеобразное «собрание сочинений» Гоголя из трех книг: сборников «Арабески» и «Миргород» и второго издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки»).

«Совершенно случайно, — сообщал А. С. Гиероглифов, — нам удалось узнать, что из числа мелких произведений нашего знаменитого поэта, один небольшой рассказ под названием "Прачка" остался ненапечатанным. Подробности об этом рассказе, которые мы получили и которые передаем теперь публике, не оставляют никакого сомнения в действительности существования "Прачки". Во время пребывания Гоголя в Петербурге он был знаком и часто посещал г. Семенова, бывшего в то время одним из цензоров здешнего цензурного комитета; Гоголь часто читал г. Семенову свои произведения не только как хорошему знакомому, но и как цензору, спрашивая его мнения о том, удобно или неудобно прочитанное к печати.

В одно из таких посещений, когда у г. Семенова было несколько человек гостей, Гоголь принес свою "Прачку", написанную

на нескольких почтовых листочках, и читал ее вслух. Живой и веселый юмор этого маленького рассказа заставил слушателей хохотать до слез; но, к несчастию, некоторая бесцеремонность и двусмысленность выражений были причиной того, что рассказ не мог быть признан в то время удобным к печати. Гоголь хотел было уничтожить рукопись, но г. Семенов попросил ее у него себе на память; затем рукопись оставалась у г. Семенова до отъезда его из Петербурга. Г. Семенов, по своей обязанности, имея в числе своих знакомых многих литераторов, собрал от них много рукописей и получал также много книг, которые он при отъезде из Петербурга подарил своему родственнику Н. И. Терпигореву, любителю литературы и библиофилу.

Г. Терпигорев тоже уехал из Петербурга в свою тамбовскую деревню и увез с собою все книги и рукописи, в том числе и "Прачку". Это подтверждается тем, что сын Н. И. Терпигорева, С. Н. Терпигорев, студент здешнего университета, читал эти листочки в деревне отца и даже помнит содержание "Прачки", которое, с его слов, мы и передаем ниже.

Как скоро сделалось здесь известным о существовании ненапечатанной рукописи Гоголя, живущий в Петербурге родственник г. Терпигорева тотчас просил его письмом отыскать рукопись и прислать ее ему; г. Терпигорев отвечал, что при первом удобном случае он займется разбором бумаг и по отыскании пришлет рукопись в подарок. Ответ этот был предъявлен нам, с обещаниями, по получении рукописи сообщить ее для печатания в "Русском Мире". На днях получено письмо от г. Терпигорева, в котором он извещает, что рукопись, за всеми поисками, не отыскана. Вместе с тем г. Терпигорев неотыскание рукописи объясняет тем, что он переехал на житье из одной деревни в другую; причем все книги и рукописи были уложены в тюки и остаются еще неразобранными, так что рукопись могла затеряться между другими бумагами или даже утратиться вовсе.

Содержание рассказа, по словам С. Н. Терпигорева, следующее:

Действующие лица рассказа — петербургский чиновник и прачка, моющая на него белье; при сдаче прачкой вымытого белья не оказывается одной штуки; чиновник требует ее; прачка обижается, и между ними происходит перебранка; оскорбленное самолюбие прачки доходит до высшей степени, сыплются крупные слова, колкости и т. п., чиновник требует своей штуки, прачка говорит, что у нее нет никакой его *штуки* и чтобы он лучше поискал ее у себя *в белье*» (*<Гиероглифов А. С.> Ред<актор>*. О ненапечатанном рассказе Н. В. Гоголя «Прачка» // Русский Мир. (СПб.,) 1860. 14 декабря. № 97. С. 618–619).

к стр. 124 *...наслаждается... как бламанже...* — *Бламанже* (*фр.* blancmanger, бланманже) — желе из сливок или миндального молока.

...серый рыцарь с алебардою... — *Алебарда* — вооружение будочника (городского сторожа) в виде копья с топориком или секирой на конце. к стр. 125

<Отрывки из неизвестной драмы>

Впервые напечатано И. С. Аксаковым в газете «Русь» (1881. 31 января. № 12). Бумага, почерк и чернила гоголевского автографа обнаруживают большое сходство с автографом «Женихов». Датируются 1832 г.

Комед<ия>

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым в журнале «Артист» (1890. Кн. 5. Январь). Датируется летом 1832 г.

В начале июля 1832 г. Гоголь, будучи проездом в Москве, пожелал познакомиться с писателем М. Н. Загоскиным. С. Т. Аксаков, взявшийся проводить Гоголя, вспоминал: «Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

Даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.

Но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что “это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что, если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его”. Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была точно та. Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 90).

После отъезда Гоголя из Москвы критик Н. И. Надеждин 19 августа 1832 г. извещал читателей «Молвы»: «Рудый Пасочник, которого прекрасные малороссийские сказки приняты были с особенным удовольствием, недавно проехал чрез Москву на свою родину... Кроме повестей, у старика замышлено нечто важнейшее, но мы, опасаясь, чтоб он не обвинил москалей в нескромности, умалчиваем до времени» (Молва. 1832. 19 августа. № 67,). См. также коммент. к с. 165 — *...здесь не мог и возникнуть торговый народ.*

Обозначенное в отрывке «старое правило» («уже хочет достигнуть, схватить рукою, как вдруг помешательство и отдаление желанного предмета на огромное расстояние») положено Гоголем в основу целого ряда произведений. Отчетливо эта идея воплощена уже в «Вечере накануне Ивана Купала»: «Уже хотел он было

достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже...» Это же «правило», по-видимому, определяло сюжет незавершенной комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени». По воспоминаниям А. Н. Афанасьева, «герой комедии добивается получить Владимирский крест, и судьба несколько раз безжалостно обманывает его чиновничье честолюбие: уже, кажется, все сделано, вот-вот повесят Владимирский крест, а тут как нарочно что-нибудь да помешает. Последняя неудача сводит героя комедии с ума» (впервые опубл.: *Афанасьев А. Н.* Отрывки из моей памяти и переписки // Михаил Семенович Щепкин: Жизнь и творчество. М., 1984. Т. 2. С. 153). Герой «Записок сумасшедшего», замысел которых восходит к «Владимиру 3-ей степени», также замечает: «Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал». Очевидно, что и судьба Чичикова, все предприятия которого, направленные к обогащению, срываются одно за другим, строится Гоголем в согласии со «старым правилом». «...Как только начинаешь... уже касаться рукой... вдруг буря, подводный камень, сокрушенье в щепки всего корабля», — говорит Чичиков в заключительной главе второго тома поэмы.

<Владимир 3-ей степени>

Впервые напечатано: Сочинения Н. В. Гоголя /Под ред. Н. С. Тихонравова. Изд. 10-е Т. 2. М., 1889.

Самое раннее известие о замысле «Владимира 3-ей степени» встречается в письме П. А. Плетнева к В. А. Жуковскому от 8 декабря 1832 г.: «У Гоголя вертится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею нынешней зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совершенства. В его сказках меня всегда поражали драматические места» (*Плетнев П. А.* Соч. и переписка. Т. 3. С. 522). 17 февраля 1833 г. Плетнев вновь сообщает Жуковскому: «У Гоголя ничего нового нет. Его комедия не пошла из головы. Он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал» (Там же. С. 528). 20 февраля 1833 г. сам Гоголь писал М. П. Погодину из Петербурга: «...я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве (18–23 октября 1832 г. — *И. В., В. В.),* в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: "Владимир 3-ей степени", и сколько злости! смеху! соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пиеса не будет играться? Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. Какой же мастер понесет напоказ неоконченное произведение? Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости! Итак, за комедию не могу приняться».

Работа над комедией была, однако, продолжена, и летом 1833 г. Гоголь читал комедию (или отрывки из нее) А. С. Пушкину. Осенью 1833 г. А. М. Языков писал В. Д. Комовскому из родового села Языково Симбирской губернии: «Вчера был у нас Пушкин, возвращавшийся из Оренбурга... Знаете ли вы, что Гоголь написал комедию “Чиновник”? Из нее Пушкин сказал нам несколько пассажей, чрезвычайно острых и объективных» (*Садовников Д. Н.* Отзывы современников о Пушкине // Исторический Вестник. 1883. Декабрь. С. 537).

На основе готовых сцен «Владимира 3-ей степени» Гоголем впоследствии были созданы драматические отрывки «Утро делового человека» (опубл. в т. 1 «Современника» 1836 г.; в письме к Пушкину от 2 марта 1836 г. Гоголь назвал этот отрывок «Утро чиновника»), «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывок» (опубл. в Сочинениях Гоголя 1842 г.). При написании «Тяжбы» и «Лакейской» Гоголь использовал два дошедших до нас отрывка «Владимира 3-ей степени», которые здесь и помещаются. Датируются предположительно концом 1832 г.

О сюжете комедии сообщал со слов М. С. Щепкина В. И. Родиславский (содержание комедии стало известно М. С. Щепкину, вероятно, в тот же период с 18 по 23 октября 1832 г., когда Гоголь останавливался в Москве на возвратном пути из Малороссии в Петербург): «Героем ее был человек, поставивший себе целию жизни получить крест Св. Владимира 3-й степени. Известно, что из всех орденов — орден Св. Владимира пользуется особенными привилегиями и уважением и дается за особенные заслуги и долговременную службу. Даже теперь, когда с получением других орденов не даются уже дворянские права, как это было прежде, орден св. Владимира удержал еще за собою это право. Старания героя пиесы получить этот орден составляли ее сюжет и давали богатую канву для комедии, которою, как говорят, превосходно воспользовался наш великий комик. В конце пиесы герой ее сходил с ума и воображал, что он сам и есть Владимир 3-й степени. С особенною похвалою М. С. Щепкин отзывался о сцене, в которой герой пьесы, сидя перед зеркалом, мечтает о Владимире 3-й степени и воображает, что этот крест уже на нем» (*<Родиславский В. И.>* О комедии Н. В. Гоголя «Владимир 3-й степени» // Театральные Афиши и Антракт. 1865. 5 января. № 5. С. 3–4).

Второе свидетельство записано со слов П. В. Анненкова А. Н. Афанасьевым: «От П. В. Анненкова слышал, что Гоголь написал комедию “Владимирский крест” и, когда он жил в СПб., читал своим знакомым два акта — Анненков был в числе слушателей... Герой комедии добивается получить Владимирский крест, и судьба несколько раз безжалостно обманывает его чиновничье самолюбие: уже, кажется, все сделано, вот-вот повесят Владимирский крест, а тут как нарочно что-нибудь да помешает. Последняя неудача сводит героя комедии с ума. Помешательство в том, что будто он сам есть не более как Владимирский крест. Любопытны гоголевские

рассуждения о кресте, вкладываемые в уста этого чиновника: “Боже мой, — говорил он, — ну что такое этот крестик, и стоит ли он, кажись, всех хлопот, золота будет в нем на столько-то рублей, ну эмали, пожалуй, еще на столько, — а чего не даст за него человек!” В последней сцене сумасшедший, воображая себя крестом, становится перед зеркалом, подымает [растопыривает] руки (так что делает из себя подобие креста) и не насмотрится на изображение» (*Афанасьев А. Н.* Отрывки из моей памяти и переписки. С. 153–154).

к стр. 132 *Карабинерный полк* — отборный пехотный полк.

Поручик — младший офицерский чин, выше подпоручика и ниже штабс-капитана. Введен в XVII в.

Устюжский уезд — *Устюжна* — город в Вологодской губернии на реке Молога; известен с 1252 г. под названием Железный Устюг.

к стр. 133 *...штаметовые юбки...* — из штамета (стамета) — шерстяной ткани.

к стр. 135 *...боится проиграть алтына...* — *Алтын* — старинная русская монета в три копейки.

к стр. 137 *...выкурит обыкновенного бакуну...* — *Бакун* — простой, дешевый табак, махорка.

...если провинился форейтор или кучер. — *Форейтор* — верховой ездок, управляющий передней парой лошадей, запряженных цугом.

...сговорились было... идти к Андрею Ивановичу на бостончик. — *Бостончик* — бостон, коммерческая (неазартная) карточная игра, носящая спокойный характер и не связанная с большим проигрышем; была популярна в чиновничьей среде.

<Что это?>

Впервые напечатано Л. Б. Модзалевским в кн.: Труды отдела новой русской литературы. Институт литературы АН СССР (М.; Л., 1948. Т. 1). Написано не позднее 1834 г.

Женихи

Впервые напечатано В. И. Шенроком в 10-м изд. Сочинений Н. В. Гоголя (Т. 6. М.; СПб., 1896). Датируется 1833 г. Представляют собой черновик начала комедии, переделанной впоследствии в «Женитьбу» (см. коммент. к комедии в т. 4 наст. изд.).

к стр. 140 *Заседатель дал обывательских, таратайка моя вся так и рассыпалась.* — *Заседатель* — здесь: выборный представитель от дворян, член уездного суда. *Обывательские* — лошади, которые местное население обязано было поставлять в виде натуральной повинности для проезда должностных лиц. *Таратайка* — легкая двухколесная повозка.

к стр. 141 *...сам такой субтильный...* — *Субтильный* (*фр.* subtilite) — тонкий, изящный, хрупкий.

Титулярный советник — гражданский чин 9-го класса.

Кулебяка — «из одного лука и хвоста сомового или плеска, к стр. 144 который весь из жиру, которого вбирает <в> себя всего тесто» (из записной книжки Гоголя 1841–1844 гг.). Это пояснение в записной книжке появилось у Гоголя в 1841 г. в результате бесед с С. Т. Аксаковым. По-видимому, и само слово «кулебяка» (как и следующее за ним в тексте «Женихов»; см. ниже) было почерпнуто ранее у Аксакова, с которым Гоголь познакомился в Москве проездом на родину в начале июля 1832 г. и с которым беседовал позднее, возвращаясь из Васильевки в Петербург во второй половине октября этого года. Ряд слов, заимствованных тогда у Аксакова, появился также в «Вии» и в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Позднее, 20 сентября 1851 г., Гоголь, поздравляя Аксакова с днем рождения, писал: «Весьма жалею, что не с вами сижу за кулебякой...» (см. также коммент. к «Старосветским помещикам» в т. 2 и к записной книжке Гоголя 1841–1844 гг. в т. 9 наст. изд.).

Дроченое (драчена; от «дрочить, баловать» — гоголевский «объяснительный словарь» русского языка; «дрочень, жирное и толстое дитя» — там же) — род взбитой с мукой и молоком яичницы.

<Отрывок из «Женихов»>

Впервые напечатано В. И. Шенроком в 10-м изд. Сочинений Н. В. Гоголя (Т. 6. М.; СПб., 1896). Датируется 1833 г.

<На бесчисленных тысячах могил>

Впервые напечатано В. И. Шенроком в 10-м изд. Сочинений Н. В. Гоголя (Т. 7. СПб., 1896). Отрывок находится в гоголевской тетради среди разновременных записей: с одной стороны, текстов, датируемых 1830–1833 гг., с другой — статей, написанных позднее, в июле–октябре 1834 г., для сборника «Арабески». Положение наброска в рукописи позволяет отнести его к первой группе материалов. Ему непосредственно предшествует повесть «Ночь перед Рождеством», после которой был вписан позднее фрагмент статьи из «Арабесок» «Несколько слов о Пушкине». Эта же статья продолжается и вслед за наброском.

По широте замысла отрывок близок к написанному Гоголем в декабре 1833 г. «Плану преподавания всеобщей истории». Набросок посвящен размышлениям о сущности прогресса в истории, и фраза, на которой он обрывается, — «Какую бездну опыта должен приобресть 19 век!», свидетельствует о критической направленности предполагавшейся статьи. Ее, в частности, можно поставить в один ряд с позднейшим черновым наброском Гоголя к повести «Рим», заключающим в себе мысль о ничтожном итоге всего материального развития человечества: «...[всяких вещей] добра, созданного модою. [Возьмем]... богатый и обширно развитый наш умный девятнадцатый

век... подаривший человечество таким счастием в награду его трудных и бедственных странствий» (ср. также упоминание в статье «Скульптура, живопись и музыка» 1834 г. о давящей «меркантильности» современного мира и «дроби прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век»).

Представление о прогрессе как моде, простирающейся на все сферы жизни, получило у Гоголя образное воплощение именно в 1833 г. Вероятно, он задумался тогда о влиянии моды в политике, где тщеславное стремление к новизне проявляется в намерении «перекроить» и «перелицевать» сложившиеся общественные отношения, не касаясь их сути, в государственном и даже мировом масштабе. Обратим внимание на два сходных образа в произведениях Гоголя, датируемых 1833 г.: в комедии «Женихи» и в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (отметим общий для этих произведений мотив ссоры героев). Примечательна реплика одного из персонажей «Женихов», «моряка» Жевакина, о своем мундире: «Суконцо-то ведь аглицкое... в 815 ...перелицевал его, и вот скоро десять лет ношу и почти что новый». Нетрудно подсчитать, что действие «Женихов» разворачивается, согласно этому указанию, в один из самых памятных годов в истории России — 1825-м.

Отмечено также, что неудавшаяся попытка примирения героев «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» на ассамблее у городничего приходится на год не менее памятный — 1812-й (см.: *Гуминский В. М.* Гоголь и четыре урока «Миргорода» // *Гуминский В. М.* Открытие мира, или Путешествия и странники. М., 1987. С. 22). И здесь герой, Иван Никифорович, замечает о своем «платье»: «...сукно тонкое, превосходное, только вывороти — и можно снова носить». В описании примирительной «ассамблеи» 1812 г. этот же образ встречается еще раз: «Сколько чепцов! сколько платьев! красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных; платков, лент, ридикулей! Прощайте, бедные глаза!..»

Можно усмотреть прямую перекличку между этими строками о «перелицованных» и «перекроенных» в погоне за новизной «платьях» и «чепцах» с отрывком, повествующим о смене различных «мод» и «нарядов», бесцельно возникающих, исчезающих и вновь воскресающих в истории: «На бесчисленных тысячах могил возвышается, как феникс... 19 век. Сколько... происшествий! Сколько... дел, сколько... народов... сколько разных образов, явлений, разностихийных политических обществ, форм пересуществовало! Сколько сект... мнений... Сколько... революций...» (ср. упоминание о слухах во втором томе «Мертвых душ», что «мужики должны <быть> помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики...»). Однако, как замечает далее в отрывке Гоголь, все ослепительное разнообразие «форм» и «народов» «мелькнуло и невозвратно стерлось с лица земли» — подобно «чепчику» (из отрывка

«Учитель»), «покрой которого утратился в толпе событий, знаменовавших XVIII столетие». Ср. также в статье о всеобщей истории: «...государства и события — временные формы и образы... Народы... должны быть непременно... в таком же точно виде и костюме, в каком... в минувшие времена». Князь В. Ф. Одоевский в «Пестрых сказках» (1833) — сборнике повестей, в издании которых принимал непосредственное участие Гоголь, также писал: «В старину были странные науки... Широкое было поле для воображения... оно залетало за тридевять земель... и из этого путешествия приносило такие вещи, которые ни больше, ни меньше, как переменяли платье на всем роде человеческом...» (<*Одоевский В. Ф.*, князь.> Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою... изданные В. Безгласным. СПб., 1833. С. 4). В эпилоге к «Русским ночам» (1844), также написанном в период тесного общения с Гоголем (в начале 1830-х гг.), Одоевский, в свою очередь, писал об утопиях Ш. Фурье: «...дело дошло до того, что один добрый чудак предложил перевернуть весь общественный быт...» (*Одоевский В. Ф.* Русские ночи. Л., 1975. С. 158).

1833 г. — один из переломных в судьбе Гоголя. 28 сентября он признавался М. П. Погодину: «Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов! настанет ли для меня благодетельная реставрация после этих разрушительных революций? — Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил!» «Если б вы знали, — признавался он 9 ноября того же года М. А. Максимовичу, — какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!» Кризис затронул и исторические воззрения Гоголя. 20 февраля 1833 г. он сообщал М. П. Погодину: «Едва начинаю, и что-нибудь совершу из Истории... вдруг зиждется новая система и рушит старую». Нетрудно заметить, что все эти письма также в целом ряде выражений обнаруживают сходство с отрывком «На бесчисленных тысячах могил...», который, вероятно, и был написан в 1833 г.

1834

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856. Т. 1). Написано накануне 1834 г.

Объявление об издании Истории Малороссии

Впервые напечатано: Северная Пчела (1834. 30 января. № 24) с заглавием «Об издании Истории Малороссийских казаков»; Московский Телеграф (1834. № 3, цензурное разрешение 10 февраля) под тем же заглавием; Молва (1834. № 8, цензурное разрешение 23 февраля) — «Объявление об издании Истории Малороссии».

В письме к матери от 2 февраля 1830 г. Гоголь спрашивал: «Нет ли в наших местах каких записок, веденных предками какой-нибудь старинной фамилии, рукописей стародавних про времена

гетманщины и прочего подобного?» Очевидно, к тому времени, когда Гоголь приступил к написанию Истории Малороссии, объем прочитанного был уже достаточно велик. Откликнувшемуся на «Объявление...» И. И. Срезневскому он писал об украинских летописях: «Я имел случай многие прочесть и, к сожалению, пропустил случай многие переписать» (письмо от 6 марта 1834 г.).

К мысли обратиться с просьбой к читателям высылать ему материалы по истории Малороссии, возможно, подтолкнула Гоголя удачная находка, о которой он сообщал незадолго перед тем, 23 декабря 1833 г., А. С. Пушкину: «Порадуйтесь находке: я достал летопись без конца, без начала об Украйне, писанную, по всем признакам, в конце XVII-го века».

На «Объявление...» отозвался Н. М. Языков, сообщавший 22 марта 1834 г. М. П. Погодину: «У нас есть нечто для Гоголя — по истории Малороссии, собираемся ему доставить» (цит. по: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. <Л.>, 1940. Т. 10. С. 470). У М. П. Погодина «Объявление...» вызвало некоторые нарекания. Вероятно, он указывал Гоголю на «Историю Малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского (1-е изд., 1822) как на труд, выделяющийся из «многих компиляций». 13 марта 1834 г. Гоголь отвечал ему: «Выговоры ваши за объявление имел... честь получить. Это правда, я писал его, совершенно не раздумавши. Впрочем, охота тебе вступаться за Бантыша! ведь он... замотал у многих честных людей многие материалы и рукописи». Можно предположить, что в данном случае Гоголь имел в виду прежде всего «материалы и рукописи» директора Нежинской гимназии высших наук И. С. Орлая, высланные последним в дар московскому Императорскому Обществу истории и древностей Российских (с надеждой на их публикацию). Будучи сторонником воссоединения славянских народов с Россией, «ретивый славянофил» Орлай (по выражению историка Н. Н. Мурзакевича) в 1824 г. послал в Общество истории и древностей Российских рукопись (написанную предположительно в начале 1800-х годов М. Е. Марковым), содержащую «замечания о Малороссии, с 25-ю раскрашенными изображениями от Гетмана до крестьянина», а также «три статьи касательно запорожских казаков». Все эти материалы были тогда же переданы на рассмотрение Д. Н. Бантышу-Каменскому, который спустя два месяца, 29 апреля, дал присланным Орлаем «замечаниям о Малороссии» резко критический отзыв («...видно несправедливое пристрастие, руководившее сочинителя. Он... превозносит похвалами Великороссиян и... бранит бесщадно Малороссиян...»), а о «трех статьях касательно запорожских казаков» вообще не упомянул (см.: Труды и летописи Общества Истории и Древностей Российских. М., 1827. Ч. 3. Кн. 2. С. 57–58, 73–76). (С «Трудами...» Общества Гоголь был знаком еще в Нежине.) См. также в наст. томе коммент. к <Материалам и наброскам драмы из эпохи Богдана Хмельницкого>.

...этот воинственный народ, казаки... — Далее в публикации «Северной Пчелы» было: «оплот для Европы от магометанских завоевателей». к стр. 157

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) — петербургский книгопродавец и издатель.

Дом Лепена. — В доме Лепена на Малой Морской Гоголь жил с июля 1833 г. до отъезда за границу в июне 1836 г.

<Отрывок из «Истории Малороссии». Размышления Мазепы>

Впервые напечатано: Сочинения Н. В. Гоголя /Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Изд. 10-е Т. 6. М.; СПб., 1896. Бумага автографа имеет водяной знак «<18>29». Написано, вероятно, не позднее весны 1834 г.

В «Объявлении об издании Истории Малороссии» Гоголь замечал, что он «около пяти лет» собирал «с большим старанием материалы, относящиеся к истории этого края» и что «половина» его «Истории...» «почти готова». Первому из обозначенных в «Объявлении...» периодов украинской истории — времени, когда «отделилась эта часть России» и «образовался в ней... воинственный народ, козаки» — соответствует в гоголевских произведениях статья «Взгляд на составление Малороссии». Второму периоду — когда украинский народ «три века с оружием в руках добывал права свои и упорно отстоял свою религию» — были посвящены «Страшная месть», незавершенный роман «Гетьман» и повесть «Тарас Бульба». С одним из событий последнего периода — «как мало-помалу вся страна получила новые взамен прежних права и наконец совершенно слилась с Россиею» — связан сохранившийся набросок о размышлениях Мазепы перед его восстанием против Петра I (конец этого периода освещает отчасти и повесть «Ночь перед Рождеством»). 12 февраля 1834 г. Гоголь сообщал М. А. Максимовичу, что пишет «Историю Малороссии» «всю от начала до конца». Возможно, тогда Гоголь работал над ее заключительными главами. При этом он признавался М. П. Погодину 11 января 1834 г., что «слог в ней слишком уже горит, не исторически жгуч и жив».

Мазепа Иван Степанович (1644–1709) — гетман Украины в 1687–1708 гг. Во время Северной войны 1700–1721 гг. в целях отторжения Малороссии от России перешел на сторону шведов. После Полтавской битвы (1709) бежал в турецкую крепость Бендеры вместе с Карлом XII. к стр. 158

Взгляд на составление Малороссии

Впервые напечатано под названием «Отрывок из Истории Малороссии. Том I, книга 1, глава I» в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1834. Ч. 2. № 4. Отд. 2) с подписью

«Н. Гоголь» и подстрочным примечанием: «Автор избрал первую главу Истории Малороссии для помещения в Журнале, потому что она представляет нечто целое и вместе служит введением в саму Историю. Приложения и ссылки отлагаются за недостатком места». Впоследствии с измененным заглавием статья была включена в сб. «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» (СПб., 1835. Ч. 1).

В 1834 г. в «Журнале...» министра С. С. Уварова были напечатаны четыре статьи Гоголя: в февральском номере — «План преподавания всеобщей истории», в апрельском — «Отрывок из Истории Малороссии» и статья «О малороссийских песнях», в сентябрьском — статья-лекция «О Средних веках». Все они явились результатом стремления Гоголя к поддержке правительственного курса на укрепление начал Православия, Самодержавия и Народности и неослабевающего интереса писателя к истории родного края и к истории всемирной, курс которой он читал с марта 1831 г. в Патриотическом институте благородных девиц. «В народном воспитании преподавание истории есть дело Государственное», — писал, в частности, в 1813 г. С. С. Уваров, в ту пору попечитель Петербургского учебного округа (<*Уваров С. С.*> О преподавании Истории относительно к народному воспитанию. СПб., 1813. С. 2).

На фоне мировой истории и осмысляет Гоголь историю Украины. Воспетое в народных песнях-думах малороссийское казачество он называет «одним из замечательных явлений европейской истории», «оплотом для Европы от магометанских завоеваний», ставя его в один ряд со средневековым рыцарством. Такой взгляд служит ему прямым прологом к осмыслению современности. Мысль о конечном духовном порабощении Европы на исходе Средних веков арабо-мусульманской культурой открывает Гоголю видение всемирно-исторического предназначения России — единственной свободной христианской державы в мире, исповедующей Православие. Реализовать замысел во всей его полноте (включая идею о промыслительной зависимости истории от географии, высказанную ранее в «Нескольких мыслях о преподавании детям географии», 1830) писателю удалось в эпопее «Тарас Бульба», законченной к середине 1834 г.

Примечательно, что вызревание замыслов статей, опубликованных в 1834 г., протекало у Гоголя почти одновременно. Обращаясь в 1830 г. с просьбой к родным о присылке рукописных материалов «про времена гетманщины и прочего подобного» (см. коммент. к «Объявлению об издании Истории Малороссии»), Гоголь просит присылать и украинские песни. 2 апреля 1830 г. он пишет матери: «Приношу благодарность тетиньке Катерине Ивановне, которая решилась пожертвовать временем — собрать для меня несколько любопытных песен; но драгоценнейшие из них есть, однако ж, списанные вами две запорожские». 19 сентября 1831 г. Гоголь обращается к сестре, Марии Васильевне: «...ты так хорошо было начала собирать малороссийские сказки и песни и, к сожалению,

прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно необходимо нужно». О. М. Сомов 9 ноября 1831 г. извещал М. А. Максимовича: «У Гоголя есть много малороссийских песен, побасенок, сказок и пр., и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал...» (*Максимович М. А.* Об историческом романе г. Кулиша «Черная рада» // Русская Беседа. 1858. Т. 1. Кн. 9. <Отд. 3>. С. 15).

Созданию статьи предшествовало также тщательное изучение Гоголем славянской и русской истории, причем одним из главных пособий в этом ему служила «История государства Российского» Н. М. Карамзина (см. коммент. к <Наброскам и материалам по славянской, русской и украинской истории> в т. 8 наст. изд.). М. П. Погодин в конце июня 1832 г. в своем дневнике записал о знакомстве с Гоголем: «Гов<орили> с ним о Малорос<сийской> Истории, и проч. Большая надежда, если восстановится его здоровье. Он [большая надежда] рассказал много чудес о своем Курсе Истории в Педаг<огическом> инстит<уте> женском в Петерб<урге>. (Из его воспитанниц нет ни одной неуспевшей.)» (*Погодин М. П.* Дневник. 1829–1840 // *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 32. Ед. хр. 1. Л. 83; опубл., с неточностями: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 113). 1 февраля 1833 г. Гоголь обещал прислать М. П. Погодину подготовленную на материале своих лекций «всеобщую историю и всеобщую географию в трех, если не в двух томах». Однако в дальнейшем работа остановилась. Последовавший кризис длился более чем полгода. Хотя 8 мая 1833 г. Гоголь и сообщал М. П. Погодину о какой-то найденной им «типографической редкости» — «Истории Римской империи и славянских народов» 1503 года издания («издана в Оснабрике»), однако 28 сентября того же года он писал ему о задуманных им украинской и всемирной «Историях...» как о «двух началах двух огромных творений, на которых лежит печать отвержения» и которые он «не смеет развернуть». На основании этого признания и даты, поставленной Гоголем под статьей «Взгляд на составление Малороссии» — «1832», ее первые черновые наброски следует отнести к концу 1832 — началу 1833 г. (см.: *Казарин В. П.* Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». С. 77).

Во время кризиса Гоголь обращается к родным с новыми просьбами о присылке ему народных песен (см. два письма к матери от апреля 1833 г.). Присланная ему в начале ноября 1833 г. сестрой Марией Васильевной «старинная тетрадь с песнями» («между ними... многие замечательны»), вероятно, и послужила Гоголю толчком к возобновлению работы над историей Малороссии. «Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! — восклицает он в письме к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1833 г. — Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!.. Теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной Украины». В перечне материалов, которые Гоголь в январе 1834 г. просит прислать ему в «Объявлении об издании Истории Малороссии», он в один ряд ставит «записки, летописи, повести

бандуристов, песни, деловые акты». 12 февраля 1834 г. он сообщает М. А. Максимовичу: «Историю Малороссии я пишу всю от начала до конца. Она будет или в шести малых, или в четырех больших томах... Песень я тебе с большою охотою прислал <бы>, но... большую часть <их> мне теперь нельзя посылать». 6 марта 1834 г. Гоголь признается И. И. Срезневскому: «...каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи... Если бы наш край не имел такого богатства песень — я бы никогда не писал Истории его... Эти-то песни заставили меня с жадностью читать все летописи...» (см. также коммент. к статье «Шлецер, Миллер и Гердер» и к <Наброскам и материалам драмы из эпохи Богдана Хмельницкого>).

Вместе с продолжением труда над Историей Малороссии возобновляется и работа над всемирной историей. 23 декабря 1833 г. Гоголь, сообщая А. С. Пушкину о завершении статьи о всеобщей истории, говорит и о своих планах, которые намеревается осуществить в Киеве: «Там кончу я историю Украины и юга России и напишу Всеобщую историю... А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.!» Об этом же он пишет М. П. Погодину 11 января 1834 г.: «Я весь теперь погружен в Историю Малороссийскую и Всемирную; и та и другая у меня начинает двигаться... Поцелуй за меня Киреевского! Правда ли, что он печатает русские песни?» О параллельной работе Гоголя над всеобщей и украинской историей при одновременном изучении народной поэзии свидетельствует и «Отчет по Санкт-петербургскому учебному округу за 1835 год» о состоянии научной деятельности в Петербургском университете, куда Гоголь поступил в июле 1834 г. и читал лекции по истории Средних веков с сентября этого года по декабрь 1835-го: «Адъюнкт по кафедре истории Гоголь-Яновский сверх должности своей по университету принял на себя труд написать Историю Средних веков, которая будет состоять из 8 или 9 томов... кроме означенной истории... готовит к печатанию о духе и характере народной поэзии славянских народов: сербов, словенов, черногорцев, галичан, малороссиян, великороссиян и прочих; также занимается он разысканием и разбором для Истории малороссиян, которой два тома уже готовы, но которые, однако ж, он медлит издавать до тех пор, пока обстоятельства не позволят ему осмотреть многих мест, где происходили некоторые события» (цит. по: *Машинский С. И.* Художественный мир Гоголя. С. 150).

к стр. 162 *...в... земле... чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами финскими, но здесь сохранялись в прежней цельности...* — Скрытая полемика с Н. М. Карамзиным, который писал в своей записке «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811): «Владимир, Суздаль, Тверь назывались Улусами Ханскими; Киев, Чернигов, Мценск, Смоленск — городами Литовскими. Первые хранили, по крайней мере, свои нравы, вторые заимствовали и самые обычаи

чуждые» (цит. по: Лит. учеба. 1988. № 4. С. 98). Примечательны на этот счет размышления А. С. Хомякова в статье «О старом и новом» (1839). Согласно его точке зрения вследствие вызванного нашествием кочевых орд Азии оттока русского населения в глубь страны «Север и Юг смешались, проникнули друг в друга, и началась в пустопорожних землях, в диких полях Москвы, новая жизнь, но уже не племенная и не окружная, но общерусская» (цит. по: *Хомяков А. С.* О старом и новом. М., 1988. С. 52). 24 октября (н. ст.) 1844 г. Гоголь на вопрос А. О. Смирновой: «Спуститесь в глубину души вашей и спросите, точно ли вы русский, или хохлик» — ответил: «...я, как вам известно, соединил в себе две природы: хохлика и русского». Через два месяца, 24 декабря, он опять вернулся к этому вопросу: «...какая у меня душа, хохлацкая или русская... сам не знаю... Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве». Ср. со строками Гоголя в записной книжке 1846–1850 гг.: «Обнять обе половины русского народа, северную и южную, сокровище их духа и характера».

В 1851 г. в разговоре со своим земляком О. М. Бодянским, профессором истории и литературы славянских наречий Московского университета, Гоголь сказал: «Я знаю и люблю Шевченко как земляка и даровитого художника... Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно… Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски… надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан…» (*Данилевский Г. П.* Знакомство с Гоголем // Исторический Вестник. 1881. № 12. С. 479). См. также коммент. к строкам первой главы позднейшей редакции второго тома «Мертвых душ»: «Искусственным насажденьем — север и юг растительного царства собрались сюда вместе», — в т. 5 и сопроводит. статью к т. 9 наст. изд.

…ханские баскаки… — *Баскаки* — сборщики дани. к стр. 163

...Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпети, вступил с торжеством в Киев... Он умер в 1340 году... — Ср. в выписках Гоголя из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (т. 4, гл. 8, 10): «XIV век. — 1320. Гедимин берет Овруч, Житомир, города

Киевского княжества. — Разбивает киевского князя Святослава (Станислава, согласно Н. М. Карамзину. — *И. В., В. В.)* с Олегом Переяславским и союзниками его монголами при Ирпене-реке. — Берет Киев и ставит воеводу своего Миндова. Южная Россия в его власти. — 1341. Смерть Гедимина». Сам Карамзин (а за ним Д. Н. Бантыш-Каменский) ставил под сомнение достоверность этих и других сведений, сообщаемых польским историком М. Стрыйковским (а также «Историей Руссов»). (В 1829 г. точку зрения автора «Истории Руссов», описывавшего приход Гедимина в пределы малороссийские в 1320 г., разделял А. С. Пушкин; см.: *Оксман Ю. Г.* Неосуществленный замысел истории Украины // Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 213–214.) «В сей-то литовский период Украины (с 1340)... зачиналось козачество...» — замечал М. А. Максимович (Украинские народные песни, изданные *М. Максимовичем.* М., 1834. Ч. 1. С. 67; в письме к Максимовичу от 29 мая 1834 г. Гоголь выразил полное согласие с таким делением украинской истории).

Вопреки Карамзину, Гоголь следует М. Стрыйковскому и в позднейшем своем наброске 1839 г., также написанном по материалам «Истории государства Российского» и посвященном периоду водворения литовских князей в Южной России (которое, согласно этим данным, началось еще в XIII в.). Поскольку своим содержанием и целым рядом выражений этот отрывок перекликается со статьей «Взгляд на составление Малороссии», есть основания считать, что наряду с переработкой «Тараса Бульбы» Гоголь предполагал в конце 1830-х гг. такую же переделку и этой статьи (см. в наст. томе <Наброски к статье «Взгляд на составление Малороссии»> и коммент. к ним).

к стр. 164 *Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву...* — К этому месту относится черновой набросок, не вошедший в окончательную редакцию: «Литовские князья на северо-востоке Европы были сильнейшие владетели. Когда в Польше произошли великие смуты по случаю смерти короля Людовика, не оставившего сыновей, была коронована тринадцатилетняя его дочь, знаменитая красавица Ядвига. [Кучи] женихов [окружили ее двор], жадных ее совершенств и более блистательных, стеклись в Польшу. Но литовский князь Ягайло взял перевес и получил руку венценосной красавицы с условием *<1 нрзб.>* присоединить свои пространные русские владения и литовские владения, принять христианскую веру вместе с литовским народом. Таким образом, три земли: Литва, южная Россия и Польша соединились вместе. Ягайло провозгласил *<2 нрзб.>* себя Владиславом, и папа приобрел в свою обширную обнимавшую почти все моря *<1 нрзб.>* новую паству». Ср. также в выписках Гоголя из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (т. 5, гл. 1): «1377. Ягайло. — 1380. Битва на Куликовом поле. — 1386. Ягайло — король польский. — 1387. Ягайло крестит народ литовский. Угнетает греческую веру, запрещает браки между подданными-католиками и греческой веры». И в выписках из «Истории Русов»

псевдо-Конисского: «1386. Ягайлом соединяются Польша, Малая Россия и Литва. Трактат присоединения: Пакта Конвента. Сила его: присоединяем и соединяем как равный с равным и вольный с вольным. Установление в трех нациях трех равных гетьманов с правом наместника королевства и верховного военачальника. Гетьман коронный польский. Гетьман литовский. Гетьман русский. Установление. Гетьманам и другим важнейшим урядникам даются на содержание старосты и ранговые деревни (вспомнить об уделах). Резиденцией малороссийского гетьмана делается город Черкас, пониже Киева, над Днепром».

Сообщения никакого нет, произведения не могли взаимно размениваться... — Ср. в заметке Гоголя «Собственные результаты о славянах»: «Что славяне не соединялись в одно, причина — несообщаемость земли. Только весною, при разлитии рек, усматривались некоторые сношения. См. византийские хроники». к стр. 165

...здесь не мог и возникнуть торговый народ. — Ср. в черновом наброске на отдельном листе: «Народ не мог сделаться торговым, получивши заматерелость, следствие местоположения. Никогда малороссийские купцы не были значительны. Всегда или русские ныне, или греки и жиды прежде держали в руках своих торговлю. Этот народ не имел строгой расчетливости и размера на всю жизнь, следствие местоположения, беспечность, равнодушие к богатству и неуверенность в нем. Часто все, накопленное трудами, обращалось в одну праздничную попойку, в увеселение и забвение на одну минуту. Особенная страсть к увеселениям, к общественным гульбищам. С начала весны все девки и парни выходят на улицу из хат и поют приветствия весне. Улица делается всеобщим собранием. Как просто, как высоко постигнуто это удержимое средство (о свадьбах). Человек ничего так не боится, как стыда. Вольность в обращении. Все, что до наслажденья относилось, все это имел народ. Он в этом не отказывал себе никогда. Разнообразие разных блюд, совершенно отличных в разные времена года, в разных случаях».

Строки этого отрывка: «Как просто, как высоко постигнуто это удержимое средство (о свадьбах). Человек ничего так не боится, как стыда», — позволяют судить, что Гоголь имеет здесь в виду свадебные обычаи козаков, описанные Г. де Бопланом (Описание Украйны. Соч. *Боплана.* СПб., 1832. С. 75–77; указано: *Тихонравов Н.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 5. С. 578). Свой рассказ о малороссийской свадьбе Боплан заключает: «Хотя свобода пить водку и мед могла бы довести до соблазна; но торжественное осмеяние и стыд, коим подвергаются оне, потеряв целомудрие, удерживают их от искушения». Именно к 1832 г. относятся первые попытки обращения Гоголя к жанру комедии (см. в наст. томе коммент. к наброскам, озаглавленным «Комед<ия>»). По-видимому, с размышлениями 1832 г. связаны и позднейшие строки Гоголя в «Театральном разъезде...» (1842): «...насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете».

к стр. 166 *...и увеличивать их общество.* — Вероятно, к этому месту относится черновой набросок, не вошедший в окончательную редакцию:

«Какое было первоначальное устройство этого необыкновенного... Какие были первоначальные законы для вольнолюбивой и буйной вольницы, я об этом теперь ничего не скажу (хотя всякой может себе верно представить, как должно было быть тогда), потому что до времен Ружинского ничего не известно. [Ни один инок-летописец не укрывался в монастыре] и самых монастырей нигде не было в этой изруинованной земле.

Летописи писались тогда не пером, а кривыми саблями и пищалями. Ни один инок-времяннописец не укрывался в монастыре. Иностранцы, особливо впоследствии французские инженеры, писавшие об Украине, нигде не доискивались сведений исторических, не расспрашиваясь старых, еще касавшихся прежними годами своими времен патриархальных, еще живо хранивших в памяти первые подвиги и дела. Они большею частью *<1 нрзб.>* в географию в настоящем, тогдашнем виде. Как досадно, когда минувшее, может быть, кипевшее событиями, бежит и темнеет в виду всех и ни один не хватится остановить его. Это похоже — но вперед моя история».

к стр. 168 *...казавшегося страшилищем бегущему татарину.* — В черновой редакции вместо этих строк было: «подобно подземному гному. Это заставило турецкого султана сказать: когда поляки и немцы воюют, я сплю на оба уха, когда же козаки зашевелятся, я должен одним ухом слушать». Ср.: «Когда окрестные панства на мя восстают, я на обидве уши сплю, а о козаках мушу единым ухом слухати» (Действия презельной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого… Г. Грабянки. Киев, 1854. С. 20).

...целые деревни и села начали поселяться... около этого грозного оплота... с условием за то некоторых повинностей. — Ср. в заметке Гоголя 1830-х гг. по русской истории «О городах»: «Дружины князей были причиною и зиждителем городов. Такое множество, свита не иначе могла помещаться, как в целом остроге. Такое множество воинов, бездействующих и праздных людей, не прилагавших труда, должны были собрать вокруг себя трудящийся класс, доставлявший бы им все нужное. Отсюда класс ремесленников и мирных граждан». С этой заметкой связана также запись Гоголя при чтении «Истории Русов» о даваемых гетманам «ранговых деревнях» (см. коммент. к с. 164 — *Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву...*).

О малороссийских песнях

Впервые напечатано: Журнал Министерства Народного Просвещения». 1834. Ч. 2. № 4. Отд. 2 (подпись: Н. Гоголь). С небольшими изменениями перепечатано в сб. «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» (СПб., 1835. Ч. 2).

Замысел статьи тесным образом связан с занятиями Гоголя украинской и всемирной историей; она передает его представление

о народной песне как важнейшем историческом источнике (см. коммент. к статьям «Взгляд на составление Малороссии», «Шлецер, Миллер и Гердер» и <Наброскам и материалам драмы из эпохи Богдана Хмельницкого>. В «Библиографии Средних веков», составленной Гоголем в 1834 г. для студентов Петербургского университета, он замечает, что наряду с летописями в число таких источников «можно включить также создания поэтические, выражающие верно минувший быт народный: исторические баллады, народные песни, которыми особенно богата христианская Испания, Шотландия, народы славянские, народы, терпевшие большие потрясения и не имевшие гражданского образования» (здесь же в качестве источников, объясняющих «начало северной истории», упоминаются «саги и эдды норманские»).

Статья написана по поводу выхода в свет первой части «Запорожской Старины» И. И. Срезневского (Харьков, 1833). 6 марта 1834 г. Гоголь писал Срезневскому: «Вы... сделали мне важную услугу изданием «Запорожской Старины». Где выкопали вы столько сокровищ? Все думы, и особенно повести бандуристов, ослепительно хороши». Поскольку еще 12 февраля 1834 г. Гоголь писал М. А. Максимовичу, что не может нигде достать «Запорожской Старины», то, вероятно, он получил ее от С. С. Уварова, о чем писал позднее, 29 мая 1834 г., тому же Максимовичу: «Недавно С<ергей> С<еменович> получил от Срезневского экземпляр песней и адресовался ко мне с желанием видеть мое мнение о них в Журнале Просвещения, так же как и о бывших до него изданиях — твоем и Цертелева (имеются в виду «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем». М., 1827; и «Опыт собрания старинных малороссийских песней» князя Н. Цертелева. СПб., 1819. — *И. В., В. В.).* Что ж я сделал? я написал статью, только самого главного позабыл: ничего не сказал ни о тебе, ни о Срезневском, ни о Цертелеве. После я спохватился и хотел было прибавить и проболтаться о твоем великолепном новом издании, но опоздал: статья уже была отпечатана» (под «великолепным новым изданием» подразумеваются «Украинские народные песни», издаваемые М. А. Максимовичем в 1834 г. и высылавшиеся им Гоголю в отдельных листах по мере печатания, начиная с письма от 16 апреля этого года). 1 июня 1834 г. Гоголь сообщал Срезневскому: «Я хотел было сделать несколько замечаний и оценку с своей стороны вашей «Запорожской Старины» и уже приступ к этому под заглавием «О малороссийских песнях» отослал в Журнал Просвещения. Но лень проклятая одолела, и я сел на одном приступе...»

К характеристике жанра думы Гоголь вернулся впоследствии в «Учебной книге словесности для русского юношества» (1845), где вновь сравнивал думу со скандинавскими сагами (см. коммент. в т. 6 наст. изд.).

к стр. 169 *...державшиеся в одном народе.* — Далее в публикации статьи в «Журнале Министерства Народного Просвещения» было: «Доказательством этому служат вышедшие недавно издания гг. Максимовича и Срезневского».

...недавно издано прекрасное собрание песен Максимовичем, и при нем голоса, переложенные Алябьевым. — Имеются в виду изданные в 1834 г. М. А. Максимовичем «Украинские народные песни» и «Голоса украинских песен», положенные на ноты А. А. Алябьевым. «Да что ты не прислал мне нот малороссийских песень? — спрашивал Гоголь 18 июля 1834 г. М. А. Максимовича. — Прислал один лист под названием Голоса, а самих-то голосов и нет. Я с нетерпением дожидаюсь их». Настоящая сноска появилась в тексте при переиздании статьи в сб. «Арабески».

...верной реляции... — *Реляция* (*лат.*) — донесение.

к стр. 172 *Рассердился, разгневался на меня мой милый!* — По словам П. А. Кулиша, украинская народная песня «Ой розсердывся мiй милый на мéне» была известна Гоголю с детства, и он «любил вспоминать, от кого и как он ей научился» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Опыт биографии Н. В. Гоголя. С. 169).

к стр. 173 *Шли коровы из дубровы...* — Песня из сборника «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем» (М., 1827. С. 67).

к стр. 175 *Русская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил М. Максимович, забвение жизни...* — Имеются в виду строки «Предисловия» к «Малороссийским песням, изданным М. Максимовичем» (М., 1827): «...русские песни отличаются глубокою унылостью, отчаянным забвением, каким-то раздольем и плавною протяженностию» (С. XIII–XIV). В одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» (1846) Гоголь писал: «Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же».

Такова была беззащитная Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее уния. — *Уния* (*лат.* unio — союз, объединение) — здесь: соглашение части иерархов Правобережной Украины об объединении Православной Церкви с Римско-Католической с признанием главенствующей роли папы и ряда католических догматов при сохранении православных обрядов и богослужения. Принятие унии на Церковном Соборе в Бресте в 1596 г. (Брестская уния) и ее насильственное распространение на Украине привели к закабалению украинского православного населения польскими помещиками и католическим духовенством. Часть украинского дворянства поддержала унию, тогда как простой народ и казачество оставались верными Православию. См. также коммент. к с. 96 — *У него еломок краше, чем ваша холопска вяра...*

О Средних веках

Впервые напечатано: Журнал Министерства Народного Просвещения». 1834. Ч. 3. № 9. Отд. 2 (номер вышел в октябре) под названием: «О средних веках. Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем». После небольшой стилистической правки включена в сб. «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» (СПб., 1835. Ч. 1). Беловой автограф статьи, с датой «1830 г.» (в публикации «Журнала Министерства Народного Просвещения» и в «Арабесках» дата отсутствует), опубликован в кн.: Неизданный Гоголь. Издание подготовил И. А. Виноградов. М., 2001. Текст печатается по этому изданию.

Написано в период с начала мая по 28 мая — 8 июня в связи с хлопотами Гоголя о получении кафедры всеобщей истории в Киевском университете. После представления министру народного просвещения С. С. Уварову «Плана преподавания всеобщей истории» Гоголь, пребывая в неизвестности относительно своего перемещения в Киев, получает, однако, от Уварова два новых заказа — сначала на статью «О малороссийских песнях» (см. коммент.), а затем, вероятно, и на статью «О Средних веках». В начале мая 1834 г. Гоголь пишет К. С. Сербиновичу о своем посещении С. С. Уварова: «Он дал мне тему для статьи в журнал, но ничего не узнал я о моей участи». Очевидно, Уваров не хотел отпускать Гоголя и новыми заказами продолжил его проверку, которую тот прошел успешно. 8 июня 1834 г. Гоголь сообщал М. А. Максимовичу: «...С<ергей> С<еменович>... благоволит ко мне и очень доволен моими статьями». Немного ранее, 28 мая 1834 г., он писал другу: «Мои обстоятельства очень странны: С<ергей> С<еменович> дает мне экстраординарного профессора и деньги на подъем, но, однако ж, ничего этого не выпускает из рук и держит меня, не знаю для чего, здесь...» Думается, не без участия С. С. Уварова попечитель Киевского учебного округа Е. Ф. Брадке нарушил данное Гоголю обещание предоставить ему кафедру в Киевском университете, а попечитель С.-Петербургского округа М. А. Дондуков-Корсаков (он же председатель цензурного комитета, запретившего незадолго перед тем гоголевского «Кровавого бандуриста») предложил Гоголю место адъюнкт-профессора всеобщей истории в Петербургском университете. Вероятно, случилось это именно после того, как Гоголь представил Уварову заказанную статью «О Средних веках». Вследствие этого 19 июля 1834 г. Гоголь был определен в Петербургский университет (прошение о поступлении на службу было подано Гоголем не позднее 10 июня), а публикация статьи была отложена до начала учебного года.

В сентябре 1834 г. статьей «О Средних веках» Гоголь открыл свой курс лекций по истории Средних веков в Петербургском университете. Н. И. Иваницкий, присутствовавший на лекции, вспоминал: «Не знаю, прошло ли и пять минут, как уж Гоголь овладел

совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории. Впрочем, вся эта лекция из слова в слово напечатана в “Арабесках”... Ясно, что... не доверяя сам себе, Гоголь выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и говорил совершенно свободно, но уже не мог оторваться от затверженных фраз, и потому не прибавил к ним ни одного слова. Лекция продолжалась три четверти часа...» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 84).

Спустя три месяца, 14 декабря 1834 г., Гоголь писал М. П. Погодину: «Ты не гляди на мои исторические отрывки: они молоды, они давно писаны; не гляди также на статью “О Средних веках” в Департаментском журнале... Не думай... чтобы я старался только возбудить чувства и воображение. Клянусь, у меня цель высшая». О задуманном им сочинении он сообщает: «Я выражаюсь отрывками и только смотрю в даль и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитою через год». 22 января 1835 г. он снова пишет М. П. Погодину: «Я... думаю хватить Среднюю историю томиков в 8 или 9, если Бог поможет». В тот же день М. А. Максимовичу: «Я пишу историю Средних веков, которая, думаю, будет состоять томов из 8, если не из 9». Об этих же «8 или 9 томах» упоминается в «Отчете по Санктпетербургскому учебному округу за 1835 год» (см. коммент. к статье «Взгляд на составление Малороссии»).

Анализ взглядов Гоголя на историю Средних веков см., в частности: *Сиротенко В. Т.* Раннее средневековье в освещении Н. В. Гоголя. (Днепропетровск, 1989.) Депонированная рукопись. АН СССР. Ин-т научной информации по общественным наукам. М., 1989. С. 1–26.

к стр. 178 *...Средней истории назначали самое низшее место. Время ее действия считали слишком варварским, слишком невежественным, и оттого-то оно и в самом деле сделалось для нас темным... <представленное не> в гениальном величии.* — Ср. в статье С. С. Уварова: «Доныне так называемые *Средние веки* почитаемы были временами варварства и грубости, но и они теперь показываются в другом виде» (*<Уваров С. С.> Попечитель Санктпетербургского Учебного Округа.* О преподавании Истории относительно к народному воспитанию. С. 19).

...нужно быть одарену... чутьем, которым обладают немногие историки. — В конце сентября 1834 г. редактор «Журнала Министерства Народного Просвещения» К. С. Сербинович, посылая Гоголю корректуру его статьи, просил заменить в этой фразе слово «чутье». 29 сентября Гоголь отвечал ему: «Слова *чутья* никак не могу переменить. У нас совершенно нет ему равнозначительного. Притом я его употребил потому, что оно уже получило некоторое право гражданства: его употребил Пушкин, и даже Жуковский...

Нечего делать, нужно нам перенять некоторые добродетели и у четвероногих».

...бывает заткана утоком... — «Заток, уток, поперечное тканье» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). Ср. в статье М. П. Погодина «О всеобщей истории»: «История должна, мне кажется, с одной стороны, протянуть ткань так называемых случаев... ткань намерений и действий человеческих, по законам свободы. С другой стороны, она должна представить другую параллельную ткань законов Высших, законов необходимости, и показать таким образом соответствие сих божественных идей к скудельным формам...» (*Погодин М. П.* О всеобщей истории // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 1. С. 39). В статье «О преподавании всеобщей истории» Гоголь также писал: «...составить эскиз общий, полный истории всего человечества... можно не иначе, как когда узнаешь и постигнешь самые тонкие и запутанные нити истории...». к стр. 179

Гильдебрандт (ок. 1021–1085) — монах из Северной Италии, с 1073 г. римский папа Григорий VII. В 1059 г. на Латеранском Поместном Соборе в Риме добился решения о новом порядке выбора пап кардиналами независимо от императора. Собор высказался также против светской инвеституры (введения в должность) епископов и аббатов. Император Генрих IV, воспротивившийся Григорию VII, был отлучен от Церкви, после чего потерял власть в Германии и вынужден был явиться в 1077 г. в замок Каносса (Северная Италия) за прощением и признать папское верховенство (выражение «пойти в Каноссу» с тех пор сделалось нарицательным). В бумагах Гоголя сохранился перевод отрывка из письма папы Григория VII к Готфриду Горбатому о порядке избрания нового папы, сделанный в первой половине 1830-х гг. (см. в т. 8 наст. изд.).

...некоторые государства поднялись бы, может быть, вдруг, и вдруг бы развратились; другие сохранили бы дикость свою на гибель соседам... Европа <бы> не устоялась... — Эта же мысль встречается в лекции Гоголя «Древняя всеобщая история»: «Кочевые варвары, долго терпя недостаток... начинали наслаждаться плодами побед, но эти наслаждения скоро переходили в роскошь... Тогда-то являлись другие племена, грозные своею дикостию, и первые завоеватели в свою очередь подвергались той же участи, какой подверглись народы, ими некогда побежденные» (раздел «Обозрение главнейших периодов»). к стр. 180

...епископы, пустынники с крестами в руках предводят несметными толпами... — Подразумевается прежде всего католический монах Петр Пустынник (Амьенский) (ок. 1050–1115), проповедовавший Крестовый поход среди населения Северной и Средней Франции, а также прирейнской Германии. к стр. 181

...происшествия, наполняющие Среднюю историю... все исполнены чудесности... все — порождение юношества прекрасного, исполненного самых сильных и великих надежд, часто безрассудного,

но пленительного и в самой безрассудности. — Ср. в статье С. С. Уварова: «Преподающий должен, по моему мнению, не иначе изображать их <Средние века>, как временами *борьбы и развития*, как временами детства и юности Европы. Легко может каждый здравомыслящий знаток истории показать во всех заведениях Средних времен, а особливо в рыцарстве, глубокое чувство, пленительную силу, высокое стремление к и полезному и изящному» (<*Уваров С. С.*> О преподавании Истории относительно к народному воспитанию. СПб., 1813. С. 19).

к стр. 182 *...одному только человеку и созданной им религии...* — Подразумевается основатель ислама и мусульманского государства Магомет (Мухаммед, ок. 570–632). См. о нем в лекции Гоголя «Первобытная жизнь арабов. Переворот в образовании нации, произведенный Магометом, и завоевания их» (1834).

...мрачный их Один... — *Один* — верховный бог скандинавской мифологии. См. также коммент. к с. 333 — *Здесь жили пираты, самые предприимчивые из германцев... саксы... кимвры... готы... ругии, бургунды... ломбарды... герулы...* и коммент. к с. 336 — *...с Оденом, этим северным Улиссом (Шлегель).*

к стр. 183 *...Чингис-Хана, давшего... завоевать мир, — и многолюдный Пекин горит целый месяц... государь тунгусский гибнет с сотнями тысяч подданных на замерзшем озере...* — Ср. у К. А. Беттигера: «Достигать предсказанного обладания всею землею он начал завоеванием Китая (1209). Пекин горел (1215) целый месяц. Потом пало Государство Ховарезмское с Бухарою и Самаркандом. На замерзшем озере погиб Государь Тунгутский с 300.000 человек...» (Всеобщая история. Гимназический курс. Соч. эрлангенского профессора *Беттигера*. М., 1832. С. 217).

к стр. 185 *...простодушная вера их в духов...* — Следует иметь в виду, что, говоря о «простодушной вере» в духов, Гоголь отнюдь не отрицает самого существования невидимых сил, окружающих повсюду человека, но обращает внимание на «простодушие» в представлениях неопытных или несведущих людей об этих духах. Такую наивную, «простодушную», часто легкомысленную веру в духов (в отличие от апостольского «трезвения» и «бодрствования» в противостоянии темным силам) писатель изобразил ранее в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (см. об этом в сопроводит. статье к т. 1 наст. изд.). Сам Гоголь всегда и безусловно признавал существование в мире «незримых» духовных сил. Об этом свидетельствуют как ранние его произведения, так и произведения, написанные в период создания статьи «О Средних веках», — повести «Старосветские помещики» (упоминание о «неспокойных порождениях злого духа, возмущающих мир»), «Вий» (изображение скрытой демонической реальности), «Портрет» (образ демонического ростовщика) и др. В 1834 г. Гоголь, в частности, писал М. А. Максимовичу: «...поручаю тебя охранению невидимых благих сил» (письмо от 7 апреля); «поручаю тебя Ангелу Хранителю твоему» (письмо от 20 апреля).

...ужасных пыток, на которых человек показал адскую изобретательность... — С упоминанием об «адской изобретательности», которую человек показал в «ужасных пытках», прямо перекликаются строки о «нарочно сделанных станках» для пыток в «Тарасе Бульбе». За этими строками встает у Гоголя и образ ремесленника — изготовителя «станков». Ср. в гоголевском «Лексиконе малороссийском»: «Теслик, столяр. Теслиці, деревянные клещи, которые надевают на ноги преступникам». На это же, в частности, указывает и перекличка между упоминанием о «дьявольски сплетенной плети» сорочинского заседателя в «Ночи перед Рождеством» («которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика») и словами атамана, наказывающего плетью «молодого преступника», в незавершенном романе Гоголя «Гетьман»: «Что за славная плеть! Чудная плеть!.. Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели!» Ср. также в набросках гоголевской драмы из истории Запорожья «иносказательную» реплику героя о том, что человеку «Бог дал ум на то, чтобы сделать нож». Мысль Гоголя заключается в том, что зрители казни запорожцев в «Тарасе Бульбе» являются во многом и ее исполнителями. Ср.: «Из толпы... высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером...» И слова молодого шляхтича-щеголя: «А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты (изготовленные, по-видимому, «оружейным мастером». — *И. В., В. В.*), то палач, и он будет казнить». С этими размышлениями связан в повести и образ французского артиллериста и «инженера», «большого знатока военного дела», главного предводителя польских войск в сражении. Удовольствие в битве доставляет ему не победа или поражение той или другой стороны, а само «мастерство» сражающихся. Когда «около двух тысяч» польских воинов (согласно строкам шестой главы первой редакции) было убито в результате атаки казаков, он, восхищенный воинским искусством неприятеля, «позабывшись», бьет, как на театральном представлении, в ладоши и кричит «браво». В то же время слова этого «инженера» — «который был истинный в душе артист», — что, зажегши лес, поляки «будут иметь славное жаркое из казацкой дичи», сближают его с таким же (согласно строкам черновой редакции) «истинным в душе артистом» — «знатоком»-мясником в сцене казни Остапа. к стр. 186

Владению «ремеслом» войны, внешнему порядку польского войска — организованного «иноземным инженером» и раздираемого честолюбием панов — Гоголь противопоставляет в «Тарасе Бульбе» нежелание запорожцев заниматься «военною школою» и отсутствие на Сечи «теоретического изучения» каких-нибудь «военных упражнений», а воинское искусство казаков объясняет единством их духа. «Без всякого теоретического понятия о регулярности, — замечает он о запорожцах, вдохновленных словами Тараса о «вере Христовой», — они шли с изумительною регулярностию, как будто бы происходившею от того, что сердца их и страсти били в один такт

единством всеобщей мысли». С этими размышлениями Гоголя перекликаются также строки его конспекта 1830-х гг. книги Г. Галлама «Европа в Средние века» об итальянских ополчениях XII–XIII вв.: «В сражении carrocio <средневековая повозка со штандартами; *ит.*> была точкой соединения, веретеном всех движений. Это был род повозки… на которой возвышалось знамя города… Иисус на Кресте… как бы благословляющий армию… Защищение этой свящ<енной> эмблемы Отечества, которую Муратори сравнивает с кивотом иудеев, будучи предметом всех усилий, давало армии вид сосредоточивания и единообразия, заменявших в некотором отношении отсутствие тактики регулярной» (раздел «Венеция»). Вероятно, Гоголю было известно, что донские казаки во время Куликовской битвы точно так же носили с собой чудотворную икону Богородицы, получившую впоследствии название Донской.

к стр. 187 *…возвышенные, исполненные порывов, как его летящие к небу столбы и стены, оканчивающиеся мелькающим в облаках шпицем.* — В 1830-х гг. Гоголь, в частности, указывал, что самыми высокими зданиями в городах должны быть христианские храмы. В статье «Об архитектуре нынешнего времени» он упоминал о Миланском и Кёльнском соборах и «недоконченной башне Страсбургского мюнстера». В повести «Вий» он упоминал о сооруженной в 1731–1745 гг. Великой колокольне Киево-Печерской лавры. В гоголевской «Книге всякой всячины…» сохранилась выписка «Hauteur de quelques monuments remarquables» (Высота некоторых замечательных памятников; *фр.*) (см. в т. 9 наст. изд.). В соответствии с содержанием этой выписки (о высоте «купола Св. Петра в Риме» — «406 футов или 132 метра» — и «верхушки Пантеона» — «250 футов или 79 метров») Гоголь в статье о географии (1830) замечал: «При мысли о Риме… неразлучна… мысль о зданиях-исполинах…» Здесь же Гоголь упоминал и о Киево-Печерской лавре как памятнике мирового значения: «…Кремля, Ватикана, Пале-Рояля, Фальконетова Петра, Киево-Печерской лавры, Кинг-Бенча нет других в мире».

Тарас Бульба

Впервые напечатано в сб. Миргород. СПб., 1835 (цензурное разрешение 29 декабря 1834 г.). Вторая переработанная и расширенная редакция опубликована при переиздании «Миргорода» во втором томе Сочинений Гоголя 1842 г. (см. коммент. к повести в т. 2 наст. изд.). Текст печатается по изд.: *Гоголь Н. В.* Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий. Издание подготовил И. А. Виноградов. М., 2009.

к стр. 188 *Фу ты, какой пышной!..* — *Пышной* — здесь: гордый, важный.

…какие же длинные на вас свитки! — *Свитка* — см. коммент. к с. 51 — *…в серых кобеняках и свитах…*

Академия — здесь: Киевская Духовная академия, первое высшее учебное заведение в Южной России, основанное в 1632 г. Киевским митрополитом Петром Могилой; крупнейший образовательный и культурный центр Украины, Белоруссии и России в XVII–XVIII вв. В академию принимались главным образом дети казацкой старшины, шляхты, зажиточных горожан и духовенства. Курс обучения продолжался 12 лет и давал богословскую и общеобразовательную подготовку, знание языков. Гоголь не разделяет понятий «академия», «семинария» (среднее учебное заведение) и «бурса» (среднее или низшее учебное заведение с общежитием) и называет своих героев — выпускников Киевской академии то семинаристами, то бурсаками. Бурса (*польск.*, *лат.* bursa — мешок, с переносным значением: товарищество) — «слово латинское, значит *кошель*» (Словарь малорусской старины, составленный в 1808 г. В. Я. Ломиковским / Ред. и примеч. Ал. Лазаревского. Киев, 1894. С. 4). к стр. 189

Бульба (*укр.*; *лат.* bulba — водяной пузырь, выпуклое украшение) — водяной, мыльный пузырь; земляная груша; картофель.

А ты бейбас, что стоишь… — *Бейбас* (бельбас) — балбес.

…да ты мазунчик, как я вижу! — *Мазунчик* (от *укр.* мазать — баловать, ласкать) — маменькин сынок.

Ка зна що (кат зна що) — дрянь, чепуха.

Пампушек, маковиков, медовиков и других пундиков не нужно… — *Пампушки* — «вареное кушанье из теста» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»). *Маковик* — лепешка с медом и маком. *Медовик* — медовый пряник. *Пундики* — сласти, лакомства.

…родзинками и другими вытребеньками… — *Родзинки* — изюм. к стр. 190
Вытребеньки — выдумки, причуды, затеи. «Здаться на витребеньки (быть балагуром, выдумщиком)» (гоголевская «Книга всякой всячины...»).

…когда еще только что начинала рождаться мысль об унии. — *Уния* — см. коммент. к с. 175 — *Такова была беззащитная Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее уния.*

Чтобы бусурменов били… — *Бусурмены* (бусурманы) — иноверцы, здесь: магометане (мусульмане).

Архимандрит — церковный сан, даваемый настоятелям монастырей и другим монашествующим, занимающим важные административные должности; здесь: ректор Киевской академии. к стр. 191

...кроме субботки, драли... и по середам, и по четвергам? — *Субботка* (суббота) — традиционный день порки в старых учебных заведениях.

…можем расписать всякого… саблями да списами. — *Списы* — копья. «Спис (*польск.*, *нем.*), копье» (гоголевский «Лексикон малороссийский»).

Когда Баторий устроил полки в Малороссии... — По замечанию В. П. Казарина, эти слова соответствуют повествованию Д. Н. Бантыша-Каменского (в «Истории Малой России»), который связывал

военную реформу именно с деятельностью польского короля Стефана Батория. Во второй редакции повести Гоголь изменил фразу: «Под их (польских королей. — *И. В., В. В.)* отдаленною властью гетьманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи». Этот вариант основан уже на свидетельствах летописи псевдо-Конисского, связывавшего военную реформу Малороссии с преобразованиями гетмана Ружинского, избранного из казачьей среды задолго до правления Батория. См. также коммент. к с. 166 — *...и увеличивать их общество. Полк* — см. коммент. к с. 76 — *...полковник миргородского полку...*

к стр. 192 *...или комиссары налагали большую повинность, или не уважали старшин...* — *Комиссары* — здесь: польские сборщики налогов. *Старшины* — см. коммент. к с. 51 — *...старшинам... нечего опасаться...*

...способствовало существованию многих совершенно отдельных партизанов... — *Партизан* — здесь: «приверженник, последователь» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка), сторонник какой-либо партии.

к стр. 193 *...отдавать приказания своему асаулу...* — *Асаул* (есаул; от *тюрк.* ясаул — начальник) — выборная административно-войсковая должность (подразделялись на генеральных, полковых и сотенных), а также чин в казацком войске с 1576 г. В 1798 — 1800 гг. чин есаула был приравнен к чину ротмистра в кавалерии.

...пошел он... по куреням своим... — «Курень у запорожцев — отделение военного стана запорожцев» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

к стр. 195 *К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями...* — *Очкур* — «шнурок, которым стягиваются шаровары» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

Казакин алого цвета... — *Казакин* — полукафтан на крючках со сборками сзади и стоячим воротником.

к стр. 196 *Молодые казаки ехали смутно...* — *Смутно* — здесь: грустно, печально.

к стр. 197 *...продержать его в монастырских служках целые двадцать лет...* — *Монастырский служка* — послушник, собирающийся стать монахом и прислуживающий в монастыре.

к стр. 198 *Консул* — здесь: старший из бурсаков, в обязанности которого входило наблюдение за поведением своих товарищей (от названия высшей административной должности в Древнем Риме).

Сам воевода, Адам Кисель... — *Кисель Адам* Григорьевич (1580–1653) — польско-украинский магнат и политический деятель, сторонник польско-шляхетского господства на Украине; последний из киевских воевод (с 1650 г.), назначавшихся Польшей. Представлял интересы польского правительства на переговорах с восставшими казаками Богдана Хмельницкого. В 1652 г. бежал из Киева в Польшу.

Ликтор — здесь: помощник консула в бурсе, которому поручалось наказание провинившихся товарищей (от названия почетной стражи консулов в Древнем Риме).

к стр. 200

...дочь приехавшего... ковенский воеводы... — Ковенский воевода — правитель Ковенской области (воеводства). *Ковно* — прежнее название Каунаса.

...накинула на него... шемизетку с фестонами... — Шемизетка (*фр.* chemisette) — дамская накидка, легкая блузка. *Фестоны* (*фр.* feston) — зубчатая кайма отделки.

к стр. 201

Новороссия — южная степная часть Европейской России, примыкающая к Черному морю. Во времена Гоголя под этим названием обыкновенно объединяли Бессарабию, Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую губернии и землю Войска Донского. Вошла в состав России после ряда войн с Турцией.

...синие и лиловые волошки... — Волошки — здесь: васильки.

...желтый дрок... — Дрок — степной кустарник с желтыми цветами.

к стр. 202

Ели только хлеб с салом или коржи... — Корж — «сухая лепешка из пшеничной муки» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

Пестрые оврашки выползывали из нор своих... — Оврашки (еврашки, ховрашки) — суслики.

...варили себе кулиш... — Кулиш (кулеш) — густая пшенная похлебка с салом.

к стр. 203

Хортица — скалистый остров на Днепре напротив Александровска (ныне город Запорожье), где располагалась одно время Запорожская Сечь.

к стр. 204

Крамари под ятками сидели с кучами кремней... — Крамари — мелочные торговцы, лавочники. *Ятка* — «род палатки или шатра» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

...ворочал на рожнах бараньи катки... — Рожны — здесь: вертелы, железные прутья, на которых жарят мясо. *Бараньи катки* — куски бараньего мяса.

...точил из бочки горелку. — «Точить — цедить» (*Войцехович И.* Собрание слов малороссийского наречия. С. 319).

Засека — оборонительное сооружение в виде заграждения из деревьев, поваленных крест-накрест вершинами в сторону неприятеля. Известно на Руси с XIII в.

...где обыкновенно собиралась рада. — Рада — совет (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»); здесь: верховный орган запорожцев (собрание, сходка), на котором выбиралась казацкая старшина и решались все важнейшие вопросы.

к стр. 205

...носит название казачка. — Далее в рукописи следует текст, не вошедший в печатное издание: «[Тут только волен совершенно человек] Только в одной музыке есть воля человеку. Он в оковах везде, он сам себе кует еще тягостнейшие оковы, чем налагает на него общество и власть, везде, где только коснулся жизни. Он раб, и он волен только потерявшись в бешеном танце, где душа его не слышит тела и возносится вол<ь>ными [*1 нрзб.*] [прыжками] готова<я> завеселиться на [все] вечность».

к стр. 206 *Шинкарь* — содержатель шинка, кабака.

к стр. 207 *Дукаты и реалы* — венецианские и испанские золотые монеты.

Кошевой (*кош* — казацкий лагерь, стан) — атаман запорожского войска, избиравшийся сечевой радой обычно сроком на один год.

к стр. 208 *...на Татарву.* — Имеется в виду Крымское ханство.

к стр. 209 *...хранившихся всегда у довбиша...* — *Довбиш* — литаврщик (словарь «Малороссийских слов...»).

Панове добродийство — Господа благородные.

...и веры неймет. — «Віри не нять (не верить)» (гоголевская «Книга всякой всячины...»).

к стр. 210 *Хотя бы серебряную рясу... иные казаки.* — В черновой редакции вместо этих строк было: «Николай угодник Божий серьдега в таком платье, в каком нарисовал его маляр, и до сих пор даже и серебряной рясы нет на нем. Варвара великомученица только то и получила, что уже в духовной отказали иные козаки». *Ряса* — здесь: риза.

Анатолия — северное побережье Малой Азии, турецкая провинция.

к стр. 211 *Несколько человек было отправлено в скарбницу...* — *Скарбница* — хранилище казны.

Слышали... что делается на гетманщине? — *Гетманщина* — здесь: территория Левобережной Украины вместе с Киевом, управлявшаяся гетманом, которого назначал польский король.

к стр. 212 *...заткнул клейтухом уши...* — *Клейтух* — пыж из пакли, при помощи которого забивали пули в дуло ружья.

к стр. 213 *...гетман, зажаренный в медном быке...* — По преданию, в медном быке в Варшаве был сожжен руководитель казацкого восстания 1594–1596 гг. гетман Северин Наливайко, выданный казацкой верхушкой польской шляхте.

к стр. 214 *...восемьсот цехинов дал...* — *Цехин* — старинная венецианская золотая монета.

Несмотря на... сокрушение о случившихся на Украйне несчастиях, он был несколько доволен представлявшимся раздольем для подвигов... которые представляли ему мученический венец по смерти. — Очевидно, Тарас радуется открывающейся ему возможности исполнить заповедь Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

к стр. 215 *Скудельные южные города и села были совершенно стираемы с лица земли.* — *Скудельные* — построенные из глины. «Скудель, глина...» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). Ср. выписку «О построении зданий деревенских из мокрой глины. Сочинение Карла Штис<с>ера» в записной книге Гоголя 1830–1834 гг.

к стр. 216 *Прелат, находившийся...в Радзивилловском монастыре...* — *Прелат* — католический епископ, здесь: настоятель монастыря. *Радзивиллов* (Радивилов; с 1939 по 1991 г. — Червоноармейск) — поселение на Волыни, известное с средины XVI в.; с 1870 г. — город; ныне — районный центр Ровенской области.

Дубно — древнейший город на Украине, известен с 1099 г. В середине XVII в. осаждался восставшими казаками Богдана Хмельницкого.

Картезианский монах — монах католического ордена картезианцев (по названию монастыря, основанного в 1084 г. близ Гренобля в местности Шартрез, по-латыни — Cartusia). к стр. 217

Гебеновые (эбеновые) *брови* — черные брови. От названия тропического дорогостоящего черного дерева. Ср. в первоначальной редакции «Повести о капитане Копейкине» в десятой главе «Мертвых душ»: «Словом, государь мой, гебены, лаки такие, что просто, в некотором роде, ума помрачение». к стр. 220

Ой вей мир (*евр.*) — О, горе мне! к стр. 221

Далибуг (от *польск.* dalibóg) — «ей-Богу (*польск.*)» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»). к стр. 222

...дорогой актамет был... разорван... — *Актамет* (искаж. *польск.* aksamit; оксамит) — верхняя одежда из бархата. «Оксамит, бархат» («Лексикон малороссийский»). к стр. 223

...сыромахи-волки расшарпали... — *Волк-сыромаха* — традиционный эпитет волка в украинском фольклоре. *Сыромаха* — питающийся сырым мясом. к стр. 224

Я тебя... присмыкну к обозу. — Выражение взято Гоголем из подлинного документа 1711 г. — послания гетмана Ивана Скоропадского к некоему Васылю Салогубу, не выполнившему поставки овец и утаившему выданные ему деньги: «...приказали: Тебе, як собаку за шияку взявши и в колоду забывши, присмыкнуты до обозу...» («Книга всякой всячины...»). *Шияка* (*укр.*) — шея. Во второй редакции Гоголь перенес это выражение в четвертую главу. к стр. 227

...французский артиллерист и инженер... — Имеется в виду французский путешественник Гийом де Боплан (ок. 1600–1673), служивший в польских войсках в чине капитана артиллерии и военного инженера. «Описанием Украйны» Боплана Гоголь пользовался при создании «Тараса Бульбы» и незавершенной «драмы за выбритый ус» (см. коммент. к «Тарасу Бульбе» в т. 1 наст. изд. и к <Материалам и наброскам драмы из эпохи Богдана Хмельницкого> в наст. томе). к стр. 228

...покотом улеглись в одной могиле. — *Покотом* (*укр.*) — вповалку. к стр. 229

....вынули баклажки... — «Баклага — род плоского бочонка» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

...потянулись гужом со всем обозом... — *Гуж* — «гужище, веревка» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). к стр. 231

...высыпал из кожаного гамана... — *Гаман* — «род бумажника, где хранится огниво, кремень, трут, табак, иногда и деньги» (словарь «Малороссийских слов...»). к стр. 235

Там все такие ласуны... — *Ласун* — лакомка, сластена. к стр. 236

Левентарь (*искаж.* региментарь) — командир войсковой части; здесь: начальник охраны, караула. к стр. 240

Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе... — *Меркантильный* — здесь: занятый торговлей.

к стр. 242 *...цурки, где только увидят военных...* — *Цурка* — «девушка, дочь (*польск.*)» (гоголевский словарь «Малороссийских слов...»).

к стр. 245 *...держит в руках секиру...* — *Секира* — здесь: топор на длинной рукояти.

На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. — *Балдахин* — здесь: нарядный шатер, навес над сиденьем.

к стр. 247 *Остраница* — см. коммент. к <Главам из романа «Гетьман»>.

Гуня Дмитро Тимошевич (годы рождения и смерти неизвестны) — гетман; один из руководителей крестьянско-казацких восстаний против польской шляхты в 30-х гг. XVII в. После поражения восстания 1638 г. с частью войска отступил в пределы России. В 1640 г. возглавил совместный поход донских и запорожских казаков против Турции.

к стр. 248 *Потоцкий Николай* (1594–1651) — граф, польский государственный и военный деятель; с 1646 г. — коронный (т. е. назначенный пожизненно польским королем) гетман. Руководил подавлением крестьянско-казацких восстаний на Украине. В 1648 г. захвачен казаками Богдана Хмельницкого в плен, выдан крымскому хану, но освобожден за большой выкуп.

Полонное — древнейший украинский город, известный с XII в.

к стр. 249 *...набьют ее гречаною половою...* — мякиной, шелухой, остающейся после молотьбы гречихи. *Полова* — мякина («Лексикон малороссийский»).

Краков — древнейший польский город; в XI–XVI вв. столица польского государства.

к стр. 251 *...поставили это бревно рубом... так что он... был виден... как победный трофей...* — *Руб* — ребро, край. *Поставить рубом* (*укр.*) — поставить на ребро; выставить напоказ. Ср. в окончательной редакции: «Притянули его... к древесному стволу... приподняв его повыше, чтобы отвсюду был виден казак...»

<Предисловие к сборнику «Арабески»>

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1 (цензурное разрешение 10 ноября 1834 г.; вышел в свет 20–22 января 1835 г.). Написано, вероятно, в ноябре или декабре 1834 г. В конце декабря 1834 г. — начале января 1835 г. Гоголь послал А. С. Пушкину текст предисловия с просьбой: «Сделайте милость, просмотрите и если что, то поправьте и перемените тут же чернилами. Я ведь, сколько вам известно, сурьезных предисловий еще не писал, и потому в этом деле совершенно неопытен». Сведений о правке Пушкина не сохранилось.

Сборник «Арабески», в который, согласно предисловию, вошли «пьесы», писанные Гоголем «в разные времена, в разные эпохи»

его жизни, вышел в свет в двух частях. Первую часть составили статьи: «Скульптура, живопись и музыка»; «О Средних веках»; «Глава из исторического романа»; «О преподавании всеобщей истории»; «Портрет»; «Взгляд на составление Малороссии»; «Несколько слов о Пушкине»; «Об архитектуре нынешнего времени»; «Ал-Мамун». Во второй части были помещены: «Жизнь»; «Шлецер, Миллер и Гердер»; «Невский проспект»; «О малороссийских песнях»; «Мысли о географии»; «Последний день Помпеи»; «Пленник»; «О движении народов в конце V века»; «Записки сумасшедшего».

Первоначальный план «Арабесок» был составлен Гоголем, вероятно, в июле 1834 г.:

О Средних в<еках>.
Дождь.
Мысли об истории.
[О Пушкине]
Глава из романа.
Мысли о географии.
О малоросс<ийских> песнях.
Об архитектуре.
[Женщина] Учитель.
Кровавый бандурист.
Женщина.
О Малороссии.
О естес<твенной?> истории.

В план включена статья «О Средних веках», заказанная Гоголю С. С. Уваровым в мае 1834 г. и законченная не позднее 8 июня этого года (см. коммент.). Под заглавием «Дождь» подразумевался, вероятно, набросок «Дождь был продолжительный...», сделанный в 1833 г. (из этого замысла позднее возникнут повести «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего»). Запрещенный цензурой 27 февраля 1834 г. «Кровавый бандурист» во втором плане «Арабесок» получит название «Отрывок из романа», а затем — в окончательном составе сборника — «Пленник (Отрывок из исторического романа)». Не исключено, что, внося в план первоначальное название отрывка и подыскивая ему новое заглавие, Гоголь намеревался в то же время воспользоваться расположением к нему председателя цензурного комитета М. А. Дондукова-Корсакова и вновь провести «Кровавого бандуриста» через цензуру (см. коммент. к статье «О Средних веках»).

Оставшаяся ненаписанной статья «О естественной истории» должна была, по предположению В. В. Гиппиуса, представлять собой отклик на книгу М. А. Максимовича «Размышления о природе», прочитанную Гоголем летом 1833 г. (см.: *Гиппиус В.* Заметки о Гоголе // Уч. зап. Ленинградского гос. ун-та. Сер. филологич. наук.

Вып. II. 1941. С. 7–9). «У него в Естественной истории, — писал Гоголь А. С. Пушкину о книге Максимовича 23 декабря 1833 г., — есть много хорошего, по крайней мере ничего похожего на галиматью Надеждина» (имеются в виду натурфилософские статьи, печатавшиеся в издаваемом Н. И. Надеждиным «Телескопе»). Можно предположить, что содержание гоголевской статьи должно было определяться центральной идеей книги М. А. Максимовича: «...природа представляет собою храм, полный неисчетными выражениями мыслей Художника Всевышнего, — книгу, где каждое слово есть изреченная мысль Творца, отголосок всемощного *да будет;* — символ, в котором пламенеет вечная Премудрость» (*Максимович М.* Размышления о природе. М., 1833. С. 3). Эта же идея лежит в основе написанной ранее Гоголем (и включенной в «Арабески») статьи «Мысли о географии». Примечательно также, что, по воспоминаниям М. Н. Лонгинова, к которому Гоголь был приглашен в начале 1831 г. в качестве домашнего учителя русского языка, «в первый же урок Гоголь начал толковать» своим ученикам «о трех царствах природы и разных предметах, касающихся естественной истории» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 71).

Таким образом, из статей, написанных собственно для сб. «Арабески», в первоначальный план помещены две: «Об архитектуре» и «О Пушкине», причем последняя, зачеркнутая в списке, вероятно, к тому времени еще не была закончена.

Второй план «Арабесок» датируется концом августа — сентябрем 1834 г.:

Скульптура, живоп<ись> и музыка 1
О Средних веках 2
Глава из историч<еского> ром<ана>
О [плане] преподаван<ии> всеобщей истории 5
О Пушкине.......... 6
[Об архитект<уре>]
Взгляд на Малороссию 7
Об архитектуре 9
Женщина 10
Миллер, Шлецер и Гердер
О малорос<сийских> песнях
Невский проспект
О преподаван<ии> географии
[Учитель] Тракт <ат?> о правлении
Картина Брюллова
[Учитель] О переселении народов
Отрывок из романа
Учитель
Записки сумасшедш<его> мучен<ика>.

Из этих статей ненаписанными, очевидно, были «Миллер, Шлецер и Гердер» (в окончательной редакции последовательность имен, а значит, и композиция статьи иная — «Шлецер, Миллер и Гердер»), «Трактат о правлении» (судя по всему, «Трактат...» имеет прямое отношение к созданному позднее «Ал-Мамуну»), «О переселении народов» (см. коммент. к статье «О движении народов в конце V века»). Из сравнения с первоначальным планом «Арабесок», таким образом, явствует, что за период с июля по конец августа — сентябрь 1834 г. Гоголем было закончено пять новых статей: «Скульптура, живопись и музыка», «Невский проспект» (вместе с завершенным тогда же, но не вошедшим в план «Портретом»), «Картина Брюллова», «Записки сумасшедшего мученика» (о заглавии последней повести см. в сопроводит. статье к т. 3 наст. изд. и коммент. к «Запискам сумасшедшего» в т. 3 наст. изд.; см. также: *Виноградов И.* Крест миролюбцев. К первоначальному названию повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» // Лит. Россия. М., 1994. 18 марта. № 14). В окончательной композиции «Арабесок» появились еще две статьи: «Ал-Мамун» и «Жизнь».

По предположению С. А. Фомичева, отсутствие «Портрета» в гоголевском перечне статей для «Арабесок» объясняется тем, что повесть предполагалась для совместного (с князем В. Ф. Одоевским) альманаха «Двойчатка», о котором Одоевский упоминал в конце 1833 г. в письме к М. А. Максимовичу (*Пономарев С.* Из писем к М. А. Максимовичу // Киевская Старина. 1883. № 4. С. 846; *Фомичев С.* Неосуществленный замысел альманаха «Тройчатка» и повесть «Пиковая дама» // Альманах библиофила. М., 1987. Вып. 23. С. 133).

Об интенсивности работы Гоголя в этот период можно судить по его признанию в письме к М. А. Максимовичу от 23 августа 1834 г.: «Я тружусь, как лошадь, чувствуя, что это последний год, но только не над казенною работою, т. е. не над лекциями, которые у нас до сих пор еще не начинались, но над собственно своими вещами».

Подготавливая сборник к печати, Гоголь выставил под двенадцатью произведениями даты (с 1829 по 1834 г.). При этом для семи из них эти даты обозначают, вероятно, время возникновения самой идеи будущей статьи. Еще шесть статей, написанных в 1834 г., датированы не были. Позднее, при подготовке собрания сочинений в 1842 г., Гоголь изъял из состава «Арабесок» повести «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего» («Портрет» при этом был существенно переделан). Все они вошли в третий том вышедшего четырехтомника.

Переиздавая в конце жизни свое собрание, Гоголь наметил к новому изданию еще пять статей из «Арабесок»: «Жизнь», «Мысли о географии», «О преподавании всеобщей истории», «Скульптура, живопись и музыка», «Последний день Помпеи». Предполагалось объединить их с отдельными статьями «Выбранных мест

из переписки с друзьями» в составе дополнительного, пятого тома Сочинений (помещены в т. 6 наст. изд.). Оставшиеся десять произведений сборника («все прочее») Гоголь намеревался поместить в том «Юношеские опыты».

Разнохарактерный и разновременной состав сборника, его последующая судьба и само название («арабески» — арабская роспись, причудливое смешение разнородных элементов) говорят о том, что «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» задумывались прежде всего как некая поэтическая энциклопедия, своим разнообразием призванная показать универсальность миросозерцания автора. Явно по аналогии со своим рукописным сборником «Книга всякой всячины, или подручная Энциклопедия» Гоголь дважды в своих письмах называет «всякой всячиной» «Арабески»: «Печатаю я всякую всячину. Все сочинения и отрывки, и мысли, которые меня иногда занимали» (письмо к М. П. Погодину от 14 декабря 1834 г.); «посылаю тебе всякую всячину мою» (ему же, 22 января 1835 г.); «посылаю тебе сумбур, смесь всего, кашу...» (М. А. Максимовичу, того же числа). Примечательно, что темы статей «Взгляд на составление Малороссии», «О малороссийских песнях», «О Средних веках», опубликованных в 1834 г. в «Журнале Министерства Народного Просвещения», вплоть до конца 1835 г. мыслятся Гоголем в неразрывном единстве (см. коммент. к статье «Взгляд на составление Малороссии»), тогда как уже в первом плане «Арабесок» названия их помещены раздельно.

В критике «Арабески» были встречены непониманием. Сразу по выходе сборника в печати появились язвительные отзывы О. И. Сенковского (Библиотека для Чтения. 1835. Т. 9) и Ф. В. Булгарина (Северная Пчела. 1835. 1 апреля). В. Г. Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» («Арабески» и «Миргород»), опубликованной в «Телескопе» (1835. № 7 и 8), представив Гоголя как гениального бессознательного художника («только поэт, а не другое что-нибудь»), крайне неприязненно отозвался в то же время о Гоголе-мыслителе: «Я очень рад, что заглавие и содержание моей статьи избавляет меня от неприятной обязанности разбирать ученые статьи г. Гоголя, помещенные в "Арабесках". Я не понимаю, как можно так необдуманно компрометировать свое литературное имя... Если подобные этюды ученость, то избавь нас Бог от такой учености!» Впоследствии В. Г. Белинский признал несправедливость своих высказываний (см. коммент. к статьям «Несколько слов о Пушкине» и «Шлецер, Миллер и Гердер»). Однако с выходом в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» критик не замедлил вернуться к прежнему определению Гоголя как «только поэта». В своем известном зальцбруннском письме к Гоголю 1847 г. Белинский утверждал: «...вы глубоко знаете Россию только как художник...» (см. также сопроводит. статью к т. 6 наст. изд.).

В 1847 г. К. Н. Бестужев-Рюмин (впоследствии известный историк) писал о статьях «Арабесок»: «Между статьями учеными

особенно замечательны статьи об истории, из которых лучшие о Средних веках, где автор так верно определил характер этого периода. Статьи о Брюллове и Пушкине показывают, каким верным эстетическим тактом обладает Гоголь» (<*Бестужев-Рюмин К. Н.*> *К. Б. Р.* Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя. СПб., 1847 // Нижегородские Губернские Ведомости. Редактор П. Мельников. 1847. 14 мая. № 30. Часть неофициальная. С. 418).

Преподаватель русской словесности в петербургских учебных заведениях В. Т. Плаксин писал также о гоголевской книге: «...как ни смешны были притязания начинающего писателя, а между “Арабесками” были статьи, в которых проявилась новая сторона великого, несомненного таланта. Посмотрите, например, на его ученые взгляды: здесь найдете, конечно, в отношении положительного значения, ученические промахи, но вместе с тем встретите истинно гениальные мысли, догадки и созерцания» (*Плаксин В. Т.* Голос за прошедшее // Сборник литературных статей, посвященный русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя А. Ф. Смирдина. СПб., 1858. Т. 1. С. 298–299).

Архимандрит Феодор (Бухарев) также замечал, обращаясь к Гоголю: «“Арабески” ваши, которые так умно вы не включили в последнее издание своих творений, стоят, кажется мне, на том переходном вашем времени, когда вы стремились дать отчет себе в том, что поэтически чуяли: мно́го здесь прекрасного, сильного, но еще более неопределенного и сбивчивого. Видна в вас как нельзя яснее художественно-творческая сила православного русского духа, чему доказательство и ваше введение в историю и повесть “Портрет”, но еще не понимающая себя хорошо, много мечтающая о деле, чему доказательство опять тот же “Портрет” — столько перебитый, темный, запутанный со всеми могучими вашими порывами. Немало, кажется, совершилось в вашей душе от этого первого наброска “Портрета” до полного окончания этого прекраснейшего создания» (<*Феодор (Бухарев)*, архимандрит> Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1861. С. 147).

Помещаемые вслед за предисловием шесть статей: «Об архитектуре нынешнего времени», «Несколько слов о Пушкине», «Портрет» (1-я редакция), «Шлецер, Миллер и Гердер», «О движении народов в конце V века», «Ал-Мамун», написанные специально для «Арабесок» и не включенные Гоголем в другие тома собрания, располагаются в хронологическом порядке.

Об архитектуре нынешнего времени

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1. Написано, вероятно, в июле 1834 г. вслед за статьей «О Средних веках», заканчивающейся образом готического храма. Название статьи встречается в первом плане «Арабесок».

Статья примечательна, в частности, тем, что Гоголь предсказал в ней возникновение и развитие архитектуры железных и железобетонных конструкций XX века из храмовых сооружений средневековой готики. (О том, что «железо как новый материал достигло возможности игривых, живых форм, парящих ввысь», Гоголь говорил и позднее, в 1850 г., в беседе с младшим современником, художником и архитектором В. О. Шервудом; см.: *Воропаев В. А.* «Меня очень занимал Гоголь...»: Из записок В. О. Шервуда // Собеседник. Вып. 8. М., 1987. С. 278.) По словам исследователя, Гоголь на полвека опередил «французского архитектора Виоле ле Дюка, который в своих теоретических трудах пропагандировал внедрение металлических конструкций в архитектурную практику» (*Ключарев Ю.* Статья Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени» // Архитектура СССР. 1952. № 2. С. 21).

Со временем Гоголь переосмыслил свое увлечение готикой, воплотив новое отношение к ней во второй редакции «Тараса Бульбы», где обольщение Андрия красотой и великолепием католического костела изобразил как одну из причин его предательства и гибели (см. коммент. к «Тарасу Бульбе» в т. 2 наст. изд.). Позднее, в 1844 г., Гоголь писал: «Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях» (статья «Нужно проездиться по России»).

Интерес к архитектуре зародился, вероятно, у Гоголя еще в Нежине (см. коммент. к с. 19 — *Колонн дорических он рядом обнесен...*). Позднее, в Петербурге, Гоголь, по воспоминаниям П. В. Анненкова, «собирал... английское кипсеки с видами Греции, Индии, Персии и проч., той известной тонкой работы на стали, где главный эффект составляют необычайная обделка гравюры и резкие противоположности света с тенью. Он любил показывать дорогие альманахи, из которых, между прочим, почерпал свои поэтические воззрения на архитектуру различных народов и на их художественные требования» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 256). В основу статьи легли также впечатления Гоголя от поездки в Германию в 1829 г.

к стр. 255 *...удивлялась чудесам... римским и византийским...* — Далее в черновой редакции было: «алчно отрывал<а> Помпею».

к стр. 256 *Миланский и Кельнский соборы... кирпичи недоконченной башни Страсбургского мюнстера.* — *Миланский* собор строился в 1386–1805 гг.; *Кельнский* — в 1248–1880 гг.; *Страсбургский* — в 1176–1876 гг. *Мюнстер (нем.)* — собор.

Ее напрасно производят от арабской... этот стройно и высоко возносящийся над головою лес сводов... — Далее в статье Гоголь замечает, что «в готической архитектуре более всего заметен отпе-

чаток... тесно сплетенного леса...». С XVII–XVIII вв. в литературе получили широкое распространение «арабская» и «лесная» теории происхождения готического стиля. Гоголь, склонявшийся более к последней теории, выделял в соответствии с этими двумя подходами «готико-арабскую» и «чисто готическую» архитектуру.

Византийцы... неудачно привили христианство к своей языческой жизни... — По воспоминаниям неизвестного, записанным П. А. Кулишом, в конце жизни Гоголь во многом пересмотрел свой взгляд на Византию: «Я встретил его в кабинете одного ученого; он сидел, держа в руках том «Истории Восточной Империи» Лебо, в издании Сен-Мартена. С ним был еще г<раф А. П.> Т<олстой>. Речь шла о способе изложения византийской истории. Спутник Гоголя обвинял западных писателей в том, что они умышленно выставляют только черные стороны этой империи, которая своею долговечностью показывала уже в себе избыток жизненных сил; с хозяином дома мы стали указывать на самых историков византийских, которые ничего не рассказывают, кроме придворных интриг, борьбы аристократических фамилий, имевших в виду только личные интересы и не думавших нисколько о благе государства. Бунты против императоров и измены сделались так обыкновенны, что партия, приобретавшая перевес, редко даже наказывала за них. «Но надобно искать других источников», — сказал г. Т<олстой>. Мы указали на произведения духовной литературы, на жития святых, в которых действительно можно находить добрые черты греческого народа, его живую веру и часто искреннее благочестие; но тут мало исторических данных, построить по ним целую историю с новым взглядом невозможно. В это время вмешался в разговор Гоголь... Он говорил... что из этих немногих черт можно создать характер народа, нужно только усвоить себе это убеждение в добрых качествах народа, и с этим убеждением вновь пересмотреть все исторические сказания Византийской империи, и тогда они явятся в другом свете» (*П. К.* Встреча с Гоголем. С. 3–4).

...сделать человека равнодушным ко всему. — Далее в черновой редакции было: «Как бы ни казалось это далеким от произведения влияния на жизнь и характер людей, но оно [им<еет>] точно влияние, отсюда невольное уменьшение религиозности, охлаждение энтузиазма, на который, хотя неза<метно>, но действуют [каждый день] видимые предметы». к стр. 260

Ипербола — гипербола, преувеличение. к стр. 265

Триченгурский храм — вероятно, храм Шрирангам в индийском городе Триченгоде. к стр. 266

Кутуб-Минар — минарет Кутуб-Минар в г. Дели; построен в начале XIII в.

...своею легкою, веселою торнюрою... — *Торнюра* (*фр.* tournure) — фигура, осанка. к стр. 267

Неужели найдется... один из-за другого? — В черновой редакции вместо этих слов было: «Но и в гладкой, простой архитектуре к стр. 270

сколько можно найти нового. Этому доказательством может служить прекрасная лютеранская кирка, строящаяся Брюлловым, архитектором, который доселе у нас один только показал решительный истинный талант. Жаль, что ему до сих пор не поручено еще ни одно колоссальное дело». В окончательной редакции упоминание о А. П. Брюллове (1798–1877), брате известного художника К. П. Брюллова, перенесено в конец статьи.

к стр. 271 *Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания...* — Ср. в гоголевской «Библиографии Средних веков» (1834): «Сверх всех указанных источников важны... также... памятники и развалины времен феодальных, которых множество находится по Рейну, Дунаю, в Испании, Италии, Франции и вообще в государствах, где жизнь и начала образованности гражданской долго боролись с неукротимым невежеством».

к стр. 272 *...и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней...* — Ср. в статье «О преподавании всеобщей истории»: «...что уже один узнал, то другим передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роясь в архивах».

к стр. 273 ...в *ложах, балконах...* — Имеются в виду, в частности, металлические перекрытия и конструкции ярусов в Александринском театре.

Несколько слов о Пушкине

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1.

Статья «О Пушкине» встречается в первоначальном плане «Арабесок» июля 1834 г., однако Гоголь зачеркнул здесь это название. Очевидно, статья тогда не была закончена. В августе — сентябре она была дополнена новым фрагментом. Вероятно, к этому времени и относится завершение ее черновой редакции.

В январе 1835 г. Гоголь писал А. С. Пушкину: «Посылаю вам два экземпляра Арабесков... Один экземпляр для вас, а другой разрезанный для меня. Вычитайте мой и сделайте милость, возьмите карандаш в ваши ручки и никак не останавливайте негодование при виде ошибок, но тот же час их всех налицо. — Мне это очень нужно. Пошли вам Бог достаточного терпения при чтении!» Неизвестно, выполнил ли Пушкин просьбу Гоголя. Среди принадлежавших поэту книг доныне находится разрезанный том «Арабесок» без пометок владельца. Не сохранилось и других сведений об отношении Пушкина к статье Гоголя.

«Несколько слов о Пушкине» создавались почти одновременно со статьей «Об архитектуре нынешнего времени». В этой связи примечательно письмо Гоголя к В. А. Жуковскому от 10 сентября 1831 г., где он, давая высокую оценку сказкам В. А. Жуковского и А. С. Пушкина, использует архитектурные образы: «Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии,

страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам, да поклоняются потомки и да имут место, где возносить умиленные молитвы свои. Как прекрасен удел ваш, великие зодчие!» «Как широко раскинут фундамент колоссального здания будущей русской литературы», — повторяет позднее Гоголь в черновой редакции статьи «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году». «Строителями нашими» называет Гоголь русских поэтов и в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (творчество Г. Р. Державина он сравнивает здесь с «невозделанной громадной скалой». Ср. характеристику А. С. Пушкина в статье: «...это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет»). С фразы о том, что «Шлецер, Миллер и Гердер были великие зодчие всеобщей истории», начинается еще одна статья, написанная во второй половине 1834 г. специально для «Арабесок» («Шлецер, Миллер и Гердер»).

Одной из важных тем сборника «Арабески» (1835), куда были включены Гоголем статьи, напечатанные ранее в журнале министра народного просвещения С. С. Уварова (см. коммент. к статье «Взгляд на составление Малороссии»), является понимание народности. Давно классической стала фраза Гоголя в статье «Несколько слов о Пушкине» о том, что «истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа» — что «поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии». Определение это появилась именно в связи с принципом народности, провозглашенным в те годы Уваровым.

Рассуждение Гоголя о народности пушкинской поэзии прямо отвечало задачам, поставленным перед литераторами новым министром. Важно подчеркнуть это уже потому, что само по себе определение Гоголем «истинной национальности» Пушкина ничего нового и оригинального, по сути, не представляло. Такое же понимание народности применительно к пушкинской поэзии высказывали ранее, во второй половине 1820-х гг., Д. В. Веневитинов, Н. И. Надеждин, Кс. А. Полевой, М. А. Максимович (см.: *Трубицын Н. Н.* О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. (Очерки). СПб., 1912. С. 413–416). Достаточно привести высказывание Веневитинова 1825 г.: «Я полагаю народность не в черевиках, не в бородах и проч. … но в самих чувствах поэта…» (*Веневитинов Д. В.* Ответ г. Полевому // Полн. собр. соч. <М.; Л.,> 1934. С. 237). Принципиальная новизна Гоголя заключалась именно в «актуальности» такой постановки вопроса, в приложении мысли о народности поэзии Пушкина к «текущему моменту».

Первой задачей, которую решает Гоголь в статье, является защита Пушкина от обвинений в вольнодумстве. Имея в виду первоначальный период пушкинской деятельности (закончившийся южной ссылкой поэта), Гоголь указывает, что не вольнодумство, но лишь юношеские «разгул и раздолье, к которому иногда, позабывшись,

стремится русский и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в свет». В исключенном фрагменте статьи Гоголь добавлял: «...если сказать истину, то его стихи воспитывали и образовали истинно-благородные чувства несмотря на то, что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассеивают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражения и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них, и для государства».

Для понимания гоголевской мысли следует иметь в виду, что под «стариками и богомольными тетушками» Гоголь подразумевал вполне определенный — «александровский» тип «набожности». «Школу» такой набожности, кстати сказать, прошел и Уваров — в прошлом один из директоров Библейского общества, масон, сотрудник князя Голицына. В 1836 г. Гоголь в рецензии на книгу Е. И. Ольдекопа «Картины мира» (предназначавшейся для помещения в пушкинском «Современнике») писал: «Все старики тогда читали душеспасительные книги... и... едва ли старики не обгоняли молодежь в своих домашних делах. Такой раздор теории с практикою был повсеместен в конце 18 столетия. В 19 столетии масонские и другие секты... поддержали существование подобных философских сочинений...»

Прямое отражение этих гоголевских размышлений находим в «Выбранных местах из переписки с друзьями» в характеристике одного из героев европейского «полупросвещенья», лицемерного Фамусова из «Горе от ума» Грибоедова: «Он и благопристойный степенный человек и волокита, и читает мораль... Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц... которые... вредны обществу...» Эта же мысль воплощена Гоголем и в драматическом «Отрывке» (1842) в образе «пожилых лет» светской дамы Марьи Александровны.

Очевидно, что в статье «Несколько слов о Пушкине» Гоголь определенно отстаивает соответствие поэзии Пушкина началам Православия, Самодержавия и Народности. Это же стремление к «реабилитации» поэта вполне определенно слышится и в ряде статей «Выбранных мест из переписки с друзьями». «Безделица — выставить наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства!.. — замечает здесь Гоголь. — Есть много среди света такого, которое для всех, отдалившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству...». Развивая апологию пушкинской поэзии в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», Гоголь писал: «Шекспир, Шеридан, Мольер, Гете, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Реньяр... ничего не произвели такого, что бы отвлекало от уважения к высоким

предметам… У них, если и попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым толкованием правого…»

В последних словах, помимо прочего, заключается представление о возможности весьма различного «понимания» провозглашенных Уваровым начал. «…Ведь нравственность вещь относительная… — иронически замечает на этот счет «невзрачный, но ядовитого свойства господин» в гоголевском «Театральном разъезде…», — нравственность всякий меряет относительно к себе. Один называет нравственностью сниманье ему шляпы на улице; другой называет нравственностью смотренье сквозь пальцы на то, как он ворует… Говорит: “Милостивый государь, старайтесь исполнить свой долг относительно Бога, Государя, Отечества”, — а ты, мол, уж там себе разумей, относительно чего».

Размышляя о героях первого тома «Мертвых душ», Гоголь писал о Чичикове: «Он позабыл... что наступил ему тот роковой возраст жизни, когда все становится ленивей в человеке, когда нужно его будить.... Он не чувствовал того, что еще не так страшно для молодого, ретивый пыл юности, гибкость... бурлят и не дают мельчать чувствам, — как начинающему стареть, которого нечувствительно охватывают... пошлые привычки света, условия, приличия без дела движущегося общества, которые до того, наконец, все опутают и облекут человека, что... попробуешь добраться до души, ее уж и нет. Окременевший кусок и весь превратившийся человек в страшного Плюшкина...» Ср. в «Портрете»: «Уже жизнь его коснулась тех лет, когда все дышащее порывом сжимается в человеке... и... отгоревшие чувства становятся доступнее звуку золота, вслушиваются... в его заманчивую музыку и... нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя».

Очевидно, что в исключенном фрагменте статьи о Пушкине Гоголь выступил вовсе не в защиту вольнодумства. Главным же в нем было, собственно, даже и не это, а мысль об омертвении души современного человека, развитая Гоголем в последующем творчестве. Как бы подытоживая эти размышления, он писал позднее в статье «Христианин идет вперед» (1846): «...пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти... у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности...»

Однако хорошо известно, что Пушкин — который, вероятно, и познакомил Гоголя с Уваровым, и ходатайствовал за него перед министром — уже в 1835 г., вследствие возникших цензурных осложнений, вступил с Уваровым в резкий конфликт. Летом 1835 г. и у Гоголя возникает намерение отправиться в «путешествие по Европе» (согласно строкам его письма к матери от 10 ноября этого года).

Характеристика Гоголем Пушкина как русского национального гения была подхвачена в 1841 г. В. Г. Белинским, первоначально резко отрицательно отозвавшимся об «ученых статьях» «Арабесок»

(см. коммент. к <Предисловию к сборнику «Арабески»>). «Я не знаю, — писал критик в статье «Русская литература в 1841 году», — лучшей и определеннейшей характеристики национальности в поэзии, как ту, которую сделал Гоголь в этих коротких словах, врезавшихся в моей памяти: «Истинная национальность состоит не в описании сарафана, а в самом духе народа...» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. С. 310). Самому Гоголю Белинский писал 20 апреля 1842 г. «...во время оно с юношескою запальчивостию изрыгнул я хулу на ваши в “Арабесках” статьи ученого содержания, не понимая, что тем самым изрыгаю *хулу на духа»*. Пять лет спустя отзыв В. Г. Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями» показал, однако, что под «духом» критик разумел нечто прямо противоположное взглядам Гоголя. «Что мне сказать вам на резкое замечание, — отвечал Гоголь В. Г. Белинскому, — будто русский мужик не склонен к религии... Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю».

к стр. 274 *Рисует... боевую схватку чеченца с козаком...* — Вероятно, имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «Делибаш» (1829), включенное позднее Гоголем в список примеров «Учебной книги словесности для русского юношества». 1 января 1832 г. Гоголь сообщал А. С. Данилевскому об альманахе «Северные Цветы на 1832 год»: «Тут ты найдешь... Пушкина чудную пиесу “Моцарт и Салиери”, в которой, кроме яркого поэтического создания, такое высокое драматическое искусство, картинного “Делибаша”, и все, что ни есть его, — чудесно» (здесь же были помещены стихотворения Пушкина «Эхо», «Анчар», «Бесы», «Дорожные жалобы», «Царскосельская статуя», «Отрок», «Рифма», «Труд»).

Портрет

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1. Черновая редакция повести написана в период с июля по конец августа — сентябрь 1834 г. (как показывает автограф, «Портрет» создавался одновременно с «Невским проспектом», включенным во второй план «Арабесок»). Во второй половине 1830-х гг. Гоголь значительно переработал повесть. Новая редакция была впервые напечатана в третьей книжке «Современника» за 1842 г. (см. коммент. к повести в т. 3 наст. изд.).

Сюжет «Портрета», как уже отмечалось исследователями, намечен отчасти в статье «Несколько слов о Пушкине». Так, в судьбе художника Черткова, начавшего льстить самолюбию своих заказчиков от самого первого визита к нему «почтенной дамы» с дочерью, угадываются следующие строки статьи о Пушкине: «Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: “Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной

истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были". Но попробуй поэт... изобразить все в совершенной истине... она тотчас заговорит: "...это нехорошо...". Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий; но горе ему, если он не умел скрыть всех ее недостатков! Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость; до того характер народа большею частию был бесцветен.... Поэту оставалось два средства: или натянуть сколько можно выше свой слог... или быть верну одной истине... Но в этом случае прощай толпа!»

Впоследствии эти размышления легли также в основу противопоставления в заключении шестой — начале седьмой главы первого тома «Мертвых душ» «возвышенного» Шиллера и «писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи», и размышлений в одиннадцатой главе о «так называемых патриотах»: «...они выбегут со всех углов... и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом?» Примечательно также, что «пепельные» обитатели петербургской Коломны, перечисленные Гоголем во второй части «Портрета», поразительно напоминают героев-помещиков первого тома «Мертвых душ» (см. об этом в сопроводит. статье к т. 5 наст. изд.).

Щукин двор — один из петербургских рынков. к стр. 280

...портрет Хозрева-Мирзы... — Очевидно, материалом к созданию образа художника Черткова послужили Гоголю судьбы двух его знакомых, неких Беранжера и Близнецова, о которых он сообщал А. С. Данилевскому в письме от 2 мая 1831 г.: «С друзьями твоими, Беранжером и Близнецовым, случились несчастия. Первый долго скитался без приюта и уголка, изгнанный из ученого сообщества Смирдина неумолимым хозяином дома, вздумавшим переделывать его квартиру. Три дня и три ночи не было вести о Беранжере; наконец, на четвертый день увидели на окошках дому графини Ланской (где были звери) Хозревов на белых лошадях, а бедный Близнецов сошел с ума. Вот что наши знания!» *Хозрев-Мирза* — персидский принц, возглавлял посольство в Россию в августе 1829 г. после убийства в Тегеране А. С. Грибоедова, бывшего русским послом в Персии.

Миликтриса Кирбитьевна — персонаж популярной сказки о Бове Королевиче, иллюстрированной в лубочной картинке.

Еруслан Лазаревич — герой народной сказки. к стр. 281

Объедала и обпивала — популярная лубочная картинка «Славный объедала и веселый обпивала».

Фома и Ерема — шутливые персонажи русского фольклора и лубочных картинок.

Вандик (Ван Дейк) Антонис (1599–1641) — голландский живописец, особенно прославившийся портретами. к стр. 282

к стр. 284 *...старание постигнуть фундаментальные законы и внутренний размер природы.* — Ср. в письме Гоголя к В. А. Жуковскому от 2 декабря (н. ст.) 1843 г.: «Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступнее к прозренью великих тайн Божьего создания. И видишь, что, чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек, кончит все тем же: одною полною и благодарною молитвою».

к стр. 285 *P.S.* (*лат.* post scriptum — после написанного) — приписка к оконченному и подписанному письму.

к стр. 287 *...но не влюбляйся в свою работу...* — Ср. в письме Гоголя к М. П. Погодину от 28 ноября (н. ст.) 1836 г., которого он отговаривал от намерения издавать журнал: «...берегись слишком увлечься и рассеяться многосторонностью занятий. Избери один труд, влюбись в него душою и телом, и жизнь твоя потечет полнее и прекраснее, а самый труд будет проникнут тем одушевлением, которое недоступно для истрачивающего талант свой на повседневное».

к стр. 291 *...мадам Сихлер.* — Сестры Циклер, портнихи, владелицы модных магазинов в Петербурге. В статье «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России» (1846) Гоголь упоминает о «мадам Сихлер» как об одной из главных законодательниц разорительных, беспрестанно сменяемых мод.

к стр. 294 *Психея* (Психея) — в греческой мифологии олицетворение человеческой души, изображалась обычно в виде бабочки или прекрасной девушки.

к стр. 295 *Его грызла совесть; им овладела... боязнь за свое непорочное имя...* — Ср. в письме Гоголя к С. П. Шевыреву от 8 сентября (н. ст.) 1847 г.: «Еще прошу особенно тебя наблюдать за теми из юношей, которые уже выступили на литературное поприще. В их положение хозяйственное стоит, право, взойти. Они принуждены бывают весьма часто из-за дневного пропитанья брать работы не по силам... Сколько ночей он должен просидеть, чтобы выработать себе нужные деньги, особенно если он при этом сколько-нибудь совестлив и думает о своем добром имени!»

к стр. 300 *...пожирал его взором василиска.* — *Василиск* — мифическое существо, убивавшее своим взглядом.

к стр. 302 *...погруженные в зефиры и амуры...* — Измененная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Сам погружен умом в зефирах и амурах...» (о помещике, любителе крепостного театра, промотавшем свое состояние).

к стр. 303 *...люстры, кенкеты...* — *Кенкет (фр.)* — масляная лампа.

к стр. 307 *...бриллиантовым перстнем бедного чиновника, получившего его в награду неутомимых своих трудов.* — Согласно «Послужному списку Н. В. Гоголя», будучи «старшим учителем истории» в Патриотическом институте благородных девиц, 9 марта 1834 г. «в награду отличных трудов» он был «пожалован от Ея Императорского Величества бриллиантовым перстнем» (<*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Опыт

биографии Н. В. Гоголя. С. 50; *Линниченко М. А.* Новые материалы для биографии Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 173). Вероятно, именно этот перстень и пришлось заложить тогда Гоголю — и тогда же соответствующий образ появился в «Портрете». Заклад Гоголем наградного перстня должен был состояться между 9 марта и второй половиной июля 1834 г., когда Гоголю, не получавшему жалованья в Патриотическом институте с конца 1832 г., наконец стали его выплачивать. По просьбе Гоголя его сестры Анна и Елисавета обучались в том же институте с ноября 1832 г. в счет тех денег, которые были положены ему за преподавательскую работу, и потому еще одним, помимо перстня, награждением Гоголя стало распоряжение Императрицы, объявленное ему в январе 1834 г., принять Анну и Елисавету в число сверхкомплектных воспитанниц и с 1 января 1834 г. начать выплачивать ему жалованье. Однако повеление это получило ход только спустя более полугода — после обращения самого Гоголя по поводу обещанной награды к начальнице института Л. Ф. Вистенгаузен в июле 1834 г.; распоряжение об этом статс-секретаря Императрицы Александры Феодоровны Н. М. Лонгинова относится к 26 июля (см.: *Белозерская Н. А.* Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте. 1831–1835 // Русская Старина. 1887. № 12. С. 753). Судя по гоголевским письмам той поры — к М. П. Погодину от 4 апреля 1834 г., к матери от 10 июля — Гоголь испытывал тогда серьезные материальные затруднения.

Квартальный надзиратель — полицейский чиновник, в ведении которого находился определенный квартал города.

Я был поражен глубоким выражением божественности в Ее лице. — Ср. в письме Гоголя к графине А. М. Виельгорской от 16 апреля 1849 г.: «В древней иконописи, украшающей старинные наши церкви, есть удивительные лики и на ликах удивительные выражения». О том, что православная икона отличается от католической живописи присущим ей особым «выражением», говорил также Гоголь А. О. Смирновой летом 1837 г. (см. коммент. к «Портрету» в т. 3 наст. изд.). См. также коммент. к с. 348 — *...ереси Нестория и Евтихия....* к стр. 315

Антихрист (*греч.* противохристос) — противник Христа, лже-Христос. Означает всех вообще противников христианства — христианских мучителей и гонителей, основателей ересей и расколов, явных безбожников. В особенном смысле «антихрист» — «человек греха, сын погибели», который явится пред кончиною мира и по попущению Божию прельстит неутвержденных в вере ложными чудесами и знамениями (2 Фес. 2, 3, 11). Будучи прямым орудием диавола, он будет выдавать себя за Бога и на короткое время воцарится над миром. Во второй редакции повести (1842) Гоголь заменил все предсказания о кончине мира единственным напоминанием о необходимости хранить чистоту души: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который к стр. 316

вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем...» Ср. в Откровении св. Иоанна Богослова: «...у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны» (гл. 3, ст. 4).

Шлецер, Миллер и Гердер

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 2. Написано в сентябре — октябре 1834 г.

Шлецер (Шлёцер) Август Людвиг (1735–1809) — немецкий историк и публицист, ученик Вольтера. На протяжении шести лет работал в Российской Академии наук в Петербурге, занимался изучением русских летописей, которые издал впоследствии в Гёттингене. Полагал, что все исторические эпохи и народы заслуживают научного изучения, без чего невозможно создание подлинно всемирной истории. Выступал с критикой сословных привилегий, феодальных порядков и крепостничества. В апреле 1791 г. первым в Германии опубликовал в своем журнале французскую «Декларацию прав человека и гражданина», однако с развитием революции во Франции занял по отношению к ней отрицательную позицию. В конце жизни написал исторический труд «Нестор», посвятив его Императору Александру I. Одна из выписок Гоголя из этого сочинения (переведенного на русский язык в 1809–1819 гг.) характеризует Шлецера именно как «оппозиционного гения». По мнению Шлецера, «когда мирская власть начинала ослабевать, тогда духовная стала домогаться, чтобы возвыситься над нею. Некоторые митрополиты походили на Гильдебран<д>та, а монахи, рабы их, хотели помогать им в достижении их намерения, для чего и заставили даже древних великих князей не приказывать, а только просить их. Ежели повествовалось, что государь предпринимал что-нибудь важное, то переписчик вставлял: «с благословением отца своего святейшего такого-то» (Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. С. 440; эта выписка была отнесена Гоголем в раздел «Особых заметок», чтобы отличить их от записанных тут же «Мыслей и заметок собственных»). К Гильдебран<д>ту как яркому представителю духовной власти Церкви (см. коммент. к с. 179 — *Гильдебрандт*), Гоголь относился иначе, чем Шлецер. Как бы прямо полемизируя с немецким историком, он писал позднее в статье «Просвещение» (1846): «По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведенье в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословенья».

С гораздо большей симпатией относится Гоголь к другому «зодчему всеобщей истории» — швейцарскому ученому Иоганну Миллеру (Мюллеру; 1752–1809). Примечательно, что в плане «Арабесок» конца августа — сентября 1834 г. последовательность имен в заглавии задуманной Гоголем статьи (а следовательно, и ее композиция)

была иная — «Миллер, Шлецер и Гердер». Первое место, отданное здесь Миллеру, сохраняет свое значение и в окончательной редакции. Наряду со «всесокрушающим» гением Шлецера и слабым, с точки зрения Гоголя, в познании реальной жизни отвлеченным гуманистом Гердером, он с восхищением называет Миллера «размышляющим мудрецом» и «философом-законодателем». Мысли его «так высоки, — замечает Гоголь, — что открывшему их открывается... на земле небо». Воспользовавшись черновыми фрагментами статьи, можно прямо указать, какие мысли Миллера наиболее восхищают Гоголя, во взглядах которого на мировую историю существенное место занимала критика европейской цивилизации: «Заметно... что он охотнее занимается временами первобытными [европейских народов] и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен [цивилизации] образованности и порокам, сохранял [свою простую цивилизацию] свои простые нравы и независимость.... Главный результат, царствующий в его истории, есть тот, что народ тогда только достигает своего счастия, когда сохраняет свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость».

Упоминание в статье о Вальтере Скотте позволяет соотнести гоголевское противопоставление «тихого, размышляющего» Миллера «всесокрушающему» Шлецеру с характеристикой шотландского романиста в написанной Гоголем полтора года спустя статье «Петербургская сцена в 1835–36 г.». Мы находим здесь подобное противопоставлению Миллера и Шлецера сравнение «великого творца» и «спокойного, размышляющего ума» Вальтера Скотта с писателями «отчаянно дерзкими, какими производятся мятежи в обществах», которые «желая исправить несправедливость... в обратном количестве наносят столько же зла». «Их имя не остается в числе чистых воспоминаний», — замечает Гоголь. Отметим, что имя Миллера Гоголь дважды называет в составленном им много позднее, в 1848–1851 гг., рекомендательном списке авторов и книг, причем единственного из всех — с перечнем его исторических работ: «История Швейцарии Мюллера» и «Мюллер, Всеобщая история». Шлецера здесь Гоголь вообще не упоминает.

В то же время следует сказать, что труды Миллера, изображавшего в руссоистском духе патриархальный быт прошлого, служат Гоголю во многом лишь материалом для его собственных размышлений. В первоначальной редакции «Библиографии Средних веков» (1834), написанной для слушателей его лекций в Петербургском университете, он, в частности, ставя Миллера впереди всех других историков и подчеркивая глубокое «внутреннее достоинство» его работ, указывает на недостаток в них «плана и системы, нужных для руководства». В статье Гоголь также замечает о Миллере: «Он не высказывает слишком ярко своих мыслей; они у него таятся так скромно, иногда в таком незаметном уголке, что не ищущий не найдет их никогда...». — «Но зато, — продолжает Гоголь, — они так высоки и глубоки, что открывшему их открывается, по выражению

Вагнера в "Фаусте", на земле небо». Гоголь цитирует отрывок из «Фауста» Гете в переводе Д. В. Веневитинова: «Недаром иногда пороешься в пыли, / И, право, отрывать случалось / Такой столбец, что сам ты на земли, / А будто небо открывалось» (впервые опубл.: Соч. *Д. В. Веневитинова.* Ч. 1. Стихотворения. М., 1829. С. 121).

Статья «Шлецер, Миллер и Гердер» вызвала наибольшее раздражение В. Г. Белинского, резко высказавшегося в 1835 г. об «ученых статьях» Гоголя, помещенных в «Арабесках». Объектом неприязни была прежде всего гоголевская интерпретация Миллера: «Неужели перевести, или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать некоторые места из истории Миллера, перемешать их с своими фразами, значит написать ученую статью?.. Неужели сравнение Шлецера, Миллера и Гердера, ни в каком случае не идущих в сравнение, тоже ученость?..» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 184). Впоследствии, несмотря на то что критик признал в 1843 г. помещенные в «Арабесках» «критические статьи о Пушкине, о Брюллове, о Шлецере, Миллере и Гердере» «превосходными» (Там же. Т. 5. С. 378), принципиальное расхождение во взглядах Белинского и Гоголя не замедлило сказаться с выходом в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» (см. коммент. к статье «Несколько слов о Пушкине»).

Характеристика третьего историка — Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803), немецкого ученого, поэта и философа, — избирающего, по словам Гоголя, для своей картины «только одно прекрасное и высокое», но являющегося при этом «младенцем» в познании реального человека, отчетливо напоминает тот тип «возвышенного» поэта («он поэт и этим резко отличается от Миллера... и Шлецера»), которому Гоголь противопоставил в «Мертвых душах» писателя, «дерзнувшего вызвать наружу... всю страшную... тину мелочей». Противопоставление это было намечено Гоголем в статье «Несколько слов о Пушкине» (см. коммент. к «Портрету» в наст. томе), а несколько позднее характеристика подобного Гердеру кабинетного мыслителя была развита им в образе отвлеченного «философа-теоретика» арабского халифа Ал-Мамуна, пребывающего «в государстве муз, им же самим созданном и совершенно отдельном от мира политического» («Ал-Мамун»). С этой же мыслью создавался, по-видимому, и образ английского короля Альфреда (см. коммент. к с. 371 — *В государстве должно быть так, как в Римской империи*). Ср. также суждение Гоголя о Байроне — «этой гордо-одинокой душе... замышлявшей заключить в себе в замену отвергнутого собственный, ею же созданный... мир» («О поэзии Козлова»).

Главный вывод статьи (о том, что историку необходимо соединить в себе «глубокость результатов» Гердера, «огненный взгляд» Шлецера, «изыскательную, расторопную мудрость» Миллера, «увлекательность» и «занимательность» Шиллера и Вальтера Скотта, добавив к этому «шекспировское искусство развивать крупные черты характеров») скрыто полемичен положению Н. М. Карамзина,

писавшего в предисловии к своей знаменитой «Истории государства Российского», что историк обязан представлять читателю «единственно то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах» и что «здравый вкус... навсегда отлучил деписание от поэмы». Упоминая в «Предисловии» об Иоганне Мюллере как об одном из значительнейших историков, Карамзин порицал его именно за противное «истинному вкусу» «желание блистать умом, или казаться глубокомысленным»: «...усердно хваля Мюллера (историка Швейцарии), знатоки не хвалят его Вступления, которое можно назвать геологическою поэмою».

Создателю героической эпопеи «Тарас Бульба» подобный подход к историческому материалу должен был показаться явно стеснительным. История, замечает он в статье «О преподавании всеобщей истории», должна «составить одну величественную поэму.... Каждая лекция профессора непременно должна... казаться... стройною поэмою». Полмесяца спустя, 11 января 1834 г., Гоголь сообщает М. П. Погодину: «Малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя... что за история, если она скучна!» Ср. высказывания Гоголя в письмах к М. А. Максимовичу от 28 мая и 10 июня 1834 г. в связи с предполагавшейся преподавательской деятельностью в Киевском университете: «Я с ума сойду, если мне дадут русскую историю»; «Если бы это было в Петербурге, я бы, может быть, взял ее, потому что здесь я готов, пожалуй, два раза в неделю отдать себя скуке» (ср. также ироническое замечание рассказчика в черновой редакции «Портрета» о затруднительности для него «перечесть по именам удельных князей, наполняющих Русскую историю»; см. коммент. к повести в наст. томе). О малороссийских летописях Гоголь также замечает: «Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел отыскать. Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями» (письмо к И. И. Срезневскому от 6 марта 1834 г.).

Преодолеть кризис Гоголю помогло обращение к народным песням-думам как полноценным поэтическим «летописям» минувшего (см. коммент. к статье «Взгляд на составление Малороссии»). Имя «поэта» Гердера, уделявшего много внимания изучению народных песен и видевшего в них «архив народной жизни», очевидно, также связано с этим поворотом. Само собою разрешилось и связывавшее Гоголя карамзинское «отлучение деписания от поэмы» (которое преодолевал постепенно от тома к тому и сам знаменитый историограф). (Примечательно, что в материалах по русской истории, собранных Гоголем к 1833 г., значительное место занимают именно выписки из «Истории...» Н. М. Карамзина.) Использование в работе над повестью «Тарас Бульба» созданий народно-поэтического творчества привело Гоголя к овладению новым методом, итог осмысления которого и подводит статья «Шлецер, Миллер и Гердер».

к стр. 319 *...сто аргусовых глаз...* — *Аргус* — в греческой мифологии великан, тело которого было испещрено множеством (сотней) глаз; неусыпный страж. Был убит Гермесом, после чего Гера перенесла его глаза на оперение павлина.

к стр. 320 *...в небольшой книжке, изданной им для студентов...* — Имеется в виду «Представление всеобщей истории, сочиненное Людвигом Шлецером, профессором в Геттингене, перевод с немецкого» (СПб., 1809).

к стр. 321 *Герен* (Геерен) Арнольд Герман Людвиг (1760–1842) — немецкий историк; считал, что для изучения быта и государственного строя древних народов наиболее важным является анализ их торговых сношений.

...выпытывает глубоко, вдохновенно, как брамин природы... — *Брамин* — древнеиндийский жрец.

О движении народов в конце V века

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 2. Под названием «О переселении народов» статья упомянута во втором плане «Арабесок» конца августа — сентября 1834 г. Из дошедших до нас десяти университетских лекций Гоголя, датируемых предположительно осенью 1834 г. (написаны, вероятно, несколько ранее, в июле — августе этого года), к ней близки по содержанию вторая — «О движениях народов германских, причинивших разрушение Западной Римской империи», начало третьей — «Взгляд на земли Западной империи по занятии их народами германскими...» и частично девятая — «Состояние Восточной Римской империи во время религиозных споров...». Имеются также переклички с шестой и восьмой лекциями. В работе над статьей Гоголь использовал помимо материалов своих лекций книгу Н. Нефедьева «Подробные сведения о волжских калмыках», вышедшую в 1834 г. в Петербурге (цензурное разрешение 20 июня), откуда почерпнул представление о жизни и повседневном быте одного из кочевых народов Азии (см. коммент. к с. 337 — *...самые их калмыцкие лица...*). В записной тетради Гоголя встречается также фраза, связанная с содержанием статьи: «Почему германцы по установлении обществ остаются долго суровы и свободны?»

По воспоминаниям Н. И. Иваницкого, после блестяще прочитанной в сентябре 1834 г. в Петербургском университете лекции «О Средних веках» Гоголь сказал окружившим его студентам: «На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории Средних веков; в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом». Мы с нетерпением ждали следующей лекции. Гоголь приехал довольно поздно и начал ее фразой: "Азия была всегда каким-то народовержущим вулканом". Потом поговорил немного о великом переселении народов, но так вяло, безжизненно

и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили сами себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию? Наконец, указав нам на кое-какие курсы, где мы можем прочесть об этом предмете, он раскланялся и уехал. Вся лекция продолжалась 20 минут» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 84–85). Приведенная Н. И. Иваницким фраза есть в тексте статьи, однако, судя по продолжительности лекции, в сентябре 1834 г. она еще не была окончена и дописывалась в октябре перед сдачей «Арабесок» в печать. Как вспоминал Н. М. Колмаков, Гоголь, «читая из истории то одно, то другое... всегда переходил к рассказу о движении народов. Ясно, что предмет этот служил ему как бы зацепкой или опорою исторических его знаний» (Русская Старина. 1891. № 5. С. 461).

С «движением народов» Гоголь тесным образом связывает происхождение европейской цивилизации. По Гоголю, она возникла именно в народе, не имевшем основательной оседлости: «Одному из народов германских определено было прежде всех других произвести всеобщее движение. Этот народ был — готы, народ, над которым, казалось, тяготело какое-то проклятие, осудившее его на скитание» (с этих строк, собственно, и начинается изложение темы, вынесенной в заглавие статьи). Соответственно этому «проклятию» готов называется Гоголем и предмет их поклонения: «Поклонялись Водану, бывшему в отдаленные веки их предводителем вместе с Оденом, этим северным Улиссом» (Улисс — латинская форма имени Одиссея, скитающегося героя древности). Вслед за этими строками Гоголь заключает: «Из всех народов германских готы более других способны были принять цивилизацию» (см. также коммент. к с. 333 — *Здесь жили пираты, самые предприимчивые из германцев... саксы... кимвры... готы... ругии, бургунды... ломбарды... герулы...*).

Примечательно, что поклонение готов «Одиссею»-Одину противопоставляется в статье почитанию всеми другими германскими народами матери-земли: «Их божество и предмет поклонения была земля»; «...они приносили свои жертвы богине-матери Герте»; «поклонение Герте разошлось между всеми почти германскими племенами» (см. также коммент. к с. 332–333 — *...гермундуры... маркоманы... квады... вангионы, трибоки, неметы, матиаки, убии... тенктеры... узипетры... батавы... хаты... херуски... фозы, сигамбры, бруктеры, ангруарии, хазуарии... свевы... чем ближе к западу и юго-западу, тем более было занимавшихся земледелием...*). В 1849–1850 гг. в отрывке «Земледельческие праздники» Гоголь отметил это почитание земли и для славянских племен: «Мать-земля была искони священною у славян...» В заметках и выписках 1830-х гг. по русской истории Гоголь неоднократно подчеркивал и оседлый образ жизни славян: «Славяне были слишком древний и коренной народ.... Их расселение по восточной Европе случилось в те темные времена, когда восточная Европа была облечена киммерийскими баснями»; «да и нет совсем железа в нашей земле. Оттого мы живем в тишине и мире...»

(см. также коммент. к с. 346 — *...наконец, превратились в мирных оседлых народов).* «Блудяга, бродяга» — читаем в гоголевском «объяснительном словаре» русского языка. Давая в 1850 г. оценку еще одному «бродяге» — герою одноименной поэмы И. С. Аксакова, Гоголь говорил: «...чтоб Бродяга имел не временное и не местное значение... надобно показать, как этот человек, пройдя сквозь все и ни в чем не найдя себе никакого удовлетворения, возвратится к матери земле» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 186). Эта мысль Гоголя во многом объясняет и его отношение к Чичикову, европейски цивилизованному «русскому Одиссею», скитающемуся по России (напомним, что работа над «Мертвыми душами» была начата уже в 1835 г.).

к стр. 324 *...природа усыплена... и человек беспечен... питались только молоком... и редко... мясом.* — Ср. в гоголевском конспекте книги Н. Нефедьева «Подробные сведения о волжских калмыках» (СПб., 1834): «...<в> праздник... калмыки оживают, как *байбаки,* и выходят из своей оцепенелости... мясное едят редко... только по праздникам... в обыкновенные дни питаются... напитками из молока».

к стр. 326 *... селились оазами...* — здесь: обособленно.

к стр. 327 *...парфян, ринувшихся из средины Азии...* — *Парфяне* — иранское кочевое племя.

к стр. 328 *...в своем Валгале видели продолжение воинственной жизни...* — *Валгала* (Вальхалла, *др.-исл.* чертог убитых) — в скандинавской мифологии жилище павших в бою храбрых воинов.

Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 117) — римский историк.

к стр. 330 *...забрасывали тиною и фашинником...* — *Фашинник* — связки хвороста, используемые для укрепления почвы при строительстве оборонительных сооружений.

...через веси и деревни... — *Весь* (*др.-рус.*) — селение, деревня,

к стр. 332–333 *...гермундуры... маркоманы... квады... вангионы, трибоки, неметы, матиаки, убии... тенктеры... узипетры... батавы... хаты... херуски... фозы, сигамбры, бруктеры, ангруарии, хазуарии... свевы... чем ближе к западу и юго-западу, тем более было занимавшихся земледелием...* — «Это были племена германские, которых можно было привесть в одно под именем обожателей Туиста или Тевта, сына Герты» (из лекции Гоголя «О движении народов германских, причинивших разрушение Западной Римской империи»).

к стр. 332 *...обитатели Гарца...* — *Гарц* (Харц) — горный массив в Германии.

к стр. 333 *Дакия* — область в нижнем течении реки Савы, на правом берегу Дуная; римская провинция.

Здесь жили пираты, самые предприимчивые из германцев... саксы... кимвры... готы... ругии, бургунды... ломбарды... герулы... — «Их можно назвать племенами Одиновыми, по имени чтимого ими героя... Потрясение, произведшее первое большое движение народов,

было сделано племенами Одинова происхождения и прежде всего готами, долго и до того времени беспокойно блуждавшими в странах Скандинавии...» (из лекции Гоголя «О движении народов германских...»).

Немецкое море — часть Балтийского.

Голштиния — русское название Гольштейна, земли в Германии.

...народов эстских... — прибалтийских.

Вестфалия — область между реками Рейн и Везер. к стр. 334

Гессен — земля в Германии.

Одному из народов... определено было... произвести всеобщее движение... — В лекции «О движении народов германских...» переселение готов, а затем гуннов обозначено как два «переворота» — «Переворот, произведенный готами» и «Переворот, произведенный гуннами».

О готах: Прокофий, Иорнанд, Гиббон. — *Прокофий* (Прокопий) Кесарийский (ок. 500 — после 565) — византийский летописец. *Иорнанд* (Иорнандес) — «готский историк, епископ Равеннский в 6-м веке» (заметка Гоголя «Италия до вестготов»), автор труда «О происхождении и деяниях готов». *Гиббон* Эдуард (1737–1794) — английский историк, автор труда «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). В «Библиографии Средних веков» Гоголь писал: «Прежде всего должно упомянуть о Гиббоне, которого «История упадка Римской империи», сочинение, означенное глубокою ученостью, увлекательною силою повествования и многосторонним умом, первая проложила путь для создания истории Средних веков, объяснила и открыла начала ее еще в недре древнего мира».

Халцедон — Халкидон (Кади Кеви), город на азиатском берегу Босфора, расположенный напротив Константинополя. к стр. 335

Эфес — город в Малой Азии на побережье Эгейского моря.

Деций Гай Мессий Квинт (195–251) — римский император с 249 г.

...с Оденом, этим северным Улиссом (Шлегель). — Отмечено, что здесь «имеется в виду то место лекций Ф. Шлегеля, где он говорит, что по скандинавским сказаниям "Один был сперва королем Саксонии, а оттуда прибыл в Швецию", и толкует одно из свидетельств Тацита о странствовании Улисса в Германии как своеобразную контаминацию двух сказаний: "...вероятно даже, что самое имя сего древнейшего Одина... припоминало римлянам греческого Одиссея и тем легче могло привести их к такому насильственному сближению германского витязя с героем Геллады" (Шлегель Ф. История древней и новой литературы. СПб., 1829. Ч. 1. С. 279–281)» (*Алексеев М. П.* Драма Гоголя из англо-саксонской истории // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 2. С. 274–275). к стр. 336

Имя царя их Германриха было уважаемо... — *Германрих* (Ерманарик) — вождь готов. По словам Н. М. Карамзина, готы «в IV веке,

при Эрманарихе, господствовали над всею восточною Европою» (*Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. Гл. 2. Примеч. 88).

Ливония — область в низовьях рек Даугава и Гауя.

Гунны... по свидетельству Дегине... — *Гунны* — кочевой народ из Внутренней Азии. Впервые упоминается в 300 г. до Р. Х. в китайских исторических сочинениях. После многовековых войн с Китаем Великое государство гуннов распалось на орды. Массовое передвижение их на Запад в IV в. дало толчок к Великому переселению народов. *Дегине* — Жозеф Де Гин (1721–1800), французский историк.

...относят ко времени Домициана. — *Домициан* Тит Флавий (51–96) — римский император с 81 г.

...времени императора Валента... — *Валент* Флавий (328–378) — римский император с 364 г. Объявлен в Константинополе августом и соправителем своего брата Валентиниана I; правил восточной частью Римской империи. Убит в сражении с готами. Был последним римским императором, поддерживавшим арианство.

к стр. 337 *...самые их калмыцкие лица...* — Согласно лекции Гоголя «О движениях народов германских...», «гунны, народ монголо-калмыцкого образования». Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» замечал: «Гунны по общему мнению были калмыки» (Т. 1. Гл. I. Примеч. 35). К 1834 г. относится гоголевский конспект-очерк «Калмыки» книги Н. Нефедьева «Подробные сведения о волжских калмыках» (СПб., 1834), использованный в работе над статьей. См. также коммент. к с. 324 — *...природа усыплена... и человек беспечен... питались только молоком... и редко... мясом.*

Великий аванпост Европы... — *Аванпост (фр.)* — передовой пост.

к стр. 338 *Алане* (аланы) — ираноязычные племена сарматского происхождения. Обитали в Нижнем Поволжье, Южном Приуралье, Северном Прикаспии, Предкавказье и южных районах Северного Причерноморья. Часть аланов участвовала в Великом переселении народов, в ходе которого они в IV в. присоединились к вандалам и в начале V в. вместе с ними двинулись на Запад.

Визиготы (вестготы) — германское племя, западная ветвь готских племен.

Остроготы (остготы) — восточная ветвь готских племен.

...часть визиготов... обратилась с просьбою к римскому императору о позволении перейти через Дунай... — Ср. в лекции «О движении народов германских...»: «376 <г.>. Большая часть визиготов... выпросили позволения императора Валенса перейти Дунай с условием принять арианство».

Валентиниан Флавий I (321–375) — римский император с 364 г. Вел успешные оборонительные войны с франками на рейнской границе, восстановил римскую власть в Британии и Африке. Его правление было последним периодом превосходства западной части Римской империи над восточной.

Фракия — область на Балканском полуострове между Черным и Эгейским морями и реками Дунай и Вазар (Аксий). к стр. 339

Он был ревностный арианец... — то есть последователь арианской ереси, родоначальником которой был александрийский пресвитер Арий (умер в 336 г.). Арий отрицал единосущие Сына Божия с Богом Отцом. Ересь Ария подверглась решительному осуждению на I (Первом; 325 г.) и II (Втором; 381 г.) Вселенских Соборах. В V в. арианство почти не имело последователей в Римской империи, но возродилось в Германии среди готов, бургундов, вандалов и лонгобардов, где существовало до VII в.

Феодосий Флавий I Великий (347–395) — римский император с 379 г. На созванном им в Константинополе Втором Вселенском Соборе провозгласил христианство государственной религией; в 392 г. специальным эдиктом запретил язычество. Перед смертью разделил Римскую империю между своими сыновьями Аркадием и Гонорием. к стр. 340

Аркадий Флавий (377–408) — первый византийский император (с 395 г.). Был сыном Феодосия I и уже в 383 г. провозглашен августом и соправителем. После смерти отца и окончательного раздела Римской империи в 395 г. получил восточную половину государства; находился в постоянной зависимости от придворных советников, прежде всего от Руфина, евнуха Евтропия, а позднее и от супруги Евдоксии. Ср. в лекции Гоголя «Состояние Восточной Римской империи во время религиозных споров...»: «Воспитатель его Руфим, начальник войск гот Кайнас и евнух Эвтропий один за другим правили империей, производя всеобщий ропот жадностию, корыстолюбием и деспотизмом. Супруга его Евдокия превратила двор в жилище забав и разврата. Иоанн Златоуст, вооружившийся громом красноречия против всеобщего развращения двора, заплатил изгнанием и заточением».

Западная империя вручена была малолетнему Гонорию, которым управлял Стиликон... — *Гонорий* Флавий (384–423) — западноримский император (с 395 г.). Был младшим сыном Феодосия I и в 393 г. провозглашен августом и соправителем. После раздела Римской империи в 395 г. правил западной половиной государства. *Стиликон* (Стилихон) Флавий (ок. 365–408) — римский полководец и государственный деятель. Вандал по рождению, он женился на племяннице Феодосия I, который назначил его главой римского войска. С 393 г. был опекуном Гонория, находившегося от него в полной зависимости.

Галлия — земля галлов; область между рекой По и Альпами, а также между Альпами, Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном (территория нынешней Франции, Западной Швейцарии и Бельгии). Согласно «Замечанию о переселении» в одной из записных тетрадей Гоголя, «в древнем мире галлы — новая струя народов среди старых». Была разделена римлянами на четыре провинции: Галлию Нарбонскую (с главным городом Нарбоном), Аквитанию, Галлию Лугудунскую (со столицей Лугундом —

Лионом) и Бельгику. Начиная с V в. Галлия завоевывается германскими племенами и в конце V в. входит во Франкское государство.

...под его эгидом племенами... — *Эгид* (эгида) — щит. «Под эгидой» — под покровительством, под защитой.

к стр. 341 *...искусно отклонил Алариха от желания поселиться в Италии...* — *Аларих I* (ок. 370–410) — вождь (король) вестготов, из рода Балтов, трижды осаждал Рим, взяв его наконец в 410 г.

...собственная голова слетела с плеч его. — В 408 г. Стилихон был казнен Гонорием по обвинению в измене.

...23 августа 409 года... — Согласно другим источникам, Аларих захватил и разграбил Рим 24 августа 410 г.

...возвел им царя их же префекта Атала... — *Атал* (Аттал) Приск — римский патриций, провозглашенный Аларихом императором. Это произошло после второй осады Рима в ноябре 409 г.

к стр. 342 *Астольф* (Атаульф) — король вестготов (410–415), шурин Алариха.

Гензерих (Гизерих, Гейзерих) — король вандалов (428–477), основатель их королевства в Африке. Возможно, статья Гоголя «О движении народов в конце V века» навеяла в 1836 г. К. П. Брюллову сюжет эскиза «Нашествие Гензериха на Рим».

...именем малолетнего Валентиниана и его матери... — Имеются в виду Валентиниан Флавий Плацид III (419–455), западноримский император (с 425 г.), и его мать Галла Плацидия (388–450), состоявшая регентшей при нем до 437 г.

...знаменитый Аэций... — *Аэций* Флавий (ок. 390–454), римский военачальник, один из выдающихся полководцев Галлы Плацидии, патриций. Неоднократно одерживал победы над варварами и, кроме того, не раз улаживал конфликты с ними с помощью дипломатического искусства.

...имел сильного противника в Бонифации, правителе Африки... — *Бонифаций* — второй выдающийся полководец Галлы Плацидии, патриций. Соперник Аэция. В 432 г. они как противники встретились в битве при Римини. Бонифаций одержал победу, но сам был смертельно ранен.

В 427 году Гензерих с вандалами... высадился на берег Африки... — Событие это произошло в 429 г.

...зажег Карфагену... — В 439 г.

...составил сильнейшее в этот мятежный и темный век государство. — Созданное Гейзерихом королевство в Африке было признано Западной Римской империей (442 г.) и Византией (474 г.).

...нумидийский лев... — *Нумидия* — область в Северной Африке.

Илирия (Иллирия, Иллирик) — область в северо-западной части Балканского полуострова, от Адриатического моря до Дуная.

Сардиния — крупнейший после Сицилии остров Средиземного моря.

Далмация — южная часть Иллирии, от Адриатического моря до реки Дравы.

...пригласил Аттилу, предводителя гуннов.. — *Аттила* (умер в 453) — могущественный вождь гуннов. Объединил под своей властью кочевые народы и племена (остготов, герулов, аланов). к стр. 343

Греческий император... униженно присылал ему дань... — Подразумевается Феодосий II (401–450), восточноримский император (с 408 г.), который платил дань Аттиле начиная с 430 г.

...близ Марны... — *Марна* — река на севере Франции, правый приток Сены. к стр. 344

...театром этой единственной битвы. — Сражение, о котором говорит здесь Гоголь, — это известная битва на Каталанских полях (451 г.), в которой Аттила потерпел поражение от римлян во главе с Аэцием и находившихся с ними в союзе вестготов.

Панония (Паннония) — северная часть Иллирии, область между Альпами, Дунаем и Савой.

Аквилея — город в Северной Италии на побережье Адриатического моря. Взятие Аквилеи Аттилой произошло в 452 г. к стр. 345

...папа... вышел навстречу неумолимому гунну, и... Аттила отступил... — Ср.: «Обладатель полумира... склоненный св. папою Львом Великим, подарками и обещаниями императора, оставил Италию» («О движениях народов германских...»); «440. *Леон I* (святой) Великий, после Сикста III, гонитель ереси манихеян, пелагиан и присцилианистов. Протестовал против Евсеевого разбойничьего собора. Спас Рим от Аттилы и грабительства Гензериха. Умер 461» (гоголевская заметка «Папы»).

Аттила умер необыкновенным образом. — Аттила умер в своем лагере в Паннонии в ночь после свадьбы с Ильдекой (предполагается, германкой по рождению). Согласно одной из версий, смерть настигла Аттилу от руки его молодой супруги, отомстившей ему за истребление своего народа.

Фишер Иоганн Эбергард (1697–1771) — немецкий историк, член Петербургской Академии наук, автор «Истории Сибирской» (1768).

...славян, которые... разрослись в шестьдесят разных ветвей (Конрад Геснер)... — Ср. в одной из выписок Гоголя по русской истории: «...а народов славянских 60 народов (по Конраду Геснеру), а между народами теми множество наречий: *русское, польское, богемское, крайнинское, кроатское, боснийское, иллирийское,* или *далматское, луазицкое* или *венедское* и пр. Но корень всех этих языков — славянский язык. Было же время, когда все говорили одинаким славянским, так как было время, в которое был один только язык немецкий — германский, превратившийся впоследствии в саксонский, франконский; франконский — в исландский, шведский, датский, голландский. Честь сохранения славянского языка принадлежит исключительно русским». *Конрад Геснер* (1516–1566) — швейцарский библиограф и естествоиспытатель, автор первого библиографического труда «Универсальная библиография» (Т. 1–3. 1545–1555). Сочинение К. Геснера упоминается в списке книг, составленном осенью 1826 г. к стр. 346

В. В. Тарновским в его записной книге, принадлежавшей позднее (с 1830 г.) Гоголю (см.: *РГБ*. Ф. 74. К. 6. Ед. хр. 1. Л. 3 об.).

...наконец, превратились в мирных оседлых народов. — Ср. в выписке Гоголя «О славянах древних Из византийских хроник»: «582 <г.> Что славяне вели оседлую, уже некочующую жизнь, доказательство, что византийские хроники говорят, что Баян аварский, вступивши в земли славянские, начал грабить и жечь села». Согласно другому наброску Гоголя по русской истории, «славяне жили уже очень давно на местах своих» («Расселение славян...»). «Подобно как германцы аборигены Европы западной, так славяне аборигены восточной. Они, может быть, древни в такой степени, как древни народы древнего мира... Что они древни, доказывают черты оседлой жизни во внутренности их земель, замеченные еще с 4-го столетия» (отрывок «Уже самим положением земли...»). Однако, замечает Гоголь, «многие бродячие народы... увлекали часто в свои массы народы покоренные» (Там же). Поэтому и среди народов «восточной кочевой Европы» оказались в эпоху Великого переселения ветви некоторых славянских племен, издревле ведших, по Гоголю, оседлый образ жизни. Ср. также в лекции Гоголя «Состояние Европы неримской...»: «Славяне были самые древние обитатели восточной Европы...»

Максим (Петроний Максим) — римский сенатор, западноримский император в 455 г.

...убил его собственною рукою. — Аэций был убит Валентинианом III в 454 г. во время аудиенции на Палатинском холме.

...умерщвленный Максимом, который надел на свою... голову императорскую корону... — Сенатор Максим 16 марта 455 г. убил Валентиниана III и на следующий день завладел императорским троном.

...увез даже супругу императора... вместе с дочерьми... — Имеются в виду плененные Гейзерихом Евдоксия, вдова Валентиниана III, и ее дочери Евдокия и Плацидия.

к стр. 347 *Римский император... не был в состоянии даже платить жалованья собственному войску...* — Подразумевается Ромул Августул, последний западноримский император (475–476).

...предводитель их Одоакр отрешил своего императора от должности... — *Одоакр* (433–493) — германский правитель Италии, низложивший в 476 г. Ромула Августула.

Сиагрий — римский полководец и последний наместник Галлии (ок. 465–486). Казнен в 487 г. королем франков Хлодвигом.

Кловис — Хлодвиг (465–511), франкский король (с 481 г.). В 486 г. нанес поражение римскому наместнику Сиагрию.

...предводимые Феодориком... — *Феодорик* (Теодорих) Великий (454–526) — король остготов (с 471 г.), основатель остготского королевства на территории Италии, которым он правил с 493 г.

...горах Астурийских... — *Астурия* — земля на севере Испании, у Бискайского залива, в Кантабрийских горах.

Франки — германские племена, селившиеся в районе устья реки Рейн и совершавшие набеги вниз по течению. Стали собирательным названием для варваров, живших к востоку от Нижнего Рейна. В конце V в. завоевали Галлию и образовали Франкское государство.

...ереси Нестория и Евтихия... — Ср. в лекции Гоголя «Состояние Восточной Римской империи во время религиозных споров...»: «Духовное прение и споры приняли жаркое направление по поводу нового мнения патриарха Константинопольского Нестория, дерзко отвергавшего божественность Девы Марии. Это вооружило сильную оппозицию, предводимую св. Кириллом, патриархом Александрийским. Собор, созванный Феодосием в Ефесе (431), ниспроверг Нестория, но скоро новый ересеначальник Евтихий провозгласил новое учение, отстранявшее два естества в Иисусе, вооружил снова против себя могущественную партию православных, но искусно увернулся на Втором Эфесском Соборе, прозванном собором разбойников. Среди этих прений, угрожаемый с севера нападениями Аттилы, умер Феодосий. Сестра его Пульхерия, предложив руку свою храброму генералу Марциану, возвела его на престол кесарей. Твердостию своею он отразил Аттилу и Халкидонским Собором ниспровергнул Евтихия» (раздел «Секты Нестория и Евтихия»). к стр. 348

Ал-Мамун

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 1. Считается последней по времени создания статьей, вошедшей в «Арабески». Возникла, вероятно, из замысла «Трактата о правлении», упоминаемого во втором плане сборника конца августа — сентября 1834 г. Период, избранный Гоголем для статьи, соответствует разделу «Век аравийского просвещения от Карла и Гарун аль Рашида до Крестовых походов» в его программе университетских лекций по истории Средних веков. В октябре 1834 г. Гоголь прочел статью в качестве лекции в Петербургском университете. Н. И. Иваницкий вспоминал: «...однажды — это было в октябре — ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский... Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая («О Средних веках». — *И. В., В. В.).* Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и поэтому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: “увлекательно”...» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 85). (Свидетельство Н. И. Иваницкого опровергается, впрочем, позднейшими воспоминаниями С. И. Барановского, указывавшего,

что Пушкин и Жуковский присутствовали на лекции Гоголя, посвященной эпохе норманнских завоеваний. Судя по гоголевской <Программе университетских лекций по истории Средних веков>, это была лекция, следующая после чтения об Ал-Мамуне. См. в наст. томе коммент. к драме «Альфред» и коммент. в т. 8 наст. изд. к <Наброскам и заметкам по истории Средних веков>.)

Содержание статьи перекликается с наброском Гоголя 1830-х гг. по древней истории «Александр <Македонский>: «Блистательный характер с эстетическою душою... Великое намерение соединить теснее мир и разнесть везде греческое просвещение... если не изгладить, то уменьшить разность в нравах между персами и греками, мирить европеизм с востоком. Отсюда утрата национальности. Пламенная религиозность исчезла. Вместо ее одни суеверия, шаткая философия, начало схола<ци>зма». (Ср. в статье «Об архитектуре нынешнего времени»: «Прочь этот схолацизм, предписывающий строения ранжировать под одну мерку и строить по одному вкусу».)

К наброску «Александр <Македонский>» примыкает также отрывок «Новоплатонические Александрийцы», непосредственно использованный в статье: «Ammonius — Saccas. Поколику христианство имеет сходство с Платоном <и> Аристотелем, <оно> истина, прочее прибавлено учениками... Плотин был покровительст<вуем> императором Галлианом, хотевш<им> для него возобновить кампанийск<ий> город с <при>городами и дерев<нями>, заселить философа<ми> для осуществления > Платоновой республики».

Вопрос об исторических источниках (словарь «Восточная библиотека» д'Эрбелло («Bibliotheque orientale...» D'Herbelot), 1-е изд. — 1678; 2-е изд. — 1776), об отличиях созданного Гоголем образа Ал-Мамуна от реального исторического лица, наблюдения о «прообразовательном» характере статьи в целом, касающейся проблем управления государством, обсуждавшихся в русском обществе в первой половине XIX в., а также об идейной связи этого произведения с позднейшей книгой Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» см. в работе: *Куделин А. Б.* К характеристике исторических взглядов Гоголя: От «Арабесок» к «Выбранным местам из переписки с друзьями» // *Куделин А. Б.* Арабская литература. Поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. М., 2003.

к стр. 349 *Ал-Мамун* — арабский халиф, перс по матери, правил в Багдаде с 813 по 833 г.

Гарун (Харун)-аль-Рашид — халиф Багдада, правил с 786 по 809 г. Прославлен в сказках «Тысячи и одной ночи».

к стр. 350 *...сохраняли в душе свой образ политеизма, облеченного христианскими формами... — Политеизм* (*греч.*) — многобожие.

...готовы были стать грудью за Аммония Саккаса, Плотина и других последователей новоплатонизма... — Аммоний Саккас (ок. 175 — ок. 242) — греческий философ, основатель неоплатонизма. Пытался согласовать учения Платона и Аристотеля и применить

их к мифологиям и религиям Востока. Учитель Оригена и Плотина. «Верил во множество духов невидимых, видимых только душою. 240 <г.> Мешконосец, продавал хлеб» (заметка Гоголя по истории Древнего мира «Новоплатонические Александрийцы»). *Плотин* (204–270) — греческий философ, крупнейший представитель неоплатонизма. «Сочинения составляют 54 трактата, разделенные на шесть энеад (*греч.* девятка. — *И. В., В. В.).* Его странности. Говорил, что всё божественное души его хочет соединить<ся> с божествен<ною> душ<ою>. Трактат его о том, что душ не две, но одна, [что] мысленные предметы не вне разума» («Новоплатонические Александрийцы»).

к стр. 352

...глаз его должен иметь многосторонность Аргуса... — Аргус — см. коммент. к с. 319 — *...сто аргусовых глаз...*

к стр. 353

Но Ал-Мамун не принял в соображение... что это постановление изверглось... из огненной природы араба... — В лекции «Первобытная жизнь арабов. Переворот в образовании нации, произведенный Магометом...» Гоголь прямо объяснял происхождение «Магометова рая» тем, что основатель ислама, «желая сильнее действовать на пламенную, чувственную природу арабов, обещал рай, облеченный всею роскошью восточных красок...».

к стр. 354

...секту карматианов... — Ветвь шиитской мусульманской секты исмаилитов. («Алкоран состоял из двух частей, к ним после прибавлены сказания и анекдоты о Магомете, составившие третью часть, под именем Сунны, это произвело две секты. Принявшие все три назывались суннитами, принявшие только две первые — шиитами»; из лекции Гоголя «Первобытная жизнь арабов. Переворот в образовании нации, произведенный Магометом...».)

...под именем Сирийских Убийц... — Подразумевается исмаилитская секта ассасинов (от *перс.* хашишин, т. е. гашиш; ассасины-воины одурманивались гашишем).

<Семен Семенович Батюшек>

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым в приложении к журналу «Царь-Колокол» (1892. Т. III). На основании сходства отрывка, с одной стороны, с «Коляской» (1835), с другой — с эпизодами о Митяе и Миняе и въезда Коробочки в город NN (в 5-й и 8-й главах первого тома «Мертвых душ»), датируется предположительно 1835 г. (лето этого года Гоголь провел на родине).

Альфред

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856. Т. 2) под названием «Набросок начала безымянной трагедии из английской истории». В следующем году с заглавием «Альфред. Начало трагедии из английской истории» П. А. Кулиш перепечатал набросок в «Сочинениях и письмах Н. В. Гоголя» (СПб., 1857. Т. 2). Набросок в автографе названия

не имеет, но в одной из подготовительных черновых записей Гоголь называет свою пьесу «Альфредом» (см. в наст. томе <Заметку «К Альфреду»>). Значительные исправления в опубликованный Кулишом текст внес, обратившись к гоголевскому автографу, Н. С. Тихонравов, поместивший пьесу в 5-м томе 10-го изд. Сочинений Н. В. Гоголя (М., 1889). Замысел пьесы относится к концу мая 1835 г.; сохранившийся автограф — к октябрю 1835-го.

Эпоха, избранная Гоголем для своей драмы, соответствует разделу «Время норманских наездов» в его программе университетских лекций по истории Средних веков, составленной в августе — сентябре 1834 г.: «Эпоха появления норманнов... Страх в Европе, производимый их нападениями, вторжения их во Францию, в Англию. Встреча с Альфредом. Мудрые распоряжения этого государя к отражению и польза, принесенная государству».

Главный герой драмы — король Уэссекса Альфред Великий, правивший Англией с 871 по 899 или 900 г., причислен в Англиканской церкви к лику святых за свои исключительные заслуги в религиозно-политическом объединении Англии перед угрозой норманнского завоевания; основатель четырех учебных заведений в Оксфорде, послуживших началом Оксфордского университета. (В первых строках «Альфреда» упоминается еще одно лицо, канонизированное к церковному почитанию, — святая мученица Эбба Младшая, игумения Калдингамская (870); см. коммент. к с. 357.) С именем Альфреда связывают перелом в английской истории. Ему удалось приостановить опустошительные набеги на Англию норманнов, начавшиеся с конца VIII и особенно с начала IX в., — датчан на восточную Англию и норвежцев на ее северо-западные области. Вошел в историю также как преобразователь и устроитель государства, законодатель, ученый и писатель.

В качестве главных источников для драмы Гоголь использовал книгу английского историка Г. Галлама «Европа в Средние века» (во фр. пер. 1821 г.; см. в его конспекте этой книги раздел «Англия англосаксонская») и «Историю Англии» французского протестанта XVII в. П. Рапена де Туараса («Histoire d'Angleterre», 1724; в рус. пер. 1768–1778 гг.), которую просил выслать ему 24 мая 1835 г. в письме к Н. Я. Прокоповичу из Полтавы. Кроме того, Гоголь пользовался книгой О. Тьерри «История завоевания Англии норманнами» (1825) и, вероятно, переводами скандинавских саг. В частности, отмечается использование «Песни Гаральда Смелого», которую Гоголь знал в переложениях Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина, К. Н. Батюшкова.

Наиболее ярко личность Альфреда была представлена в одном из использованных Гоголем источников, книге П. Рапена, который подчеркивал глубокую набожность государственного преобразователя:

«Когда скрывался он на острове Афельнейском, тогда сделал обет Богу, посвятить Ему третью долю своего времени, сколь скоро увидит себя в спокойном состоянии. Лишь только достиг

он желаемого, то и исполнил свое обещание точь-в-точь, определяя на каждый день по осми часов для молитвы, по осми часов на исправления дел, и по столько же для отдохновения, чтения книг и прогуливания» (История Аглинская. Соч. *Рапина де Тоараса.* С фр. переведена Степаном Решетовым. СПб., 1774. Ч. 2. Кн. 4. С. 510);

«Издал он разные сочинения очень много почитаемые, между коими перевел на саксонский язык: *служебник Папы Григория I, утешительные песни Боециевы,* и церковную историю Бедову» (Там же. Ч. 2. Кн. 4. С. 512);

«Сказывают, будто Алфред перевел *Ветхой и Новой Завет.* Как бы то ни было, все однако согласно говорят, что он начал было перелагать стихами Псалтирь, но не доверша оного труда, скончался» (Там же. Ч. 2. Кн. 4. С. 512);

«Слава о мудрости и набожестве Алфредовом достигла до Рима, папа прислал к нему великое количество мощей, и во уважение его персоны, придал новые привилегии *Аглинскому училищу.* Патриарх Иерусалимский *Авель,* восхотя изъявить к нему свое почтение, прислал тоже несколько мощей, кои благоприятно были приняты» (Там же. Ч. 2. Кн. 4. С. 513);

«Что ж следовало до его доходов, то оные расположены были на две равные доли, из коих первую употреблял он на разные подаяния, разделя оную на четыре части. Одну на милостыни для всякого рода неимущих. Вторую для содержания монастырей, им самим построенных. Третию на жалованье профессорам и ученикам, в Оксфорде содержимым. Четвертую на раздачу монахам, как своим природным, так и пришлым» (Там же. Ч. 2. Кн. 4. С. 514).

Такой же набожностью отличались близкие Альфреда. Память его вдовы, св. Етельвиды, удалившейся после смерти супруга в основанный ею в Винчестере монастырь, совершается 20 июля по ст. ст. Одна из дочерей Альфреда, Эфельгифа, также приняла монашество и была «игуменьею в *Шафт Бурийском* монастыре, Королем отцом ея построенном». Кроме этой обители «Алфред соорудил еще два монастыря, один в *Афельнеи,* а другой в *Винчестере*» (Там же. Ч. 2. Кн. 4. С. 517).

По свидетельству одного из слушателей Гоголя в Петербургском университете, С. И. Барановского, именно на лекции о «норманнских витязях», материал которой был использован при создании «Альфреда» (а не на лекции о «аравитянах», как вспоминал Н. И. Иваницкий), присутствовали осенью 1834 г. среди студентов Петербургского университета В. А. Жуковский и А. С. Пушкин. Последний высказал тогда Гоголю свое одобрение (см.: Из писем к Я. К. Гроту // Русский Архив. 1906. № 6. С. 278; Гоголь в воспоминаниях современников. С. 85). В этом свете приобретает важное значение свидетельство А. О. Смирновой о публичном чтении Гоголем «Тараса Бульбы» в присутствии Пушкина, который тогда сказал: «Это эпопея, в которой можно было бы найти материал для прекрасной драмы». «Гоголь слушал его и казался счастливым. Наконец,

он сказал ему: "Александр Сергеевич, если б вы написали драму Тараса, вы бы сделали это по-шекспировски". Пушкин ответил: "Сюжет шекспировский, но сделать из него драму дело автора, а не мое"» (<*Смирнова О. Н.*> Записки А. О. Смирновой. (Из записных книжек 1826–1845 гг.) СПб., 1895. Т. 1. С. 235–236). Возможно, этими словами Пушкина во многом и объясняется обращение Гоголя к жанру исторической драмы, сказавшееся сначала в работе над «Альфредом», затем — над драмой из эпохи Богдана Хмельницкого, задуманной, по свидетельству М. С. Щепкина, «в роде "Тараса Бульбы"» (см. в наст. томе коммент. к <Материалам и наброскам драмы из эпохи Богдана Хмельницкого>).

Общей для «Альфреда» и «Тараса Бульбы» является и мысль о религиозно-государственном объединении народа и пагубности междоусобий, которую Гоголь прослеживал на материале как русской, так и мировой истории. По замечанию М. П. Алексеева, посвятившего «Альфреду» специальную работу, драму Гоголя с другими его произведениями роднит «противопоставление насильно внедряемой культуры окружающей дикости» (*Алексеев М. П.* Драма Гоголя из англо-саксонской истории. С. 283). См. также коммент. к с. 371 — ***В государстве должно быть так, как в Римской империи.***

к стр. 357 *Сеорл* — мелкий землевладелец.

...из Колдингама... где монахинь сожгли. — Память святой мученицы Эббы Младшей, игумении Калдингамской, и пострадавших с ней инокинь (870 г.) совершается 23 августа / 5 сентября. Согласно указанию М. П. Алексеева, рассказ об этом подвиге Гоголь почерпнул в «Истории Англии» Рапена: «С тех пор, как Ивар вступил в Англию, опустошал он немилосердо все места, на пути его находившиеся, а паче претерпели монастыри, ибо Агличане лутчее свое имение сохраняли в них. Легко можно понять, что датчане, будучи еще в идолопоклонстве, не имели ни малейшего нисхождения к сим обителям. Больше ж всего подвержены были монахини их неистовству. Сказывают про них, что игуменья *Колдингамская*, видя приближающуюся армию датскую, умела уговорить своих монахинь, чтоб они обрезали у себя нос и верхнюю губу, дабы тем избегнуть угрожаемого им насильства. И подлинно, такой редкой вымысел спас их честь: но стоил им жизни. Солдаты датские против чаяния своего увидя их лица толь обезображенные, зажгли монастырь и всех их побросали в пламень, где они свою непорочность и себя посвятили в жертву Богу» (История Аглинская. Соч. Рапина де Тоараса. Перевел с французского Степан Решетов. СПб., 1774. Ч. 2. С. 454–455). Событие это произошло во время царствования предшественника Альфреда, его брата Этельреда (866–872).

к стр. 358 ***...в покровительство тану... бретон...*** — *Тан* — знатный дворянин. *Бретон* (бритт, британец) — представитель древнего населения Англии, покоренного англосаксами. Ср. в гоголевском конспекте книги Г. Галлама «Европа в Средние века» (раздел «Англия

англосаксонская»): «Сверх рабов были два класса: thanes и ceorls, владетели и обрабатыватели земли или, лучше, благородные и высший народ... После сеорлов следуют покоренные бретоны... Бретоны были в рабстве, и хотя многие были и вольные, однако ж были ниже вольных саксонов. Сеорлы могли привестись в рабство своими преступлениями и тиранией».

...мудрый, как в Писании Давид. — Отмечено, что библейская история св. пророка Давида является определяющей для жития Альфреда. Подобно библейскому царю, Альфред подвергся гонению и одержал победу над врагами лишь тогда, когда сам прошел школу бедности, испытания изгнанника, когда вдоль и поперек, сверху донизу, во всех социальных разрезах познакомился с народом, которым был призван управлять (см.: *Алексеев М. П.* Драма Гоголя из англо-саксонской истории. С. 284).

За что я должен... мостить... мост к его замку... — Ср. в гоголевской выписке «Англия англосаксонская»: «В Англии все ленные земли, за выключением церковных, были покорены трем главным обязанностям: 1) услугам военным в экспедиции короля или, по крайней мере, в войнах для защиты страны; 2) поправке мостов и 3) содержанию королевских крепостей». к стр. 361

...если бы... прикупил еще два hydes земли да выстроил церковь и дом, я бы сам был таном. — В жалобе Кудреда на «королевского тана Этельбальда» Гоголь использовал одну из записей своего конспекта книги Г. Галлама: «Кажется, сеорлы не были привязаны к земле, которую обрабатывали. Они иногда призывались к оружию для защиты. Его личность, имение были одинаково покровительствуемы. Он мог сделаться владетелем и пользоваться привилегиями, с этим соединенными. Если он будет владеть пятью hydes земли (около 600 акров) с церковью и домом господским, он может принять имя и пользоваться правами тана».

...в ваш ширгемот. — *Ширгемот* (*англ.* Shirgemot) — суд графства. «Низшие таны, или небольшие владельцы составляли часть шир-гемота (Shir-gemot) — судилища в графстве, хотя это было не так важно, как заседать в национальном совете... Апелляции нельзя было подавать в королевский трибунал прежде окончания в суде графском...» («Англия англосаксонская»). к стр. 362

У нас во всем ширстве... ни один шир, ни алдерман не умеют писать. — *Ширство* — графство. *Шир* — судья, шериф. *Алдерман* — старшина. «...Графства Англии... имели каждое своего алдермана или частного графа... Разделение на графства и управление сими графствами алдерманами и шерифами существовало до Альфреда» («Англия англосаксонская»).

Да будет ведомо: в Schirgemot Агельмостане... — В основу этой «бумаги» с решением местного суда Гоголь положил подлинный юридический документ англосаксонской эпохи, который цитирует в своей книге Г. Галлам: «Да будет ведомо в суде графства (Shirgemot), держаном <в> Агельнотстане (Aylston в графстве Herefort)

во время царств<ования> Канута, где заседали Athelstan епископ, Ranig алдерман, Едвин, его сын, и Леофвин, сын Вульфига, и Туркиль белый и Тофиг, как комиссары короля, заседали в присутствии Брининга, шерифа, Ательвеарда де Фрома, Леофвина де Фрома, Годрика де Штоке и всех танов графства Гереформа, Эдвин, сын Эннавна, представился суду против матери своей, требуя у ней земли Weolintun и Cyrdeslea».

к стр. 365 *У меня... было в услужении шестнадцать танов ситкумендменов.* — *Тан ситкумендмен* — младший рыцарь-вассал. «В древнейших саксонских законах sithcundman, соответствующий тану, подвергался конфискации за небрежение к обязанностям военным... Sithcundman, или небольшой дворянин, зависел от высшего господина. Но весьма вероятно, что отношения личные клиента иногда превращались в вассальные, потому что в Англии... в смутные времена прибегали к покровительству сильных» («Англия англосаксонская»).

к стр. 366 *...король не может сказать тану: "...я тебе приказываю". Что скажет витенагемот?* — *Витенагемот* — всеобщий совет, «генеральное собрание народа, на саксонском наречии Виттена-Гемот* называемое, в котором заседали по чинам и достоинству, не завися от королевской воли. То собрание... ныне от французского наречия парламентом называют..." (История Аглинская. Соч. *Рапина де Тоараса.* Ч. 2. Кн. 4. С. 507). *«Великий совет,* в котором заседали англосаксонские короли во всех нужных случаях их правления, назывался Wittenage-mot, или собранием умных людей. Одобрение этого совета входило во все дела, и есть примеры уничтоженных дел потому только, что они были сделаны без его участия. Он состоял из прелатов, аббатов и, как обыкновенно говорят, благородных и умных людей государства... никто, какой бы благородный ни был, не имеет права заседать в Wittenagemot, — по крайней мере, около времени Эдуарда Исповедника, не владея 40 hydes земли, или около 5000 акров (подвержено сомнению) в такой конфедеративной земле» («Англия англосаксонская»).

к стр. 367 *...храбрые берсеркеры...* — *Берсеркеры* — в скандинавской мифологии богатыри-герои.

к стр. 370 *Существует ли та стена, которую выстроил император Константин в Лондоне...* — *Константин* I Великий (ок. 285–337) — святой равноапостольный царь (римский император с 306 г.). В 324–330 гг. основал новую столицу Константинополь. Память его совершается 21 января (ст. ст.). В «Истории Англии» П. Рапена де Туара имеется примечание о постройке св. Константином стен Лондона: «Сказывают, что стены его построены были *великим Константином,* по прошению матери его *Елены,* пространством на три мили» (История Аглинская. Соч. *Рапина де Тоараса.* Ч. 2. Кн. 4. С. 486).

к стр. 371 *...гирд датчан...* — *Гирд* — отряд.

В государстве должно быть так, как в Римской империи. — Согласно предположению М. П. Алексеева, эта реплика Альфреда

восходит к книге О. Тьерри «История завоевания Англии норманнами», где сообщается о первых семи годах деятельности Альфреда (871–878): «Наполненный идеями о неограниченной власти, которые так часто встречаются у римских писателей, он жадно хотел политических реформ и составлял планы, вероятно лучшие древних англо-саксонских обычаев, но которым не доставало согласия народа, не желавшего и не понимавшего их».

Будто уже в Англии нет ни одного священника, умеющего чи- к стр. 372
тать? — Реплика восходит к замечанию об Альфреде в «Истории Англии» Рапена: «Сей Государь жаловался сильно, что от Гумбера до Темзы не было ни одного попа, который бы прямо разумел отправление Божией службы, а от Темзы даже до моря не находилось никого, кто б мог перевести на саксонский язык латинскую самую легкую книгу» (История Аглинская. Соч. *Рапина де Тоараса.* Ч. 2. Кн. 4. С. 513). Среди материалов Гоголя первой половины 1830-х гг. по начальному периоду русской истории сохранился отрывок «Летописи», в котором отмечено: «Наши русские первые начали обрабатывать язык… другие народы не обрабатывали своих языков, что как приняли латинскую веру, то и богослужение начали отправлять по-латыни, а так <как> никто не знал на этом языке, то и не пони<мал>, что бормотал поп их, а оттого, несмотря на то, что приняли веру христианску<ю>, долго еще были басурманами». В другой выписке Гоголя, под заглавием «Особые заметки», говорится: «Образование народа с того времени, когда он начинает писать на своем языке».

...дерзость их возрастет как Голиаф. — *Голиаф* — филистим- к стр. 373
ский воин-великан, в течение сорока дней поносивший израильское ополчение и сраженный в единоборстве св. псалмопевцем Давидом (1 Цар. 17, 4–54; Пс. 151; Сир. 47, 5).

Я готов заключить с тобою мир... — По предположению к стр. 375
М. П. Алексеева, источником второго действия «Альфреда» также послужила Гоголю «История Англии» Рапена: «Не минуло месяца, как Альфред вступил еще на престол, то и принужден был итить в поход против сих страшных неприятелей, которые дошли уже до Вилтона. В сем-то месте сделал он первое на датчан нападение. Несколько времени ласкал он себя надеждою, что победа обратится на его сторону: но вдруг переменилась оная в пользу датчан и принудила его оставить место баталии... Альфред трудился привести свое воинство в такое состояние, чтобы паки начать баталию. Его скороспешность их удивила. Хотя в последнюю баталию они и победителями остались, однако, чувствуя себя не в силах продолжать войну, попросили миру... Они обещались опорожнить его области с тем договором, чтоб ему не мешаться в дела прочих владетелей аглинских. Альфред принял сие предложение с радостью, признавая оное при тогдашних обстоятельствах за весьма полезное, и подлинно сей договор давал ему время к принятию нужных предосторожностей от вновь могущего произойти нападения...» (История Аглинская. Соч. *Рапина де Тоараса.* Ч. 2. Кн. 4. С. 463–468).

<Заметка к «Альфреду»>

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым в 5-м томе 10-го изд. Сочинений Н. В. Гоголя (М., 1889). Содержание записи перекликается с одним из набросков Гоголя 1830-х гг. по русской истории: «Мужество князей росло в охотах, ими они тщеславились. Смотри завещание Мономаха» (заметка «Внутреннее устройство»), а также с заметкой об охоте в гоголевском конспекте 1830-х годов книги Г. Галлама «Европа в Средние века»: «Вкус к охоте произвел презрение всех полезных занятий и угнетение крестьян… Охота как вечный источник ссор между баронами».

Текст печатается по автографу, находящемуся на внутренней стороне крышки переплета записной книги Гоголя 1834 г. с материалами к лекциям по истории Средних веков (бумага книги с филигранью «ГФ 1832») (*РГБ.* Ф. 74. К. 3. Ед. хр. 20).

Ревизор

Впервые напечатано: Ревизор. Комедия в пяти действиях, соч. Н. Гоголя. СПб., 1836 (цензурное разрешение 13 марта). Написано в октябре — ноябре 1835 г. Впоследствии комедия была переработана. Второе, исправленное издание вышло в 1841 г. (см. сопроводит. статью и коммент. к комедии в т. 4 наст. изд.).

Первое издание «Ревизора» вышло в свет накануне премьеры в Александринском театре, состоявшейся 19 апреля 1836 г. П. В. Анненков вспоминал: «По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр “Ревизора”, только что вышедший из печати, со словами “Полюбуйтесь на сынку”. Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: “Господи Боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и Бог с ними, а то все, все...”» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 60).

к стр. 377 *Сквозник* — «хитрый, зоркий умом, проницательный человек, пройда, пройдоха, опытный плут и пролаз» (Толковый словарь В. Даля); также название сорта чая.

к стр. 380 *...инкогнито... обревизовать...* — Слова городничего перекликаются со строками статьи Гоголя «Ал-Мамун»: «Гарун умел ускорить весь административный государственный ход... страхом своей вездесущности. Наместники... опасались встретить всезрящего, переодетого калифа...»

к стр. 385 *«Московские Ведомости»* — старейшая русская газета, издававшаяся Московским университетом; выходила с 1756 г.

к стр. 386 *... штандарт скачет...* — *Штандарт* — флаг с гербом или полковое знамя в кавалерии (штандарт-юнкер — носитель флага или полкового знамени, кавалерист).

к стр. 387 *...к Почечуеву...* — *Почечуй* — геморрой. Ср. в письме Гоголя к В. А. Жуковскому от 12 ноября (н. ст.) 1836 г.: «Будьте всегда здо-

ровы... и да хранит вас Бог от почечуев и от встреч с теми физиогномиями, на которые нужно плевать...»

...в партикулярном платье... — В штатском. к стр. 388

...вы... шепеляете... у вас... один зуб со свистом... — *Шепелять* — шепелявить. В окончательной редакции комедии Гоголь исправил: «вы пришепетываете». «Шепетать, говорить свистя» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

...прописана подорожная... — *Подорожная* — дорожный паспорт.

«Деяния Иоанна Масона» — книга английского писателя Дж. Масона (1705–1763) «Познание самого себя, в котором естество и польза сея важныя науки, равно и средства к достижению оныя, показаны», переведенная на русский язык И. Тургеневым и изданная Н. И. Новиковым в 1783 г.; впоследствии неоднократно переиздавалась. к стр. 389

...два аршина сукна... — *Аршин* — старинная русская мера длины, равная 0,71 м. к стр. 391

...на прогоны... — *Прогоны* — плата за проезд. к стр. 394

...елистратишка простой... — *Елистратишка* — низший гражданский чин, коллежский регистратор.

...пойдешь на Щукин... — *Щукин* — см. коммент. к с. 282— *Щукин двор.*

...в картузе табаку нет? — *Картуз* — здесь: плотный бумажный пакет. к стр. 395

Шерамыжник (фр. chèr ami — дорогой друг; так обращались бежавшие в 1812 г. из России французы к крестьянам с просьбой о хлебе и ночлеге) — обманщик, плут, проходимец. к стр. 396

Штосы срезывать — выигрывать. *Штос* (*нем.*) — азартная карточная игра.

...из «Роберта»... — «Роберт-дьявол», опера французского композитора Дж. Мейербера (наст. имя и фамилия Якоб Либман Беер; 1791–1864), приобретшая европейскую известность; в России поставлена в 1834 г. на сцене Большого театра в Петербурге. См. также коммент. к с. 505 — *«Роберт»*. к стр. 397

«Не шей ты мне, матушка...» — романс А. Е. Варламова (1801–1848) на слова Н. Г. Цыганова (1797–1831).

...приеду домой в петербургском костюме. — Ср. в первоначальной редакции: «Ведь Руч работал — вот что важно». Руч — модный петербургский портной. 30 марта 1832 г. Гоголь писал А. С. Данилевскому: «На требование... мое поставить тебе сукно по 25 р. аршин, Руч дал мне один обыкновенный свой ответ, что он низких сортов сукон не держит». к стр. 398

...Иохим не дал напрокат кареты... — *Иохим* Иоганн Альберт (1762–1834) — известный каретный мастер в Петербурге.

Шантрет — шатен (с каштановыми волосами). к стр. 409

Лабардан (нем. Laberdan) — балык из трески, дорогостоящая новинка для гурманов. Почт-директор К. Я. Булгаков в 1826 г. к стр. 412

писал брату: «В субботу я тебе послал рыбу свежего лабардану, привезенного мне из Колы (граф Воронцов ужасный до нее охотник). Не знаю, тебе понравится ли, ежели сказать тебе, что это то же, что и треска. Впрочем, можешь попотчевать тестя и приятелей» (Русский Архив. 1903. № 7. С. 417).

к стр. 413 *...выпонтировал...* — Выиграл в карты, понтируя. Понтер (*фр.* ponte) — игрок, делающий ставку против банка.

...если кто забастует, тогда как нужно ему гнуть от трех углов... — *Забастовать* — здесь: перестать увеличивать ставку; *гнуть от трех углов* — увеличивать ставку втрое (загибая углы карт).

...вояжировка показалась очень неприятною. — *Вояжировка* (от *фр.* voyage) — путешествие, поездка.

к стр. 415 *Платье заказываю Ручу, триста рублей за пару.* — См. коммент. к с. 398 — *...приеду домой в петербургском костюме.*

«*Женитьба Фигаро*» — комедия французского драматурга П. О. Бомарше (1732–1799), опубликованная в 1784 г. В данном случае речь идет, по всей видимости, об опере В. А. Моцарта (1756–1791) «Свадьба Фигаро» (1786), премьера которой состоялась в 1836 г. на сцене Большого театра в Петербурге.

«Сумбека» — «Сумбека, или Покорение Казанского царства», балет А. Блата (1791–1850); инсценировка поэмы М. М. Хераскова (1733–1807), музыка И. Сонне. Премьера состоялась 3 ноября 1832 г. в петербургском Большом театре.

«Фенелла» — «Фенелла» или «Немая из Портичи» (1828) — опера французского композитора Ф. Обера (1782–1871); либретто Э. Скриба и Ж. Делавиня.

«*Московский Телеграф*» — журнал, издававшийся Н. А. Полевым (1796–1846) с 1825 г.; закрыт по указанию Императора Николая I в 1834 г.

«Библиотека для Чтения» — журнал, издававшийся А. Ф. Смирдиным с 1834 г.

...статьи... Брамбеуса... — *Брамбеус* — псевдоним О. И. Сенковского, редактора «Библиотеки для Чтения». См. также коммент. к с. 462 — *Сенковский.*

«*Юрий Милославский*» — исторический роман М. Н. Загоскина (1789–1852), опубликованный в 1829 г.

к стр. 420 *...вот тебе пара целковиков на чай.* — *Целковик* (целковый) — серебряная монета в один рубль.

к стр. 425 *...получил только одну пряжку.* — *Пряжка* — почетный знак, выдававшийся за выслугу лет на гражданской службе.

к стр. 427 *Приказ общественного призрения* — учреждение по делам благотворительности, занимавшееся также ссудо-сберегательными операциями.

к стр. 435 ...«*О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!..*» — начальные строки «Оды, выбранной из Иова» М. В. Ломоносова (1711–1765).

Кавалерию повесят тебе через плечо. — *Кавалерия* — здесь: орденская лента, которую носили кавалеры высших орденов. к стр. 442

...голубую лучше. — *Голубая* лента — ордена Св. Андрея Первозванного.

...такое было амбре... — *Амбре* (*фр.*) — благоухание.

От человека невозможно, а от Бога все возможно. — Перефразированная цитата из Евангелия, где говорится о спасении охваченных страстью любостяжания: «у человек сие невозможно есть, у Бога же вся возможна» (Мф. 19, 26). к стр. 448

...с эштафетой — с эстафетой, с нарочным. к стр. 449

...жуирую, отпускаю bons mots. — *Жуирую* — наслаждаюсь. *Bons mots* (*фр.*) — остроты. к стр. 450

...ужасный моветон... — *Моветон* — человек дурного тона. к стр. 452

...в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже, направо. — Во время написания «Ревизора» Гоголь жил на Малой Морской, в доме № 97, вход со двора, на третьем этаже. к стр. 453

Какой репримант неожиданный! — *Репримант* (реприманд) (фр. *réprimande* — выговор, неожиданность) — здесь: урок, неожиданный оборот.

Сцены и отрывки из черновых редакций «Ревизора»

В настоящем разделе помещаются сцены и отрывки, извлекаемые из черновых редакций «Ревизора» 1835–1836 гг., важные для понимания замысла и творческой истории пьесы. Текст печатается по изд.: *Гоголь Н. В.* Ревизор. Комедия в пяти действиях. Ревизор. С приложениями. М., 1995.

В 1841 г. два не вошедших в печатное издание отрывка из «Ревизора»: 3-е явление из III действия (Анна Андреевна и Марья Антоновна) и 6-е явление из IV действия (Хлестаков и Растаковский) поместил в приложение к окончательной редакции пьесы сам Гоголь (см. «Две сцены, выключенные как замедлявшие течение пьесы» в т. 4 наст. изд.).

Из действия первого

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым и В. И. Шенроком в 6-м томе 10-го изд. Сочинений Н. В. Гоголя (М.; СПб., 1896). Отрывок представляет собой начало комедии и извлечен из ее первой черновой редакции, написанной в период с конца октября по начало декабря 1835 г. В отличие от окончательной редакции в отрывке раскрывается предыстория возникновения слухов о мнимом ревизоре.

Из действия второго

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым и В. И. Шенроком в 6-м томе 10-го изд. Сочинений Н. В. Гоголя (М.; СПб., 1896). Набросок ко второй черновой редакции комедии, написанной в конце ноября — начале декабря 1835 г. Упоминание в отрывке

об украденной шубе перекликается с содержанием повести Гоголя «Шинель» (1842), замысел которой возник до отъезда писателя за границу в 1836 г.

Из действия третьего

Первый отрывок извлечен из второй черновой редакции комедии, впервые напечатанной Н. С. Тихонравовым в кн.: Библиотека для Чтения. Бесплатное приложение к журналу «Царь-Колокол». 1892. №3.

Второй отрывок напечатан впервые Н. С. Тихонравовым и В. И. Шенроком в 6-м томе 10-го изд. Сочинений Н. В. Гоголя (М.; СПб., 1896). (Последующая редакция этого отрывка была опубликована ранее в изд.: Ревизор. Сочинение Н. В. Гоголя. Первоначальный сценический текст, извлеченный из рукописей Н. Тихонравовым. М., 1886.) Представляет собой дополнение к первому отрывку (к словам: «Я в Петербурге бываю во всех лучших обществах»).

По указанию Н. С. Тихонравова, в основу рассказа Хлестакова о съеденной им в трактире куропатке Гоголь положил известный анекдот. Этот анекдот восходит к сборнику легенд XIII–XIV вв. «Римские деяния», первый русский перевод которого известен с XVI в. (*Веселовский Алексей.* Западные влияния в новой русской литературе. М., 1916. С. 11). «Римскими деяниями» пользовались в своих проповедях такие южнорусские церковные пастыри XVII в., как игумен Киево-Николаевского пустынного монастыря Антоний (Радивиловский), епископ Черниговский Лазарь (Баранович). «Уже в 1619 г. в Каменце была играна польская драма об Иоанне Крестителе, в которую в качестве интерлюдиев вставлены были две сцены, изложенные старинным украинским языком и представляющие в лицах два народных анекдота, один из которых, о лучшем сне, очень популярен в народной поэзии всех стран Европы. — Три товарища находят пирог и решают дать его тому, кто увидит лучший сон; один, после сна, рассказывает, что видел себя в раю; другой — в аду; третий сообщает, что, видя товарищей в раю и в аду, он уже не ожидал их и съел пирог (он действительно съел его, пока они спали)» (*Кадлубовский А. П.* Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе // Сборник Историко-филологического общества при институте кн. Безбородко в Нежине. Нежин, 1911. Т. 7. Отд. 2. <Пагинация 2>. С. 5).

Рассказ Хлестакова о поездке к графине также является пересказом анекдота — заимствованного, вероятно, Гоголем у В. Т. Нарежного и использованного ранее в повести «Невский проспект» (см. коммент. к т. 4 наст. изд.). Таким же пересказом анекдота является описанный Хлестаковым случай на танцах, с извинениями: «что не каблуком» — «что не кулаком». Этот анекдот был, в частности, опубликован в 1795 г. в московском «Сатирическом Вестнике» (Ч. 4. С. 32–35) (*Смирнов Н. А.* К литературной истории текста «Ревизора» Гоголя // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. 1901. Т. IV. Кн. 1. С. 237–238).

...дмется... — *здесь: становится напыщенным. «Дмение, дмиться» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).* к стр. 457

...как странно сочиняет Пушкин... перед ним стоит в стакане ром... и потом уж как начнет писать, так перо только: тр... тр... тр... — В уста Хлестакова Гоголь вложил мнение о пушкинском творчестве провинциальных обывателей, которое сам А. С. Пушкин излагал в письме к жене Наталье Николаевне от 11 октября 1833 г. из Болдино (см. сопроводит. статью к т. 6 наст. изд.). к стр. 458

Недавно он... написал пиэсу: Лекарство от холеры... — О том, что Пушкину приписывали «множество самых нелепых стихов», в том числе «Лекарство от холеры», Гоголь писал в статье «Несколько слов о Пушкине».

Граф Ивелич — подразумевается, вероятно, один из потомков или родственников генерал-лейтенанта и сенатора графа Марка Константиновича Ивелича (1751–1825), с дочерью которого графиней Екатериной Марковной Ивелич (1795–1838) был знаком Пушкин. к стр. 459

Из действия четвертого

Впервые напечатано отдельно П. А. Кулишом в «Библиографических Записках» (1859. № 7) под заглавием «Сцена из “Ревизора” Гоголя, не напечатанная автором». Сцена извлечена публикатором из второй черновой редакции комедии и следовала за «представлением» Хлестакову Бобчинского и Добчинского. Напоминает диалог Петрушки и Немца из народной кукольной комедии.

Jch habe die Ehre mich zu rekommandieren: Doctor der Armen-Anstalten, Hiebner (*нем.*) — Имею честь представиться: доктор богоугодных заведений, Гибнер. к стр. 459

Es freuet mich sehr die Ehre zu haben, einen sowürdigen Mann zu sehen, den die hohe obrigkeit bevollmächtigt hat... (*нем.*) — Рад, что имею честь видеть столь достойного человека, который уполномочен властью...

...giebt... (*нем.*) — Дайте.

Sehen Sie! (*нем.*) — Видите!

Wollen Sie eine Cigarre rauchen? (*нем.*) — Не хотите ли выкурить сигару?

Хорошая сигарка. — Современница Е. П. Янькова вспоминала: «Курение стало распространяться заметным образом после 1812 года, а в особенности в 1820-х годах: стали привозить сигарки, о которых мы не имели и понятия, и первые, которые привезли нам, показывали за диковинку» (цит. по: Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 96).

Из Риги? — Рига как торговый город, проводник всевозможных соблазнов, упоминается также Гоголем в черновой редакции «Коляски»: «Генералу был прислан из Риги какой-то необыкновенный ром и удивительный шнапс, который тут же подавался в больших

стаканах». «Что касается в особенности до Риги, смело можно сказать, что торговля была давней и единственной благодетельницею ее...» (*Глинка Ф. Н.* Письма к другу. М., 1990. С. 218).

к стр. 460 *Ich darf Sie nicht mehr zubeunruhigen und Ihnen die theure Zeit zu berauben, die Sie den Staatsgeschtiften widmen* (*нем.*) — Не смею больше беспокоить и отнимать драгоценное время, определенное на государственные обязанности.

Из действия пятого

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым и В. И. Шенроком в 6-м томе 10-го изд. Сочинений Н. В. Гоголя (М.; СПб., 1896). Сцена из первой черновой редакции комедии. Следовала после поздравлений городничему Растаковского.

Мацапур. — Фамилия героя образована от укр. мацапура — чучело, уродина; неуклюжий, неповоротливый человек, увалень. Употребляется в «Энеиде» И. П. Котляревского: «Якусь особу мацапуру / Там шкварили на шашлику, / Горячу медь лили за шкуру / И роспинали на быку. / Натуру мав он дуже бридку, / Кривив душею для прибытку, / Чужее отдавав в печать; / Без сорома, без Бога бувши, / И восьму заповедь забувши, / Чужим пустився промышлять» (Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским. Ч. 3. С. 28).

Ясун — разговорная форма имени Иасон.

О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году

Впервые напечатано: Современник. СПб., 1836. Т. 1 (без подписи; цензурное разрешение 31 марта). Замысел статьи вызревал у Гоголя с начала 1834 г., когда вышел в свет первый номер журнала «Библиотека для Чтения», издававшегося А. Ф. Смирдиным под редакцией О. И. Сенковского и Н. И. Греча и положившего начало «торговому направлению» в русской журналистике. «Они... сделались писателями уже в наше время... когда литература стала приносить значительный доход», — замечал Гоголь в черновой редакции статьи. Пространная характеристика вышедшей «Библиотеки...» и восприятия ее различными «сословиями» содержится в письме Гоголя к М. П. Погодину от 11 января 1834 г. Непосредственное отношение к статье имеет также запись в дневнике А. С. Пушкина от 7 апреля 1834 г.: «Гоголь по моему совету начал историю русской критики». Результатом этого неосуществленного замысла и явилась опубликованная в 1836 г. статья. Поясняя в черновой редакции пространное вступление к ней, Гоголь писал: «Может быть, этот приступ... более приличен... при полной истории журнальной литературы, но покамест составится эта трудная и важная [и огромная] статья, я почел необходимым сказать это при обозрении ее в два последние года». Статья была закончена в марте 1836 г. 2 марта Гоголь писал А. С. Пушкину: «...возьмите из типографии статью о журнальной литературе. Мы с вами пребезалаберные люди

и позабыли, что туды нужно включить много из остающегося у меня хвоста».

Статья задумывалась Гоголем как программная для журнала, написанная от редакции. В черновых набросках к ней он несколько раз упоминал о себе в третьем лице («Читатели помнят разбор Н. Гоголя»; «...Сенковский... нападал очень жарко на г. Гоголя...», «...автора Миргорода и Вечеров на хуторе...»; «...сказал ли мнение свое Языков, Н. Гоголь»). Однако в двух-трех экземплярах встречается подпись Н. Гоголя в оглавлении журнала. Возможно, это связано с тем, что в качестве редакционной статья не вполне устраивала А. С. Пушкина. В третьем томе «Современника» поэт опубликовал написанное им «Письмо к издателю» (якобы присланное из Твери неким А. Б.), где подверг критике «обвинения» Гоголя «касательно г. Сенковского», а в одной из редакционных заметок к третьему тому отметил, что «издатель “Современника” не печатал никакой программы своего журнала». 14 апреля 1836 г. Пушкин писал Н. М. Языкову: «Вы получите мой Современник; желаю, чтоб он заслужил Ваше одобрение. Из статей критических моя одна: о Конисском». В 1853 г. М. П. Погодин сообщал Н. С. Тихонравову, что Пушкин говорил ему «о невозможности напечатать некоторые очень игривые» выражения в статье Гоголя «О движении журнальной литературы…» (*Тихонравов Н.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 5. С. 651). (Подробнее см. в коммент. к статье Гоголя «О “Современнике”» в т. 6 наст. изд.)

Положительный отклик на критическое выступление Гоголя был напечатан в апреле 1836 г. в газете А. Ф. Воейкова «Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду», где гоголевская статья была названа важнейшей из всех публикаций журнала: «…не… два прекрасные стихотворения <«Пир Петра Великого» А. С. Пушкина и «Ночной смотр» В. А. Жуковского>, не Роза и Кипарис <стихотворение> князя *Вяземского,* не повесть и рассказ *Гоголя* <«Коляска» и «Утро делового человека»>, от которых помираешь со смеху, не путешествие в Арзрум А. С. *Пушкина,* не умное рассуждение о рифме барона *Розена,* составляет характеристическую черту *Современника,* но *честная* и *дельная* критика, которая без ругательств, без площадных острот, не осыпая бранью подсудимого писателя, высказывает ему истины, почтительно снимает повязку с глаз публики и подает ей светозарную светочь освещения темных и позорных мест нашей журналистики» (*Смирнов П.* Новые книги // Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду. 1836. 29 апреля (цензурное разрешение 27 апреля). № 35. С. 279; с пометой: «Сергиевская пустыня. 14 апреля»).

Заглавие статьи Гоголя — «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году» — напоминает заглавие написанной ранее статьи-лекции «О движении народов в конце V века». Эта перекличка связана с представлением Гоголя о журнальной литературе (и журналисте) как новом «вожде» общества и нации в целом (см. коммент. к статье Гоголя «О “Современнике”» в т. 6 наст. изд.).

к стр. 461 *Многие старые журналы прекратились...* — В 1834 г., после напечатания отрицательного отзыва о драме Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла», по распоряжению Императора Николая I был закрыт журнал «Московский Телеграф» (издавался Н. А. Полевым совместно с братом К. А. Полевым). В 1832 г. на третьем номере был запрещен журнал «Европеец» (за статью редактора-издателя И. В. Киреевского «Девятнадцатый век»). В 1830 г. перестали выходить журналы «Московский Вестник» (редактор М. П. Погодин) и «Вестник Европы» (редактор М. Т. Каченовский).

«Московский Наблюдатель» — журнал, издававшийся в 1835–1837 гг. под редакцией В. П. Андросова. См. также коммент. к с. 471 — *В Москве... несколько литераторов решились издавать... свой журнал;* и коммент. к с. 472 — *Редактор... виден был только на заглавном листке.*

к стр. 462 *Сенковский* Осип (Юлиан) Иванович (псевдоним Барон Брамбеус; 1800–1858) — писатель, журналист, востоковед, профессор арабской и турецкой словесности в Петербургском университете.

Греч Николай Иванович (1787–1867) — журналист, издатель, беллетрист, филолог, совместно с Ф. В. Булгариным издавал газету «Северная Пчела» (с 1831 г.) и журнал «Сын Отечества» (с 1812 г.).

...господствует тон, мнения и мысли одного... — Т. е. О. И. Сенковского.

к стр. 463 *...поместил довольно большую статью о сагах...* — Подразумевается статья О. И. Сенковского «Скандинавские саги» (Библиотека для Чтения. 1834. Т. 1. Отд. 3).

...саги... Шлёцер... признал за басни... — Этот именно взгляд, разделяемый и Н. М. Карамзиным, оспоривал О. И. Сенковский.

к стр. 464 *...эти саги он ставит краеугольным камнем русской истории...* — О. И. Сенковский утверждал, что скандинавские саги являются более достоверным источником изучения истории Древней Руси, чем русские летописи. См. также коммент. к статье «О малороссийских песнях».

...Булгарин даже написал рецензию... — Речь идет о статье Ф. В. Булгарина «Об общеполезном предприятии книгопродавца А. Ф. Смирдина» (Северная Пчела. 1833. № 300).

Ничего нового не сказал он... о Востоке... — Здесь Гоголь не совсем справедлив. О Сенковском-востоковеде см.: *Крачковский И. Ю.* Очерки по истории русской арабистики. М.; Л., 1950. С. 105–109; *Данциг Б. М.* Изучение Ближнего Востока в России (XIX — начало XX в.). М., 1968. С. 50–59.

к стр. 465 *...поставил... Кукольника наряду с Гете...* — *Кукольник* Нестор Васильевич (1809–1868), драматург и беллетрист; соученик Гоголя по Нежинской гимназии. В статье о драме Кукольника «Торквато Тассо» О. И. Сенковский назвал автора «юным нашим Гете» (Библиотека для Чтения. 1834. Т. 1. Отд. 5).

...Вальтер Скотт назван шарлатаном. — Слово «шарлатанство» по адресу Вальтера Скотта (не называя прямо его имени)

О. И. Сенковский употребил в статье об историческом романе Ф. В. Булгарина «Мазепа» (Библиотека для Чтения. 1834. Т. 2. Отд. 5).

...завязал целое дело о двух местоимениях: сей и оный... — О. И. Сенковский не раз требовал исключить из употребления эти местоимения и даже напечатал «Резолюцию на челобитную сего, онаго, таковаго, коего, вышеупомянутаго, вышереченнаго, нежеследующаго, ибо, а потому, поелику, якобы и других причастных к оной челобитной, по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из русского языка» (Библиотека для Чтения. 1835. Т. 8. Отд. 6).

Это напомнило старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное і... — *Тредиаковский* Василий Кириллович (1703–1768) — поэт, филолог, академик Петербургской академии наук. В «Разговоре о правописании» (1747) предлагал ряд изменений в русской орфографии и, в частности, хотел исключить из алфавита как лишние буквы ѵ (ижицу), и (восьмеричное), оставив і (десятеричное).

...впоследствии... поддерживал один профессор... — Имеется в виду Михаил Трофимович Каченовский (1775–1842), профессор Московского университета, который в редактируемом им журнале «Вестник Европы» применял особую орфографию с употреблением ижицы и і (десятеричного) в словах греческого происхождения.

...охуждал гласно всю текущую французскую литературу. — Подразумевается статья О. И. Сенковского «Брамбеус и юная словесность» (Библиотека для Чтения. 1834. Т. 3. Отд. 1). к стр. 466

«Не любо — не слушай, а лгать не мешай» — Так назывался лубочный сборник, изданный впервые в 1787 г. и не раз переиздававшийся.

Журнал, носивший название «Сына Отечества и Северного Архива»... — Журналы «Сын Отечества» и «Северный Архив» объединились в 1829 г. Новый журнал под двойным названием редактировался Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным. к стр. 468

Название этой газеты: Литературные Прибавления к Инвалиду... — Имеется в виду газета «Литературные Прибавления к “Русскому Инвалиду”», издававшаяся в Петербурге в 1831–1836 гг. А. Ф. Воейковым, в 1837–1839 гг. — А. А. Краевским. к стр. 469

...издавался один только «Телескоп» с небольшими листками прибавления под именем «Молвы»... — «Телескоп» — журнал, издававшийся в Москве в 1831–1836 гг. Н. И. Надеждиным; в 1835–1836 гг. соредактором был В. Г. Белинский. Приложением к журналу выходила газета «Молва», главным сотрудником которой был тот же Белинский.

Воейков Александр Федорович (1778 или 1779–1839) — поэт, переводчик, критик. См. также коммент. к с. 469 — *Название этой газеты: Литературные Прибавления к Инвалиду...*

...несколько справедливых замечаний относительно его странного подражания французским писателям... — Имеется в виду статья Н. И. Надеждина «Здравый смысл и Барон Брамбеус» (Телескоп. 1834. № 19–21). к стр. 470

к стр. 471 *В Москве... несколько литераторов решились издавать... свой журнал.* — Речь идет о «Московском Наблюдателе». См. коммент. к с. 472 — *«Московский Наблюдатель»*. Основателями журнала были С. П. Шевырев, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский. Имя Гоголя также значилось в числе его ближайших сотрудников. «Журнал наш нужно пустить как можно по дешевой цене... — писал он М. П. Погодину 2 ноября 1834 г. — Этим одним только можно взять верх и сколько-нибудь оттянуть привал черни к глупой Библиотеке...»

...даже приделал свой конец к комедии Фонвизина... — *Фонвизин* Денис Иванович (1744 или 1745–1792) — русский писатель-драматург. Печатая его комедию «Корион», О. И. Сенковский добавил к ней заключительную сцену и при этом пояснил в примечании: «За неотысканием подлинного конца комедии, мы решились, для полноты действия и вящего наслаждения читателей, присоединить к ней конец, приделанный бароном Брамбеусом и А. В. Тимофеевым» (Библиотека для Чтения. 1835. Т. 13. Отд. 1).

к стр. 472 *Редактор... виден был только на заглавном листке.* — Речь идет о Василии Петровиче Андросове (1803–1841), ученом-статистике и публицисте, редакторе «Московского Наблюдателя».

к стр. 473 *«Наблюдатель» начался оппозиционною статьею г. Шевырева о торговле...* — *Шевырев* Степан Петрович (1806–1864), критик, историк литературы, профессор Московского университета. Гоголь имеет в виду его статью «Словесность и торговля» (Московский Наблюдатель. 1835. Март. Кн. 1), которая открывала журнал.

к стр. 474 *...статья, посвященная Брамбеусу...* — Речь идет о статье Н. П—щ-ва (Н. И. Павлищева) «Брамбеус и юная словесность» (Московский Наблюдатель. 1835. Июнь. Кн. 1 и 2).

к стр. 475 *Ею занялся и «Телескоп»...* — Имеется в виду статья Н. И. Надеждина «Здравый смысл и барон Брамбеус» (см. коммент. к с. 469).

к стр. 476 *Умер знаменитый шотландец...* — Подразумевается Вальтер Скотт, умерший 21 сентября 1832 г.

...опрометчивые, бессвязные, младенческие творения... следствие политических волнений... — Цитируя это утверждение Гоголя в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной», А. С. Пушкин писал: «Мы не полагаем, чтобы нынешняя раздражительная, опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений... Начало сему явлению должно искать в самой литературе» (Современник. 1836. Т. 3).

Вышли новыми изданиями Державин, Карамзин... — Имеются в виду выпущенные А. Ф. Смирдиным «Сочинения Державина» (СПб., 1833–1834. Ч. 1–4) и «Сочинения Карамзина» (СПб., 1834–1835. 4-е изд. Т. 1–9).

к стр. 478 *Богданович* Ипполит Федорович (1744–1803) — поэт.

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855) — поэт

Князь Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — поэт и критик.

...которые еще не так давно издавали журналы... — Вероятнее всего, Гоголь имеет в виду здесь Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856), критика и публициста, издателя журнала «Европеец» (см. коммент. к с. 461 — *Многие старые журналы прекратились...*). к стр. 479

<Рецензии, помещенные в «Современнике»>

Впервые напечатано: Современник. 1836. Т. 1 (без подписи). Написано, вероятно, в феврале–марте 1836 г.

В первой книге «Современника» в отделе «Новые книги» названо 60 книг. Из них двенадцать рецензированы. Две рецензии принадлежат А. С. Пушкину, из остальных десяти восемь, бесспорно, — Гоголю (черновые тексты их находятся в его записной тетради). Оставшиеся две заметки, возможно, тоже написаны Гоголем:

«*История Средних веков,* составленная берлинским профессором Циммерманом. СПб., 1836.

Непонятно, отчего у нас переводчики из множества оригинальных сочинений выбирают именно худшее. У нас не переведены до сих пор Гизо, Тиери, Гюльман и проч.

Первый день Светлого Праздника, соч. Л. Я. СПб., в Гуттенберговой типогр. 1836, в 16 д., с. 172.

Не много есть детских книг, написанных таким чистым и приятным слогом».

Вероятно, Гоголю принадлежит и заключительная заметка к отделу «Новые книги»:

«Вот книги, вышедшие в продолжение первой четверти сего года. О большей части их мы ничего не говорили, потому что о них решительно ничего нельзя сказать. Иные по значительности своей требуют особого разбора. Иные, взятые отдельно, не принадлежат собственно к словесности, которой преимущественно посвящен журнал наш, но, будучи сложены в общий итог книг, входят таким образом в область литературы и в этом отношении получили здесь место. Из сего реестра книг ощутительно заметно преобладание романа и повести, этих властелинов современной литературы. Их почти вдвое больше против числа других книг. Беспрерывным появлением в свет они, несмотря на глубокое свое ничтожество, свидетельствуют о всеобщей потребности. История заглядывает урывками в русскую литературу. Капитальных и больших исторических сочинений нет ни в переводах, ни в оригиналах. На статистику и экономию одни намеки. Даже в знаниях практических, не вторгающихся в быт литературный, заметно тоже мелководие».

Исторические афоризмы Михайла Погодина

Погодин Михаил Петрович (1800–1875), профессор Московского университета, писатель и журналист. С историческими афоризмами М. П. Погодина Гоголь впервые познакомился по публикации в т. 1 «Библиотеки для Чтения» за 1834 г. 11 января 1834 г. он писал Погодину: «...я прочел... изо всего № 1-го Брамбеуса твои Афоризмы. Мне с тобою хотелось бы поговорить о них. Я люблю всегда у тебя читать их, потому что или найду в них такие мысли, которые верны и новы, или же найду такие, с которыми хоть и не соглашусь иногда, но они зато всегда наведут меня на другую новую мысль. Да печатай их скорей!»

В черновой редакции рецензии содержалось несколько критических замечаний в адрес М. П. Погодина. А. С. Пушкин писал ему 14 апреля 1836 г.: «Статья о ваших афоризмах писана не мною, и я не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть. Не сердитесь на меня, если вы ею недовольны».

к стр. 483 *Иоанн Златоуст* (ок. 350–407), святитель, вселенский Учитель и Отец Церкви, архиепископ Константинопольский. Память его совершается 27 и 30 января и 13 ноября (ст. ст.).

Григорий Назианзин (Богослов; ок. 329–389) — святитель, один из Отцов и Учителей Церкви; епископ г. Назианза (Малая Азия), архиепископ Константинопольский. Память его совершается 25 января (ст. ст.).

Карл Великий (742–814) — франкский король с 768 г., с 800 г. — император; покровительствовал Церкви, основал обширную империю, распавшуюся после его смерти.

...Крестовый поход был подвинут... Амиенским пустынником... — Имеется в виду Петр Пустынник (1050–1115), французский монах, один из вдохновителей первого Крестового похода. См. также коммент. к с. 181 — *...епископы, пустынники с крестами в руках предводят несметными толпами...*

Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь

Автор рецензируемой брошюры — Яков Николаевич Озерецковский (1804–1864) — совершил плавание по Белому морю летом 1835 г.

Походные записки артиллериста...

Автор книги — Илья Тимофеевич Радожицкий (1788–1861), участник походов 1812–1816 гг. Записки его ранее печатались в «Отечественных Записках» (1823, 1824, 1826 гг.) и «Московском Телеграфе» (1831).

Письма леди Рондо...

Леди Рондо (1699–1783) жила в России с 1731 по 1739 г. к стр. 485 Ее письма были изданы в Лондоне в 1775 г. Перевод книги (неполный и неточный) принадлежит Михаилу Ивановичу Касторскому (1809–1866; впоследствии профессор истории Петербургского университета).

Петр II (1715–1730) — российский Император с 1727 г., сын царевича Алексея Петровича.

Императрица Анна Иоановна (1693–1740) — российская Императрица с 1730 г., племянница Петра I.

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1722) — граф, фаворит Императрицы Анны Иоанновны.

Путешествие вокруг света...

Автор книги — французский мореплаватель и океанограф Ж. С. Дюмон-Дюрвиль (1790–1842), совершивший в 1822–1829 гг. два кругосветных плавания. «Путешествие...» представляет собой беллетризованный свод записок путешественников-мореплавателей, в том числе русских. Французское издание — Париж, 1834. Перевод на русский язык сделан Александром Павловичем Башуцким (1803–1876), прозаиком, журналистом и издателем. Книга издана с посвящением: «Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу Великому Князю Александру Николаевичу с благоговением посвящается».

В Москве это же самое сочинение начал переводить г. Полевой. Он к стр. 486 *выдал уже один том...* — Подразумевается «Всеобщее путешествие вокруг света, содержащее извлечения из путешествий известнейших доныне мореплавателей... составленное Дюмон-Дюрвилем...» (М., 1835. Ч. 1). Издание было предпринято Николаем Алексеевичем Полевым (1796–1846) и осталось незавершенным. Кс. А. Полевой в третьей части своих «Записок о жизни и сочинениях Н. А. Полевого» рассказывает о неудачной судьбе этого предприятия: выходу дальнейших томов помешало издание книги А. А. Плюшара. См.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. <Л., 1934>. С. 334.

Атлас к космографии...

Автор атласа — Александр Григорьевич Ободовский (1796–1852) — профессор Главного педагогического института.

...вышедшей за два года пред сим космографии... Ободовско- к стр. 486 *го.* — Речь идет о сочинении А. Г. Ободовского «Начальные основания Космографии, или Описание устройства вселенной» (СПб., 1834).

Мое новоселье...

Владелец типографии В. К. Крыловский назвал изданный им альманах в подражание смирдинскому «Новоселью».

к стр. 487 *Когда-то Дельвиг издавал благоуханный свой альманах!* — *Дельвиг* Антон Антонович (1798–1831), поэт, критик, журналист, издатель альманаха «Северные Цветы» (1825–1831).

Туманский Василий Иванович (1800–1860) — поэт.

В оглавлении... стоят имена... Крыловского, Грена... — В «Моем новоселье» напечатан рассказ Крыловского «Добрая дочь, или Черты из семейной жизни (Истинное)». *Грен* Александр Евгеньевич (ок. 1806 — не ранее 1868–1869, возможно, 1880) — поэт и журналист. В альманахе ему и его брату Николаю Евгеньевичу принадлежат несколько произведений.

Сорок одна повесть лучших иностранных писателей...

Издатель книги — Николай Иванович Надеждин (1804–1856), профессор Московского университета, критик и публицист.

<Рецензии, не вошедшие в «Современник»>

Впервые напечатано: Сочинения Н. В. Гоголя /Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Изд. 10-е Т. 6. М.; СПб., 1896.

Написано в феврале–марте 1836 г. для библиографического отдела «Новые книги» первого тома «Современника» (1836). Все книги, отрецензированные Гоголем, имеются в этом перечне. При трех названиях в журнале («Русские классики», «История поэзии» С. Шевырева, «Воспоминания о Сицилии» А. Черткова) поставлена звездочка, а заголовок отдела сопровожден сноской: «Книги, означенные звездочками, будут впоследствии разобраны». По поводу этой сноски в третьем томе «Современника» А. С. Пушкин написал редакционную заметку: «Обстоятельства не позволили издателю лично заняться печатанием первых двух нумеров своего журнала; вкрались некоторые ошибки, и одна довольно важная, происшедшая от недоразумения: публике дано обещание, которое издатель ни в каком случае не может и не намерен исполнить — сказано было в примечании к статье "Новые книги", что книги, означенные звездочкою, будут со временем разобраны. В списке вновь вышедшим книгам звездочкою означены были у издателя те, которые показались ему замечательными, или которые намерен он был прочитать; но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике: многие не входят в область литературы, о других потребны сведения, которых он не приобрел».

<Летописи русской славы...>

...портреты императоров и великих генералов. — К книжке приложены шесть литографированных портретов работы И. К. В. Роде. к стр. 488

<Детский Карамзин...>

Книга предназначалась для детей и представляет собой литографированные рисунки художника Бориса Артемьевича Чорикова (1807–1862) с пояснительным текстом журналиста и переводчика Владимира Михайловича Строева (1812–1862). Издание выходило ежемесячно по пять литографированных листов в одном выпуске.

<Русские классики. Часть I. Кантемир>

Сочинения Д. К. Кантемира открывали серию, задуманную графом Д. А. Толстым, Гр. В. Есиповым и М. А. Языковым. Цель издания объясняется в следующем объявлении: «...мы решились издать Русских классиков, сделавшихся уже собственностию публики, в виде столь ныне употребительных тетрадей (livraisons). Это, облегчая издателей, представляет удобство дешевизны для подписчиков. Тетради выходят по одной, по две и более в месяц. Каждая тетрадь, в красивой цветной обертке, заключает в себе до двух печатных листов». Серия прекратилась на первых выпусках. Сочинениям Кантемира предпослана статья, подписанная Г. Д. Т. (граф Д. Толстой).

Плюшар издает «Путешествие вокруг света» Дюмон Дюрвиля. — *Плюшар* Адольф Александрович (1806–1865) — известный петербургский издатель. См. также коммент. к с. 486 — *В Москве это же самое сочинение начал переводить г. Полевой. Он выдал уже один том...* к стр. 488

<История поэзии... Шевырева...>

А. С. Пушкин намеревался написать рецензию на эту книгу, но замысел остался в черновиках. См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 12. М., 1949. С. 65.

<Он и она>

Автор романа — поэт и беллетрист Михаил Ильич Воскресенский (1803–1867). Роман переиздан в 1858 г.

Орлов Александр Анфимович (1791–1840) — автор многочисленных повестей и романов, часть из которых была написана как продолжение булгаринских романов о Выжигине. Произведения Орлова в 1830-х гг. служили мишенью для насмешек литературных критиков, особенно Булгарина. А. С. Пушкин иронически к стр. 490

сравнивал двух «гениев» — Булгарина и Орлова в памфлетах «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», напечатанных в 1831 г.

<Недовольные. Комедия... М. Н. Загоскина>

Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), беллетрист и драматург, директор Императорских московских театров; познакомился с Гоголем летом 1832 г. См. об этом в мемуарах С. Т. Аксакова (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 89–91).

<Путешествие к Святым Местам...>

Автор книги — иеродиакон Свято-Троицкой Сергиевой лавры Иона, совершил паломничество к Святым Местам по предложению приезжавшего в Москву Иерусалимского патриарха Паисия. Получив разрешение от царя Алексея Михайловича, он в 1649 г. вместе с патриархом Паисием выехал в Молдавию и пробыл с ним два года в монастыре Терговице. В 1651 г., во время Великого поста, иеродиакон Иона отправился в Иерусалим и спустя четыре месяца вернулся через Царьград в Москву. Издал книгу Михаил Андреевич Коркунов (1806–1858), преподаватель географии в Московском университетском благородном пансионе, в 1835 г. в связи с отъездом профессора М. П. Погодина за границу преподавал всеобщую историю.

<Описание Прусского государства...>

Автор книги Ардалион Васильевич Иванов (1805–1853), преподаватель русского языка в Горном институте и Императорском училище правоведения.

<Указатель губернских и уездных почтовых дорог...>

Книга представляет собой обыкновенный путеводитель.

<Основание Москвы...>

Автор романа студент Московского университета И. Курышев (см.: *Рейтблат А. И.* Библиограф и архивы: атрибуция книг первой половины XIX в. // Советская библиография. 1987. № 2. С. 43).

<Убийственная встреча...>

Автор книги не установлен.

<Картины мира...>

Имеется в виду издание: Картины мира, или Полезное и приятное чтение для юношества. Иждивение книгопродавца Е. Эггерса

в Ревеле. Ч. II. СПб., 1836 (цензурное разрешение 8 февраля). Автор книги — писатель и переводчик Евстафий Иванович Ольдекоп (1786–1845). Первая часть книги вышла в Петербурге в 1834 г. (цензурное разрешение 5 декабря).

Фоблаз (Фоблас) — Имеется в виду герой фривольного романа французского писателя Луве де Кувре (1760–1797) «Любовные похождения кавалера де Фобласа» (Т. 1–13. 1787–1790; в рус. переводе — «Приключения шевалье де Фобласа». СПб., 1792–1796). Ср. в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина: «Его ласкал супруг лукавый, / Фобласа давний ученик, / И недоверчивый старик, / И рогоносец величавый...» (Гл. I, строфа XII). к стр. 494

Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ. О Канте Гоголь упоминает в статье «Христианин идет вперед» (1846): «Перебери всех философов и первейших всесветных гениев: лучшая пора их была только во время их полного мужества; потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти».

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854) — немецкий философ.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий философ.

О́кен (наст. фамилия Оккенфус) Лоренц (1779–1851) — немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, ученик Шеллинга.

<Детский павильон>

Автор книги Борис Михайлович Федоров (1798–1875).

<Прекрасная астраханка...>

Автор романа лубочный писатель Николай Ильич Зряхов (1782, по др. сведениям 1786 — конец 1840-х гг.).

<Обозрение сельского хозяйства удельных имений...>

Автор книги Матвей Андреевич Байков (1800–1849), ординарный профессор сельского хозяйства и домоводства Харьковского университета. В начале 1832 г. он был назначен директором новоучрежденного Удельного земледельческого училища в Петербурге и лично обозревал большую часть удельных имений относительно их хозяйства. Книга содержит сведения о климате и почве земли, состоянии земледелия, обычаях крестьян и употребляемых ими земледельческих орудиях. Первая часть рецензии представляет собой краткий конспект первой главы книги, вторая — собственные размышления Гоголя.

к стр. 496 *...удельные имения...* — Государственные, определенные на содержание Императорской фамилии.

Остзейские (от *нем.* Ostsee — Балтийское море) — прибалтийские.

к стр. 497 *Большое количество мергелю представляет средство для удобрения.* — *Мергель* — осадочная известковая горная порода. «Рухляк, мергель» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

к стр. 498 *...имеет самые бедные потребности.* — Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь устами помещика Костанжогло открыто возражает против введения в быт крестьянина соблазнительных «улучшений»: «Вот что стали говорить: “Крестьянин ведет уж очень простую жизнь; нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состоянья”. Что сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди... так хотят теперь и этих заразить».

...а побывавши в городе, русской человек уже бросает земледелие и делается промышленником... — О прочной связи русского крестьянина с землей Гоголь говорил в 1846 г. при встрече с П. В. Анненковым в Бамберге: «Вот начали бояться у нас европейской неурядицы — пролетариата... Думают, как из мужиков сделать немецких фермеров... (речь, вероятно, шла о формировании нового взгляда на земледелие как доходное ремесло. — *И. В., В. В.).* А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав свою землю; некоторые ложатся на землю и целуют ее, как любовницу. Это что-нибудь да значит?.. Об этом-то и надо поразмыслить» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 109).

к стр. 499 *Земледел добрый, крепкий корень государства в политическом и нравственном отношении... ремесленник человек продажный... сегодня здесь, завтра там...* — 17 марта 1834 г. Гоголь писал матери, пытавшейся завести в своем имении кожевенную фабрику: «...я советовал вам... стараться... прежде обучить собственных несколько человек: тогда основание ее, фундамент, будут тверже, прочнее. Нанятые сегодня здесь, завтра Бог знает где... Я уже не говорю о том, что нанятые мастеровые всегда приносят с собою разврат...» См. также коммент. к статье «О движении народов в конце V века».

<Правила построения мореходных и речных пароходов>

Автор книги Василий Иванович Берков (1795–1840), ученый-кораблестроитель, начальник Петербургской городской верфи.

<Полная ручная кухмистерская книга...>

Автор книги Герасим Степанов, как он сам себя аттестует, повар с «40-летней практикой по кондитерской и поварской части».

<Торговый адрес-календарь...>

Книга представляет собой торговый справочник, состоящий из сорока глав. Из них шесть автор именует «идеями» («Идеи о распространении шелководства» и др.). Именно эти главы Гоголь, вероятно, и называет «проектами не без достоинств».

Петербургская сцена в 1835—36 г.

Впервые напечатано: Сочинения Н. В. Гоголя /Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Изд. 10-е Т. 6. М.; СПб., 1896.

Написано в конце апреля 1836 г. после первой постановки «Ревизора», состоявшейся 19 апреля. Статья, вероятно, создавалась одновременно с первоначальной редакцией «Театрального разъезда» (с которой обнаруживает прямые переклички) и готовилась для пушкинского «Современника». По ее содержанию Пушкиным Гоголю был высказан ряд замечаний (в частности, по поводу Мольера, которое Гоголь учел). В переработанном виде вошла в «Петербургские записки 1836 года». Об отношении статьи к содержанию «Ревизора» см. в наст. изд. сопроводит. статью к т. 4.

...подделываться под шарканье петиметра... — *Петиметр* к стр. 502
(*фр.*) — щеголь.

...чулки à jour... (*фр.*) — Ажурные.

Теренций (ок. 195–159 до Р. Х.) — римский комедиограф. к стр. 504

...о двух неподдельных талантах: о Петрове и о Воробьевой. — к стр. 505
Петров Осип Афанасьевич (1806–1878) — выдающийся русский певец, «могучий бас» — по отзыву М. И. Глинки. *Воробьева-Петрова* Анна Яковлевна (1816–1901) — знаменитая русская оперная певица (контральто).

«Роберт» — «Роберт-дьявол», опера Д. Мейербера (см. коммент. к с. 397 — *...из «Роберта»...*). Д. Мейербер является создателем стиля «большой оперы», требовавшей значительного числа участников и пышной постановки.

«Норма» — опера итальянского композитора В. Беллини (1801–1835). В России поставлена в 1835 г.

«Фенелла» — см. коммент. к с. 415 — *«Фенелла»*.

«Семирамида» — опера итальянского композитора Дж. Россини (1792–1868).

...чиновник, совершенно похожий на то отношение, которое он к стр. 506
пишет... — Характеристика связана с именем героя «Сказки о том, по какому случаю Коллежскому Советнику Ивану Богдановичу Отношению не удалось в Светлое Воскресение поздравить своих начальников с праздником» князя В. Ф. Одоевского: «Коллежский Советник Иван Богданович Отношенье в течение 40-летнего служения своего в звании Председателя какой-то временной комиссии провождал жизнь тихую и безмятежную... не ломая голову

понапрасну, очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие» (<*Одоевский В. Ф.*, кн.> Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою... СПб., 1833. С. 77–78).

к стр. 507 *...«Венецианская актриса», драма Гюго...* — «Венецианская актриса. Драма в 3 сутках, 4 отд. В. Гюго» (пер. М. Самойловой). В России поставлена в 1835 г.

Каратыгина Александра Михайловна (1802–1880) — актриса петербургской драматической труппы с 1820 по 1853 г.

«Мономан», «Живая покойница» — драмы, переведенные В. А. Каратыгиным в 1835 и 1836 гг.

«Честолюбец» — драма в переводе Н. П. Мундта (1836).

Каратыгин Петр Андреевич (1805–1879) — актер петербургской труппы с 1820 по 1853 г.

...безграничной любви к царю... для которого бы он и жизнь... готов принесть, как незначащую жертву. — Ср. в «Размышлениях о Божественной Литургии» (1843–1852): «Поклоненье отдается нами и земным властям; обожанье, уваженье, покорность мы воздаем и людям, но жертву — единому Творцу». См. также коммент. к с. 518 — *«Жизнь за Царя».*

к стр. 510 *«Восстание в серале»* — балет Ф. Тальони (1777–1871), поставленный в Петербурге в 1835 г.

Петербургские записки 1836 года

Впервые напечатано: Современник, литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его в пользу его семейства. СПб., 1837. Т. 6 (подпись: * * *; цензурное разрешение 2 мая).

Каждая из частей статьи первоначально мыслилась Гоголем как самостоятельное произведение. Первая часть — «Петербург и Москва (Из записок Дорожного)» — закончена в конце февраля — начале марта 1836 г.; вторая — «Петербургская сцена в 1835–36 г.» — в конце апреля того же года. Вероятно, обе они готовились для пушкинского «Современника». В журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета сохранилась выписка из протокола от 10 марта 1836 г., заключающая перечень изменений, сделанных цензором Н. И. Крыловым в статье «Петербург и Москва (Из записок Дорожного)», предназначавшейся для напечатания (без имени автора) в первом томе «Современника» (см.: Оксман Ю. Москва и Петербург. Неизвестная страница Гоголя // Лит. Ленинград. 1934. 31 марта. № 15. С. 3). Не до конца проясненным является вопрос о том, имел ли в виду А. С. Пушкин Гоголя, когда писал в неозаглавленной статье о А. Н. Радищеве (в современных изданиях: «Путешествие из Москвы в Петербург»): «Кстати, я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости» (глава

«Москва», 1835; статья была известна Гоголю в рукописи; см. его письмо к С. Т. Аксакову от 22 декабря (н. ст.) 1844 г.). Далее в пушкинской статье следует название «Москва и Петербург», на котором глава обрывается. Дорабатывались «Петербургские записки...» в конце 1836-го — начале 1837 г.

Дистанция огромного размера!.. — Из диалога Фамусова и Скалозуба в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «...а, батюшка, признайтесь, что едва / Где сыщется столица, как Москва. — Дистанции огромного размера» (Действие 2, явление 5). к стр. 514

Дюканж В. (1783–1833) — французский драматург, автор популярных мелодрам «Тридцать лет, или Жизнь игрока», «Смерть Каласа» и др. к стр. 516

О Мольер, великий Мольер! ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры... — В первоначальной редакции статьи — «Петербургской сцене в 1835–36 г.» — характеристика Мольера была иной: «...сам Мольер на сцене теперь длинен, со сцены скучен. Его план обдуман искусно, но он обдуман по законам старым...» Вероятно, именно за эти строки Гоголь получил «выговор» от Пушкина, вследствие чего изменил характеристику Мольера в окончательной редакции. П. В. Анненков (которому статья «Петербургская сцена в 1835–36 г.» не была известна) сообщал, что «слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру: “Пушкин, — говорил Гоголь, — дал мне порядочный выговор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму и что куда бы он ни положил добро свое, — бери его, а не ломайся”» (*Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 332).

«Жизнь за Царя» («Иван Сусанин») — опера Михаила Ивановича Глинки (1804–1857), первое представление которой состоялось в Петербурге на открытии Большого театра после его перестройки 27 ноября 1836 г. Вспоминая позднее о подвиге Ивана Сусанина, Гоголь писал в статье «О лиризме наших поэтов» (1846): «Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным». См. также коммент. к с. 508 — *...безграничной любви к царю... для которого бы он и жизнь... готов принесть, как незначащую жертву.* к стр. 518

...на Адмиралтейской площади... вывеска на угольном балагане, на котором нарисован был пребольшой рыжий черт с топором в руке. — В то время, когда были опубликованы «Петербургские записки 1836 года», по всей России еще была свежа память о страшном пожаре увеселительного балагана И. А. Лемана на Адмиралтейской площади, случившемся на Масленицу 2 февраля 1836 г. — к стр. 523

в огне которого погибло 127 человек и тяжело пострадало 32. В тот день сам «Государь Император изволил прибыть на место бедствия» и «принял в судьбе страждущих истинно родительское участие» (<*Смирнов П.*> *С. П.* Внутренние Известия // Русский Инвалид, или Военные Ведомости. 1836. 5 февраля. № 33. С. 131). (После пожара Леман перенес свои представления в цирк у Симоновского моста и продолжил их уже на Светлой седмице того же года.) О «страшном леманском пожаре» Гоголь упоминал в письме к Н. Д. Белозерскому от 21 февраля 1836 г. и, чуть ранее, в письме к матери от 10 февраля: «Я к вам пишу, выпроводивши Масленицу, которая была здесь не так шумна, потому что смущена была несчастным приключением. Во время представления сгорел балаган со всеми зрителями, из которых едва половину могли спасти. Это много помешало всеобщей веселости, которая всегда бывает в это время». (Подробнее см.: *Виноградов И. А.* Пьеро, Коломбина и Арлекин: К истории создания «Тараса Бульбы» и «Ревизора» Н. В. Гоголя // Русская литература. 1999. № 1. С. 36–44).

<Письмо из Рима к редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу>

Впервые напечатано: <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854. Автограф письма не сохранился. Текст печатается по изд.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. <Л.>, 1952. Т. 11. Из эпистолярного наследия Гоголя в число художественных произведений включается впервые.

О предполагаемой публикации Гоголем настоящего письма и о прохождении его в 1838 г. в цензуре сохранились свидетельства П. А. Кулиша и В. И. Шенрока. По словам Кулиша (появлявшихся в печати трижды, без изменений), «Гоголь тщательно переписал это письмо для печатания, и оно было уже подписано цензором; но, по некоторым особенным обстоятельствам, печатание его было отменено автором» (<*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Опыт биографии Н. В. Гоголя. С. 100; см. также: <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 197; *Гоголь Н. В.* Сочинения и письма. Т. 5. Письма, с 1820 по 1842 год. Издание П. А. Кулиша. СПб., 1857. С. 330). В. И. Шенрок, комментируя дату при письме — «2 ноября 1837 г.», также замечал: «Эта дата, значащаяся на копии письма, переписанного для цензуры (Гоголь предполагал напечатать это письмо целиком), подвержено сомнению. Кулиш относит это письмо к 1838 году, но пометка цензора показывает, что оно могло бы принадлежать разве самому началу его» (Письма *Н. В. Гоголя.* Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>, Т. 1. С. 460). (Замечание Шенрока связано с тем, что письмо, напечатанное сначала Кулишом в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...» и «Записках о жизни Н. В. Гоголя...» как относящееся к 1837 г., получило позднее, в изданных

им «Сочинениях и письмах Н. В. Гоголя», ошибочную датировку — 1838 г.)

Упомянутую «пометку цензора» Шенрок привел в примечании к последним строкам письма: «Внизу страницы пометка: "28 марта 1838 г. Цензор А. Никитенко"» (Там же. Т. 1. С. 462). Одно из цензурных исправлений красными чернилами Шенрок отметил, комментируя заключительное слово фразы: «Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к Божеству»: «У Кулиша: "к Богу"; кроме того, кто-то красными чернилами наметил здесь изменение для цензуры: "к небу"» (Там же. С. 461). Эта цензурная правка (возможно, принадлежавшая А. В. Никитенко) нашла отражение в изданиях Кулиша: в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...» напечатано: «к небу»; в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» и в «Сочинениях и письмах Н. В. Гоголя» — «к Богу».

Обозначенные в послании место и время его создания — «Рим. 2 ноября 1837 г.» имеют, несомненно, отношение к реальным времени и месту (хотя отчасти условное), но, кроме того, носят еще знаковый, «обобщающий» характер. 2 ноября 1837 г., как по европейскому, так и по русскому стилю, Гоголя в Риме не было. При этом, как можно предположить, поставленная на письме дата не является одной из встречающихся порой у Гоголя в датировках ошибок: трудно допустить такую явную описку в произведении, подготовленном для печати.

День, которым датировано письмо, — 2 ноября (н. ст.) 1837 г., относится ко времени пребывания Гоголя в Женеве. Именно там и именно тогда, в начале ноября (н. ст.) 1837 г., Гоголь, по его свидетельству в апрельском письме к М. П. Балабиной 1838 г., получил от Государя деньги, за которые благодарит в послании, подготовленном к публикации. (О материальной помощи, оказанной Гоголю Императором Николаем Павловичем в 1837 г., см. коммент. к письму Гоголя к Государю от 18 апреля (н. ст.) 1837 г. в т. 11 наст. изд.) В двадцатых числах (н. ст.) ноября 1837 г. Гоголь выехал из Женевы и вернулся в Рим в конце ноября (н. ст.) 1837 г.

«Неточное» указание на местопребывание отправителя объясняется, по-видимому, тем, что Государь посылал Гоголю деньги именно в Рим (не в Женеву). В Женеве деньги только «нашли» Гоголя, пересылаемые по его следам по Европе из одного русского посольства в другое. Потому-то «естественнее» публикуемое в журнале письмо с благодарностью было означить тем местом, куда Государь направлял помощь. Где деньги были получены на самом деле, в данном случае не имело значения. Излишне было бы отвлекать читателя ненужными подробностями. Напротив, имело значение обратное: где бы ни было написано письмо, за возможность жить в Италии предпочтительнее было благодарить из Италии (Гоголь благодарит в письме именно за это). Странно было бы, если за пребывание в Риме благодарили не из Рима (Гоголь покинул Рим, опасаясь обычной там летом холеры).

По-видимому, 2 ноября (н. ст.) 1837 г. — наиболее вероятная дата получения Гоголем векселя в Женеве. Гоголь оставляет эту дату в письме, очевидно, потому, что она ему дорога. Вполне возможно, она же отражает и реальное время создания письма (но отправлено письмо было, вероятно, позднее 30 ноября (н. ст.) 1837 г.; см. коммент. к письму Гоголя к Н. Я. Прокоповичу от 30 ноября (н. ст.) в т. 11 наст. изд.). С другой стороны, местом отправления послания должен быть, по указанным причинам, непременно Рим. Этими обстоятельствами и объясняется появление в письме «обобщающей», но не точной пометы: «Рим. 2 ноября 1837 г.» Помещать это письмо среди других писем Гоголя (как это было принято до настоящего издания), очевидно, ошибочно. Под эпистолярной формой обращения к частному лицу письмо являет собой произведение с особым замыслом, адресованное широкому кругу читателей и, конкретно, Государю. Именно такой жанр изберет позднее Гоголь для обращения ко всей России в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Главное содержание письма — заключенная в нем благодарность Государю — открытое выражение верноподданнических чувств. Этим Гоголь начинает и заканчивает свое послание. По-видимому, причиной отказа от его публикации и стало нежелание вызывать тогда на себя шквал возмущения и негодования либеральной критики — с какими были встречены позднее «Выбранные места из переписки с друзьями». Ко времени написания настоящего письма Гоголь еще не был создателем «Мертвых душ» — и не имел такого авторитета, чтобы, с одной стороны, противостоять этому неистовству, с другой, — обладать правом публичного обращения к Государю.

Вероятны и другие причины, по которым письмо осталось ненапечатанным, но очевидно то, что открыть свое подлинное лицо как писателя и гражданина, освободив себя и свои произведения от наросшей на них коросты произвольных интерпретаций радикальной критики (прежде всего В. Г. Белинского), Гоголь задумал уже тогда — за девять лет до издания своей итоговой книги. (Подробнее см. об этом в сопроводит. статье к т. 6 наст. изд.)

Наиболее вероятным изданием для публикации письма в апреле 1838 г. следует предположить «Современник» П. А. Плетнева, которому было адресовано письмо и который с этого года стал единственным редактором журнала. Несколькими месяцами ранее, весной 1837 г., Гоголь отправил в «Современник» «Петербургские записки 1836 года». (Издателями и редакторами журнала были: в 1836 г. — А. С. Пушкин; в 1837 — В. А. Жуковский и князь П. А. Вяземский, «с некоторыми другими литераторами», с 1838 по 1846 г. — П. А. Плетнев.) (Подробнее о публикациях и сотрудничестве Гоголя с А. С. Пушкиным и П. А. Плетневым в журнале «Современник» см. коммент. к статье «О Современнике» в т. 6 наст. изд.)

Князь Вяземский очень справедливо сравнивает Рим с большим прекрасным романом… — 25 июня (н. ст.) 1838 г. Гоголь писал самому князю П. А. Вяземскому: «Живя в Риме, я припомнил все то, что вы говорили мне о нем. Все это справедливо, так же как и верное ваше сравнение его с Неаполем. Я читаю этот роман каждый день с новым и новым наслаждением и, как в картине старинного автора, я в нем отыскиваю каждый день новое и только говорю: как много нового в старом и куды как больше, нежели в самом новом!» к стр. 525

…когда-нибудь вы увидите записки, в которых… впечатления души моей, где она вылила признательные движения свои, которых не могла бы излить открыто, не нарушая тонкой разборчивости тех, кому в глубине ее сожигается… пламень благодарности. — Автобиографические «записки», о которых говорит Гоголь, до нас не дошли. О том, кому тогда не мог «излить открыто» Гоголь свою благодарность (Государю), позволяет судить его письмо к В. А. Жуковскому, отправленное в те же дни: «Я получил данное мне великодушным нашим Государем вспоможение. Благодарность сильна в груди моей, но излияние ее не достигнет к его престолу. Как некий бог, он сыплет полною рукою благодеяния и не желает слышать наших благодарностей. Но, может быть, слово бедного при жизни поэта дойдет до потомства и прибавит умиленную черту к его царственным доблестям… Если бы вы знали, с какою радостью я… полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию» (письмо от 30 ноября (н. ст.) 1837 г.; датировка письма уточнена). к стр. 526

Ночи на вилле

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856. Т. 1). Написано в июне 1839 г.

«Ночи на вилле» носят отчасти автобиографический характер и повествуют о последних днях жизни графа Иосифа Михайловича Виельгорского (1816–1839), скончавшегося от чахотки, почти на руках Гоголя, 2 июня (н. ст.) 1839 г. на загородной римской вилле княгини З. А. Волконской Челлимонтана. Жена С. П. Шевырева Софья Борисовна на следующий день, 3 июня (н. ст.) 1839 г., писала мужу: «Все кончилось для графа Иосифа; душечка, он умер вчера между 7 и 8 часами пополудни, кажется, без больших мучений. Княгиня, аббат Жерве и господин Pavey в его предсмертные минуты были вместе с отцом (речь идет об отце Иосифа графе Мих. Ю. Виельгорском, а также о В. Паве, воспитаннике княгини З. А. Волконской. — *И. В., В. В.*). Господин Pavey был последним, с кем он говорил, он сказал ему: “Как трудно душе отойти от тела”. Гоголь ушел часом раньше и пришел только после его смерти» (цит. по автографу, в пер. с фр. Е. В. Балдиной; *РГАЛИ*. Ф. 563. Оп.1. Ед. хр. 48; опубл., с пропусками и неточностями: *Лямина Е. Э., Самовер Н. В.* «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. М., 1999. С. 441–442).

Иосиф Виельгорский был старшим сыном графа Михаила Юрьевича и Луизы Карловны (рожд. герцогиня Бирон) Виельгорских. Рос и обучался совместно с великим князем Александром Николаевичем (впоследствии Император Александр II) под руководством В. А. Жуковского. Окружающие видели в юном графе в будущем «правую руку царя» (*Шик А.* Гоголь в Ницце. Paris, 1946. С. 16). Сам Гоголь отзывался о нем как о «муже, который бы украсил один будущее царствование Александра Николаевича» (письмо к А. С. Данилевскому от 5 июня (н. ст.) 1839 г.). Такого же мнения были и наставники наследника.

Говоря о взаимоотношениях Гоголя с графом Иосифом Виельгорским, следует иметь в виду важное обстоятельство. Как известно, Гоголь всегда стремился расширить круг своего влияния на общество. Литературное поприще ему самому представлялось лишь одной из форм государственного служения. Именно с этим стремлением и связана, в частности, его педагогическая деятельность — сначала в Патриотическом институте, затем — в Петербургском Императорском университете. В 1847 г., уже будучи именитым известным писателем, Гоголь в «Авторской исповеди» признавался: «Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще... в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем... мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что... все это доставит служба государственная».

Среди заветных чаяний Гоголя было вполне понятное при таком образе мыслей желание стать, подобно В. А. Жуковскому и П. А. Плетневу, одним из наставников будущего наследника престола. Побуждая в 1842 г. П. В. Нащокина сделаться воспитателем сына богатого откупщика Д. Е. Бенардаки, Гоголь, в частности, замечал: «Вспомните, что тому, кого вы образуете, предстоит поприще большое... Уже одни богатства дадут ему всегда возможность иметь сильное влияние в России... Может быть, счастье многих будет зависеть от вас». Ранее, в октябре 1841 г., Гоголь, имея в виду широкий круг деятельности, открывающийся человеку, наделенному талантом, писал В. А. Жуковскому: «...помочь таланту значит помочь не одному ближнему, а двадцати ближним вокруг».

Вполне понятно, что и на графа Иосифа Виельгорского Гоголь, помимо личной симпатии, не мог не смотреть, подобно многим, как на одного из соучеников и будущих сподвижников наследника. Об этом может свидетельствовать, в частности, тот факт, что и спустя несколько лет после смерти Иосифа, в конце 1840-х — начале 1850-х гг., Гоголь питал надежды получить место воспитателя при Дворе — уже при сыне наследника, великом князе Николае Александровиче (1843–1865). Художник М. И. Железнов вспоминал, как незадолго до смерти писателя, в конце декабря 1851 г., слышал переданное Гоголю кем-то из друзей извещение, что «место,

которое он желает получить при детях наследника, уже занято и что ему нельзя получить этого места» (Заметка о К. П. Брюллове (из воспоминаний *М. И. Железнова*) // Живописное Обозрение. 1898. № 32. С. 643). В свою очередь, В. Г. Белинский — не понимавший и не принимавший основных мотивов гоголевского творчества и приписывавший Гоголю в последние годы корыстолюбивое заискивание пред власть имущими, — в 1847 г., после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями», сообщал в письме к Гоголю о ходивших в Петербурге слухах, будто книга была написана им «с целию попасть в наставники к сыну наследника». Очевидно, слухи эти имели под собой основание.

Сведения о знакомстве Гоголя с графами Виельгорскими относятся ко времени его пребывания в Петербурге в 1830-х гг. В 1836 г. граф Мих. Ю. Виельгорский, известный меценат и крупный сановник, вместе с В. А. Жуковским и князем П. А. Вяземским, принимал участие в представлении комедии «Ревизор» Императору Николаю Павловичу — которую он и прочел Государю («Граф, говорят, читал прекрасно...»; *Вольф А. И.* Хроника петербургских театров. СПб., 1877. Ч. 1. С. 49. См. также: *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 496). В то время Гоголь мог познакомиться и со старшим сыном Михаила Юрьевича, Иосифом. Об этом косвенно может свидетельствовать одна из сторон педагогической деятельности Гоголя той поры. В начале 1830-х гг. он «содействовал» В. А. Жуковскому в составлении синхронистических таблиц по истории, которые тот употреблял при преподавании всемирной истории наследнику цесаревичу, а также занимавшимся вместе с наследником А. В. Паткулю и графу И. М. Виельгорскому (подробнее об этом см. коммент. к синхронистической таблице по истории стран Европы и Востока в X–XII вв. в т. 8 наст. изд.). Кроме того, словесность наследнику и его товарищам преподавал П. А. Плетнев, благодаря которому Гоголь получил в 1831 г. место преподавателя истории Патриотического института и познакомился с А. С. Пушкиным. В прямую связь с путешествием наследника с Виельгорским и Паткулем по России и Западной Европе может быть поставлена статья Гоголя «Несколько мыслей о преподавании детям географии» (1829–1830, другое название — «Мысли о географии») (решение о поездке цесаревича было принято еще в 1827 г.). Сам Гоголь в 1839 г. в письме к школьному приятелю А. С. Данилевскому говорил о графе И. М. Виельгорском: «Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно... только, увы, во время его болезни» (письмо от 5 июня н. ст.). (Подробнее см.: *Виноградов И. А.* К истории отношений Гоголя с Виельгорскими // Наше наследие. 1998. № 46. С. 56–59.)

В конце 1838 г., уже будучи болен, граф И. М. Виельгорский в свите наследника приехал в Рим. О взаимоотношениях его с Гоголем можно судить отчасти по эскизам А. А. Иванова к «Явлению

Мессии» — к фигурам так называемых «дрожащих» — отца и сына — на переднем плане картины. Профиль Гоголя легко узнается в профиле отца; на эскизе сына изображен, по предположению Н. Г. Машковцева, Иосиф Виельгорский (*Машковцев Н. Г.* История портрета Гоголя // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 2. С. 418–419). Когда началась агония, Гоголь неотлучно дежурил у постели умирающего. 5 мая (н. ст.) 1839 г. он сообщал М. П. Погодину: «Иосиф, кажется, умирает решительно. Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Может быть, его не будет уже на свете, когда ты будешь читать это письмо». 30 мая (н. ст.) Гоголь писал М. П. Балабиной: «Я провожу теперь бессонные ночи у одра больного, умирающего моего друга Иосифа Вьельгорского... Я живу теперь его умирающими днями, ловлю минуты его... Бедный мой Иосиф! один единственно прекрасный и возвышенно-благородный из ваших петербургских молодых людей... Я ни во что теперь не верю, и, если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы. "Оно на короткий миг", — шепчет глухо внятный мне голос. "Оно дается для того, чтобы существовала по нем вечная тоска сожаления, чтобы глубоко и болезненно крушилась по нем душа"».

С «Ночами на вилле» связана одна из загадок гоголевской личности. Как известно, от своего отца он унаследовал «страшное воображение», действие которого сопровождалось подчас приступами тоски и отчаяния. (В 1805 г. отец Гоголя, Василий Афанасьевич, писал, в частности, своей будущей жене Марии Ивановне: «Многие препятствия лишили меня счастия сей день быть у вас! Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце»; *Шенрок В. И.* Родители Гоголя // Исторический Вестник. 1889. Январь. С. 122–123.) В 1849 г. Гоголь признавался Ф. В. Чижову: «У меня все расстроено внутри... Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 241). Обострение болезненной восприимчивости Гоголь испытал также в 1840 и 1842 гг. 17 февраля 1842 г. он сообщал М. П. Балабиной: «...болезнь моя выражается такими странными припадками, каких никогда со мной еще не было... страшнее всего мне показалось то состояние, которое напомнило мне ужасную болезнь мою в Вене... особливо когда я почувствовал то подступившее к сердцу волненье, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец совершенно сомнамбулическое состояние». О болезни Гоголя в Вене летом 1840 г. сохранились воспоминания, что он имел

в то время «какие-то видения, о которых он тогда же рассказал ходившему за ним с братскою нежностью и заботою Н. П. Боткину...» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 131). Сам же Гоголь сравнивал тогдашнее свое состояние в Вене с тем «ужасным беспокойством», в каком он видел «бедного Виельгорского в последние минуты жизни» (письмо к М. П. Погодину от 17 октября (н. ст.) 1840 г.).

О том, как умирал граф И. М. Виельгорский на вилле княгини З. А. Волконской, сохранились воспоминания княжны В. Н. Репниной-Волконской. По ее словам, княгиня «сначала очень полюбила Гоголя, но потом возненавидела. Это случилось позднее по следующей причине. Когда умирал Иосиф Виельгорский, то у него ежедневно бывали Елизавета Григорьевна Черткова, урожденная Чернышева, графиня Марья Артемьевна Воронцова и наконец Гоголь. Зинаида Александровна была уже тогда ярая католичка, и мне рассказывали, что Гоголь пошел прогуляться и вместе поискать священника для исповеди умирающего. Гоголь же потом сам читал для него отходную. Молодой Виельгорский причащался в саду, и мой отец поддерживал его и читал за него: "Верую, Господи, и исповедую". Но когда он умирал, то в его комнате уже был приглашенный княгиней Волконскою аббат Жерве. Зинаида Александровна нагнулась над умирающим и тихонько шепнула аббату: "Вот теперь настала удобная минута обратить его в католичество". Но аббат оказался настолько благороден, что возразил ей: "Княгиня, в комнате умирающего должна быть безусловная тишина и молчание". Тем не менее моя тетка (т. е. княгиня З. А. Волконская) что-то еще прошептала над Виельгорским и потом проговорила: "Я видела, что душа вышла из него католическая". Виельгорский же был перед смертью так слаб, что Черткова вместе с Гоголем нежно ухаживали за ним и держали тарелку, когда он ел» (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 3. С. 190–191).

Однажды, вспоминала также княжна В. Н. Репнина-Волконская, после смерти молодого графа Виельгорского, «на вилле Фальконьери, где мы жили, я застала Гоголя в моей комнате с книгою в руках и спросила его, что это за книга; он мне ее передал. Это была Библия; на первом листке, дрожащей рукой покойного Виельгорского, написано было: "Другу моему Николаю. Вилла Волконская"; числа я не помню. Гоголь сказал мне: "Эта книга вдвое мне святее"» (Русский Архив. 1890. № 10. С. 229).

Старшая дочь Виельгорских, Аполлинария Михайловна, 22 июня 1839 г. сообщала своему дяде графу Матв. Ю. Виельгорскому: «...Гоголь обещался нам дать воспоминания и последние слова ангела нашего, выражения которого он никогда не забудет» (*Розанов А. С.* Ф. Лист в Риме в 1839 г. (по материалам семейного архива графов Виельгорских) // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1983. Л., 1985. С. 301). По-видимому, с этим обещанием и связан замысел «Ночей на вилле», в которых Гоголь, как и сестра

Иосифа, трижды называет своего умирающего друга «ангелом». Главное назначение этого произведения Гоголя состояло, по-видимому, не столько в том, чтобы поделиться с читателем впечатлениями у постели умирающего, но в том, чтобы утешить родителей умершего — прежде всего мать, которая не присутствовала при кончине сына. Поэтому автобиографичными «Ночи на вилле» можно назвать лишь отчасти.

Еще в Марселе, где собрались Виельгорские после кончины графа Иосифа, Гоголю на короткое время удалось вывести Луизу Карловну из ее безутешного состояния. О. Н. Смирнова позднее вспоминала: «...графиня... никогда не забывала, что Гоголь присутствовал при последних минутах ее сына и первый объявилей о его кончине. Когда он сказал ей это, она села на пол, накрыла лицо шалью и просидела в неподвижном положении двое суток. Гоголь не отходил от нее; он все старался ее растрогать, чтобы она заплакала, и, наконец, это удалось ему, когда он сказал: "бедный Иосиф! он умирал без матери!" Тут она разразилась рыданиями» (об этом сама графиня впоследствии не раз рассказывала А. О. и О. Н. Смирновым) (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 3. С. 263–264). В. А. Жуковский позднее писал одной из дочерей Луизы Карловны, Софье Михайловне: «Что может быть безотраднее, как стоять перед... могилами, в которых навсегда исчезло то, что радовало твое сердце... Знаю, как мы упорно предаемся этой губящей душу... пытке, из которой сам собою вырывается ропот против Бога. В таком положении видел я твою бедную мать в то время, когда умер наш милый Иосиф. Тогда... раздраженная безнадежность твоей матери меня поразила и показалась несоответственною ее высокой, прекрасной душе» (Письмо Жуковского к графине С<оллогуб> // Русский Архив. 1869. Т. 1. С. 960; см. также: Сочинения *В. А. Жуковского.* 7-е изд. СПб., 1878. Т. 6. С. 657).

Несомненно, так же, как Жуковский, оценивал безутешную скорбь Луизы Карловны и Гоголь. По случаю смерти сына С. Т. Аксакова Михаила Гоголь в 1841 г. писал М. П. Погодину: «Ужасно жалко мне Аксаковых, не потому только, что у них умер сын, но потому, что безграничная привязанность до упоенья к чему бы ни было в жизни есть уже несчастье». В составленном в 1844 г. для самой Виельгорской «Правиле жития в мире» Гоголь писал: «Кто любит Бога, тот уже гораздо более любит и отца, и мать, и детей, и брата, чем тот, кто привязывается к ним более, чем к Самому Богу. Любовь последнего есть один оптический обман, плотская чувственная любовь, одно страстное обаяние. Такая любовь не может поступать разумно, потому что очи ее слепы».

А. О. Смирнова вспоминала, как тяжело переживала смерть сына графиня Л. К. Виельгорская: «Графиня... не говоря ни слова, поехала в Петербург, уселась против портрета сына, покрытая длинным креповым вуалем, не плакала, а сидела, как каменный столб... Государя она приняла как нельзя хуже и упрекала его за смерть

Иосифа, говоря, что они не поняли и огорчили его юное сердце» (*Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. С.198).

«Ночи на вилле» создавались, по-видимому, в Марселе в июне 1839 г., где Гоголь в течение двух суток пытался утешить Луизу Карловну. В упомянутом письме от 22 июня 1839 г. графиня Ап. М. Виельгорская, упоминая о том, что Гоголь обещал ей, а также ее матери и сестрам мемуарные записки об Иосифе, сообщает об этом так, словно эти воспоминания частично уже написаны (но еще не закончены): «Гоголь обещался нам дать воспоминания и последние слова ангела нашего». (Об этом гоголевском обещании, вероятно, ничего не знал отец Виельгорского Михаил Юрьевич, который 28 июля 1839 г. писал Гоголю из Марселя: «...жалею, что не просил вас написать строк десяток для помещения в “Diario” о смерти нашего незабвенного друга!» («Diario», точнее: «Diario di Roma» — «Римский ежедневник», итальянский журнал.)

Будучи очевидцем «раздраженно-безнадежного», доходящего до «ропота против Бога» состояния Луизы Карловны, Гоголь в «Ночах на вилле» как бы пытается заручиться ее доверием — стремясь при этом вызвать у гордой графини иные, покаянные чувства: «Ты, кому попадутся, если только попадутся, в руки эти нестройные слабые строки, бедные выражения моих чувств, ты поймешь меня. Иначе они не попадутся к тебе. Ты поймешь, как гадка вся груда сокровищей и почестей, эта звенящая приманка деревянных кукол, называемых людьми. О, как бы тогда весело, с какой бы злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение на лице его».

Именно стремлением пробудить христианское чувство в сердце ожесточившейся в своей скорби великосветской дамы объясняется упоминание Гоголя о презренной «груде сокровищей и почестей», сыплющихся от «могущего скиптра полночного царя». Очевидным недоразумением является истолкование этих строк В. И. Шенроком как следствия отрешения Гоголя от, «может быть, переполнявших» его самого «накануне» «мелких эгоистических расчетов и соображений», «блестящей столичной жизни» (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 3. С. 258). Такую жизнь вела графиня Виельгорская (которой и были адресованы эти строки), но никак не Гоголь. Еще менее оснований видеть в этих строках «проклятие» Гоголем «тех милостей, которые он получил с высоты престола и которые назадолго перед тем горячо благословлял» (Там же. Т. 3. С. 260; на этом однозначно настаивает также современный автор: «...речь идет именно о Николае I и о той помощи, в том числе материальной, которую писатель от него получал»; *Манн Ю. В.* Гоголь. Труды и дни: 1809–1845. М., 2004. С. 542).

О помощи, полученной Гоголем от Государя в Женеве 2 ноября (н. ст.) 1837 г. — и о неизменной благодарности, которую Гоголь испытывал, упоминая о вспомоществовании монарха даже спустя

несколько лет после этого события, см.: *Виноградов И. А.* «Спасен я был Государем». Неизвестное письмо Н. В. Гоголя к Императору Николаю Павловичу и его отношение к монархии // Литература в школе. 1998. № 7. См. также в наст. томе коммент. к <Письму из Рима к редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу> и коммент. к письму Гоголя к Императору Николаю Павловичу от 18 апреля (н. ст.) 1837 г. в т. 11 наст. изд.

Объяснить политизированное — в духе В. Г. Белинского — истолкование гоголевских строк можно лишь предвзятостью В. И. Шенрока, которому, как замечал, в частности, о нем В. Я. Брюсов, «попытки изображать внутренний духовный мир» Гоголя в целом «не удавались» (Русский Архив. 1902. № 2. С. 2).

Именно утешительное и вместе нравоучительное наставление — призывающее к перемене прежней великосветской жизни, буквально к «жертве» (и к жертве не печальной и тягостной, а вдохновленной и радостной — подобной подвигам гоголевских запорожцев, полагающих свои души за ближнего) — должно было прозвучать для матери Иосифа в строках Гоголя: «Боже! с какой *радостью*, с каким *веселием* я принял бы на себя его болезнь!.. как бы тогда *весело*... растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя...». Несомненно, Гоголь был хорошо осведомлен о негативной стороне придворной жизни, — той стороне, которая, как он знал, была обязана своим происхождением не столько Императору, сколько тому великосветскому кругу петербургского «бомонда», к которому принадлежали графы Виельгорские.

Момент для вразумления был, по Гоголю, не только не неблагоприятный, но, напротив, наиболее к тому располагающий. Именно в период несчастий, наблюдал Гоголь, человек более всего способен к перемене жизни. 20 декабря (н. ст.) 1844 г. он писал М. П. Погодину по поводу смерти его жены: «Я уже слышал, что Бог посетил тебя несчастием и что ты как христианин его встретил и принял. Друг, несчастия суть великие знаки Божией любви. Они ниспосылаются для перелома жизни в человеке, который без них был бы невозможен...»

«Обличительные» и «нравоучительные» мотивы «Ночей на вилле» были призваны «нечувствительно» — вместе с утешением — повлиять на великосветскую семью Виельгорских. Как отметил Г. М. Фридлендер, оттого, что «Ночи на вилле» предназначались для родных Иосифа Виельгорского, повествование о предсмертных ночах покойного Гоголь насытил «трогательными и умилительными подробностями» (*Фридлендер Г. М.* Гоголь: истоки и свершения // Русская литература. 1994. № 2. С. 14). По-видимому, этим Гоголь пытался достичь того же результата (т. е. растрогать графиню Л. К. Виельгорскую), какого добился, сказав ей «бедный Иосиф! он умирал без матери!». Но не только стремлением передать «умилительные подробности» определялся стиль гоголевского произведения. Адресованные Виельгорским, «Ночи на вилле», судя по всему,

создавались и с учетом пристрастий и вкусов будущих читателей. П. В. Анненков вспоминал о Гоголе: «Можно употребить... много времени... на перечисление всех доказательств его осторожности в обращении с людьми и снисхождения к любимым их представлениям, посредством которого Гоголь приковывал к себе сердца знакомых в эту эпоху... На самых друзьях своих Н<иколай> В<асильевич>... испытывал способность говорить языком их помыслов и наклонностей...» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 49, 94). Этим и объясняется подчеркнуто романтическая (в целом не свойственная Гоголю) терминология «Ночей на вилле», выдержанная в духе повестей князя В. Ф. Одоевского. С последним Виельгорских тесно связывали общие музыкальные интересы; он был постоянным участником устраиваемых ими музыкальных вечеров. Прибегая к образам демонического бала, людей-кукол, мертвого светского общества — и «полночного царя», под которым, несомненно, подразумевается не конкретный «северный» монарх, но — князь мира сего, Гоголь избрал, таким образом, тот единственный язык, на котором критика светского образа жизни могла быть понята и воспринята погруженными в светскую суету Виельгорскими. Отсюда определенная «литературность, расчет на впечатление читателя» «Ночей на вилле» (см. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. <Л.>, 1938. Т. 3. С. 719).

Даже если в самом деле допустить, что Гоголь, способный, по словам П. В. Аннѐнкова, ради влияния на друзей «снисходить» к их «любимым представлениям», «подыгрывал» Виельгорской настолько, что готов был «поддержать» разбитую горем курляндскую графиню даже в ее неприязни к Государю (последнего она приняла «как нельзя хуже»), то и по этой весьма сомнительной версии поступок Гоголя, очевидно, не был выражением его собственных убеждений, и потому говорить о сугубой «автобиографичности» и даже «исповедальности» «Ночей на вилле» не приходится. (Надо сказать, что и в других произведениях Гоголя «исповедальный» тон имеет подчиненное значение и используется прежде всего в целях воздействия на читателя. Такой особенностью отличается, к примеру, так называемая «Авторская исповедь» (это название книга Гоголя получила от С. П. Шевырева после смерти писателя) (см. об этом в сопроводит. статье к т. 6 наст. изд.).

Кончина сына мало что изменила в последующей жизни Виельгорских. «Что вы меня заманиваете Парижем, Рашелью, магазинами и прочей дрянью? — писал, в частности, Гоголь Луизе Карловне 28 февраля (н. ст.) 1844 г. — Разве вы не знаете, что если бы вы жили на Чукотском носу или в городе Чухломе и пригласили бы меня оттуда к себе, описав мне всю тоску тамошнего пребывания, то я бы скорее к вам приехал туда, чем в Париж?» 24 февраля (н. ст.) 1845 г. он писал А. О. Смирновой из самого Парижа: «С Вьельгорскими я видался мало и на несколько минут. Они погрузились в парижский свет, который исследывают любопытно вместе с Лазаревыми...

Я, однако же, провел эти три недели совершенным монастырем, в редкий день не бывал в нашей церкви...» «Бросьте всякие, даже и малые, выезды в свет», — советовал также Гоголь дочери графини Л. К. Виельгорской Анне Михайловне в письме от 29 октября 1849 г.

Друг Гоголя граф А. П. Толстой однажды писал ему об истории средневековой Испании: «...в этой истории я все нахожу для нас уроки и указания. И на них возложено было многое от Провидения, и им следовало быть устроителями целой части света, и им даны были и многие силы, и всякие орудия, и мужество, и богатство; но они богатство обратили в роскошь неслыханную и небывалую, от которой весь высший класс пришел в совершенное расслабление и даже одурел (начи<ная> с Царс<кого> дома)... Что бы я ни читал, везде мне чудится Россия и весьма мрачная для меня ее будущность» (письмо от 5 августа (н. ст.) 1847 г.).

Подобные взгляды разделял с графом А. П. Толстым и Гоголь. Мнение его о потребности критики великосветского общества запомнилось А. О. Смирновой. Об этом она сообщала в своих записках, передавая содержание своих бесед с Н. Д. Киселевым. Последний обращался к ней: «Ты должна писать свои мемуары, не заботясь о том, заденешь ли кого-нибудь — исключая Императора и Императрицы, о них нет вопроса; прежде всего они — твои благодетели, и потом они действительно так совершенны, что, говоря правду, ты скажешь о них только доброе. Что же касается двора и высшего общества, то есть самого развращенного, их надобно хлестать и карать; в конце концов ты, как Сен-Симон, окунешь свое перо в желчь законного отвращения». — «Знаешь ли ты, — отвечала Смирнова, — что Гоголь говорил мне точно то же» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 404).

Обратим, в частности, внимание на характерную «обмолвку» рассказчика в повести Гоголя «Портрет», где речь идет о некоем князе, вступившем в связь с демоническим ростовщиком и явившемся спустя некоторое время в столице «окруженным пышностью и блеском неимоверным»: «Блистательные балы и праздники делают его известным Двору». (Сам Гоголь, вспоминала Смирнова, говорил о балах: «Если этому надо быть, что чтобы меньше было времени и денег»; Там же. С. 40.) В набросках ответного письма к Белинскому 1847 г. Гоголь замечал: «Если... правительство [сделалось, как вы говорите] огромные корпорации воров... думаете, этого не знает никто из русских?» (цит. по автографу). Позднее он обращался к последователям Белинского: «...Вы думаете, легко воров выгнать? Царь, который только и думает о том, как их выгнать, да и тот не может...» Эти же размышления нашли ранее отражение в «Тарасе Бульбе» — в замечании автора, в сцене казни Остапа, об «адских муках», которым был подвергнут он поляками, — что «король всегда почти являлся первым противником этих ужасных мер», но что, однако, «не мог сделать ничего против дерзкой воли государственных магнатов». В отрывке из «Истории Малороссии» 1834 г. Гоголь

замечал: «Безрассудные магнаты… были избалованные деспоты в отношении к народу и непокорные демокра<ты> к государю» (<Размышления Мазепы>). Этой характеристике соответствует и гоголевская оценка в «Переписке с друзьями» царя Иоанна Грозного, который, по словам Гоголя, «притеснял и казнил» только бояр, а «самый народ… почти ничего не потерпел от него».

Вместо «казней» Гоголь в письме к В. Г. Белинскому 1847 г. предлагал следующее решение вопроса: «С Госуд<аря> у нас все берет пример. Стоит только ему ис<полнять> <долг> хорошо, не коверкая ничего, так и все пойдет само собою. Почему знать, может быть, придет ему мысль жить в остальное время от дел скромно, в уединении, вдали от развращающего Двора, <от> всего этого накопленья. И все <обер>нется само собою просто. Сумасшедш<ую жизнь> <захотят> бросить. Владельцы разъедутся по поместьям, станут заниматься делом. Чиновники увидят, что не нужно жить богато, перестанут красть». Как следует из этих строк, главную вину за придворную роскошь Гоголь возлагал не на царя, а на существующий с ним рядом, но, однако, не сопоставимый с его личностью «развращающий Двор». Разбирая в статье «О лиризме наших поэтов» «Выбранных мест из переписки с друзьями» стихотворение А. С. Пушкина «К Н***» (Николаю I, 1832; см. коммент. к статье «О лиризме наших поэтов» в т. 6 наст. изд.), Гоголь подчеркивал обычное «снисхождение» Императора Николая I к суетным забавам своих великосветских подданных, которых Царю, как Божьему избраннику, назначено «стремить… к тому свету, в котором обитает Бог… к которому просится Россия».

Как уже было замечено, и сам Гоголь так же точно «снисходил» к своим друзьям и знакомым, одновременно обличая их, — и это справедливо не только в отношении Виельгорских. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» поощрение и обличение, в разной степени, относились к А. А. Иванову (исключительно поощрение), М. П. Погодину (только обличение), князю П. А. Вяземскому (и то и другое) (см. коммент. к статье «Исторический живописец Иванов» в т. 6 наст. изд.).

Очевидным для Гоголя было отсутствие в семье Виельгорских прочной духовной основы. Если мать Иосифа была католичкой (с неглубокой, как оказалось, верой), то не мог служить образцом подлинного христианского благочестия и его отец. «Он в книге жизни все перебирал листы: / Был мистик, теозоф, пожалуй, чернокнижник, / И нежный трубадур под властью красоты» — эта, по словам М. А. Веневитинова, «одна из самых удачных, по полноте, краткости и чувству, характеристик Михаила Юрьевича» была дана ему князем П. А. Вяземским в стихотворении «Поминки» (*Вяземский П. А.*, князь. Поминки (1877) // Русский Архив. 1877. Кн. 1. С. 543; *Веневитинов М. А.* Семейство Виельгорских // Русская Старина. 1888. № 6. С. 694). Брак Виельгорского с Луизой Карловной был вторым, а первым браком Михаил Юрьевич был женат на младшей сестре

Луизы Карловны — Екатерине Карловне Бирон. Женившись второй раз на родной сестре своей покойной жены, граф Виельгорский поступил вопреки как церковным канонам (что относится также и к Луизе Карловне как католичке), так и светским обычаям. За этот проступок граф, несмотря на все свое влияние, был отстранен от Двора и отправлен в родовое имение в Курской губернии, где провел четыре года.

Михаил Юрьевич был масоном — причем не просто масоном, но одним из главных руководителей масонства в России (см. об этом: *Веневитинов М. А.* Семейство Виельгорских. С. 693–694; Материалы для истории масонских лож // *Пыпин А. Н.* Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916. С. 335–481; *Щербакова Т. А.* Михаил и Матвей Виельгорские. Исполнители. Просветители. Меценаты. М., 1990). Этот пост был в семье Виельгорских почти «наследственным»: влиятельным масоном был и отец Михаила Юрьевича, граф Юрий Михайлович Виельгорский (последний явился прототипом масона Вилларского в «Войне и мире» Л. Н. Толстого). Отношение Гоголя к масонству было достаточно трезвым и взвешенным. А. О. Смирнова, говоря о масонстве Мих. Ю. Виельгорского, в частности, вспоминала, что Гоголь неприязненно относился к масонам: он ставил их в один ряд с модными гадалками: «Гоголю были равно ненавистны Ленорманы и масоны» (Ленорман — французская гадалка) (*Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. С. 59). Свидетельства о критическом отношении Гоголя к масонству можно найти и в его произведениях. Но при этом Гоголь умел употреблять «гнев против врага людей, а не против самих людей», «враждовать», по его словам, не с людьми, но с их «болезнями» (см. статьи Гоголя «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» (1844), «Что такое губернаторша» (1846), а также его письма к Н. М. Языкову от 5 апреля (н. ст.) 1845 г. и к князю П. А. Вяземскому от 11 июня (н. ст.) 1847 г.).

Отсутствие в семье устойчивых православных традиций многое определило в миросозерцании сына Виельгорских и сказалось в его записках (см.: *Виельгорский И. М.*, <граф>. Журнал 1838 года // Наше наследие. 1998. № 46). Подаренная отцом тетрадь, ставшая для Иосифа дневником, содержанием своим (в исповедальной его части) прямо напоминает масонские произведения подобного рода — так называемые «испытания совести» или «дневники-исповеди». Эти «дневники» — подменявшие собой христианское таинство исповеди — были обязательны для масонов: они передавались на прочтение руководителям и затем оставлялись на «вечное» хранение в архивах ордена. Публикуя в 1914 г. отрывки из подобного дневника (масона Л. А. Симановского), Т. О. Соколовская, в частности, писала: «Дневник этот писан столь откровенно, что не считаю себя нравственно вправе печатать его, хотя он не грешит грубостью выражений; я привожу лишь те молитвенные воззвания, те вздохи духа, которыми заканчивает Симановский почти каждый протекший

месяц своих записей» (*Соколовская Т. О.* В масонских ложах // Вестник Общества Ревнителей Истории. 1914. Вып. 1. С. 180). Подобные крайности характерны и для дневника Иосифа Виельгорского. Эта неуравновешенность духовной жизни юного графа отразилась и на его кончине.

С другой стороны, в характере Иосифа было и много привлекательного — чем, собственно, и объясняется сближение с ним Гоголя. Годы совместного обучения Виельгорского с наследником — при лучших наставниках (причем Иосиф бывал часто первым учеником) — не остались для юного графа бесплодными. Усердные занятия, любовь к книгам, изучение истории помогли Иосифу Виельгорскому, несмотря на его слабости, подняться над тем кругом понятий, которые господствовали в семье. В марте 1839 г. друг Гоголя известный писатель, историк и журналист М. П. Погодин, будучи в Риме, записал в своем дневнике: «Познакомился с молодым графом Виельгорским... Рад был удостовериться, что он искренно любит русскую историю и обещает полезного делателя» (Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник *М. П. Погодина.* М., 1844. Т. 2. С. 29). Встретив тогда за границей «очужеземившихся» русских (прошедших мимо, даже не откликнувшись на его, обращенное к ним на русском языке, приветствие), Погодин писал: «Я не постигаю, как грубеет настоящее национальное и даже человеческое чувство в этих господах, хотя может быть и очень утончевается космополитическое!.. Это впечатление изглажено было, однако ж, нынче за обедом у графа Виельгорского, который... ну, да может быть он прочтет эти строки, так я не стану говорить об нем... Виельгорский показывал мне свои материалы для литературы русской истории. Прекрасный труд...» (Там же. С. 51–52). В свою очередь, граф Мих. Ю. Виельгорьский в письме к В. А. Жуковскому от 9 марта 1839 г. замечал, что «при склонности Иосифа к истории и филологии» знакомство с Погодиным было «очень для него приятно» (*Розанов А. С.* Ф. Лист в Риме в 1839 г. С. 302). Человеком «замечательным по своей любви к русской истории» называл графа Иосифа Виельгорского М. А. Веневитинов. Гоголю — для которого понятия «русский» и «православный» были почти тождественны, — несомненно, была дорога эта сторона личности друга — и, особенно, тот нравственный переворот, который подготавливался в Иосифе Виельгорском во время его путешествия по России вместе с наследником в 1837 г. (см., в частности, письма И. М. Виельгорского к сестрам от 27 мая и 15 июля 1837 г.; *Лямина Е. Э., Самовер Н. В.* «Бедный Жозеф». С. 162–163, 171). Этот переворот вполне совершился с ним незадолго до приезда в Рим. 24 августа 1838 г. Иосиф писал сестре Софье Михайловне из Эмса: «Я благодарю Бога, что я русский... Россия молода, народ свеж, и ее ожидают великие судьбы. Я с каждым днем становлюсь более и более русским в душе... я... обрусел, почувствовал какую-то национальную гордость, которая во мне дремала; любовь к отечеству сильно пробудилась, и я вижу, что русские могут также гордиться

своим отечеством» (*Розанов А. С.* Ф. Лист в Риме в 1839 г. С. 301–302; см. также: «Бедный Иосиф». И. М. Виельгорский: Дневник. Письма. С. 55; *Лямина Е. Э., Самовер Н. В.* «Бедный Жозеф». С. 362). Именно осознания важной, самобытной роли России в мировой истории и ожидал от наследника и его товарищей Император Николай I, отправляя их в 1838 г. в заграничное путешествие. В своем наставлении сыну он писал: «Многое тебя прельстит, но при ближайшем рассмотрении ты убедишься, что не все заслуживает подражания... мы должны всегда сохранить нашу национальность, наш отпечаток, и горе нам, ежели от него отстанем; в нем наша сила, наше спасение, наша неподражаемость!» (*Николай I*: наставления наследнику. Материалы к путешествию цесаревича Александра Николаевича по России и Европе в 1837–1839 гг. // Наше наследие. 1997. № 39–40. С. 55; см. также: *Самовер Н. В.* Инструкции Николая I для путешествий наследника по России и Европе (1837–1838) // Российская монархия: вопросы истории и теории. Воронеж, 1998. С. 124). С другой стороны, мать Иосифа была весьма невысокого мнения о воспитавшей ее стране. Воспитанницы Смольного монастыря, Луиза и ее сестра Екатерина, пожалованные в 1810 г. во фрейлины, кичились, по свидетельству барона Ф. А. Бюлера, тем, что «если бы дядя их, герцог Петр, не уступил Курляндии России, то сами они могли бы иметь при себе фрейлин» (*Тимощук В. В.* Императрица Мария Феодоровна в ее заботах о Смольном монастыре // Русская Старина. 1890. № 3. С. 831). Невысокого мнения о России был, вероятно, и отец Иосифа, Михаил Юрьевич, называвший славянофильское движение «кривой дорогой» (Из писем к В. А. Жуковскому // Русский Архив. 1902. Кн. 2. С. 452). 30 марта 1838 г. Иосиф Виельгорский записал в своем дневнике: «Причиною споров Россия, которую мама охуждает, а я защищаю»; «она всегда охуждает Россию и восхваляет чужие земли» (*Лямина Е. Э., Самовер Н. В.* «Бедный Жозеф». С. 292, 290). Споры Иосифа с матерью о России свидетельствуют об известной самостоятельности юного графа. Таким — в пору начинающегося духовного перелома и взлета — застал и полюбил Иосифа Виельгорского Гоголь.

Десять лет спустя после смерти Иосифа, когда одна из дочерей Виельгорских, Анна Михайловна, решилась, по ее словам, «сделаться действительно русскою, по душе, а не по имени», то Гоголь прямо указал ей на то, чего прежде всего недоставало в ее семье: «...для того, чтобы сделаться русским, нужно обратиться к источнику... К источнику всего русского, к Нему Самому, следует за этим обратиться». Именно для Виельгорских Гоголь зимой 1843/44 г. составил два духовно-нравственных произведения: упомянутое «Правило жития в мире» и трактат «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии» (см. в т. 6 наст. изд.). В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь посвятил графине Л. К. Виельгорской — малодушно помышлявшей почти о бегстве

из России — ободряющее письмо «Страхи и ужасы России» (1846). «...Молитесь и просите Бога о том, — писал здесь Гоголь, — чтобы вразумил вас, как быть вам на вашем собственном месте и на нем исполнить все, сообразно с законом Христа».

Таким образом, Виельгорским Гоголь адресовал с 1839 по 1846 г., помимо собственно писем, произведения трех разных жанров: как поклонникам немецкой романтики — утешительные и скрыто нравоучительные «Ночи на вилле»; как русским, намеревающимся «сделаться действительно русскими», — пространный духовно-нравственный трактат и краткое «Правило жития» и, в заключение, дружеское эпистолярное напутствие. Из этих произведений «Ночи на вилле» остались, однако, судя по всему, незавершенными. В процессе работы Гоголь, вероятно, отказался от исполнения задуманного. Выражая свои взгляды на не свойственном ему «романтическом» языке, он, как когда-то в «Ганце Кюхельгартене», вступал в такое же противоречие с своим художническим чувством, какое заставляло его истреблять и куда более совершенные произведения.

Он не любил и не ложился почти вовсе в постель. Он предпочитал свои кресла... — По свидетельству А. Т. Тарасенкова, в последние дни жизни у Гоголя было «убеждение, что постель будет для него смертным одром (почему он старался оставаться в креслах), в понедельник на второй неделе поста <18 февраля 1852 г.> он улегся, хотя в халате и сапогах, и уж более не вставал с постели. В этот же день он приступил к напутственным таинствам покаяния, причащения и елеосвящения» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 520). П. В. Анненков также вспоминал, что еще в начале 1840-х гг. Гоголь «добрую часть ночи» проводил, «дремля на диване и не ложась в постель», а «со светом взбивал и разметывал» ее, чтобы служанка, прибиравшая комнаты, не узнала об этом обычае своего жильца (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 81–82). Рассказав об этом обычае, Анненков оговаривался: «Конечно, тут еще нельзя искать обыкновенных приемов аскетического настроения, развившегося впоследствии у Гоголя...» Однако, несмотря на оговорку мемуариста, задачей которого было подчеркнуть, вслед за В. Г. Белинским, отличие «раннего» Гоголя от «позднего», описанный обычай носит явно аскетический характер и объясняется обыкновением проводить ночь в молитве, заменив сон недолгим дреманием в кресле. к стр. 528

<Девицы Чабловы>

Впервые напечатано: Сочинения Н. В. Гоголя / Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Изд. 10-е Т. 6. М.; СПб., 1896. Текст печатается по автографу.

Отрывок располагается на лицевой стороне первого листа рукописи, оборот которого занимает начало одного из набросков

1839 г. к статье «Взгляд на составление Малороссии» (набросок к разделу V) (см. в наст. томе). Написано на бумаге с фабричным клеймом и датой изготовления: «J. Whatman Turkey Mill 1838». Отрывок связан с размышлениями Гоголя о будущем его сестер, оканчивавших в 1839 г. Патриотический институт в Петербурге.

<Характер русского>

Впервые напечатано: Сочинения Н. В. Гоголя / Под ред. Н. С. Тихонравова. Изд. 10-е Т. 5. М., 1889. Текст печатается по автографу.

Отрывок располагается на обороте листа рукописи, на лицевой стороне которого находится один из набросков 1839 г. к статье «Взгляд на составление Малороссии» (вступление) (см. в наст. томе). Написано на бумаге с фабричным клеймом и датой изготовления: «J. Whatman Turkey Mill 1838».

<Наброски к статье «Взгляд на составление Малороссии»>

Впервые напечатано: Сочинения Н. В. Гоголя / Под ред. Н. С. Тихонравова. Изд. 10-е Т. 1. М., 1889. Текст печатается по автографу.

Наброски располагаются среди материалов по истории Южной России и отрывков <Девицы Чабловы>, <Характер русского>. Написано на бумаге с фабричным клеймом и датой изготовления: «J. Whatman Turkey Mill 1838». Бумага была приобретена Гоголем в Риме. На такой же бумаге Гоголем были написаны отдельный набросок девятой главы первого тома «Мертвых душ», письмо к П. А. Плетневу от 27 сентября 1839 г. из Москвы, а также черновые наброски 5-й и 6-й глав второй редакции «Тараса Бульбы» и драмы из украинской истории, начатой им в Вене в августе–сентябре 1839 г. (см. коммент. к <Наброскам и материалам драмы из эпохи Богдана Хмельницкого>).

Появление набросков связано с возобновлением Гоголем занятий украинской историей в конце 1830-х гг., результатом чего стала вторая, расширенная редакция «Тараса Бульбы», опубликованная в 1842 г. Переработке, очевидно, должна была подвергнуться и статья «Взгляд на составление Малороссии», тесно связанная с замыслом «Тараса Бульбы». Первый набросок, вероятно, представляет собой вступление к статье (в ней самой отсутствующее; она начинается прямо с фразы: «Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век?»). Второй отрывок написан по материалам «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (Т. 2, гл. 8; Т. 3, гл. 3, 8; Т. 4, гл. 2). Центральное место в нем занимает пересказ содержания одного из фрагментов хроники польского историка М. Стрыйковского (Стриковского, ок. 1547 — после 1582), цитируемого Н. М. Карамзиным в примеч. 102 к гл. 2 т. 4. В нем повествуется о водворении в Южной Руси литовских князей. Такой же цитатой

из хроники М. Стрыйковского, посвященной пришествию на Русь литовцев, которую Н. М. Карамзин приводит в основном тексте 8-й главы четвертого тома, Гоголь воспользовался ранее при написании V раздела статьи «Взгляд на составление Малороссии» (см. коммент. к с. 163 — *...Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпети, вступил с торжеством в Киев...*). Речь там идет о завоевании русских земель литовцами в XIV в.В новом отрывке говорится о начале литовского правления на Руси еще в XIII в. Вероятно, при переделке статьи Гоголь намеревался подчеркнуть, что под «могущественное покровительство литовских князей» Южная Россия попала едва ли не сразу после Батыева нашествия («им было легко устремляться на еще дымившиеся от татарских пожаров села»), — так что пребывание ее под монгольским игом было непродолжительным. Н. М. Карамзин, однако, в обоих случаях ставит под сомнение достоверность сведений, сообщаемых М. Стрыйковским.

«Зле, Романе, робишь, что литвином орешь». — Ср. к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (примеч. 114 гл. 3 т. 3): «О бедствии, претерпенном Литвою от Романа, Матв<ей> Стриковский пишет так... “... и пойма множество, и работы тяжкия им творяше; оковав в плуг запрягаше пахати коренья на новых местах... и от сего пословица, когда един литвин научися языка русскаго, и в плуге тянув, рек: *...зле, Романе, робишь* (делаешь), *что литвином орешь*”». к стр. 532

<Наброски и материалы драмы из эпохи Богдана Хмельницкого>

Заметки при чтении книг И. Б. Шерера и Г. де Боплана впервые напечатаны Н. С. Тихонравовым в 1-м томе 10-го изд. Сочинений Н. В. Гоголя (М., 1889); выписка «Улицы древней Варшавы» — в т. 5 этого же издания. Остальные наброски впервые напечатаны П. А. Кулишом в журнале «Основа»: Заметки и наброски Н. В. Гоголя для драмы из украинской истории // Основа. 1861. № 1.

Все наброски и заметки, за исключением отрывка «Народ кипит и толчется на площади...», находятся среди рукописей с выписками из книг по истории Украины, конспектами и пр. Бумага имеет фабричное клеймо с указанием года выпуска — «J. Whatman Turkey Mill 1838» (см. коммент. к <Наброскам к статье «Взгляд на составление Малороссии»>). Отрывок «Народ кипит и толчется на площади...» располагается среди черновых набросков к «Шинели», написанных в Вене в августе — сентябре 1839 г.

Как указал Н. С. Тихонравов, первая группа материалов представляет собой ряд заметок, сделанных Гоголем при чтении второй части книги И. Б. Шерера «Annales de la Petite Russie, ou l’histoire de Cosaques-Sapohogues et de Cosaques de l’Ukraine» (Хроника Малой России, или История запорожских казаков и казаков Украины) (Paris, 1788. V. 2. P. 13–15, 23–24).

Вторая группа материалов является, по указанию Н. С. Тихонравова, выписками и заметками при чтении книги Г. де Боплана «Описание Украйны» (СПб., 1832; пер. Ф. Г. Устрялова; С. 4–10, 14–15, 17–19, 21, 26–27, 39, 42–44, 46, 50, 57, 63–64, 75, 116, 141, 151–152).

К составлению выписки «Улицы древней Варшавы» Гоголь приступал дважды. В его бумагах сохранился отрывок с одноименным названием, в котором содержится начало выписки (по предположению Н. С. Тихонравова, выдержка сделана из «какой-то польской книги»):

«Улицы древней Варшавы.
В Старом месте было домов 39.
Улица Новомиейская домов 12.
На Кривом Коле 18.
Улица S. Яна 6.
Гродская»
(*Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 5. С. 534.)

В 1839 г. Гоголь писал друзьям: 15 августа (н. ст.) М. П. Погодину из Мариенбада: «Малороссийские песни со мною. Запасаюсь и тщусь сколько возможно надышаться стариной»; 25 августа (н. ст.) — С. П. Шевыреву из Вены: «Передо мною выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества... Малороссийские ли песни, которые теперь у меня под рукою, навеяли их, или на душу мою нашло само собою ясновидение прошедшего, только я чую много того, что ныне редко случается». Свое «огромное» рукописное «собрание малороссийских песен», перечитыванием и переписыванием которого Гоголь в то время занимался, он получил в конце 1838-го — начале 1839 г. вместе со своими материалами и выписками по русской и украинской истории от Н. Я. Прокоповича, которого несколько раз просил об этом начиная с июня 1837 г. См. письма Гоголя к нему от 3 июня (н. ст.) и 2 ноября (н. ст.) 1837 г., от 15 апреля и 2 июля (н. ст.) 1838 г., и письмо В. А. Панова к С. Т. Аксакову от 21 ноября (н. ст.) 1840 г. в кн.: Письма Н. В. Гоголя. / Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 87–89. О. М. Бодянский сообщал в письме к М. П. Погодину от 18 октября (н. ст.) 1839 г., что Гоголь взял у П. И. Шафарика «малороссийские и польские песни, изданные Вацлавом из Олеска, обещаясь послать назад ему из Вены», но что тот «доныне не получал этой книги» (речь идет о книге: Piésni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Zebrał i wydał Waciaw z Oleska. We Lwowie, 1833) (Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835–1861). М., 1879. Вып. 1. С. 104). В рукописном собрании Гоголя, помимо песен, собранных самим Гоголем, содержались песни, отобранные им из сборников М. А. Максимовича, В. Залеского, З. Доленги-Ходаковского, П. А. Лукашевича, И. И. Срезневского (из первой, а также из второй частей «Запорожской Старины», издание которой было завершено к 1838 г.) и др. В собрании Гоголя были и великорусские песни (подробнее см. в т. 17 наст. изд.).

Замысел драмы возник, вероятно, еще ранее. 12 ноября (н. ст.) 1836 г. Гоголь сообщал В. А. Жуковскому: «Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу “Мертвых душ” в Париже. Еще один Левиафан затевается. Священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю о нем: слышу кое-что из него... божественные вкушу минуты... но... теперь я погружен весь в “Мертвые души”». Однако какая-то предварительная работа вскоре началась. По воспоминаниям Б. Залесского о встречах с А. Мицкевичем и Гоголем в Париже в конце 1836-го — начале 1837 г., «он имел под рукой у себя замечательные сборники народных песен на разных славянских наречиях» (Лит. Вестник. 1902. № 5. С. 67). 25 мая (н. ст.) 1838 г. П. Семененко сообщал Б. Яньскому из Рима: «Занят теперь Гоголь русской историей...» (Лит. Вестник. 1902. № 1. С. 28). В дневнике А. И. Тургенева, с которым Гоголь часто встречался в Париже в 1838 г., отмечено 23 октября (н. ст.): «Поутру был у *Гогеля* <так в источнике> — пишет Рус<скую> Ист<орию> в политическом отношении, объяснял происхождение русских городов и пр.» (печатается с уточнением по автографу: *ИРЛИ.* Ф. 309. Ед. хр. 318. Л. 81 об.; впервые опубл.: *Гиллельсон М.* Н. В. Гоголь в дневниках А. И. Тургенева // Русская литература. 1963. № 2. С. 138).

10 сентября (н. ст.) 1839 г. Гоголь вновь пишет С. П. Шевыреву: «Труд мой, который начал, не идет; а чувствую, вещь может быть славная». По приезде в Москву в конце сентября 1839 г. Гоголь говорил актеру М. С. Щепкину: «Ну, М<ихаил> С<еменович>, будет вам славная работа. У меня есть драма за выбритый ус в роде “Тараса Бульбы”. Я скоро ее окончу». «М<ихаил> С<еменович> имел неосторожность спросить у Гоголя об этой драме при свидетелях. Гоголь отперся и отвечал, что никогда не говорил ничего подобного; но, выходя из комнаты шепнул г. Щепкину на ухо: “Болтун! ничего больше не скажу”» (<*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 330; см. также: *Кулиш П.* Несколько объяснительных слов // Основа. 1861. № 1. С. 117). О том, что «драма за выбритый ус» имела близкое сходство с «Тарасом Бульбой» с еще большей очевидностью свидетельствует подготовительная запись П. А. Кулиша, сделанная непосредственно со слов Щепкина: «Тарас Бульба. Молчи, у меня есть пьеса с таким лицом, почти готовая. “Болтун! ничего не скажу”» (*Гоголь Н. В.* Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. С. 436). 10 октября 1839 г. Гоголь вместе с М. С. Щепкиным побывал в гостях у И. И. Срезневского. По словам последнего (в письме к матери от 15 октября), на вечере говорили «всё о Малороссии», читали украинские песни, баллады и думы (Живая Старина. 1892. Вып. 1. С. 71). В Петербурге 13 ноября 1839 г. Гоголь рассказывал С. Т. Аксакову, что кроме «Мертвых душ» «у него составлена в голове трагедия из истории Запорожья, в которой все готово, до последней нитки, даже в одежде действующих лиц; что это его давнишнее, любимое дитя, что он считает, что эта пиеса будет лучшим его произведением и что ему будет с лишком

достаточно двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 108). По словам Гоголя в письме к М. П. Погодину от 10 сентября (н. ст.) 1839 г., он намеревался закончить драму в России до февраля 1840 г. 27 ноября Гоголь извещал Погодина, что потерял уже месяц времени. Однако за день до этого С. Т. Аксаков застал Гоголя на квартире у В. А. Жуковского, где он тогда жил, за странным занятием. «Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сертука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы очевидно ему помешали. Он долго, *не зря, смотрел* на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся... Я увидел, что ему надобно было что-то кончить, и сейчас с ним простился» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 112). На следующий день после описанной в мемуарах встречи, 27 ноября, С. Т. Аксаков сообщал сыну Константину: «Вообрази, Костя: вчера я приехал рано к Жуковскому (его не было уж дома...) и вошел тихонько к Гоголю и нашел его в роде какого-то халата, на голове бархатная большая, вышитая золотом шапка, а ноги в чулках... Стоит и пишет что-то... и видно, что я ему крепко помешал. Уморительный костюм его не кажется ему и странным...» (Лит. наследство. Т. 58. С. 574). По предположению Н. С. Тихонравова, Гоголь был занят тогда именно драмой из украинской истории (*Тихонравов Н. С.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 1. С. 635).

Судя по тому, что драма Гоголя «за выбритый ус» (то есть из-за выбритого уса; *укр.*) была «давнишнее, любимое дитя» Гоголя, можно предположить, что замысел драмы связан с его незавершенным романом «Гетьман», героем которого был гетман запорожских казаков Стефан Остраница. Как заметила И. Н. Медведева, в основу сюжета Гоголь, возможно, намеревался положить эпизод, описанный в «Истории Русов» псевдо-Конисского и использованный им ранее в «Гетьмане», когда Остраница вырывает ус у начальника польских улан, оскорбившего старого казака (см. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собрание художественных произведений: В 5 т. Т. 4. М., 1959. С. 468). В то же время сюжет «Гетьмана» (как впоследствии «драмы за выбритый ус») мог быть подсказан Гоголю еще в 1831 г. ответом А. С. Пушкина критикам «Полтавы», опубликованном в альманахе М. А. Максимовича «Денница» (М., 1831). «Дернуть ляха или козака за усы, — писал, в частности, Пушкин, — все равно было, что схватить россиянина за бороду. Хмельницкий за все обиды, претерпенные им, помнится, от Чаплинского, получил в возмездие, по приговору Речи Посполитой, остриженный ус своего неприятеля (см. Летопись Конисского)». (В «Полтаве» Пушкин упоминал об обиде,

нанесенной Мазепе Петром I, схватившим Мазепу за усы; на вероятную связь пушкинской «Полтавы» с гоголевской драмой из украинской истории указывал В. С. Катранов; см.: *Катранов В.* Гоголь и его украинские повести // Филологические Записки. 1909. № 6. С. 53.) Не случайно упоминание о притеснениях, сделанных Хмельницкому Чаплинским (это, согласно польским и украинским летописям, — исходная точка «Хмельничины»), встречается в одном из набросков «драмы за выбритый ус».

К событиям эпохи Богдана Хмельницкого и к самой личности знаменитого гетмана Гоголь проявлял интерес еще в конце 1820-х — начале 1830-х гг. В одной из лекций, читанных им в Патриотическом институте с марта 1831-го по апрель 1835 г., он говорил своим слушательницам: «Украинские козаки... ожесточен<ные>... злодействами поляков, восстали против них под предводительством знаменитого Богдана Хмельницкого. И вся Малороссия, все древние русские города отложились от них и отдались России» (набросок «Происшествия на Севере»). Упоминание о Богдане Хмельницком и «тиранских мучительствах ляхов» встречаются также в журнальной редакции повести Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» 1830 г. (написанной и опубликованной до начала польского восстания 1830–1831 гг.). В записной книге 1835 г. с лекциями и статьями по истории и географии Гоголь также замечал: «Царь Алексей Михайлович возвратил от Польши похищенные ею Малороссийские провинции» (лекция «Обозрение всеобщей истории»). Прямыми упоминаниями о Богдане Хмельницком тема воссоединения Малороссии с Россией у Гоголя не исчерпывается. События, изображенные в «Тарасе Бульбе», в свою очередь, относятся прежде всего к XVII в. — веку Богдана Хмельницкого (предшествующие XV и XVI столетия характеризуются главным образом союзом Польши и Украины в борьбе с татарами и турками). В «Тарасе Бульбе» есть и более определенные указания на то, что в ней изображена именно эпоха Богдана Хмельницкого. Так, упоминаемый в начале «Тараса Бульбы» Адам Кисель был последним из восьми воевод, назначавшихся в Киев до 1649 г. от польской короны (с 1654 г. киевские воеводы назначались уже от России) (см. коммент. к повести в т. 2 наст. изд.). Дубно, или древнерусский город Дубен, под стенами которого разворачивается действие пятой — девятой глав повести, в середине XVII в. осаждался восставшими казаками Богдана Хмельницкого. Названия древних украинских городов в заключительной, двенадцатой главе повести — Чигирина, Батурина, Глухова, Переяслава — Гоголь также использовал как своеобразные обобщения. Чигирин, вместе с Батуриным и Глуховым — гетманские столицы, а в Переяславе был подписан договор между Украиной и Россией о воссоединении (*Сенько И. М.* Художественное время и пространство украинских повестей Н. В. Гоголя // Микола Гоголь і світова культура. Київ; Ніжин, 1994. С. 47–48). Есть также в «Тарасе Бульбе» упоминание о польском коронном гетмане Николае

Потоцком, захваченном в 1648 г. в плен казаками Богдана Хмельницкого. В гоголевском сборнике украинских песен второй половины 1830-х — начала 1840-х гг. находится семь дум «про Гетьмана Хмельницкого» (см. в т. 17 наст. изд.). Кроме того, Гоголю должна была быть хорошо известна рукопись, находившаяся в «русском музеуме» издателя «Отечественных Записок» П. П. Свиньина, «Сказание, чего ради Хмельницкий поддался под Великого Князя Московского» (см.: Краткая опись предметов, составляющих русский музеум Павла Свиньина. СПб., 1829. С. 122). Следует упомянуть об интересе к эпохе Богдана Хмельницкого одного из нежинских наставников Гоголя директора Гимназии высших наук И. С. Орлая, взгляды которого нашли отражение в повестях «Страшная месть» и «Тарас Бульба» (и который сам впоследствии послужил прототипом «необыкновенного наставника» Александра Петровича во втором томе «Мертвых душ»; см.: *Виноградов И.* «Необыкновенный наставник»: И. С. Орлай как прототип одного из героев второго тома «Мертвых душ» // Новые гоголеведческие студии. Вып. 2. Симферополь, 2005). Интерес Орлая к истории запорожского казачества был прямо связан с мыслью о единстве всех русских земель. Уроженец Карпатской Руси, Орлай был чужд сепаратистских устремлений «украинофильства». Среди материалов по истории Малороссии, высылавшихся им в 1820-х гг. в московское Общество истории и древностей Российских, значились и материалы о Богдане Хмельницком — в частности, «древняя рукопись под названием: *Утверждение от Великого Государя Алексия Михайловича обеих сторон Днепра Гетману Богдану Хмельницкому...*» (Труды и летописи Общества Истории и Древностей Российских. М., 1827. Ч. 3. Кн. 2. С. 5).

В июне 1840 г. Гоголь побывал в Варшаве (об интересе Гоголя к польской столице в период создания драмы из эпохи Богдана Хмельницкого свидетельствует содержание его выписки «Улицы древней Варшавы»). Спутник Гоголя В. А. Панов в письме к К. С. Аксакову от 15 июня 1840 г. сообщал: «Мы пробыли в Варшаве 6 дней, от 7 до 13 июня... Мы объехали все примечательные окрестности (путеводителем нашим был везде один лицейский товарищ Гоголя — Симановский... который там адъютантом) — королевские Лазенки, куликарня, замок Радзивилла, Бельведер — дворец гр<афа> Потоцкого, построенный И. Собизским... Из многих прекрасных дворцов и зданий всех замечательнее банк и театр, который, однако ж, столько же беден внутри, сколько величествен снаружи» (Лит. наследство. Т. 58. С. 592).

Возвращается Гоголь к работе над трагедией в Вене в июле — августе 1840 г. В письме к М. П. Погодину от 17 октября (н. ст.) 1840 г. он вспоминает об этих летних месяцах: «Сюжет, который... лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет. И я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу...»

Однако окончить работу помешала болезнь (см. в наст. томе коммент. к «Ночам на вилле»).

В. А. Панов, которому Гоголь читал в ноябре 1840 г. в Риме начало трагедии, писал С. Т. Аксакову: «...в одно утро... он меня угостил началом нового произведения!.. Это будет, как он мне сказал, трагедия. План ее он задумал еще в Вене, начал писать здесь. Действие в Малороссии. В нескольких сценах, которые он уже написал и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство. О прочих судить нельзя: они должны еще обрисоваться в самом действии. Главное лицо еще не обозначилось» (Письма Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 89). 15 декабря 1840 г. А. В. Кольцов сообщал В. Г. Белинскому о Гоголе: «...Боткина брат пишет, что он начал писать драму; интерес взят из малороссийской истории, и что много написал и скоро кончит» (*Кольцов А. В.* Сочинения. М., 1955. С. 314).

Работу над трагедией Гоголь продолжил летом 1841 г. П. В. Анненков вспоминал: «...Гоголь перечитывал в то время “Историю Малороссии”, кажется Каменского (см. в наст. томе коммент. к «Объявлению об издании Истории Малороссии». — *И. В., В. В.),* и вот по какому поводу. Он писал драму из казацкого запорожского быта, которую потом бросил равнодушно в огонь, недовольный малым действием ее на Жуковского; история Малороссии служила ему пособием. О существовании драмы я узнал случайно. Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда приготовлялся диктовать (под диктовку Гоголя П. В. Анненков переписывал первый том «Мертвых душ». — *И. В., В. В.),* попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-намелко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел вслух первую фразу какого-то старого казака (имени не припомню), попавшуюся мне на глаза и мною удержанную в памяти: “И зачем это Господь Бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала баба...” Гоголь сердито бросился ко мне с восклицанием: “Это что?” — вырвал у меня бумажку из рук и сунул ее в письменное бюро; затем мы спокойно принялись за дело» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 76).

О сожжении Гоголем своей драмы В. А. Жуковский рассказывал Ф. В. Чижову: «Знаете ли, что он написал было трагедию?.. Читал он мне ее во Франкфурте. Сначала я слушал; сильно было скучно; потом решительно не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: “Ну, брат, Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось”. — “А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее”, — отвечал он и тут же бросил в камин. Я говорю: “И хорошо, брат, сделал”» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 228–229). В передаче А. В. Никитенко (со слов Ф. В. Чижова) «чтение пришлось как раз после обеда, а в это время Жуковский любил немножко подремать. Не в состоянии бороться со своею привычкою, он и теперь, слушая автора,

мало-помалу погрузился в тихий сон. Наконец он проснулся. — "Вот видите, Василий Андреевич, — сказал ему Гоголь, — я просил у вас критики на мое сочинение. Ваш сон есть лучшая на него критика". И с этими словами бросил рукопись в тут же топившийся камин» (*Никитенко А. В.* Записки и дневник. Т. 2. СПб., 1905. С. 292).

На основании последующих писем Гоголя и Н. М. Языкова время сожжения драмы можно установить довольно точно. Сразу после сожжения Гоголь переехал из Франкфурта-на-Майне в Ганау (в 20 километрах от Франкфурта), где до 26 сентября (н. ст.) 1841 г. жил в обществе братьев Н. М. и П. М. Языковых. 24 сентября (н. ст.), перед выездом из Ганау, он писал В. А. Панову: «Коли вы в Берлине, не уезжайте из Берлина: через дня два или три после сего письма я надеюсь быть сам у вас...» 26 сентября (н. ст.), т. е. «через два дня» — Гоголь вместе с Петром Михайловичем Языковым отправился — через Дрезден и Берлин — в Россию. 27 сентября (н. ст.) он был уже в Дрездене, откуда отправил письмо к Н. М. Языкову, оставшемуся в Ганау. Последний 1 октября (н. ст.) 1841 г. писал сестре — Е. М. Хомяковой: «Брат Петр Михайлович... отправился отсюда в Дрезден, а потом и далее в Питер и на Русь, вместе с Гоголем, который провел с нами *целый месяц...*» (курсив наш. — *И. В., В. В.).* Как полагал В. И. Шенрок, Гоголь провел в Ганау с Языковыми месяц «приблизительно от половины августа до половины сентября <ст. ст.> 1841 года» (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. С. 42). Следовательно, сожжение драмы во Франкфурте относится ко времени ок. 26 августа (н. ст.) 1841 г.

В Ганау Гоголь впервые приступает к работе над второй редакцией «Тараса Бульбы», в создании которой активно использует материалы, приготовленные ранее для драмы (см.: *Гоголь Н. В.* Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. С. 436–455). Позднее, в письме к брату — А. М. Языкову из Ганау от 21 февраля 1842 г., Н. М. Языков замечал о Гоголе: «Что переделал он в "Ревизоре"? Он, помнится, переделал и "Бульбу" для нового издания своих сочинений — заметил ли ты это?» (Лит. наследство. Т. 58. С. 616). Очевидно, Гоголь, перерабатывая в Ганау в течение месяца материалы сожженной драмы, успел прочесть тогда другу фрагменты новой редакции повести.

В октябре 1841 г. в Москве С. Т. Аксаков «спрашивал Гоголя о запорожской трагедии. Он, махнув рукой, не сказал ни слова» (<*Аксаков И. С.*> Из неизданной рукописи С. Т. Аксакова: «История моего знакомства с Гоголем» // Русь. 1880. 20 декабря. № 6. С. 16). Гоголь так и оставил тогда С. Т. Аксакова в неведении о судьбе драмы. В письме от 3–5 июля 1842 г. последний спрашивал Гоголя: «А трагедия? Помните ли, что вы говорили мне о ней в Петербурге?.. Вы сами тогда считали ее совершеннейшим своим произведением, хотя она не была написана. Неужели толпа новых лиц, живущая в похождениях Чичикова, вероятно после вами созданная, сгладит образы и характеры лиц драмы, которые тогда (как вы сами

выразились) предстояли пред вами живые и одетые в полные костюмы “до последней нитки”?». К тому времени вторая редакция «Тараса Бульбы» была уже готова к печати — так что в итоге продолжительная работа над драмой из эпохи Богдана Хмельницкого стала важным подготовительным этапом к созданию новой редакции повести.

22 декабря 1860 г. П. А. Кулиш писал О. М. Бодянскому: «В бумагах Гоголя случайно отыскал я следы существования драмы его из украинской истории. Неважные, впрочем, наброски. Но мы их печатаем в *Основе*, которая, по цензурным причинам, никак не может выдти к 1-му числу» (*Титов А.* Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому (1846–1877 гг.) // Киевская Старина. 1897. № 12. С. 470). В отзыве Кулиша сказалось, очевидно, его негативное отношение к историческим воззрениям Гоголя в целом и, в частности, к повести «Тарас Бульба». Восстание Богдана Хмельницкого, упоминаемого в набросках драмы, Кулиш ставил даже в один ряд с пугачевским бунтом. (О несостоятельности взглядов Кулиша как историка и критика «Тараса Бульбы», подвергнутых обстоятельному разбору М. А. Максимовичем, А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самариным, Н. И. Костомаровым, Н. И. Петровым, Н. П. Дашкевичем, Г. Ф. Карповым, А. Н. Пыпиным, В. Н. Перетцем, И. Я. Франко и др., см. в изд.: *Виноградов И. А.* Первый биограф Гоголя // *Кулиш П. А.* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Издание подготовил И. А. Виноградов. М., 2003.)

Заметки Гоголя при чтении книг И. Б. Шерера и Г. де Боплана печатаются по автографам. Заметки при чтении книги Боплана сопровождены в рукописи позднейшими карандашными пометами, указывающими на соответствующие страницы печатного издания. По-видимому, эти пометы были сделаны Н. С. Тихонравовым, который напечатал их в тексте гоголевских заметок (при этом в его издании появились новые ссылки на страницы книги). В наст. изд. эти пометы помещены в комментарии (см. выше). Остальные наброски печатаются по изд.: *Гоголь Н. В.* Миргород. С приложением. М., 1996 (последовательность отрывков в наст. изд. изменена на основании текстологического анализа).

Гайдамаки... приходят целою ватагою или полком. Гайдамак — здесь: участник крестьянского восстания в XVIII в. на правом берегу Днепра, также разбойник. к стр. 535

Jaris l’acheta et le men<a en Tartarie> (*фр.*). — Ярис его купил и отвез в Татарию.

«Мать Козацкая еще не умерла...» — слова о казацкой вольности, приписываемые Хмельницкому. к стр. 536

Распоряжение полковника... — Безымянный (в сохранившихся набросках) полковник был одним из главных действующих лиц «драмы за выбритый ус». Впоследствии Гоголь использовал большую

часть приготовленных для него реплик во второй редакции «Тараса Бульбы» в речи кошевого атамана.

...навешают... точил... — По замечанию Н. С. Тихонравова, Г. де Боплан упоминает в данном случае об «огниве — для добывания огня, также для точения ножа» (*Тихонравов Н.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Сочинения. Т. 1. С. 630). *Точило* — точильный камень.

к стр. 537 *За новорожденных детей, особенно мужеского пола, и за венчание платилось по грошу.* — Как указал Н. С. Тихонравов, эти сведения заимствованы Гоголем из примечания переводчика Ф. Г. Устрялова к девятой странице книги Боплана, где сказано: «Так неограниченны вольности польского дворянства! Оно блаженствует, как будто бы в раю, а крестьяне мучатся, как в чистилище. Если же судьба пошлет им злого господина, то участь их тягостнее галерной неволи» (*Тихонравов Н.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Сочинения. Т. 1. С. 631).

к стр. 538 *А свиньи не возьмет, бесовский сын. Возьмут свиней всех, заколют в овине, да и зажгут.* — Источником фраз, приготовленных Гоголем в качестве реплики для одного из героев драмы, послужило следующее место в книге Боплана: «...а ненавистных мусульманам свиней загоняют в овин и поджигают оный со всех четырех углов».

к стр. 540 *Разговор между мужиками.* — Как указал Н. С. Тихонравов, в написании отрывка «Мужики» Гоголь использовал выписку из «Описания Украйны» Г. Боплана (СПб., 1832).

<Рецензия для «Москвитянина»>

Впервые напечатано: Москвитянин. 1842. № 1 (подпись: NN) с сокращениями и добавлениями М. П. Погодина (см. коммент. к с. 543 — *Начнем блестящим изделием типографической роскоши... с каждым годом издается роскошней*). По гоголевскому автографу впервые опубликовано К. Н. Михайловым в «Историческом Вестнике» (1902. № 2).

Своим содержанием рецензия перекликается с позднейшей статьей Гоголя «Женщина в свете» (1846), вошедшей в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями».

к стр. 543 *Владиславлев* Владимир Андреевич (1808, по др. сведениям 1806–1856) — издатель альманахов, беллетрист.

Начнем блестящим изделием типографической роскоши... с каждым годом издается роскошней. — Альманах «Утренняя Заря» издавался с 1839 по 1843 г. и отличался высокой книжной культурой; в нем, в частности, помещались первоклассные гравюры с картин известных русских художников — О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова и др. В целом, однако, Гоголь скептически относился к умножению в печати иллюстрированных изданий.

«Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание», — писал он о парижской жизни в опубликованной в № 3 «Москвитянина» за 1842 г. повести «Рим» (рецензия на «Утреннюю Зарю» была напечатана в № 1). 20 марта (н. ст.) 1846 г., отвечая отказом на предложение об издании «Мертвых душ» с иллюстрациями художника А. А. Агина, Гоголь писал П. А. Плетневу: «...я — враг всяких политипажей и модных выдумок. Товар должен продаваться лицом, и нечего его подслащивать этим кондитерством. Можно было бы допустить излишество этих родов только в таком случае, когда оно слишком художественно. Но художников-гениев для такого дела не найдешь, да притом нужно, чтобы для того и самое сочинение было классическим, приобревшим полную известность, вычищенным, конченным и не наполненным кучею таких грехов, как мое». Примечательно, что в своей рецензии (написанной, вероятно, по просьбе М. П. Погодина) Гоголь словно демонстративно игнорирует литературную сторону альманаха, останавливаясь лишь на «типографической роскоши». При публикации М. П. Погодин снял начало и конец рецензии («Начнем блестящим изделием... издается роскошней»; «Повести самого издателя... до берегов Тавриды»), изменил некоторые фразы и дополнил ее обширным разбором произведений, вошедших в альманах.

Ее Императорское Высочество Марья Александровна (рожд. принцесса Гессен-Дармштадтская, 1824–1880) — великая княгиня, жена великого князя Александра Николаевича (впоследствии Император Александр II) с 1841 г. В 1845 г. родила сына Александра (впоследствии Император Александр III). По словам А. О. Смирновой, «Мария Александровна сохранила большую привязанность к своим родным и родине, а между тем... совершенно обрусела и всякую минуту своей жизни посвятила служению России...» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 131). Получив в 1845 г. от А. О. Смирновой известия о великой княгине Марии Александровне, Гоголь писал 28 октября (н. ст.) В. А. Жуковскому: «Из Петербурга я имею утешительные вести о цесаревне. Она, чем далее, обворожает более и более всех. Понемногу открывается, что это сокровище, которым подарил Бог Россию».

...украшающими европейские кипсеки. — Кипсек (*англ.* Keepsake) — альбом с гравюрами, подарочное издание для дам.

Графиня Елена Михайловна Завадовская (рожд. Влодек, 1807–1874) — известная петербургская красавица. По единодушному мнению современников, внешность Завадовской никого не оставляла равнодушным: «...нет возможности передать неуловимую прелесть ее лица, гибкость стана, грацию и симпатичность, которыми была проникнута ее особа» (Записки П. Д. Селецкого. Киев, 1884. Ч. 1. С. 9). См. также свидетельства графа М. Ю. Виельгорского (Русский Архив. 1878. № 4. С. 451), А. Н. Карамзина (Старина и Новизна. 1914. Кн. 17. С. 249, 251), И. И. Козлова (Там же. Кн. 11.

С. 51, 52). Ей посвящали стихи А. С. Пушкин, князь П. А. Вяземский, И. И. Козлов.

Княжна Марья Ивановна Барятинская (1818–1843), в замужестве княгиня Кочубей.

Благоговея богомольно / Перед святыней красоты. — Из стихотворения А. С. Пушкина «Красавица» («Все в ней гармония, все диво...», 1832). Обычно полагают, что оно относится к Н. Н. Гончаровой. Однако единственный автограф этого стихотворения, найденный в 1930 г., оказался вырванным из альбома графини Елены Михайловны Завадовской (упоминаемой в гоголевской рецензии). Можно предположить, что Гоголю был известен настоящий адресат пушкинского посвящения.

к стр. 544

Повести самого издателя... — В альманахе напечатаны «Талисман, рассказ уланского офицера» и «Рассказ о том, как опасно было управителю Курляндского барона фон Паукенгофа Фридриху, топивши в овине печь, заниматься охотою, и что из этого произошло» В. А. Владиславлева.

Жукова Мария Семеновна (рожд. Зевакина, 1805–1855) — беллетрист.

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) — поэт. В альманахе помещена его «Военная песня», посвященная князю П. А. Вяземскому.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873) — поэт. В «Утренней Заре» напечатаны его «Степи (Из стихотворений: Крымские виды)».

Граф Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882) — беллетрист и драматург. В альманахе напечатана его повесть «Приключения на железной дороге».

Кукольник Нестор Васильевич — см. коммент. к с. 465 — *...поставил... Кукольника наряду с Гете...* В «Утренней Заре» помещены его рассказы «Джорджио Фенороли, или Сердце в банке, вторая новелла доктора Сильвио Геста» и «Капустин, московский купец».

Приложение

Переводы под редакцией Н. В. Гоголя. Пьесы для бенефисов М. С. Щепкина

В записной книжке 1845–1846 гг. об актере М. С. Щепкине Гоголь написал следующую заметку: «Вмешали в грязь, заставляют играть мелкие, ничтожные роли, над которым<и> нечего дела<ть>. Заставляют то делать мастера, что делают ученики. Это все равно, что архитектора, который возносит гениально соображенное здание, заставляют быть каменщиком и делать кирпичи». Размышления о невзгодах актерской профессии Гоголь продолжил в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Однако судьбой Щепкина Гоголь был озабочен еще в 1830-х гг. В 1836 г. он обещал ему для исполнения на сцене «Женитьбу». Работа над этой комедией затянулась — и в 1838 г. Гоголь писал М. П. Погодину: «Меня ты очень разжалобил Щепкиным. Мне самому очень жалко его. Я о нем часто думаю. Я даже, признаюсь, намерен собрать черновые, какие у меня есть лоскутки истребленной мною комедии и хочу что-нибудь из них для него сшить» (письмо от 1 декабря (н. ст.). Речь в письме шла, по-видимому, об еще одной незавершенной комедии Гоголя — «Владимир 3-ей степени» (см. коммент. к наброскам этой комедии в наст. томе). Однако и эта работа шла медленно, и взамен в 1839 г. Гоголь предложил Щепкину для его бенефисов три пьесы, переводы которых обещал исправить сам. Работа над двумя из них была завершена (комедии «Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою» Мольера и «Дядька в затруднительном положении» графа Дж. Жиро); обработка последнего, третьего перевода (какой-то пьесы Шекспира) не была, видимо, доведена Гоголем до конца.

Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым по театральной рукописи, помеченной 1841 г., в кн.: Сочинения *Н. В. Гоголя.* Дополнительный том ко всем предшествовавшим изданиям сочинений Гоголя. Вып. I. М., 1892 (Библиотека для Чтения. Бесплатное приложение к журналу «Царь-Колокол». № 3). Текст печатается по изд., подготовленному В. И. Шенроком: *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. М.; СПб., 1896. Т. 6.

Перевод комедии французского драматурга Мольера (Жана-Батиста Поклена, 1622–1673) «Сганарель, или Мнимый рогоносец» («Sganarel, ou le Cocu imaginaire», 1660) был обработан Гоголем для бенефиса М. С. Щепкина, вероятно, в конце 1839 г. в Москве.

По свидетельству историка театра В. И. Родиславского (1828–1885), название переводу — «Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою» — было также дано Гоголем (см.: *Родиславский В.* Мольер в России // Русский Вестник. 1872. Т. 98. Март. С. 75).

В то время Гоголь общался с Щепкиным лично, поэтому никаких упоминаний об этой работе в переписке Гоголя нет (за исключением слов о «двух пиесах» для бенефисов Щепкина — под одной из которых подразумевался, вероятно, «Сганарель» — в письме к актеру от 10 сентября (н. ст.) 1840 г. из Венеции; см. ниже). А. Н. Афанасьев вспоминал: «Для Щепкина Гоголь перевел с итальянского языка комедию “Дядька в затруднительном положении”; своими драматическими сочинениями дал ему право распоряжаться на театре, как полною собственностью; когда друзья М<ихаила> С<еменови>ча перевели для него из Мольера комедию “Мнимый рогоносец”, Гоголь взялся исправить этот перевод и переделал почти каждую фразу» (*Афанасьев А. Н.* М. С. Щепкин и его записки // Библиотека для Чтения. 1864. Февраль. <Отд. 9>. С. 9–10). В первоначальной редакции мемуаров А. Н. Афанасьев называл имена переводчиков пьесы: «Для Щепкинского бенефиса друзья его (Грановский и Кетчер) перевели Сганареля (Мольеровскую пиесу “Мнимый рогоносец”) — и Гоголь ее всю исправил, переделавши почти всякую фразу» (*Афанасьев А. Н.* Отрывки из моей памяти и переписки // *ГАРФ.* Ф. 279. Оп. 1. Ед. хр. 1060. Л. 32).

В переводе Т. Н. Грановского и Н. Х. Кетчера, отредактированном Гоголем, представление пьесы Мольера должно было состояться в бенефис М. С. Щепкина, намеченный на 9 февраля 1840 г. (в то время Гоголь жил еще в Москве). В «Прибавлении к Московским Ведомостям» от 3 февраля 1840 г. были напечатаны афиши двух спектаклей, которые должны были быть сыграны 9 февраля в пользу Щепкина. Первой шла трагедия Л. Тика «Последние новости»: «*В Большом театре...* В пятницу, 9-го февраля, Императорскими российскими актерами представлено будет *в пользу актера г. Щепкина, в первый раз*: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ, трагедия в 2 действиях. *Тика*» (Щепкин в этой трагедии не участвовал). Вслед за объявлением о постановке пьесы Л. Тика напечатано:

«*За оною последует, в первый раз:* СГАНАРЕЛЬ, или *муж, думающий, что он обманут женою.* Комедия в I действии. Соч. *Мольера.* Перевод с французского.

В оной комедии будут играть роли: жены Снагареля *дев<ица> Щепкина 1-я, Цилии <так в источнике> дев<ица> Щепкина 2-я.*

Действующие:

Горгибус, мещанин	*г. Потанчиков.*
Целия, дочь его	*дев<ица> Щепкина 2-я.*
Лелий, влюбленный в Целию	*г. Ленский.*
Гро-Рене, слуга Лелия	*г. В. Степанов.*
Сгаранель, мещанин.......	*г. Щепкин.*

Жена его . . . . *дев<ица> Щепкина 1-я.*
Виллебрекень, отец Валерия . . . . *г. Ф. Сахаров.*
Горничная Цели . . . . *г-жа Степанова.*
Родственник жены Сганареля . . . . . *г. Максин 2-й».*

(Московские Ведомости. 1840. 3 февраля. № 10. Прибавления к № 10 Моск. Вед. (Февраля 3-го). Отд. II. Объявления частные. С. 158.)

Однако бенефис Щепкина тогда не состоялся. В. И. Родиславский сообщал: «Щепкин постоянно хотел иметь для своих бенефисов Мольеровы комедии; поэтому некоторые из близких ему людей, желая ему угодить, задумали перевести целой компанией Мольерова *Сганареля.* К этой компании присоединился Гоголь, и на него возложилась редакция перевода. Таким образом явился перевод комедии Мольера *Le Coсu imaginaire,* под заглавием *Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женой.* Говорят, редактируя перевод компании, Гоголь почти совершенно его переделал и даже странное заглавие: *Муж, думающий, что он обманут женой* было написано им. Многие оспаривали такое заглавие, но Гоголь настоял, и оно было удержано. Перевод этот был объявлен 9-го февраля 1840 года в бенефис Щепкина...но в бенефис Щепкина, 9-го февраля 1840, перевод этот не шел (если не ошибаемся, был отменен весь бенефис) и *Сганарель* в этом переводе дан на Московской сцене в первый раз в том же году 4-го октября, в бенефис Никифорова, с некоторыми уже изменениями в распределении ролей. Так дочери Щепкина в нем уже не участвовали, вместо них играли: Целию — Сабурова 2-я, жену Сганареля — Самарина, а Лелия, вместо Ленского, исполнял Самарин. Перевод этот не долго продержался на Московской сцене, он был дан всего раза три, до тех пор пока его не возобновил Шумский в свой бенефис, бывший 7-го января 1869, причем Садовский, с своею естественностию, простодушием и комизмом, очень хорошо исполнил роль Сганареля. Сколько наивности, сколько веселости и вместе с тем сколько чувства вложил он в исполнение этой роли! Особенно комично вышла у Садовского сцена, когда он, движимый ревностию, надев латы и шлем поверх своего мещанского платья, хочет пронзить своего соперника Лелия, но трусит, боится и не решается, несколько раз замахивается шпагой и при обороте к нему Лелия отступает и опускает шпагу. — Перевод этот, сделанный Гоголем, прозаический. Он очень не ровен, а местами и не разговорен. Видно, перевод компании был таков, что хотя даже по нем прошлась и рука Гоголя, но все-таки не могла сгладить всех его шероховатостей. Перевод этот не был напечатан» (*Родиславский В.* Мольер в России. С. 75–76).

К тому времени, как «Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою», в гоголевской редакции, был исполнен 4 октября 1840 г. на сцене московского Малого театра в бенефис актера Н. М. Никифорова, Гоголь уже полгода жил за границей. Судя

по помете на театральной рукописи (1841 г.), пьесу предполагали играть также в следующем, 1841 г. (без участия Н. М. Никифорова, который в росписи актеров 1841 г. уже не значился). Среди артистов, играющих в первом составе исполнителей, роль Сганареля предназначалась, однако, П. М. Садовскому (М. С. Щепкин значился на эту роль лишь во втором составе), в ролях жены и дочери главного героя должны были играть дочери Щепкина (в первом составе актеров) (см.: *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 6. С. 754–755).

За месяц до первого представления пьесы, 10 сентября (н. ст.) 1840 г., Гоголь, высылая Щепкину еще одну обещанную к его бенефису комедию — «Дядьку в затруднительном положении» Дж. Жиро, писал: «Итак, вы имеете теперь две пиесы. Ваш бенефис укомплектован. Если вы обеим пьесам сделаете по большой репетиции и сами за всех прочитаете и объясните себе роли всех, то бенефис будет блестящий, и вы покажете шиш тем, которые говорят, что снаряжаете себе бенефис как-нибудь». (О третьей пьесе, обещанной М. С. Щепкину, см. коммент. к гоголевской редакции комедии Дж. Жиро «Дядька в затруднительном положении»).

Характеризуя перевод пьесы, В. И. Шенрок писал: «...он далеко не отличается точностью и иногда даже весьма неверен, но везде заметно стремление пользоваться чисто русскими выражениями; кроме того, во многих случаях замечается сокращение подлинника... и изредка вставляются от переводчиков одна или две фразы» (*Шенрок В. И.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 6. С. 754; детальное сличение перевода с французским оригиналом см. там же: С. 755–761).

к стр. 548 *...думаешь о Клелии...* — Подразумевается роман французской писательницы М. де Скюдери (1607–1701) «Клелия, или Римская история» («Clélie ou l'histoire Romaine». Т. 1–10. 1654–1661), славившийся как руководство галантности и салонной любви.

...четверостишия Пибрака... — Имеется в виду сборник четверостиший французского писателя Гюи *Пибрака* (1529–1584) «Quatrains» (1584), переведенный на многие языки.

...ученые «Таблицы» советника Матьё... — Возможно, подразумевается популярный в XVII в. календарь Матье Ленсберга, представляющий собой своеобразный альманах с росписью дням года и разнообразными сведениями справочного характера — астрономическими, статистическими, рассказами о явлении драконов и комет, метеорологическими предсказаниями Нострадамуса, политическими прорицаниями и анекдотами.

к стр. 550 *Швырнула вон — и концы в воду!* — Во французском оригинале эта фраза отсутствует.

к стр. 552 *Как тут думать об отдыхе, об пище?* — Этой фразы во французском подлиннике нет.

к стр. 563 *...все моя чемерица!* — По замечанию В. И. Шенрока, это место представляет собой ошибочный перевод источника. Следует: «...вы

имели бы нужду в чемерице». *Чемерица* — см. коммент. к с. 52 — *...подсыпали в табакерку его чемерки...*

...быть... в такой твердой уверенности, что голова ваша увенчана украшением, ей-Богу, совсем нелестным? — Во французском источнике вместо этих слов следует только: «быть обманутым». к стр. 564

Дядька в затруднительном положении

Впервые напечатано С. И. Пономаревым: Дядька в затруднительном положении (L'aio nell' imbarazzo). Комедия в трех действиях, сочинение гр<афа> Джованни Жиро (Giovanni Giraud). Перевод с итальянского, приписываемый Н. В. Гоголю // Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. Киев; Лейпциг, 1882. Т. 7. Отд. 2. Текст печатается по изд.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. <Л.> 1949. Т. 5.

Литературная обработка перевода комедии итальянского драматурга графа Джиованни Жиро (1776–1834) «Дядька в затруднительном положении» (1807; дядька (*ит.* aio) — слуга-воспитатель при мальчике, наставник, гувернер) была обещана Гоголем М. С. Щепкину в Москве в 1840 г., в период между 9 февраля (днем предполагаемого представления «Сганареля»; см. выше) и 18 мая (днем отъезда Гоголя из Москвы). Работа была выполнена в конце июля — начале августа (н. ст.) 1840 г. за границей.

10 сентября (н. ст.) 1840 г., высылая из Венеции готовый текст, Гоголь сопроводил его письмом к Щепкину, полностью посвященным пьесе: «Ну, Михаил Семенович, любезнейший моему сердцу! половина заклада выиграна: комедия готова. В несколько дней русские наши художники перевели. И как я поступил добросовестно! всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою. В афишке вы должны выставить два заглавия: русское и итальянское. Можете даже прибавить тотчас после фамилии автора: "первого итальянского комика нашего времени". Первое действие я прилагаю при письме вашем, второе будет в письме к С<ергею> Т<имофеевичу>, а за третьим отправьтесь к Погодину... Да смотрите, до этого не потеряйте листков: другого экземпляра нет... За хвостом комедии сходите сейчас к Аксакову и Погодину».

«Пожалуйста, — обращался он в тот же день в письме к Погодину, — отдай Щепкину прилагаемое при сем действие переведенной для него комедии». (Позднее М. П. Погодин на принадлежащем ему позднейшем списке комедии написал: «Переведена, переправлена или переделана Гоголем и прислана на бенефис Щепкину в 1841 году»; *Тихонравов Н. С.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 2. С. 805–813.) 10 сентября (н. ст.) 1840 г. Гоголь писал также О. Сем. Аксаковой: «...вручите Михаилу Семеновичу прилагаемое при сем действие переведенной для него комедии». («Первое действие комедии, о которой пишет Гоголь, — пояснял позднее С. Т. Аксаков, — принадлежит к той самой пьесе, которую Щепкин, под названием "Дядька в хлопотах", давал себе в бенефис

в прошедшую зиму, через год после кончины Гоголя»; Гоголь в воспоминаниях современников. С. 128. О бенефисе Щепкина 1853 г. см. ниже.)

Далее в письме к М. С. Щепкину Гоголь дает актеру подробные советы по постановке пьесы, которые по своему содержанию напоминают написанное позднее «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”»: «Комедия должна иметь успех; по крайней мере в итальянских театрах и во Франции она имела успех блестящий. Вы, как человек, имеющий тонкое чутье, тотчас постигнете комическое положение вашей роли. Нечего вам и говорить, что ваша роль — сам дядька, находящийся в затруднительном положении; роль ажитации сильной. Человек, который совершенно потерял голову: тут сколько есть комических и истинных сторон! Я видел в ней актера с большим талантом, который, между прочим, далеко ниже вас. Он был прекрасен, и так в нем всё было натурально и истинно! Слышен был человек, не рожденный для интриги, а попавший невольно в оную, — и сколько натурально комического! Этот гувернер, которого я назвал дядькой, потому что первое, кажется, не совсем точно, да и не русское, должен быть одет весь в черном, как одеваются в Италии доныне все эти люди: аббаты, ученые и проч.: в черном фраке не совсем по моде, а так, как у стариков, в черных панталонах до колен, в черных чулках и башмаках, в черном суконном жилете, застегнутом плотно снизу доверху, и в черной пуховой шляпе, трехугольной, — <не> как носят у нас, что называют вареником, а в той, в какой нарисован блудный сын, пасущий стада, то есть с пригнутыми немного полями на три стороны. Два молодые маркиза точно так же должны быть одеты в черных фраках, только помоднее, и шляпы вместо трехугольных, круглые, черные, пуховые или шелковые, как носим мы все, грешные люди; черные чулки и башмаки и панталоны короткие. Вот всё, что вам нужно заметить о костюмах. Прочие лица одеты, как ходит весь свет.

Но о самих ролях нужно кое-что. Роль Джильды лучше всего, если вы дадите которой-нибудь из ваших дочерей. Вы можете тогда более дать ее почувствовать во всех ее тонкостях. Если же кому другому, то, ради Бога, слишком хорошей актрисе. Джильда умная, бойкая; она не притворяется; если ж притворяется, то это притворное у ней становится уже истинным. Она произносит свои монологи, которые, говорит, набрала из романов, с одушевлением истинным; а когда в самом деле проснулось в ней чувство матери, тут она не глядит ни на что и вся женщина. Ее движения просты и развязны, а в минуту одушевления картины она становится как-то вдруг выше обыкновенной женщины, что удивительно хорошо исполняют итальянки. Актриса, игравшая Джильду, которую я видел, была свежая, молодая, проста и очаровательна во всех своих движениях, забывалась и одушевлялась, как природа. Француженка убила бы эту роль и никогда бы не выполнила. Для этой роли, кажется, как будто нужна воспитанная свежим воздухом деревни и степей.

Играющему роль Пиппето никак не нужно сказывать, что Пиппето немного приглуповат: он тотчас будет выполнять с претензиями. Он должен выполнить ее совершенно невинно, как роль молодого, довольно неопытного человека, а глупость, явится сама собою, так, как <у> многих людей, которых вовсе никто не называет глупыми.

Больше, кажется, не нужно говорить ничего... Вы сами знаете, что чем больше репетиций вы сделаете, тем будет лучше и актерам сделаются яснее их роли. Впрочем, ролей немного и постановка не обойдется дорого и хлопотливо. Да! маркиза дайте какому-нибудь хорошему актеру. Эта роль энергическая: бешеный, взбалмошный старик, не слушающий никаких резонов. Я думаю, коли нет другого, отдайте Мочалову; его же имя имеет магическое действие на московскую публику. Да не судите по первому впечатлению и прочитайте несколько раз эту пьесу, — непременно несколько раз. Вы увидите, что она очень мила и будет иметь успех...»

О «переводе» Гоголя «с итальянского языка комедии “Дядька в затруднительном положении”» вспоминал позднее в своих мемуарах о М. С. Щепкине А. Н. Афанасьев (см. выше коммент. к гоголевской редакции пьесы Мольера «Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою»).

Степень владения Гоголя итальянским языком позволяет оценить его письмо на итальянском языке к М. П. Балабиной от 15 марта (н. ст.) 1838 г. из Рима и выполненный Гоголем перевод с латинского языка на итальянский двенадцати «Увещательных глав» константинопольского диакона Агапита св. правоверному царю Юстиниану VI в. (см. в т. 9 наст. изд.).

О характере перевода пьесы и его особенностях в сравнении с итальянским оригиналом Н. С. Тихонравов писал: «Он отличается близостью к букве подлинника, исполнен небрежно и торопливо, так что многие места комедии переданы неверно. Язык перевода очень тяжел, и потому при постановке “Дядьки” на сцену (уже после смерти Гоголя) в нем сделаны были значительные исправления. В таком виде представляет эту комедию рукопись московского Малого театра. По исправленному тексту комедия “Дядька в затруднительном положении” издана была в «“Известиях Нежинского Историко-филологического института”...» (*Тихонравов Н. С.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 2. С. 806; детальный текстологический анализ перевода пьесы см. там же: С. 806–813).

В цитированном письме к М. С. Щепкину от 10 сентября (н. ст.) 1840 г. Гоголь упоминает о «закладе», половину которого он «выиграл», подготовив пьесу «Дядька в затруднительном положении». Второй «половиной» заклада должна была стать, по предположению М. Н. Сперанского, еще одна пьеса для бенефиса Щепкина — переводная или оригинальная (*Сперанский М. Н.* Гоголь — переводчик. Киев, 1905. С. 6). По-видимому, этой пьесой была упоминаемая в том же письме к Щепкину какая-то пьеса Шекспира, переведенная сестрами Гоголя Елисаветой и Анной и «какими-то студентами».

Этот перевод Гоголь, «не успев второпях поправить», оставил весной 1840 г., при отъезде из Москвы, у самого Щепкина. В письме к нему Гоголь упоминает об этой рукописи в качестве постскриптума: «Еще. Шекспировой пьесы я не успел второпях поправить. Ее переводили мои сестры и кое-какие студенты. Пожалуйста, перечитайте ее и велите переписать на тоненькой бумаге все монологи, которые читаются неловко, и перешлите ко мне поскорее; я вам всё выправлю, хоть всю пиесу пожалуй». (Автограф письма Гоголя не сохранился; в современных изданиях печатается: «Еще Шекспировой пьесы я не успел второпях поправить», — т. е. без знака препинания после первого слова во фразе, что противоречит смыслу письма.) По-видимому, Щепкин не откликнулся на гоголевское предложение, и выполненный сестрами писателя перевод остался невостребованным. Спустя полгода, в письме к К. С. Аксакову от 28 декабря (н. ст.) 1840 г., Гоголь спрашивал о Щепкине: «Скажите, почему ни слова не скажет, хоть в вашем письме, Мих<аил> Сем<енович>?».

Венцом усилий Гоголя в оказании помощи Щепкину стала передача ему прав на постановку всех новых драматических произведений, опубликованных в четвертом томе прижизненного собрания «Сочинений Николая Гоголя» (см. письмо Гоголя Щепкину от 26 ноября (н. ст.) 1842 г.). См. также в т. 4 наст. изд. коммент. к «Развязке Ревизора».

Согласно составленному С. А. Черневским указателю спектаклей Малого театра в Москве, в которых исполнялись пьесы Гоголя, «Дядька в затруднительном положении» был впервые поставлен в бенефис М. С. Щепкина в 1853 г. (еще раз сыгран только в 1865 г.). Премьера состоялась в начале 1853 г.: «Январь 9, пятница (бенефис М. С. Щепкина). Состав при первом представлении: маркиз Джолио Антик<в>ати — Леонидов; маркиз Энрик<о>, сын — Самарин; Джильда Онрати — Рыкалова; маркиз Пепет<т>о — С. В. Васильев; дон Григорио Кордебоно — Щепкин; Леонарда — Акимова» (Архивно-рукописный отдел Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина (*ГЦТМ*). Ф. 299. Ед. хр. 1852. Л. 9 об.). Спектакли продолжались 13, 18, 22 января и 10 февраля. «Бенефис М. С. Щепкина, — писал театральный критик, — удовлетворил вполне общим ожиданиям. "Дядька в затруднительных обстоятельствах" — пиеска живая и веселая, исполненная движения и самых забавных положений, которыми заслуженный артист наш воспользовался в совершенстве. Он был очень хорош в роли этого бедного дядьки, который запутался в чужой беде» (*И. К.* Бенефис М. С. Щепкина и новая пиеса г. Островского // Литературный отдел Московских Ведомостей 1853 года, января 27-го дня. № 12. С. 121). В 1865 г. представления «Дядьки в затруднительном положении» на сцене Малого театра в Москве состоялись 15, 18 и 19 января.

Помимо литературной обработки переводов пьес Мольера и Жиро, Гоголь в первой половине 1840-х гг. занимался также редактурой перевода новеллы П. Мериме «Души в чистилище» (1834). От этой работы до нас дошла его вступительная заметка <О Мери-

ме> и одна строка из текста новеллы, позволяющая судить, что работа была близка к завершению (см. коммент. в т. 6 наст. изд.).

О поисках утраченного гоголевского автографа перевода комедии Дж. Жиро см.: *Кагій Ю.* Загублений рукопис Гоголя на Закарпатті: Рукопис перекладу італ. комедії Д. Жіро «Дядька в затруднительном положении» // Архіви України. 1966. № 5; *Разгулов В.* Пропавшая рукопись Гоголя // Лит. Россия. 1991. № 9.

Кудлашка — кличка собаки с длинной всклоченной шерстью. к стр. 580

...почти в смелом движении неистовства... — По наблюдению к стр. 606 Н. С. Тихонравова, это сценическое указание, по-видимому, принадлежит Гоголю; в итальянском подлиннике его нет.

Коллективные шуточные стихотворения

<1> И с Матреной наш Яким...

Это и следующее стихотворение впервые напечатаны П. В. Анненковым: *Анненков П.* Воспоминания о Гоголе. Рим, летом 1841 года // Библиотека для Чтения. 1857. № 2 (цензурное разрешение 5 февраля). <Отд. 3>. С. 136.

Согласно воспоминаниям П. В. Анненкова, стихотворения относятся к началу 1836 г. — до отъезда Гоголя за границу в июне этого года. По свидетельству мемуариста, «особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Про<копови>ча и А. С. Д<анилевско>го некоторые из них выходили действительно карикатурно метки и уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен. Помню, что несколько вечеров Гоголь беспрестанно тянул (мотивы для куплетов выбирались из новейших опер — из Фенеллы, Роберта, Цампы) кантату, созданную для прославления будущего предполагаемого его путешествия в Крым, где находился стих:

И с Матреной наш Яким
Потянулся прямо в Крым.

В памяти у меня остается также довольно нелепый куплет, долженствовавший увековечить подвиги молодых учителей из его знакомых, отправлявшихся каждый день на свои лекции на Васильевский остров. Куплет, кажется, принадлежал Гоголю безраздельно:

Все *бобрами* завелись,
У Фаге все завились...» и т. д.

...с Матреной наш Яким... — Яким Нимченко (ок. 1803–1885) к стр. 610 и его жена — крепостные слуги Гоголя.

<3> Да здравствует нежинская бурса

Впервые напечатано Н. В. Гербелем в его статье: Н. Я. Прокопович и отношение его к Н. В. Гоголю // Современник. 1858. Т. LXVII. № 2.

Стихотворение было послано А. С. Данилевским в письме к Н. Я. Прокоповичу и И. Г. Пащенко от 5 декабря 1836 г. из Парижа, где он извещал друзей: «Вчера едва мы, я и Гоголь, сели за чайный столик, как явился наш portier (человек весьма интересный, отставной воин и карлист) и положил письмо на стол с надписью на мое имя. Окончив чай и закурив сигару, я расположился в креслах, Гоголь стал позади меня; распечатав письмо, я вытащил, во-первых, твои <Н. Я. Прокоповича> каракули, а потом листок с красивым почерком Ивана Григорьевича <Пащенко>. Да, мой милый Николай, ты нехотя, предаваясь воспоминаниям, написал нечто вроде элегии, глубокой траурной элегии в прозе, нечто имеющее для меня образ осеннего листа, из которого, будь я поэт, выкроил бы двадцать элегий по форме; ты же, Иван Григорьевич, написал не элегию — скорее что-то вроде куплетов, по крайней мере письмо твое навело нас на куплеты еще весьма неоконченные, плохие покаместь, но обещающие впереди много. Вот их начало: (следуют стихи. — *И. В., В. В.*). Может быть, продолжали бы куплеты еще и далее, но сегодня приехал Симановский (приятель Гоголя и Данилевского по нежинской Гимназии высших наук. — *И. В., В. В.*), и вдохновение, как робкая птица, улетело» (Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. СПб., 1881. С. LXXXI).

25 января (н. ст.) 1837 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу из Парижа: «Получили <ли> вы куплеты: “Да здравствует нежинская бурса”, которые Данилевский послал в письме к Пащенку?»

В комментарии использованы материалы биобиблиографического словаря О. К. Супронюк «Н. В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии» (Киев, 2009).

к стр. 610 *...нежинская бурса!* — Шуточное именование нежинской Гимназии высших наук «бурсой» объясняется особенностями тогдашнего образования. Нежинский профессор Н. Я. Аристов позднее указывал: «С 1817 г. главным основанием учения и воспитания юношей поставлено религиозное просвещение, система образования основалась на началах Священного Союза, из школы делали монастырь» (*Аристов Н.* Состояние образования России в царствование Александра I-го // Известия Историко-филологического ин-та кн. Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. С. 85). См. также сопроводит. статью к т. 6 наст. изд. В приписываемой Гоголю эпиграмме на Ф. К. Бороздина (см. ниже) последний называется «инóк монастыря строптивой». Н. В. Кукольник в одном из писем, в свою очередь, иронически именовал гимназию «монастырем мудрости» и сообщал, что предполагает «заключиться» в него, «возложив на себя знаки монашеского смирения» (письмо к Н. Я. Прокоповичу от 29 июня 1825 г.) (*Супронюк О. К.* Новые материалы о Н. Я. Прокоповиче (к изучению литературного окружения молодого Гоголя) // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М., 1995. С. 244). Множество подробностей быта нежинской Гимназии высших наук использовал позднее Гоголь при

изображении бурсацкой жизни в «Тарасе Бульбе» и «Вии» (телесные наказания, деление учащихся на классы, или рязряды, назначение «аудиторов», игры и кулачные «битвы» учеников в классе перед приходом учителя, ночные «вылазки» на разорение огородов городских обывателей, любовные похождения (Андрия в «Тарасе Бульбе», Хомы в «Вии») и др.) (см.: *Гоголь Н. В.* Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. С. 620–621, 627–630).

Севрюгин Федор Емельянович (1784 — после 1838) — преподаватель музыки, пения и танцев в нежинской Гимназии высших наук с 11 августа 1822 г.

Билевич Михаил Васильевич (1779 — после 1838) — в нежинской Гимназии высших наук с конца 1821 г.: профессор немецкой словесности (с 31 декабря 1821 г.), профессор политических наук (с 1824 г.).

Урсо (Доменикович) Осип Демьянович (1795 — после 1842) — учитель фехтования в нежинской Гимназии высших наук с 1824 г., итальянец.

...в Стамбул уехал один... — Имеется в виду Константин Михайлович Базили (1809–1884), в гимназии с сентября 1822 г. (см. в наст. томе коммент. к идиллии «Ганц Кюхельгартен»), школьный товарищ Гоголя; служил по дипломатической части, с 1839 г. — русский консул в Сирии и Палестине.

...другой в Оренбурге... — Иван Степанович Шапошников (род. в 1805), соученик Гоголя по нежинской Гимназии высших наук (с 1822 по 1827 г.), служивший в Оренбурге.

...те... лето водами лечились, а зиму проводят в Париже... — Подразумеваются сами авторы послания, Гоголь и Данилевский.

Учители в корпусе двое... — братья Прокоповичи Николай Яковлевич (1810–1857), в нежинской Гимназии высших наук с 1821 г.; с 1836 г. служил в Петербурге учителем словесности в 1-м кадетском корпусе; и Василий Яковлевич (1812–1840); в Гимназии высших наук с 1821 г.; служил учителем во 2-м кадетском корпусе.

...бумаги в юстиции пишет... — Иван Григорьевич Пащенко (1812–1848), в нежинской Гимназии высших наук с 1823 г.

На этот раз Иван Григорьевич никак не ложился под стих. — Примечание А. С. Данилевского.

Артистов, поэтов меж них есть довольно... — *Артистами* были художники Аполлон Николаевич Мокрицкий (1810–1870), в нежинской Гимназии высших наук с 1824 г.; и Андрей Николаевич Горонович (1816 — после 1888 или 1867), в гимназии с 1822 г. *Поэтами* — Нестор Васильевич Кукольник (1809–1868), в гимназии с 1820 г.; и Василий (Валериан) Игнатьевич Любич-Романович (1805–1888), католического вероисповедания, в гимназии с 1821 г.

...те, что в гусарах... — Подразумеваются Николай Федорович Романович (1807–1881), в нежинской Гимназии высших наук с 1820 г.; Федор Корнилович Бороздин (см. ниже коммент. к <Эпиграмме на Ф. К. Бороздина. Акростих>); Петр Александрович Баранов

(1806 — после 1843), в гимназии с 1822 г.; Петр Иванович Мартос (1809 — после 1875), в гимназии с 1822 г.; Николай Петрович Гиргоров (1808 или 1809 — после 1854), в гимназии с 1820 г.; Николай Николаевич Миллер (1808 — после 1840), в гимназии с 1822 г.

Приписываемое Гоголю

<Эпиграмма на Ф. К. Бороздина. Акростих>

Впервые напечатано П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя». СПб., 1856. Т. 1.

Стихотворение было сообщено П. А. Кулишу приятелем Гоголя по Нежинской гимназии Герасимом Ивановичем Высоцким (1804 — нач. 1870-х; в гимназии с 1821 г.), который рассказывал: «...охота писать стихи высказалась впервые у Гоголя по случаю его нападок на товарища Б<орозди>на, которого он преследовал насмешками за низкую стрижку волос и прозвал Расстригою Спиридоном. Вечером, в день именин Б<орозди>на, 12-го декабря (в день св. Спиридона; Бороздина же звали Федором. — *И. В., В. В.*), Гоголь выставил в гимназической зале транспарант собственного изделия, с изображением черта, стригущего дервиша, и с следующим акростихом: «Се образ жизни нечестивой, / Пугалище (дервишей) всех, / И.... строптивой, / Расстрига, сотворивший грех...» (далее по тексту стихотворения). Изъятия, сделанные, вероятно, П. А. Кулишом по цензурным соображениям, восстановлены им же в статье: *Кулиш П.* Н. В. Гоголь // Лицей князя Безбородко. СПб., 1859. Отд. 2. С. 33.

Г. И. Высоцкий сообщал, что «вскоре за тем... Гоголь написал сатиру на жителей Нежина, под заглавием: “Нечто о Нежине, или Дуракам Закон не писан”...» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 51). Это не дошедшее до нас произведение датируется весной 1827 г. (см.: *Гоголь Н. В.* Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. С. 638). По-видимому, эпиграмма на Ф. К. Бороздина была написана более чем за год до сатиры «Нечто о Нежине...» — 12 декабря 1825 г., так как Федор Корнилович Бороздин (1807–1841), учившийся в нежинской Гимназии высших наук с 1821 г., окончил ее в январе 1826 г. (см.: *Супронюк О. К.* Н. В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии. С. 35).

19 марта 1827 г. Гоголь сообщал Г. И. Высоцкому: «Спиридон, т. е. Федор Бороздин, точно в гусарах и отличный гусар из самого негодного попа. Кто бы думал? — Сам генерал его уважает».

Эпиграмма <на И. Г. Пащенко>

Впервые напечатано: *Пономарев С.* Нежинский журнал Н. В. Гоголя // Киевская Старина. 1884. № 5. С. 146. Текст печатается по первой публикации.

Эпиграмма обнаружена С. И. Пономаревым в первом номере рукописного школьного журнала «Метеор литературы» («Часть 1. 1826, январь. № 1»), написанного, предположительно, рукою

Гоголя. В одном из последующих номеров этого журнала Гоголь в том же году поместил свое стихотворение «Новоселье» (см. в наст. томе коммент. к этому произведению).

Позднее Д. И. Иофанов предположил, что эпиграмма написана Гоголем на школьного приятеля Ивана Григорьевича Пащенко (1812–1848; закончил нежинскую Гимназию высших наук в 1830 г.). Как отметил Д. И. Иофанов, Иван Пащенко в школьные годы имел обыкновение выдумывать небылицы, рассказывать неправдоподобные истории — что, в частности, и отразилось в характеристике, данной ему Гоголем и А. С. Данилевским в шуточном стихотворении 1836 г. «Да здравствует нежинская бурса...»: «Известный лгунишка бумаги в юстиции пишет...» (см. выше) (*Иофанов Д.* Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 164). Возможно, именно о И. Г. Пащенко вспоминал летом в 1852 г. соученик Гоголя Н. И. Билевич, делясь воспоминаниями о Гоголе с С. П. Шевыревым (не искючено также, что речь идет о Михаиле Александровиче Риттере): «Был между учениками хвастун, который весьма часто хвастал перед ними именьями отца своего, хотя все знали, что это ложь. Хвастовство это надоело всем, но никто не решался унять товарища. Однажды случилось то же хвастанье — и в самом его разгаре Гоголь вынул из кармана малороссийскую дудочку и вдруг присвистнет посреди товарищей. Хвастун вдруг замолчал, покраснел, заплакал, и с той поры прекратилось его хвастовство» (*Виноградов И. А.* Воспоминания о Н. В. Гоголе Н. И. Билевича в путевом дневнике С. П. Шевырева. С. 78).

Стихотворение о «нежинской бурсе» Гоголь и Данилевский написали в ответ на письмо Н. Я. Прокоповича и И. Г. Пащенко, в котором те ранее также поместили свои «элегии», или «куплеты» (см. выше, коммент. к стихотворению «Да здравствует нежинская бурса...»).

Старший брат И. Г. Пащенко Тимофей Григорьевич указал позднее на авторство Гоголя эпиграммы на нежинского надзирателя Е. И. Зельднера (см. ниже).

<Эпиграмма на Е. И. Зельднера>

Впервые напечатано: Черты из жизни Гоголя. Рассказ современника и соученика Гоголя // Берег. Ежедневная политическая и литературная газета / Редактор-издатель П. Цитович. (СПб.), 1880. 18 декабря. № 268; с примечанием: «Со слов современника и соученика Гоголя — Тимофея Григорьевича Пащенко, написал Виталий Пашков. 8-го августа 1880 г.». Текст печатается по этому изданию.

Автор публикации — харьковский литератор Виталий Кузьмич Пашков (1824–1885). Его собеседником был Тимофей Григорьевич Пащенко (1811 — после 1880), младший соученик Гоголя, поступивший в нежинскую Гимназию высших наук в сентябре 1823 г. и окончивший ее в 1830 г. (Приписываемую Гоголю эпиграмму на брата Т. Г. Пащенко Ивана см. выше.) Зельднер (Зольднер) Егор Иванович (род. в 1789 г. — год смерти неизвестен), уроженец

Германии, надзиратель над воспитанниками нежинского пансиона в 1820–1829 гг. В мае — июне 1821 г. Гоголь жил в Нежине на квартире у Е. И. Зельднера; последний в 1821–1822 гг. переписывался с отцом Гоголя Василием Афанасьевичем. Уважением гимназистов Е. И. Зельднер не пользовался. А. С. Данилевский, вспоминая о поездке вместе с Гоголем домой на каникулы летом 1824 г., сообщал, что они постарались избавиться от Зельднера как попутчика при самом отправлении из Нежина (см.: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 100). Согласно сохранившимся листам из журнала классных надзирателей от 10–22 декабря 1825 г., Зельднер (как и другие надзиратели пансиона — К. С. Павлов, Авг. И. Аман) часто наказывал Гоголя, оставляя его «без чаю»: «Н. Яновский за то, что он занимался во время клас<с>а Священника с игрушками, был без чаю»; «...во время двухдневных дижурств замеченые были многократно за шалость, драку, грубость и неопрятность и непослушание: Щербак, Данченко, Пузыревский, 2-й Миницкий, Макаров, NB 2-й Бороздин, NB Герард, 1-й Прокопович, Яновский <т. е. Гоголь>, Бардовский — <и> получили достойное наказание за их худое поведение» (*РГБ*. Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 88). В 1825 г. Зельднер в поданном им директору гимназии рапорте жаловался, что ученик И. Н. Кобеляцкий, в ответ на сделанное ему замечание, «начал хлестать его, Зельднера, по ногам хлыстиком, а когда Зельднер закричал: “что ты делаешь, негодяй?!”, то он стал хлестать его и по голове, а когда Зельднер стал убегать от него, он гнался за ним» (*Сребницкий И. А.* Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук // Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 306–308).

Со слов Т. Г. Пащенко В. К. Пашков сообщал: «Гимназия высших наук князя Безбородко разделялась на три музея, или отделения, в которые входили и выходили мы попарно; так водили нас и на прогулки. В каждом музее был свой надзиратель. В третьем музее надзиратель был немец, З<ельднер>, безобразный, неуклюжий и антипатичный донельзя: высокий, сухопарый, с длинными, тонкими и кривыми ногами, почти без икр; лицо его как-то уродливо выдавалось вперед и сильно смахивало на свиное рыло... длинные руки болтались как будто привязанные; сутуловатый, с глуповатым выражением бесцветных и безжизненных глаз и с какою-то странною прическою волос. Зато же длинными кривушами своими З<ельднер> делал такие гигантские шаги, что мы и не рады были им. Чуть что — он и здесь: раз, два, три, и З<ельднер> от передней пары уже у задней; ну просто не дает нам хода. Вот задумал Гоголь умерить чрезмерную прыткость этого цыбатого (длинноногого) немца и сочинил на З<ельднера> следующее четырехстишие (строфа. — *Ред.*): “Гицель — морда поросяча, / Журавлини ножки; / Той же чертик, що в болоти, / Тильки приставь рожки!” Идем, З<ельднер> впереди; вдруг задние пары запоют эти стихи — шагнет он, и уже здесь. “Хто шмела петь, што пела?” Молчание, и глазом никто не моргнет. Там запоют передние пары — шагает З<ельднер> туда — и там тоже; мы вновь затянем — он опять к нам, и снова без ответа.

Потешаемся, пока З<ельднер> шагать перестанет, идет уже молча и только оглядывается и грозит пальцем. Иной раз не выдержим и грохнем со смеху. Сходило хорошо. Такая потеха доставляла Гоголю и всем нам большое удовольствие и поумерила гигантские шаги З<ельднера>» (<*Пашков В. К.*> Черты из жизни Гоголя. С. 1).

А. С. Данилевский 20 ноября 1826 г. был наказан за то, что «пел песенку, давно сочиненную против надзирателя Зельднера»; за такой же проступок он же был наказан 6 декабря 1826 г. вместе с П. И. Мартосом (см.: *Жаркевич Н. М., Кирилюк З. В., Якубина Ю. В.* Летопись жизни и творчества Николая Гоголя. Нежинский период (1820–1828) // Гоголеведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. С. 120, 121). По-видимому, «песенку» против Зельднера следует датировать августом–октябрем 1826 г. В то же время приписываемая Гоголю эпиграмма отчетливо напоминает изображение беса в переводной балладе П. П. Гулака-Артемовского «Твардовский», впервые напечатанной в трех изданиях весной-летом 1827 г.: «...нимець / Стоить серед хаты! / Нис карлючка, рот свынячый, / Гыря вся в щетыни; / Нижкы курячи, собачый / Хвист, рижкы цапыни! / Дрыг ногою!.. круть рижками!.. / В пояс поклонывся...» (<*Гулак-Артемовский П. П.*> *Г.* Твардовский. Малороссийская баллада // Вестник Европы, составляемый Михаилом Каченовским. 1827. Март. № 6. (цензурное разрешение 19 марта). С. 123; Твардовский // Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. М., 1827 (цензурное разрешение 27 апреля). Кн. 1–4. <Отд.3>. С. 3; Твардовский. Малороссийская баллада // Славянин. 1827. № 27 (цензурное разрешение 2 июля). С. 29). Можно предположить, что баллада «Твардовский» была известна гимназистам в рукописных списках прежде ее публикации — такие списки были в то время обычным явлением.

Авторство Гоголя эпиграммы на Зельднера представляется вероятным, поскольку тот же образ из баллады Гулака-Артемовского нашел отражение в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». По наблюдению исследователя (см.: *Филипович П.* Українська стихія в творчості Гоголя. (Slavistica. Праці інституту слов'янознавства Української вільної академії наук. За редакцією Я. Б. Рудницького. Ч. 13.) Вінніпег. 1952. С. 19–20), образ нечистого из баллады «Твардовский» отразился в изображении беса в «Ночи перед Рождеством»: «Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий...»

Гицель (укр.) — собачник, шкуродер. к стр. 611

Полтава

Впервые напечатано: Полтава. (Из живописного путешествия по России Издателя О<течественных> З<аписок>) // Отечественные Записки, издаваемые Павлом Свиньиным. СПб., 1830. Ч. 42. Апрель. № 120. Текст печатается по первой публикации.

Первый биограф Гоголя П. А. Кулиш сообщал: «...в феврале 1830 года, в № 118 “Отечественных Записок”, и в марте, в № 119, явилась без подписи повесть Гоголя “Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала”, а в апреле 1830 года, в № 130 <следует: в № 120> “Отечественных Записок”, напечатана статья “Полтава”. В заглавии ее сказано: “Из живописного путешествия по России издателя Отечественных Записок”, но я знаю от Н. Я. Прокоповича, что статья “Полтава” писана Гоголем, и, может быть, только переделана издателем журнала, подобно тому, как и “Басаврюк”...» (<*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Опыт биографии Н. В. Гоголя. С. 43). Однако сам Гоголь, 3 июня 1830 г., высылая матери номер журнала с очерком «Полтава», писал: «Предуведомляю вас, что в этой книжке, равно и во всех последующих, вы не встретите уже ни одной статьи моей. Занятий моих литературных хотя я и не прекратил, однако ж как они готовятся не для журнала, то и появятся не прежде, как по истечении довольно продолжительного времени. Рекомендую вам прочесть описание Полтавы господина Свиньина, в котором я, хотя и природный жилец Полтавы, много однако ж нашел для меня нового и доселе неизвестного».

Таким образом, Гоголь подтвердил принадлежность Свиньину очерка «Полтава». Однако, имея в виду указание Н. Я. Прокоповича, а также то, что Гоголь сам обратил внимание матери на этот очерк, В. В. Данилов все-таки допускал определенное участие Гоголя в создании «Полтавы» и даже возможность использования Свиньиным каких-то гоголевских материалов (*Данилов В. В.* Следы творчества Н. В. Гоголя в очерке П. П. Свиньина «Полтава» // Сб. статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 1934. С. 39–44). С некоторой степенью вероятности можно говорить о принадлежности Гоголю лишь отрывка о малороссийском языке. Как указал А. Н. Степанов, искажения, которые П. П. Свиньин внес в этот отрывок при последующем, в 1839 г., переиздании статьи явно свидетельствуют, что он не был автором этого фрагмента (*Степанов А. Н.* Гоголь в «Отечественных записках» (1830) // Труды Отдела новой русской литературы. Ин-т русской литературы. 1957. № 1. С. 66). С другой стороны, строки о запорожском казачестве в статье Гоголя «Взгляд на составление Малороссии» во многом перекликаются с содержанием данного фрагмента: «Большая часть этого общества состояла... из первобытных, коренных обитателей южной России. Доказательство — в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая».

Монтировка первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра в 1836 году

Впервые напечатано в кн.: *Данилов С. С.* «Ревизор» на сцене. Изд. 2-е, испр. и доп., с приложением монтировки первого спектакля. Л.,1934.

Монтировка первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра в Петербурге, состоявшейся 19 апреля 1836 г., позволяет детально восстановить картину первого представления комедии в отношении декораций, бутафории, реквизита, костюмировки и даже отчасти грима актеров (очки у некоторых персонажей, платок для подвязывания щеки, перечень париков и др.).

Как указал С. С. Данилов, на основании монтировки можно определить точное число участников той или иной сцены (пять купцов, четыре просителя, двенадцать человек гостей у городничего). Здесь дано подробное расписание подношений купцов Хлестакову, уточнены фигуры просителей, характеры Земляники и Люлюкова. Опираясь на данные монтировки, можно указать также общую черту, объединяющую героев «Ревизора» в их костюмах — тщеславие. Эта черта проявляется, с одной стороны, в их франтовстве (франты и франтихи при том делятся на современных и старинных), с другой, — в стремлении гражданских чинов выглядеть на военный манер — подобно коллежскому асессору Ковалеву в повести Гоголя «Нос», который, «чтобы более придать себе благородства и веса... никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором (коллежский асессор соответствовал званию майора в военной Табели о рангах, однако существовал указ Екатерины II от 15 ноября 1793 г. о том, чтобы все «статские чины впредь ни в каких случаях не именовали себя воинскими чинами»). Ср. также реплику героини драматического «Отрывка» Гоголя: «...слово "титулярный" тиранит мои уши... Я хочу, чтобы сын мой служил в гвардии. На штафирку просто не могу и смотреть...» Последняя «мода», как явствует из реплики другой героини «Отрывка», шла «сверху»: «Я очень рада, что на придворных балах не пускают штатских... чем-то неблагородным от них отзывается. Я рада... что мой Алексис не носит этого скверного фрака». Один из школьных наставников Гоголя И. Г. Кулжинский писал в своем романе «Федюша Мотовильский» о времени после Отечественной войны 1812 г.: «Вся Россия облеклась в светлую одежду умилительной радости: везде пиры, везде веселая музыка. Красавицы гордились, что им суждено расцветать в сие время, и… быть военным человеком — значило — иметь право на уважение всего света! Впрочем, это имело свои и невыгоды. Все *статские* женихи, *кавалеры,* петиметры, модники и проч. … потеряли — своих невест! Венера увлеклась на сторону Марса. Чтобы сколько-нибудь походить на военных, *статские* модники начали в сие время отращивать себе усы, носить при фраке брюки с лампасами, военные фуражки, курить немилосердно трубку и прочее, и прочее!.. Напрасно!» (Федюша Мотовильский. Украинский роман. Соч. И. Кулжинского.

М., 1833. С. 126–127). Это предпочтение военных чинов перед статскими было утверждено и законом, который предписывал, чтобы «в равных чинах» гражданские чиновники «уступали место военным, хотя бы кто из них по времени пожалован в тот чин был старее».

Очевидно, что в костюмировке своих героев Гоголь принимал определенное участие, однако пожелания его были, вероятно, только общего характера. Исполнение же задачи вызвало резкое недовольство Гоголя произведенным «карикатурным» эффектом. 10 мая 1836 г., после первых представлений пьесы он, в частности, писал М. С. Щепкину: «...не одевайте Бобчинского и Добчинского в том костюме, в каком они напечатаны. Это их одел Храповицкий. Я мало входил в эти мелочи и приказал напечатать по-театральному. Тот, который имеет светлые волосы, должен быть в темном фраке, а брюнет, то есть Бобчинский, должен быть в светлом. Нижнее обоим — темные брюки. Вообще чтобы не было фарсирования. Но брюшки у обоих должны быть непременно, и притом остренькие, как у беременных женщин». В «Отрывке из письма, писанного автором вскоре после первого представления "Ревизора" к одному литератору» Гоголь также замечал: «Бобчинский и Добчинский вышли, сверх ожиданий, дурны... Вообще костюмировка большей части пьесы была очень плоха и бессовестно карикатурна. Я как бы предчувствовал это, когда просил, чтоб сделать хоть одну репетицию в костюмах; но мне стали говорить, что это вовсе не нужно и не в обычае и что актеры уж знают свое дело. Заметивши, что цены словам моим давали немного, я оставил их в покое».

При втором издании «Ревизора» Гоголь снял в заметке «Характеры и костюмы» описание костюмов Бобчинского и Добчинского, Земляники и гостей городничего. Можно предположить, что, принимая участие в оформлении спектакля, Гоголь, который был знаком с монтировкой пьесы еще до подписания ее А. И. Храповицким (монтировка подписана 28 марта 1836 г., а цензурное разрешение «Ревизора» дано 13 марта 1836 г.), действительно, не ожидал (а только «предчувствовал»), что из его героев могут выйти «карикатуры» от того, как «их одел Храповицкий».

Текст монтировки печатается по первой публикации. Вписанные (вероятно, А. И. Храповицким) слова напечатаны курсивом; пометы, принадлежащие, по-видимому, театральной конторе, даны разрядкой.

к стр. 615 *Кабинет* — здесь: боковая стенка с аркой или дверью.

Декорация по прилагаемому у сего рисунку. — Рисунка при монтировке не сохранилось. По предположению С. С. Данилова, этим рисунком является найденный Н. А. Поповым в Государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина карандашный набросок декорации первого действия «Ревизора» с надписью: «Комедии Ревизор по желанию Г. Автора рисунок первого Действия». Вид декорации здесь совпадает с описанием, данным в монтировке, если

расположение окон и дверей в монтировке считать не со стороны зрительного зала, а со сцены.

Слонка — занавес: указание на то, что второе действие идет после антракта.

Прохоров (наст. фамилия Дальмаз) Осип Осипович — актер Александринского театра. Судя по данным монтировки, О. О. Прохоров должен был исполнять роль Бобчинского, но эта роль была отдана Петрову. По свидетельству А. А. Алексеева, фамилия этого «небольшого актера», «невоздержного любителя предательской рюмочки», была использована Гоголем в четвертом явлении первого действия комедии, где городничий спрашивает квартального: «Где Прохоров?» (в предшествующей редакции фамилия героя была Кнут) — «Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен... привезли его поутру мертвецки». По словам А. А. Алексеева, Гоголю очень понравился частный разговор, состоявшийся между актерами на сцене во время репетиции комедии, когда И. И. Сосницкий, исполнявший роль городничего, спросил от себя: «А Прохоров где?» — «Опять запьянствовал...» (Исторический Вестник. 1892. № 6. С. 681; см. также: Воспоминания актера А. А. Алексеева. М., 1894. С. 49–50). к стр. 617

Даллока (Даль-Окка) — актер Александринского театра.

Смирнов (Смирнов 1-й) Петр Алексеевич (1814–1858) — петербургский драматический актер.

Семихатов Давид Иванович (1799–1866) — актер Александринского театра.

«Двумужница» — драма князя А. А. Шаховского «Двумужница, или За чем пойдешь, то и найдешь». к стр. 622

Рыкалова — одна из актрис театральной семьи Рыкаловых: Пелагея Титовна (рожд. Пожарская; 1799–1862), или Елизавета Васильевна (в замужестве Марсель; 1806–1850), или Ольга Васильевна (гг. рожд. и смерти неизв.), или Аграфена Гавриловна (1805–1840). к стр. 623

Храповицкий Александр Иванович (1787–1855) — инспектор русской драматической труппы в Петербурге. По воспоминаниям Н. П. Мундта, принимал испытания Гоголя при попытке его поступить на сцену в качестве актера в 1829 г. и нашел его неспособным (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 67–69). 19 апреля 1836 г. А. И. Храповицкий записал в своем дневнике: «В первый раз “Ревизор”... Государь Император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души. Пиеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество. Актеры все, в особенности Сосницкий, играли превосходно. Вызваны: автор, Сосницкий и Дюр» (Русская Старина. 1879. № 2. С. 348). к стр. 624

Игорь Виноградов, Владимир Воропаев

Содержание

<Из поэмы «Россия под игом татар»> 7
Новоселье 8
Италия 9
Ганц Кюхельгартен 11
<Две главы из малороссийской повести «Страшный кабан»>
Учитель 51
Успех посольства 57
Женщина 63
<Отрывок детской книги по географии> 67
Борис Годунов. Поэма Пушкина 69
О поэзии Козлова 74
<Главы из романа «Гетьман»>
<I> Глава из исторического романа. 76
<II> Кровавый бандурист 86
<III> <Начало исторического романа> 94
<IV> <Мне нужно видеть полковника> 117
<Я давно уже ничего не рассказывал вам> 120
<Рудокопов> 121
Страшная рука 122
<Фонарь умирал> 122
<Дождь был продолжительный> 124
<Отрывки из неизвестной драмы> 126
Комед<ия> 130
<Владимир 3-ей степени> 131
<Что это?> 138
Женихи 140
<Отрывок из «Женихов»> 152
<На бесчисленных тысячах могил> 154
1834 155
Объявление об издании Истории Малороссии. 157
<Отрывок из «Истории Малороссии». Размышления Мазепы> 158
Взгляд на составление Малороссии 160
О малороссийских песнях. 169
О Средних веках 177
Тарас Бульба <Редакция первого издания (1835 г.)> 188
<Предисловие к сборнику «Арабески»> 254
Об архитектуре нашего времени 255
Несколько слов о Пушкине 274

Портрет (Повесть.) <Редакция «Арабесок»> 280
Шлецер, Миллер и Гердер 319
О движении народов в конце V века 324
Ал-Мамун (Историческая характеристика) 349
<Семен Семенович Батюшек> 355
Альфред 357
<Заметка к «Альфреду»> 376
Ревизор. Комедия в пяти действиях <Редакция первого издания, 1836 г.> 377
Сцены и отрывки из черновых редакций «Ревизора» 455
О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году 461
<Рецензии, помещенные в «Современнике»>
Исторические афоризмы Михаила Погодина 481
Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь 484
Походные записки артиллериста 484
Письма леди Рондо 485
Путешествие вокруг света 485
Атлас к космографии 486
Мое новоселье 486
Сорок одна повесть лучших иностранных писателей 487
<Рецензии, не вошедшие в «Современник»>
<Летописи русской славы> 488
<Детский Карамзин> 488
<Русские классики> 488
<История поэзии> 489
<Он и она> 489
<Недовольные. Комедия... Загоскина> 490
<Путешествие к Святым Местам> 490
<Описание Прусского государства> 491
<Указатель губернских и уездных почтовых дорог> 491
<Основание Москвы> 491
<Убийственная встреча> 493
<Картины мира> 493
<Детский павильон> 495
<Прекрасная астраханка> 496
<Обозрение сельского хозяйства удельных имений> 496
<Правила построения мореходных и речных пароходов> . . 499
<Полная ручная кухмистерская книга> 499
<Торговый адрес-календарь> 499
Петербургская сцена в 1835–36 г. 501
Петербургские записки 1836 года 512

<Письмо из Рима к редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу> 525
Ночи на вилле 257
<Девицы Чабловы> 530
<Характер русского> 531
<Наброски к статье «Взгляд на составление Малороссии»>. . 532
<Наброски и материалы драмы из эпохи Богдана Хмельницкого> 535
<1> <Заметки при чтении книги И.-Б. Шерера «Annales de la petite Russie...». Paris, 1788> 535
<2> <Заметки при чтении «Описания Украйны» Г. де Боплана. СПб., 1832> 536
<3> Улицы древней Варшавы 538
<4> Как нужно создать эту драму. 539
<5> Народ кипит и толчется на площади 542
<Рецензия для «Москвитянина»> 543

Приложение

Переводы под редакцией Н. В. Гоголя. Пьесы для бенефисов М. С. Щепкина
Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою. Комедия в одном действии, Мольера. Перевод с французского под редакцией Гоголя. 547
Дядька в затруднительном положении. Комедия графа Джиованни Жиро. Перевод с итальянского под редакцией Гоголя. 566
Коллективные шуточные стихотворения
<1> И с Матреной наш Яким 610
<2> Все *бобрами* завелись 610
<3> Да здравствует нежинская бурса!. 610
Приписываемое Гоголю
Эпиграмма <на И. Г. Пащенко> 611
<Эпиграмма на Ф. К. Бороздина. Акростих>. 611
<Эпиграмма на Е. И. Зельднера>. 611
Полтава. *Фрагмент*. 612

Монтировка первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра в 1836 году 615

Комментарии

Игорь Виноградов, Владимир Воропаев. Юношеские опыты Николая Гоголя 627

Игорь Виноградов, Владимир Воропаев. Из поэмы «Россия под игом татар» (635); Новоселье (636); Италия (636); Ганц Кюхельгартен (637); <Две главы из малороссийской повести «Страшный кабан»> (649); Женщина (653); <Отрывок детской книги по географии> (655); Борис Годунов (655); О поэзии Козлова (656); <Главы из романа «Гетьман»> (657); <Я давно уже ничего не рассказывал вам> (668); <Рудокопов> (668); Страшная рука (668); <Фонарь умирал> (669); <Дождь был продолжительный> (669); <Отрывки из неизвестной драмы> (671); Комедия (671); <Владимир 3-ей степени> (672); <Что это?> (674); Женихи (674); <Отрывок из «Женихов»> (675); <На бесчисленных тысячах могил> (675); 1834 (677); Объявление об издании Истории Малороссии (677); <Отрывок из «Истории Малороссии»> (679); Взгляд на составление Малороссии (679); О малороссийских песнях (686); О Средних веках (689); Тарас Бульба (694); <Предисловие к сборнику «Арабески»> (700); Об архитектуре нынешнего времени (705); Несколько слов о Пушкине (708); Портрет (712); Шлецер, Миллер и Гердер (716); О движении народов в конце V века (720); Ал-Мамун (729); <Семен Семенович Батюшек> (731); Альфред (731); <Заметка «К Альфреду»> (738); Ревизор (738); Сцены и отрывки из черновых редакций «Ревизора» (741); О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году (744); <Рецензии, помещенные в «Современнике»> (749); <Рецензии, не вошедшие в «Современник»> (752); Петербургская сцена в 1835–36 г. (757); Петербургские записки 1836 года (758); <Письмо из Рима к редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу> (760); Ночи на вилле (763); <Девицы Чабловы> (777); <Характер русского> (778); <Наброски к статье «Взгляд на составление Малороссии»> (778); <Наброски и материалы драмы из эпохи Богдана Хмельницкого> (779); <Рецензия для «Москвитянина»> (788); Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою (791); Дядька в затруднительном положении (795); Коллективные шуточные стихотворения (799); Приписываемое Гоголю (802); Монтировка первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра в 1836 году (807).

УДК 820 (73)
ББК 76.006.5
Г58

Координаторы проекта
иеромонах Симеон (Томачинский) — Россия
Анисимов Василий Семенович — Украина

Издательство Московской Патриархии
выражает благодарность за содействие
в издании Полного собрания сочинений
и писем Н. В. Гоголя

Раздорожному Валерию Викторовичу
Романенко Владимиру Ивановичу
Чип Олегу Александровичу
Биденко Николаю Андреевичу
Шевченко Тарасу Вячеславовичу
Швецу Николаю Николаевичу

Гоголь Н. В.
Г58 Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. Т. 7: Юношеские опыты. Первоначальные редакции / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. — М.: Издательство Московской Патриархии, 2009. — 816 с.

Том «Юношеские опыты. Первоначальные редакции» должен был завершить собрание сочинений Гоголя, готовившееся им в конце жизни. Книгу составили ранние художественные произведения, исторические этюды, критические статьи, наброски, не включенные писателем в первое собрание сочинений 1842 г. и в том позднейшей духовной прозы и публицистики.

ISBN 978-5-88017-087-6
ISBN 978-5-88017-096-8

Составление, подготовка текстов и комментарии:
И. А. Виноградов, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник
Института мировой литературы РАН
В. А. Воропаев, доктор филологических наук,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
председатель Гоголевской комиссии
Научного совета
«История мировой культуры» РАН
Художественное оформление:
В. А. Белан, А. В. Белан
На фронтисписе портрет Н. В. Гоголя
работы А. Г. Венецианова (1834)